ВСЕВОЛОД

ИВАНОВ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1976

ВСЕВОЛОД

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ

●

Издание осуществляется под редакцией
Т. В. Ивановой
А. И. Пузикова
С. В. Сартанова

●

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1976

ИВАНОВ

ТОМ СЕДЬМОЙ

●

МЫ ИДЕМ В ИНДИЮ

Роман

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1976

Р2
И 20

Подготовка текста
С. ЧУЛКОВА

Комментарии
Е. КРАСНОЩЕКОВОЙ

Оформление художника
Л. ЧЕРНЫШЕВА

И $\frac{70302\text{-}286}{028(01)\text{-}76}$ подписное

МЫ ИДЕМ В ИНДИЮ

РОМАН

И ТОГДА МУХТАР СКАЗАЛ...

Мой друг, Мухтар Ауэзов, известный казахский писатель, вместе с другими представителями советской культуры собирался в Индию. И в те дни он зашел ко мне.

Вспомнили поэтов, художников, писавших об индийском народе, искусстве, земле.

Ну, а затем говорили о родном Казахстане.

Уж не кажутся песчаными, заброшенными улицы Семипалатинска; не только скалами известен Усть-Каменогорск; пароходы бороздят недавно пустынное озеро «Тысячи колоколов» — Зайсан, и шумят Джунгарские горы, мимо которых ведут сейчас железную дорогу в Китай!

— Каждую весну меня страстно манит в эту Страну Ежедневных Изменений! — сказал я.

Тогда Мухтар Ауэзов, поглядев на мои седины, поведал поэтическую историю:

— В одном ауле кобылица принесла красивого жеребенка белой масти. Жеребенок быстро рос. К трем годам он превратился в тулпара — превосходного скакуна. Как-то раз его владелец, в порыве любви к другу из соседнего аула, подарил ему Белого Коня. Скакун прожил в родном ауле только три года. В соседнем ауле он тоже жил недолго. Казах, получивший его в подарок, передподарил коня в отдаленный аул. И начал свои странствования Белый Конь! Через четыре года он стал скакуном, известным всей степи. Но находился он далеко от тех мест, где был рожден: возле самого Аральского моря!

Коней, родившихся не там, где они теперь пасутся, весной табунщики должны усиленно сторожить. Кони стремятся в родные места! По-видимому, табунщик Белого Коня был не опытен. Прискакал из-под Арала

взволнованный владелец: «Не видал ли кто моего Белого Коня? Пропал!» Жители ответили: «Очень жаль, но Белого Коня не видели. Должно быть, на далеком тысячеверстном пути домой его поймал злой человек или загрызли волки». Владелец ждал три дня и с горечью покинул аул. А немного спустя из степи прибежали взволнованные ребятишки.

«Белый Конь вернулся!»

И действительно, на зеленой полянке, где он впервые раскрыл глаза и увидел белый свет, пасся Белый Конь! Весь аул, плача от умиления, любовался им.

— Жаль только, что годы Белому Коню прибавляли бéга, а нам уменьшают,— сказал я.

— В искусстве быстрый бег пожалуй что и вреден?

И мы возобновили разговор об Индии.

Тут выяснилось, что Мухтару Ауэзову знакома Индия с такой стороны, с какой, пожалуй, она никому не известна, если только это представляет вообще какой-либо интерес.

— Я впервые увидел Индию,— сказал Мухтар,— у себя в Семиречье. Я увидел тебя, Всеволод, когда ты под псевдонимом индийского факира Бен-Али-Бея шел в Индию! Перед тем как направиться в цирк, я думал: «Увижу факира, человека особого племени — стойкость, мужество, отвага!» И я не ошибся, хотя, предполагая увидеть мрачного, пожилого, смуглого мужчину, с глубоко впавшими щеками, увидел круглолицего, светлого юношу, веселого и жизнерадостного!

— Ты преувеличиваешь мои силы, Мухтар. И, быть может, преувеличивал мою жизнерадостность. Я был тогда довольно робким.

— Однако ты шел в Индию!

Я ответил со смехом:

— Шел!

— Ну, разве не удивительно вспомнить это сейчас?

— Пожалуй.

Да, пожалуй что и удивительно! Тогда там, в Семиречье, на путях моих в Индию, была лишь девственная степь с казахскими аулами, редкими хатами переселенцев и казачьими станицами.

Как-то, в палящий полдень, я увидел с тракта, далеко за камышами, марево — огромное озеро и на берегу его высокий белый город. «Что это?» — спросил я встречного казаха, ехавшего верхом на тощем быке

с продернутой сквозь ноздри волосяной веревкой. Казах ответил: «Озеро — Балхаш, а города нет,— это степь издевается».

Мог ли я думать, что через два-три десятилетия на берегу этого пустынного озера, в камышах которого тогда еще водились тигры, вырастет Большой Город Меди? Мог ли я думать, что вдоль тракта появятся богатые колхозы и совхозы, тракт превратится в железную дорогу — Турксиб, станицы — в города с театрами, институтами, библиотеками, фабриками, заводами? Мог ли я думать, что два захолустных городка, в сотнях верст от железной дороги, превратятся в столицы и даже будут иметь свои академии?

Мог ли я, наконец, думать, что не одинокие странники-мечтатели, безземельные, безработные, что месили прежде пыль этого Сибирского тракта и вливающихся в него проселочных дорог, а молодые ученые, юноши, люди новой, советской страны, нового социалистического общества, тысячами поедут сюда, чтобы поднимать целинные земли?

Тогда Мухтар проговорил:

— А не пора ли, Всеволод, рассказать этим молодым людям грустную и забавную повесть о том, как шел ты здесь, ища Индию?

Я ответил:

— Трудно! Многое забыто, а многое придется добавить из жизни других, чтобы образы моей юности стали убедительными и правдоподобными. Боюсь, что эти добавления покажутся чванством и хвастовством. Да, да, хвастовством!

Мухтар сказал:

— Одному покажется, а другому нет. А в общем, почему бы не попробовать?

— Попробовать, конечно, можно.

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ПРИУРАЛЬСКОМ ГОРОДКЕ

После работы хожу по улицам. Томит легкая усталость и ощущение приближающейся весны, хотя на дворе всего лишь февраль.

Я люблю этот город. Он довольно обширен, есть заводы, мельницы, две типографии, большая общественная библиотека. Главное, я встретил здесь немало умных и ученых людей. Жаль покидать Курган!

А, по-видимому, придется. По ту сторону Урала, «в России», как говорим мы, сибиряки,— голод. Переселенцы хлынули в Сибирь.

Голод гонит не только крестьян. Заводских рабочих и ремесленников он тоже коснулся. В Сибирь пробираются безработные. В Курган приехало несколько наборщиков. У одного — Рудакова — огромная семья: жена, свояченица, четверо малых детей, трое стариков — и все босые, раздетые, ненакормленные. Собрали Рудакову кое-что по «подписному листу», но надолго ли хватит? Рудаков каждый день приходит к воротам нашей типографии и долго, молча стоит, оглядывая нас узкими просящими глазами. Надо уйти из типографии, чтоб уступить ему свое место. А кому уйти? Большинство рабочих или семейные, или коренные курганцы, которым трудно бросить родной город. Я приезжий. Мне легче.

Легче ли?

Двадцать четвертого февраля — день моего рождения. Накануне получил два письма: от моего отца и от дяди — подрядчика Петрова. Отец служит учителем в поселке далеко на Иртыше, возле Павлодара. Дядя, как всегда, подрядствует между Омском и Семипалатинском; он строит дома, магазины, мельницы — и строит все одинаково плохо, криво и дорого. Сейчас у него какие-то крупные переговоры с Калмыковым, семипала-

тинским воротилой, сын которого гостит у курганского купца Смолина. Не из-за этого ли сына воротилы написал мне дядя поздравление? Он даже приглашает меня в гости! «Ты бы зашел к Борису Глебычу Калмыкову,— пишет дядя,— передал от меня поклон, познакомился. Больших возможностей человек!»

Отец пишет о другом. Зимой в рождественские каникулы побывал он в Семипалатинске. Город не узнать! Общественная жизнь бьет ключом. «Может быть, оттого, что степь нонче лучше покупает, а может быть, оттого, что в этом году много ссыльных? Ты, если не ошибаюсь, пошел в меня: интересуешься Востоком? Здесь появилось порядочно людей, интересующихся Востоком, и среди них я выделил бы Скурлатова. Ума и знаний — палата! Хотя, казалось, откуда бы знаниям? По происхождению — рабочий, по профессии — ткач, по военной службе — матрос. А вот интересуется Востоком и современной Индией».

Индия!

Перед тем как поступить наборщиком в курганскую типографию, я служил в ярмарочных балаганах и скитался с ними по селам Предуралья и Урала. Я был там клоуном, борцом, гипнотизером и факиром, зарабатывал, чем мог, на хлеб. Но мне не хотелось солить хлеб своими слезами, и я посыпал его сахаром своих надежд. «Во что бы то ни стало я достигну таких вершин факирского искусства, что затмлю всех факиров Индии!»— думалось мне.

От балаганов, факирских надежд остались лишь две-три афиши да кое-какие «принадлежности для опытов». И еще Нубия, старая цирковая лошадь. У нее почти человеческие глаза, необычайно плавная походка и, кажется, больше, чем у меня, надежд на Индию: если курганские кожевенные заводы будут вывозить русскую юфть. Кормить мне Нубию нечем. Мне самому еле хватает «на хлеба», на починку обуви и одежды; иногда с большим трудом наскребаю я три-четыре рубля, чтобы послать домой матери: отец мой крайне беспечный человек и о пропитании семьи думает мало. Поэтому я уступил лошадь свою водовозу. Разумеется, на время.

И я продолжаю размышлять:

«В России — безработица. Значит, вернуться в глубины Сибири? В тьму? Мало я ее видел, что ли? Да, нет другого пути как в Омск, а оттуда, Иртышом,

в Семипалатинск. Но как быть с Нубией? Оставить ее курганским живодерам? А с другой стороны, Иртыш во льду, от Омска до Семипалатинска другой дороги нет, и я могу ехать по тракту верхом на Нубии, не дожидаясь весенних пароходов. Очень хорошо!»

И вот я возле дома извозчика Марцинкевича, где «стою на хлебах».

Со двора слышен грохот тяжелой плетенки. Пан Марцинкевич готовится к ночной «бирже».

Дом оглашают трелями две его дебелых племянницы,— от них Марцинкевичу, кроме пения, толку нет. Девушки называют себя модистками. Я живу здесь свыше года и не видал у них ни одной заказчицы. Шьют лишь себе, поют дома и в церковном хоре, изредка на купеческих торжествах и — счастливы. За одной отчаянно ухаживает почтальон Глухарев, а на другую пристально поглядывает молодой купец Дмитрий Смолин. Марцинкевичу это не нравится. Купцу ли жениться на племяннице извозчика? Правда, дела Смолина пошатнулись. Говорят, что приехавший из Семипалатинска Борис Калмыков, сын поставщика кож, торгует у Смолина кожевенный завод. Тем более нет нужды Смолину жениться на малосостоятельной. И, кажется, Марцинкевич не прочь выдать племянницу, облюбованную Смолиным, за меня.

Извозчик Марцинкевич, веселый, румяный, с седыми подусниками, вдов и сам убирает дом, готовит обеды и превосходно печет белый хлеб. Бывший солдат «японской кампании», он и поныне ведет суровую жизнь: зиму и лето спит на кухонной печи без подстилок и одеяла.

За кухней — крохотная проходная комнатка. Ее занимают племянницы — Зося и Стефа. Хлеб за столом они откусывают нежно, но когда дело доходит до мяса, скулы у них розовеют и волосы на висках курчавятся от пота. Когда я утром прохожу через их комнату, две пары влажных глаз встречают и провожают меня очень внимательно. У подушки с ситцевой наволочкой замечаю кончик коленкоровой рубашки. «Смотрите вы, козявки!» — нежно думаю про себя. Какие там козявки! Младшая, Зося, длинна, тонка, крепка, что же касается Стефы... Ах, эта пухлая, сильная Стефа!.. Ею-то и пленился купец Смолин.

Чертовски не хочется уезжать! Даже на ощупь приятны эти курганские дома из толстых и темных бревен. А как тепло в них зимой и прохладно летом. А как приятно покачиваются и поскрипывают под твоей ногой деревянные тротуары.

— Господин Иванов, не откажите в любезности... Письмо. Зосе...

Приближается Глухарев, стройный, худенький почтальон. Какие у него тоскливые большие глаза! И как дрожит рука, в которой он держит письмо. Он болен. Я уважаю эту болезнь. Она называется любовью. Письмо Зосе от него самого. Письмо, знаю, заканчивается обычно так: «Предлагаю вам, Зося, от чистого сердца руку и замужество». Зося улыбнется. Она не отказывает почтальону, нет. Она размышляет. Она слегка неравнодушна ко мне. А я, видите ли, не выбрал еще, кого больше люблю — Зосю или Стефу.

— Давайте, передам.

Я протянул было руку за письмом.

Почтальон вдруг резко поворачивается.

Топот. Гиканье. Колокольцы.

Бешено мчится пара соловых!

Экипаж купца Смолина. В экипаже, рядом со Смолиным,— в енотовой шубе и белой папахе Борис Глебович, сын знаменитого семипалатинского воротилы Калмыкова. Каков он, хоть бы разглядеть?

Где разглядишь!

Навстречу соловым, сильно выбрасывая длинные ноги, в воротах показывается вороной конь Марцинкевича.

Столкнутся, если не предупредить!

Пятьдесят шагов, тридцать — до столкновения!

«Вот случай, когда почтальон Глухарев проявит, с великой для себя пользой, отчаянную храбрость. Надо только предупредить его, разиню!»— думаю я.

И кричу:

— Хватай, почта, вороного под уздцы!

Почтальон от испуга и удивления недвижим.

— Эх, голова бесталанная! Недаром фамилия — Глухарев!

— Именно Глухарев,— бормочет почтальон дрожащим голосом.

Набравшись смелости, я быстро, по-цирковому, хватаю вороного за узду.

— Помогай, почта!

Ремни крепки, сухи.

— Держаться за ремень, почта!

Конь вздыбился.

Марцинкевич, побледнев, затем побагровев от напряжения, тянет вожжи. А почтальон по-прежнему недвижим, балда!

И сани замирают в воротах.

— Господи, спасен! Какое счастье! — кричит почтальон Глухарев.

Опомнился.

— Да счастье-то мне, а не тебе,— говорю я.

— Именно.

На глазах почтальона слезы. О чем он плачет, бедный? Я глажу его волосы.

— А Смолин даже не повернулся в вашу сторону. Укатил, не поблагодарив.

Я говорю небрежно:

— Страшно мне нужна его благодарность.

Благодарность мне действительно не нужна. Нужно другое — встреча с Борисом Глебовичем. Теперь-то я непременно уеду в Семипалатинск. Борис Глебович сообщит там, как некий незнакомец спас его. Провинциальные нравы известны: все скоро будут знать имя великодушного незнакомца, хотя в глаза мне, быть может, из мизерности своей, ничего хорошего и не скажут.

Вот, например, здесь. Русский извозчик непременно обнаружил бы в моем поступке какое-нибудь гнусное намеренье. Поляк понимает благородство. Марцинкевич обращается ко мне с уважением и нежностью.

— Пан Всеволод, а ведь мой вороной-то урослив! Мог затоптать вас, искалечить!

— Господин Марцинкевич,— скромно отвечаю я, не поднимая головы,— смирнее вашего вороного и коня нет.

— Эй, Стефа, Зося! Пана Всеволода истоптали: перевязать!

Бегут племянницы с полотенцами и ватой.

— Пан Всеволод, на ноге кровь!

— Да нету, пани Стефа!

— Ах, пан Всеволод, и на руке!

— Пани Зося, никакой крови.

Усаживаясь на козлах, Марцинкевич словно пошатнулся от счастья. По его мнению, жизнь племянниц уст-

роена. У одной будет послушный и робкий муж — Глухарев. У другой — и не послушный и не робкий пан Всеволод. Счастье — это ведь равновесие.

— Что же касается пана Смолина,— говорит он строго,— я буду иметь случай говорить с ним искренне. Вы слышали о станции Арыси, пан Всеволод?

— Нет.

— Железнодорожная, между Ташкентом и Оренбургом. От нее Семиреченское акционерное общество ведет на Верный железную дорогу, Калмыков то есть. Большие капиталы, большие доходы, большие заработки. Даже у извозчиков. Вы про Кузю тоже не слыхали?

Он указывает на Зосю.

— Из ее бывших женихов. Извозчик. Умница!

— Ах, оставьте, дядя!

— Он мне написал — он в Омске сейчас — «...поезжайте, пан Марцинкевич, на станцию Арысь. Там кони ступают по сторублевым бумажкам». Ну, сторублевые куда, дай бог хоть трешку под копыто! Я и подумал: «А не открыть ли тебе, Марцинкевич, на старости лет Индию?»

— Какую Индию!

— А помните, пан Всеволод, вы читали про индийские богатства и про этого, как его? Васька не Васька, а вроде.

— Васко де Гама?

— Вот, вот! Что я, хуже его? Да и вам помогу, пан Всеволод. От станции Арысь через Бухару до Индии рукой подать. Идите туда, раз хочется. Кто из вас, девицы, будет сопутствовать пану Всеволоду?

Девушки без смущения смотрят на меня ясным взглядом.

Действительно, кто?

Я говорю, напряженно посмеиваясь:

— Придется мне, верно, ехать передовым?

— На Арысь?

— Да.

— И поезжайте!

— А как же Нубия?

— Нубию я приведу вместе со своими конями. Говоря откровенно, извозчичьи заработки в Кургане день ото дня хуже.

— Да и у меня не лучше.

Стефа вдруг сказала:

— Верьте в свою звезду, пан Всеволод! Ваша звезда яркая.

И она пристально уставилась в мои глаза.

Мне действительно повезло.

Подвернулась сверхурочная работа: годовой отчет курганской городской управы. День и ночь набирал я бесконечные цифры, вставляя и выравнивая их между медными линейками. Глаза слипались. Покачивало. В обед засыпал на полчаса. Просыпался со свинцовой головой, сухим ртом, резью в глазах. И опять вкладывал литеры в верстатку, забивая шпации, шпоны.

И, закончив сверхурочную, уныло сказал фактору:

— Уступаю место Рудакову. Расчет прошу.

И сразу же, чтоб долго не раздумывать, купил билеты.

Провожая меня, пан Марцинкевич спросил:

— Из Омска на Арысь?

И добавил:

— Помните, в Омске, на Проломной, в обозной конторе служит Кузя. Он поможет.

Когда на железнодорожной станции я прощался с Зосей и Стефой, меня мучило раздумье. Которую же из них поцеловать? Естественно, что та, которую я поцелую, будет считать себя моей невестой. И я поцеловал их обеих. Они ответили мне с одинаковым жаром.

БУРАН У ИРТЫША

Всюду — перед вокзалом, в самом вокзале, на перроне, в вагонах, между вагонами — толкались, ругались бедно одетые, тощие мужики, бабы, навьюченные узлами, ящиками, ведрами, окруженные детьми, старухами и стариками. Безземельные, чуя весну, ехали на несуществующие «свободные земли», на какой-то сказочный «зеленый клин», какие-то «вольные места».

Я усаживал в вагон для скота Нубию. Именно усаживал, так как она усиленно стремилась к полу вагона той частью своего тела, па которой помещается хвост. Переселенцы смотрели на мои усилия спокойно. Кабы насмешки, их легко было бы пересилить, гордясь своей привязанностью к Нубии. Тяжелее слушать спокойные рассуждения, сквозь которые чувствуется не столько ирония, сколько удивление:

— А сказывали — в Сибири скот жирный.
— Значит, не весь.
— Эка животина: через кожу скелет видно.
— Сало и мясо вынули, ну а кожу и кости оставили. Она и вертит головой: сама в себя не верит!
— Ребятушки, да она ведь с того света!
— В аду на ней грешников возили. А и те забастовали!
— Это, ребятушки, нам предсказание. Скелеты ждут нас в тех «вольных местах».
Да, вольные места!
И я разве не ищу те же вольные места?!
А нахожу — бедствие!
В Омске я с трудом отыскал ночевку на постоялом дворе. От множества людей в низком и длинном помещении сыро, душно, тесно. К ночи возвращаются старики и дети, собиравшие подаяние. Считают собранные куски, пробуют сушить их на печке: кусков много, на печке они лежат грудами, плесневеют. Купив три мешка полузаплесневевших кусков, чтобы кормить Нубию, я заморозил их на сеновале.
Бедствие!
Встревоженный, обошел омские типографии. Нет ни заказов, ни работы. Уволена половина наборщиков и печатников. Уволены даже те, кто были смирным-смирны перед хозяевами, не состояли в профсоюзах. «Омский вестник» в отделе «Происшествия» печатает описания самоубийств с таким удовольствием, словно приглашает читателей сделать то же самое.
— Как же мне быть? — спросил я одного знакомого наборщика. — В Семипалатинск верхом?
— Одному? Не советую. Зима суровая: «джут», гололедица, снежные бураны и морозы повалили много скота. Свалишься и ты. На Проломной улице ищи контору Калмыкова. Оттуда через Павлодар на Семипалатинск по тракту каждую неделю идут обозы. Обратись к некоему Кузе. Он прицепит тебя к обозу.
Опять Кузя, бывший жених!
Но деваться некуда, и я пошел в контору.
— Вы Кузя?
— Я — Кузя.
— Я из Кургана, от Марцинкевича.
— Писали. Идите скорей к Митяичу, выезжаем.

Митяич, старший возчик, с толстыми усами и редкой рыжей бородой, осмотрел меня внимательно.

— Сильны ветра в степи. Хлибко ты одет, парень.

На мне подшитые короткие валенки, хлопчатобумажные шаровары, такая же куртка на ситцевую рубашку, а поверх — довольно тощее пальто с вытертым воротником-шалью из кенгуру. Нет теплого шарфа и меховых рукавиц. Купить бы, да на что?

Правда, в деревянном сундучке хранится дряхлый длиннополый сюртук, гуттаперчевая манишка, такие же манжеты, галстук-«бабочка» с той грязной маслянистостью, которая издалека кажется атласной, бронзовые запонки, оставляющие зеленый отпечаток не только на манишке, но и на пальцах; пять-шесть книг; тетрадка со стихами; мои афиши; ящик с гримом; кое-какие «факирские принадлежности», необходимые для «опытов», и, наконец, письменный прибор из плохой уральской яшмы. Продай все это — рубля не выручишь! Пошел на толкучку, попробовал. Торговцы только посмеиваются: «Своего такого много!»

Послать бы отцу телеграмму, купить бы подарки! А где взять денег? Ну, подарком посчитаем письменный прибор. Он достаточно тяжел, чтобы отец мог рассказывать, будто прибор попал к нему в русско-японскую войну. Прибор-де раньше принадлежал китайскому императору, который вздумал писать по-европейски: чернилами и пером...

Я никогда не перестану удивляться могучей фантазии моего отца. Да, хорошо бы «отбить» телеграмму. Отец пользуется в станицах громадным уважением. Я воображаю: по укатанному снежному пути мчится верховой казак из Семиярского почтово-телеграфного отделения в поселок Лебяжье. Время от времени он сдергивает малахай и вытирает им лицо, мокрое от волнения. Он кричит встречным: «Депешу везу!» И скачет мимо с такой быстротой, что они могут подумать, будто верховой везет депешу учителю Иванову от самого русского царя!..

Итак, мне предстояло вступить в степи киргизского края, в эту гигантскую страну, на которой свободно могли бы поместиться Франция, Германия, Италия, Испания! Перечисляя эти государства, я мысленно укладывал их рукой на бесконечное пространство, говоря самому себе: «Ему предстояло проехать с обозом до Се-

мипалатинска семьсот двадцать семь верст зимним путем по бесконечной равнине, и этот путь — точно капля безбрежного моря!»

Мы вышли из Омска в ясный день.

Мороз слабый. Дорога то приближалась к Иртышу, то отходила. Снег в оврагах почти закрывал кроны деревьев. Река ровна. Только кое-где волнистые сугробы указывают, что под ними лежат глыбы, вздыбившиеся во время ледохода.

Отлично! Ехать не холодно, не дорого, не плохо.

Ногам моим там, где их защищали валенки, было тепло, но там, где их покрывала хлопчатобумажная ткань, холодновато. Ничего! Стерпим. И я, попрыгивая, ждал казачий поселок, ночлег и отдых.

Солнце скрывалось.

И одновременно показались дымы над трубами поселка, избы которого уже лежали во тьме. Закатные лучи солнца как бы качали эти дымы, сталкиваясь между собой.

Вечером я читал возчикам книги или изображал в лицах то замечательное, что я видел в своей жизни или что было легче изобразить — воображаемое. Возчики угощали меня щами, а иногда и пельменями. Я не всегда мог заказать себе обед и питался главным образом сухарями, выбирая наименее заплесневевшие из тех, что заморозил для Нубии.

Моя Нубия чувствовала себя замечательно. Вначале она шла привязанной к последней подводе обоза, а позже ее стали впрягать в помощь какой-нибудь недомогавшей лошади. Впрочем, эти казахские лошади, косматые, короткие, с большой опущенной головой, поразительно выносливы и отлично чувствуют дорогу. На худой конец, они, пожалуй, обойдутся и без ямщиков.

— В Семипалатку, значит, типографский? — спрашивал меня Кузя.

— Ага.

— Та-а-ак! К Скурлатову? — добавил он вдруг тихо.

Я вспомнил письмо отца и упоминание о Скурлатове.

— Постой, откуда ты знаешь Скурлатова?

Он подмигнул.

— А ты? Мы, брат, много знаем, да — молчок. И про Скурлатова, и про твоего отца, и про тебя. Это ты из каких соображений нашему хозяину не дал разбиться?

— Какому хозяину?

— Младшему.

— Борису Глебычу, что ли?

— Ему.

— Да не Бориса Глебыча мне стало жалко, а пана Марцинкевича.

— Сказывай! Пана Марцинкевича бревном бей, не поцарапаешь. Нет, у тебя хитрые мысли.

И, сбрасывая сосульки с воротника тулупа, Кузя вернулся в дальний конец обоза. Оттуда слабо донеслось:

— Ты, типографский, про бураны помни!

Да, бураны!

Быстро забываешь испытанное!

Некогда именно в этих местах перенес я страшные бураны. Собираясь сюда, мне вспомнить бы их. Не вспомнил. Тогда они вспомнили меня.

Ветер стал выкидывать снег на дорогу сначала пригоршнями, затем — лопатами, а там — и возами.

Спрыгнув, я бежал рядом с подводой. Но снег скоро стал глубоким, ноги вязли. Кроме того, было боязно отстать.

Иногда метель стихала. Я оглядывал равнину и думал: «Как все голо, величественно. Как все страшно! Хоть бы рощица! Постоять бы в лесу, костер разложить, погреться, из-под снегу достать горсть мха...» Не знаю почему, но, глядя на мох, я необыкновенно ярко вижу картину знойного лета. Когда даже в лютые морозы дотрагиваюсь до его высохших хрупких веточек, мне кажется, что они излучают тепло.

Торчат лишь скелеты сосен, телеграфные столбы, прямые, безмолвные, уходящие в бесконечность. Не верится, что бывают цветы, ягоды, что направо за яром, внизу, у Иртыша, цветет черемуха, калина, колышутся тополя, смотрятся в омуты ивы, а им навстречу выпрыгивают из воды большие веселые рыбы.

Около полудня Митяич, старший возчик, остановился и, глядя в сторону ветра, приказал: «Подводам держаться ближе!»

— Главный буран забуранивает? — криво улыбнувшись, спросил я.

— Не, подглавный. Главный будет за Павлодаром.

Ветер яростно засвистел. Мгновенно скрылись из глаз провода, телеграфные столбы и накатанная желтоватая дорога.

И завыло, и стало тесно и липко.

И все-таки сквозь вой мы расслышали что-то похожее на отдаленный топот. Обоз остановился. Митяич приказал:

— Встать каждому меж подводой и мордой коня! Может, удержим стадо.

Разглядели большое стадо и мелькавшие в снегу блестящие рога. Пастухов не было. Отстали?

— Буран гонит. А в буране никак волки?

— Они. Воют! Джут, гололедица, падёж...

— Братцы, ну-у и жутко ж!..

— Бог даст, удержим стадо-то,— сказал Митяич.

Обоз наш длинный, и еще присоединились к нам незадолго перед бураном три чьих-то обоза. Мы и растянулись едва ли не на версту.

— Этаким санным частоколом да не удержать!

Стояли неподвижно, в надежде, что обезумевшее от страха стадо кинется искать возле нас спасения.

Но животные были крайне перепуганы: кто знает, за кого они приняли нас! Стадо потопталось, постояло молча несколько минут, а затем, мыча, исчезло в снежной мгле. Буран гнал его к Иртышу, к ярам, к крутым иртышским берегам!

— Эй, эй, э-эй!..

Сбившись в кучу, мы долго кричали, рассчитывая, что на крик прибегут пастухи и мы укажем, в какую сторону угнано стадо.

Затем старший возчик сказал:

— Под яр, полагаю, свалились. А внизу суметы в три сажени, гибель. Двигай дальше, ребятушки.

Мело еще часа два, и наконец буран улегся.

Навстречу, через сугробы, шел сборщик Духовной киргизской миссии, длинноволосый, бородатый, с большой кружкой на груди, с котомкой и посохом. Ему лет сорок, он высок, широкоплеч и, по-видимому, очень силен. Он шел, держа шапку в руке, и налетевший ветер вскидывал кверху его густые волосы, подернутые снегом.

Узнав о погибшем стаде, он спокойно сказал:

— Бог карает. Мало храмов строим!

— В Расее их настроено вдесятеро больше, чем в Сибири. Лет тыщу стоят! А все равно голод,— сказал задорно Кузя.

— Бог карает!

— Нельзя же тыщу лет карать,— не унимался Кузя. — Этак люди рассердятся и сами бога покарают, а?

Сборщик промолчал.

— Откуда?

— Из Семипалатинска. Отправляют каждый день. Казачий собор воздвигаем. Выше Исаакия!

— И подают?

— Никогда так много не подавали! Надеются: построим храм — джута не будет. А киргизы собирают на свои мечети. Бог один — вера разная.

— Веры разные, да глупость одинакова,— сказал Кузя. — Значит, от Павлодара идешь? Что ж, здорово дует под Павлодаром?

— Рта открыть нельзя, чтоб плюнуть.

И сборщик, размахивая посохом, прошел мимо нашего обоза, кланяясь каждому возчику отдельно. И только один из возчиков, самый молодой, Арсенька, широко перекрестясь, положил ему в кружку медный пятак.

— Да, видно, дурное ждет нас под Павлодаром!

Вечером на постоялом, «угояв», убрав лошадей, Кузя забрался ко мне на полати и, положив под голову сухие руки, тихо спросил, глядя в потолок:

— А раз не к Скурлатову, значит — от воспаления бежишь?

— От какого воспаления?

— Да к Зосе.

— И ни к Зосе, и ни к Стефе я не воспален.

— Побожись!

Я побожился.

— А я, брат, ух как воспален! И не от чахотки я подыхаю, а от воспаления. Скажи она: «Вырывай свое сердце, Кузька!»— вырву. Да не нужен я ей. Давай спать.

И мы мгновенно заснули.

Под Павлодаром ветры стихли, зато морозы ударили необычайные. Сколько я ни укутывал сеном ноги, сколько ни бежал рядом с подводой или впереди обоза,— никак не согреться! Митяич, строгий возчик, достал какое-то тряпье. Я завязал им уши, накрутил вокруг шеи.

Ах, с каким удовольствием увидал я павлодарские ветряные мельницы, крылья которых застряли в сугробах!

В Павлодаре отдыхали два дня. Я чувствовал себя усталым, продрогшим, не покидал постоялого двора. «Мне ли переносить новые бураны и морозы? Но предложи — оставайся в павлодарской типографии с жалованьем в пятьдесят рублей,— не останусь. Нужно вернуться в Павлодар если не со славой, то хотя бы с ничтожным почетом! А кем я вернулся? Кто меня кормит? На последние гроши из нищенского своего заработка обозные возчики!»

Наконец из Павлодара выехали. «Авось минуем бураны»,— думал я.

В небе тихо, морозно, ясно.

Так почти до самого Лебяжьего: мой родной поселок был уже не больше, как в десяти верстах.

— А морозит, братцы! — вскрикивал Кузя.

— Мороз — тьфу, раз шагать можно!

— Неумытый ахтер, ты веселишься? — продолжал шутить Кузя.

— Веселюсь,— отвечал я полузастывшими губами.

— Веселись, а то непременно будет тошнехонько: Павлодар, он таки даст свое! Он не отстанет.

И Павлодар не отстал.

Тишина такая, что слышно, как у передней лошади шлея трется о закуржавевшую шерсть.

И вдруг со стороны Иртыша выскочил буран силы необычайнейшей! Гривы и хвосты коней вытянулись влево, стали словно деревянными.

Митяич на бегу крикнул мне с азартным и каким-то ужасающе-веселым лицом:

— Ух, придерживай жизнь, неумытый ахтер!

Дуло так сильно, что, когда я вылез из саней, сено, которым я укутывал ноги, со свистом взлетело вверх и исчезло. Сани хотя и в двух шагах, но слабо различаешь их.

Я снял со своего сундучка веревку, привязал ее к передку саней и, держась за нее, побежал, чтобы согреться.

Замечательно встретила меня родина!

Холодно, так холодно, что я не помнил себя, не помнил, куда шагал, что думал, что шептал, зачем держался за веревку. Опять пробежал Митяич. Хлопнул по плечу огромной кожаной рукавицей, крикнул. За воем метели я не расслышал, что он хотел сказать. Отчаяние

охватило сердце. Я проклинал себя. Смеялся над собой. Жалел себя.

Пальцы леденели. Я совал их за пазуху. Но и там снег. И вот это очень страшно. Я взывал то к отцу, то к своему мужеству, а ветер с каждым мгновением дул, казалось, в десять раз сильнее прежнего. Поднимешь ногу — и чудится, что ставишь во что-то похожее на водоворот или течение горной реки. Я тащился, тащился и в какую-то минуту,— ах, как стыдно писать! — я, безверный, воззвал к богу.

И сам на себя разозлился, отчего и прошел несколько шагов более твердо.

Вновь обессилев, упал, выпустил бечевку и потерял из виду сани. Хватит! Не могу! Да и не стоит ни понимать, ни спасаться: погибаю.

Вдруг сквозь холод и метель, которые стали безразличны, но которые отдаленно ощущались, я услышал, как возчики перекликались длинными степными воплями, подбадривая себя, лошадей, может быть, меня:

— О-хе-ге-ей!.. О-хе-ге-ей!..

— А-ах-тер!.. А-ах... аа...

Вопль показался необычайно знакомым, добрым. И не знаю, откуда взялись силы. Я прыгнул — и попал в передок своего воза! Славно! Замерзать, так хоть в движении!

Минуту спустя возле опустилось что-то теплое и мягкое. Над ухом слышен тонкий голос возчика Кузи, такой ласковый, каким я никогда его не слыхал:

— Эй ты, неумытый ахтер! Колокол, слышишь? Колокол!

Я не обиделся на «неумытого ахтера»,— прозвание, которое возчики употребляли часто. Я прислушивался к звукам колокола. Но ведь в нашем Лебяжьем нет церкви?

— Никак, Кузя, действительно колокол?

— А как же! Колокол.

Кузя тормошил меня, кричал на ухо песни, грел руки и лицо полою своего тулупчика. И я слышал явственно колокол! Он звонил торопливо, часто, как набат в пожар!

— Знамо, колокол!

Кузя ложился на спину, хохотал и тряс в воздухе ногами. Я видел только верхнюю часть его темных валенок, ту, что возле колен,— головки валенок уже ухо-

дили в снежную мглу. Он опрокидывал меня на спину, крича:

— Пляши! Колокол!

И я, согревшись от этой пляски, повеселел.

И тут мы разглядели сквозь густые снежные потоки железную крашеную крышу школы. Лебяжье! Только церкви никакой нет.

Я сказал с недоумением:

— Кузя, а как же это мы колокол слышали?!

— Какой колокол? Думаю, парень замерзает, я и крикни: «Колокол!» Пошутил.

— Милый ты, Кузя!

МОЙ ОТЕЦ, ЛЕБЯЖИНСКИЙ УЧИТЕЛЬ

Обоз остановился. Возчики вошли вместе со мной в школу.

Как тут тесно, темно, холодно. Мать топила комнату камышом и, увидев меня, выронила связку на пол. Последнее дело — казаку топить камышом! Камыш трещит, лопается, летят искры, того гляди попадут гостю в глаза или на волосы. Мать бросилась ставить самовар, шепнув мне на ухо: «Нет ни чаю, ни сахару. Не привез ли ты?» Брат лежал на печке в бреду. Возле него — бутылка с настоем осиновой коры, которую у нас употребляли вместо хины.

— Хины бы настоящей купить, да нет денег! — сказала мать.

Возчики, понимающе переглянувшись, вышли.

И обоз медленно, размышляя над бедностью жизни, двинулся.

Я выпил стакан горячей воды и съел ломоть черного вязкого хлеба. Мать смотрела на меня печально и смущенно. Казаку есть черный хлеб так же позорно, как и топить печи камышом.

— Где отец, мама?

— Отправился в Семиярскую станицу. Хочет просить в счет жалованья пуда два муки и хоть немного баранинки. А ты как?

Что я мог сказать матери? Я положил в карман ее коленкорового фартука, прожженного углями, почти все мои деньги и побежал догонять обоз. «Родное тепло?

Дом? — думал я. — В иные минуты, право, лучше замерзнуть от бурана, чем дома от тоски и невозможности помочь!»

Мы ночевали в Подпускном, миновали Кривинский и наконец въехали в станицу Семиярскую.

Здесь у каменной церкви, старинной, построенной, когда станица была еще крепостью, я нашел своего отца. Он держал в руке телеграфный бланк. Лицо его сияло.

— Стою на половине пути между Павлодаром и Семипалатинском и жду тебя, Всеволод!

— Откуда тебе известно, отец, что я еду?

— Получал, знаешь, корреспонденцию из московского Лазаревского института, а тут вручают твою телеграмму!

— О?!

— Чего: о-о? Вот она! Читай!

И я прочел на телеграфном бланке приблизительно те слова, которые хотел послать отцу из Омска и не послал!

Тогда я достал яшмовый письменный прибор и, подождав, чтоб возчики подошли, торжественно передал его отцу.

Отец принял прибор тоже торжественно, но ответил небрежно, чтобы не уронить достоинства:

— Сгодится, сгодится! Я из Иерусалима привез такой же, да его школьники разбили. А ты все-таки, несмотря на свое балаганное гаерство, хороший сын.

— Благодаря тому, что ты не гаер, ты лучший из отцов, отец!

Отец, по случаю моего возвращения на родину, захотел отслужить благодарственный молебен. Поп в Семиярской приличный.

Из церкви вышел священник, молодой, с усталыми, печальными глазами, и пригласил меня, моего отца и даже возчиков на обед. Возчиков, правда, кормили на кухне, но они остались довольны. Им, особенно Кузе, казалось, что уже началось мое счастье.

За обедом опять говорили о джуте, о том, что погибли сотни тысяч голов скота, что казахи-земледельцы продают последнее зерно, чтоб купить сено для скота, что зерно скупает миллионер Калмыков и что волки очень портят на павшем скоте шкуры: замерзший скот не сразу находят. А я дрожал от довольства. Еще бы

не дрожать! Сижу в теплом доме, вижу в переднем углу на столике рядом с потертой епитрахилью номера журнала «Родина», и отец рассказывает, как перевел четыре арабские и три персидские книги: какую-нибудь из них удастся же продать издателю.

— А сейчас задумал написать книгу о фомистах и несторианах.

Поп сделал понимающее лицо, я же наивно признался, что мне эти слова ничего не говорят.

— Скурлатов помогал собирать материалы, — добавил отец.

— Еще менее ясно!

Тогда отец пояснил:

— Несторианство и отчасти фомизм — религиозные движения, возникшие в Византии, а затем перебросившие свою деятельность в арабский халифат и Индию. Эти движения, по замечанию Скурлатова, возглавлялись национально-освободительными силами, преимущественно сирийцами. Они принесли несомненную пользу человеческой культуре. Несториане, например, перевели на арабский язык ценные памятники древнегреческой письменности. В Средней Азии с помощью сирийцев-несториан было основано государство, существовавшее семь веков. Семь веков без высокой культуры не проживешь! Кстати, Всеволод, я могу прочесть на этот предмет новеллу из моей книги...

— Лучше в другой раз! — говорю я и думаю: «Как мой отец замечателен!»

И как было бы хорошо, если б издали хоть одну из его многих рукописей. Тогда наконец он смог бы учиться в московском Лазаревском институте, куда экстерном сдал экзамен, как только наказной атаман, увидев в Семипалатинске лихие его упражнения в джигитовке, дал ему первый офицерский чин, шашку с надписью и предложил преподавать верховую езду в Омском кадетском корпусе.

В кадетский корпус отец мой не поехал, а, став офицером, дворянином и вдобавок студентом Лазаревского института, воспылал почтением к царствующему дому, к которому прежде относился довольно иронически. Будучи человеком крайним, он начал называться монархистом и всячески двигать себя — на словах, конечно, — в высшие круги. Он не постеснялся опорочить свою мать, говоря, что она родила его незаконно

от наместника Туркестана генерал-адъютанта Кауфмана. Бабушка моя, Дарья Осиповна Бундова, действительно в год рождения моего отца служила экономкой у какого-то малозначительного генерала, но отнюдь не у Кауфмана, и не в Ташкенте, а в Самаре.

Жил мой отец нище, а семья его тем более. Он любил города, монастыри, особенно такие, где обширные библиотеки. Отыскивая нужные книги для «письменных трудов», он часто исчезал из дому — обычно пешком. Начальство злилось, увольняло его, но так как он был учителем редких способностей, его принимали в какой-нибудь другой учебный округ. Кстати, следует добавить, что отец мой был превосходнейшим пешеходом и он запросто отмеривал сто или двести верст.

Выслушав мой отказ, он сказал спокойно:

— На другой, так будем читать на другой раз. У Скурлатова. Я приду в Семипалатинск, к тебе и Скурлатову.

— Вы все здесь только и говорите о Скурлатове.

— Стоит!

— Новая твоя сказка?

Он засмеялся, нежно глядя на меня.

— Ты прав: сказки нужно обновлять. Но самую удачную приятно и повторить. Очень жалею, что не захватил сюда свой мундир студента Лазаревского института. В нем мне легче рассказывать. Вообще я заметил, что красивая одежда помогает убедительности рассказа.

— Но ты же сам утверждал, что в бухарских чайханах самые лучшие рассказчики — оборванцы.

— Они уже научились фантазией одевать себя в одежды, которые пышней одежд царей и халифов! Мне до этого состояния еще далеко.

И затем самым обыденным тоном сказал:

— Но главное, воспитывай в себе радость жизни: она — начало всех наук, ключи их.

Отец долго сопровождал наш обоз.

Под Черемуховским поселком обоз выехал в длиннейшую и плоскую равнину, с которой ветер согнал снег. Равнина была совсем черной. Отец остановил коня, чтоб возможно дольше видеть уходящий в эту черноту наш обоз, запорошенный снегом.

А немного погодя снова подул буран.

Трудновато при таком буране воспитывать в себе радость жизни! Буран выдувает не только радость, но и жизнь.

Подбежал опять Кузя.

— Слышь, неумытый ахтер! Отец-то твой приятель Скурлатову?

— Вроде.

— Тоже ревционер?

— Революционер? Ну, в некоторой степени.

— Хорошо!

— А чем?

— Да как же! Одна умнейшая голова — чудо, а две — мир перевернут.

СКУРЛАТОВ

Отец мой ничего, кроме чтения своей рукописи, мне не обещал. Дядя Василий Ефимович посулил три короба. Обрадовался он мне до приторности и сразу начал восхвалять Калмыкова и поносить Скурлатова. «Глеб Иванович Калмыков — просветитель, подлинный отец города, широкая натура, а этот Скурлатов, новый приятель твоего папаши, завистник и каверзник».

Дядя — худощавый, невысокий, есть в нем что-то величественное, старинное и вместе с тем подлое. Дядя живет в доме купца-казаха Аралбаева, компаньона Калмыкова. Я спросил об Аралбаеве: каков и к чему способен? Дядя поджал губы: «Сцеженное молоко», — и опять стал воспевать Калмыкова:

— Голова! И даже не голова, а — сфера! Счастливица Василиса Глебовна, что отца такого имеет. А появись у нее муж, тоже будет счастливец — сцепится с таким умом!

И он многозначительно подмигнул. Я подумал с раздражением: «Он сватать для меня Василису эту намерен, что ли?»

Дядя торопливо продолжал:

— Ты видал, возле цирка сколько бревен? А под навесом — ящики гвоздей, листовое железо, инструменты. И сторож, и лохматая собака на проволоке. Постройка собора! Безработица страшенная. Сходно! Дешевые руки работают хорошо. Конечно, на них покрикивай...

— Что еще за собор?

— Собор? Казачий собор. Затмит Исаакий.

Дядя наливает воду в длинный, аршинный стакан зеленого стекла и жадно пьет.

Комната жарко натоплена. Дядя — в ситцевых штанах и коротких толстых поярковых валенках. Слышно со двора, как фыркают верблюды, легко въезжают пустые сани.

— Ты взгляни, Всеволод, на фасад! Рисовал собственноручно, акварелью. Разумеется, не выразил всего восторга, однако — сходственно. Погрузись в план! Ах, господи! Сколько я кирпича вбухаю сюда! Какие у меня кирпичные запасы! Я взлелеивал этот план шестнадцать лет, а чертил — неполные семь.

Я держал в руках плотный, слегка похрустывающий ватман, на котором мой дядя изобразил будущий Казачий собор. На кальке плана, сверху, были штемпель Архитектурного управления при наказном атамане Сибирского казачьего войска и подпись атамана: «Собор разрешаю к постройке». Сбоку китайской тушью указана толщина стен. Стены толщиной почти в ширину Иртыша!

— Здесь, кроме собора, выстроим семинарию главному стану Киргизской духовной миссии! А впоследствии, когда разрешит синод, здание Семипалатинской духовной академии.

— Ого!

— Надо просвещать Среднюю Азию. Эх, кабы не мешали!

— Кто мешает?

Дядя поморщился и выпалил:

— Опять тот же Скурлатов!

Я засмеялся.

— Дядя! Я ведь кое-кого расспрашивал. Скурлатов, несомненно, образованный и умный, но он всего-навсего ссыльный, во-первых, а во-вторых, обыкновенный печатник в типографии.

— А газета его?

— Какая?

— Он газету замышляет новую. Охáет сначала Калмыкова, а потом и до Киргизской духовной миссии недалеко. А Киргизская духовная миссия хочет строить много церквей, даже монастыри! И все замыслы построек у Калмыкова! Раз. А в Семипалатинске много подрядчиков, которые рады взять подряд и по низкой

цене. Вдобавок я не казак, а мещанин. Два. Стоит лишь Скурлатову бросить идею насчет моего мещанского происхождения — и мне, подрядчику, конец!

— Вот оно что!

Дядя следил за мной подозрительным взглядом.

— Ты что, Всеволод, притворяешься болваном или на самом деле болван?

— По-видимому, на самом деле, дядя.

— Хитришь! Что тебе твой папаша сказал?

— Относительно несториан?

— Плевать мне на его несториан! Относительно Скурлатова.

— Умный, — сказал, — человек.

— И все?

Дядя пожевал губами.

— Ну, иди.

— Куда?

— Куда хочешь.

— Позвольте, дядя, но ведь в Семипалатинск вы пригласили меня.

— Я приглашал человека соображающего, а дураков у нас и своих много. Я, племянничек, играю большую игру. Да, собственно, мне в другие и играть-то не к чему. Мне так подперло, что спасут лишь крайние меры. Хотел, скажу откровенно, предложить тебе такую меру, но вижу, зря ты штаны носишь. Юбка бы тебе больше к лицу, вот что!

— Иная юбка лучше штанов.

— Да, если, скажем, она на Василисе Глебовне. Знаешь Василису Глебовну Калмыкову?

— Нет.

— Узнай. А узнавши да подумавши, возвращайся.

С тем я и ушел.

Возле ворот два парня в тулупах, подпоясанные одинаковыми голубыми кушаками, с высоко подоткнутыми полами, играли в бабки. У нас на масленице игра эта не считается детской.

Тот, что пониже, стройный, лет тридцати, с ласковым, чуть расплывшимся лицом, бил по кону резко. Второй — повыше и пошире — бил спокойнее, но более метко. «Дядины, поди, приказчики», — подумал я и хотел было пройти мимо.

— Э, обождите-ко! — крикнул мне стройный. — Сейчас кон доиграем.

Доиграв и высыпав выигрыш за пазуху, он достал оттуда широкие, хрустящие на холоде «голицы» и, натягивая их на озябшие руки, спросил:

— Дал дядя работу?

Тон его вопроса показался мне не столько развязным, сколько простодушным, а после большой порции дядиного «простодушия» я чувствовал к простодушию некоторое раздражение.

И я пошутил:

— Если вы, — говорит, — уйдете. На ваше место.

Мой собеседник любил, должно быть, шутить. Но шуток над самим собой не понимал. Брови его так нахмурились, что я пожалел о своей шутке.

— Так и сказал? Если, — говорит, — уйдет Скурлатов?..

В молодости не очень любят извиняться. А я был молод, заносчив, тщеславен, — и все-таки я сказал:

— Простите. Я пошутил. Так вы — Скурлатов?

— А вы — Иванов?

И он доверчиво заговорил:

— Вас-то я хорошо знаю! Вячеслав Алексеевич много говорил. А сейчас получил письмо от него, через Кузю. Да и от почтальона Глухарева из Кургана. Ну, как же! Вы хорошо поступили, Всеволод! И относительно Глухарева, и особенно относительно наборщика Рудакова. Я ведь в Кургане тоже бывал. Марцинкевичи вам не говорили? Ну, девушки, память короткая! Чудесные девушки — Зося и Стефа. Чуть мещаночки, но это пройдет! Даже непременно пройдет. И не нужно бежать им от мещанства в Индию.

Тут я вдруг обиделся.

— Вы намекаете на меня в смысле Индии?

— Намекаю? Нисколько. Говорю открыто. Тем более что от Семипалатинска до Индии — рукой подать, тысячи три или пять верст, что ли...

Он засмеялся.

— Это вам Кузя нагородил, — сказал я, наполняясь горечью. — Да и мой отец тоже. Но раз я перед вами не постеснялся извиниться, я не постесняюсь и признаться. Когда я был помоложе, я действительно мечтал попасть в Индию. Но сейчас я кое в чем разобрался. Индия — английская колония, и мало чем она отличается от Туркестана! Так что уж лучше в Туркестан. Там, во всяком случае, с языком будет легче.

Скурлатов смотрел на меня пристально и молча. Я продолжал:

— А относительно Кузи: он думает в Индию попасть тоже очень просто. Возчики запросто ходят из Омска в Семипалатинск, оттуда — в Семиречье, из Семиречья — в Оренбург. Тысячи верст, а незаметно. Я спросил как-то Митяича: «А вы по дороге в Индию, друзья, не заходили?» Он и ответил: «Много мест прошли, милай, всех не упомнишь, может, и в Индии были, да не заметили: устаем мы очень». Вздор это мой ребяческий.

— Индия?

— Ну да!

Он сказал твердо и в подтверждение своих слов сильно рубанул в воздухе рукой.

— Нет, тут вздора никакого нет. Ты думал правильно. И не отказался ты от Индии, и никогда не откажешься. Да и помощник хороший теперь есть — Кузя.

— Кузя?

— Кузя, — повторил Скурлатов с удовольствием. — Ты Зосе нравишься, Всеволод, а он так влюблен в эту Зосю, что все твои желания будут Кузей выполнены. «В Индию? Отлично!» Кузя уговорит возчиков свернуть в Индию — и обоз доставит тебя туда.

Мы оба говорили взволнованно, путая «ты» и «вы». Так дошли до «Общедоступной типографии», где работал Скурлатов. По дороге Скурлатов расспрашивал меня все больше о моем интересе к Востоку. Я передал ему мнение моего отца о книгах, которые будто бы напечатал Скурлатов по вопросам Востока. Скурлатов засмеялся.

— Какие там книги! Брошюры. До книг еще далеко! — И он опять засмеялся: — Да и выпускать материалистические книги в наших глухих местах опасно. Вы знаете адвоката Мейстера?

Скурлатов ушел в переплетное отделение, быстро вернулся и подал мне сшитую, но еще не проклеенную книгу в розовой обложке, где среди орнамента из лилий значилось: «Роберт Мейстер — Душеспасительные размышления Поэта».

— Почитайте! Мейстер, кроме адвокатства, стихами размышляет. Гляди-ка, накатал! Страниц пятьсот! Не будь этих «размышлений», мы б тебя, Всеволод, обязательно сюда в типографию устроили. Книгу-то мы напечатали, брошюруем, вдруг — хвать, семипалатин-

ский господин инспектор по делам печати нашел, что «Размышления Поэта» вредны для российского императорского правительства! Хороша империя! Напечатанная где-то в захолустье книга, тиражом в триста экземпляров, способна поколебать ее устои. Полезла империя в карман — ан дыра в горсти! Ха-ха!

И вдруг без всякого перехода печатник спросил:

— Ты ведь казак?

— Казак.

— Бега любишь? Мы, семипалатинцы, зимой, в метель и стужу, Коммерческого собрания не посещаем, но бега — обязательно. Но бега это так, болтовня в сторону. У тебя, поди, деньжата — тю-тю?

— Дядя обещал работу, — солгал я.

— А то соберем лучше, а? Дружески?

Мимо нас нес вымытую форму тот самый рослый парень, что играл со Скурлатовым в бабки. Фамилия его Щепетников, он один из тех безземельных, миллионы которых, ища свободной земли, ринулись в Сибирь и ничего здесь не нашли! Несет он металлическую форму легко, хотя форма весит пуда три. Прозрачные капли воды падают с формы на темный, промасленный пол. Вертельщик Щепетников спросил:

— Дружески? А что есть, по-вашему, дружба? В Евангелии, вот там — дружба и бог!

— Дался тебе, Щепетников, этот бог! Вздумаешь толковать Евангелие, дадут годика три тюрьмы, — сказал Скурлатов.

— Не грози щуке морем, а мужику — горем!

— Щепетников, а ведь Евангелие в паровых топках не жгут, а эту книгу, «Размышления», попы хотят сжечь у Калмыкова на паровой мельнице, — продолжал Скурлатов.

— Ну?

— И выходит, что «Размышления» эти справедливей Евангелия.

Щепетников промолчал, искоса поглядывая на «Размышления».

Печатник Скурлатов вставил в машину форму какой-то конторской ведомости, наскоро приправил, тиснул последнюю корректуру.

— Хорошо бы нам с тобой, Всеволод, поработать вместе! Ну, авось поработаем. А насчет деньжат — устроить тебе из профсоюзной кассы?

Я подумал: «Профсоюз должен помогать старым, потрудившимся рабочим, а я — шатун, мальчишка, постоянно меняющий места работы. У меня, откровенно говоря, и настоящей профессии-то нет! Живут типографщики в Семипалатинске не лучше, чем в Кургане, а пожалуй, и хуже. И они еще будут собирать пособие! Неужели же я с моим отцовским наследством — крепкими ногами — не найду здесь работы?»

И я покинул типографию, отказавшись от помощи.

Ничего, вывернусь! А как?

Я стоял перед «Номерами для приезжих». Миловидная дама в сиреневой шляпке, подобрав маленькой ручкой юбки и наклонив голову, входила в гостиницу. Влево от нее — круглая будка, оклеенная оранжевыми плакатами синематографа. И тут же афиша: «Ансамбль русской драмы и комедии артистки Марии Николаевны Синицыной представит драму «Деньги». Действие первое: «Пожар в усадьбе». Действие второе: «В омуте столицы». Действие третье: «Отрава жизни».

Какая дама, если она не актриса, может подходить к этим номерам, провонявшим водкой, огурцами, мокрыми шлеями и хомутами?

— Простите, вы не из ансамбля?

— А вам чего? — холодно спросила миловидная дама.

— Ничего, — сказал я, пропуская ее в дверь.

Подождав столько, сколько надо было миловидной даме времени, чтобы исчезнуть в недрах номеров, я распахнул дверь.

Миловидная дама стояла по ту сторону дверей.

— Мне вы показались артистом, — сказала она мне просто, как старому знакомому.

— Я и есть артист.

— Мы вас ищем, — сказала она и, быстро перебирая ножками, вбежала наверх по крутой и узкой лестнице.

«ДАЙТЕ МНЕ ДЕБЮТ!»

Иногда случайно названное действие приводит вас роковым образом через несколько мгновений к необходимости осуществить это действие. Я назвался артистом и держался в «номерах» беззаботно, как артист.

— Что угодно? — спросила сидевшая за стеклянной перегородкой пожилая женщина, руки которой лежали на толстой конторской книге.

— Имеются свободные номера?

— Весь левый ряд свободен: живут актеры. Драматические, что ли... Да все равно, я их сегодня выселяю. У гостиницы, видите, городовой, чтоб имущество свое не унесли. Ну, а первый этаж занимают актеры цирка. Тоже шантрапа! Их выселю завтра! Так что не обращай внимания на вопли: выбирай любой номер, батюшка.

Я вспомнил городового за будкой и миловидную даму в сиреневой шляпке. «Она, кажется, взглянула на городового испуганно? А я, кажется, вознегодовал?»

— Не платят? — произнес я с усиленным негодованием.

— Прогорели! Из-за этого джута скоро весь Семипалатинск прогорит. Правду сказать, мне их жалко.

Эта жалостливость хозяйки, которая с виду казалась довольно беспощадной, наполнила меня еще более сильной жалостливостью. Я стремительно вбежал на площадку перед вторым этажом и вдруг остановился у высокого узкого зеркала. Я воочию увидел эту жалостливость!

Зеркало обрисовывало молодого человека среднего роста в расстегнутом пальто, из-под которого виднелась светлая рубашка с пышным галстуком. Молодой человек держал в руке кепку, и слегка волнистые волосы падали ему почти до плеч. На круглом лице висело пенсне, за которым, довольно растерянно, глядели не очень большие глаза.

(Летом 1948 года, тридцать пять лет спустя, самолет опустился на семипалатинский аэродром. Я вышел, сел в автомобиль, который и привез меня к этой гостинице. Те же двери, та же стеклянная перегородка, та же узкая лестница и то же узкое, правда потускневшее от времени, зеркало на площадке! Я надеялся увидеть в нем молодого человека и его «слегка волнистые волосы». Зеркало обмануло мои ожидания. Может быть, оттого, что оно было тусклым? И не этой ли книгой стараюсь я снять его тусклость?)

Молодой человек постоял у зеркала ровно столько, сколько нужно для того, чтобы придать взору стальную решимость, а затем так же поспешно спустился вниз и спросил у пожилой дамы:

— Цена номеру?

— Рубль. Вам дорого?

— Нет, — резко ответил я. — Довольно сносно.

— Выбрали номер?

— В том-то и дело, что еще не выбрал.

Я снова поднялся на второй этаж и постучал в ближайшую дверь, за которой слышал знакомые, театрально приподнятые голоса. Я не надеялся на работу, зато очень надеялся на сочувствие страдальцев искусства!

Молодой актер с изящной головой, но в грязных подштанниках, прикрытых неимоверно рваным одеялом, сидел на железной кровати и усердно чистил медный самовар тряпкой, обмакивая ее в мокрую золу. Брюки его чинила одна из актрис, глядевшая заплаканными глазами на маленький двор гостиницы, по которому ходил еще один городовой в меховой шапке с бронзовой бляхой. Беда!

В углу двора свалены сани с заржавленными и треснувшими полозьями. По-видимому, лучшим украшением двора является дощатая уборная, выкрашенная в ярко-зеленый цвет, с длинным шестом, на верхнем конце которого — тонкая скворешня, вся забитая снегом. Не эту ли скворешню и не эту ли уборную охраняет городовой? Ах, нет! Он охраняет совсем другое! Артистов! Убегающее искусство! Ну и городок, этот Семипалатинск! Семь палат мещанства, будь они прокляты!

Второй актер, лет сорока, сероглазый, с помятым лицом и разбитым голосом, в резиновых калошах на босую ногу, вяло пожимая мою руку, представился:

— Режиссер ансамбля Бреславский. Константин Иванович.

И обратился к миловидной даме:

— Ну, и как ответил тебе околоточный?

— Ответил: городового не прогоню.

Молодая дама в сиреневой шляпке наклонилась к актрисам, сидевшим у окна, и поочередно поцеловала их в мокрые щеки. Бреславский просунул кулак между шляпкой и плечом молодой дамы с фамильярностью, делавшей понятными их отношения: кулак предназна-

чался городовому. Но вряд ли тот, увидев эту довольно слабо развитую часть тела режиссера ансамбля, уйдет со двора.

Показалось, что я могу быть более полезным, чем этот кулак, и сами собой выскочили слова:

— Господа! Располагайте мной! Я артист и племянник подрядчика Петрова.

Зачем я приплел имя моего дяди, которого минут за десять перед тем я мысленно поносил, как только мог?

Молодая дама в сиреневой шляпке ответила, кажется, не без легкой насмешки:

— Если вы действительно племянник почтенного подрядчика Петрова, почему здесь торчит городовой? Ваш дядя — сила. Из-за городового мы не можем отнести на базар самовар, чтобы, продав его, пообедать. Хоть бы на обжорке! Хозяйка не выпускает! — И добавила со страстью, всем присутствовавшим близкой и понятной: — А какие сборы способен делать ансамбль, артисты которого обедают на обжорке?! Впрочем, я готова отказаться от валовых сборов, лишь бы пообедать!

Глаза у миловидной дамы стали влажными. Я сказал:

— Простите, не знаю вашего имени...

— Мария Николаевна Синицына.

— К сожалению, Мария Николаевна, я чересчур молод, чтобы полицейские чины обратили внимание на мое ходатайство. Мои же артистические способности еще недостаточно знакомы городу. У вас нет денег? Я могу, скажем, в три дня написать пьесу на злободневную тему.

— Выберем известное и неприятное городу лицо и ошельмуем! Полные сборы! — подхватил режиссер. И алчно добавил: — Вот и напишите о вашем дяде и, кстати, о его покровителе Калмыкове. Вам небось вся подноготная их известна?

Я кивнул. «Еще бы!» — утверждал мой кивок.

А зачем, зачем кивать? Лгу ведь! Ничего-то мне не известно. Этому Браславскому небось калмыковская подноготная известна в сто раз больше!

Браславский продолжал:

— Калмыкову и с каторжанами не по дороге. Он повыше их грабитель. Слышали, Скурлатов газету открывает? Он сначала в своей газете статью о постановке вашей пьесы, а там, глядишь, и пьесу тиснет. А лучше

всего, друзья, зашантажировать этой пьесой Калмыкова! Сколько, как вы думаете, отвалит этот воротила? Маша, тебя спрашиваю!

Лицо миловидной дамы неподвижно. Молчит. И вряд ли слушает. О ком и о чем она думает?

Самая молоденькая из актрис повернулась и спрашивает меня:

— А женские роли будут хорошие?

Миловидная дама чрезвычайно грудным и звонко презрительным голосом сказала:

— Шантажисты! Туда же! Жаль мне вас. Поесть бы досыта, а потом убежать из этого треклятого города. И никогда в него не возвращаться! А куда убежишь? Кругом метель и жгут. Голодать целую зиму — и хотя бы один сбор!

Режиссер Бреславский, опять погрозив в окно, стал бить себя кулаком по вялому животу, приговаривая:

— Брюхо тепленького хочет, тепленького! Безразлично какого, но тепленького!

Миловидная дама сняла сиреневую шляпку и, подавая ее режиссеру, решительно сказала:

— Константин, отнеси на толкучку! Хозяйка — женщина. Она посмеет отнять самовар, но никогда не поднимет руку на эту чудесную шляпку!

Тут новый припадок великодушия охватил меня:

— У меня восемьдесят семь копеек карманных денег. Прошу вас, господа, без стеснения воспользоваться.

Если вы помните, я отдал все свои деньги моей матери. Но в котомке среди «факирских принадлежностей» я хранил серебряный рубль, который дала мне на дорогу года два тому назад моя мать, когда я покидал Павлодар. Она ценила этот «александровский», толстый и широкий рубль: такие рубли будто бы раскидывали мои предки, знатные поляки, сосланные под Ямышев на известковые рудники. Увы, в Семипалатинске мне пришлось разменять рубль, чтоб купить хлеба и немного овса для Нубии!

Через час, напившись крепкого чаю из ярко начищенного самовара с хлебом и даже с сахаром, я покинул гостиницу, последний раз взглянув в длинное зеркало на площадке лестницы. Никакой стальной решимости, кроме решимости написать пьесу. Я напишу пьесу в стихах! Стихи способны выразить и мое благородное негодование, и иронический взгляд на самое

отвратительное лицо в городе, каким сообща мы нашли хлебопромышленника и пароходчика Калмыкова! Я пообещал превратить Калмыкова в растлителя, конокрада, скупщика краденого, ростовщика — словом, подлейшего из подлейших.

Кстати, тут же выяснилось, что мне негде писать пьесу. Постоялый двор не мог дать того одиночества, которое требовалось. Бреславский предложил Коммерческое собрание, где хранились декорации ансамбля.

По дороге туда он спросил:

— Вы, как я понял, выступали недавно в цирке?

— Я предпочитаю драму.

— А все-таки сходите к циркачам. Вдруг мы не сможем осуществить шантаж Калмыкова, а значит, и постановку вашей пьесы? Тогда вы, заработав в цирке, поделитесь с нами! Делим же мы с вами ночлег в театре и выдумку насчет шантажа.

Коммерческое собрание топили сырыми осиновыми дровами, которые наполняли дом легким кисловатым запахом дыма. Сторож обрадовался моему приходу и ушел к своей «милухе».

— А керосину? — крикнул я ему вслед.

Сторож пренебрежительно махнул рукой.

По запаху, в темноте, я нащупал дверь каморки возле стены, в большом жестяном сундуке нашел десяток керосиновых ламп с рефлекторами, которые во время спектакля ставят вдоль рампы. С донышка каждой лампы я выцедил ложку керосина. Затем, выжав фитили, я смог собрать еще по ложечке. Таким образом я наполнил половину лампы. «Ну, помогай же мне, моя лампа Аладдина! Вызываю тебя, всесильный гений воображения!»

Я писал всю ночь на обороте лазорево-синих обоев, отрывая куски от большого свертка.

Утром я отнес первый акт своей пьесы Бреславскому, получил одобрение и гонорар: стакан чаю и два ломтика хлеба.

День серый, бушевала метель, и казалось, метель сдует с этих улиц и меня и мою пьесу! Дул, казалось, сам всесильный Калмыков. «Дуй, дуй! — размышлял я. — Струсил, когда услышал о шантаже? Шантажировать тебя я не собираюсь, но артистов ансамбля накормлю. Если не пьесой, то — цирком!»

И я направился в цирк Коромыслова.

Странно, но я шел в цирк с бóльшим волнением, чем к артистам драмы. Может быть, громадный его купол, бесчисленные ряды скамеек, гул от шагов в фойе, запах конюшен внушают мне этот трепет и уважение?

И я вспомнил Павлодар, Коромыслова, маленькую Антуанетту Сирбо, танцовщицу на проволоке, в которую я был влюблен. Миновало лишь три года, а словно целая вечность!

Цирк за городом, у Казачьей слободы. Это летнее, но утепленное «шапито», до половины занесенное сугробами, которые утоптаны ногами мальчишек, пытавшихся увидеть представление в щели.

Сборов нет.

Директор сидел возле пустой кассы. Холодище! Перед ним непочатые билетные книжки. На голове — высокая меховая шапка, наушники которой прикрывают усеянную ледяными сосульками бороду. Чтобы разогреть директора, я выпалил сразу:

— В Семипалатинске не бывало факиров! Дайте дебют, и я спасу ваш цирк! Работает ли у вас госпожа Антуанетта Сирбо?

Я вспомнил госпожу Сирбо не потому, что все еще вздыхал о ней, как вздыхал когда-то в Павлодаре, ежедневно бывая на представлениях. Мне показалось, что, если я заговорю о ней, ко мне вернется моя павлодарская безмятежность и, пожалуй, счастье, которого я тогда не замечал.

Директор ответил со вздохом, сразу же принявшим вид морозного облака:

— Сегодня подохла с голоду самая лучшая лошадь. Она умела считать до двадцати и танцевала гопак!

— Слушайте, господин Коромыслов! Мой дядя — подрядчик Петров. Я попрошу несколько возов обрезков леса! Употребите их в качестве топлива. Есть знакомые возчики. Они привезут обрезки бесплатно! Я выпрошу корм для ваших лошадей! Дайте мне дебют! Я сам наберу и напечатаю афиши вместе со своими друзьями-типографщиками. Сам расклею! Сам продам билеты! Первый же сбор — полтысячи! Дайте мне дебют!

Коромыслов прижался ледяными сосульками к моей щеке. Огромная ледяная слеза его застряла у меня в пенсне, длинные дрожащие руки соединились у меня за спиной, и директор сказал:

— Дитя мое, мой спаситель! Я верю тебе. Я даю

тебе дебют. Но пока что достань у своего дяди заимообразно для меня сто рублей!

И, всхлипывая, добавил:

— А того лучше, проведи меня к Глебу Ивановичу Калмыкову. Он открывает газету. Без газеты мой цирк пропал, как без освещения керосино-калильными фонарями.

Кто же, однако, будет выпускать газету?

Скурлатов или Калмыков?

«РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОЭТА»

И Скурлатова и Мейстера в городе знают хорошо. Приказчики с Торговой, к которым толкнулся я в поисках работы, прочат Мейстера в редакторы газеты. Они надеются на «послабление». Стоят за прилавком с раннего утра до поздней ночи, а платят купцы плохо. Будущее «Степное слово» — защита, тем более что — Скурлатов. Да, это голова! Жаль только, что начальство не разрешит ему быть редактором: ссылка его недавно лишь окончилась. Будет только сотрудничать, а редактор — Мейстер. Конечно, и Мейстер — умница, но все же до Скурлатова ему далеко. Робковат.

— Будет газета — будет и наборщикам дело, — утешают меня приказчики. — Тебе, значит.

Верно.

А пока надо изучить этого Мейстера. Действительно, робковат ли?

Третий день лежу на лавке постоялого, изредка смотрю в окно, ожидая чего-то радостного, и до мути в голове читаю и перечитываю «Размышления Поэта».

Прежде всего, почему Мейстер назвал свои размышления «душеспасительными»? Душеспасительное чтение известно мне еще по церковно-приходской школе, — это религиозное чтение. В книге же и намека нет на религию. Шутит? Но ведь Мейстеру хорошо известна сила Киргизской духовной миссии. С ней лучше не шутить. Заискивает от робости?

Ой, робок ли он!

На соседнем дворе бьют палками ковры. По-видимому, пыли здесь так много, что ее никак не выбить. Звук то сочно звонок, то ломок. Я прислушиваюсь к звукам, и мне хочется лежать на мягких коврах, а не

на этой жесткой, грязной и скверно пахнущей скамье. Но я лежу. Я размышляю над «Размышлениями». Самый удобный способ жить, ха-ха-ха!

Возчики бесконечно пьют чай. Им бы рассчитаться, получить какой-нибудь новый груз и отправиться в дорогу, но все платежи в конторе Калмыкова задержаны. Салазкин, правая рука Калмыкова, сказал: «Пока хозяин не пожелает платить». А скоро ли он пожелает? Передают, что старику нездоровится.

— Какое там нездоровье? — ворчит Митяич. — Просто выбирает, куда обоз послать. Про зерно, сказывают, думает. Зерна он запас много. А оно в Омске в цене поднялось. Да и в степи киргизам для посевов нужно. Молоть, хоть и своя мельница, невыгодно. К тому ж и мукомольники шумят, хочут, чтобы жалованье повысили, комитет даже есть, сказывают,— забастовочный.

— Есть, есть! — кричит Кузя. — К ним в комитет сам Скурлатов приходил, я видел. Бастуйте, говорит, а я в случае чего пропишу Калмыкову!

— Будя врать-то: «пропишу»! Это тебе схвастнуть ничего не стоит, а Скурлатову слово дорого.

В окно видна калмыковская мельница.

За мельницей — крыши зернохранилищ и пожарная каланча. Обрывки снежных туч на мгновенье словно прилипают то к каланче, то к трубе мельницы. Наверху каланчи ходит длинный пожарный в тускло поблескивающей каске. Кажется, это очень невеселый человек. Он уныло смотрит на город, крыши, трубу мельницы, и ему хочется в тоске крикнуть: «Довольно!» Он долго стоит неподвижно, собираясь закричать, но, раздумав, отказывается и мелкими шажками, переваливаясь с ноги на ногу, снова идет вокруг каланчи.

Снова разговор о Скурлатове. Спорят: к кому лучше обратиться казашке Ханыке. Возчики, большей частью сибирские казаки, называют почему-то казахов киргизами. Думаю, вернее называть народ так, как он сам себя называет. Поэтому и будем Ханыке звать казашкой, а не киргизкой. Но это между прочим.

Хорошенькая черноглазая Ханыке прибежала, ища защиты, к знакомому — седому, горбоносому казаху-возчику.

— Хозяева... — задыхаясь, кричит она.

— Преж всего,— строго обрывает ее Митяич,— кто твои хозяева-то?

— Аралбаевы.

— Калмыковские компаньоны?

Я отрываю глаза от «Размышлений». У этих Аралбаевых ведь квартирует мой дядя. Не видел ли я там казашку? Похоже, она шмыгнула мимо меня по коридору с подносом. Ну да, лаковый черный с багровыми розами поднос. Она!

— И в чем же эти Аралбаевы тебя обвиняют?

— Украла, говорят. И уволили.

— Свидетели есть?

— Какие свидетели, когда оговор! И протокола не составляли, и полиции не звали...

Я восклицаю с негодованием:

— Этак про каждого можно крикнуть: «Вор!»

Возчики подхватывают:

— Жулье!

— К Скурлатову! — истошно кричит Кузя. — Он всю булгактерию продолбит.

— Верно,— соглашается Митяич.

Скурлатов после работы в типографии «задарма булгактерит» документы потребительской кооперации: ведет должность секретаря правления ссудо-сберегательных товариществ и пишет отчеты в семипалатинском подотделе западносибирского отдела императорского Географического общества.

И, к моему удивлению, Митяич целиком, без запинки произносит это сложное название. Когда он говорит «амператорское», возчики уважительно переглядываются. Я делаю вид, что название мне не понятно, и спрашиваю:

— Что такое «императорское Географическое общество»?

Кузя без смеха, с полной убежденностью, отвечает:

— На Алтае самому императору золотую руду ищут.

— Алтайское золото самое счастливое.

— Оно на перстни идет, а кому царь подарит перстень, за тем счастье неотступно по следам.

— Из Питера самого главнейшего князя пришлют. Едет князь Малицын, слышал? Геолог. Слышал?

— Нет,— говорю.

— Ну, как же! Весь Алтай изъездил, а теперь к старику Калмыкову приткнулся: кто-кто, а этот золотые россыпи знает, где и как.

Превосходнейшие люди, но какая, однако, чепуха у них в голове! Впрочем, чепуха эта относится к понятиям, от них отдаленным. В более близких делах они разбираются великолепно. Скажем, Ханыке.

Возчики, напряженно вытянув шеи к Ханыке, шумно говорят:

— Теле Аралбаев? Да, купец сурьезный, главный компаньон Калмыкова.

— И все равно его за оскорбление — в суд! Взять самого лучшего адвоката, Мейстера!

— У тебя трое детей и муж исчез. Беззащитная ты, Ханыке, бездомная!

— Айдате к Мейстеру! Проводим?

Ханыке, уходя с возчиками, оглядывается на меня.

— По-казахски знаешь? — спрашивает она тихо.

— Мало. А что?

Она, потупясь, пятится. Читающий книгу, наверное, кажется ей адвокатом. Увы, наивное дитя степей, какой я могу дать тебе совет?

И я углубляюсь в «Размышления Поэта». Странная книга! То необыкновенно короткие сценки, стихи, афоризмы в пять слов, а то рассуждения с сотней периодов на несколько страниц. От этого страницы кажутся кривыми. Автор, однако, дает себе отчет, что он делает. Прервав свое длинное рассуждение, он неожиданно печатает жирным шрифтом: «Кривы дрова, да прямо горят». За этим следует газетная вырезка о каком-то мыслителе, который неопровержимо доказал, что чем короче мысль, тем она убедительней. Ниже, петитом, возражение: «Тогда надо изгнать всех философов, начиная от Аристотеля и Платона? Впрочем, газетная мудрость не глубже дорожной лужи».

Пока ничего нет ни противоправительственного, ни противорелигиозного.

Позвольте, а это? Главный воротила в Семипалатинске Калмыков, значит, всякое слово, затрагивающее «честь» его, будет уже словом противоправительственным?

Правда, размышлений насчет него мало, одни только факты. Но ведь каждый факт — кирпич, а умело сложенные кирпичи — дом. И я с напряженным вниманием углубляюсь в изложение судебного процесса Василисы Глебовны Калмыковой, старшей дочери Глеба Ивано-

вича. Адвокат Мейстер вел этот процесс и выиграл его.

Изложу сначала сущность и течение процесса, а затем уж скажу о выводах, к которым я пришел.

ПРОЦЕСС ВАСИЛИСЫ ГЛЕБОВНЫ

Калмыковы жили перед этим процессом в Пишпеке, в доме, где теперь находится технический отряд строящейся Семиреченской железной дороги. Сам Глеб Иванович вместе с сыном Борисом руководил изысканиями на предполагаемой «Семиречке». Василиса Глебовна вышла там замуж за Назаренко, сына пишпекского скотопромышленника. Нежная пара довольна была Пишпеком, захолустной дырой, по сравнению с которым Ташкент или Семипалатинск — европейские центры.

Внезапно муж Василисы Глебовны заболел брюшным тифом. Течение болезни шло нормально. Больной выздоравливал. Вдруг: повышение температуры, бред, смерть.

Родители покойного Назаренко заявили, что произошло отравление. Отравил-де не кто другой, как Василиса Глебовна, разлюбившая мужа и полюбившая какого-то другого молодого человека, к которому она бегала на свидания, но который следствию так и остался неизвестным. Вырыли труп Назаренко, вскрыли, обнаружили мышьяк. Василису Глебовну привлекли к суду.

Речь Мейстера напечатана целиком. Я восхищался адвокатом, его умом, гуманностью и чувствовал смертельную обиду и за наше правосудие, и за нашу провинциальную темноту. Читая иные части речи, я плакал от стыда и отвращения. Я дрожал, читая слова прокурора выездной сессии окружного суда: «Все улики сходятся к тому, что именно Василиса Глебовна отравила своего мужа».

Мейстер превосходно ответил прокурору:

— Все улики сходятся, когда прокуроры убеждены, что они должны сойтись!

И Мейстер неопровержимо доказал, что Василиса Глебовна, безумно любя своего мужа, была ему верна. Никуда, ни к кому она не ходила на свидания. Ее муж не отравлен!

Мать ее мужа, по провинциальной тупости не веря, что существует диета для выздоравливающих, дала своему сыну пищу, которую ослабевший организм не смог переварить. Известно, что перенесшие тиф страстно желают есть. Сын умолял. И мать его накормила! В первый же день выздоровления больной получил целую ножку холодной телятины, сычуг с кашей, плов и вдобавок стакан водки!

— Да, действительно, в трупе обнаружен мышьяк, — продолжал Мейстер. — Откуда? Врач, производивший вскрытие трупа, чтобы не заразиться, омывал руки над трупом раствором сулемы. В трупе, однако, сулемы не обнаружено! Откуда эта странность? Оттуда, что сулемы в трупе и не было. Аптекарский ученик Володя Бережков отпускал сулему для врача на рассвете. Спросонок он перепутал стоящие рядом стеклянные банки и отпустил вместо раствора сулемы раствор мышьяка. Врач мыл руки раствором мышьяка, а не сулемой.

Зал охнул.

Проверили выводы адвоката. Осмотрели рецептурную книгу аптеки. Свесили растворы. Предположения адвоката оправдались.

Я представляю себе зал суда. Конец лета. Пыльно, сухо, и все-таки пахнет чем-то затхлым. Старенький служитель, слабо перебирая ногами, несет через зал кипу бумаг в серых обложках.

Вспоминая стихотворение Мейстера, я вижу прекрасную поэтическую головку, которая презрительно глядит поверх судей, поверх зрителей, уставившихся на нее с мерзким интересом. «Каштановые волосы прохладными кудрями падают на ее нежные плечи». Поэт, поэт! Но оправдали-то Василису Глебовну не потому, что Мейстер — поэт, а потому, что он был хорошо знаком с химией.

Роберт Васильевич Мейстер — из семьи оружейников, давно когда-то, чуть ли не при Петре Великом, выехавших из Голландии и работавших на Сестрорецком оружейном заводе. Мейстер продолжительное время занимался в заводской лаборатории фабрикацией нитроглицерина, стараясь подчинить воле человека это опасное химическое соединение, чтобы регулировать его огромную взрывчатую силу. Его опередил химик Альфред Нобель, который рядом опытов, соединяя с нитроглицерином открытую им «инфузорную землю», добыл

несколько разнообразных взрывчатых веществ, построил почти во всех государствах заводы для производства бездымного пороха и динамита, а позже основал известные «Нобелевские премии». Мейстер опоздал. Бывает. Надо только не опускать головы.

Но Роберт Мейстер вместо продолжения своих научных работ впал в отчаяние и неожиданно ушел на юридический факультет Петербургского университета. Ему казалось, что он будет более удачным адвокатом, чем химиком. Так оно и случилось. Процесс Калмыковой и ее оправдание — блестящее тому доказательство.

Странный человек, странная книга!

«Размышления Поэта» сообщают жуткие факты из жизни нашего захолустья. И все же автор убежден, что факты эти исчезнут! Может быть, даже скоро. И, читая, я верю ему, чувствую, как что-то кроткое, любящее и одновременно сильное входит в мое сердце.

Многие книги волновали меня. Но, несмотря на высокую их талантливость, они казались больше примером для жизни, чем самой жизнью. Читая такие книги, я чувствовал, что меня учат так усердно, что я начинаю бояться, как бы на следующих страницах у автора не кончился голос и темперамент. И я со страхом слежу за ним, стараюсь не ошибиться и в совершенной точности вникнуть в смысл того, что он говорит. Книга внушает мне страх, и я облегченно вздыхаю, когда кладу ее.

Книга «Размышления Поэта» соединяла пример для жизни с самой жизнью. Я был как бы овеян атмосферой размышлений человека с необыкновенно чистым умом и сердцем; размышлений, соединенных с самыми бесстрашными действиями!

Дело в том, что, прочтя несколько раз книгу «Размышления Поэта», я пришел к глубочайшему убеждению, — автор плохо верил теперь Василисе Глебовне. Он сомневался, что она не виновна.

И старик Калмыков почувствовал это сомнение, которое, быть может, и сам Мейстер плохо понимал.

Вот почему семипалатинские власти с соизволения «воротилы» решили сжечь «Размышления Поэта».

Скурлатов взял в счет своего жалованья бумагу. Я набрал афишу. Скурлатов напечатал ее в нерабочее время.

И я почувствовал себя необыкновенно хорошо.

Прижав к груди афиши, жадно вдыхая запах типографской краски, прохожу двор типографии, окруженный кирпичными сараями, беленными известкой. Где-то в сарае покрякивают утки. Симпатичная птица! Весну чует! А вот и еще предвестник: с карниза свисает ледяная сосулька. Солнце слегка пригревает ее, и капли, медленно стекая, падают па землю. Рядом с сосулькой сидит буровато-серая птичка, смотрится в сосульку, как в зеркало, и щебечет, щебечет, не замечая меня.

Мой дядя, как вам известно, квартирует у Теле Аралбаева, калмыковского компаньона. Ханыке, черноглазую казашку, приходившую за советом к возчикам, обидели как раз в этом доме. Пожалуй, поговорю я и о Ханыке, заступлюсь, коли застану Аралбаева дома.

Дом Аралбаева, как и многие семипалатинские дома, обнесен забором из толстых горбылей. Над тесовыми воротами — длинная железная вывеска, согнутая ветрами. Дом чем-то неприятен. Ой, заходить ли?

И я говорю самому себе: «Если Мейстер взялся защищать Ханыке от клеветы Аралбаевых, зачем тебе вмешиваться в это дело? Только напортишь. Дальше. Ты делаешь вид, что идешь к дяде Василию Ефимовичу похвастаться своей цирковой афишей? Тоже вздор. Дядя тебе столько же нужен, сколько заступничество за Ханыке. Будем откровенны. Ты па постоялом услышал, что Василиса Глебовна — подруга Саумал, дочери Аралбаева, и бывает у них каждый день. И сегодня ты надеешься, что Василиса Глебовна придет и ты ее там застанешь. Именно сегодня! Почему? Ах да! Дяде сказали типографские, что его племянник напечатал афиши. Дядя знает характер племянника. Племянник непременно придет похвастаться. И в этот именно момент дядя захочет показать ему Василису Глебовну. Зачем?»

Я прошел в глухой переулок и сел на песчаный холм неподалеку от дома.

Забор наклонился к югу. Вам очень хочется тепла, господин забор? Сочувствую. Да и ветра, кажется,

сочувствуют. Они согнали снег с песчаного холма, чтобы песок раньше всех ощутил весну.

Я погрузил в песок пальцы и задумался, глядя на свои афиши. Что-то несут они мне! Куда-то повернутся мои дни? И я, пересыпая песок, рассуждаю сам с собой: «Кто вы такой? Факир Бен-Али-Бей? Арап? Индус? Русский? Идущий. Каково ваше отношение к семипалатинскому миру? Отрицательное. Что же с ним делать? Отказаться. И уйти? Да. Из мира? Нет. Остаться в мире. Уйти, не уходя? Бунтуя? Бунтуя. Куда вы идете? Мы идем в Индию. Кто — мы? Мы — Идущие. Идущие? Значит, вы несете истину в Индию или полагаете вынести ее оттуда? Истину мы найдем в пути. Значит, не важно дойти, а важно — идти? Движение, сопротивление, борьба — это и есть истина. Покоя нет».

Я продолжал свои думы:

«Так-то оно так, но это, дорогой мой, отвлеченные размышления! Есть ведь, помимо, так сказать, «духовной Индии», еще и физическая. Палящий зной, непроходимые леса, пустыни, тигры, змеи, малярия...

Скажем, звери? Я видел однажды в зверинце черную пантеру. Если у тигра можно, хотя и с трудом, обнаружить какую-то жалость в глазах, то в голубых очах черной пантеры нет никакой жалости! Попадись ей в лапы миллион живых существ, она их уничтожит. И, однако, среди этой безжалостной природы Индии у людей выросла огромнейшая любовь ко всему живому! Откуда? Все это надо понять, во всем разобраться.

Ну конечно, не у стен же аралбаевского дома!

А почему бы и нет? Аралбаев ничуть не добрее черной пантеры. Он ведь компаньон Калмыкова.

Так-то оно так, но все это — размышления в сторону, а вот зачем ты нужен дяде, подумай! И почему, по-твоему, именно сегодня он хочет познакомить тебя с Василисой Глебовной? Да хочет ли? Проверь, войди в дом».

И я ответил сам себе: «А плюю я на весь этот дом, вместе с Аралбаевым и дядей! Что мне они?!»

С песчаной дюны видны подвальные окна аралбаевского дома. Да, недалеко весна! Окна оттаяли и почти прозрачны. Видно, как казахи берут охапку промытой и взбитой верблюжьей шерсти, спрыскивают водой и расстилают ровным-ровно на циновку. Циновку свора-

чивают в трубу, перевязывают, бьют ногами, снова смачивают водой и бьют.

Казахи вообще искусно катают кошмы. И, может быть, им доставляет удовольствие, что какой-то русский любуется на их работу? Развернули свалявшийся войлок и теперь навивают его на деревянные скалки, чтобы катать по кирпичному полу. Как там, наверно, сыро и тяжело дышать! В отдаленном углу смутно виднеются готовые белые кошмы. Торговцы, чтобы поднять на них цены, продают их за кашгарские. Разумеется, что за слава — семипалатинские кошмы!

Директор цирка дал мне вместе с афишей билетные книжки. «Вдруг да какой-нибудь знакомый купит билет? Пожалуйста!» Глухой переулок, скажете, плохое место для продажи билетов? Неправда! Денежные люди именно и любят ходить по глухим переулкам. Здесь свободно размышляй о своих комбинациях. Кроме того, нет опасности, что карманные воришки вытащут бумаги. У денежных людей от этого превосходное самочувствие. Очень возможно, что они приобретут билеты не только для себя, но и ближайшим родственникам.

И я, укрепив афишу щепочками на заборе, сел возле нее.

Купят! Я убежден, что купят. Мое ожидание ни с чем не сообразно? Но еще более несообразно, еще более грубо, нечеловечно отказываться от покупки билетов на чудеснейшее представление индийского факира Бен-Али-Бея!

И я увидел первых покупателей.

Вот что значит надежда!

Впрочем, эти покупатели не очень-то спешили к моим билетным книжкам. Они пересекали улицу наискось от дома Аралбаева. Ветер или я, не помню, зашелестел афишей. Они остановились. Еще бы! Бумажный шорох в этом глухом переулке — явление не совсем обычное. Вытянув шеи, они посмотрели на меня и, кажется, засмеялись. Я почувствовал облегчение. Самое главное в нашем циркачестве — сначала рассмешить. Рассмеявшись, молодые женщины делаются к нам внимательней и отзывчивее. Впрочем, что мне их отзывчивость! Пусть прочтут внимательно афишу, и они ощутят непреоборимое желание видеть то, о чем там напечатано. Поэт, не кто-нибудь, составлял и печатал ее!

Подруги уходили не торопясь, оживленно разговаривая. Я не разобрал слов их беседы, да и они сами, пожалуй, не очень-то разбирали. Говорили они торопливо вовсе не потому, что встретились наконец после долгой разлуки, — они встречаются каждый день, — а потому, что им радостно глядеть на мир и они готовы болтать о чем попало. Впрочем, между нами говоря, мне достоверно известно, что они друг друга терпеть не могут. Но происходит нечто странное: бывшие подруги изображают взаимную любовь и уважение. Пусть!

Лишь бы они заговорили со мной. Тогда я всучу им непременно десятка два билетов. Что — два десятка! Они в состоянии купить билеты на целое представление. На десять представлений!

Я их знаю. Это — Василиса Глебовна и Саумал Аралбаева. Их назвали, когда они вошли вчера утром в мануфактурный магазин. Я видел сквозь зеркальное окно: тесно, не проберешься к прилавку, а для них — широкая дорога, как Сибирский тракт. Какой-то малорослый мещанин, неказистый, как говорится, волдырь, пропищал, стоя рядом со мной у окна:

— Мильенщицы! Жизнь бы отдал за поцелуй!

«Поцеловать красавиц или поцеловать миллион, скотина?» — подумал я.

И никто не рассмеялся, не выругался. Все молча, с уважением посмотрели на малорослого мещанина.

Когда продаешь первый билет, очень волнуешься. Естественно, что мне трудно передать словами чувство, обуревавшее меня тогда: получится лишь слабое к нему приближение. Однако я не разойдусь с истиной, если скажу, что я тощим голосом выдавил из себя:

— Вы идете опять за покупками, мадам? Они здесь.

Та, что в дымчато-синем капоре, — Саумал, дочь Аралбаева. Отец у нее неимоверно жирен, неимоверно расползся в ширину, весь какой-то тускло-блестящий, скользкий, и в городе его зовут «Карась». Обидно и подумать, что она хоть сколько-нибудь похожа на отца. Если ее и сравнивать с кем-либо, я бы ее сравнил с диким голубем, о котором охотники говорят, что он — птица «большого сорта». Этот голубь, «клиптух», сизого цвета, с голубоватой спинкой. Говорят, у него глаза цвета синего рубина, лала. Возможно. Я не видел ни «клиптуха», ни синего рубина — говорю понаслышке.

Но я твердо убежден, что это птица действительно большого сорта!

Саумал подошла попозже, когда Василиса Глебовна почти прочла всю афишу. Вполне понятно. У Василисы Глебовны легкий и сильный шаг длинных ног, широкая грудная клетка, и вообще, по-видимому, она женщина решительная, смелая. На маленьких ножках низенькие ботики, шероховатое зеленое пальто, зеленые перчатки и узкая шляпка. Лицо у нее румяное, необыкновенно румяное, как на сцене, с несколько резкими чертами лица. Она говорит, не глядя на меня, играя биноклем в зеленом футляре с длинным зеленым ремнем через плечо.

— Так вот оно что! Цирковые афиши?

— Вы, я вижу, грамотная.

— Вы продаете здесь билеты? Вы — клоун?

Слова «здесь» и «клоун» она презрительно подчеркивает.

— Прикажете сделать кульбит, чтоб вы купили билет?

Кажется, грублю? Саумал становится рядом с подругой, чтобы заступиться. Какие, однако, красавицы! И как жаль, что волнение мешает мне высказать свое восхищение хотя бы очень приблизительно! Семипалатинск — порог Востока. Позволительно поэтому употребить восточное сравнение. Лицо Саумал — полный месяц в чистом небе. Лицо Василисы Глебовны — месяц, отраженный в пруду, воды которого чуть-чуть двигаются незаметным, но сильным движением. Когда они улыбаются, это уже не луны, — одна круглая, другая ущербная, — это два чудесных человеческих лица, полных веселья, самоуверенности, радости, смелости.

Глаза Василисы Глебовны расширяются. Я понимаю, ее томит желание разглядеть меня. И вдруг она, повернувшись ко мне всем корпусом, наклоняется, приближает свое румяное лицо к моему лицу и восклицает умоляющим голосом:

— Факир? Вы? Состарьтесь немедленно!

Я весело говорю:

— Душа моя стара. Ей, наверное, тысяча лет.

Отшатнувшись от меня, она возражает с шутливым ужасом:

— Ах, если б это правда! Я б умерла на месте от удовольствия.

— Почему? — спрашивает Саумал.

— Еще в детстве я мечтала увидеть доказательство переселения душ. А это ль не доказательство — юноша, делающий «опыты» древнейшего старика факира? Древняя душа и юное лицо, которое еще не успело перемениться, приняв переселившуюся в его тело древнюю душу. Вы верите в переселение душ, господин Бен-Али-Бей?

— Нет, конечно.

— А я верю. А ты, Саумал?

Саумал подумала, поглядела в небо и сказала:

— Это было бы слишком хлопотно.

— Что именно?

— Беспокойство, что тебя при следующем переселении черт знает в какое животное могут вселить. Человеку плохо, но все-таки приятнее быть человеком.

— Не семипалатинским!

— Так ли уж здесь дурно? — спросил я.

— Узнаете, — ответила Василиса Глебовна.

— Скука?

— Что вы! В нашем городе скуки нет. Скука — это когда все надоело, опротивело. Здесь же все довольны городом и, конечно, своей жизнью. Если хотите, это город наслаждения! Одни наслаждаются тем, что они сыты, другие — голодны, одни — одеты, другие — оборваны. И я не сказала бы, что это радостное наслаждение. Существует ведь и злобное наслаждение. Пьют, обжираются, дерутся, обманывают других с наслаждением, которого, пожалуй, нет в другом городе. А я ведь живала и в Москве и в Петербурге. Для семипалатинского купца высшее наслаждение — пустить другого купца по миру, для офицера — изувечить солдата, для мещанина — избить свою жену и для какого-нибудь поганого мальчишки — утопить в Иртыше щенят или котят, а того лучше, своего приятеля.

— Что же, бежать отсюда?

— Ну, нет! Слушайте! Вы поразительно молоды, предприимчивы, смелы! Вы, говорят, поэт, а значит — человек с острой выдумкой! Надо осмеять весь город!

— Как? Ведь город велик. В нем, наверное, тридцать тысяч жителей. Как я могу осмеять их всех? — прошептал я.

Выражение моего лица было, по-видимому, настолько растерянное и забавное, что Саумал захохотала. Василиса тоже засмеялась. Я мгновенно обиделся и сказал:

— Вы шутите.

— Простите. До свиданья, господин факир. Ваш отец, Вячеслав Алексеевич, увидел вас в окно и попросил сказать, что он давно с нетерпением ждет. И простите, если наболтали глупости! Но ведь так важно делать глупости. Вы их умеете делать?

— К сожалению, да.

— Почему — к сожалению? Глупость — это делать что-то непонятное людям. Например, видите, едет на паре соловых бородатый и важный монах? Это архимандрит Михаил, настоятель главного стана Киргизской духовной миссии. Наше семейство богомольное. Мы строим колоссальный Казачий собор. Архимандрит Михаил пользуется в нашем доме большим почетом. Значит, мне надо первой поклониться ему?

— А вы возьмите да и высуньте ему язык!

— Вот так?

И она высунула.

Солидный, красивый монах, весь в каких-то розово-золотистых кудрях, так пошатнулся, что коляска заскрипела. Поправив на голове клобук и почесывая ухо, он смотрел на Василису Глебовну крайне серьезно. И она, чтобы ему не думалось, что померещилось, она высунула язык вторично! Коляска монаха скрылась за углом. Саумал хохотала.

Василиса Глебовна весело спросила:

— Убедительно?

— Очень!

— Будем продолжать?

— Пожалуй.

Боже мой, но ведь я сочинил пьесу о Калмыкове, да еще какую!.. Правда, написан лишь первый акт, но он по дерзости стоит пяти!

Ведь помощником Глеба Ивановича Калмыкова во всех его отвратительных преступлениях изображена там Василиса Глебовна.

ИЗ ДОМА АРАЛБАЕВА ВЫШЕЛ МОЙ ОТЕЦ

Он долго, опустив голову, смотрит на доски тротуара, и лицо его выражает тревогу. Затем он поднимает голову и спрашивает, но уже спокойно, с улыбкой:

— Началась забастовка на калмыковской мельнице?

— Не знаю.
— Заметь, мне Калмыкова жалко.
— А чего его жалеть?!
Мой отец воодушевляется:
— Главная ценность добра — прийти вовремя. Мы часто жалеем таланты, уже погубив их. Или, читая книги, воспитываем детей, брошенных родителями. Книги помогают воскрешать нам добрые намеренья, которые, увы, так и остаются добрыми намерениями! Поэтому будем воспитывать себя на том, чтобы добро сеять весной, а не в середине жаркого лета, когда почва суха. Глеб Иванович Калмыков готов вступить на опасный путь. Надо предупредить его. Он человек не без способностей. Правда, его способности до этого дня были направлены в дурную сторону, но он должен свернуть. Иначе ему свернут голову. Тебе нравится «Рождественская песнь в прозе»? Помнишь, там есть некий Скрудж? Если ангелы надеются на человеческую доброту, что же нам остается делать?
— Ангелы видят бога. Им легче. У них есть свой полицейский. Нам хуже. У нас бога нет.
— Добро может существовать и вне бога.
— Согласен. Но вряд ли существует добро, которое приложимо к Калмыкову.
— А вот я приложу!
И он добавил:
— Мне вспоминается по этому случаю одна встреча в Иерусалиме. Пришлось жить в русском монастыре: пел в хоре, колол дрова, между прочим страшно сучковатые. Встретил я там одного монаха — кряжистый, борода, как у Барбароссы. Он меня спрашивает: «Ты откуда?» — «Из Средней Азии», — отвечаю. «Там ищи добра, говорит, там ищи». Глаза горят. Я и думаю: «Добывал ты прежде, Вячеслав, истину горбом, теперь добывай умом». Поразмыслил — и немедля, прямым ходом из Иерусалима в Ташкент, а оттуда пешком на Иртыш. Всеволод, есть такая наука — бальнеология...
— Впервые слышу.
— Описание целебных вод. Выпил я первый глоток нашей семиреченской воды и почувствовал, что, имей я время, составил бы это описание родных своих вод. Целебных! Прощай.
— Постой, отец! Ты куда?
— Повыше к горам, источников чистых поискать.

— Зачем?
— Я же объяснил.
— Непонятно.
— Соображай.
— Подожди, подожди, отец! Ты Скурлатова видел?
— А как же.
— И адвоката Мейстера?
— И его.
— Газета «Степное слово» будет?
— От тебя, Всеволод, зависит.

Я онемел.

А когда онемение прошло, я, понимая, что отец по каким-то сложным его соображениям не скажет ничего о «Степном слове» и Скурлатове, спросил о другом:

— Что ты делал у Аралбаева?
— Заступился за Ханыке.
— Кухарку?
— Кухарка, прачка — не все ли равно? Ее обидели, назвали воровкой, уволили. Одни сыты, одеты, шутят и радуются, а другие, не менее красивые и молодые, подыхай на улице?
— Что-то ты от меня скрываешь?
— Спрашивай.
— О Саумал прежде всего, дочери Аралбаева. Не могу в ее душе разобраться.
— О, чего захотел! Геммадинов и тот не в состоянии.
— Кто такой Геммадинов?
— Некто из Среднеазиатского банка. Шишка, в общем. Жених Саумал. Собственно, у нее был уже жених, Исымов, сын семипалатинского торговца чаем. Но она разлюбила его. Если у казахов девушка способна отказать жениху, значит, у нее дьявольская воля. Геммадинов — вице-директор ташкентского Среднеазиатского банка и заведующий отделением банка в Верном. После свадьбы он намерен построить где-то под Верным большой дом, и твой дядя Василий Ефимович уже чертит план. Он меня спрашивает: «Если дом на скале, внизу горная река, затем поле, курган с раздвоенной вершиной и за курганом две пологих горы, какой архитектуры должен быть дом?» Я отвечаю: «Мавританской». А Василий Ефимович даже и не слыхивал слова «мавр». Ха-ха!

— Ты мне совершенно закрутил голову, отец.

— А зачем, сынок, ты меня задерживаешь?

— Когда вернешься?

— Денька через три-четыре. Или через год. А что?

Я показал свою афишу.

— Останься. Посмотри.

Он сказал, с печалью глядя на афишу:

— Кабы сыну моему выпали мучения за религию, я, быть может, и пошел бы в Колизей, посмотрел, чтоб он знал, что отец его видит и восхищается. А за деньги себя мучить — свинство. И смотреть не хочу. Прощай!

Но перед тем как исчезнуть, он окончательно затуманил мне голову, сказав:

— Кстати, о казашке Ханыке. Эта молодая женщина справедлива и умна. Я бы добавил — чрезвычайно! Теперь вот что. У казахов, которые занимаются земледелием, и в Семиречье и у нас, в Прииртышье, плохо дело с посевным зерном. Попросту говоря, нечем сеять! Можно б занять у богатых казаков в станицах, но почти все зерно там еще осенью скупил Калмыков. Ханыке, однако, высказывает надежду, что ей удастся найти зерно для посевов.

— Себе?

— Себе и другим.

— Многим?

— Довольно многим и много. Сто тысяч пудов.

— Прислуга?! Сто тысяч пудов пшеницы?!

— Ты, Всеволод, сомневаешься в умственных способностях прислуги? А давно ли ты сам был водовозом и мел полы в поселковом магазинишке? И подавал приказчикам стаканы с чаем?

Я слушал его с возрастающей тревогой. Понятно, что он слегка шутил, но чувствовалось в его словах много скрытой правды.

Пошатываясь от волнения и даже иногда хватаясь за дощатый забор, чтоб не свалиться, брел я на постоялый. Уже видна была скользкая железная труба паровой мельницы Калмыкова. Труба словно опирается на стальные канаты, простертые к ней из снегов.

Сумерки очень красивы. К сожалению, трудновато полностью понять их красоту: я ничего не ел со вчерашнего дня.

Сворачиваю на Крепостную, где наш постоялый. Возле огромных деревянных ворот торговца сеном вижу

неподвижно прижавшуюся и, словно знакомую, фигуру с беленьким узелком.

— Ханыке, кажется?

— Ханыке, — отвечает она по-русски.

— Вы были у адвоката?

— Зачем? — шепчет она почти неслышно.

Я ей чем-то неприятен? Однако она идет рядом со мной, чуть забегая вперед. Даже в темноте заметна дрожь, сотрясающая ее маленькое тело.

— Зачем? Но ведь вы хотели судиться? Простите, чем вас Аралбаевы оскорбили, Ханыке-слу?

Приставка «слу» означает красавица. Мне захотелось быть вежливым, а кроме того, в это время мы проходили мимо керосинового фонаря. При его жирном, желтом свете Ханыке действительно казалась красавицей и, кроме того, веселой, здоровой, крепкой.

— Ханыке-слу? Раньше я была Ханыке-слу. Теперь — нету!

Я попробовал пояснить свои слова:

— Вы и сейчас, Ханыке-слу, красавица. И вас каждый полюбит.

Неожиданно молодая казашка отступила на полшага и с такой силой ударила меня узелком по лицу, что я упал.

— Воровкой тоже меня будешь называть, воровкой?!

Афиши развернулись на мокром снегу.

Добрым моим читателям, конечно, хочется, чтобы я, не обращая внимания на афиши, бросился к Ханыке, схватил ее за руку и все-таки объяснился. Ведь я не хотел ее обижать! Но я должен огорчить вас. Неожиданный удар разозлил меня: драгоценные мои афиши могут ведь испортиться от мокрого снега! Как их тогда расклеивать?

И я кинулся собирать афиши.

Когда я поднялся, Ханыке исчезла.

Неподалеку, прислонившись к фонарному столбу, стоял Скурлатов.

Тут, признаться, я почувствовал себя дурно. Он-то откуда? И, конечно, он видел, как молодая казашка хлобыстнула меня по лицу! Замечательно! Поди, еще посмеивается?

Нет, лицо Скурлатова неподвижно, только по скулам играют тяжелые, точно железные, желваки.

— Поскользнулся?

Значит, не видел?

— Днем вроде подтаивает, а вечером гололедица.

Скурлатов сказал:

— На калмыковской мельнице после работы в сторожке читают.

— Книги?

— Обычно книги. Вы — актер, поэт. Почитаете, может быть?

— С удовольствием. Зайдем лишь за книгой. А можно и наизусть?

— Лучше наизусть. Сегодня там ребята составляют требование, которое завтра предъявят Калмыкову. Либо выполняй, либо — забастовка! Конечно, страшновато: не так-то много было забастовок в Семипалатинске. Вот и подбодрим.

— От меня ли исходит бодрость?

Он отвечает без улыбки, серьезным и спокойным голосом:

— Исходит.

И добавляет:

— Отец ушел? Великой он проницательности. Нам бы такую.

«Нам»? Которому из нас? И зачем?

ОДИН БЕСПЛАТНЫЙ — МНОГО ПЛАТНЫХ

Прошло три дня. Забастовка мельничных все еще не началась. Глеб Иванович принял выборных и, к общему удивлению, беседовал с ними мирно, обещая благополучно разрешить «конфликт». Явно, он чего-то выжидал.

Скурлатов в эти дни представлялся мне непрестанно говорящим речи и нервно пишущим что-то, вероятно о немедленном уничтожении царизма. Позже я узнал, что он действительно писал в защиту книги «Размышления Поэта». Книгу семипалатинские власти собирались сжечь именно в эти дни! Власти бросали вызов обществу. Общество отвечало им со злостью — голосом Скурлатова. Статья его была размножена и пошла по рукам. «Имеют ли право поэты на размышления?» — называлась она.

В типографии рослый вертельщик Щепетников сказал мне:

— Скоро тебе работа будет. Калмыкову машины, шрифты, бумагу привезли. Восемь обозов.

— Газетную бумагу?

— Кто знает, газетную али раскурочную? Я газет не читаю и не курю. Я человек от лиригии.

А по возвращении на постоялый я получил визитную карточку купца первой гильдии Глеба Ивановича Калмыкова.

Внизу, под печатным именем и званием Глеба Ивановича, кудрявым и, как мне показалось, смущенным почерком было приписано: «Не посетите ли, любезный факир, нашу литературную ассамблею? Тем более что ваш отец выразил желание прочесть отрывки из своей книги о среднеазиатских несторианах. *В. К.*».

Василиса Глебовна? Но почему «К», Калмыкова, а не «Н», Назаренко, по мужу?

Сопоставляя сведения типографщиков с визитной карточкой, я подумал, что только адвокат Мейстер разъяснит непонятное.

Мейстер, перед тем как переехать в Семипалатинск, жил в Омске. Зарабатывал он там недурно. Калмыков соблазнил Мейстера крупными кушами.

Адвокат жил в убогом флигельке. Вся семья, несмотря на холод, одета очень легко. Лица синие, а пар от дыхания, попадая на свет керосиновой лампы, мертвенный, какой-то эмалево-желтый. На столе возле локтя адвоката — старинная деревянная баклага, из которой Мейстер прихлебывает чай, балагуря, что баклага гораздо лучше самовара хранит тепло, если, разумеется, самовара нет.

Немного же он «схватил кушей» в Семипалатинске!

— Знаете, что происходит?— выпалил я ему, едва успев познакомиться.

— Забастовка?

— И аутодафе вашей книги!

Про «аутодафе» я прочел вчера, и мне очень приятно, что я вовремя вспомнил это красивое слово.

— Что же нам делать? — спросил я.

— В каком смысле?

— Калмыков уже привез шрифты и машины для своей газеты!

— Шрифты и машины еще не делают газеты.

— Он собирает всю интеллигенцию, чтоб выбрать сотрудников для своей газеты.

И я положил перед адвокатом визитную карточку Глеба Ивановича.

— Такую же точно получил и я,— сказал спокойно Мейстер. — Но это вовсе не значит, что я пойду сотрудником в его газету.

— И я тоже!

Он посмотрел на меня без улыбки.

— Приятно.

— Нужно спешить!

— С чем?

— С вашей газетой!

— А!

— Материалу — горы! Отсутствие посевного зерна у степных казахов. Забастовка мельничных рабочих. Эксплуатация обозных возчиков: им уже вторую неделю не платят. Подсудное происшествие с Ханыке.

— Подсудное? А кто это — Ханыке?

— Вы не знаете?

Я задал свой вопрос слишком горячим тоном. Ведь я сам толком не знал, в чем заключается подсудность происшествия с Ханыке. К счастью, Мейстер не переспросил меня. Я стал клонить разговор к «Размышлениям Поэта», утверждая:

— Жечь в эти дни вашу книгу — вызов общественному мнению!

— Общественное мнение еще не видало ее. Книга лежит в типографии.

— Кое-какие экземпляры проскользнули. Есть, например, у меня.

Я жду его вопроса: «И что же вы думаете о книге?» У меня уже подготовлен ответ: «Все очень стройно. Но вот дело В. Г. Калмыковой освещено неясно». — «В чем же неясность?»—«Мне кажется, что сейчас вы считаете Василису Глебовну причастной к убийству мужа». Мейстер побледнеет, потом попытается встать со стула, я подбегу, чтобы помочь ему, но он тихо отстранит меня и скажет... право, не могу себе представить, что он скажет дальше.

А Мейстер молчит. Я могу истолковать это как скромность автора или считать, что ему не до бесед о своей книге,— все, что хотите. Кроме основного. А основное все-таки есть. Сомнение. Или, может быть, раскаяние, что взялся некогда вести дело В. Г. Калмыковой?

Он расспрашивает о моем отце, рассказывает о Скурлатове, говорит о правовом положении казахов. Я — опять о Ханыке. Он слушает внимательно. «Патриархальщина! — восклицает он. — Не удивительно, что Ханыке боится суда с Аралбаевым. А вы утверждаете, что, наоборот, она не боится? Что же, значит, она коечто слышала об идеалах современной женщины. Может быть, от Саумал?»

Время от времени Мейстер прерывает беседу и бежит в соседнюю клетушку, откуда доносятся душистые запахи. Там он варит на плите новую краску из глин иртышских берегов. Возле стола, за которым мы сидим, свалены некрашеные «балясы», точеные столбики для перил клироса. Мейстер пробует на них качество новой краски и продаст эти балясы по гривеннику за штуку. Продаст на рубль в день — и это весь его заработок. Химия кормит не лучше адвокатуры.

Ну, может быть, он подправит свои дела в газете? Однако спрашивается, на какие шиши будет содержать Скурлатов «Степное слово»? Открыть сбор пожертвований? А кто осмелится пожертвовать, зная, что газета — противокалмыковская? Узнать бы обо всем этом. Но как, если Мейстер старательно обходит эти вопросы?

С тем и расстаемся. Перед уходом небрежно спрашиваю:

— Вы этого князишку Малицына знаете?

— Какого Малицына?

— Того, что приехал сегодня.

— Впервые слышу. Кто он? Высокопоставленный?

— Смотря кем.

— Ха-ха! Метко. А вы с ним знакомы?

— Да, игрывали,— небрежно лгу я.

— В карты?— широко открывая глаза, спрашивает Мейстер.

— Нет, в любительских спектаклях.

— А, он актер!

— Лицедей. Его прочат в женихи Василисе Глебовне. Может быть, будем присутствовать на сговоре? Я не знаю этих мещанских обычаев На сговоре, кажется, невесте и жениху подарки подносят?

— Не думаю.

— Но, в общем, это лишь предположения. Для меня это не суть важно. Я хочу продать там обывателям билеты на свой дебют в цирке. Посредством одного

бесплатного билета, то есть визитной карточки, продать много платных. Ха-ха!

Я вышел, весь багровый от стыда, и медленно направился по улице. Почему я опять налгал самым глупейшим образом? Когда и где я играл вместе с Малицыным? Ну, нехорошо-то, нехорошо!

Мейстер — адвокат, глубоко знающий людскую породу. Он, конечно, понял, зачем я приходил: узнать, будет ли сговор у Калмыковых? Два дня тому назад я услышал, что приехал князь Малицын, знакомый Калмыковым по Петербургу. Говорят, князь интересуется землями Семиречья и хочет разводить породистых овец. Но уже шла молва, что не овцы его занимают и не семиреченские земли, а приданое Василисы Глебовны, которое будто бы приближается к двум миллионам. Молва не без оснований. Судя по разговору со мной, жизнь в Семипалатинске не очень-то мила для Василисы Глебовны. Она даже пытается кокетничать с цирковыми факирами!

«Боже мой, а что, если они пригласили меня развлекать гостей на сговоре?! Узнать, непременно узнать!»

САЛАЗКИН, ПРАВАЯ РУКА ВОРОТИЛЫ КАЛМЫКОВА

Надеясь встретить Саумал и от нее узнать хотя бы кое-что, я побывал и у Аралбаевых и у Скурлатова и обошел все калмыковские предприятия.

Аралбаевы и дядя сказали неопределенно: «Нету ее». Скурлатов опять трудился над своей статьей — он хотел отправить ее в Петербург, значит, надо прибавить кое-какие подробности. На калмыковских предприятиях все страшно суетились — ждали «ассамблеи», хотя что им ассамблея?

В шерстомойке лысый и чернобородый конторщик, выслушав меня, сказал многозначительно:

— Саумал? У нее шерстка многоцветная. Шел бы ты к Салазкину. Он после главного воротилы — второй. Он объяснит.

Я и пошел.

Через два дома, за губернаторским дворцом, по направлению к Иртышу, была отличная бильярдная. Оттуда, несмотря на толстые двойные рамы, постоянно

слышался стук шаров и ласковый, но очень внушительный голос маклера. Вскоре на крыльце появился князь Малицын. Я сразу узнал князя по описаниям. Да и пьянчужка, подпрыгивающий и просивший пятачок, тут же назвал его.

Малицын — в богатой шубе и цилиндре, молодой, очень красивый, — как-то пригибаясь и словно собирая остаток сил, брел к рысаку. «А рысак-то калмыковский!» — с болью на сердце подумал я.

И у меня сразу же ослабела охота видеть Салазкина. И без того все ясно.

Я отправился на постоялый.

Здесь ждал меня мой отец.

— Читать явился у Калмыковых?

— Почитаем, — ответил он, широко улыбаясь.

Узнав, что я искал Салазкина, он сказал, что если в какой-то степени можно надеяться повлиять на Калмыкова и «вывести его на стезю добра», то надежд на исправление Салазкина нет никаких.

Отец ходил по широкой и душной комнате постоялого, несколько раз останавливался возле нар и, улыбаясь, глядел на меня пронзительно.

— Значит, к Салазкину не ходить?

— Почему? Подлецы тоже поучительны.

— И болтливы?

— Перед тобой все болтливы.

— За блаженного считают, что ли?

— Вроде. Ты не обижайся. Это очень хорошо. Впоследствии, когда люди будут перед тобой менее болтливы, ты с удовольствием вспомнишь молодость.

— Отец! Ты князя Малицына видел?

— Как же.

— Кто он, по-твоему?

— Малицын? Тоже блаженный, только с другого конца. Да-а-леко шагнет!

— В каком смысле?

— А в том самом, о котором скажет подробнее будущее.

— Видно, не миновать мне Салазкина!

— Как?

— Может, он объяснит.

Отец засмеялся.

— Валяй, допытывайся. Я ведь боюсь с тобой

откровенничать. Вдруг да навру родному сыну и тем самым путь его испорчу?

— И бросаешь меня в лапы Салазкина?

— Не медведь же он.

Вот я и на скамеечке возле палисадника калмыковского дома. Съезжаются гости. Поднялся на крыльцо, смеясь и подталкивая толстого и широкого Аралбаева еще более толстый, но молодой и красивый Геммадинов, вице-директор Среднеазиатского банка. Подъехал архимандрит Михаил. Князя Малицына еще нет. Зато взошли на крылечко Мейстер и мой отец.

На скамеечку подсаживается калмыковский кучер Нура. Крайне серьезный казах в длинном бараньем тулупе, рукавицах и лисьем малахае. Нура — охотник за пушным зверем, стрелок. Говорят, он даже добывал тигров на Балхаше. Он родом с южных берегов этого великого озера. Помимо всего прочего, Нура большой знаток коней, особенно казахских. Нура — хороший, добрый. У него большая семья, живущая в предместьях города, он трогательно о ней заботится. У Нуры много приятелей среди мельничных рабочих, и, кажется, кучер согласен с требованиями «мельничных».

— Действительно ты согласен, Нура, с мельничными?

Нура достает рожок с «насом», мелким, тертым табаком, сыплет табак за щеку, сладко вздыхает и, похлопывая нагайкой по голенищу длинного сапога с раструбами и с необычайно высоким каблуком, говорит:

— Согласен. Но я не хозяин, не Калмыков.

— Давно у Калмыковых?

— Года два.

— В Пишпеке, значит, еще не служил?

— Нет. Я тогда на Балхаше охотился. Для Академии наук. Шкуры птичьи снимал. Ты Салазкина ждешь? Ох, и здоров он на водку!

— Я не пьющий.

— Знаю. Скурлатов говорил. Слушай! Что тебе Салазкин? На мельнице с приказчиками и князем Малицыным пьянствует Салазкин...

За моей спиной послышался голос:

— А почему, собственно, любопытствуете насчет Салазкина? Я и есть Салазкин!

Салазкин топчется передо мной, стараясь скрыть волнение. Упитанный, дородный, краснощекий, в мехо-

вой поддевке, подхваченной дорогим наборным поясом, он спрашивает:

— От полиции?

— Нет, от себя.

— Эвона! А я вас, господин Иванов, в пальто-то и не узнал. Гляжу — парень рот раскрыл! Думаю: полицейский сыщик! Они очень нашего миллионерства стесняются. Известно, они насекомые, а тут — кочет! Но все-таки я-то пе кочет, дрожу: вдруг какой в доме непорядок, вор прилез или что-нибудь подобное. В гости?

— Именно.

— Надо, надо, если ученостью в отца.

— Сердцем,— бросает Нура.

— Сердце, извините, и на бойне низко ценится. Ум двигает миром.

— Торговым.

— А на торговле вся жизнь.

— Твоя,— продолжает Нура.

— И моя. И твоя.

— Моя? Нет.— Нура кивает в мою сторону. — Его — тоже нет. Да тебе не понять!

— Мне и нет нужды. Дай-ка за скулу насу.

Салазкин закладывает табак и сплевывает.

— Ой, и силен!

— Охотничий.

— Тигровый, паря!

Днем улица слегка подтаяла, а сразу же после захода солнца ударил мороз, и теперь копыта лошадей так бьют в дорогу, словно раскалывают ее. Сначала раздается глухой звук, затем звонкий, будто колют колуном полено. Во дворе за забором шумит цепью собака. Если сани останавливаются за палисадником возле крыльца — собака рычит; если мимо — лает так, что забор за нами будто колышется.

Прислушиваясь к лаю пса, Нура поднимает кнутовище.

— Хорош кобель, умный!

— Козырной,— отзывается приказчик и продолжает: — Теперь я совсем невидный, и ноги у меня колышутся, а раньше — лет двадцать пять назад — я тоже был козырной! И казачки и киргизки влюблялись, а я отмахивался. Были видения почти что с колыбели: «Баб не люби, погибнешь!»

— И не любил?

— Нет. Если что любить, я наудалую любил сладенькое: конфеты, варенье, пряники. Меня от них насильно оттаскивай! А теперь и этого не люблю. Жизнь есть натуга. Натягиваешь струну, натягиваешь, рассчитываешь песню играть, а она, ан, и лопнула!.. Нет, времена не те, чтобы быть счастливыми. Повертон.

— Повертон?

— Предвещается повертон. В какую сторону, еще неизвестно.

От усиливающегося мороза, что ли, не знаю, но Салазкин пахнет так, словно на него пролили бутыль водки. Лицо удрученное, выразительное. Сплюнув, он начинает говорить о своем дневнике, куда много лет вписывает «знамения»:

— Вот вы, господин Иванов, в центральной России не бывав, небось читывали, что там восемь лет назад, в девятьсот пятом, грабежи и пожары достигали высшей степени? Безземельные жгли. Помещиков! У нас тут помещиков мало. Больше промышленники. Да и безземельных не так чтобы много водилось. А теперь, кажись, нахлынут.

— Нахлынули! — говорит Нура.

— Верно! — с каким-то злым весельем подтверждает Салазкин. — Верно. У нас на мельнице и других предприятиях народ прежде был смирный, а теперь погляди, как бурлит. «Забастуем!» И забастуют, им что! Их не только подпольщики, их сами адвокаты, первоприсутственные в суде люди, подталкивают. Один адвокат у нас тут «Размышления» хотел издать, так его за такие размышления — повесить! Книгу — в каталажку, один номер только оставили: к самому царю повезли. Царь у нас строгий, прочтет и непременно адвоката казнит.

— А этот адвокат, кажется, дочь вашего хозяина от каторги спас? — спрашиваю я.

— Бог ее спас, а не адвокат. Нет, нам наши места от повертона надо беречь! Наши места — золотые на Алтае, а по всей остальной степи — конские. Кони — тоже наше золото!

Нура сказал:

— Во всем другом — плохо судишь. А про коней — хорошо. Лучше наших коней во всем свете нет.

— Верно! — с убеждением подтвердил Салазкин. — А теперь рассуждай дальше. Золото, кони. Что еще дороже? Ничего. На золоте царь держится, на коне — его

охрана. А только охрана плоха. Ой, как плоха! И не конями, а в силе своей разуверилась. Дальше. А раз плоха охрана, промышленник тоже дрогнул. Рабочий зашумел, глядишь — промышленник испугался. Его ж заместо помещика начнут жечь! Что, господин Иванов, сомневаешься?

— В последних ваших словах? Нет. Не сомневаюсь.

— Слышал, Нура?

— Ничего я не слышал.

— Ха-ха! Свидетелем не хочет быть?

Нура вдруг сказал важно и серьезно:

— Прицепишь его к делу, убью.

— Кого?

— Тебя. Стреляю метко. Я.

Салазкин, посмотрев в лицо Нуры, отшатнулся.

— Да я пошутил, дурной киргиз!

— А я — нет. У него отец — святой, мы его стеречь должны.

— Отца или сына?

— Обоих.

— Раз святой — я молчу.

— То-то!

Помолчав, Салазкин продолжал:

— А из меня святого не вышло. Был я у родителей единственный сын, были они состоятельные, ну и избаловали.

— И отроду ты мошенник был.

— Зачем же, Нура, зачем? Если ты бьешь из винтовки метче всех охотников, зачем людей оскорблять? Запугать хочешь? Не запугаешь. Не боюсь. Повторяю, я с детства удачами избалован.

— Убью, — опять хмуро сказал Нура.

Салазкин всплеснул руками.

— Перестань. Противно. Слушай лучше, как попал я на японскую войну. Наши сибирские, линейные, лицом не особенно герои, зато воюют азартно. Кинулись как-то лавой на японцев. Японец палит в рожу прямо, а мы скачем, пики наперевес. Ну, подстрелили. Я — с коня! Конь умный, вынес тело хозяйское из лавы, да только не в седле, а волоча по рытвинам, так что я оказался потоптан, помят, валялся беспамятным. Ночь свежая. Очнулся. Приподнимаюсь — звезды! А сквозь звезды — переминается мой конь, покачивает головой, дышит, ждет. Ощупал себя: руки, ноги переломаны. Нет

никакой возможности в седло! А лишь бы взобраться: конь довезет! И притом торопись! Конь — животное: ему есть-пить надо. Убежит! Собрал я силы, попробовал встать. Опять беспамятство! Очнулся — и боюсь глаза открыть. Трепещу — вдруг конь ушел. И тогда, с закрытыми глазами, дал я клятву выстроить в Семипалатинске такую церковь, какой нет ни в одном казачьем войске.

— Вот собор-то калмыковский откуда! — воскликнул я.

— А как же! Начат моим пожертвованием. Дал я эту клятву и чувствую: левая нога будто тверже! Открываю глаза. Конь при мне! Приподнялся, на левой ноге дополз до седла. Влез! Конь меня, беспамятного, — в полк! Командир полка, зная нашу удаль, считал ее простой обязанностью, но и он удивился. Казак с перебитыми руками и ногами в седло влез и даже вернулся в полк?! При полном строе наградили «Георгием» и печатали в газетах... А кто помог? Бог.

Я спросил:

— А разве без бога не влезть бы в седло?

— Нет, без бога не чавкать бы мне уж бараниики. Дальше. Вернулся я с войны домой и отвалил будущему собору три тысячи двести тридцать семь рублей пятьдесят шесть копеек. Всю свою наличность! И жена согласилась. Я жену любил и мог ее убеждать.

— Любил? — хмуро проговорил Нура. — А как эта девка, которая тебе детей рожала?

— Девка была любовница, баловство, но раз она из любви ко мне утопилась в Иртыше, я ее фотографию держу у себя под траурной рамкой. Когда я вернулся и хотел жертвовать, девка мне твердила, дура: «Не жертвуй, уедем». А как же я могу законную жену бросить и перед богом слова не держать? Девка утопилась.

Нура сказал:

— От жены детей нету, от девки было двое. А он ее дурой ругает и позволил утопиться. Хуже ты, чем Калмыков! Разорвать тебя конями, как в старину. Зачем на мельнице с князем Малицыным был?

— Приглашен.

— Кем?

— Им. На пьянство, не скрою.

Нура сказал:

— От меня ничего не скроешь. Любую твою подлость открою.

— А у меня и нет никаких подлостев. Я только служу.

— Кому?

— Калмыкову.

— Как служишь?

Салазкин засмеялся.

— Так, как тебе и в голову не придет. Возьмем того же Малицына. Мне с ним пьянствовать интереса нет никакого. Но он узнал, что меня перепить невозможно, пристал: «Выпьем». Я говорю: «Вы сначала, ваше сиятельство, приказчиков наших мельничных перепейте, а там — и за меня». — «Едем, кричит, на мельницу!» — «Позвольте, а чтение?» — «Вернемся». Это что же, в пьяном виде в калмыковское зало? Я этого позволить не могу. Но не могу ему и запретить поездки на мельницу. Он не дите. И вышло, раз мне Калмыкову служить, надо князя того вдрызг уложить, чтоб он в залах и не показывался. Я и уложил. Служба.

Я спросил:

— А как же сговор? Правда, что у вас сегодня сговор?

— Насчет кого, извините?

— Насчет старшей дочери и князя.

— Кто их знает, дело родительское. Каждый о своем ребенке заботится.

— Ну, вы, кажется, не очень заботились.

— Это как понять?

— Да вот насчет девки. Двое от вас было?

— Дети, верно, были. Я похлопотал, их и взяли в приют. Жена у меня хорошая. Говорит, усынови. Тоже дура. Какое ж усыновление, если я с девкой не венчан. Любовница ведь! Слово и то противно выговорить.

Черт знает что за человек! Сидит, расставив ноги, порозовел, доволен собой, словно невесть какой подвиг совершил.

Салазкин легко поднялся. Пожалуй, совсем трезв?

— И как же князь?

— Спит. Велено приказчикам сторожить.

— А приказчики не пили?

— При мне?!

Сняв пальто и повесив его из вежливости на самый крайний крючок вешалки, я развернул свои афиши. Глядя на них, я чувствовал себя необыкновенно сильным, способным совершать небывалые подвиги. Назови меня сейчас величайшим героем всех времен и народов — я бы поверил. Правда, мне не удалось напечатать афишу в две краски, но я, посыпав золотисто-красным бронзовым порошком имя факира Бен-Али-Бея, заставил его сверкать умопомрачительно!

Позади радостно захлопали. Выбежали Василиса Глебовна и Саумал. Словно и забыв, что совсем недавно они внимательно изучали мое типографское создание, воскликнули в голос:

— Какая красивая афиша!

— Саумал, я принесу кнопки!

— А я скажу гостям, что сам факир приколет афиши во всех комнатах.

И убежали.

«Зачем прикалывать? Я просто хотел показать афиши. Если молодые женщины не покупают билеты, то, может быть, они согласны их продать? Весьма важно, хотя бы за час до представления, приобрести керосин и осветить цирк. Впрочем, приколотые афиши прочтут все гости, а их много».

Наверху играет рояль. Слышны глухие голоса и топот многих ног.

Жду в передней. Что-то долго ищут кнопки. И почему я не спросил, будет ли сегодня сговор?

В соседней комнате, скрытой портьерами, слышен голос адвоката. Мейстер спрашивает: «Действительно ли семипалатинская полиция несколько дней тому назад просила разрешения сжечь арестованную книгу «Размышления Поэта» в паровой топке вашей мельницы?» Вопрос, очевидно, обращен к Калмыкову.

Сначала раздается хохот, а затем звучный и просторный баритон отвечает:

— Просили, но я... ха-ха-ха! Я против какой-либо инквизиции. В Европе она давно отменена, а у нас в Азии ей не быть.

— Приятно слышать,— говорит мой отец.

— Сомневаетесь?

— Вы мне? — спрашивает Мейстер. — Имею основа-

ния. Мне известен великолепный инквизитор: архимандрит Михаил. Разумеется, у него еще нет власти и полномочий, но все это — дело наживное. В России даже легко наживное.

Баритон хохочет.

Слышен голос моего отца:

— В связи с инквизицией я бы хотел рассказать вам один случай...

Мне очень хочется послушать отца. Удобнее войти в начале рассказа, чем к концу, когда мое появление может помешать.

Я раздвинул портьеру и первым увидел Калмыкова.

В тысяча девятьсот десятом году в Семипалатинске был Марк Ломахов, прославленный художник из группы «Мир искусства». Он ездил в поисках сюжета: Азия тогда начала привлекать живописцев. Он писал несторианские развалины, где-то под Пишпеком, остатки караван-сараев по «шелковой дороге», буддийские наскальные изображения и реку Или, искал большую статую Будды, которая, по словам казахских пастухов, находится в песках Джунгарских ворот. Вы видели, наверное, картины Ломахова. Они талантливы.

К тому времени Глеб Иванович стал известен не только как «полный мильенщик», но и как автор книг по «практической философии». О сущности его философии скажу позже. Сейчас только добавлю, что благодаря своим занятиям философией он близко познакомился с Мейстером, почти подружился.

Может быть, под влиянием адвоката, который обладал хорошим вкусом, Глеб Иванович составил себе превосходнейшую библиотеку по географии, истории и геологии Сибири, не говоря уже о беллетристике.

Затем Калмыков пожертвовал несколько тысяч рублей на городскую библиотеку, отделению Географического общества, Киргизской духовной миссии и в те же дни выстроил красивый, отделанный деревянной резьбой особняк в стиле тогдашнего «модерн» на Татарской улице. Знатоки признавали его дом образованнейшим в городе. Не удивительно, что Калмыков посчитал ценнейшим украшением особняка портрет работы Марка Ломахова,— и не пожалел денег. Ломахов на гонорар за портрет выстроил себе особняк в Петербурге.

Марк Ломахов написал Калмыкова на фоне весенних казахских ночевок. Глеб Иванович в чесучовом костюме, держа в руке соломенную шляпу, слезает с коня и передает повод работнику своему Нуре.

Скуластый, с большим толстым носом, с огромными глазами, уходящими под насупленные брови, с пышной бородой, совершенно закрывающей рот, с большим лбом, который кажется еще больше выпуклым оттого, что волосы в передней части головы сильно поредели, а на висках очень густы, Калмыков направляется к стаду коней, пасущихся на лужайке недалеко от юрт. Юрты, по их внешнему виду, не принадлежат уже «вечным кочевникам». Это уже оседлые казахи, землепашцы, которых Калмыков немало приобщил к «цивилизации». Казахи, отчетливо понимая, какая их ждет весна, хотят получить от «хозяина» хоть крошечную помощь. Казахи как бы кричат: «Надо пахать и сеять. А чем пахать, что сеять?» Весну поэтому вы узнаете не только по цветам, которые в это время года так обильны в степи, но и по тощим лицам казахов, сильно изголодавшихся за зиму, и по еще более тощим верблюдам и коням.

Так мне, во всяком случае, подумалось, когда я, войдя в зало, перевел глаза с Калмыкова, полулежавшего в кожаном бутылочно-зеленом кресле, на картину. Сам Глеб Иванович, если сравнить его с изображением на картине, похудел, борода поседела, глаза сильно впали, и, главное, он чем-то внутренне сильно взволнован.

Впрочем, когда я пригляделся к хозяевам и гостям, все показались мне находящимися в состоянии скрытой тревоги. О сегодняшнем чтении шептались, что оно начнется скандалом, а окончится, уж во всяком случае, дракой, если не стрельбой. Известно было, что учитель Иванов человек строптивый, взбалмошный и не стесняется говорить правду. И, конечно, он не постесняется брякнуть о двухмиллионном приданом и об этом авантюристе князе Малицыне.

Одна лишь Анастасия Николаевна, жена Глеба Ивановича, не испытывала тревоги. Для человека, незнакомого с Калмыковым, это могло показаться странным: Анастасия Николаевна из старинного дворянского рода, с превосходным институтским образованием — и так опуститься, обабиться, омещаниться? Глеб Иванович «опустил». Цивилизация цивилизацией, философия философией, книги книгами, а баба есть баба. Понятия

у него на этот счет были степные. Бабе — дом, пироги, варенье, а мужику — охота, путешествия, купля-продажа. Ну и цивилизация!

Пожилая, морщинистая, в длинном шелковом платье с золотым крестиком на груди, спокойно пробирается она сквозь толпу шепчущихся гостей и — прямо ко мне. От нее пахнет пирогом и постным маслом: шестая неделя великого поста. Я смущенно разглядываю книги, наваленные на столик. Она спрашивает, улыбаясь:

— Василиса про вас-то, батюшка, сказала — факир?

— Да, про меня.

— Индус?

— Если климатически разбирать любую местность...

— И, голубчик! Брось ты все эти ученые слова, а ступай в спальню — там для ребятишек конфеты восьми сортов, не считая пряников, приготовлены.

Мне сразу легче.

— Анастасия Николаевна, а что, сегодня сговор будет?

Она шепчет:

— Должен быть. Князя ждем. На мельнице он. Сына Бориса за ним послали. Так иди в спальню. Ишь тоже — индус!

И она отплывает.

Через головы гостей вижу Василису Глебовну. Она что-то необыкновенно радостна? По-видимому, ей хочется передать мне какую-то большую новость?

— Господин факир!

— Спешу, Василиса Глебовна.

— Да, да, спешите. В спальне для вас конфеты.

Тьфу! И она, подобно Анастасии Николаевне, туда же! Постой, я тебе сейчас отплачу: «Вы, кажется, согласились торговать моими билетами, Василиса Глебовна?»

— Вы, кажется, Василиса Глебовна...

И умолкаю.

Я вижу возле лампы, что на тумбочке у кресла Калмыкова — узорчатые куски обоев, покрытые неровными строками моей пьесы!

Мысли мои пришли в крайнее замешательство. Ну и мерзавец же этот Бреславский! Он что, продал сюда мою пьесу?

И в тот же момент:

— Позвольте познакомить вас, Глеб Иванович, с моим сыном Всеволодом.

Глеб Иванович медленно, опираясь на ручки кресла, приподнимается и, глядя мне ласково в глаза, говорит:

— Крайне рад. Передают — очень способный молодой человек? Весьма одолжите, Всеволод, если смогу быть вам полезным.

— Приступим? — спросил мой отец.

Калмыков сказал:

— Жду князя. Говорят, забавляется на мельнице? Пора бы и перестать — масленая кончилась, настал великий пост. А вот и Борис.

Борису Глебычу лет двадцать пять. У него порывистые и одновременно скользящие движения, словно он постоянно катится на коньках. Он шепчет, и притом достаточно явственно, так что слышит все зало:

— Папа! Князя ни сюда, ни в гостиницу доставить невозможно. Кричит: «Истанцую всю мельницу!»

Глаза старика Калмыкова наполняются смехом.

— И что ж, действительно танцует? Мельница велика. Топот-то его слышно?

— Топот слышно.

— Ну и пусть топчется. Салазкина послать для наблюдения.

Начался ожидаемый скандал. Зало притихло, а за ним и все другие комнаты.

Но устроить скандал в калмыковском доме, видно, не так-то просто. Калмыков не хмурился, не оглядывал строго присутствующих, он молча, поджав губы, опустился в кресло и сказал Борису:

— Начинайте чтение. Князя ждать не будем. Пригласи поближе гостей, Борис. Никак вы, Роберт Васильевич, нечто вроде вступления хотели сказать?

— Было намерение, Глеб Иванович.

— Весьма одолжите.

— Мы, пожалуй, Глеб Иванович, возле вас сядем? — спросил Мейстер.

— Весьма одолжите. И еще одно. Господа!

Глеб Иванович ласково оглядел гостей.

— Князь Малицын — мой друг, я по нем соскучился. Очень возможно, что он придет сюда. Прошу, господа, дать ему дорогу и пустить прямо ко мне. Он — забавник, х-ха! А, Борис?

— Оригинал, папа.

Борис улыбнулся длинными склизкими губами и почтительно склонил голову перед Мейстером, который шел, ласково держа свою руку на плече моего отца, несшего свою рукопись и афиши, забытые мной в передней.

Мейстер подвел отца к тумбочке возле кресла Калмыкова. Отец уселся, пригладил волосы, деликатно высморкался и расправил рукопись на коленях. Мейстер почтительно сказал:

— Господа! Учитель Вячеслав Алексеевич Иванов прочтет свою гипотезу, чтения которой мы давно ожидали.

Калмыков спросил:

— Гипотеза о чем?

— Все о том же,— ласково ответил Мейстер.— О местоупокоении апостола Фомы в Средней Азии.

Архимандрит Михаил, тряхнув золотыми, в кольцах, волосами, раскатисто проговорил, почти пропел:

— Апостол Фома опочил в Индии.

— Простите, в Средней Азии,— твердо возразил мой отец.

— В Индии!

— Еще раз прошу простить, но в Средней Азии!

Адвокат Мейстер повернулся к Калмыкову.

— Рукопись называется «Судьба треножника Пифии, жрицы оракула Дельфийского, сопровождаемая краткой мифологией и каталогом листков персидской сивиллы Самбеты». Мифологию и каталог листков мы выбросим, они не имеют отношения к нашей истории, да и о самой Самбете, пожалуй, не очень-то интересно распространяться. Достаточно прочитать ее предсказания относительно Средней Азии и Семиречья.

— Относительно судьбы страны этой вообще,— спросил с неохотой Калмыков,— или касательно судьбы частных лиц?

— И частных,— ответил Мейстер.

— Это любопытно.

— Крайне,— подтвердил архимандрит.— Предсказания? С дьяволом снюхался, чтоб предсказывать? Инквизиции захотел?

— Инквизиция, так инквизиция, — сказал мой отец. — Все человеческое не страшно.

Зало заполняли семипалатинские и приезжие чиновники, купцы, офицеры, промышленники, их жены,

сыновья и дочери. Было три-четыре великовозрастных гимназиста и реалиста. Когда начал говорить Мейстер, откуда-то сверху прибежали совсем молоденькие гимназисты и гимназистки, товарищи младшей дочери Калмыковых Аграфенушки, по-домашнему Графушки. Вбежала и сама Графушка, маленькая, пухленькая, белобрысенькая. Запыхавшись, она остановилась в дверях и быстро спросила:

— Рукопись сочинена вами, господин Мейстер?

— Не имею чести! Она только что найдена учителем Ивановым в архиве Бухтарминской станицы. Там, как известно, лет полтораста тому назад была построена крепость, прикрывавшая свободное плаванье русских судов по Иртышу. Какой-нибудь бухтарминский офицер, скучаючи, записал гипотезу со слов бухтарминского старообрядца...

— В ней есть про любовь?

— К сожалению,— сказал Мейстер,— в этой гипотезе нет ни слова о любви, если не подразумевать под спрашиваемым чувством любовь к богу. Позвольте приступить к чтению, Графушка?

— Позволяю,— ответили розовые уста,— мы для того и спустились. Хотя наверху было так весело!

— Здесь будет еще веселее,— уверенно проговорила Василиса Глебовна, взглянув на меня, затем на архимандрита Михаила.— Читайте, Вячеслав Алексеевич.

Мой отец сидел на стуле с витой спинкой и витыми ножками, чуть подавшись вперед. На нем красивый мундир студента Лазаревского института, с золотыми погонами, высоким стоячим воротничком, круглыми манжетами, из-под которых видны маленькие загорелые руки с узкими ногтями. Усы и бородка подстрижены довольно коротко, волосы на голове бобриком. Он очень хорош, приятен, тих, весь наполнен каким-то веселым и хорошим отношением к человеку. Он широко открывает карие свои глаза, обводит ими собравшихся и начинает:

— «Судьба треножника Пифии»...

Сразу же, с первых его слов, напряженное внимание показывается на лицах слушателей, и все взоры обращаются в сторону архимандрита Михаила. Архимандрит сидит важный, златовласый, неподвижный, только лицо его багровеет все больше и больше, так что к кон-

цу чтения дозревает до густо-красного, с огненным отливом. Кому-кому, а ему-то понятно, что учитель Иванов издевается над ортодоксальным православием.

— От архимандрита ждете? — слышу я над ухом взволнованный шепот Василисы Глебовны.

— Чего я жду?

— Скандала.

— От него.

— А я — от князя. Истанцевав мельницу, он пожелает истанцевать наш особняк.

— Плохо, что ли?

— Почему плохо? Хорошо. А вы не хотите скандала? Боитесь, что билеты не продадутся?

— А плевал я на билеты!

— Вот именно.

Слышен голос Мейстера:

— Василиса Глебовна, вы предложили Вячеславу Алексеевичу читать...

— Молчу, молчу.

И я молчу, думая о князе Малицыне. Конечно, мне плевать на то, продам я билеты или нет. Но все же червячок грызет: «Лучше, пожалуй, продать»... Значит, лучше, если Малицын не явится, и сговор не осуществится, и ничто не помешает мне продать билеты? Лучше, стало быть, если князь уберется из Семипалатинска вообще не солоно хлебавши? А почему, позвольте спросить? Что он тебе, Всеволод, сделал дурного? Он хочет жениться на Василисе Глебовне? Ну, и что же? Пусть! Ты что, завидуешь или сам предполагаешь — ха-ха-ха! — жениться?

И я вспоминаю князя таким, каким видел его выходящим из бильярдной. Он необычайно здоров, радостен, задорен, кудри так и лезут из-под цилиндра; я бы сказал, он кудряв всей своей фигурой. Вот уж действительно этому некуда девать свою молодость! По своей натуре он «искатель». И ему часто, наверное, бывает все равно, что искать — золото, почтовые марки, коней, — лишь бы искать. Сейчас, например, он ищет невесту.

Говорят, Малицын не то из остяцких, не то из кучумовских князьков. Достоверно одно: его прапрадед был взят в плен Ермаком и отправлен в Москву. Грозному были нужны верные слуги, а известно, что никто так хорошо не служит, как ренегат. Грозный наградил

князька в малице фамилией Малицын и дал ему поместье под Тулой. Князек разжился. При Петре завели Малицыны железоделательный завод; при Елизавете уже процветали; при Екатерине прославились в каких-то сражениях с турками; при Павле были гатчинцами; при Александре разорились и с той поры не выходили из разорения. В конце концов даже и титул потеряли. Теперь им титул возобновили,— многие титулы возобновляются в связи с празднованием трехсотлетия дома Романовых. Позже я узнал из достоверных уст, что сам Василий Евграфович не принимал участия в хлопотах по возобновлению титула,— хлопотали его родители. Он в это время служил представителем землеустроительной комиссии где-то на Южном Урале и был, говорят, на хорошем счету. И сейчас он служит в землеустроительной комиссии, только в Петербурге. Отпуск в Семипалатинск он получил тоже ради каких-то землеустроительных дел — и своих и казенных. Собственно, почему все, в том числе и Василиса Глебовна, ждали от него скандала, я не понимал. Никакими скандалами он не славился, наоборот,— о нем было принято говорить, что он «классически спокоен и ласков, равно как и красив классически».

Действительно, князь Василий Евграфович красив классически; не будь пóшло, я бы сравнил его с Аполлоном. Он всегда весел, словоохотлив, ко всем собеседникам относится доброжелательно, ровно, и вообще он очень ровный, иногда лишь как-то странно и болезненно кривит рот. Но и это случается с ним редко. А в общем, повторяю, он очень мил, вежлив, приятно смеется, немножко в нос, и когда его что-либо заинтересует в разговоре, он долго смотрит на вас своими прекрасными голубыми глазами.

Впрочем, пока довольно о Малицыне.

Вернемся к рукописи, которую читал мой отец. Она довольно любопытна и по содержанию и по стилю, а главное, — в ней есть намеки, которые помогут вам понять дальнейшие события. Разумеется, я привожу рукопись не целиком, а сокращенной. Историко-религиозные отступления относительно религиозных сект Византии или арабского Халифата, при абасидах в частности, не представляют интереса.

Вот рукопись.

— «Во второй половине XII века дела крестоносцев становились все хуже и хуже. Сарацины нанесли им несколько поражений, довольно ощутительных. У западных герцогов охладела ревность к завоеванию Азии. Крестоносцы и римская церковь искали помощи.

В то время по Европе распространилась весть, что могущественный пресвитер Иоанн, царь всей Индии, прислал милостивейшие письма Риму и папе, а также государям Франции и Португалии. Из писем следовало, что христианин-пресвитер Иоанн в кровавой битве победил сопротивляющихся ему магометанских князей и теперь двинулся на защиту крестоносцев!

Двадцать седьмого сентября тысяча сто семьдесят седьмого года папа Александр III отправил к пресвитеру Иоанну ответное посольство с письмом и с предложением военного союза.

Средневековые хроники ничего не сообщают о результатах посольства. Однако слухи о могучем пресвитере Иоанне, императоре Индии, расширялись. Говорили, что он царствует над теми десятью израильскими коленами, которые были загнаны в пустыню Гедеоном и которым перед вторым пришествием Христа до́лжно вырваться, чтобы пленить всю землю. Его называли также властителем Тибета! И прочая.

Мореплаватели, отправлявшиеся вокруг Африки для поисков Ост-Индии, получали от королей поручения, помимо отыскания пряных островов, найти царство пресвитера Иоанна.

Кроме морского пути, путешественников направляли к нему и сушей. Так король Иоанн II послал Петра Ковилланиуса и Альфонса Пайва к пресвитеру Иоанну через Египет. Ковиланиус открыл Эфиопию и был очень удивлен, что пресвитер Иоанн «крайне темен лицом»...

Из этого, надеюсь, вам понятно, что если в XII веке среди народов Европы сведенья об Индии были самые странные, то во времена апостольские еще странней...»

Архимандрит прервал чтение:

— Во времена апостольские все было более ясно, чем сейчас. Апостолы вдохновенно видели и знали все. И об Индии они все знали!

Отец мой промолчал.

— Можно продолжать? — спросил он.

— Да,— ответил весело Калмыков.

— «Итак, оставив пока царство пресвитера Иоанна, перейдем к временам апостольским, когда, по преданию, они начали свои просветительные путешествия, поделив между собой различные области земли.

Еще находясь в Иерусалиме, апостолы стали метать жребий: кому и куда идти на проповедь! Петр получил Италию; Андрей, брат его, должен был проповедовать скифам, византийцам, армянам и, как нам известно, «многие эллины и греки научи, аще и во русской земле был, рекою Днепром пришедша от моря и под Киевом стояша».

Апостолу Фоме, «глаголемый близнец», выпал тяжкий жребий — Индия!

А идти в Индию ему очень не хотелось!

И вот почему. Пресвитер Иоанн в XII веке так описывает европейским государям свое царство: «Царство мое таково — идти на едину сторону десять месяц, а на другую не мощно дойти, занеже тамо соткнуся небо с землей». Где-то на краю Индии «прилежит небо к земле», начинается тьма и слышны «гласы, вопли, плачь и стенания грешников», то есть самый настоящий ад!

Апостолу, понятно, не хотелось идти к аду, тем более что и Андрей и Петр получили очень хороший жребий. Петр и Андрей обещали ему идти вместе с ним, чтобы он мог начать работу, «и, оставив его в Индии той, возвратились бы». Но Фома-близнец и при этом условии не хотел идти и говорил:

— Не могу толико труда подъяти!

Тогда ночью, во сне, явился ему Христос и сказал:

— Не бойся, Фома, я с тобой!

Но Фома не послушал и тут, сказав:

— Господи, куда хочешь пошли меня, хоть к парфам, хоть к милянам, хоть к персам, хоть к ороксенам, но в Индию не иду!

Христос отнесся к сопротивлению апостола снисходительно. Он очень любил Фому и только от любви посылал его в страшную Индию, дабы тот мог совершить подвиг превыше прочих.

Французская редакция «Сказания об Индийском царстве» подтверждает эту любовь Христа следующими словами: «В большой Индии покоится тело апостола Фомы, ради которого Христос творил больше чудес, чем для других святых».

Посмотрим же, какие чудеса для Фомы сотворил Христос?»

— Тоже вздор! — воскликнул архимандрит Михаил. — Неужели тебе, Вячеслав Алексеевич, неизвестно, что французы — католики и что любое утверждение их для православного не имеет никакого значения? Или, быть может, ты уже не православный?

— Я православный, — ответил мой отец. — Но вместе с тем я ученый и как таковой прислушиваюсь к словам всех ученых, будь то католик или баптист.

— Этим ты и отрекаешься от православия, несчастный и ослепленный!

И на это промолчал мой отец.

Он лишь спросил:

— Можно продолжать?

Калмыков улыбнулся.

— Конечно же продолжайте!

— «В Иерусалим прибыл из Индии купец по имени Аван, посланный царем Пором для найма строителей дворца. Слух о дивном храме Соломона и его строителях прошел по всей земле, и царь Пор готов был даже удовольствоваться плохим строителем, лишь бы происхождение его было иерусалимское.

Зная, что на восточном рынке можно купить все, начиная от самого заржавленного гвоздя и кончая самым высшим сановником или даже царем, Аван вышел на торг.

Христос в богатых одеждах тоже спустился на торг и спросил Авана:

— Хочешь ли купить строителя?

Аван отвечал:

— Да.

Христос сказал:

— Имам ти строителя зело хитра, да ти продам.

И показал ему издалека на Фому. Фома даже издалека понравился Авану, потому что Христос так хотел.

Поторговавшись и взяв с купца тридцать златников серебра, Христос написал договорную грамоту-куплю: «Аз, Христос, сын Иосифа, от Вифлеемские веси Иудея, поведую ти, Аване-купче: продам ти строителя, именем Фому, человека хитрого моего».

Заключив договор, Христос взял Фому за руку и привел к Авану.

Аван спросил, указывая на Христа:

— Се ли есть господин твой?

Апостол ответил:

— Он господин мой.

Купец сказал:

— Купих тя у него.

Фома молчал.

Христос сказал ему, отведя немножко в сторону, чтобы язычник Аван не слышал:

— Есть в Индии, Фома, треножник зело прекрасный, с коего Пифия вещала будущее. Сей треножник куплен индийскими купцами у эллинов за большие деньги, понеже будущее Индии очень смутно и они, индийцы, хотят его видеть. Язычники вещать будущее не должны, тем паче что треножник сей красотой своей людей смущает зело. Тебе подобает, Фома, отогнать языческих дьяволов от сего треножника, поставив на нем зерцало правды. Иди!

Но и тут Фома молчал. Он раздумывал. И только наутро, проговорив: «Буде воля твоя», направился к Авану.

Когда они вошли на корабль, Аван, чтобы еще раз утвердиться в словах Христа и знать, что тридцать златников серебра не истрачены напрасно, спросил апостола:

— Кое дело умееши?

Апостол отвечал:

— Древом — корабли, весла, кормила; камнем же — столпы, церкви и дворцы царские.

Удовлетворенный ответом, купец сказал:

— И аз такого хитреца ищу.

Купец, конечно, не предвидел всей хитрости апостола.

При попутном ветре они скоро доплыли до Индии и ее главного города, где жил царь Пор. Фому тотчас

же привели к царю. И начался разговор относительно построения палаты. Царь спрашивает его:

— Кое дело умееши в древе?

Апостол опять отвечает:

— Древом умею корабли, весла, кормила; камнем же — столпы, церкви, палаты царские.

Обрадованный царь Пор сказал:

— И аз такого хитреца требовал. Созижди мне палату.

Пришли на место, где царь задумал строить себе дворец. Царь спрашивает у Фомы, нравится ли ему. Апостол отвечает:

— Место надобное на здания!

То есть — местность удобна для постройки: лесистая, и много воды. Царю понравился такой ответ, и он предложил начать постройку немедленно. Но апостол на это предложение отвечал:

— Не могу.

Царь спросил:

— То когда, Фома?

— Начну от перветуя рекомого и скончаю до скандика.

Царь сказал удивленно:

— Всяко здание летом зиждется, а ты зимой хочеши делати?

Апостол отвечал:

— Тако подобает.

Царь потребовал объяснений. Тогда, взяв трость, апостол начертал на земле пространство палаты. На востоке он обозначил окна для света. На запад большие, в полстены, двери, так как свет с запада слабый и в нем нету нужды. Хлебницу он поставил фасадом на юг, а водовождь, то есть водопровод,— на север. Известно, что воды всегда собираются на северной стороне гор, а дворец, чтобы был виден всем, конечно строился на горе.

Увидев такой план, царь пришел в восхищение и сказал:

— Воистину, о человече, хитрый еси и подобает ти только царям служити!

И, оставив апостолу много золота, царь ушел в полном спокойствии и уверенности, что сложная и хитроумная постройка будет закончена к указанному апостолом сроку.

Апостол же собрал нищих, которых, известно, много в Индии и которые странствуют для снискания хлеба, и спросил их, где находится треножник Пифии?

Нищие удивились. Они никогда не слышали о треножнике, хотя обошли всю Индию! Апостол ничего больше им не сказал и роздал им все деньги, полученные от царя.

Спустя год царь присылает к Фоме узнать, готова ли палата. Апостол отвечает:

— Палата убо создана бысть, но недостало ей покрова.

То есть дворец почти готов, не хватает только средств на крышу.

Царь опять отпустил много денег. И опять апостол роздал их нищим, спросив снова: не видели ли они треножник Пифии? Нищие опять ответили, что не видели.

По истечении какого-то срока царю стали доносить, что Фома не строит никакого дворца, а деньги раздает бедным людям, чтобы привлечь их на свою сторону и вместе с ними свергнуть царя с престола.

Царь обеспокоился, призвал Фому к себе и спросил, куда употребил он выданное ему золото?

Фома ответил, что на это золото он создал невидимую палату, которую нельзя ощущать грубыми внешними чувствами, а только нежнейшими внутренними.

Царь сказал в гневе, что этих внутренних чувств у него и среди его подданных достаточно и что не было тогда смысла вывозить Фому из Иерусалима!

И, сказав так, приказал заключить Фому в глубокую темницу.

Фома сказал:

— Здесь, значит, обрящу треножник Пифии.

И стал ждать.

Случилось, что брат царя заболел и стал весьма близок к смерти. И было ему видение, тонкое, как травинка, и больное, как рана.

Он увидел, что ангелы берут его душу, ведут ее в рай и показывают прекраснейшую палату, созданную Фомой для царя. В этой палате брат царя увидел те сокровенные тайны, которые известны были только царю и которых он никогда не открывал никому другому.

Очнувшись, брат царя вспомнил все эти сокровенные тайны и не поверил в них. Но, однако, когда царь

пришел навестить своего брата, тем овладело странное состояние откровенности, и он поведал царю об увиденных им тайнах.

Царь Пор крайне удивился и подтвердил, что такие тайны действительно существуют. Тогда брат царя стал просить, чтобы Фома создал и ему подобную палату.

Фома был выведен из темницы, отпустил проступок царя, крестил его и брата в новую веру, «и возвел очи горе». После того как он привел целую Индию к христианской вере, он надеялся, что увидит духовные треноги, если уж нет ему вещественного треножника Пифии.

Но никакого треножника в небе он не увидал, и тогда, оставив царя, он отправился дальше, где «сомкнуся небо с землею», к Памиру, к Гималаям, искать загадочный треножник Пифии.

Путешествие его оказалось настолько тяжелым и страшным, что апостолы Петр и Андрей немедленно явились к нему для ободрения.

Повсюду расспрашивая о треножнике Пифии, апостолы довольно долго шли вместе с Фомой, пока в горах не увидели неких существ — «от ноги до пупа человецы, а перси львовы, а глава иной твари,— и оружие пламенно в руках их!» Затем они услышали веселые голоса множества людей, почувствовали различные благоухания, и наконец их одолел сон.

Проснулись они на горе, посредине которой стоял алтарь и возле алтаря — источник. Вода в источнике была белая, как молоко. Подле источника они увидели мужей страшного роста, которые пели ласковые ангельские песни. Апостолы затрепетали от страха. Тогда один из страшных мужей сказал им:

— Это — источник бессмертия, ожидающий праздных. Насладитесь им, пока не поздно!

Затем они отправились в дальнейший путь через горы, уже не вкушая пищи. Уста их, услажденные водой источника бессмертия, слипались три дня, точно от меда.

А треножника Пифии все не было и не было.

Вышли к большой каменистой реке, которая исчезала в песках. Сели на берегу.

«И бяше ветр на земле той. Западный ветр — зелен. А от востока — рыж ветр. А от полуночи ветр — яко кровь чистая. А от полуденной стороны ветр был, яко

снег». Наблюдая эти цветные ветры, апостолы заметили в небе огромное облако, похожее видом своим на треножник.

Апостол Фома подумал: а не под этим ли облаком, в песчаной неизвестной стране, хранится треножник Пифии, который ему предстоит обресть и, кроме того, украсить зерцалом?

И апостол Фома предложил Петру и Андрею осмотреть во всех подробностях эту песчаную страну, которую он восхотел назвать Страною Ветряного Камня, так как здесь столь резкие ветры, что они необыкновенно быстро превращают скалы в песок.

Перейдя каменистую реку, апостолы углубились в дюны, где они видели верблюдов с двумя горбами; крокодилов, живущих в сухих песках; антилоп с рогами в виде лиры и с кабаньей мордой; диких куриц величиной с овцу; круглые жилища людей из черного войлока, похожие на половину огромного яйца, и широколицых людей под огненно-лисьими треухами.

И пришли в одно селение, возле которого поселянин, впрягши в соху верблюда, о́рал, то есть пахал, свою ниву. Апостолы попросили есть. Поселянин ничего не мог им предложить. Встреча произошла в конце весны: просо и пшеница только пошли в дудку.

Поселянин, согласно стойкому закону гостеприимства, сказал, что он отправится в город и приобретет пищу для своих гостей. Апостолы, по уходе поселянина, решили ему помочь. Петр взялся за орало, а Фома повел верблюда. Но Андрей обратился к Петру:

— Брате Петр, что труд нелепый на себя возлагаеши? Ты бо есть пастырь и отец всем нам,— ты ли трудиться хочеши?

Тогда Петр опомнился, остановился и благословил поле старца. И по молитве апостолов просо и пшеница, которые еще шли в дудку, тотчас же вытянулись и выколосились».

Архимандрит Михаил, поглаживая рукой щеку и посматривая на моего отца влажными глазами, сказал:

— Способный ты сочинитель, Вячеслав Алексеич. Какие дивные словеса подбираешь. Они похожи и на жемчуг, и на яхонт, и на слезу умиленного младенца.

Мой отец умел ценить восхищение. Лицо его покрылось румянцем благодарности. Однако он сдержал себя и, слегка наклонив голову, спросил у Глеба Ивановича:

— Можно продолжать?

Калмыков ответил:

— Еще бы!

— «Вернувшийся поселянин, видя, что нива его уже созрела, пал к ногам апостолов и назвал их богами.

Фома сказал ему:

— Восстань, мы не боги, но нас избрал бог и даровал нам чудо для наставления людей. Хочешь быть причастным к чуду и нашим другом? Поди научи жену и детей своих нашей вере.

Поселянин понял, что занятия пришельцев не только выгодные, но и приятные, и спросил:

— А соблюди я это, буду ли я творить чудеса, какие вы сотворили на моей ниве?

Ответил апостол Фома:

— Воистину говорю тебе: исполни! Но прежде скажи: нет ли в том городе, куда идешь, треножника, на котором когда-то восседала нечестивая язычница Пифия?

Поселянин ответил:

— Да, такой треножник есть. На нем восседает теперь не Пифия, а персидская сивилла Самбета, которая славится умом и красотой несказанной.

А затем поселянин попросил апостолов позволить ему сотворить первое чудо — оставить у себя навсегда верблюда, которого он занял у своего соседа на два дня.

Петр, признав присвоение верблюда мало любопытным чудом, приказал поселянину быстрее идти в город, чтобы приготовить дом для апостолов.

Несколько опечаленный, поселянин, скосив проса и пшеницы и взвалив снопы на плечи, отправился. Апостолы же прилегли отдохнуть у ручья, потому что старик принес им еды и они ее вкусили.

Шедшие по дороге навстречу поселянину спрашивали, откуда он взял созревшие злаки, когда теперь только еле-еле конец весны? Поселянин не отвечал, спеша в город, в дом тестя, где гостившая там жена его сильно бранилась, что он понес еду каким-то бродягам.

И в городе дивились на снопы его. И обращались с вопросами. Поселянин, спеша к жене своей с еще большим рвением, не отвечал. Тогда горожане схватили его и привели к старейшинам, потому что хотя в те времена чудес было больше, но каждое чудо оттого разбиралось с еще большим рвением, чем сейчас.

Старейшины сказали:

— Отвечай по правде, где нашел свежие снопы проса и пшеницы не во время жатвы? Иначе умрешь злой смертью.

Испуганный поселянин рассказал им все, что случилось, и вызвался привести в город самих апостолов.

Старейшинам, разумеется, хотелось повидать апостолов, но, с другой стороны, они считали, что люди, походя творящие чудеса, способны к сравнительно нетрудному чуду — прогнать из города старейшин.

И кто-то из них сказал:

— Посмотреть на чудотворцев — и убить!

На это самый почтенный возразил:

— Посмотреть и убить? Вряд ли подобное предложение можно одобрить. Христианский бог хотя и не истинный бог, но все же обладает качествами бога, без которых бога не бывает: злобностью и мстительностью. Я в него не верю, но я боюсь его мстительности. Посмотреть на апостолов любопытно, однако зачем убивать их? Нужно довести их до мысли, что им противно войти в наш город! Вам хорошо известно, что христиане ненавидят женский пол, так как считают, что в женщину часто и с легкостью входит дьявол. Это мнение христиан, по-моему, не лишено основания. Итак, найдем блудницу, самую красивую...

— Самбета! Самбета! — тотчас же раздались голоса старейшин и присутствовавших на собрании воинов.

Самбету в городе многие любили.

— Совершенно верно. Сивилла Самбета, часто сидящая на треножнике, который имеет соблазнительный вид кровати, отчего семейные устои некоторых старейшин поколебались, часто предсказывала нам бедствия, которые грозят нашему городу и всей нашей стране. Но она не предсказала главного — прихода христианских апостолов и полного уничтожения блистательной нашей цивилизации! За это я предлагаю, — украсив бисером и помазав главу ее благовонными маслами, — поставить ее нагою посредине городских ворот. Увидев соблазни-

тельную ее наготу, апостолы не войдут в город, а пройдут мимо!

Старейшины и воины пошли в дом Самбеты. С нее сняли одежды, украсили ее бисером, помазали благовонными маслами и поставили посредине городских ворот. Сами же они спрятались за стены, потому что сивилла теперь была более чем когда-либо соблазнительна. Могло случиться, что кто-нибудь, не выдержав соблазна, пожелал бы ускакать с нею в степь.

И они сидели за камнями, крепко держа друг друга за плечи.

Когда апостолы приблизились к воротам града и увидали в них нагую женщину, то Фома, содрогнувшись, сказал:

— Видите ли, братия, что в сердце женщины сей вошел сатана, дабы нас искусить? Повелите ми: да пожню ее вашими молитвами.

И сказал ему Петр:

— Ты имеешь власть по всей стране. Твори, что хочешь!

Остановившись, Фома сказал:

— Господи Иисусе Христе, пусти Михаила Архистратига, да обесит жену сию на власы на аере, дондеже внидем во град сей и проповедуем слово божие. И егда изыдем из града, и да сниидет ее с аера.

И после этих слов явился ангел. И восхитил женщину вверх. И повесил за волосы на железную балку городских ворот.

Удивились горожане, увидав такое чудо.

Тогда сивилла Самбета, женщина умная и справедливая, возопила с аера гневным голосом:

— Да не примут покоя князья града и всей Страны Ветряного Камня, яко предаши мя безвинно на муку сию! А вы, апостолы, жестокосердны! За что предали мя недугу? Почто не исцелили и не дали мне жизни новой? Ибо сказано: «И блудницы да внидут в царствие небесное». Воистину, от такого жестокосердия не сделать вам отсюда ни одного шагу, а мне — всегда цвесть!

И тогда, услышав эту великую правду и повинуясь ей, архангел спустил ее вниз.

Сивилла Самбета направилась к своему жертвеннику, и апостолы, крайне удивленные, следовали за ней.

Она поднялась по ступенькам, села на вершину своего треножника, который действительно походил на кровать.

Тут она хотела снова заняться своими предвещаниями.

Но апостол Фома, вспомнив слова Христа, что язычнику не подобает предвещать будущее, потому что отныне все будущее известно, поскольку это будущее принадлежит христианской церкви, — поднял руку.

И сивилла Самбета во всей своей красоте превратилась в мраморное изваяние!

Затем апостол Фома водрузил над треножником зерцало, или «Мерило правил». Зерцало сделано было из порфира и алебастра, а верхняя часть его — из аметиста. Оно обладало чудесной силой. Смотрящие в него весьма отчетливо видели все, что делают против них как в соседних, так и в подвластных им странах. Более того, зерцало обнаруживало замыслы и намеренья, а не только совершенные грехи!»

«АССАМБЛЕЯ»

(Окончание)

Мой отец окончил чтение своего манускрипта при полном и решительном молчании всех слушавших. Многие ожидали скандала, и притом самого невероятного. Думали, что будут какие-то разоблачения, а учитель прочел чуть-чуть ироническое произведение, к тому же целиком, как я подумал, понятное лишь знатокам христианства, вроде архимандрита Михаила, который сидел с нахмуренным, но вовсе не грозным челом.

По-видимому, и Глеб Иванович тоже ждал скандала. Когда началось чтение, краска сразу ударила ему в лицо. Затем он успокоился, но к концу чтения побледнел, и на скулах его появилась желтизна мертвеца.

— Все? — спросил он тихо.

— Да, все,— ответил мой отец и добавил: — Много затем сменилось языков и чиновников, пишущих на этих языках. Но на всех языках и у всех чиновников развалины города, где впервые появилось «Мерило правил», назывались Святой долиной. Из этого вы поймете, как чиновники дорого ценили Зерцало, возникшее в первые годы появления нашей святой веры. Затем вы сразу

видите преимущества православия перед язычеством. Чтоб открывать людские намеренья, язычники держали на треножнике женщину привлекательного вида. А это неправильно. Привлекательная дама не только соблазняла людей, но и сама соблазнялась. Значит, могла свершить неправильное предсказание, отчего страдала и вся страна, и отдельные ее жители. Зерцало, поскольку оно сделано из камня, и само не соблазнялось и других не соблазняло! Поэтому-то оно удержалось до самого последнего времени на письменных столах мировых судей, окружных судов, судебных палат, вплоть до стола правительствующего сената! И поскольку Зерцало укрепилось и существует до сих дней в России,— а значит, и в Средней Азии, — мы имеем основание думать, что...

Мой отец многозначительно улыбнулся.

Никто, по-видимому, ничего не понял, кроме Глеба Ивановича, к которому и обращена была добрая половина отцовской улыбки.

Калмыков встал. Мне казалось, что во взгляде его отражались почти ужас и безумие. Однако он умел сдерживать себя. Без какого-либо следа исступления в голосе Глеб Иванович подошел к моему отцу, пожал ему руку и сказал:

— Вячеслав Алексеевич, ты ошибаешься. Господа! — обратился он ко всем.— Я бесконечно рад, что первая наша литературная «ассамблея» увенчалась успехом. Исторический рассказ Вячеслава Алексеевича превосходен. Нужно напечатать его для всей читающей России, Сибири и Средней Азии. Моя новая газета «Иртышская речь» в первых же номерах это и сделает, Вячеслав Алексеевич. Вообще, господа, прошу писать и писать! Особенно вас, отец архимандрит. Ваш простой и убедительный слог известен лишь устно. Следует облечь его в типографские литеры. Довольно калечить души косоглазым слогом декадентов. Кстати, мне принесена пьеса...

И он положил свою отекшую руку на мою рукопись. Сердце мое окоченело. Но продолжение его речи было совершенно неожиданным:

— Я ее еще недочитал, а молодой автор, кажется, недописал. К моменту открытия газеты пьеса будет закончена. Мы ее тоже напечатаем. Господа! Работы непочатый край. Постройка Казачьего собора. Постройка нового здания Киргизской духовной миссии

и при ней библиотеки духовно-нравственных книг. Затем создание семиреченской православно-археологической экспедиции. Может быть, мы найдем останки апостола Фомы в той Святой долине у горы Ак-Таш, о чем читал здесь Вячеслав Алексеевич.

Отзвук победы послышался в его голосе. Ему привыкли верить. Поверили и сейчас. Все любовались его пылающим, хотя и слегка отечным лицом.

Дамы толпились вокруг него. Оранжевые и голубые платья, отделанные черными рюшами и белыми аграфами, красиво выделялись на фоне стильной мебели, отделки стен и потолков. С потолка на ореховую резьбу стен, к аршинным аллигаторам и жабам, вокруг которых теснились кувшинки, стекали мокрые, поникшие лилии, выдолбленные в ноздреватом туфе. Запахи духов, пудры, табака мешались с запахами керосина, свеч и закусок. В столовой тихо постукивали тарелки и сверкали глаза прислуги, жадно разглядывающей гостей миллионера.

Архимандрит спросил недоверчиво:

— Глеб Иванович! Вы верите словам учителя Иванова, будто останки апостола Фомы находятся в Средней Азии?

— В Святой долине, возле горы Ак-Таш, — с охотой отозвался мой отец. — А на горе Ак-Таш, как известно, свинцовый рудник Глеба Ивановича. Да, я утверждаю, что тело апостола Фомы не в Мелиандре или Эдессе, а в Средней Азии, откуда и возникла легенда о пресвитере Иоанне. Именно здесь и поныне останки того, кто, не веря чуду воскресения, вложил персты свои в раны господа, и господь, по благости, простил это неверие, чему и нам не мешает следовать.

— Не последую! — сказал архимандрит, глядя на моего отца острым, злым взглядом.

— Напрасно. Не последовавшие за господом на земле, не последуют в царство небесное. Итак, с чем и Глеб Иванович согласен, останки находятся, по-видимому, между городами Аулие-Ата и Пишпеком. Именно тут гигантские развалины дворца пресвитера Иоанна! Подтверждение того хотя бы в том, что все многочисленные плиты, разбросанные вокруг развалин, имеют четырехугольные большие углубления — «зеркала», которые...

Почему последние слова особенно возмутили архимандрита Михаила, не понимаю. Архимандрит вскочил

было с кресла, но его удержали. Свирепо и беззвучно стуча кулаками по мягким ручкам кресла, он, задыхаясь, кричал отцу:

— Я тебя! Ты, ты!..

Кто-то хихикнул, кто-то вздохнул, а кто-то с восторгом почти воскликнул: «Началось!» Кто-то подхватил: «Значит, будет вознаграждение за выслушанную святую скуку?» Третий подхватил: «Ну, сейчас согреемся!» Послышался и оскорбленный голос Анастасии Николаевны. Богобоязненная старушка верила, что все священнослужители кротки, как голуби, и невинны, как агнцы. Ярость архимандрита приводила ее в отчаяние.

Василиса Глебовна, не обращая внимания на страдания архимандрита и причитания матери, беззвучно смеялась, весело поглядывая вокруг. Ее рука лежала на плече Саумал. Пальцы выбивали на плече подруги какую-то лихую мелодию.

Архимандрит Михаил, гулко ступая и шурша вороново-черной рясой, подсел к моему отцу и, слегка поглаживая свой клювоватый нос толстыми пальцами, раздельно сказал:

— Немедля покинь этот святой дом, богохульник!

— Не я богохульник, а богохульники те, кто слабо внимают мне, — ответил мой отец. — Но вообще-то мне пора.

Затем отец спокойно собрал и выровнял листы рукописи. Смуглое лицо его было неподвижно, и по его выражению нельзя было понять: гневается он или радуется происшедшему?

— И все-таки скандальчик не разрастается. Что за оказия? — послышался недовольный голос того, который воскликнул было в восторге: «Началось!» — Ах нет, получился!

Да, действительно скандала теперь нельзя было миновать.

Вошел князь Малицын. И костюм и лицо его имели очень странный вид.

Следует, пожалуй, повторить, что костюмы не только присутствующих дам, но и мужчин были превосходны. Мужчины большей частью были в мундирах такой адской черноты, что она нагоняла страх и трепет. Золота было нагромождено столько же, сколько бывает на небосклоне, когда заря начинает только-только теплиться.

Тем резче на фоне этих черных мундиров выделялся сюртук князя Малицына, небывало выпачканный крупчаткой, будто сквозь него муку сеяли. Лицо его тоже было набеленным, и странно сверкали на нем черные брови и черные кудри. Я не скажу, чтоб он очень уж был пьян. А если и пьян, то невесело. Впрочем, говорил он как совершенно пьяный, бросая слова, словно невзначай. Руки он почему-то держал по швам, а головой водил в разные стороны, будто ища кого-то и не находя. К нему, с шубами в руках, жались молодые приказчики из тех, кто пьянствовал с ним на мельнице. Они глядели растерянно, испытывая страх перед всесильным Калмыковым. С другой стороны, им хотелось быть достойными гостями, которых пригласил будущий калмыковский зять. И наконец, как многие из присутствующих, они жаждали скандала, о котором можно было бы говорить не только неделю, а долгие годы.

— Слушайте, может быть, я невежлив, — начал Малицын. — Но я был невдалеке. Танцевал. Потом думаю — опоздаю на сговор. Сделал небольшой крюк. И поспешил. Ведь обещано? Обещано. Зачем же откладывать? Не будем небрежны, Василиса Глебовна, а?

Глеб Иванович опустился в кресло и закрыл лицо руками. Странно, что его поразило появление князя Малицына.

— Небрежны вы, князь, а не я, — сказала Василиса Глебовна, на щеках которой появился лихорадочный румянец.

— Невероятный случай, но признаю. А почему я так охмелел, обмелел? Сваху искал! Без свахи нет жениха, особенно — в купеческом доме, хоть вы его весь от подвала до чердака обейте модерном. И вот нашлась. Сваха! Проси папашу, мамашу и невестоньку.

Князь повернулся к молодым приказчикам, обступившим его. Чувствовал он себя возбужденно: все еще не мог отдышаться. Приказчики толкались, выпирали кого-то сопротивляющегося, расступились — и мы увидели Ханыке.

— Ну, это уж свинство! — воскликнул я.

— Вовсе нет,— подхватил, смеясь, князь.— Она сама вызвалась, но сейчас, разумеется, стесняется. Однако она быстро оправится и отменно сыграет роль свахи. Впрочем, — обратился он к Ханыке, — в вашей воле покинуть нас, Ханыке. Покидаете или нет?

— Нет, нет! — поспешно ответила Ханыке.

— А вы поняли меня, Ханыке? — спросил я.

Здесь происходит что-то очень нехорошее! У Ханыке вид человека, измученного невероятной усталостью.

— Поняла, поняла,— говорит, однако, она.

Через силу, робко подошла она к Василисе Глебовне, поклонилась в пояс и вдруг твердым голосом, явно шедшим из глубины сердца, сказала:

— Прошу вас. Соглашайтесь на сговор. Прошу вас!

Василиса Глебовна была явно обижена и даже сконфужена. Но тут Глеб Иванович отнял руки от лица, выпрямился и сказал:

— Я очень признателен князю, что он неожиданным киргизским дивертисментом внес забавное оживление в наши ряды. Мы тут, признаться, чересчур увлеклись с отцом архимандритом и Вячеславом Алексеевичем эсхатологическими изысканиями. Кроме того, я был обижен вами и даже намеревался отложить сговор, князь! Но оказывается, у вас справлялось что-то вроде мальчишника? Хвалю. Итак, господа, сговор состоялся. Свадьба — так мы условились с князем — состоится сразу же после открытия первого участка железной дороги Арысь — Верный, которую мы строим. Раньше нельзя — хлопоты. Я приглашаю вас всех, господа, на свадьбу. В этом доме. И вас тоже, Ханыке. Изумительно веселая и находчивая киргизка,— сказал он растроганно, доставая из кошелька несколько империалов.

Отобрав империалы поярче и поновей, он протянул их Ханыке.

Гости были довольны. Пятнадцать рублей — крупный подарок домашней прислуге. Вообще после речи Глеба Ивановича все успокоились. Уж если после того, что отколол князь Малицын, все кончилось благополучно, откуда же явиться скандалу? Все откровенно смотрели на закрытые двери столовой. Пора бы и покушать.

Ханыке поклонилась, взяла империалы, помялась. Огонь, еле тлевший в ее усталых глазах, явно разгорался. Она направилась было к выходу, но вдруг повернулась обратно, подошла к столику и, положив золотые на рукопись моей пьесы, быстро вышла.

— Азиаты! — спокойно сказал Калмыков. — Что у них в голове, бог весть! Ну, не желает — и не нужно. Господа, пожалуйте к столу. Пока что ассамблея наша течет великолепно.

Ветер, тревожно-резкий, дул, бросая в лицо снег с песком и мешая разговору. Мейстер хвалил ужин, хвалил повесть моего отца. Мой отец — туалеты дам, особенно тех, у которых красивые плечи. Слегка выпив, он впадал обычно в тихую грусть и о красоте, как и обо всем прочем, говорил печально:

— Даже если превосходно испеченный хлеб быстро черствеет, то что сказать о красоте? А мы, глупые, не понимаем этого и обращаемся с ней более легкомысленно, чем река со своими песчаными берегами: и почву смывает, и себя засоряет. Я бы вешал, от имени общества, на каждую красивую женщину печать: «Обращаться осторожно, хрупка!» А то красота исчезает быстро, и из-за этого жизнь наша превращается в раскаленную печь.

— Пока что в этой печи холодновато, — заметил адвокат.

— Подождите немного, согреемся. Да, кстати, а там что за пламя?

У калмыковских ворот по-прежнему раскачивались фонари, по-прежнему на скамейке сидели Салазкин и Нура, по-прежнему Салазкин курил трубочку и рассказывал о русско-японской войне. А вдали, за плохо освещенной улицей, виднелось легкое зарево.

— Позади затона или в стороне?

Возле Полковничьего острова, на речке Семипалатинке, впадающей в Иртыш, был небольшой затон, который назывался Калмыковским. Там зимовало до двух десятков пароходов, и на верфи строили мелкие деревянные баржи, в которых осенью сплавляли зерно к станице Семиярской. Ко времени уборки урожая река возле Семипалатинска мелеет, образуя много перекатов, и на Семиярской пристани зерно перегружают в крупные баржи.

Дальше по берегу — мельница Калмыкова и склады зерна, тянущиеся чуть ли не на версту.

Этой зимой, не по обычаю, затон строил крупные баржи, глубоко сидящие в воде. Значит, баржи сплавят весной, в половодье, какой-то большой груз к Омску? Утверждали, что Калмыков намерен отправить туда миллион пудов зерна, оставив Семипалатинскую область и Семиречье без посевного фонда. Гуляя по набережной

против Полковничьего острова и слушая, как стучат топоры в затоне, шипят пилы, глядя, как подводы везут бревна, плахи и тес, мешане, повторяя слухи, что Калмыков непременно сплавит зерно в Омск, бормотали с восхищением: «Воротило! Хитер!»

— Пламя? Пожалуй, позади затона, — спокойно сказал Мейстер.

Пожары в Семипалатинске не редки, и горящая где-нибудь на окраине хибарка вызывает волнение только среди пожарников, да и то не всегда. Что удивительного, если Салазкин отозвался так же спокойно:

— Далеко позади. Угощали хорошо, господин адвокат?

— Чего лучше! Ветчина равняется только царской.

— А вот породнимся с князьями — лучше царской будем есть.

— Мне больше ликерчик оказался по душе, — посмеиваясь, сказал мой отец. — Подхожу к порогу, а он не пускает! «Куда торопишься?» — говорит. Хорошей породы ликер!

Я проговорил с неудовольствием:

— Хорошей! Выгонят вот из школы. Слышал — архимандрит кричал: богохульство!

— Вона! Все составные части произведения давно ведь напечатаны в журнале министерства народного просвещения. Пожалуйся архимандрит, я пришлю книги, по которым составлял свою гипотезу. Сам же в неграмотных дураках окажется! Тут дело есть понеприятней. Пока там этот князек дурака валял насчет сговора, я кое-что слышал. Забастовку, сынок, на мельнице объявили. Полиция туда послана. Вот откуда жди неприятностей, сынок.

Всякому свое, а особенно — автору. Мейстер сразу сказал:

— Раз началась забастовка, топки потушены, и мои «Размышления Поэта» негде сжечь.

Я сказал:

— Потушены? Рядом с мельницей и хлебными складами у Калмыкова — затон, где стоят баржи и пароходы. Он сожжет книгу в пароходных топках!

— Тогда зарево — книга моя горит!

Мы продирались сквозь узкую тьму улицы. Санный экипаж, свистящий полозьями на раскатах, преградил

нам путь. По фонарям мы узнали экипаж архимандрита. Он сказал:

— Господа, я спешу. Меня ждет ранняя заутреня. А вон с того пригорка, что вправо, глядел я на зарево. Не над калмыковским ли затоном?

Мой отец подошел к экипажу. Ветер дул страшно. Мне и Мейстеру было холодно. Думаю, и отцу не было жарко. Словно желая согреться, он держался за фонарь. Рука отца без перчатки была словно стеклянный сосуд, налитый до краев вином. Меж пальцев его скользили снежинки. Архимандрит, запахнувшись плотно в енотовую шубу, смотрел молча на зарево.

Мой отец воскликнул:

— Пламени пылать не в затоне, а в долине подле Ак-Таша!

Архимандрит сказал:

— Пламени разорения. Раскопки требуют больших средств, а пойди на раскопки Калмыков, он разорится. Ибо апостол Фома погребен в Эдессе, в Малой Азии.

Мой отец воскликнул еще более громко:

— В Эдессе? Вы будете утверждать это, отец архимандрит?

— Во веки веков.

— В Эдессе? Ха-ха! С чужих слов утверждаете, отец архимандрит, с чужих слов. Насчет Эдессы так утверждали сектанты-несториане! Не забывайте, что во времена расцвета халифата, то есть когда появилась легенда о пресвитере Иоанне, в столице которого находились якобы останки апостола Фомы, город Эдесса являлся центром несторианства. Значит, арабским халифам было важно опровергнуть мнение крестоносцев, что пресвитер Иоанн борется с арабами и намерен помогать крестоносцам! Вы, по-видимому, отче, разделяете мнение средневекового путешественника Иоанна де Хези, по словам которого тело Фомы лежит в области, называемой Гюльна, что находится в расстоянии четырех дней от Эдессы? Де Хези не только лжет, что останки апостола Фомы лежат в Гюльне, но и прибавляет, будто тело апостола охраняется более чем тысячью вооруженных воинов и будто в день святого Фомы туда приходит пресвитер Иоанн со своими архиепископами и иереями для совершения богослужения?! Апостол-де лежит в раке невредимым, с волосами, бородой и в той же самой одежде, какую он носил при жизни! Де Хези нагло

добавляет: «Я сам видел, как рука апостола не допустила к таинству причастия троих недостойных! Движимые раскаянием, они горько зарыдали! И только после того как все остальные долго молились за них, они могли принять таинство из рук апостола». Да! А на самом деле апостол Фома проезжал лишь через Эдессу, а жил он в Индии и в Семиречье, которое принадлежало арабам немалое время и где в течение многих веков процветала самостоятельная христианская цивилизация.

Вдруг совсем рядом с нами в сугробе раздался отчаянный бабий визг, а вслед затем чей-то хриплый, заспанный голос завопил:

— Православные! Казаки! К беде причалили! Горим! Да причесалась бы ты хоть, паскуда! И в радость и в горе — всегда растрепа!

Эти трезвые и ехидные слова привели меня в себя. Одурманивающие, хромые звуки, которые валили нас с ног, — набат со всех семипалатинских каланчей. Мы посмотрели вверх.

Зарево охватывало полнеба.

Я задрожал, прислонился к забору и слушал отчаянный лай бесчисленных собак, которые, казалось, хотели разбудить весь город. Потом громко спросил:

— Где горит, казак?

— Пожар в калмыковском затоне, — ответил мне заспанный голос.

Я побежал на пожар.

Архимандрит, крикнув напоследок отцу: «Не мудрствуй! Ты лишь поселковый учитель, а не академик. А и те — с высочайшего повеления», — уехал молиться о благополучном окончании пожара. Мой отец поспешил в Географическое общество, где в архиве хранились кое-какие рукописи и где он надеялся встретить Скурлатова, который сидел иногда, «булгактеря» до утра. Мейстер ушел к себе: и квартира его и Географическое находились недалеко от калмыковского затона и мельницы.

На Крепостной улице пожар разбудил уже всех. Мещане спрашивали через заборы друг друга:

— В затоне у Калмыкова никак горит?

— У него. Нахватал! Люди не могут, пусть бог укоротит.

Меня злили их завистливые возгласы, и я сказал:

— Сами же сгорите! Ветер-то ведь с Иртыша.

Разозлившись на мое замечание, мещане завопили громко, на всю улицу.

— Нет, мы не сгорим! Мы бога знаем!

— Нашелся за нас заступник и молельщик!

— Поди, в приказчики к Калмыкову метишь?

— Волосатый. Из попов!

— Колокола уже часов пять набат бьют, а ни одного попа с крестом! Дай этому в харю!

На Колыванской — ближе к затону — обыватели вели себя иначе. Какой-то мещанин, с волосами в прожелть, в нижнем белье, босой, закутав шею грязным шарфом, плясал на снегу перед домом и вопил в ужасе:

— Православные! Помогите! Горим! Калмыковские мельники забастовку объявили и все ж приостановили забастовку и пожар тушат! А вы что ж, православные? Давайте помогать.

Бежит несколько мужиков с топорами: плотники из затона. В лаптях, в рваных поддевках с низкой талией, каких сибиряки не носят, хмуро переглядываясь, переговаривались:

— Ну, братцы, пышет!

— Никогда такого огня не видывал!

— Выжжет Семипалату!

Из переулка присоединились еще четверо в одних рубахах, без шапок, с торжественно-радостными лицами. Слышу чей-то пронзительный, весело рыдающий голос:

— Ого! Вроде бы, братцы, и революция?!

— Революция не революция, а горим!

— Дай-то бог всей Расее-матушке начальство свое выжечь!

Этих четырех я знаю.

— Братцы, Скурлатова не видели?

— Капут!

— Чего капут?

— Причина, парень, та, что полиции нагнали к мельнице — тьму-тьмущую. И говорит она, полиция-то, значит: «Зачинщиком у них — Скурлатов. Поймаем — капут. Он, стало быть, мельницу поджег».

— Теперь они прицепятся!

— Обязательно. Должность.

— Должность проклятая,— вздохнул мужичонка с головой, похожей на репейник. — Эта должность причиняет людям большие убытки.

Мимо нас торопится мещанин, лысый, пожилой, с безумным лицом и длинными руками, которыми равномерно размахивает.

— Лес мой горит! Не застрахован. Разорен, ох, господи!

Его перегнал другой, тоже с лысым черепом, длиннобородый, с большими воспаленно-черными глазами.

— Дом мой начался, господа жители! Дом горит! Спасайте! В подполе шесть тысяч закопано! До-ом!..

Длинный плотник перекрестился.

— Двое сразу с ума! Ну, значит, некрепкий у города ум! Не иначе — весь город сегодня выгорит.

— Ну и пылает!

— Гори-ит!..

— Никак Скурлатов?

— Он!

Сквозь вой ветра, шипенье огня, работу пожарных насосов, крики людей, стоящих цепью и подающих пожарникам воду ведрами, слышался властный голос Скурлатова, распоряжавшегося «мельниками», которые яростно и умело тушили.

Церкви и пожарные каланчи неизменно били набат. Набатные звуки, казалось, пропитали воздух от предместья до центра города.

Скурлатов крикнул:

— Да громче набат! Идите, люди, сюда со всех концов!

Ого, со всех концов Скурлатов созывает! Значит, почти что предводитель? Чего? Чей?

Я замер, вслушиваясь в этот голос, предвещающий мне события еще более грандиозные, чем пожар затона.

— Скурлатова видишь? — спросил плотник.

— Не разгляжу.

— Да и я не вижу. Голос слышу, а фигуры нету. Не он ли вон там, влево?

— Нет, кажись, не он.

...Мне в детстве приходилось видывать немало пожаров. Мы были в Барнауле, когда почти дотла сгорел этот город. Были мы и в Томске, когда черносотенцы жгли Народный дом. Смутно помню я эти пожары, словно не сам видел, а вспоминаю по описанию других. Но вот один лесной пожар помню отчетливо.

Я с отцом пошел собирать полевую клубнику. Ходили долго, набрали полную корзинку и прилегли отдохнуть возле какого-то «колка» (так называют лесной остров в степи). Мы прилегли отдохнуть. Я видел за спиной отца: «колок» полон березовой валежины, сухого хвороста и прошлогодних листьев. А подальше — «ометище», место, где прежде был омет сена. Сено увезли отсюда недавно, потому что ометище только начало зарастать молодой, зеленой травой, сквозь которую проглядывала земля.

Отец, докурив папироску, бросил ее за спину, лег навзничь и немедленно заснул. Устало смотрел я в колок. Сильный теплый ветер дул мне в спину, заполняя колок невидимыми, но проворными шагами. Хотелось заснуть, но сон не получался.

Вдруг сквозь полуприкрытые веки увидал, что шагах в пяти загорелся костер. Подумал: «Какой заботливый отец. Чтобы я не скучал, он возьми да и разведи пламя!» А костер все разгорался. Огонь закипел яростно. Ветви начали капать. Странен был этот дождь из свернувшихся и уже не зеленых, а коричневых листьев! Весь колок багров, словно в нем закатывалось солнце!

Тут я понял, что свершилось! Разбудить отца! А как раскрыть спекшиеся губы? И совершенно онемевший от ужаса, я безмолвно смотрел в глубину колка, где на фоне бушевавшего пламени особенно резко выделялось ометище. Ветер с минуты на минуту повернется в нашу сторону. Мы с отцом сгорим! Я понимал это — и не было сил разбудить отца!..

...И теперь тоже я не мог разбудить себя! Оцепенело, весь дрожа, смотрел на пламя, пожиравшее затон.

Горели барки, сараи с керосином и мазутом, бревна, плахи. Пожар перебрасывался в город. Загорелись дома. Пламя приближалось к мельнице Калмыкова. Туда кинулись тушить «мельники». Впереди всех бежал Скурлатов.

А я по-прежнему стоял неподвижно, словно заколдованный. И в моем воображении, будто кто приколол его навечно, не исчезало пламя в колке и безмятежное лицо спящего отца...

Из толпы выскочил молодой мужик, «безземельный». Окровавленной рукой он волочил раздавленное ведро.

Трудно сказать, откуда он узнал, что мне близок Скурлатов. Он ткнул меня разбитым ведром, края которого были вымазаны кровью, и, задыхаясь, выговорил:

— Ты дежурный? Плохо! Полицмейстера пропустишь — схватит Скурлатова! Полицмейстер не по Колыванской, по другой улице скачет... Выручай!

И, крича каждому в лицо, кто, как ему казалось, хоть сколько-нибудь знает Скурлатова и «мельников»: «Выруча-ай!» — мужик свернул в переулок. Мне стало стыдно. Какой там колок, когда того и гляди арестуют Скурлатова! Выручить, выручить его!

Оцепенение исчезло.

Я кинулся в улицу, которая вела к церкви, а за ней — прямо к мельнице. Вокруг церкви десятка два сосен, несколько тополей — сад, заметный для города, где деревьев меньше, чем чиновников в одной лишь полиции.

Убьюсь, умру, но не дам Скурлатова! И полицмейстера убью, и хоть десяток полицейских! Но чем? Лом бы или пешню! В кармане у меня лишь небольшой перочинный ножик, которым очиниваю карандаши. Таким ножом можно порезать руку, оцарапать щеку, при большом усилии зарезать курицу, но — полицмейстера?! В нем не меньше шести пудов.

Я думал над раскрытым ножичком. Из переулка выскочила пара коней. Кучер что-то кричал. Кони казались похожими на архимандритских и одновременно на коней извозчика Марцинкевича. «Ну и везет же с конями! Быть мне дрессировщиком, вроде Коромыслова»,— подумал я с иронией и бросился:

«Наперерез!»

Схватив коренника за узду, стал резать сыромятную супонь хомута.

Помогло то самое слово, которое мелькнуло в голове, когда я кинулся к коням: «Наперерез!»

Вот именно — наперерез!

Надо резать супонь! Она натянута туго, лопнет немедленно.

Все дело в том, чтобы ее нащупать! Боже мой, я казак, наездник, циркач, неужели же не нащупаю?

И нащупал.

Перерезал.

Хомут под моими руками расширялся.

Сани, отбросив меня, остановились.

А из саней, вместо полицмейстера, вылезли старик Калмыков и Салазкин!

— Ну и ну! — послышался голос Салазкина.

Матовое дуло калмыковского револьвера направлено на меня. Впервые под дулом! Удивительно, это чувство доставило мне даже какое-то удовольствие. Неприятно лишь, что вместо полицмейстера — Калмыков.

— Салазкин, околодочного! Акт.

— Глеб Иваныч, а ведь это учительский сын, факир?

— А, факир! Вот еду благодарить, что мельники забастовку бросили, пожар тушат, а он на меня — с ножом. Салазкин, вяжи! Нура, ищи нож.

Работник сказал спокойно:

— Он — дувана, сумасшедший, святой человек. Хозяин, разве простой человек зубами перегрызет супонь?

И он подал Калмыкову кусок сыромятного ремня.

Калмыков изумленно осмотрел ремень, положил револьвер в пальто.

— Неужели зубами? Связать все-таки, иначе сумасшедший дом не примет. Зубами? Ну и зубы!

Появился околодочный.

Нура и околодочному показал обрывок ремня. Околодочный рукою в перчатке приподнял мое лицо за подбородок и посмотрел зубы. Я был ошеломлен падением, кони оттоптали мне копытами ноги, пенсне я потерял.

Околодочный уверенно проговорил:

— Сумасшедший! Господь их милует. Другой бы — под сани, а этот — зубами супонь!

Калмыков кинулся в сани. Нура затянул обрывком супони хомут. Калмыковские сани, вместе с околодочным, исчезли в алой, снежной, пожарной мгле.

Казаки и полицейские оцепили мельницу. Среди казаков узнал знакомого семиярца.

— Где Скурлатов? Печатник такой бойкий, из типографии? Пожаром хорошо распоряжался. Полицмейстер его не арестовал?

— За что же — ведь он пожар тушил?!

Потушив пожар, мельники объявили продолжение забастовки. Во время пожарной суматохи жители растащили все экземпляры «Размышлений Поэта», приготовленные для сожжения в топке. Искали зачинщиков. Меня причислили к ним. Ну и, конечно, приплели супонь.

Утром меня вызвали к следователю.

Когда, после допроса, я вышел из полицейского управления, я увидел адвоката Мейстера. Широким жестом он указал на низкие серые тучи, на рыхлые и обильные снега, лежавшие вокруг, и радостно вымолвил:

— Утро весеннее почти! Допрашивали? Какие у них улики?

— Никаких, если обвинять меня в покушении на Калмыкова.

— А в поджоге затона?

— Еще меньше. Обвиняют в том, что калмыковскую супонь разорвал зубами.

— Нечто символическое, честное слово! Калмыковское ярмо — хомут на всей Семипалатинской области и Семиречье, и вдруг некий юноша молодыми зубами разрывает супонь. «Дело о разорванной зубами супони»! Клянусь святым Фомой, что мы выиграем этот процесс с блеском!

Город не спал всю ночь; все вытаскивали из домов имущество. А когда пожар стих, служили благодарственные молебны: «Бог спас!» Но тот же бог сыграл надо мной веселую проделку. Именно в этот день надлежало мне, согласно красивой афише, дебютировать с «феноменальными опытами индийского факира Бен-Али-Бея».

Я действительно достал у дяди три воза обрезков леса. Действительно, возчики накормили цирковых коней. Действительно, в цирке было тепло и кони сыты. Но ни одного билета не было продано! И директору не на что было купить керосина, чтобы зажечь цирковые фонари.

Утомленный пожаром, город спал.

И цирк отправился спать.

Не спал только я один. Так трудно заснуть после первого дебюта!

Днем я получил почтовую открытку: «Милый факир! Желаю успеха вашему представлению. Семейные обстоятельства не позволяют мне присутствовать. Но сердце мое с вами». Несомненно, так шутит Василиса Глебовна. Перед отправлением она, наверно, прочла это письмо Саумал. Обе звонко и долго смеялись. А может, они обе и писали? Семейные обстоятельства? А! Старик Калмыков надорвался при поездке на пожар и слег? Еще бы! Убытку от пожара, говорят, двести тысяч!

А убытки от того, что нельзя отправить зерно вниз по Иртышу? Барки-то сгорели.

Поздно ночью постучался отец.

Он присел на нары.

— Не спится?

— Благодаря твоим молитвам.

— Ну?

— Ты помолился, отец, бог и избавил меня от цирковых мучений. Представление сорвалось. Колизей не состоялся.

— Другой Колизей будет. Вообще-то жалко.

— Чего?

— Женщина тут одна хотела на тебя посмотреть. Я ее в цирк водил.

— Что же мне, отец, не сказал?

— Хотел билет ей купить. Пофорсить, значит.

— Почему ж не купил?

— Да никто не покупал.

— Важно начать.

— Это верно.

И он вздохнул.

— Василиса Глебовна?

— Что?

— Ее, говорю, в цирк водил?

— Не-ет.

— Кого же?

— А Ханыке.

Я обомлел.

— Вот тебе и на!

— Ну и туговат ты, сынок, на понимание.

— Влюблен в нее, что ли?

— Я?!

Отец рассмеялся, а затем, очень довольный, что его подозревают во влюбчивости, к которой он остыл уже лет пятнадцать, стал разглаживать свою куртку тонкими руками с прокуренными пальцами.

— До некоторой степени, верно, влюблен. Как, скажем, можно влюбиться в портрет. Да что там! Я ведь в музеях бывал и портреты видывал. Ни на одном такой душевности нету! Тут душа с разводами, как на потолке или на хорошей скатерти. Слушай.

Он отвел меня к окну и, легонечко, неслышно поскребывая намерзший на стекло лед, сказал:

— Разворочала она мне сегодня сердце своими рассказами. Главное, не все говорит. Все-то она только тебе выскажет.

— Мне? Да она меня, отец, по роже огрела.

— Это даже лучше.

— Влюбилась она в меня, что ли?

— Как это вам нравится, когда в вас влюблены! Нет, не влюбилась! И не влюбится. Просто считает тебя вторым в городе. По честности.

— Первый-то кто?

— Скурлатов.

— Так пусть ему и рассказывает.

— Скурлатов в сомкнутом ряду, понимаешь? А ты — одинок, без работы, чужой всем, никто на тебя внимания не обращает, ты сможешь ей помочь. Я тебя прошу — помоги! Я по степи много и ездил, и ногами ходил — говорю тебе: редкая женщина! Боюсь предсказывать, а чую: украшением народа будет.

— Казахского?

— Да.

Если я был пламенеющим углем, то отец никогда не брал меня голыми руками. Его щипцы были удобны, ловки, как раз такие, какие приятны углю.

Я ли не желаю добра и притом целому казахскому народу?

Я сказал:

— Помогу. А теперь расскажи ее жизнь.

— Мне не все известно.

— Но и известное достаточно любопытно.

— Иногда многие люди, чтобы выйти из чащи, рубят несколько деревьев, создавая тропинку. А случается — один человек ведет дорогу, валит тысячи деревьев. И выйдут благодаря этому многие к широкому тракту. Но здесь — поддержи его, иначе он упадет от усталости. Понятно тебе это сравнение? Слушай.

МОЙ ОТЕЦ РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ХАНЫКЕ-СЛУ ПОПАЛА В СЕМИПАЛАТИНСК

И отец, и дед, и прадед Ханыке жили оседло на южных маловодных склонах Ак-Таша, Белой Горы. Здесь, в старинном ауле, родилась Ханыке. Доила коров и кобылиц, жала просо, готовила кумыс. Затем

Чапе, выплатив за нее калым, перевел ее в свою хижину. Она готовила ему пищу, родила трех ребят, нянчила, обшивала, жала просо. Она, как и все в ауле, считала, что богатому — богатство, бедному — бедность. Так повелел аллах. Ему виднее: он высоко, выше гор, даже выше полета беркута.

Аул был всегда бедным и всегда, особенно весной, тосковал по кочевью. Они не ждали в степи богатства: просто хотелось простора, новых мест, встреч, разговоров. Аллах повелел миру быть неизменным. Так. Но то ли помимо воли аллаха, то ли потому, что сам аллах становился другим, — мир менялся. Далеко, за хребтом, по степи, спеша к Петербургу, катились огненные машины, волоча домики, полные людей, а вокруг Петербурга летали люди на крыльях, обтянутых полотном. Передавали также, что в России очень много недовольных. Они прежде всего недовольны тем, что богатый — богат, а бедный — беден. Странно это слышать! Аллах же убьет их молнией за эти слова. И еще более странно, что не убивает! Что случилось с аллахом?

— Хорошо бы в степь! — вздыхал Чапе.

Жена говорила:

— Еще бы трех коров — и тогда бы можно кочевать.

Этих трех коров оказалось труднее всего приобрести. Счастье капризно: богатому увеличивает богатство, бедному — бедность. Так повелел аллах. Увы! Плати аульному старшине. Плати волостному. Дорожает керосин, ситец, чай: плати купцу. А тут вдруг северные склоны, полноводные, всегда дешево отпускавшие воду безводным южным, увеличили плату за воду впятеро. Куда там покупать трех коров! Уцелели бы эти.

Аллах велик. Он меняет жизнь по своей воле.

В общем, жили они сносно: непременно один раз в месяц ели баранину, и каждый для зимы имел толстый стеганый халат, крытый синей дабой. Чапе был муж трудолюбивый. Ханыке любила его. Играя, они часто подшучивали друг над другом. Пойдет муж или жена в поле, непременно спросит:

— Скоро вернешься?

— Через три года, — ответит муж или жена, и оба весело рассмеются. Они ни разу не расставались и на полдня.

Четыре года назад на долину реки и на северные и южные склоны Ак-Таша налетела саранча. Она истре-

била нивы и сады. В октябре выпали снега, начались морозы, перемежающиеся с дождями, открылась гололедица — джут. Скот бураном угнало в долину, а оттуда — в бескрайние песчаные степи. Скот погиб, и в том числе весь скот аула, где жили Ханыке, ее муж и дети. Чапе не верил. Его скот погиб? Ну! Он имел мало скота, но это был такой скот, который способен прожить без корма целую зиму!

— Что происходит? — спросила Ханыке.

— Не знаю,— растерянно ответил Чапе.

— Нужно узнать.

— Как я могу узнать, раз я ничего не знаю. Так повелел аллах.

Вот тут-то Ханыке, глядя на своих голодных и посиневших детей, подумала: «Неужели аллах так жесток? Или мы плохо разбираемся в его повелениях?» Спросить? Кого? Родителей? Они думают так же, как до этого утра думала Ханыке. Муллу? Мулла и не станет разговаривать с женщиной об этом. Учителя в ауле нет. Передают, что на многие туманные вопросы можно найти ответы в книгах, особенно в русских. Но где эти книги? В городе. Можно добраться и до города, а как понять эти книги? Как понять эти значки, которыми истыканы эти бесчисленные белые листы?

В ауле на одном доме висела рама, обитая крашеной жестью и покрытая теми значками, которых так много было в книгах. Ханыке попросила торговца сказать, что говорит его рама. «Мелочная лавка», — ответил он. Два русских слова, объясняющие дом, где продаются разные мелкие вещи.

Ханыке долго твердила эти слова. Затем она взяла одно слово «мелочная», как самое умное, в правую руку, а другое — «лавка» — в левую. Долго она не знала, что с ними делать. Наконец при помощи шагов: один шаг — одна буква — стала разлагать слова. Так она открыла русскую азбуку, еще не зная русского языка. Она записывала палочкой буквы на почве загона, утрамбованного копытами овец. Она спросила еще несколько русских слов у торговца: конь, седло. Торговец не знал всех слов, но кое-какие он назвал, глядя на Ханыке с боязнью. Он посчитал ее свихнувшейся.

— Над чем ты колдуешь? — спросил Чапе.

— Над словами.

— Аллах повелел уничтожить шаманов. Только шаманы умели управлять духами посредством волшебных слов.

— Значит, они были добрые люди. Чапе, Чапе! Я ищу добро. Я спросила лавочника, как по-русски называется добро, и он не смог мне ответить.

— Если уж искать добро, то его должен искать муж, а не жена.

— И ты и я, Чапе.

— Нет, я!

Ища русские слова, а затем русские книги, Ханыке научилась без боязни посещать чужие дома и разговаривать с чужими людьми. Кое-кто, конечно, лез с объятиями: она была красива и недаром называлась Ханыке-слу. Но, насколько она была красива, настолько она была строга и верна своему мужу. Каждый, кто пытался ее обнять, вечером, раздеваясь, долго ощупывал на своем теле кровоподтеки.

Однажды она сказала своему мужу:

— Нет, Чапе, добро есть. И очень сильное. Вот мулла говорит — чем крупнее город, тем больше в нем зла. Неправда! Чем больше город, тем больше в нем бедных, тем яростнее они бьются за добро. Они строят поперек улицы валы из камней, поют свободу и бьют полицию, если она приближается к ним.

— Ого! Я слышал об этом. Людей с таких каменных валов отправляют в тюрьму, где сидят баронтичи и конокрады. Ханыке-слу, я муж?

— Муж.

— Ты жена?

— Жена.

— Ты ходишь по чужим домам и слушаешь рассказы о разбойниках. Я не пойду в разбойники. А раз муж не идет в дом нечистивых, жене ли его идти туда?

— Пойду и я и ты.

— Нет, я!

— Слушай, Чапе! Оказывается, не с высоты виднее мир, а снизу! Богатому — бедность, бедному — богатство. Так велит добро. Так увидала я.

— Ты увидала в чужих домах другое, чем говорит аллах?! Тебя побьют камнями. А вместе с тобою и твоего мужа, бедного Чапе, жена которого путается неизвестно с кем.

Опять задула метель. Опять развалила пригоны и тростниковые крыши и угнала коров и овец в дикое поле.

Чапе надел свой хороший стеганый теплый халат, крепко затянул пояс и сказал:

— Пойду искать скот.

— Скоро возвратишься? — спросила жена.

Он ответил, как всегда, шутя:

— Через три года.

Прошел год. Чапе не возвращался. Год был урожайный, но откуда взять Ханыке семян? Она ходила в соседние аулы, почти дошла до Пишпека. Семян не давали. Кое-как, побираясь, собирая корни, работая поденно, пробилась она и этот год, и половину следующего.

Тогда впервые услышала она о Семипалатинске. Оттуда приехал в Пишпек богатый промышленник Калмыков. Купил место он на горе Ак-Таш, по южным склонам которого раскинулся родной аул Ханыке, и завел свинцовый рудник. У этого Калмыкова, говорят, было много книг. Были, наверное, и очень справедливые? Кроме того, говорили, что казна дала ему в аренду обширные земли, на которых он собирается строить железную дорогу к Верному. Говорили также, что ему кладут дом, который будет самым высоким домом не только Пишпека или Верного, но и Ташкента. Четыре этажа!

И Ханыке подумала: «Может быть, в этом случае аллах и прав? Большое богатство — результат большой справедливости. Среди тысяч книг Калмыкова лежит, стало быть, одна справедливая. И среди миллионов горстей его зерна есть горсть, которую заработает у него бедная брошенная женщина с тремя детьми».

И вот Ханыке пришла в Пишпек и встала у сеней нового дома. К ней вышла хозяйка Анастасия Николаевна, которая милостыню всегда подавала сама. Она вынесла большую краюху хлеба. Ханыке, опустив голову, не протягивая руки, что-то тихо шептала. Анастасия Николаевна знала казахский язык. Она расслышала тихие слова Ханыке:

— Пусть дадут вполовину меньше, но заработанное, а не милостыню. Мужа нет полтора года. Я должна встретить его на вспаханной и засеянной мною ниве!

Анастасию Николаевну умилила такая верность. Она сказала:

— В новый дом мне нужны работники. Хочешь поступить прислугой? Будешь получать три рубля в месяц на всем готовом.

Конечно, в ауле три рубля большие деньги! Ханыке поступила работницей. В ауле старики и дети ее на три рубля в месяц жили впроголодь, но все-таки жили. Ханыке с самого раннего утра стряпала работникам, мыла полы, стирала, помогала подавать обед хозяевам, на которых смотрела всегда странным взглядом. Аллах не прав. Не сверху виднее, а снизу. Расспрашивала она о книгах приказчиков и даже самого Салазкина, читала, протирая, корешки книг. Было много толстых книг — сотни, но ни одной о том добре, о котором так много думала Ханыке.

Чапе работал с землемером далеко-далеко, где-то возле Каркаралинска. Но все же раза два или три он приезжал со своим землемером и в Пишпек. Теперь он во многом соглашался с Ханыке и даже одобрял то, что она берет у младшей дочери Калмыкова, учившейся в гимназии, ученые книжки и читает.

— Меряем землю, меряем, — говорит Чапе, — да все богачам, а не бедным людям.

— Давай искать справедливую книгу и справедливых людей, Чапе. Ругаться легко.

— Давай. Но только я буду искать, а ты слушай, как я буду искать. Ты вернешься в аул, на южные склоны Ак-Таша.

— И ты будешь искать, Чапе, и я.

— Нет, я!

Она покачала головой. Он сказал угрожающе:

— Смотри, уйду!

— Иди.

— И не на три года, а навсегда.

— Иди, — сказала она, помолчав.

И он ушел вместе с землемером. Она плакала, но меньше, чем когда он ушел впервые. Если муж часто уходит, в конце концов привыкаешь.

Тут я прервал рассказ отца:

— А как фамилия землемера?

— Тебе зачем?

— Любопытствую без особой причины.

— Жаль, что без особой.

— А что? — спросил я беззаботно.

— Твой вопрос натолкнул меня на кое-какие соображения, которыми, пожалуй, не мешает поделиться и с Мейстером.

— Не понимаю.

— Подумай.

Я подумал и сказал:

— И все-таки не понимаю.

— Еще подумай.

Я подумал еще и в полном недоумении развел руками:

— Ханыке. Чапе. Землемер.

— Калмыковы, — добавил мой отец. — Мейстер.

— И все-таки не понимаю.

— Поймешь. Я буду продолжать о Ханыке?

— Да, да!

Мало-помалу она научилась сносно говорить по-русски. Одна лишь беда — тоска. Чем больше она трудилась в доме Калмыковых, чем меньше спала, чем меньше ела, тем сильнее любила родные поля на южных склонах Ак-Таша и, конечно, своих ребятишек. Добра, добра им! Много добра, как и много дождя.

Вскоре после процесса над Василисой Глебовной Калмыковы переехали в Семипалатинск. Они уговаривали Ханыке ехать с ними. Семипалатинск?! Ей казалось, что она уже никогда не увидит своих детей, если переедет в Семипалатинск! Тогда Чапе совсем озлится и не пойдет искать ее в Семипалатинск. Он возьмет себе другую жену! А потом как же бросить плодородные земли на южных склонах? Плодородные, конечно, относительно; только тогда они плодородны, когда идут дожди или когда богатые баи с северных склонов, где многоводные ключи и арыки, дают воду.

Хозяева, расставаясь с нею, выдали награду: два ситцевых платья, полушалок, три куска мыла и пять рублей. На четыре рубля пятьдесят копеек она купила семян, засеяла поле и стала ждать мужа. Поле взошло прекрасно. На этот раз не саранча пожрала урожай, а солнце. Северные ак-ташцы, как говорят, по наущению какого-то Геммадинова отказали в воде южным. Урожай погиб. Ханыке взяла детей, обменяла на просо и лепешки ситцевое платье и полушалок, подаренные Калмыко-

выми, и отправилась в Семипалатинск обозом, который вез ее бывшим хозяевам какое-то имущество.

Опять она стряпала у Калмыковых, мыла полы, стирала, опять получала три рубля и наградные перед пасхой и рождеством — рубль. Только в аул родным она уже посылала не три рубля в месяц, а меньше. Полтора рубля она отдавала знакомой казашке в Татарской слободе, где жили ее дети. Каждое воскресенье она относила своим детям объедки, которые прежде скармливала собакам, но которые теперь тщательно высушивала или сохраняла в погребе. Она стала беспокойной, движения ее были резки, взгляд мутный, и работники называли ее полоумной. Щемящая, пронзительная тоска терзала ее — совсем плохо с добром!

В доме Калмыковых появился Геммадинов, тот самый Геммадинов, что пустил по миру пахарей южных склонов Ак-Таша. Злой человек! И думаете, кто-нибудь из Калмыковых воспрепятствовал Геммадинову? Никто. Молодые женщины ему ласково улыбались. Старики усердно потчевали чаем и печеньем «Эйнем». Изредка возникали легкие вспышки — коммерсанты пользовались услугами различных банков: одни Русско-азиатским, другие — Среднеазиатским. Для незнакомого с делами понять разницу между двумя банками трудно. Но как воспламенялись спорящие, когда каждый хвалил политику своего банка!

Опять голод и джут на Иртыше и во всем Семиречье!

Калмыков, думая, что его никто, кроме семейных, не слышит, хвастался скупленным зерном, которое большей частью хранится в станицах, а частью привезено в Семипалатинск. Весной откроет выгоднейшую торговлю! Он скупил зерно в Барабинской и Бельагачской степи, местах урожайных. Скупил зерно и в местах, где урожай был меньше: в Семиречье. Повсюду скупал. Он умный и предчувствовал недород, джут, голод. Но если Глеб Иванович предчувствовал плохое, должен же он понимать доброе? Скажем, то, что казахам надо отпустить зерно заимообразно, по доступной цене. Они отдадут осенью втрое, вчетверо!

Ханыке обошла всех семипалатинских казахов из тех, кто пособразительней и хорошо относится к людям. Она советовалась.

— Ничего не выйдет, — говорили они. — Калмыков откажет. Мы к нему не пойдем. Мы ему должны.

— Я пойду одна.

От испуга перед будущим разговором Ханыке не спала две ночи. Закроет глаза — лед, степь, павший скот, умирающие люди в юртах. Охваченная страшной тоской, шатаясь, открыла она дверь кабинета.

Калмыков выслушал ее внимательно, почти любезно.

— Я понимаю, милая, степь голодает. Но я подписал контракт и должен отправить зерно вниз, в Омск. Баржи в затоне почти срублены. Куда их деть?

Она еле слышно простонала:

— Сжечь!

— Хватила! Старался, старался всю зиму строить... и пожар. А ты знаешь, что бывает за умышленный поджог?

— Люди умирают с голоду. Не надо их сердить.

— Это ты на что же, голубушка, намекаешь? — воскликнул он и посмотрел на нее пристально.

— Я слышала, приезжает господин Малицын?

— Да, мы с ним знакомы по Петербургу. А какое, собственно, он имеет отношение к голоду в степи?

— Вернется в Петербург, будет рассказывать — какой злой Калмыков.

— В Петербурге люди еще злей. Их нашей степной злостью не удивишь. Говорят, ты ночью над книжками сидишь? Не те книжки читаешь, не те! Уж не у Скурлатова ли заимствуешь?

Накануне приезда князя Малицына ее рассчитали. Объяснить, конечно, ничего не объяснили. Дали три рубля и сказали: «Прощай, голубушка». Она поступила к Аралбаеву, компаньону Калмыкова. Работы было еще больше, чем у Калмыкова. То стряпай, то беги на базар, то в лавку, то с какой-нибудь запиской к мулле или в гимназию, где доучивалась Саумал, дочь Аралбаева.

И еще неприятно, что Геммадинов бывал здесь чаще. Противен этот вице-директор Среднеазиатского банка, красивый, в лилово-дымчатой бархатной тюбетейке, с злыми губами, постоянно изображающими грациозное колечко. То и дело говорит он: «Я приведу вам, милостивый государь, еще один довод». И говорит долго, целый час! Он ухаживает за Саумал, и та, кажется, склонна отказать прежнему своему жениху, Исымову. Исымов внес по старинке большой выкуп за невесту, «калым», а Геммадинов, «современный и даже передовой», хочет

получить Саумал без выкупа. У Аралбаева дела, по-видимому, плохи: возвращать калым не из чего, вот почему — для советов — зачастила к ним Василиса Глебовна, хотя с Саумал они уж не такие закадычные подруги.

Василиса Глебовна пришла даже в день приезда князя Малицына и сидела долго, запершись с самим Теле Аралбаевым и Саумал.

А на другое утро Ханыке сначала назвали воровкой, а затем уволили.

— Что я украла? — спросила она.

— В полиции объясняйся!

Только и всего. И самое страшное, что в полицию ее так и не позвали.

— Все?

Мой отец ответил:

— Пока о Ханыке все. Так говорят восточные рассказчики.

И посмотрел на меня лукаво.

— Понимать тебя, отец, так: «сам об остальном догадывайся или расспрашивай»?

— Пусть будет так.

КАТУШКА

Было уже поздно, около полуночи, а может быть, и за полночь. Отец потянулся устало, зевнул, но вошел стройный, румяный, кудрявый Скурлатов, и усталость отца как рукой сняло.

Брови Скурлатова круто сдвинуты, взгляд сосредоточенно-весел. У меня на душе сразу стало легко.

— Не спится? — спросил отец.

— Переработал, торчал в Географическом. Сейчас бы партию на бильярде или прокатиться.

— Бильярдные небось закрыты, а коней — где ж достанешь?

— Зачем коней? В архимандритских санках, без лошадок, хотите прокачу?

Отец не расспрашивал. Мы вышли. На улице, всунув руки глубоко в карманы полушубка, Скурлатов, посмеиваясь, объяснился. За амбарами Духовной миссии уче-

ники, «духовники», как их называют, соорудили большую ледяную гору, чуть ли не выше амбара. Они «играют на катушке» по вечерам, когда по переулкам прекратится конное и пешеходное движение. Санки и облитые «решета» многоголосо мчатся через переулки к Парусному оврагу, скатываются туда и упираются в кусты таволжника. Даже сам архимандрит Михаил одобрил эту невинную затею и угостил пастилой строителей горы. Говорят также, что ему врач предложил для исправления здоровья спускаться ночью, перед утренним бдением, несколько раз по «катушке». «Духовники» сделали архимандриту крупные санки с широкими полозьями и ковровым сиденьем. Эти-то вот санки и ждали нас в подворотне миссии.

По дороге заговорили опять о «треножнике Пифии», о Калмыковых, коснулись слегка и Ханыке.

Мой отец сказал:

— Меня занимает эта Ханыке. Почему и Калмыков и Аралбаев уволили Ханыке как раз тогда, когда должен был появиться женишок, князек этот? Ханыке известно что-нибудь, что неизвестно было суду?

Скурлатов молчал. Отец остановился и в недоумении стал ворошить тростью сугроб.

— Ну, а если она и сама еще не уверена в своих подозрениях, а при встречах князя и Василисы Глебовны ее смутные подозрения еще не превратились в явные? Капитон Ильич, ваше-то мнение каково?

— Насчет Ханыке?

— Да.

Скурлатов ответил:

— С ней трудно говорить. Чувствую, ждет вопроса, а какого — понять невозможно. Я хотел проводить ее к Мейстеру. Упирается. Денег от профсоюза предлагал — не берет. Книжки читать взяла, и то хорошо. «Политические, говорит, дайте, про наши места». А именно про наши-то места политических книг и нету. «Напишите», — говорит.

Мы поднялись на верх ледяной горы. Парус неба и парчовый блеск звезд встали над нами во всей своей широте. Огни за ставнями угасли. Хлопнула калитка, проскрежетал на морозе металлический засов. И тотчас же каланча пробила час пополуночи. Было холодно, тревожно и слегка весело. Вдалеке, едва ли не возле домов Калмыкова и Аралбаева, заливалась трещотка сторожа.

Перед тем как сесть в санки, мой отец поднял высоко указательный палец и, как бы тыча в звезды, сказал многозначительно:

— Катясь, думайте о Ханыке и Калмыковых.

И добавил, перекидывая ногу через санки:

— Я могу здесь позволить себе кататься с горы, не унижая себя. В поселке это невозможно. Меня довольно легко объявить сумасшедшим, подобно Чацкому. Московские дворяне объявили Чацкого сумасшедшим не потому, что действительно верили, будто он сошел с ума, а потому, что так им легче было с ним разделаться. И главное, не нужно доказательств. Ах, мы верили ему! Ах, мы ссужали ему деньги! Ах, мы отдавали за него свою дочь! Ну, прежде он был в своем уме, а теперь — лишился! В больницу его! И, заметьте, в этом возгласе: «В больницу его!» — есть даже элемент гуманности. Мы его лечим, заботимся о нем, мы его не в тюрьму сажаем, — а могли бы! Капитон Ильич, толкай!

И санки полетели.

Мы сорвались с чего-то остро и обидно визжащего и мгновение спустя погрузились в синие пастбища переулков, где прикрытые сугробами дома простирали к нам пасмурные крыши. Мы мчались мимо них, тесно прижавшись друг к другу и управляя палочками. Дорога была легка, льдиста, санки послушны. Мы пересекли один переулок, другой, врезались в снег, который глыбами набросали поперек пути ребятишки, запорошились, и снова — мы на льду.

В Парусном овраге, смеясь, мы отряхнулись. Кстати, почему он называется Парусным? Овраг как овраг, и притом с довольно крутыми боками. Может быть, из-за этих крутых и белых глиняных боков?

— Подожди, подожди, отец!

— Ага, надумал!

— Почему спрашивать Капитона Ильича про Ханыке? Ты сам с нею говорил?

— Да, раза три, даже четыре, но у меня с ней особая тема.

— Какая?

— Я ей предлагал креститься в православие.

— И не опостылело тебе это православие?

— Только из желания добра. Ей тогда легче на службу определиться. Русские купцы к крещеным казахам хорошо относятся.

— Что она ответила?

— Ответила оригинально: «Аллах один, вера — разная,— так говорили наши отцы». И сама себя спросила: «А мы, их дети, что говорим?» И не ответила. Я ей говорю: «Что же дети?» Улыбается. Отцов оправдывает, а о детях оптом говорить не желает. В некотором смысле съездила меня по роже.

— Как и меня. Помнишь, я рассказывал?

— Хорошо! — воскликнул мой отец. — Правильно.

— Куда лучше...

— Хорошо в том смысле, что Ханыке раскается и поговорит с тобой более откровенно, чем с нами.

— А если, наоборот, ей понравится такая манера спора?

— Уверен, не понравится, — сказал Скурлатов.

Мы возвращались к «катушке». Дорога была скользкая, но, к счастью, не крутая. Из-за скользкости дороги, что ли, меня пошатывало. Вдруг острый запах поджаренной колбасы пронзил меня. Я стал жадно внюхиваться. Я пожирал глазами домики и не мог надышаться этим пьянящим, чудесным запахом. Все ставни были плотно закрыты, желтые огоньки нигде не просвечивали. Должно быть, кто-то проснулся, захотел есть, открыл заслонку, достал из печи сковороду с колбасой, поставил ее на стол, начал есть, но ему показалось, что в комнате душно, и он открыл форточку. Счастливец! Беспечально ест он колбасу. Ему не жалко, что крошки падают в темноту. Подберет кот. Ах, положить бы на ладонь хоть один кусочек, медленно поднести его к лицу, обнюхать и тогда, пожалуй, положить кусочек в рот и долго вжевываться в него.

— Окаянная жизнь!

— Да, драка идет насмерть, — сказал Скурлатов, думая, очевидно, о своем.

Поеживаясь, поднялись на вершину «катушки». Мороз не жалел нас. Он студил лицо, звенел в ушах, подпекал с тылу. Пропели петухи голосами, дребезжащими от мороза. Звезды светили необычайно ярко, по-домашнему; казалось, их можно было понюхать, как табак с кончика пальца. Только нет никакого желания вынимать пальцы из рукавицы!

Поднялся по-детски узкий месяц. Звезды же по-прежнему плели свое сияние. В ногах зашелестел снег,— без тучи, так случается,— словно дразня и пугая

приближающимся бураном. И, точно тоже предупреждая о буране, на Иртыше полногласной октавой трахнул, ломаясь, лед.

— Однако, Капитон Ильич, катиться надо.

— Надо, Вячеслав Алексеевич.

— Твоя очередь толкать, Всеволод!

Я толкнул санки и плюхнулся позади всех на сиденье. Опять замелькали сугробы, заборы, пригоны, ставни домов; сбрасывало и подхватывало на ухабах; подшитые валенки задевали лед, и тонкие струйки снега подчеркнуто-тонко вились вокруг них.

Когда санки скатились в овраг и, снова зря попробовав пробиться сквозь таволжник, застряли в нем, отец сказал:

— Думаю все о своей повести «Треножник Пифии» и о Калмыкове. Не понял, что повесть моя написана в духе Вольтера!

Я схватился за нос. Он совершенно оледенел, наверное к утру нам не миновать самого лютого за всю зиму мороза. Какой там, к черту, Вольтер, если мороз буравом буравит душу! Чайку бы горячего, крепкого, с ломтем хлеба!

Точно угадывая мои мысли, Скурлатов сказал:

— А у меня горшок щей ждет, идем?

— Нет, я в Лебяжье, Капитон Ильич,— ответил отец.

— Ночью?

— Скоро рассветет.

— Один?

— А я часто один хожу.

— Волки.

— Ну, раз Калмыков не загрыз, других ли волков мне страшиться? Да и школьники ждут. Уроки запущены.

— Господи! Ну, зачем же тогда кататься с горы, время занимать?

— Без развлечений жизнь будет казаться привинченной к одному месту, — ответил мой отец и ушел.

В ДЖАТАКАХ

Скурлатов жил на окраине, в «джатаках», среди лачуг казахской бедноты, запрятанных между купеческими пригонами. На плоских крышах пригонов высились стога с торчащими в них вилами: было раннее утро, и работ-

ники сбрасывали скоту сено. Пахло навозом, слышались сонные голоса и шаги, скрипели ворота — скот гнали на Иртыш, к водопою.

Не помню, долго ли, коротко ли мы шли. Сознание проваливалось. Иногда мне казалось, что я не шел, а вальсировал между плетней, в узких проходах.

Мы прошли мимо куч кизяка, запорошенных снегом, обогнули обледеневшее корыто, возле которого валялась пешня. Скурлатов поднял пешню и ударил по льду. Подняв льдинку, он посмотрел через нее на свет, как провизор смотрит на лекарства, и сказал:

— Смотри, какой лед чистый. Пророчит сильные морозы.

— А и сегодня немалый.

— Холодно?

— Слегка-а.

— Проголодался? Ну, как тут не проголодаться! Жалко, Вячеслав Алексеевич ушел.

Я молчал, не спуская глаз с горшочка, большого, толстого, испускающего оглушительно вкусный пар. Скурлатов выбросил деревянные ложки и с ласковым блеском в глазах опустил на стол приятно пахнущий каравай черного хлеба.

— Другой бы на твоем месте, — продолжал он, — давно сдох. А ты продолжаешь творить чудеса. Право! Я знаю, — из Кургана насчет тебя письмо получил, — как ты коней сдержал, место свое отдал, даже от любимой девушки в пользу почтальона Глухарева отказался. Последнее, впрочем, напрасно. Почтальон, он доброй души человек, но глуп, недостоин он твоего подвига и девушки этой недостоин. А Зося хороша?

Я ответил жеванием. Он тоже взял ложку. Съев два огромных ломтя хлеба и очистив полгоршка, я заговорил о Василисе Глебовне. Есть же в ней лихие порывы: я рассказал Скурлатову о первой встрече с ней. Он улыбнулся.

— Дама прорицательная. Она, быть может, одна догадывается, что мы тут затеваем.

— Газетой?

— Хотя бы и газетой. Впрочем, с газетой сложно. Мне редактирование не разрешат: только что отбыл ссылку. Мейстер колеблется. Да и ему трудно получить редактирование, особенно когда узнали, что мы хотим вести в газете страницу на казахском языке. Средне-

азиатский банк ошалел просто! Но Геммадинов нюни долго распускать не будет. Ох, ловок! Ты его видел?

— Да, у Калмыкова.

— Стоит побеседовать. С виду тупая, красивая разиня, а чутье — зверское! Вообще азиатов напрасно некоторые из здешних жителей называют чурбанами. Если они и чурбаны, так те, на которые молятся и которые даже чудеса способны совершать. Видел ты, к примеру, Саумал, дочь Аралбаева? И каково твое мнение?

— Не очень ее понял.

— Где понять!

Он достал из печи чайник, налил мне крепкого чаю в большую кружку, отколол сахару и, подняв к глазам кухонный нож, задумался. В углу, под образами, на скамейке лежало много книг, стоял прибор для переплета, а возле прибора дремал тощий кот с длинной хитрой шарлатанской мордой.

— Показать тебе альбом или лучше не тревожить? Э, потревожу! И тебя и себя.

Он порылся в книгах и подал мне альбом, переплетенный в красивую, шерлахового цвета кожу. Раскрыв альбом, показал фотографию светловолосой женщины.

— Вера. Жена моя. Слышал? А знаешь, она была подругой Василисы Глебовны. Как же, познакомились в Верном. Саумал тоже с ней знакома. Вере они обе для дела нужны были. Подробнее про Веру? Боюсь, не смогу. Шестипсалмие!

Я посмотрел на него вопросительно.

— Во время утрени читают шесть псалмов. Выбраны самые красивые, бодрые, чтобы тебя на весь день вдохновить. Я человек не религиозный, но утреню, бывало, слушал. Особенно на корабле. И слушал со вниманием, чтоб разобраться и понять. Так вот Вера напоминает мне это шестипсалмие.

Он положил мне на руку шершавые свои пальцы, сжал их и, помолчав, добавил:

— Говор у нее слегка шепелявый, но и это тоже необычайно приятно. Войдет вот в эту самую каморку, обнимет: «Что ж, говорит, песней не встречаешь?» И как запоет, запоет! Поет она изумительно, и тогда нет никакой шепелявости. Они все трое: Василиса, Саумал и Вера — вместе петь любили. Тут я немножко, Всеволод, возьму в сторону. Про Саумал. Голоса у Василисы

и Саумал обнаружились в Семипалатинске, а учительницу Глеб Иванович нашел в Пишпеке. Итальянка. Муж ее, ювелир разъездной, сложил свои кости в Пишпеке, и жена, похоронив его там, не пожелала покинуть его могилу. Он был отчаянный путешественник, и ювелирство его тому способствовало. Глеб Иванович предлагал жене покойного очень выгодные условия в Семипалатинске. Итальянка решительно отказалась: вот откуда у Калмыковых жизнь в Пишпеке. Пришлось девушек перевезти туда. Впрочем, в казахских степях полторы-две тысячи верст езды — не подвиг. Ученье шло без ссор месяца полтора. И вдруг Саумал возненавидела Василису. И как еще возненавидела!

— Но ведь теперь они подруги?

— Либо помирились, либо обе хитрят. Но ты слушай, не перебивай меня, пожалуйста. Налей себе чаю, или дай я сам налью. Итак, ссора. Из-за чего? Вера утверждает, что Саумал позавидовала сильному и выразительному голосу Василисы. Допустимо. Но есть и другая причина, о которой Вера не знает. Саумал было лет пятнадцать — шестнадцать, и тогда уже она была обаятельна и кокетлива. Она и кокетничала с Назаренко, мужем Василисы. Тот был, насколько мне известно, парень доверчивый, простой, что говорится «рубаха», и к тому же не без либеральных склонностей. Наши богатеи зовут казахов между собой «собачками». Назаренко никогда не позволял этого ни себе, ни при себе. Ну, и другие есть примеры. Так вот Саумал осенью уговаривает этого Назаренко ехать на рыбалку, на озера. Поехали, завели невод. Саумал совершенно правильно рассчитала, что азартная Василиса полезет в воду, а вода холодная, да и ключи в озере. Как бы то ни было, Василиса Глебовна простудилась и голос потеряла.

— Ну, не может этого быть!

— Я тоже думал — не может, а обнаружил подтверждение. Вообще Саумал — с большими неожиданностями. Поживешь — и ты увидишь, что Василиса Глебовна со всей своей хитростью перед ней — дите. Например, Василиса рассчитывала женить своего брата, Бориса Глебыча, на Вере. Брат — шалопай, ветреник, полон шаткости, ему жена нужна твердая, которая бы его швыряла, куда Торговому дому нужно, а Василиса Глебовна уважает Торговый дом выше всего. И вдруг

узнает от Саумал: Верка осмелилась влюбиться в Скурлатова, матросишку, ссыльного! К тому же отец...

— Чей отец?

— Устал ты, вижу, слушать. Кончаю. Отец, Глеб Иваныч то есть, нуждается в обхаживании довольно своеобразно. Он пьет и курит мало, так, слегка, для компании — совсем без компании в купечестве и промышленности нельзя. Ну, а насчет бабья, к чему степь весьма склонна, — ни-ни! Зато крайне любит свежих людей: с событиями в жизни, с биографиями, а пуще того — с талантами. Талант он ставит превыше всего. «Талант, — говорит он, — это тот же шаг, но шестиаршинный». Вот Василиса Глебовна и собирает ему таланты, а Вера — женский талант, в Сибири редкий: стихи лирические пишет. И недурно, смею сказать.

— Печатала?

— Мало, но печатала. Естественно, что Василиса Глебовна возненавидела меня и, кажется, передала эту ненависть своему папаше. Не подумай, что я хвастаюсь ненавистью миллионера. Порадуй меня, найди ошибку.

Он помолчал.

— Вера арестована в Верном, куда она поехала гостить к дядьям. Почему именно в Верном, а не в Семипалатинске? Рвусь в Верный. А бросить Семипалатинск не могу: дела. Важные, срочные.

— Газета?

— Да, газета, конечно, дело важное, но и без газеты есть очень важные дела. Ты о них скоро узнаешь.

Полуобернувшись к Скурлатову, я спросил с мрачным видом:

— Старик Калмыков близок к полиции?

— Смею так думать.

— И к охранке?

— А почему бы ему быть далеким от нее?

— Но он хочет издавать газету!

— Охранка тоже имеет свои газеты.

— Либеральную!

— Либералы бывают разные. Но тебе пора спать. Я не приглашаю у себя: полиция иногда мною интересуется, и не только с целью ареста. А вообще ко мне приходи. Я тут с друзьями думаю насчет твоего учения. Книги достанем, профессию — для Индии — лучше всего, пожалуй, избрать переплетную. Я тебя научу делать

первоклассные переплеты, любительские, для раджей. Ха-ха! С индийскими языками познакомит тебя, вначале бегло, твой отец... В общем, ты это с большой волей придумал — «трехлетие тысяча девятьсот двенадцатого — тринадцатого — четырнадцатого годов», начинающееся прогулками, продолжающееся — в нынешнем тысяча девятьсот тринадцатом — учением и завершающееся, в тысяча девятьсот четырнадцатом году, пребыванием в Индии. Воля, как правильно говорит твой отец, это бобровая шкура нашего времени: и тепло и красиво. А я, знаешь, умоюсь снегом: что-то глаза слипаются.

Он притащил лоханку снега и, сбросив рубашку, начал мыться. Мускулы, избороздившие его могучий торс, надулись и напряглись. Какая сила! Какое воодушевление!

И какая ко всему этому напрасная доверчивость ко мне.

Меня приводило в отчаяние отсутствие того, что находили во мне отец и Скурлатов.

Скурлатов из уважения к учености моего отца позволил себе увлечься. Отец убедил его, что я поразительно настойчив и планомерен. Я, видите ли, придумал «трехлетие 1912—1913—1914 гг.» и с блеском осуществил первый год. Ничего этого не было, да и не могло быть. У Скурлатова есть действительно великолепный план жизни, и он осуществляет его в той или иной степени. У меня нет никакого плана! Я живу случайно. Случайно, начитавшись приключенческих романов, болтаю про Индию. Случайно купил «факирские принадлежности» и случайно, притом бездарно, выступал на сцене ярмарочных балаганов в роли факира. И случайно попал сюда, в Семипалатинск.

Конечно, в жизни много случайностей, но нельзя же на самом деле так туго зашнуровывать себя ими, что и дышать нечем! Я хочу работать в типографии наборщиком, получать жалованье, читать хорошие книги, быть в профсоюзе, бастовать, если надо, и вообще вести жизнь обыкновенного рабочего, а не жизнь какого-то там индийского факира с его ужимками.

После катанья отец не ушел в Лебяжье, как сказал Скурлатову. Ему хотелось оставить нас вдвоем, а когда я вернулся на постоялый, отец уже ждал меня там.

ОГОНЬ НА ВЕРФИ ПОТУШЕН, НО ТЛЕЕТ В ДРУГОМ МЕСТЕ

Глеб Иванович Калмыков внезапно предложил адвокату Мейстеру вести процесс со страховым обществом «Россия».

Общество оспаривает страховую премию. По утверждению агентов, пожар произошел по небрежности калмыковских служащих. Накануне пожара Калмыков приказал Салазкину увезти с лесного склада затона две бочки керосина. Бочки остались, способствовали пожару. А теперь Салазкин утверждает, что он увез их и тому-де свидетели — Ханыке, ее квартирная хозяйка Мознятова и соседка Забидулина. Они трое возвращались из города в слободу, когда Салазкин увозил бочки с керосином. Вот об этом-то обстоятельстве и нужно спросить свидетелей, особенно казашку. Адвокат Мейстер плохо знает казахский язык. К официальному переводчику ему прибегать не хочется. Он и пригласил моего отца. Если свидетельские показания Ханыке покажутся адвокату сомнительными, он откажется вести процесс против «России».

Мой отец и адвокат пришли к Ханыке. Она отвечала отрывисто, нехотя, словно у нее еле-еле хватало сил.

— Было ли так, что Теле Аралбаев объявил вас воровкой? — спросил Мейстер.

— Объявил.

— Вы хотели судиться с ним? Искали меня?

Молчание.

— Вы видели, что накануне пожара Салазкин вывез из затона две бочки керосина?

— Видела.

— Может быть, расскажете подробнее?

— Расскажу суду.

— Почему вы поссорились с Аралбаевым?

— Взбрело в голову, что я взяла его золотые вещи.

— Других причин не могло быть?

Молчание.

— А почему вы ушли от Калмыковых?

— Мне легче у казахов.

— Как с вами обращался старик Калмыков?

— Я его редко видела. Все распоряжения получала от Веры Матвеевны, бывшей няни детей. Она ведет хозяйство вместе с Анастасьей Николаевной.

И опять молчание. Мейстер переглянулся с моим отцом. Моему отцу не хотелось оставлять Ханыке пригорюнившейся: Мейстер говорил с ней сухо. А хороший разговор, как возвращение с дальней дороги, не может состояться без гостинца, не в смысле вещицы, а в смысле душевного лакомства. Почувствовав, что Мейстер собирается уходить, отец сказал:

— Собралось здесь несколько молодых людей, Ханыке. Мой сын, вертельщик Щепетников, двое рабочих с мельницы, трое плотников с верфи. Составили они «кружок». Хотят учиться по вечерам и воскресеньям.

— Кто будет учить?

— Скурлатов, вот этот адвокат Мейстер, учителя гимназии придут.

— А вы?

Угрюмое оцепенение ее исчезло. Ханыке заулыбалась, придвинула адвокату табурет, побежала за ситцевую перегородку, разделявшую кухню, где она жила, на две половины, принесла на тарелке десятка три изюминок, два куска сахару, щепоточку чаю. Видимо, готовилась угощать.

— А меня возьмут учиться?

— С большим удовольствием.

— Почему им брать меня с большим удовольствием?

— Нам приятно, когда люди учатся. Это значит, по-нашему, что люди ищут добро, справедливость, человеколюбие.

— А кто долго учится, тот находит настоящее добро?

— О да! — воскликнул отец с убеждением.

Ханыке улыбнулась.

— Почему же, — спросила она, указывая на Мейстера, — он долго учился, а добро видеть не умеет? Зачем он берется защищать Калмыкова?

Мейстер поспешно сказал:

— Вот я и пришел, чтобы вы помогли мне разобраться: добро ли я делаю, защищая Калмыкова, или зло?

— Я женщина неученая. Где мне помогать вам?

Когда они вышли на улицу, Мейстер, беря отца под руку, тихо сказал:

— Польза от разговора была большая, признаюсь. Я переменил многие свои решения. И, в частности, откажусь вести процесс против «России».

Мы приближались к Губернаторскому саду.

— Куда же направляемся?

— К Геммадинову, в гостиницу, — ответил мне мой отец.

— Думаешь, накормит?

— Мы его. Язвительностью. Досыта. Геммадинов, видишь ли, потребовал от Аралбаева, чтобы тот порвал с Калмыковым. Иначе-де свадьбы его с Саумал не бывать, а если Аралбаев порвет, то разорится.

— То ты хочешь защищать Ханыке от клеветы Аралбаева, то Аралбаева от Геммадинова. Аралбаев разорится? Ну и пусть!

— А Саумал? — спросил отец.

— Да что, отец, далась тебе эта Саумал!

— Она растрогается моей защитой, и ее показания будут очень полезны для Мейстера, если тот возбудит наконец дело против Калмыкова.

Я спросил в крайнем изумлении:

— Какое дело?

— Именно то самое, о котором думал и ты, когда прочел «Размышления Поэта».

— Дело Василисы Глебовны?

— Да.

— Ты читаешь мои мысли!

— Я — твой отец.

— А по-твоему, Саумал что-то известно тайное относительно Василисы Глебовны?

Отец улыбнулся и пожал плечами.

— Ну и дела! — воскликнул я.

— Семипалатинские. Ты голоден?

— Очень.

— Признаться, я тоже.

В Губернаторском саду я увидел актрису Марию Николаевну Синицыну. Я голодал и без особого напряжения мог понимать всех голодных. Я понимал, помимо ее голода, что она благоволит ко мне. Не она ли написала ласковое письмо в день моего «циркового дебюта»? Но, к сожалению, по молодости и неопытности, я преувеличивал ее чувства и не сказал об ее письме отцу. Отец, несомненно, помог бы Марии Николаевне, а не Саумал, что было бы, как мы догадались значительно позже, гораздо полезней для Мейстера.

Губернаторским сад называется не потому, что губернатор когда-либо отдыхал в нем или сажал его, а потому, что разбит он недалеко от губернаторского дворца. Каждое утро Синицына вспоминала, что бывали времена, когда именно в этот час она завтракала, а не гуляла натощак по саду.

Теперь по утрам она шла в Губернаторский сад, чтоб великолепный блеск зеркальных окон дворца отгонял мысли о пище. Увы! Ей по-прежнему чудились за окнами сладчайшие губернаторские яства, а голод, хоть живот тщательно затянут в корсет, терзал ее.

Сегодня она увидала, что по средней дорожке сада быстро шагает вице-директор Среднеазиатского банка Геммадинов. Занять у него денег? Не успела она решить этот довольно бесполезный вопрос, как Геммадинов вскочил в зеленый с желтым дом гостиницы. Вслед за ним вошли туда Аралбаев и Саумал. Ну, эти-то совершенно неинтересны! Обжоры, которые кадят фамиам лишь своему брюху. А вот учитель Иванов с сыном — совсем другие. Доброжелательные.

Так мой отец увидел перед собой миловидное личико под сиреневой шляпкой. Он попробовал снять свою шапку, но наушники ее по случаю весны были туго завязаны, и он лишний раз мог ощупать пальцами, что шапка у него дрянная, мех давно вылез, а ткань лопнула во многих местах, и вдобавок не по шву.

— Простите, что отрываю вас, господин учитель, от ваших мыслей. Мне нужна ваша защита.

— Я защищаю несчастных в любое время. Но сейчас, к сожалению, должен ограничиться только советом, — любезно ответил мой отец.

Я лишь краснел и бессмысленно таращил глаза.

Мария Николаевна воскликнула с жаром, глядя, впрочем, на меня:

— Именно, именно советом!

— Говорите, помня, что если в денежных вопросах дозволено вилять, то вопросы чувств требуют прямоты.

— Господин учитель, я все-таки предпочла бы говорить иносказательно о чувствах своих.

— Иносказание! Превосходнейшее слово! Сколько веры в человеческий разум. Вы любите человека?

— Которого?

Мой отец засмеялся. Жизнь длинна, говорил его смех, дороги сходятся, счастье иногда устраивается.

Мария Николаевна смотрела на учителя с нежностью. Как он добр, внимателен, прост! Сказал ей одно лишь слово, и она во всем разобралась. Так она думала про себя. Слов же не хватало, была только одна улыбка.

Подождав некоторое время, мой отец сказал:

— Вернувшись от Геммадинова, куда тоже спешу устраивать счастье, разъясню вам свое иносказание, хе-хе!

— Буду нетерпеливо ждать, — сказала с веселой грустью Мария Николаевна и, качнув сиреневой шляпкой, пошла дальше продолжать свою голодную прогулку.

От железной крыши губернаторского дворца, мокрой и блестящей, как большая кастрюля, поднимался пар. Конечно же это пар весны! Дураки могут утверждать, что на чердаке развешивают мокрое белье и железная крыша оттого сама мокреет. А я утверждаю, что под ногами сыро, деревья розоваты уже по-весеннему и по-весеннему напрягают свои ветви. Весна, весна! Хотя с Иртыша дует холодный сильный ветер, моему отцу все равно кажется, что вот-вот начнется паводок, хлынет весна и сын его по весенней легкой травке, весь в цвету, как вишня, уйдет в сказочную весеннюю Индию, чтобы самому превратиться в сказку.

— О каком иносказании ты упомянул, отец?

— Среди бесчисленных моих слов я не нашел еще его.

— Однако оно существует?

— Да! Оно живет во мне. Я его чувствую, но неясно.

Мой отец стоял на заснеженной дорожке, и ноги его в глубоких рваных калошах утопали почти по щиколотку. Он смотрел вслед привлекательной даме под сиреневой шляпкой и думал: «Кажется, актриса? А ведь я был уверен, что актрисы глупее!» Его вытертая шапка глубоко надвинута на уши, воротник длинного пальто поднят.

— Весна запоздала, но она рядом. Мужичку придется попотеть, казахскому, само собой разумеется, тоже. У казахского вдобавок совсем плохо с зерном. Не исключена возможность, что если я помогу Аралбаеву, он, по моему совету, даст зерна казахам. Саумал умеет приказывать отцу.

— После сегодняшнего?

Мой отец очень добр и самоуверен. В нем эти качества не отделимы одно от другого. Ему хотелось, чтоб

в степи был отличный урожай. Урожай — результат хорошего разлива рек и обильных дождей. Ну, разумеется, если у кого-нибудь есть семена. Погода превосходная, способствующая обильному урожаю. Едва ли уже не накрапывает дождь. Значит, нужно достать во что бы то ни стало посевное зерно.

— Спешим.

Однако мой отец спешил без особенного удовольствия. Хорошо известно, какими картами предпочитает играть вице-директор Среднеазиатского банка. Ведь Геммадинов уверен, что все колоды карт, выпускаемые казной «в пользу Воспитательного дома», — крапленые, и ему удалось обнаружить секрет крапа.

— А вот мы вам покажем, сударь, свои карты! — воскликнул отец и быстрыми шагами вошел в комнату вице-директора.

Разговор был в самом накале. Вице-директор высказал Аралбаеву свои требования. И сейчас, не обращая внимания, что Саумал крайне бледна и взволнованна, додалбливал:

— Позвольте, уважаемый будущий тесть, ответить притчей. Знаете, почему журавль удачно ловит рыбок? Потому, что он идет по затопленному месту медленно, размеренно и плавно. Так же должен идти и мой банк. А Калмыков идет чересчур порывисто, производя много шуму. Этот шум в конце концов внушит мелкой рыбешке ужас, и она разбежится.

Плотного, мускулистого Аралбаева словно подменили. Толщина осталась, а мускулатура исчезла; его прежде теплые крепкие руки стали липкими и холодными и глаза столь же выразительными, как леденец.

Заполняя всю комнату своим грозным непобедимым басом, Геммадинов говорил о делах Среднеазиатского банка, которые, по его словам, были великолепны. Он выкладывал на стол голубоватые бумаги с разноцветными печатными бланками и множеством круглых, треугольных и квадратных густо-фиолетовых штемпелей.

— Калмыков погиб. Я гублю его. Но зачем мне губить вас, Теле? А тем более Саумал. Она моя невеста. Я люблю ее.

— Никого, кроме себя, вы не любите! — сказала резко Саумал.

— А кто заплатил за Саумал двойной калым, выкуп? Я вам пригнал целый табун коней. Невеста дорогая!

Я люблю все дорогое. Люблю дорогую славу. Теле Аралбаев, отец Саумал, будет волей-неволей помогать мне в разорении Калмыкова! Саумал не любит меня? Заставлю полюбить. Чем? Битьем? Что вы! Я — культурный человек, учившийся в Петербурге! Подарками. Такой пышной свадьбой, какой и Чингисхан не устраивал!

Несмотря на явно приближающуюся весну, моему отцу в этой теплой комнате было холодно. Казалось, могучие северные ветры вырвали из пазов всю конопатку и яростно дули. Отец, поеживаясь, быстро шагал по комнате.

— А может, мне уйти, господин Геммадинов? — спросил он.

— Нет!

Геммадинов, указывая на одну из бумаг, с каким-то лошадиным ржанием в голосе спросил:

— Господин Аралбаев, вы арендуете земли кабинета его величества в Бельагачской степи?

Аралбаев молчал.

— Господин учитель! Кабинет его величества имеет ли право на основе вот этих бумаг расторгнуть договор с Аралбаевым?

Мой отец, взглянув на бумаги, ответил:

— По букве закона — не имеет. Ваше право, господин Аралбаев, обратиться с кассацией в соответствующий департамент правительствующего сената. Но банк, связи... все козыри, выражаясь вашим языком, господин вице-директор, в руках Кабинета его величества.

— Видите? Верите?

— Вижу, — ответил Аралбаев грустно, — верю.

Вице-директор сидел с неподвижным лицом.

Вообще этот Геммадинов штучка! На столе, возле стакана холодного чаю и розовой вазы с печеньем, лежит английская книга в кожаном переплете с арабским тиснением на корешке: собственность Ибн-Амина Геммадинова! Мой отец полистал это сочинение, доказывающее, что феодализм, помимо красивых готических храмов, принес и большие экономические новшества, способствовавшие развитию европейской культуры.

Мой отец готовил гостинец всем присутствовавшим. Он весь лоснился от предстоящего удовольствия и с каким-то даже сладострастием оттягивал его. Вот почему он рад был увильнуть в сторону, чтобы порассуждать о книге.

— Я тоже читал эту книгу. Позвольте высказать мнение.

И мой отец продолжал:

— Книга написана эрудитом. Она доказывает, что европейский феодализм — только контрмера рыцарей-рабовладельцев против мусульманства, которое освобождало рабов. Мусульмане, как известно по Корану, должны быть свободными. Сами они ни в коем случае не могут быть рабами. И они превращали в рабов своих пленных, в том числе и христиан! Но раб у мусульманина, после некоторого искуса, мог перейти в мусульманство и сам превратиться в свободного. Европейский феодализм не обладал этим преимуществом. Его крепостничество не давало никакой возможности крепостному превратиться в свободного человека. Что же, в соображениях автора есть некоторая доля правды!

Саумал сказала:

— Повторяете Скурлатова.

— Вам, Саумал, известны его мысли? — спросил мой отец.

— В этой области? Да.

Мой отец продолжил:

— Вообще рабство отвратительно в любых своих проявлениях. Вот вы, господин вице-директор, хотите превратить Саумал, дочь Теле Аралбаева, и его самого в своих рабов...

— Я освобождаю их от рабства! А они, неразумные, удерживают руку с напильником, который перепилит их цепи.

Отец мой замолчал, ожидая продолжения занимательной беседы.

Геммадинов, слащаво улыбаясь, показал еще стопку бумаг.

— Узнаете? А это-то вы, Аралбаев, узнаете? Шесть лет назад вы, Теле, и некий молодой персидский принцышко Кейкубат-мирзы-Бехман-мирзы-оглы, приехавший из Бухары, находились в вашем доме, состоявшем из трех комнат в первом этаже и двух во втором. Когда чины полиции явились, дом оказался запертым изнутри. Вы, Теле, долго не открывали. По обыску на верхнем этаже нашли все приспособления для фабрикации фальшивой российской и персидской монеты. А также свежеотлитые монеты — в большом количестве!

Геммадинов, щеголяя своим гладким русским слогом, продолжал, изредка заглядывая в документы, разбросанные по столу:

— Суд почему не привлек вас, Теле, в качестве обвиняемого, а только в качестве свидетеля?

— Суд посчитал доказанным, что я брал фальшивые монеты не с корыстной целью, а в качестве игрушек для детей.

— Ну-у! Игрушки для вас, может быть, Саумал?

— Я же не знал, из-за своего преклонного возраста и невежества, что выделка таких монет запрещена законом! Я просил суд о снисхождении. Суд выдал мне его записанным на бумаге.

— Бумага, бумага! Они безмерно уважают бумагу, тогда как она только бумага. Сегодня на ней написано одно, завтра — другое. Сегодня — оправдание, завтра — возобновление процесса, послезавтра — пересмотр дела на основе новых данных и приговор: каторга. Но вы успокойтесь, Аралбаев, я все равно женюсь на вашей дочери, пусть даже она и дочь каторжника. Слава, ха-ха! Ну что, как быть насчет Калмыкова? Согласны вы подтвердить, что порвали с ним, коммерчески, разумеется?

— Нет, — сказала Саумал, взглянув на отца.

Аралбаев молчал, приподняв испуганно одно плечо и поглядывая на дочь, которая, по-видимому, впервые узнала подробности этого грязного процесса. Она согнулась неподвижно, и вид у нее был ослабевший, надорванный. И все же сказала ведь: «Нет!»

Мой отец глядел на всех ясными, светлыми глазами, чуть, пожалуй, ястребиными. Охотник готов был к удачному выстрелу. Дичь, можно сказать, уже лежала в его ягдташе.

И он беззаботным голосом спросил:

— Вы были ведь на литературной ассамблее у Калмыковых, господин Геммадинов?

Вице-директор, никак не подозревая удара, вежливо посмотрел на моего отца, который все еще ходил по комнате, заложив желтые руки за спину.

— А как же!

— Вам, кажется, господин вице-директор, понравилась моя легенда о странствиях апостола Фомы?

— Поэтично. Есть запах Востока.

— Не угодно ли еще послушать легенду о продаже

имения в урочище Бектас площадью в шесть тысяч десятин и заложенного в Среднеазиатском банке?

Лицо вице-директора побледнело, но осталось бесстрастным.

— Разумеется, устав от напряженной беседы с Аралбаевым, вам хочется закусить, выпить, и моя легенда могла бы быть рассказана за столом, не будь она тесно связана с этой вот нашей беседой и с Аралбаевым.

— Известно, по-видимому, в подробностях?

— Общее, вы правы, не подозрительно. Подозрительны всегда подробности. Откуда я их узнал? Странствия, господин директор, во-первых; любопытство касаемо твоего ближнего, во-вторых; желание снабдить подсудными документами одного своего приятеля, в-третьих; и, наконец, уважение ко мне со стороны обиженных, которых вы иногда не замечаете, господин директор.

И отец мой ласково посмотрел на Саумал. Изнеможение покинуло ее. Искривленное туловище выпрямилось. «Что ж, может быть, отец и прав, — подумал я. — Может быть, Саумал действительно поможет Мейстеру?»

Мой отец продолжал с наслаждением:

— Недвижимое имение урочища Бектас продавали с публичных торгов в верненском Окружном суде. Торговались трое. Когда цена на имение поднялась до ста тридцати четырех тысяч четыреста рублей, один мой знакомый склонил торговавшихся не участвовать более в торгах и оставить имение за ним. Это согласие некий Гарбузов, первый отказавшийся от торга, оценил в двенадцать тысяч пятьсот рублей. Второй, Гасан Мешадиев, — в семь тысяч пятьсот рублей. Таким образом, оба получили двадцать тысяч отступного!

— От кого? — спросила Саумал.

— От вашего жениха, господина Геммадинова.

— Есть документы?

— Да, они выдали расписки.

— Я их уничтожил! — вскричал Геммадинов.

Мой отец улыбнулся.

— Эффектный был бы выкрик на суде. Увы, расписки оказались не уничтоженными. После подкупа Гарбузова и Мешадиева вы, господин вице-директор, изволили напиться, и вам затем казалось, что в пьяном виде вы уничтожили расписки. А вы просто бросили их на пол! Не нужно преступать заветы пророка, не нужно пьянствовать. Половой Фермов нашел расписки и догадался

их продать тем, кто их выдал, а выдавшие уступили их одному любопытному собирателю документов. Не мне. Я его как-нибудь вам покажу. Экземпляр человеческой породы презанятнейший!

Саумал спросила, вся дрожа:

— А дальше, дальше!

— Имение Бектас осталось за моим знакомым.

— То есть за Геммадиновым? — спросила Саумал.

— Именно.

Отец ждал чего-то, глядя на Аралбаевых. Саумал и Теле молчали. Отец развел руками — и довольно неуклюже. Я не понял тогда причины этой неуклюжести.

— Ну что ж, торговля есть торговля, и нет ничего особенно удивительного в том, что купец иногда, как говорится, «смухлюет». Более удивительно, что Среднеазиатский банк не получил полного удовлетворения своих претензий к собственнику имения, который занял в банке двести тысяч рублей. Банк потерял свыше шестидесяти тысяч рублей. А ведь простое требование этики должно бы заставить вице-директора охранять интересы банка и не покупать имение по пониженной цене! На эту тему я как-то беседовал с прокурором. Он сказал, что деятельность моего знакомого предусмотрена статьей тысяча сто восемьдесят первой Уложения о наказаниях.

Аралбаев очнулся от дум.

— Кто же купил имение Бектас? Я так и не понял.

— Геммадинов, — неохотно сказала Саумал.

— Вы?! И еще осмеливаетесь просить руки моей дочери? — закричал вдруг Аралбаев.

— Дочери каторжника, повторяю, — сказал Геммадинов.

И продолжал, обращаясь к моему отцу:

— Иск возбуждает собственник проданного имения?

— Не знаю, — отвечал мой отец, еще раз вопросительно взглянув на Саумал.

Саумал молчала, словно чувства моего отца были ей непостижимы. «Должно быть, распознание мало свойственно Аралбаевым, — подумал я. — Ведь и сам Теле с трудом уразумел, что его зять крупнейший мошенник. А мой отец, по-видимому, хочет, чтобы Саумал перешла на сторону Мейстера в том, что касается возобновления процесса Василисы Глебовны. Но она молчит. Сейчас, мысленно сказав Саумал: «Я думал о вас лучше»,— мой

отец вынет бумаги, подтверждающие вину Геммадинова, и передаст их Саумал, а та отдаст их своему жениху».

Так оно и случилось.

Отец вынул из кармана пожелтевшие бумаги и отдал Саумал.

Саумал, не взглянув, передала их Геммадинову.

Бросив в ящик стола бумаги, Геммадинов решительно стряхнул с руки пыль и сказал:

— Имейте в виду, господин учитель, что ваши действия я не считаю вымогательством, а просто хорошо рассказанной историей с благополучным концом. В пределах вашей совести вы можете назвать любой гонорар, так как с первого числа этого месяца считаетесь на службе Среднеазиатского банка. Идем кушать? А, вы уже завтракали? Очень жаль! До свиданья, господин учитель.

Когда мы вышли в коридор, я спросил моего отца:

— Ты передал ему бумаги, доказывающие его мошенничество?

— Не я, Саумал.

Ярость охватила меня.

— А ты еще ждал от нее признательности! Она — покровительствует мошеннику!

— Или влюбленному? Думая о юности, надо юнеть, а не стареть, дорогой. Но, в общем, я рад, что ты еще плохо чувствуешь любовь. Это незнание и приведет тебя в Индию. Да, да! Человечество давно б осуществило свои идеалы счастья, кабы не мешала любовь, плотская, разумеется. Любовь, — обещая счастье, а на самом деле даря неизлечимые раны, — переманивает разум на свою сторону. Язвы ее обидны и колки, а люди не гневаются, не ропщут, а несут их с восторгом. Может быть, они и правы.

Голос, при звуке которого мне захотелось нырнуть стремглав в первую подворотню и также проворно выскочить оттуда, окликнул:

— Господин факир! Только два слова.

ДВА СЛОВА ВАСИЛИСЫ ГЛЕБОВНЫ

Она взяла меня под руку, и я почувствовал волнение от прикосновения ее пальцев. Мы отошли на несколько шагов. Василиса Глебовна живо спросила:

— Я вам нравлюсь?

— Вы прекрасны!

— И вы готовы немедленно сделать мне предложение?

Я хотел было ответить ей: «Да!», но мне показалось, что в лице ее мелькнуло что-то зловеще подозрительное. Я смутился, умолк. Она, воспользовавшись моей запинкой, воскликнула:

— Ну конечно же, никогда! Я старше. Судилась. Вдова. И вообще гнусная и подлая, мой факир! Нечего вам и думать о женитьбе. Впрочем, я и забыла, что у меня — жених. Даже, кажется, нам друзьями не быть? Но чем же, однако, мы нравимся друг другу?

Она посмотрела на меня, вздохнула и добавила:

— Давайте думать удало? А? Вы влюбляетесь в меня безгранично, пишете письма, посылаете цветы, ходите за мной всюду, плачете, кричите всем о своей любви. И ваша гордость не будет унижена. Я готова поступать так же. Семипалатинск поверит, заговорят, начнут жалеть моего отца, жениха, полетят письма к деду в Москву! Ха-ха!..

— Ну, а потом?

— Ну, а потом они услышат наш гордый и звонкоголосый смех! Пышно сказано! Вот как надо смеяться над Семипалатинском!

Пройдя рядом со мной несколько шагов молча, она бросила на меня зыбкий взгляд.

— Вообще очень приятно напускать на себя дурь. Пускай они ломают головы! Например, почему бы вам, Всеволод, не превратиться в кучера?

— В какого кучера? — спросил я с крайним удивлением и негодованием.

— В калмыковского, — ответила она проворно.

— Предложение — после того, как я остановил ваших коней?

— Когда? А, при пожаре верфи?.. И это имелось в виду.

— Кем «имелось в виду»?

— Вы разозлились, кажется?

— Еще бы!

— А на что, собственно? Вы ищете работу. Чем же кучерская работа хуже типографской или цирковой? Нужно или уважать любую работу, или одинаково презирать все. Коней вы любите. Пример — Нубия. Бываете на бегах. Почему бы вам не вынянчить такого коня, ко-

торый побьет всех бегунцов князя Малицына? Он ведь тоже считает себя знатоком экстерьера. Вы пишете. Но чтоб хорошо писать, надо хорошо знать жизнь общества, кроме жизни цирка и мужиков.

— Предлагаете изучать жизнь с кучерских козел?

— А чем же кучерская скамья хуже обеденного кресла? Наконец труд наездника, кучера, жокея хорошо оплачивается. Я встречала крупных людей, которые в юности были жокеями. Скажем, отец князя Малицына.

— Впервые слышу.

Она засмеялась.

— И вообще кони — это ваша стихия, Всеволод. Вспомните Курган, извозчика Марцинкевича, его племянницу и Кузю.

— Вы знаете даже про Кузю?

— Глупость — мать сплетни. Семипалатинск очень глуп. Но, кажется, я сболтнула что-то не очень разумное? Мне все хочется показать вам, Всеволод, что я, любя вас, себя за это не люблю и страдаю. Поэтому-то и издеваюсь над вами в надежде, что оттолкнете.

— И откажусь быть кучером?

— Наоборот, согласитесь. Но, сев на козлы, не станете обращать на меня внимание и с большой признательностью будете получать чаевые от моего жениха.

— Он знает о вашем предложении?

— Относительно кучерства или относительно любви?

— Право, вы ужасны, Василиса Глебовна!

— Чем? Кучерство и любовь ставлю рядом? Я — из купчих. А купчихи, знаете, не раз выходили замуж за своих кучеров, отказываясь даже от князей.

— В сказках.

— Иная сказка верней самой верной были.

— Однако вы не ответили на мой вопрос.

— Ах да! Относительно кучерства. Малицын? Знает. И отец тоже. Одобряют этот «цирк на дому». Причуды сибирских миллионеров.

— Читал у Мамина-Сибиряка и других.

— Еще бы не читать!

Воздушная улыбка, с которой бросала она эти легкие фразы, улетучилась. Лицо ее вдруг стало серьезным. Обозначились скулы. Она скосила на меня глаза.

— Божий вы человек, Всеволод! Легковерны. Придется мне говорить вам наотмашь.

И, приблизив свое пылающее лицо к моему, сказала:

— Я считаю вашего покровителя Скурлатова умным, дальновидным и крайне опасным для всего рода Калмыковых. Даже если ему и не разрешат газету! И он не напрасно вытребовал вас сюда, Всеволод! Странным образом, мне еще не известным, все нити больших событий сосредоточены в руках юродствующего факира. Значит, пока не поздно, мне нужно взять эти руки в свои. Как? Очень просто. Влюбив в себя. Что я к нему чувствую? Так, нечто вроде легкого любопытства. Личность в некотором роде типичная для нашего времени, факир то есть.

Она замолчала, явно ожидая ответа.

Я глядел на нее намеренно незлобиво.

— Обижайтесь же! — крикнула она.

— На кого?

— Ну, господи! На меня.

— Позвольте, но мы начали с того, что поклялись назло Семипалатинску разыгрывать любовь? Василиса Глебовна, я уже вошел в эту роль.

Она развела руками. Мне почудилось — смущение мелькнуло у нее в лице. Даже, пожалуй, напряжение. Но все это быстро сменилось присущим ей изяществом, а изящество, как известно, должно относиться к грубой действительности снисходительно. Она, уходя, сказала снисходительным голосом:

— Играйте. Я предупредила.

Буду играть!

Я жил на постоялом в одном конце города, она — в другом. Ведь влюбленные по нескольку раз в день обмениваются записочками, скажем — о прочитанных книгах! Допустим, я найду время для чтения, ну а как поступить с записочкой? Она может послать кого хочет, скажем, того же кучера Нуру, а каково мне? Несколько раз в день тащиться через город, опасаясь утопить последние галоши в мокром снегу, или попасть ботинком в щель деревянного тротуара, или быть укушенным выскочившей из подворотни какой-нибудь шальной собакой?

Кроме того, я замечал, что голод не увеличивает эпистолярных способностей, а, наоборот, заметно снижает. Мне трудно писать и не очень легко говорить. А ведь надо часто и публично кричать о любви своей. Я с отчаянием чувствовал, что человек, у которого про-

рваны на локтях рукава пальто, кричит не так вдохновенно и восторженно, как человек, у которого рукава из крепкого и новенького драпа.

— Здравствуйте, Василиса Глебовна, — говорил я обычно при встрече. — Как вы поживаете?

— Очень хорошо, — отвечала она стонущим и звенящим голосом. — А вы меня все еще любите, Всеволод?

— Ужасно! — отвечал я.

И больше я ничего не мог наскрести!

Где-то я читал, что бедный и голодный человек, бродящий по Лондону, неожиданно получает кредитный билет в десять миллионов рублей. Он ходит с этим билетом по городу, не может его нигде разменять, а все непрерывно дают ему в долг, и он начинает вести роскошную жизнь. Лондонцы просто доверчивые простофили! Попробовал бы этот дурында попасть с миллионным билетом в Семипалатинск! Я получил, с точки зрения посторонних людей, больше, чем кредитный билет в десять миллионов рублей. Я получил признание в любви дочери миллионера,— и ни один семипалатинец не предложил мне и десяти рублей в долг!

Теперь на улице я частенько слышал разящие выкрики семипалатинцев:

— Ишь лезет!

— Тоже, влюбляются!

— Поленом по ногам, отдумал бы влюбляться.

— А главное, рожа-то, рожа!

— Да и она хороша!

— Сука.

— Обоим бы кирпичи на шею — да в Иртыш!

— Ее вперед! Одного мужа в могилу свела, за женихом бегает, а парнишку соблазняет.

— А парнишке того и надо.

— Черт продажный!

Мальчишки бросали в меня куски мерзлого помета, бабы из-за забора осыпали золой, в которой мелькали не совсем потухшие угли. Пожилые мужчины, которым возраст не позволяет играть, норовили огреть меня «битой» от городков. Старухи харкали вслед. Старики, будто невзначай, подсовывали клюшку.

Иногда, беспредельно разозлившись, я останавливался и глухо говорил:

— Да, я люблю Василису Глебовну и умру за нее!

Они точно дожидались моих слов:

— Ах сволочь!

— Да ты, дурак, посмотри, за кого умирать собираешься. Она ведь ворона столетняя!

— Дохлая гусыня!

— Кобыла заезженная!

— Безрогая коза!

— Вонючка!

— Падаль!

Однажды, когда они так кричали вслед, из калитки ленивой и небрежной походкой вышел молодой казак с тонким станом и широченными плечами. Он был отчаянно пьян, пьян всем своим телом, только странно трезвы были его выразительные, великолепные, ярко-зеленые глаза. Покачиваясь, он заговорил:

— Знаю его, православные! Парень этот старику Калмыкову угрожает: сифилисом, грит, ее заражу! Откуп в тридцать тысяч рублей требует!

— Глупый ты, глупый,— сказал я пьяному.— Ну, неужели ты не в состоянии подумать, что есть же честные люди?

— Что, честные?

— Да, честные.

— Честные люди?

— Да, честные люди.

— Последнего честного вчерась монахи миссии с маслом съели.

Хохот.

Тьфу, будьте вы прокляты!

ПИСЬМА И ТЕЛЕГРАММЫ

Как-то накануне воскресенья, обойдя все места, где надеялся найти работу, и получив всюду отказ, я остановился возле Коммерческого собрания. Афиша, написанная на обоях, возвещала, что в воскресенье опять будет представлена мелодрама с апофеозом.

Голова моя кружилась, сердце стучало медленно. Ах, поесть бы! Вот где мелодрама! На складах Калмыкова миллион пудов зерна, его дочь всем в городе рассказывает, что безумно влюблена в меня, а я подыхаю с голоду! «Что ж, если умирать, так на подмостках!» — сказал я сам себе и вошел в здание. Впрочем, и не готовясь к смерти, я все равно вошел бы туда.

Запахло сыростью, осиновыми дровами. Вспомнилась моя пьеса в стихах. Я обратился к режиссеру Бреславскому:

— Нельзя ли вернуть мне пьесу?

Режиссер Бреславский сухо посмотрел в мою сторону.

— Пороху не хватило на окончание! А в пьесе Эрота мало, любезный, Эрота.

— Чего?

— Бога любви.

— Какой там Эрот, когда сухаря не найдешь в рот, — сострил я горько.

— Однако Эрот — тот самый меч Эспадии, который рубит пополам целые царства.

Режиссер Бреславский иногда выражался очень изящно, после плотного обеда преимущественно.

Подошла миловидная дама под сиреневой шляпкой. Она отдала мне первый акт моей пьесы и какой-то конверт.

— Письмо. Получили три дня тому назад.

Я встал и поклонился.

— А вот скажите, Мария Николаевна, откуда попала к Калмыкову моя пьеса? Да и вы, надеюсь, не смолчите, господин Бреславский.

— А черт ее знает, — небрежно ответил Бреславский. — У меня нет времени и желания наблюдать за всякой драматургической дрянью.

Он злится на меня? Любопытно. Из-за пьесы? Вряд ли. Лицо его взволнованно лоснилось, точно покрытое глазурью. Он бросал взоры, полные изысканной злости, на Марию Николаевну. Уж не ревнует ли он? Ко мне? Отлично! Значит, я не так уж изнеможен и обезображен голодом. Восторженное состояние охватило меня. Я с громадным вниманием вслушивался в слова Марии Николаевны.

— Сторож увидал забытые кем-то листы, прочел название — «Калмыков» и, решив, что купец потерял свои бумаги, вручил их ему. К счастью, пьеса попала в руки Василисы Глебовны... она женщина добрая: во всяком случае, она прислала нам пьесу, ни слова не сказав, что это пасквиль на ее отца.

Я постарался не выказать своего глубокого волнения. Сердце мое замирало.

— А жаль, что вы не поставили пьесу!

— И-и, где нам осмелиться! — сказал Бреславский, отходя.

Я сказал Марии Николаевне:

— Привыкши дописывать свои произведения, я окончу и это. Не все великие драмы сделаны в расчете на театр.

Она вздохнула:

— Разумеется, не все.

И тихо спросила:

— Вы из Павлодара?

— А что?

— Я тоже оттуда... Я... — И она прошептала: — Это письмо от меня!

— Мария Николаевна, на сцену! — раздался у кулис голос Бреславского.

— Я жду сочувствия, — тихо и грустно проговорила Мария Николаевна. — Да и вы тоже, не правда ли? Дай, думаю, напишу ему. Все-таки, может быть, развеселю. А то опять уедем. Геммадинов, говорят, скупает зачем-то пустующие здания цирков. Возможно, труппы составлять начнет? Хорошо, если вас пригласят, тогда встретимся, а если — нет?

Подошел Бреславский, молча взял Марию Николаевну под руку и отвел.

Я поспешно разорвал конверт.

«Корреспондентка слышала о факирских феноменальных опытах. Ее занимает вопрос, действительно ли сила внутри нас? Она много лет наблюдает, что сила ее не внутри, а вокруг нее! Именно эта внешняя сила толкает ее совершать то, что она не хочет и что ей неприятно совершать. Ах, если бы господин факир рассказал подробнее, как надо воспитывать в себе силу воли!»

И все. Подписи нет.

«Ах, вы хотите, чтоб я рассказал вам о моей силе воли? Попробую».

Тем временем дверь клуба плотно за мной захлопнулась. Я дернул. Дверь — на крюку!

— Слушайте, мне спешно надо видеть Марию Николаевну! — закричал я, стуча ногой.

Тут я услышал голос Мейстера:

— А зачем, собственно? Пьесу свою вы получили. Наслаждайтесь ею, как я наслаждаюсь: «Размышления Поэта» читаются взасос всем городом. Тираж моей

книги подлинно расхватан — во время пожара! Я единственный автор, который терпит убытки, а не прибыль от того, что книга его разошлась.

— Поздравляю.

— Кстати, позвольте вручить почтовый конверт на ваше имя, полученный мной для передачи.

Адвокат Мейстер, ласково улыбающийся, — в парусиновом пальто и пожелтевшей соломенной шляпе! Зимнее пальто продано или заложено? Адвокату еще хуже, чем мне. Я хоть объяснения в любви, пусть даже притворные, получаю, а он?

Точно догадываясь о моих мыслях, Мейстер продолжает:

— Приятно получить письмо. В письмах чаще, чем в разговоре, упоминается ваша звезда, в которую нужно верить. Есть люди, чья жизнь несчастна, но все же они могут помочь другим, которые еще более несчастны. Помните, перед своим концом Фауст говорил:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день в борьбе их добывал!

И не забывайте, господин Иванов, что ваш отец необычаен. Порой после выпаривания какого-либо настоя получается красивый твердый остаток. Ваш отец — остаток после жара, в котором пылал девятнадцатый век! Да, кроме письма, вам еще и телеграмма. Быть может, предложение работы?

Держа телеграмму в пальцах, Мейстер, точно опасаясь, что, получив телеграмму, я не буду слушать его, торопливо говорил:

— Одновременно с сим я получил от вашего отца обширное послание, написанное великолепным почерком. Он красив и в почерке! Ваш отец толкует сообщение средневекового путешественника де Хези. Дворец пресвитера Иоанна состоял из семи главных этажей, из которых каждый имел по нескольку хор. Из этого ваш отец выводит заключение, что в стране было много певцов. И сейчас-де, в Казахстане, каждый аул имеет не только певцов, но и поэта! Дворец был утвержден на множестве столбов. Около дворца — четыре больших гиганта в коронах, обложенных драгоценными камнями. Гиганты, с склоненными головами, как будто несут весь замок. Ваш отец пишет: «Два гиганта означают две соперничающие церкви, римскую

и византийскую. Третий — пресвитерианская церковь, которой управляет пресвитер Иоанн. И, наконец, четвертый гигант — могущественнейшее мусульманство, в борьбе с которым две соперничающие церкви хотели опереться на третью, несторианскую. Поэтому-то дворец пресвитера Иоанна и наполнен невероятными богатствами. Соперничающим церквам было необходимо поддержать силы той церкви, на которую они хотели опереться, то есть несторианской, центр которой находился тогда в Средней Азии, а именно в Святой долине, возле горы Ак-Таш...»

— Простите, я хотел бы получить свою телеграмму.

— Ах да! Извольте. Кстати, Иванов, если Геммадинов пригласит вас в свой цирк в Семиречье, я не прочь сопутствовать вам.

В крайнем удивлении глядел я на Мейстера. Он, подыскивая слова и не найдя, потоптался на месте и, приподняв шапку, пошел прочь. Что с ним? Адвокат — и перед каким-то мальчишкой не нашел слов?

А письмо-то, письмо! Оказывается, от дяди Василия Ефимовича. Просит помощи. Ха-ха! Да спятили они все, что ли?

Вот и сам дядя бежит навстречу, помахивая палочкой с самым беззаботным видом. Письмо дрожит в моих пальцах. Он кивает на него и подмигивает.

— Слушай, Всеволод. Пора возводить фундамент собора, а Калмыков не выдал еще мне ни копейки. Помоги.

— Но, боже мой, чем помочь?

— Во-первых, женись на Василисе Глебовне.

— Дядя!

— Что, у нее есть жених? Плевать! Женихи есть, но ее от них надо отбить! Да ты и отбил уже. Она в тебя влюблена. Весь город говорит. Бери, вот сто рублей, после отдашь.

— Дядя, моя женитьба — это глупость!

— Что ж, глупость в мире нужнее, чем ум. И, во всяком случае, она более питательна. Всеволод, слушай, будь мучеником! Знаешь легенду об Алексее божьем человеке?

— Надоели мне легенды!

— Легенда надоедает, когда к ней не имеешь отношения, но стоит в нее ввязаться, как ты начинаешь

остро чувствовать ее прелесть. Бери, Всеволод, мученичество, бери!

— Дядя-я!

— Я-с!

Смеется он надо мной? Нет, лицо серьезное, разве только мелькнуло сряду несколько странных улыбочек. Но ведь так может улыбаться и человек, рискнувший с отчаянья на самое последнее средство. Не дождавшись ответа, а может быть, и не нуждаясь в ответе, дядя поспешил дальше.

Что же, однако, в телеграмме?

Извозчик Марцинкевич из Кургана телеграфирует: «Выезжать ли нам точка на которой из племянниц моих женишься?»

Вот тут и отвечай!

ВАЛУН «ВОЗЛЕ ЯКОРЯ»

Тем временем я иду к Иртышу по спуску мимо гранитного валуна цвета темной запекшейся крови. Этот валун называется «Возле якоря» и служит местом свиданий всех семипалатинских влюбленных. Я не влюблен. Почему же мое сердце щемит тоска и камень кажется томительно-прекрасным, словно камень этот — живое сердце, которое я вынул и положил к чьим-то ногам? Неужели меня смутили эти непонятные письма и эта чересчур понятная телеграмма?

Навстречу, скрипя и раскачиваясь, двигались извозчичьи санки. Их занимал грузный Геммадинов в шубе, золотых очках и черном котелке с узкими полями. Поравнявшись, он высоко поднял котелок и спросил резким голосом:

— Господин Иванов? Рыскаю, рыскаю, ищу вас, а он здесь! Продолжаете ли вы интересоваться развитием циркового и драматического искусства? Наш банк имеет несколько заложенных помещений для цирка и театра. Помещений, которые у нас в закладе, понятно? Когда направляетесь в Индию? Сколько хотите в месяц? Сорок рублей, не считая прогонных.

— Позвольте спросить: прогонные до Индии?

— От реки дует, я боюсь простуды... — Он вынул блокнот с бланками и золотым карандашиком стал писать: «Господин В. В. Иванов зачисляется на службу

с момента прибытия в перечисленные отделения банка по отделу недвижимых имуществ, в части цирка и театра...» Это в Сергиополь, в первый цирк на вашей дороге.

— Кто меня вам рекомендовал?

— А, неважно! Итак, Сергиополь! Цирковое помещение, кажется, нуждается там в ремонте...

— Кто даст денег на ремонт?

— Все деньги там. Там! Извините, дует.

Он приподнял котелок.

— Гони, извозчик! А вы добирайтесь пока до Сергиополя, первый город за Семипалатинском на пути в Индию.

— Добирайтесь?!

И доберемся, черт возьми! Сердце щемит? У меня? Ах, какие глупости! И я похлопал по валуну, который теперь походил на хорошо запеченный окорок.

Этот красный валун когда-то давно служил якорем для большого гребного судна, пришедшего будто бы с калмыцкой данью от озера Зайсан. Весною иртышским паводком, сопровождаемым бурей, судно сорвало с якоря, унесло, разбило! Якорь же выбросило на берег. Почему судно имело якорем этот валун и почему буря выбросила его на берег — оставляю на совести рассказчиков, а сам перехожу к истории капитана судна и его молодой сестры.

Прежде всего должен сказать, что имена капитана и его сестры неизвестны, как, впрочем, остались неизвестны имена невесты капитана и жениха его сестры. Капитана и его сестру унесло волнами во время бури. Однако его невеста и жених сестры долго искали своих суженых. Они не верили в их гибель! Поиски оставались тщетными. Казалось бы, молодым людям время вернуться домой? Но они сели на валун, сказав, что все равно будут ждать! Они ждали лето, осень и умерли в середине зимы. Говорят, что выбоины на валуне — это следы их рук, опиравшихся на камень в то время, когда глаза тщетно искали в иртышских волнах любимых.

Я, кажется, говорил, что в мое время городские влюбленные часто назначали свидания «Возле якоря».

(Когда в 1948 году мне снова довелось увидеть родной город, я не нашел этого валуна. Он разбит на щебень для мощения улиц. Исчезла и легенда о нем.

Многое исчезает. Легенда, быть может, быстрее, чем что-либо другое.)

Мельком брошенные Геммадиновым слова успокоили меня. Я почти имею работу! До Сергиополя не то сто, не то пятьсот верст — пустяки! Беру Нубию и — марш! До свиданья, Семипалатинск.

Бодро, журавлиным шагом, через голубой, как сон, переулок, подхожу к постоялому двору. Ого! Сердце мое мгновенно наполняется тяжелой золотистой гордостью, похожей на те зрелые колосья, которые сгибаются под своей тяжестью, озаряемые летним солнцем. Приятное сравнение, а еще более приятна неожиданная встреча. Она — в обольстительно-лирической белой шубке, шапочке с длинными наушниками и поярковых валенках. Ах ты, белобокая!

— Как поживаете, Василиса Глебовна?

— Очень хорошо, мой милый, — отвечает она. — Я вас давно жду.

— Вот как!

— Да, дорогой. Чудесный случай доказать вам мою лучезарную любовь, тем более что мимо меня, кажется, за время моего ожидания проехал на извозчиках весь город. То-то будет сплетня.

— Великолепная! Я счастлив!

Она достает из бумажного пакета толстый слоеный пирожок, подносит его к своим узким губам, похожим на красный жгутик, и начинает медленно жевать.

— Не угодно ли?

— Благодарю. Я уже пил чай. И ел точно такие же пирожки. Только пекли их не на моей кухне, а в соседней булочной.

Никогда я не покупал и не буду покупать такие пирожки! Крошки, жирные, желтые, сыплются с ее пальцев! Ноготки в масле. Боже мой, какие вкусные пирожки! Чем они начинены? Мясом? Рисом? Купцы любят рис и яйцо. А молодая женщина ест, не думая ни о их вкусе, ни о рисе, ни о яйцах. И, главное, ест, не жалея, что они скоро исчезнут.

Я смеюсь и показываю телеграмму, полученную на мое имя. Очень трудно не рассмеяться! О чем думал извозчик Марцинкевич, когда посылал телеграмму?

— Приятно, — говорит Василиса Глебовна. — Я очень довольна. Нам для успеха задуманной шутки и нужна такая телеграмма, не правда ли? Что вы ответили?

— Ничего.

Она, не улыбаясь, — будто каждое слово — высокая и крутая ступенька лестницы, — ведет от телеграммы к моему лицу взор своих больших, как их называют в городе, кромешных глаз. Затем она кладет телеграмму в карман и достает еще пирожок.

— Видите, проголодалась! А рассчитывала кушать на заимке.

— Уезжаете на заимку?

— Нужно проверить поголовье. Я решила продать зерно киргизам. Папа хотел было отправить его вниз по Иртышу, я отговорила. Графушка кончает гимназию и делами совершенно не интересуется. Борис — умница, но ему некогда, он с Малицыным. Мне и пришлось взяться за все дела. Сейчас, например, для отправки в степь зерна надо много упряжных коней...

— Все калмыковские дела? Торговля зерном, мельницы, верфь, пароходство и постройка «Семиречки»?

— И постройка. Папа очень болен. Избави нас боже, но кажется...— Она смахивает слезу.— Не я, доктора утверждают.

— А я-то с вами шучу, — говорю я, криво улыбаясь.

— Вы в самом деле обедали?

— И очень плотно.

Мимо нас под руку с режиссером Браславским идет миловидная дама в сиреневой шляпке. У режиссера отвратительная развилистая походка. Ножки миловидной дамы задушевные и стыдливые. Она весело раскланивается со мной. Небрежно кивнув ей, Василиса Глебовна спрашивает меня:

— Говорят, у драматической труппы совсем готова «Майская ночь»? Разве попросить, чтобы не показывали до моего возвращения?

Василиса Глебовна догоняет миловидную даму под сиреневой шляпкой, говорит ей несколько слов и возвращается.

— Согласилась. Я купила у нее три первых ряда. Синицына — прекрасная актриса, в спектакле она, наверное, будет играть роль утопленницы.

— Почему утопленницы?

— У нее русалочьи глаза. Русалки теперь так модны! Милый мой! Кажется, вы думаете обо мне? Почему, например, не расспросите, какие побуждения заставили меня взять все калмыковские дела?

— Вы объяснили, Василиса Глебовна, этого достаточно. А частности — коммерческая тайна.

— Когда у нас глубокие сердечные тайны, то разве они тем самым не раскрывают коммерческих? Частности? В жизни самое интересное — частности. Общее вы узнаете в философских, экономических, религиозных и прочих сочинениях. Частность вам не скажет ни одна книга, а если скажет, то будьте уверены, что наврет. Кроме того, частность коротка. Это тоже приятно. Все в жизни должно быть коротким. Когда вы придете к этому убеждению, вы будете счастливы.

Василиса Глебовна умеет говорить коротко и откровенно.

Старик Калмыков, как известно, председатель правления строющейся «Семиречки». Ему давно пора уехать на «Семиречку», чтобы подготовить весенние и летние работы: дела там идут плохо. Петербург обеспокоен. Железная дорога главным образом строится на правительственную субсидию. Возможна ревизия, и возможно, что в будущем году ассигнования будут уменьшены. А это значит — крах Калмыковых и передача строительства Среднеазиатскому банку. Нужно все исправить. Главное сейчас на строительстве — земляные работы. Народ на эти работы собрать невозможно: рабочим платят полтину в день на своих харчах, а харчи дороги. Нужно вербовать рабочих. Поэтому-то молодые Калмыковы и решили дать зерно казахам, чтобы те осенью отработали на «Семиречке». Кроме того, к земляным работам хорошо бы привлечь переселенцев. Они опытные землекопы. А чтоб согнать переселенцев с земли и привести их к «Семиречке», нужно лишить их посевного зерна. Значит, дать зерно казахам и не дать переселенцам.

Я слушаю Василису Глебовну с содроганием.

— Это бесчеловечно! Невероятно!

— А разве бесчеловечное — невероятно, милый мой факир? Более невероятно другое — человечность. Позвольте досказать. Земляные работы на дороге без лошади невозможны. Обычно землекоп приводит с собой лошадь и телегу. Сейчас он этого сделать не может, так как кони пали. Поэтому мы хотим послать Салазкина в Синьцзянь, китайскую провинцию, которой не коснулся джут. Там и закупим коней. Петербург сделал

уже соответствующие распоряжения таможне. Мы дадим переселенцам не только хороший заработок, но по окончании работ отдадим им упряжь, наших коней и телеги! Какая же тут бесчеловечность? Если переселенцы не посеют в этом году, зато осенью вернутся домой с деньгами, конем, телегой, и в будущем году их ждет богатый урожай. Теперь вполне естествен ваш вопрос: зачем я это делаю?

— Допустим, я так спрошу и...

— Затем, чтобы бросить к вашим ногам миллионы, милый, — сказала она, смеясь и прыгая в возок. — Скажите Скурлатову, что я согласна быть членом-учредителем новой Общественной библиотеки.

— Он будет рад. Только откуда вам известно о библиотеке?

— Ну, милый!..

Спешу к Скурлатову.

Обеденный стол превращен в верстак. Скурлатов, Мейстер и Щепетников делают библиотечные полки. Комната Скурлатова завалена досками, стружкой, пахнет шубным клеем и махоркой. Я вырезаю из толстой бумаги квадратики с дырочкой наверху — для картотеки. И, не утерпев, говорю:

— Теперь, пожалуй, с помощью Василисы Глебовны легче достать разрешение на новую библиотеку?

Мейстер смотрит на меня с ухмылкой.

Скурлатов восклицает:

— Твой отец, Всеволод, тонкий человек!

— А в чем?

— Городская публичная библиотека мала. Абонементы дороги. Подумали: не открыть ли вторую, общедоступную, бесплатную? Но как выхлопотать разрешение? Как-то я написал об этом твоему отцу. Он утешил меня: «У Семипалатинского подотдела Географического общества имеется разрешение на открытие библиотеки. Но у него нет книг и нет средств на их приобретение. Надо собрать книги! Как? Скажем семипалатинцам, что в библиотеке будет большой конный отдел. Да, специальный отдел о коневодстве. Все книги по этому вопросу. Это, несомненно, поспособствует созданию особой породы семипалатинских коней. Любой издатель книг по коневодству, — они, как известно, не отличаются глубоким разумом, — с радостью пошлет

бесплатно книгу в библиотеку императорского Географического общества». Я высказал подотделу соображения твоего отца, Всеволод.

— Ну и что?

— Вышло.

— Неужели?

— Подотдел передал нам разрешение на библиотеку. Теперь пора собирать книги. Итак, кто у нас жертвователи?

Я говорю:

— Василиса Калмыкова.

— Еще?

Мейстер, опять ухмыльнувшись, перечисляет:

— Владелец уксусного заведения Ткаченко. Поэт-самоучка Бакчиптаев, содержатель фруктового погреба. Пакрышев, «собственный корреспондент» газеты «Омский вестник»... Приблизительно соберется до трех тысяч томов, если считать и мои книги и ваши, Скурлатов.

Скурлатов, все еще думая о моем отце, засмеялся.

— Однажды спрашиваю у твоего отца, Всеволод, какую книгу он больше любит? «Путешествия Гулливера»,— отвечает. Я высказал догадку: «Наверное, потому, что, читая книгу, вы чувствуете себя то лилипутом среди великанов, то великаном среди лилипутов?» Твой отец ответил: «Это состояние вы испытываете и не читая книг, а просто скитаясь по семипалатинским канцеляриям. В «Путешествиях Гулливера» показана страна, которой управляют лошади! И управляют кони страной не потому, что умней людей, — это было бы неправдоподобно,— а потому, что кони добры и полны верности. Этому и должны люди учиться у лошадей!»

Щепетников, прекратив работу, слушает Скурлатова. Жилы на его висках вздулись, короткий мясистый нос покраснел.

— Где там, не до коней сейчас! Мельники выиграли забастовку, а Калмыков почти всех их уволил: новых нанять не трудно. Весна, пароходы снизу привезут безземельных. Евангелье про таких Калмыковых приказало: режь!

— Не читывал такого в Евангелье,— говорит Мейстер.

— Что, не написано?

— Нет.

— Так будет написано. Время к тому идет. Замучили нас вконец.

Щепетников продолжает:

— У меня невеста — Раиса Грызина из станицы Сушкинской. Я там работал у казака. И полюбил! А кто я? Шантрапа! Ни у меня, ни у ее отца, ни у нее самой горсти зерна нету, чтоб посеять. А весна-то была какая! А степь-то, а тучи — сплошь дождевые! Ах, господи!.. И стал я бродягой, а за бродяжничество дают поселение в Восточной Сибири навечно. Сволочи! Земля божья, вольная, евангельская, а они — не смей ходить! Не бродяжничай, не шляйся! Я на полицию не сержусь, она служит, а как не шляться, коли в день полфунта хлеба, да и тот с мякиной? Пожгу: амбары, дома, купцов, помещиков, с детьми, с внуками аж! Все пожгу, попалю, а пепел истопчу каблуками!..

Выкрики Щепетникова навеяли грустные и томительные мысли. Человек искренний, хороший, размышляющий, но, боже мой, как он изголодался, озлобился, как он тоскует по невесте своей — этой Раисе Грызиной. Да и Раиса небось выйдет из станицы в поле, глядит, плача, на пустынную дорогу... беда!

Беда с этими безземельными.

На столе отрывок из статьи Мейстера, не вошедший в «Размышления Поэта». Отрывок написан под влиянием бесед Мейстера со Щепетниковым и, возможно более чем что-либо другое, объясняет состояние души этого безземельного.

«В 1891 году министерство внутренних дел распорядилось, впредь до приискания свободных земель в Семиречье, прекратить туда переселение. И началась борьба местной администрации с прибывающими переселенцами — «самовольцами». Пока переселенцев было мало, а земли много, водворение прибывающих крестьян не встречало особых задержек. Но с течением времени обстоятельства изменились, и образование новых селений делалось все более и более затруднительным. Давали взятки землемерам, и сведения об излишках земель, которые без ущерба могли бы быть изъяты из пользования кочевников и казаков, утаивались, чем и создавались почти непреодолимые препятствия к размещению переселенцев. Тогда переселенцы стали захватывать киргизские и казацкие земли! Их гнали, пере-

селенцы впадали в нищету, самовольно образовывали селения, которым давали едкие названия, вроде — Самовольный поселок, Свинячий выселок, Самодуровка. «Самовольных» переселенцев обнаружено свыше 170 тысяч душ! Семиреченские казаки имеют на душу мужского пола по 35 десятин земли, запахивая из этого количества всего лишь 4—5 десятин. Переселенцы, получая 7,7 десятины душевого надела, запахивают половину. И скота у крестьян вдвое больше, чем у казаков. Таким образом, располагая вчетверо большей площадью земли, казахи имеют в два раза меньше скота и в три раза меньше пашни, чем крестьяне. Кто полезнее государству? Кому дать землю? Переселенцам. Но вы спросите, откуда взять землю для переселенцев? Что делать?»

Я тоже спросил:

— Что делать?

— Вот и Щепетников по-своему спрашивает: что делать? — сказал Скурлатов. — Покупать землю у казахских султанов не на что, арендовать — тоже не на что. Не на что не только русским переселенцам, но и казахским, которые думают перейти на оседлый быт.

— Султанов душить! — кричит Щепетников. — Валун им гранитный на шею — и в Иртыш! Вон я на берегу крепкий гранитный якорь заметил.

А, и этот тоже «Возле якоря»?

ВАСИЛИСЫ ГЛЕБОВНЫ НЕТ

Миновал день, другой, третий, неделя. Василисы Глебовны нет, и нет от нее вестей. Может быть, задержала погода? Она уехала в зимнем возке, а на другой день — оттепель, снег сошел, теперь уже ездят на дрожках.

Солнца много, двинулся иртышский лед, по ночам еще стоит стужа. Должно быть, где-то на верховьях реки образовался ледяной затор. Река ночью без льда, гладкая. Паромщики переправляют людей и подводы. «Не съездить ли мне в Татарскую слободу? — думаю я. — Из-за ледохода Хапыке, наверное, бедствует. Белье в стирку она получает в городе, а в Татарской слободе стирают белье сами или же вообще не стирают. Надо бы сказать ей о зерне, что решила передать казахам

Василиса Глебовна, правда на условиях жестких. Не обрадуешь Ханыке этими условиями».

И, вместо того чтоб ехать в Татарскую слободу, лежу на нарах постоялого и перечитываю «Размышления Поэта». Что-то теперь решил Мейстер относительно пересмотра дела Василисы Глебовны?

В «Размышлениях Поэта» есть несколько фраз о суде над печатником Капитоном Ильичом Скурлатовым. По-видимому, Мейстеру хотелось написать побольше, но печатник запротестовал. Мне чудится тихий голос печатника, когда он в недоумении спрашивает у Мейстера, подавая «оригинал»: «Зачем? Кому это интересно? Прошу выбросить». И Скурлатов с большим трудом соглашается оставить лишь две-три строчки, «если уж так нужны».

О Скурлатове написано следующее.

Однажды Мейстера пригласили выступить защитником на политическом процессе боевой дружины партии социал-демократов, фракции большевиков, признающей вооруженное восстание. Он защищал Капитона Скурлатова. Речь его была превосходна, и все же Капитона Скурлатова приговорили к каторге! Мейстер опротестовал решение Палаты. Кассационный департамент, вняв убедительному протесту, пересмотрел дело. Скурлатова, после полуторагодового пребывания на каторге, отправили в ссылку, которая несколько позже, после новых хлопот Мейстера, была совсем отменена. Мейстер чувствовал непреоборимое желание помогать Скурлатову. Ему постоянно мерещилось открытое лицо рабочего, его доверчивый взгляд, его веселые речи: Скурлатов даже о каторге рассказывал со смехом!

В книге, повторяю, процесс Скурлатова был освещен слабо. Но все же простодушно-веселый характер Скурлатова чувствуется в его рассказе, воспроизводимом Мейстером.

В «Размышлениях Поэта» приведен отрывок, видимо, из речи Скурлатова на собрании рабочих, организующих свой профсоюз:

«Всякое рабочее движение, если оно развивается в полной преданности пролетариату, неминуемо превратится в социал-демократическое, большевистское! Строй современного общества ведет рабочий класс к главной борьбе — захвату политической власти и обобществлению средств производства! С этой целью мы,

рабочие, и должны поддерживать дело партии пролетариата. Дело партии состоит в том, чтобы расширить и углубить непартийное профессиональное движение рабочих, чтоб создать не только городские, но и областные, губернские, общегосударственные могучие профессиональные союзы с центральным бюро. Эти профсоюзы — громадная политическая сила в борьбе за полную демократизацию всего политического строя России!»

Мейстер ссылается, что отрывок взят из свода решений уголовного кассационного департамента правительствующего сената, где излагается один судебный процесс большевиков. Этим самым автор хотел уберечь книгу свою от конфискации? Не помогло, как видите.

Собрали и перевезли пожертвованные книги, не хватает только книг Василисы Глебовны, а то уже можно было бы открыть библиотеку. И главное, неизвестно, сколько она жертвует томов. Сто или тысячу?

Главный стан Киргизской духовной миссии вдруг известил устроителей, что он уступает для библиотеки полуподвал, в котором прежде находилась приютская кухня и продуктовые склады, перенесенные во двор, в новое помещение.

Извещение принес воспитанник приюта, казах, рослый, со следами оспы на лице, одетый в хламиду, похожую на подрясник. Приют для детей находится в обширном трехэтажном доме на Тюремной улице. Живут в приюте главного стана сироты — дети неспособных к труду родителей, без различия сословий, а также арестантские дети по назначению тюремного комитета. Их берут с младенческого возраста и содержат здесь до пятнадцати — шестнадцати лет, обучая чтению, письму, закону божию, а также рукоделиям.

У воспитанника глаза смышленые,— «этот все знает»,— и я спросил:

— Как это миссия решилась полуподвал нам уступить?

— Калмыковы хлопотали.

— Василиса Глебовна?

— Она.

Скурлатов, сияя довольством, осматривал полуподвал почти с восторгом.

— Тут вот откроем читальню. Самыми главными читателями будут воспитанники приюта! Разумной,

веселой книгой истребим яд, который вливает в них архимандрит Михаил!

И, весело улыбаясь, он сует мне выписку из протокола собрания: «Семипалатинский подотдел и. Г. о. назначил В. В. Иванова библиотекарем вновь организованной Общедоступной библиотеки». Каково?

— Ну, какой из меня библиотекарь?

— Обучим! Сдашь экзамен за гимназию и — в университет! И станешь профессором! Пожертвуешь нам столько же книг, сколько собрали сейчас. Город заполнен ссыльными, и большинство с высшим образованием. Мало того, в чайных конторах служат образованные китайцы. Ты, Всеволод, изучишь и западные языки и восточные!

«Они помнят, а я совершенно забыл, что мне нужно учиться!» И я продолжаю размышлять про себя: «Вдуматься, так, пожалуй, и не найти лучшего места. Учение, книги, сам могу учить других. В приюте около ста учеников, из них половина казахов. Зная язык, обычаи... Сам не справлюсь, привлеку образованных казахов, например Саумал!»

Скурлатов продолжает:

— Работа, понятно, не легкая: средств имеем только на одного служащего. Ему и быть — сторожем, заведующим, истопником, переплетчиком! Ты, Всеволод, способен ко всему этому.

— За переплет ручаюсь!

— Повторяю, ко всему!

Эту фразу Скурлатов произносит как-то особенно значительно. Ее значительность подтверждает и Мейстер:

— Ко всему!

Какие ласковые, заботливые, добрые люди! И зачем мне их покидать? Книг-то, книг!

— Что, место библиотекаря тоже Василиса Глебовна исхлопотала?

— Нет, на этот раз — мы, — отвечает, смеясь, Скурлатов.

— А как же моя Индия?

— Подучишься — и в Индию.

Брожу, думаю. Странный город! Вокруг степи, пески, камни, соленые озера. Деревьев нет на пятьсот верст в окружности, а в городе все дома деревянные. За Татарской слободой степь начинает зеленеть еле заметной,

дрожащей зеленью. Казахи выгоняют скот, который уцелел от джута, на пастбище.

А Василисы Глебовны все нет и нет.

Я ищу цирк.

Его тоже нет.

Остались только подпорные столбы, да и те выкапывают. Десятник сказал, что господин Коромыслов уже несколько дней как уехал «передовым». Где-то будут заново собирать цирк? Вообще-то десятнику плевать и на цирк и на Коромыслова. Коромыслов задолжал, и десятник дорабатывает из жалости к циркачам: очень уж пали духом. Куда выгоднее трудиться на постройке Казачьего собора. Гляди-ка, махинищу какую кладут!

Собор — фундамент во всяком случае — каменщики кладут с величайшей почтительностью. Возле ям с известкой, поглядывая в мою сторону, суетится дядя. Пусть его суетится!

СЛУЧАЛОСЬ, Я СОМНЕВАЛСЯ, ЧТО ЖИЗНЬ СУРОВА

Но в этот день сомнений не было, хотя, казалось, многое, даже чрезвычайно многое, мне благоприятствовало. Да, жизнь сурова! Но я почти имею службу в библиотеке, меня ждет своя комната, кровать, стол, на котором могу писать когда угодно и сколько угодно.

Резкий ветер нагнал голубовато-серые тучи, обещавшие дождь. И ветер и тучи неслись со стороны степи. Казалось, Иртыш отнюдь не преграждал им дороги, словно подталкивая их к городу, чтоб никто не вздумал выйти оттуда.

Ханыке именно в это время несет из города к парому свой узел с бельем.

Паром покачивается, по мокрым доскам входят верблюды, переселенцы гонят волов, казак в фуражке с красным околышем что-то сердечно рассказывает двум китайцам, а возле своего воза стоит, накрывшись мокрой кошмой, седенький мещанин и уныло глядит в степь.

— Скоро отплывем? — спрашиваю у паромщика.

— Торопишься?

— Нет, жду товарища.

— Тогда у тебя время есть.

Проходит полчаса, час. Паром набит битком. И в то время как низенький паромщик стал отталкиваться шестом, на паром вскочила Ханыке.

— В нашу сторону? — спрашивает она меня.

— В вашу.

И торопливо ей шепчу:

— А я получил-таки местечко, Ханыке! В библиотеке.

Говорить по-русски ей нелегко, но она говорит. Ей кажется, что, говоря по-русски, она будет наблюдать за своими мыслями и сможет не высказать их так торопливо, как высказала бы их, говоря по-казахски. Но слово «библиотека» она не в состоянии выговорить и понять. И она глядит на меня вопросительно.

Я объясняю:

— Библиотека? Это — комната, дом, где хранятся книги, очень много книг.

— Книги?

— Ну да, книги! В книгах можно найти закон и счастье, Ханыке. Их трудно искать, законы сложны, и книги не менее сложны. Будут приходить люди, получать от меня книги, будут читать. Это нелегкое дело — читать умные книги.

Она поднимает свой узел. В драную изношенную скатерть, вернее сказать, в обрывки скатерти, завернута груда белья. Виднеется сатинетовая рубаха с干 прелыми подмышками, грязный фартук, рваные ситцевые платья, полотенца, больше похожие на портянки. Да, нелегкая у нее работа. И, однако, она говорит довольно весело:

— С зерном хорошо! Казахи уже везут зерно в степь, новых барж строить не будут.

— Болтают, что старик Калмыков сам спалил свои баржи, — говорю я осторожно. — Зачем бы это ему?

— Мало ли что болтают. Вот хорошо, что степь получит зерно. Очень хорошо!

— Значит, все зерно будет продано степнякам? Много же сдерет с вас Калмыков!

— Жизнь бесценна.

— Здесь больше делать нечего: вы достали зерно. Выходит, Ханыке, вы возвращаетесь в Семиречье?

— Но не сейчас.

— Не сейчас?

— Я сама не знаю, когда уеду,— говорит она и разводит в недоумении руками. — Не сейчас.

Подумав, добавляет:

— Да, теперь все хорошо. Только страшно подумать, что в наш аул, на южные склоны, вернется мой муж Чапе. Оглядит наш дом, а зерна еще нету. Успеть бы привезти!

Она сворачивает в переулок.

— Мне хорошо. Учусь немного.

Она уже не чувствует прежнего стеснения. Да и мне легче. Я даже пытаюсь ей помочь. Она отдергивает узел.

— Сама несу свою беду.

Но чтоб я не подумал, будто она жалуется, Ханыке весело улыбается.

— Будет много бумаги? Книг? В би-и-б-и... ох, не выговорить! — Она смеется. Я понимаю, что опять свалял дурака, а что такое библиотека — ей отлично известно.

— Мне положено в месяц двадцать рублей.

Она говорит с уважением:

— Очень много!

— Прокормлюсь и на десять, даже на семь.

— Можно и на пять.

— Видишь, сколько остается! Матери буду посылать, заплачу долги. Будет у меня комната, печка, стол.

Тут меня посещает новая мысль, и я удивляюсь, как она раньше не пришла мне в голову.

— А почему бы не поселить туда же твоих детей?

— Моих?

— Твоих.

— Под приют?!

Ох, черт возьми! Я забыл, что наверху детский приют, о котором казахи говорят с ужасом. Туда попадают дети нищих, которых ловит полиция, когда архимандрит сообщает ей, что в приюте освободилось место. Места там довольно часто освобождаются: чахотка, недоедание, желудочные болезни от плохих продуктов помогают. Большинство подростков, воришек исправительного отделения при тюрьме, тоже бывшие воспитанники приюта.

— Прости, Ханыке, я и не подумал!

Она опять улыбается.

— Я буду приводить их к тебе, Сивалот, в гости. Можно? Ты их обучишь русской азбуке, покажешь

книги, самые умные. А я тебе за это буду стирать, обшивать, стряпать. Долго сидеть не буду: паром ночью не ходит.

Узел довольно тяжелый, но мы почему-то выбираем самые длинные переулки, самые кривые и, в сущности, не идем к ее дому, а крутим возле. Я принимаю-таки узел. Она отдает его, затем опять тянется к нему. Лицо ее, смуглое, горбоносое, с большими глазами, верх которых как бы срезан, горит упорством и отвагой. Хотя велика ли отвага — взять у меня обратно узел с грязным бельем? От узла пахнет татарским мылом. Мыло полужидкое, завернутое в бумагу и, кажется, расплылось. Все равно! Пускай расплывается!

И она смеется полусчастливо, полугорько.

— Ханыке, ты боишься оставить у меня детей, а сама того и гляди простудишься, захвораешь. Живешь в грязной и сырой комнате. Захвораешь, полиция схватит детей...

— Ты, добрый друг, защитишь моих детей. И если я захвораю, будешь ухаживать? А?

Но вот мы и подходим к ее дому. Она берет у меня узел, уносит в дом. Я иду следом.

Беспокойство исчезает с ее лица, и оно делается таким веселым, каким было, наверно, в детстве. Но лица ее ребят совсем не детские — угнетенные, полные почти старческого сознания приближающегося огромного горя. Ужасаясь, я отворачиваюсь от них, и мне стыдно, что на земле могут существовать дети с такими грустными лицами. А ведь скоро весна, расцветут миллионы, миллиарды необычайно прекрасных цветов! И кто увидит эту красоту?

Середина дня, а в комнате темно, тускло, словно наступил самый поздний вечер. Люди в этой комнате стряпают, шьют обувь, стирают и, чудовищно устав от работы, спят непробудным, тяжелым сном. Вон там, на нарах, храпят два старика, один из них, кажется, китаец из прачечной. В углу большая русская печь и рядом — широкий «казан», котел, в котором бурлит кипяток для стирки. Сыро, холодно. Есть еще дверь в соседнюю комнату, она плотно прикрыта и заперта изнутри. Оттуда доносится кисловато-сладкий запах опия. Вообще об этом доме идет очень плохая слава. Но что я могу сделать, когда у меня в кармане нет ни копейки и не на что даже купить гостинцев для ребятишек?

Хорошо бы устроить Ханыке в типографию, научить наборному делу. Она малограмотна, но, ручаюсь, подучится месяца два, а через четыре будет уже наборщицей. Но чем ей кормить ребят эти четыре месяца, не говоря уже о себе самой? Она и сейчас добывает пропитание с громадным трудом. Китайцы-прачки дают ей стирать белье. И, конечно, платят гроши. На хлеб ей не хватает, не говоря уже о чае. А она так любит чай! К тому же домохозяйка Мознятова чрезвычайно продувная бестия. Глазенки ее хитро поблескивают, когда она говорит о Ханыке. Поблескивание это может плохо кончиться для Ханыке. Мознятова сделает все возможное, чтобы ославить Ханыке как проститутку, а затем «вить из нее веревки».

Ребятишки плохо понимают мой казахский язык. Ласка моя им приятна. Катаются ли они на санках с горы, с яра? Катаются, да санки им редко дают. В школу они не ходят? Старший объяснил, что мусульманской школы в слободе нет, а в русскую ходить мулла не разрешает. Мулла сердит на маму: он велит ей обратно ехать в аул, а она не едет.

Старший паренек очень рассудителен. Он нежно наблюдает за младшей сестренкой, которой лет семь. Девочка бледна, худа, у нее какие-то необыкновенно медленные и утомленные движения. Сколько же лет, однако, самой Ханыке, если старшему одиннадцать? Впрочем, казашки выходят замуж очень рано. Ей, пожалуй, не больше двадцати пяти.

«НА ДИКОМ БРЕГЕ ИРТЫША»

Тучи поредели. Иртыш, казалось, собрав в себя весь холод и ветер, мчал его стремительно и жадно, словно наслаждаясь своей силой. Выходим опять к берегу. Ханыке провожает меня домой. Она шевелит губами. Трудновато понять. Я наклоняюсь.

— Нехорошо!

— Почему нехорошо, Ханыке?

— Подумают: любовница.

— Скажешь тоже. Мы ведь с тобой, Ханыке, друзья.

— Нельзя! Не поверят, что друзья.

— Почему?

Она отвечает просто:

— Муж, Чапе, не велит. Раньше таким рубили голову. И мне и тебе! А детей отдавали в приют.

— Тогда и приютов не было.

— Приюта не было, так дети по-другому умирали. Теперь меня не убьют, тебя не убьют, но вот аксакалы отдадут мою землю Калмыкову. Это хуже, чем рубить мне голову!

— Ну, а если б не было ни детей, ни мужа, ни аксакалов, ни земли?..

— Все это есть.

Действительно, есть. Что ответишь? Она бросает цепь на нос лодки, берет весла, мне дает кормовое. Глубокие сумерки. Я толкаю лодку. Ханыке, качнувшись, опускается на сиденье и поднимает весла. Нас сильно сносит. Чтобы успокоить меня, Ханыке говорит:

— Ближе к тому берегу течение слабее, там быстрее поплывем.

— А я не тороплюсь.

Я действительно не тороплюсь. Мне надо кое-что спросить у нее. Из намеков Мейстера, из разговоров с отцом, наконец, из чтения «Размышлений Поэта» я сделал некоторые умозаключения, и мне хочется их проверить. Кроме того, кажется, и настроение у нее подходящее для правдивого ответа.

И я быстро спросил:

— Вы знали, что князь Малицын жил тогда, перед смертью Назаренко, в Пишпеке?

— Землемер? — так же быстро ответила она.

— Да, землемер.

— Живал.

— Под чужой фамилией?

— Зачем? Просто не прописывался. Поживет день-два и уедет.

— Чем же он существовал? То есть на какие деньги жил, а главное, ездил туда? Не в командировки же: он ведь ездил скрытно?

— Скрытно. А жил на продажу граммофонов — труба такая певучая с ящиком.

— Граммофонным комиссионером был?

— Как?

— Но это пустяки, неважно. А важно вот что, Ханыке! Вы князю Малицыну носили записки?

— От Василисы Глебовны? Да.

Я спросил прерывающимся голосом:

— Она была его любовницей?
— Записки были любовные.
— А зачем вы их читали?
— Сердилась на нее. Она считала меня совсем глупой и думала, что я не умею по-русски читать: без конвертов записки давала. Да и молода я была, не знала, что чужие письма читать плохо.
— А не случилось ли так, что одна записка показалась вам совсем уж странной и вы ее не передали, а оставили у себя, и она, спрятанная, до сего дня лежит в Пишпеке?
Ханыке не ответила.
— Саумал знала о встречах Василисы Глебовны с Малицыным?
— Может быть.
— Почему же она не выступила на суде?
— Несовершеннолетняя.
— Ну, положим! Просто Аралбаев боялся Калмыкова.
— Тоже может быть.
Взволнованный, я опустил руку в холодную воду, которая шустро бежала вдоль бортов.
— Еще очень важный вопрос, Ханыке.
— И у меня тоже важный.
— Отвечу искренне, как и вы, Ханыке.
— А вы это все кому-нибудь передадите?
— Клянусь, нет!
— Спрашивайте.
— Глеб Иваныч Калмыков не связан ли с охранкой?
— С полицией?
— Да, с тайной полицией, которая наблюдает и ловит политических.
Ханыке подумала:
— Откуда ж мне это знать!
— Мне думается, что Глеб Иваныч искал склад нелегальной литературы. Склад этот был в сарае у Назаренко. Впрочем, сам Назаренко об этом не знал: склад устроил там Нура, и вы, Ханыке, брали читать с этого склада книжки. Так ведь?
— Да, крупные буквы, крупная печать.
Я улыбнулся.
— А кто вам сказал про книги?
— Из намеков Нуры понял.
— Чей же был склад-то? — спросила Ханыке.

— Книги принадлежали Вере. Позже она стала женой Скурлатова.

— А-а!

— Но вернемся к Малицыну. Он еще в Петербурге сватался к Василисе. Ему отказали. Да и Василиса Глебовна потребовала «доказательств любви». Князь слишком долго собирался «доказывать», она со скуки и вышла за Назаренко, а когда Малицын явился тайно в Пишпек, по-видимому с «доказательствами», было уже поздновато.

— Не знаю.

— Глеб Иванович догадывается, что вы — свидетель?

— Наверное. Он хотел меня опозорить через Аралбаева, быть может, довести до самоубийства. Но там не вышло: Саумал побоялась, она осторожная. Надеются, что выйдет сейчас.

— Почему же именно сейчас? Из-за пожара на верфи?

— Нет, меня трудно впутать в поджог. Да, наверное, поджога не было. Самоубийство, думают, выйдет из-за другого.

— Из-за чего?

— А из-за вас.

— Из-за меня? Почему?

— Догадываются, что люблю. Я сразу полюбила, как увидела. И ударила тогда, чтоб разозлился и ушел. У меня — муж, дети. Я должна умереть, если полюблю. И умру, они это правильно рассчитывают.

Я всматривался в ее лицо, ставшее мне вдруг таким родным и дорогим. Мне было жаль ее, жаль, впрочем, и себя. И, конечно, я не был в нее влюблен, но избыток воображения и юношеской жажды покровительствовать всем несчастным переполнял меня, и мне казалось, что я способен ответить нежностью любому, высказавшему мне свои чувства.

— Ханыке! Значит, Василиса очень любила и сейчас любит Малицына?

— Тогда любила. Очень ли? Не знаю. Теперь нет. Она любит вас.

— Меня?! — воскликнул я в небывалом изумлении.

— Но вы на ней не женитесь. Она убийца. Мейстер ее все равно погубит. Да и меня тоже. А вас прошу: спасите моих детей и просите Чапе, чтоб он простил меня и не ревновал после смерти.

— Ханыке! Вы не умрете!

— Умру.

Молчание.

Мы — рядом с длинным плотом. Посредине плота, возле шалаша, насыпана земля и горит костер, вокруг которого дремлют плотовщики. Рулевой вполголоса спрашивает: «Дашь закурить?» Отвечаю: «Некурящий». Он передвигает шапку с правого уха на левое и, отвернувшись, глядит на берег. А затем плотовщики запевают такое знакомое: «На диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой». Объятый! Как красиво сказано.

Ханыке быстро гребет. Мы пропускаем плот, и она поворачивает лодку к берегу.

— Ты зачем, Сивалот, от города правишь?

— А куда мне торопиться? Я не у тебя в доме, Ханыке.

— И там не торопился, — говорит она, тихо смеясь.

Затем поднимает весла, кладет концы их к себе на колени и, глядя на меня в упор, говорит:

— Иди.

— Куда?

— В наш аул на Ак-Таш, на южные склоны.

— Но ты же радовалась, что я остаюсь в Семипалатинске?

— Не нужно оставаться!

— Ты боишься?

— Боюсь, да. Любить не надо. Непонятно это и страшно...

Мне не кажется, а это действительно так, я всем сердцем чувствую, что возникшая любовь ко мне ей совершенно непонятна, да и возникла ли она, эта любовь? Она продолжала с простотой, почти умилительной:

— Я не девушка, я жена. Пусть тебя любят другие.

— Только не Василиса Глебовна?

Она внезапно вскакивает, делает два шага и бросается передо мною на колени прямо в воду, которая теперь покрывает дно лодки. Платок сдвинулся, я вижу ее волосы. Туда, глубже, за платком и ее глазами, — огни города, которые отступают и отступают. Ногти ее как гвозди, вбитые в мои руки...

— Прошу, проводи моих детей на Ак-Таш... Когда придет Чапе, пусть он увидит, что дети ожидают его на пашне!

— Но ведь ваш аул далеко. Если и пойдем, так дойдем туда к концу лета.

— Скажи ему: я с ней, с пашней! Чапе скажи!

И она твердит:

— Чапе придет на Ак-Таш!

Гребем оба. Лодка, медленно плывя правым берегом, начинает подниматься против течения.

— Были мы соседи, стали мы друзья!

И она смеется. У меня на душе тоже очень весело, хотя я испытываю легкий стыд: еще ни одна женщина не стояла передо мной на коленях. Весла опускаются в воду чаще и чаще.

— Пойдешь, Сивалот, на Ак-Таш?

— Оставив тебя одну, Ханыке?

— Мне легче будет.

Она наклоняется ко мне.

— Посмотри, какая-то женщина. Ждет паром. Большая шляпа, перья. Кто в городе, кроме Василисы, не знает, что паром начинает ходить только утром? А до утра далеко, хоть и светает.

Подплыли к парому. Женщины в большой шляпе нет. Паром пуст. Перевозчик спал, завернувшись в тулуп. Показалось нам, что ли? Почудилось?

Я смеюсь. Держа в руке цепь от лодки, она смотрит на меня большими скошенными глазами, смотрит спокойно и добро.

— Ты, Ханыке, не спрашиваешь, почему я смеюсь?

— Зачем?

Действительно, зачем? Ей все понятно. Она качает цепь, и цепь тихо звякает. Цепь, Чапе, цепь...

— Прогуляла ночь? Что скажет твоя хозяйка Мознятова?

— Ей еще утром наврала: уйду стирать на всю ночь, к празднику.

— Значит, еще утром подозревала, что я приду сюда.

— А?

Иногда это «а» звучит как «да».

— Предчувствовала?

Она молчит.

— Я и забыл: ты ведь, Ханыке, жена!

— Жена,— отвечает она простым-просто.

Эти простые ответы немного раздражают. Но именно немного. Мне ее жалко. Да, жалко! О любви к ней нечего и думать. Какая любовь? Откуда? И у нее и у меня,

И о любви ли ей думать. Да и знает ли она, что означает слово «любовь»?.. Нельзя упрощать жизнь, но нельзя и не поражаться огромной непостижимой женственности Ханыке. Причем она великолепно понимает цену своей женственности. И эта женственность, смешанная с чистотой и честностью, вселяет в нее веру, что я поведу ее детей в аул Ак-Таш да еще буду их учить по дороге!

Совсем светло. Город просыпается. В конце Приютской улицы какая-то мещанка развешивает для просушки нитяные чулки на веревочке, ее муж переворачивает сани полозьями вверх. Весна! В другом окне с оконных рам сдирают наклеенную зимой газетную бумагу. Окно раскрыто, обрезки бумаги летят по тротуару. Я наступаю ногой на туловище турка, изображенного карандашом карикатуриста. Мимо, неся в руках лямки, быстро идут к пристани грузчики. Доносится хриповатый голос:

— А в брюхе-то как пуд...

На сердце, а не в брюхе. Что я наделал, что наделал! Куда я бегу?

НАКАНУНЕ ОТКРЫТИЯ БЕСПЛАТНОЙ БИБЛИОТЕКИ

По городу кто-то разбросал листовку «К Семипалатинскому обществу». Общество призывалось к протестам и даже демонстрациям.

«Десять миллионов крестьян голодали в прошлом году,— писала листовка. — Царское правительство не в состоянии накормить голодных хлебом. Оно кормит их пулями и виселицами. Расстрел на Лене. Суд в Ташкенте над восставшими солдатами-саперами. А теперь готовится суд над балтийскими матросами, подготовившими восстание. Протестуйте, протестуйте! Демонстрируйте! Готовьтесь ко всеобщей политической стачке! Революция не умерла».

В день открытия библиотеки весь город шумел. Не так-то часто разбрасывают по Семипалатинску листовки, да еще такие резкие!

Скурлатов написал от группы членов-учредителей моему отцу приглашение на открытие библиотеки. Мой отец появился. Он хотел увидеть и библиотеку, и открытие, и раздел коневодства библиотеки, благодаря которому открылась и вся библиотека, и, конечно, листовку, о которой он уже слышал, придя из Лебяжьего!

— Листовка с тобой? — спросил он меня. — Нету? А я думал: ты ее печатал!

— Да не кричи ты!

— А что?

— Филеры.

— Тогда пойдем к чему-нибудь извечному.

Один из жертвователей, даря свои книги, принес в библиотеку буддийское «курде», которое он как-то нашел вымытым во время половодья из иртышского яра. Курде — цилиндр аршина полтора длиной, с круглым отверстием. Буддисты вкладывают в отверстие мистические формулы, «дарани», затем отверстие закрывают, цилиндр вертят. По бокам цилиндра — изображение коня.

Жертвователь начистил бронзу цилиндра до соломенно-желтого блеска, отчего изображение коня стало особенно выделяться. Мой отец, рассматривая это изображение, сказал, что с тех древних времен степной конь изменился мало.

— Тем больше оснований думать,— добавил он,— что новая порода появится быстро. Природа всегда помогает человеку. Следует только свою выдумку соразмерять с ее силами.

Открытие библиотеки происходило в воскресенье; через неделю на ипподроме должны были начаться весенние бега. Разглядывая коня на курде, отец предложил Скурлатову и Мейстеру сходить на ипподром, где тренируют рысака Душку, гордость семипалатинцев. Посыпались слова: «направление скакательного сустава», «изящный аллюр», «постановка конечностей». Отцу казалось, что Душка — чуть ли уже не результат появления раздела коневодства в библиотеке, и он, легко и счастливо дыша, оглядывал книжные полки. Полок много, и книги расставлены свободно. Библиотекарь надеется, что скоро на полках будет тесно.

— Почему, сынок?

— Калмыковы пожертвуют.

— Да, теперь-то, конечно, пожертвуют!

— Теперь? А что изменилось?

— Листовка им страшна.

Собралось много гостей, среди них — затянутая, багровая Анастасия Николаевна с дочерьми, сыном и Саумал. Она подошла к моему отцу и, тяжело пыхтя, укоризненно прошептала:

— Что это, батюшка, ни молебна, ни закуски? И еще какие-то листовки! Калмыковых, что ли, поносят?

— Строй вообще,— сказал я.

— Ну, коли строй, то еще жить можно.

Появился и Чесноков, исполнявший в подотделе роль председателя. Это сумрачный, долговязый и лысый человек с сонными глазами. Председатель, похлопывая рукой по курде, издававшем глухой и неприятный звук, сказал речь. На его глазах блестели слезы, блестели они и на глазах тех, кто жертвовал книги, а мой отец просто плакал от радости.

А над нами, в приюте, ветер стучал ставнями, топотали воспитанники, и слышны были слова молитвы, которыми архимандрит Михаил упрекал нас в безбожии. К концу речи председателя появился и сам архимандрит в новой шелковой рясе ослепительно-коньячного цвета, с распущенными кудрями. «Не Сонька ли это Золотая Ручка явилась?» — шепнул мне, смеясь, отец. Я покраснел. Сонька Золотая Ручка — известная в городе проститутка.

Архимандрит постучал по курде и сказал:

— Пуда три бронзы! Надо перелить в колокол, молиться, а то что ж это происходит, господа? Листовки против царя и отечества?

— В курде? — с задором спросил Скурлатов.

— Не в курде, молодой человек, а в городе.

— Вполне понятно.

— И одобрительно? — сказал архимандрит.

Скурлатов не ответил.

Я проговорил:

— Мы предлагаем, отец архимандрит, нашим читателям сюда, в курде, опускать свои предложения и просьбы.

— Что-то вроде тайного голосования?

— А любовные записки можно? — послышался вдруг голос Василисы Глебовны.

Наступило неловкое молчание, все стали рассматривать курде, а мой отец, словно ничего не замечая, спокойно проговорил:

— Нет ничего прелестнее, как получить в библиотеке любовное предложение. Книги ведь воспитывают в людях любовь, и, конечно, здесь ее чрезвычайно приятно наблюдать.

— Людям или книгам? — опять тем же голосом спросила Василиса Глебовна.

— И тем и другим,— любезно ответил мой отец и продолжал, глядя на курде: — Буддисты веруют, что каждое кругообращение курде равняется прочтению вслух всех молитв, которые туда положены. Расчет, между прочим, правильный. Чем нелепей вера, тем она убедительней.

— Очень, очень умно! — воскликнула Василиса Глебовна. — Всеволод, вы таки согласны быть библиотекарем?

— Временно, Василиса Глебовна, на три недели.

— А затем?

— Затем я ухожу в Индию.

— Ему надо много ходить,— послышался голос отца. — Только ходьба делает человека ненасытным к открытию истины, нетленным в мыслях и нежным сердцем. Вообще я заметил даже за свою короткую жизнь, что люди заметно совершенствуются. Если я могу жить безмятежно на одном месте в течение года, то мой сын на том же месте способен жить гораздо меньше. А люди будущего должны быть постоянными путешественниками.

— А как же работа?

— Какая?

— Ну, скажем, земледельческая, не говоря уже о научной. Каждая работа требует усидчивости.

— Да, сейчас. Но что мы можем утверждать о будущем? И все ли люди будут тогда путешественниками?

Мой отец продолжал:

— Но путешествия путешествиями, а мы начали разговор о конях.

Василиса Глебовна, пробившись сквозь толпу гостей, подошла и положила руку мне на плечо. Игра игрой, забава забавой, но голова моя закружилась, и я стоял, как ослепший, и словно сквозь сон слушал слова моего отца:

— Обдумав, утверждаю: новая порода коней скорее всего появится в Семиречье, а не в Семипалатинске!

— Почему в Семиречье? — прозрачно и легко звучит голос Василисы Глебовны, и рука ее слегка шевелится на моем плече.

— Семиречье изобилует сочетанием горных и степных трав.

— Горы есть и в Семипалатинской области.

Тогда мой отец торжественно, словно первый урок в своей школе, начинает:

— То, да не то! Величина! Семиречье — это триста сорок семь тысяч квадратных верст. В него, как в мешок, мы можем положить Румынию, Болгарию, Сербию, а поднажать — втолкнем и Швейцарию. С юга и с запада в него упирается коренной Туркестан. Север посылает на него дыхание Сибири, Восток — Монголии и Китая. Семиречье плодородно, богато минералами, и при всем том население в нем редкое, преимущественно кочевое, а пути сообщения отвратительны. Я исходил все Семиречье и могу утверждать: оторванное от крупных рынков сбыта, оно вынуждено жить натуральным хозяйством, которое к тому же пожирает саранча, истребляет джут, иссушают засухи. Сейчас близки другие времена! «Семиречка» по своим рельсам везет влияние мирового рынка. Еще рельсы не проложены, но...

Тем временем Анастасия Николаевна, отстранив меня, снимает с моего плеча руку Василисы Глебовны.

Плечи мои обескрылены. Я открываю глаза.

Василиса Глебовна, надменно глядя на мать, говорит достаточно громко, чтобы слышала вся библиотека:

— Мама, ты снимаешь руку, а не мое сердце.

Отец мой как ни в чем не бывало продолжает:

— ...уже в Чуйской долине русские титулованные особы взяли у казны в аренду обширные земли, чтобы вести интенсивное сельское хозяйство и скотоводство. Закон мировой экономики, требующий производить только то, что при наибольшей выгоде требует наименьшего капитала, в высшей степени относится к Семипалатинску. В Семиречье будет много товарного хлеба, хлопка, скота. А значит, и коней!

Василиса Глебовна, улыбаясь, проговорила:

— Вячеслав Алексеевич, быть может даже не отдавая себе отчета, высказал огромную истину.

— Василиса, мы уходим, — сказала Анастасия Николаевна, глядя на меня со злобой.

Я опять почувствовал себя ослепшим.

— Вы меня любите, милый? — спросила громко Василиса Глебовна.

— Да, дорогая.

— А почему же не спрашиваете: «Как вы поживаете?»

— Как вы поживаете, Василиса Глебовна?
— Час от часу лучше, потому что любовь к тебе, милый, час от часу больше.
Анастасия Николаевна шипит:
— Василиса, это позорно! Домой.
Я вышел вслед за Калмыковыми и моим отцом. Василиса Глебовна шла к экипажу, вытянув шею и словно прислушиваясь — не идет ли кто позади. Мне, мне бежать к ней! Подбежать и сказать все, что я узнал от Ханыке. А зачем? Что изменится? Да и не сказать мне. Я же обещал молчать. Даже перед родным отцом.
Отец посмотрел на низкие, полные вечерним светом и прохладным дождем плотные тучи, под которые укатил калмыковский экипаж.
— Ты что-то мне хотел сказать, Всеволод?
— Я? Ничего.
— Мне показалось.
— Ты — обратно?
— Да, в Лебяжье. Приходи на денек.
Он дотронулся пальцем до моего плеча и спросил:
— Так ничего?
— Ничего.
— А относительно Василисы Глебовны?
— Ничего.
Отец посмотрел на низкие, полные вечерним светом и прохладным дождем тучи и спросил:
— Ты в какой типографии работаешь?
Я воскликнул с раздражением:
— Ни в какой! Я же написал тебе: мне обещана работа в Сергиополе! В Сергиополе!
— Когда я спрашивал о типографии,— продолжал отец с явным удовольствием,— я подразумевал подпольную. И когда ты сказал, что не работаешь, мне стало обидно. Неужели же они не могли пригласить тебя набрать эту листовку? В ней много опечаток и набор небрежен. Прощай. Иду.
Я пошутил:
— Ты, что же, ожидая новую породу коней, все время будешь ходить пешком?
— Пешком. Где-то я читал, что средняя облачность над Семипалатинском в апреле исчисляется в сорок восемь процентов, следовательно, облаками покрыто около половины неба. Там же сказано, что температура этого месяца колеблется между тридцатью пятью градусами

жары и пятью градусами холода. Сейчас на твоем лице, Всеволод, такое выражение, что кажется, ты испытываешь одновременно и тридцать пять градусов жары, и пять градусов холода, и не сорок восемь процентов облачности, а все сто сорок восемь. Это вполне понятно. Но не унывай, Всеволод! Ты не только выучишь киргизский, ты выучишь китайский шрифт и начнешь сыпать листовками по всему Востоку. Но, кажется, у Скурлатова плохо насчет арабского шрифта. Достал бы ты.

— Я? Как? Не знаю.

— Если человек не знает, он должен знать, учиться, а пока я постараюсь.

— Добыть арабский шрифт?

— Всяко бывает.

— Но ты не типографщик?

— Первые книгопечатники тоже не были типографщиками в нашем понимании. До свиданья, сынок! Грущу я, что ты уходишь в Индию, хотя там нам с тобой встретиться не трудно, а может быть, даже и легче, чем в Семипалатинске.

НЕБО СПЛОШЬ ЗАКРЫЛИ ТУЧИ

Дождь такой, что, не уходи вода сквозь песок, все эти дома смыло бы!

Обливаясь дождем, я с великим усилием нашел наш постоялый двор, выжал в сенях брюки, рубаху, даже ботинки, и в одном белье полез греться на печь, которая почти постоянно топилась, так как жильцов было много и стряпуха еле-еле успевала то готовить щи, то разогревать их.

Возчики, закатав рукава, хлебали густую похлебку из брюшины. Четверти водки стояли возле каравая; пили из деревянных пиалушек. От голода и зависти у меня в животе гнулось что-то упругое.

Митяич, строгий возчик, спросил:

— А ты, ахтер неумытый, чего не садишься?

Указывая на Кузю, который в углу обломком старой косы соскабливал шерсть с овчины, я сказал:

— Кузя тоже не ест.

— Заболел наш Кузя.

— Болен я,— подтвердил бесстрастно Кузя, бросая кусок шерсти под лавку.— Калмыковы вон в Семиречье

нас с зерном для киргизов посылают, а во мне — ни радости, ни горя. Конец! А ты, ахтер, поел бы и Нубиюшку свою накормил. У нас теперь даже овес куплен.

— Дадим,— подтвердил строгий возчик.

Возчики чувствовали к моей лошаденке странную жалость. Иногда думалось: они лишь из жалости к Нубии жалеют и меня.

Митяич спросил:

— Хозяин постоялого сказывал: уходишь?

Даже хозяин постоялого знает, что я ухожу. Ну, уж если и он, то мне менее всего следует отказываться. Судьба.

— Ухожу.

— Куда?

— На новые места.

— Нам могила самое новое место,— откликнулся Кузя.

Строгий возчик Митяич рассердился.

— Будя! Смерть сама придет вовремя.

Возчики продолжали есть молча.

Молчали они долго, а затем Митяич сказал:

— Любовь — она штука серьезная, особенно ежели разлучница-то — тюрьма! А если жена твоя в тюрьме, а ты от обоюдного дела не отступаешь,— велика тебе цена!

— Про кого это вы? — спросил я.

Митяич опять помолчал, а потом, словно нехотя, проговорил:

— Да про Скурлатова. У него жена в тюрьме. В городе Верном, в Семиречье. Туда и идешь?

— Туда.

— Надо, надо. Листки нонче по Семипалатинску обнаружили. Всех,— грит,— хороших людей в тюрьму упрятали. Докедова терпеть-то? Иди, парень, иди.

— Да я не в Верный, а в Индию.

Митяич, ухмыляясь, сказал словами из старой песни:

— Ин-де — ты, ин-де — я,
Индия, Индия,
Голубая Индия!

Небо было в тучах.

Еще до рассвета я навьючил Нубию. Кузя ходил вокруг меня, безмолвно шевеля губами. Когда я попро-

щался с возчиками, Кузя взял Нубию под уздцы и повел к кирпичным столбам ворот.

— Ты видел, как я губами-то шевелю без слов?

— Видел.

— У меня привычка такая,— сказал он с гордостью. — Перед тем как вслух большое сказать, я должен губами водить. И чем больше вожу, заметь, тем складнее получается! А вот те слова, которые бы тебе надо сказать, подобрать не сумел.

— Когда встретимся на тракте, авось подберешь?

— Убываю я сильно. Кажись, ахтер, половодье мое кончилось.

— Кузя, слушай-ка,— колокол!

И мы засмеялись.

За воротами ждали Скурлатов, Мейстер и калмыковский кучер Нура, который держал на плече что-то завернутое в серый холст. Он передал записочку: «На душе пасмурно, и я вдобавок заболела. В Сергиополе цирк сторожит некто Анисим Нилов. Если вам не трудно, передайте ему эту посылочку. Я давно не получала от него вестей. Возможно, он исчез. Тогда передайте посылку кому хотите, хотя бы тем же вашим ребятишкам. Может быть, вам не уходить? Все Индии внутри нас. *Василиса*».

Скурлатов принес мне на дорогу три больших пирога с рыбой, сухари, фунтов пять соленого мяса и вязаную кофту, поношенную, но очень теплую. Кроме того, он дал записочку своим семиреченским друзьям.

— А отец что же не пришел прощаться?

— Да он, поди, уж ждет меня либо у парома, либо на том берегу,— пошутил я нехотя.

Друзья проводили меня до парома.

— Но неужели вы на самом деле в Индию? — вдруг спросил Мейстер, и голос его показался мне тревожным.

— Я вам нужен?

— Нет, но почему именно в Индию?

— Кому-то надо идти.

— Разве что так.

Берег Иртыша был пустынным, паром тоже. Я спросил у паромщика, чего ради мается он, зря гоняя свое громоздкое сооружение. Он ответил, глядя на мелкие волны:

— На сердце у меня, парень, нонче делишко, я и ныряю.

Я не спросил, в чем заключается «делишко» паромщика, но, судя по выражению его лица, оно было пронзительно-тоскливое.

А как будет хорошо, если Ханыке сейчас скажет, что она раздумала и отправляется с нами. Мне ли действительно вести трех ее баловников к южным склонам Ак-Таша?

Мокрый от росы камень «Возле якоря» скрывался в отдалении. Домики сливались в улицы, улицы сливались в город, город вливался в серо-желтое небо, покрытое редкими тучами. Паромщик, перебирая канат, отряхивал с рук воду и, повернув лицо к городу, ждал чего-то. В церкви духовной миссии ударили к ранней утрени. Архимандрит Михаил был горд и старался первым в городе произнести слова молитвы. Паромщик перекрестился.

Скурлатов дал мне записки к своим знакомым по Семиречью, тут нет ничего удивительного. А вот что Ханыке тоже приготовила записки и знакомых у нее вдоль сибирского тракта немало,— это, пожалуй, удивительно.

— Кто писал вам записки?

— Ваш отец,— ответила она, добавив: — Да будет спутником вам в ученье и в работе святой Хизр-Ильяс! — А еще помолчав, добавила: — Святой плохо помогает. Вся надежда на людей.

Дала она также немного пищи, одежонку и даже одеяло для детишек. Пища была такая, что ее вряд ли станет есть моя Нубия, а одежонка и одеяла — тряпье, которое не знаешь куда и девать.

Затем Ханыке внимательно поглядела зубы Нубии и покачала головой, как бы удивляясь моей беззаботности. Я развел руками: «Чем богаты, тем и рады!» Она пожала плечами: «Конечно, куда деваться!» Она перевьючила мою лошадь, говоря: «Вьючить нужно не так, а совсем по-другому. Каждый переход требует особого навьючивания, если хочешь сохранить коня в теле. А тебе особенно нужно заботиться о теле твоего коня». Поверх моих вьюков она привязала шесты и какую-то дерюжину, которая должна заменить нам палатку.

— Хлопот полон рот,— сказал я с деланной небрежностью.

— А тебе еще лишних три рта.

— Кабы не мать, в этой бедности три рта были бы совсем не лишними.

И я еще раз напоследок оглядел ее бедность.

Мазанка совсем на окраине слободы, без ограды, без ворот, с единственным окном, заткнутым пучком соломы. Хозяйка Мознятова вывела из стойла тощую жеребую кобылу, вывела осторожно, как выводят из избы под руки намертво изголодавшегося или угоревшего человека. Кобыла, тяжело дыша, подошла к корыту и стала пить, а напившись, подняла голову и оглядела большими усталыми глазами мою Нубию с полным недоумением. «Экая наглость и чванство! — подумал я.— Она гордится тем, что, умирая с голоду, все равно остается матерью, а Нубия — ни то ни се!»

Мне показалось, что Нубия по-своему тоже постаралась выразить презрение кобыле. Ее взгляд говорил: «Вот вы рожаете, мещане, плодитесь, живете тусклой жизнью, а мы идем в Индию! Смотрите на меня. Вьюки держатся на веревках самого разнообразного диаметра и крепости, с множеством узлов. Вьюки привязаны кое-как, и можно предчувствовать, что хозяину с этими тюками много придется перенести забот. И только ли с тюками?»

Мознятова как будто небрежно спросила:

— На джайлау детей отправляешь?

— Отправляю,— ответила Ханыке.

— С родственником?

— С родственником.

В эти минуты я казался Ханыке очень близким родственником, и Ханыке заревела совсем так, как ревут наши поселковые бабы, когда хоронят детей или отправляют мужа на войну. Она причитала, и видно было, что тяжелое, непереносимое горе овладело ею, сковало ее члены. Ханыке не могла двигаться и, прислонившись к Мознятовой, качалась и плакала.

А домохозяйка внимательно и хитро оглядывает свою квартирантку, и не очень много добра сулит ее взгляд.

Я подумал, поглядел в глаза Мознятовой и, вспыхнув, сказал:

— А если ты только посмеешь ее обидеть, головы своей не найдешь! Поняла, старая?

— По-русски плохо понимаю,— нагло ухмыляясь, ответила старуха.— Грозишь?

— Грожу!

— Сожгешь?
— И сожгу.
— У меня застраховано.
И старуха засмеялась.
А Ханыке все еще стояла, опустив голову.
Когда она решилась поднять голову, мы уже были далеко в степи.
Примечательную картину увидал я, бросив последний взгляд на Татарскую слободу и видневшийся за ней Семипалатинск. Канава, мутный поток, волочащий всевозможный мусор, и над канавой раскорякой качается какой-то молодой мещанин, извергая в канаву вчерашнее угощение. «Доброе утро, прославленный обитатель Российской империи!»—«А, иди ты к черту!»

«ЧТО Ж, И ПОЙДУ!»

На возглас молодого мещанина, пославшего меня к черту, я лихо ответил: «Что ж, и пойду!»
Но на душе у меня было скверно. Зачем я обругал Мознятову? Теперь Ханыке будет еще хуже. И куда я так бешено торопился? Записки, скажем, от Геммадинова не взял. Кому я нужен без записки? Боялся я чего-то, что ли? Нового суда над Василисой Глебовной?
Утешили меня ребятишки.
Младшие — мальчик Нарикбай и девочка Гулькамыс, сидевшие позади тюков на крупе Нубии, поревели, подражая матери, да и смолкли. Старший мальчик Бадам шел рядом со мной, нога в ногу, не оглядываясь. Шагать по вязкой грязи трудно, но мальчик мужественно шагал.
Глядя на мальчика, я развеселился. Мысли о злых семипалатинцах, терзавшие меня дотоле, смешались. Я увидел степь во всем ее величии. Остановился и, положив руку на плечо старшего мальчика, сказал:
— Бадам, знаешь, куда мы идем?
— Мы идем к нашему аулу на южных склонах.
— Мы идем не к черту, а в прекрасную, сказочную Индию. Вдумайся: Индия! Ин-ди-я.
— Это ближе или дальше нашего аула?
— Это — всюду,— ответил я и, вспомнив полученное мной последнее письмо от неизвестной, достал записную

книжку и, вырвав страницу, написал на ней: «Вот дорога свернула, открылся путь, мы идем в Индию», и прикрепил записку к ветке самого высокого куста у тракта. Желающий видеть, пусть видит. Желающий догнать, пусть догоняет.

Маленькая Гулькамыс повернулась ко мне, спросила:

— Дядя, есть покушать? Только не давай маминого, дай своего.

И я подал ей пирог с рыбой, который принес мне Скурлатов. Девочка разделила вкусный пирог на четырех и, поблескивая глазенками, спросила:

— А почему, дядя, ты плохо говоришь по-казахски? Мама говорит: «Он хороший, лучше всех». А если ты лучше всех, зачем говоришь хуже всех?

Отчаяние опять овладело мной. Детей нужно не только довести до южных склонов, но и учить их по дороге, чтобы они хоть капельку понимали меня. Какая тяжелая жизнь! Люди спят в теплых и мягких постелях, а я иду прах его знает куда, по грязному тракту, среди огромных луж, толкаемый в спину северным ветром, который рвет, кажется, не только одежду, но и душу... Идти, идти и в пути доставать пищу и питье, чинить одежду, опасаться, что дети заболеют!

Перед уходом Ханыке сказала тихо, что она хранит на черный день пять рублей и сейчас предлагает их мне. Я ответил, что с деньгами все благополучно, мы дойдем хорошо, дай бог только здоровья!

Здоровья много, но вот всего другого маловато.

И, в частности, соображенья.

Пятый день мы шли прямо на юг по диким и унылым просторам.

Травы лишь поднимались, кустарники встречались на берегах речушек, а лесов совсем не было.

— Хорошо! — восклицал Бадам. — Гладко.

— Гладко-то, гладко.

— И лошадь наша скоро поправится.

Я оглядываю Нубию.

— А вот это мало похоже на правду.

— И мама нас скоро догонит.

— Ну-у, не так уж скоро.

Тракт на Туркестан неимоверно широк. Как только в почве образуются глубокие колеи, дорогу переносят.

Брошенные колеи зарастают медленно, и кажется, что перед вами множество улиц без домов.

Этот тракт мало похож на обычные дороги, но пикеты еще меньше похожи на деревни. Сперва встречаешь табуны коней без пастухов. Иногда к табуну подъезжает верховой с длинным шестом — «укрючиной», на конце которого аркан из конского волоса. Он накидывает аркан на шею коня, конь останавливается как вкопанный, и всадник набрасывает узду: в пикет понадобились кони для ямщиков.

Затем среди песков возникает десять — пятнадцать саманных домиков, вокруг которых нет ни деревьев, ни стогов сена, ни скирд хлеба, а только убогие сараи, служащие зимой стойлами для скота. Колодцы или невероятно мелки, когда вода подходит совсем к поверхности земли, или же невероятно глубоки, и ведро на такой длинной веревке, что веревка и ведро хранятся у десятника. Вода прозрачная, неподвижная, солоноватая. Кто идет мимо пикета, куда идет, никому не интересно! Спросишь, бывало:

— А сколько верст до следующего?

Казак-ямщик сдвинет фуражку с затылка на коричневый загорелый лоб или со лба на затылок, смотря по тому, в каком положении она до этого находилась, посмотрит ленивыми серыми, выцветшими глазами и ответит:

— Мы верст не меряем, мы ездим.

— Так-таки никто и не знает?

— У смотрителя, шпана, спрашивай. Ха-ха!

А смотритель, важный старый пьяница, обругает матерно, но без злобы, легко сдувая с губ ругань, как приставшие пушинки.

Пробовал искать у них ночевку. Весь пикет кричит:

— Переселенцы? Землю ищешь, паскуда!

— Какие мы переселенцы, оглядись!

— Видывали! Уходи, пока не подстрелен.

Мы и уходили.

Ночи холодные, костер плохо греет, залез бы в стог, но стога все скормлены. А главное — жалко ребятишек: того гляди застудишь. Ребятишки, видя мою грусть, скакали вокруг меня, пели, и только, бывало, выберешь ночлег, они, забыв усталость, бросаются собирать хворост.

Костер я старался разводить в овраге, чтоб была защита от ветра. Ребятишки засыпали быстро. Волнами приближалась тьма. Хорошо, если появятся звезды или взойдет луна: даже при слабом свете жутко слушать далекий вой волков, который кажется совсем приблизившимся, как только ты попробуешь закрыть глаза. Да, тяжело глотать слезы при весеннем рассвете в степи!

Так шли мы, шли и подошли наконец к станице Ревуха.

И тут я вспомнил: «Да ведь здесь живет Раиса Грызина, невеста вертельщика Щепетникова! Сколько раз, бывало, он говорил мне о ней, стараясь поласковее высказать свою любовь. Вообще-то Щепетников грубоват и резок, но для Раисы он находит такие нежные слова, что вчуже голова шумит и ноет сердце».

Станица начинается целой улицей хлебных амбаров с расписными широкими дверьми. Все зерно далеко вокруг Семипалатинска скуплено Калмыковым. Здесь зерна больше, чем где-либо. Значит, больше, чем где-либо, ждать мне горестей, если вообще ждать их от Глеба Ивановича.

Предчувствие не обмануло.

У одного из амбаров двери раскрыты. Несколько казаков сидели, свесив ноги, на высоком крыльце. Два казака сыпали зерно в мешок; должно быть, собираются или сеять, или продавать.

— Раиса Грызина не скажете, где живет?

— А зачем тебе?

— Да поклон от жениха.

Никакого поклона я не нес Раисе Грызиной, просто мне хотелось узнать: известно ли в станице, что я прохожу, что у меня есть друг Щепетников.

Седой казак, весь в амбарной пыли, поднял голову и, размахивая бечевкой, которой он хотел завязать мешок, спросил:

— Из Семипалатны?

— Оттуда.

Казак помоложе подтолкнул седого.

— Гляди-ка, паря! И взаправду, кажись, оборотень!

Седой с испугом взглянул на мою Нубию и сделал нам грозный жест: «Проходите мимо!» Мы и прошли.

«Началось!» — подумал я.

Старенькая колокольня благовестила. На паперть, шумя ситцевым платьем с бесконечными оборками, поднималась рослая красивая девица. Поодаль несколько казаков упорно глядели на ее косы. «Непременно она!»

— Раиса Грызина? — спросил я.

— Хорошо яблочко, Раечка? — начал было молодой казак, шедший позади девушки, но и этот уставился на Нубию.

— Гляди!

Девушка повернулась к нам.

— Они!..

— Ой, девоньки, они!

Я обратился к молодому казаку с веснушчатым носом.

— Или спятили, что тощие кони в диковинку?

— Оба вы в диковинку! — ответил мне веснушчатый казак, крестясь и уходя вслед за другими в церковь. Однако он вернулся и крикнул: — А ты со мной и не думай пробовать этого!

— Чего — этого?

— Не знаешь? Хо-хо!

— Ну и Ревуха! Ревут ни к селу ни к городу.

А за мной слышались удивленные голоса:

— И правда, они!

Мы пересекли станичную площадь. Ребятишки жались ко мне.

Площадь заканчивалась кабаком, школой, пустующими ярмарочными балаганами. Надеясь на случайную беседу, которой жаждал не менее, чем милосердия, я медленно шел мимо школы.

Значит, и жданно и нежданно, — меня окликнули:

— Господин Иванов! Вы?

Я подбежал к широкому крыльцу, на котором стоял молодой учитель, рябой и смуглый. Как поется в песне, он имел — голову молодецкую, плечи богатырские, сердце жаркое, очи бойкие, — но, как часто встречается в жизни, общий вид — достаточно глуповатый. Рядом, из открытого окна, нас оглядывала жена его, тоже богатырского сложения, с лицом, промытым по-воскресному.

— Не вы ли сын лебяжьинского учителя и студента Лазаревского института Иванова?

— Да.

Учитель оглядел меня с восхищением и каким-то ужасом.

— Папаша ваш велел кланяться!

— Благодарю. Но, кажется, я мог бы принести более ранний поклон, потому что я видел его этой весной. Вы же видели его, господин учитель, не раньше прошлой осени?

Учитель, зубоскал и хохотун, залился смехом. Залилась смехом и жена его. Залились смехом и мои ребятишки, эти уж просто от удовольствия, что видят таких громадных и веселых людей.

— А вот и ошиблись! Ха-ха-ха! Я, Пехтерев, видел вашего отца позавчера! Ха-а-а!..

Пехтеревы — муж метался по крыльцу, держась от смеха за живот, жена металась в окне, потрясая своим смехом чуть ли не все здание школы.

Я остолбенело молчал.

— Ваш отец проследовал дальше. Ха-ха! По его совету, мы приготовили вам помещение — один из ярмарочных балаганов: скамейки, а в углу — сцену. Надеюсь, останетесь довольны? Ха-ха! Но ведь вам до представления нельзя показываться?

— Мне? До представления?

— Так велел ваш отец, — сказал учитель Пехтерев.

— Разумеется, все сказанное моим отцом — правда, — прошептал я, смущенно идя за учителем.

Могучий, хотя несколько и мяукающий, хохот его жены сопровождал нас, вызывая напряжение, недоумение, почти что слабость.

Тем временем станица, разделенная речкой, в эти дни довольно полноводной, отмолилась, пообедала и заснула в сладостной густой тени. Казачьи дома окружены высокими и толстыми тополями. Дома крупнее, чем у наших иртышских казаков, с большими пригонами и надворными постройками.

К ярмарочным балаганам путь лежит мимо строящейся церкви. Кладут ее из кирпича, дом причта уже сложен и подведен под железную крышу. Ну, эта церковь получит не триста десятин надела, а все шестьсот!

— Богато живут здесь?

— Ничего, — говорит учитель с хохотом, восхищенно хлопая меня пудовой ладонью по плечу.

Я спрашиваю:

— И много калмыковского зерна здесь?

— Много, ха-ха! Только перепродано.

— Кому же?

— А киргизам.
— Каким киргизам?
— А которые побогаче — баям. А баи под залог передадут бедноте, под проценты, значит. Калмыков говорит: «Надо помогать тем, которые пострадали от джута». И процент посоветовал: сто на сто!
— Хороша помощь!
— Слава богу, что двести на сто не положил.
— Действительно.
— Ваше представление, господин Иванов, как сказывал ваш отец, платное. Соберете рублей двадцать, не меньше.
И он завистливо вздыхает, чудак!
— Почему, объясните, мне нельзя показываться?
— Казаки хорошую коммерцию сделали и хотят похохотать вволю. Зачем им хохотать раньше времени? С Василисой Глебовной знакомы?
— Знаком.
— И, может быть, на короткой ноге? Хотел я у вашего отца узнать — молчит. Жизнь, знаете, имеет много причин, но до всех не докопаешься, ха-хи-хо!
И, еще раз оглядев меня, учитель опять залился своим богатырским смехом, который пронимал его до самых костей. Спасибо отцу, но почему так громко хохочет этот дурак? И почему будет хохотать вся станица, когда я вовсе не клоун?
— Кто же снял для меня помещение?
— Я, — ответил со смехом учитель. — Оно, конечно, неловко делать это впервые. Я отказался б, да вдруг въезжает человек в богатом с золотыми погонами мундире, показывает свои бумаги и требует сыну для представления ярмарочный балаган! В Ревухе никогда не бывало, кроме генерал-губернатора, людей с золотыми погонами!
— Погоны и соберут зрителей? — спросил я уныло.
— Казаки всегда верны престолу и отечеству.
А вот и ярмарочные ряды.
Самый большой балаган переоборудован под зрительный зал. В углу — помост, много десятилинейных керосиновых ламп, рядом с помостом пробита дверь на улицу и сделано что-то вроде артистической уборной. На маленьком столике каморки — керосиновая лампа и еда: вареная баранина.

Я накормил ребят, уложил их на сено, приготовленное учителем. Ребята немедленно заснули.

Мне не хотелось ни есть, ни спать. Я ходил по залу мимо скамеек, дрожа и засовывая руки то в карманы брюк, то в рукава. Я чувствовал тяжесть и какой-то веселый испуг на сердце и во всем теле. За кого, однако, принимают меня эти простодушные люди? Представление совершенно неожиданное! Как составить программу? В одном отделении, конечно, должны быть «опыты факира», а в другом? Чтение стихов? И какое отделение первым?

Представление решил начать после солнечного захода. От волнения почувствовав усталость, прилег возле ребятишек и задремал.

Не то сон, не то явь.

Слышу голоса по ту сторону двери, возле балагана у кормушки, куда привязана Нубия.

Голоса два: старческий и молодой, принадлежащий женщине.

— И конь-то у него оборотень! Взгляни-ка, дедушка, коню в глаза. Прямо растапливает глазом! Пропадай мой двугривенный, а не пойду я, дедушка, смотреть представление!

— Зачем ходить? Грех, — сказал старик. — Мы жили от греха подальше и, слава богу, живем хорошо.

И старческий голос продолжал:

— Мы живем хорошо. Ты погляди хоть на тех безземельных, которые из главной Расси. Там-то — голодище, холодище, на каждом шагу люди дохнут. Злы, беспокойны. А возле нас — спервоначалу-то безземельные каждый день перлись в наше село, а теперь, гляди-ка, поколотили их — в воскресенье не приходят, а идут утром в понедельник, как им велено. Научили...

— Да в понедельник-то,— прервала старика молодая женщина,— казаку с похмелья все противно, и неизвестно, подаст ли он милостыню, или раздробит морду.

— Сытого ведет бог!

И этим людям я собираюсь читать стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова! Фокусы и те противно показывать! Разозлившись, я накрыл голову своей курткой и опять уснул.

Меня разбудил учитель Пехтерев. Каморку освещала лампа, в балагане слышался топот, говор, покашливанье.

И странно дрожало от скрытого смеха рябое лицо учителя. Он сказал:

— Билетов не хватило, я пускал без билетов, просто брал двугривенный. Сбор считать сейчас будете или после представления?

— После. А сейчас буду им читать стихи. Назло.

— Раиску не подождете?

— Раису Грызину? Зачем ее ждать?

— Позабавить. У нее праздник. Три жениха сразу появились! Сватаются! Она думает. И, по казачьему обычаю, им «урок» выбирает.

«Урок» — нечто вроде загадки для женихов. Кто скорее разгадает, тому и рука невесты. Впрочем, уроки эти теперь загадываются лишь для вида.

— Раиса, думаете, сюда придет?

— Обязательно.

— Мне на нее взглянуть хочется. И в Семипалатинске у нее еще жених есть, Щепетников, слышали? Надо мне ее подождать.

Ждал не меньше часа.

Учитель Пехтерев рассказывал о постройке церкви, о том, что безземельные вышли «грабить на тракт» и «всюду тревожно», да и земельный переселенец чувствует себя плохо. Зерна для посевов мало, а если в какой станице оно имеется, то скуплено Калмыковым и продается втридорога.

— И покупают?

— Куда деваться? Через неделю-две земля высохнет, сеять будет поздно.

— Ну, я начну. Докуда ж мне ждать?

— Да, казаки похохотать хотят.

— Не понимаю только — что во мне смешного?

— Счас поймете.

Только я начал: «Вот парадный подъезд»,— на лицах зрителей появилось крайнее недоумение. Горбоносый седой атаман станицы, сидевший в первом ряду, смотрел с крайним любопытством, усиленно думая: засмеяться ему или нет? После двух-трех фраз, прочитанных мною, он решил, что терпеть невозможно, и, широко раскрыв рот, громко захохотал. Какой-то казак из почтенных, подслеповатый, в просторном мундире с крестами и медалями, глядя в рот своему атаману, тоже захохотал; их жены неистово смеялись, трепеща жирными толстыми локтями.

Хохотали.

И чем выше, чем трагичнее звучал мой голос, тем громче раздавался смех!

Да что ж это такое?!

Я, жадно вдыхая напоенный прелью и горечью воздух, продолжал чтение. Что их смешит? Мой костюм? В нем нет ничего смешного. Они немало видывали людей в сюртуках, манжетах и галстуках. Моложавость? Ну, при желтом свете ламп я вряд ли выглядел очень моложавым, к тому же волнение не молодило, а старило меня.

Кто-то, задыхаясь от смеха, проохал:

— Слышу, девоньки, слышу-у!..

— На разные голоса говорит, хо-хо-хо!

— Отводит!

— Всем глаза отвел!

— Девоньки, со смеху помираю!

Толкая друг друга плечами, откидываясь, наклоняясь вперед, хохотали то простуженными, то ясными молодыми голосами.

Но все-таки над чем они хохочут?

— Господа, внимание! — воскликнул было я, но продолжать не мог: заглушил хохот. — Я отказываюсь!

И, провожаемый новым взрывом исступленнейшего хохота, я рванулся вниз со сцены и, вскочив в уборную, упал на сено.

— Молодчага! — вскричал учитель, вбегая в клетушку. — Никогда не думывал, что бывает столько смеха. Они года три хохотать будут!

— И над вторым моим отделением будут смеяться?

— Над каким вторым? Еще и второе? Они и на первом-то чуть со смеху не умерли. Куда им второе вытерпеть!

Я приоткрыл дверь.

Зал был пуст!

По ярмарочной площади раскатывались и замирали волны смеха.

Тогда я сдвинул брови, слегка подкрашенные для выступления, строго спросил:

— Чему же все-таки они смеялись?

— Как же не смеяться! Я вот и сейчас не могу смотреть на вас без смеха, а моя жена ушла отсюда больная. Здорово ж отводите глаза!

— Глаза отвожу?!

— Ваш отец, студент Лазаревского института, говорит: «Он, к примеру, вроде бы глухонемой, и вам бы объясняться с ним, глухонемым, жестами. Но он так отведет вам глаза, что вы будете его слышать! И он вас услышит!» Ха-ха! Станица и взволновалась. Сколько нанесли!

И он с увлечением и гордостью высыпал на стол груду двугривенных и полтинников. Хотя входная плата была очень дешевая, мы собрали свыше пятнадцати рублей. Когда я спросил, сколько заплатить за настил скамеек и сцены, учитель сказал, что станичный атаман сделал это бесплатно, из уважения к золотым погонам студента Лазаревского института.

Я улыбнулся над их наивностью. Но вскоре оказалось, что и учитель, и атаман, и казаки не так уж наивны и глупы, как думалось мне.

Когда я стал собираться, учитель вдруг сказал:

— Уходите, ни с кем, кроме меня, не поговорив?

— О чем же мне разговаривать?

— А насчет злодейств.

— Каких злодейств?

— Да с зерном для казахов и переселенцев. В газету корреспонденцию не напишете?

Тут меня и осенило. Вот оно что! Казаки подчинились Калмыкову-воротиле. Но, подчинившись, они возненавидели его и не прочь, чтоб о злодействах калмыковских было напечатано в газетах. Жаль тогда, что я не поговорил с Раисой Грызиной и молодыми казаками. Немало бы они дали материала для скурлатовского «Степного слова».

— А от кого вы узнали? Насчет того, что и корреспонденцию могу? Калмыковские подхалимы болтали?

— И калмыковские,— уклончиво ответил учитель.

Я разбудил ребят, навьючил мешки на Нубию, и мы покинули станицу.

Возле хлебных амбаров горели фонари и дремали сторожа. Я попробовал спросить дорогу, но сторожа, слышав, что я удачно «отвел глаза» даже самому станичному атаману, ответили хохотом.

Знаю теперь цену вашему хохоту! Не я вам, а вы мне отводите глаза!

Ночь была темная. Мы шли под звездами.

Верстах в семи от станции, на дне глубокого оврага, мы увидели костер и свернули к нему.

Над костром клокотал чайник, а на куске кошмы сидел мой отец!

— Тебе пожиже чаю заварить или покрепче? — спросил он.

— Покрепче, — ответил я.

— Душновато. Быть дождю!

— Похоже.

— После дождя в этих местах сеять отлично.

— Пахать тяжеловато.

— Вспашут.

— Зерна нет.

— Достанут. Опять же и дождь поможет.

— Дождь? Каким это образом?

— Увидишь. А не увидишь, так услышишь.

КОГДА МЫ ВЫПИЛИ ЧАЙНИК

Уложили ребят, они заснули, я спросил:

— Просто не верится! Откуда ты? Для летних каникул — рано.

— Я оставил младшие классы на второго учителя, а старшие — на пашне. Из-за джута работники казахи рассчитались и ушли от хозяев казаков в родные аулы. И получился мне вроде бы отпуск. А не пойти ли, думаю, по святым местам? Кстати, и Всеволод в Семиречье.

— Какие здесь святые места?

— А Пишпек? Несторианское кладбище? А вдруг могилу апостола Фомы найдут? Да и трудно тебе одному идти с тремя киргизскими ребятишками.

— Преподаватель я, верно, плохой.

— Дай, думаю, два-три урока им отпущу, — ну и дисциплине научу. Ты ребятишек на кого будешь готовить?

— Скажем, партерных акробатов для цирка, раз иду поступать в цирк.

— Можно. Хотя цирк я не одобряю. Теперь вот что...

И он вернулся к своим соображениям о деятельности Калмыкова.

— Ты тут, сынок, поосторожней. То есть насчет разговоров про калмыковские дела. Глеб Иваныч Калмыков всем тут верховодит.

— Верховодит, сказывают, Василиса Глебовна.

— Верь! Я тебе говорю — он главная голова. Я ведь учительствовал в станице Семиярской, когда Глеб Иванович, еще не будучи миллионером, навещал своего отца, обыкновенного станичного торговца. Приехал Глеб Иванович годков десять тому назад, ранней весной, и говорит: «Вячеслав Алексеевич! Сплаваем на рыбалку. Хочу на чистом воздухе свежей стерлядки покушать». И тут-то начался наш совместный размах!

— Раньше ты не рассказывал о «совместном размахе» с миллионером Калмыковым.

— К слову, значит, не доводилось. Рано утром, когда пора подошла осматривать переметы, он меня будит. А я никак не проснусь — он захватил бутылку водки, и я ее почти один на ночь-то и выпей! Будил он меня, будил, а потом махнул рукой — и в лодку! Первый перемет от берега близко, саженях в сорока, место неглубокое. Сквозь сон слышу — поскрипывают уключины, хлопают спокойненько весла. И вдруг кто-то завопил не своим, родильным голосом. Знаю, это смерть рождается! Выбежал, как был, в исподнем, а Глеб Иванович уже пузыри пускает. Вода ровная, тихая, как в колодце, и, как в колодце, темная. Он наклонялся, значит, вытаскивая переметы, с непривычки, что ли, почувствовал головокружение и — бултых! Не вода — лед, весна, разлив, что делать? Кинулся в Иртыш и вытащил я Глеба Иваныча. Заслуги тут нет: в Иртыше часто тонут, мы спасать привыкшие. Но он расчувствовался, обещал возблагодарить, и не так чтоб в розницу, а оптом. Очень хорошо. Жду. Потом начинаю думать: «Откуда ему мой характер знать, что я хочу в благодарность?» Решил подсказать. Когда поселился он в Семипалатинске и его младшая дочь Графушка пошла в школу, созвал он много гостей. Он ее очень любит. Я пришел, говорю: «Ем я, Глеб Иваныч, немного, пьяницей никогда не был, но люблю попировать среди почетных». Дескать, пригласи.

— Догадается он, как же!

— Не скажи, голова! Ждет лучшего случая! Так и сказал: «Я жду, Вячеслав Алексеевич, и ты жди». Я и жду. Слышу, Василису Глебовну выдает замуж. Я — к нему.

— Постой, постой, отец! Свадьба Василисы Глебовны была в Пишпеке?

— Там.

— А от Семипалатинска до Пишпека?

— Много сотен верст, верно! Но ведь я мечтал снять с божницы образ, передать его Глебу Иванычу: благословляйте!

— Как же ты попал в Пишпек?

— А пешком, — ответил мой отец с полным спокойствием.

Отец часто поражал меня своими неожиданными выходками. Этим ответом он поразил меня, кажется, больше, чем когда-либо. Пройти пешком тысячи верст только для того, чтоб, сняв с божницы образ, передать его Калмыкову!

Он налил мне чаю в пиалушку, налил себе, откусил крошечный кусочек сахару своими чистыми, белыми и крепкими зубами и блаженно вздохнул. Слава богу, наладилась хорошая погода, пьем хороший чай, ведем хороший разговор!

— Ну, а Глеб Иваныч?

— На обряд и не пустил. «Ступай,— говорит,— на кухню, покушай со служащими». А как я могу кушать на кухне, раз я студент Лазаревского института? Я и вернулся в Лебяжье. Значит, он ждет более высокого случая. И я жду. Теперь — закладка собора. Строят его в византийском стиле, шире Софии киевской и храма Спасителя. Очень хорошо! У казаков грехов много: выстрой собор в десять раз больше — не замолить. Собор добился строить Василий Ефимович, твой дядя. Он мог бы меня пустить на закладку, но мне не это нужно! Мне нужно, чтоб пригласил председатель комиссии по собору, Глеб Иванович Калмыков! Чтоб он дал лопатку, кирпич и сказал: «Тебе, Вячеслав Алексеевич, класть второй кирпич: ты обучил в богобоязненном духе много казаков».

— Ну, а он?

— И на этот обряд не пустил. Опять сказал: жди.

— А как у них сейчас в семье?

— Плохо. Василиса Глебовна бросилась в Иртыш.

— Василиса Глебовна? Когда это случилось?!

— А сразу после твоего ухода.

Я почувствовал острую боль в сердце.

Глядя на костер, я вспоминал Василису Глебовну перед ее отъездом на зимовки, ее уверенную стройную фигуру, ее слова; постоялый двор, опрокинутую телегу и сломанное колесо возле ворот; хозяина двора, который чинил шлею, сидя на бревне возле пригона; необык-

новенно опрятных голубей, рывшихся в навозе; запах подопрелого овса из амбара. Горечь! Неужели же мы живем для того, чтобы наши близкие бросались в реку?

— Несчастная!

— А чем ты огорчен? Ведь не утопла! У нас привыкли утопленников спасать. С пароходного трапа оступилась. Ну,— утро, лодка, люди... Наглоталась. Холодная вода, сказывают, простудила легкие. Она — и в постель. Мне позволили из-за дверей взглянуть на нее. Какой, однако, дом богатейший! Бархатные портьеры! У нас казачка бархатную ленту вплетет в косу, вся станица завидует, а он от потолка до полу двери бархатом завесил! Я щупал их, щупал, досыта нащупаться не мог.

Ударили в костер крупные капли дождя, и горящие сучья кустарника зашипели. Дым над костром темнел, помогая дождю заслонить звезды. Вокруг стало тихо, только вдали, на тракте, слышались какие-то приглушенные голоса, скрип телег, топот.

— Что это, отец?

— Спи, спи. Завтра узнаешь.

Вскоре непонятный шум на тракте умолк. Мы натянули над спящими ребятишками дерюгу, а затем сами залезли под нее.

Я закрыл глаза, отец продолжал говорить, и его говор под шум дождя был еще более приятным и мягким.

Ночь теплела и теплела. Хотелось спать, но мешала жадная потребность слушать о Василисе Глебовне.

— Очень она изменилась?

— Нисколько. Такая же красивая, и на лице никакой тоски. Вообще думать, что ей опротивела жизнь, не стоит. У кого почвы тучные, мужики тощие, тех тощие мысли не посещают. Просто объелась. А когда человек объестся — на него тоска! Иначе с чего же ей падать в Иртыш?

Отец явно чего-то не договаривает. Расспрашивать его бесполезно, однако и терпеть трудно. И я даю волю своему негодованию:

— Двести верст идти, чтоб болтать какую-то чепуху!

— Это ты ходить не привык, а мне двести верст нипочем. Я ногами, поди, десятки тысяч верст сделал. Кроме того, несу полученное Скурлатовым на твое имя письмо.

— Ну, давай!

— Эх ты, господи, в Семипалатинске оставил!

Какое, оставил! По блеску его глаз видно, что письмо не взято нарочно: легче создать в воображении прихотливые картины. А может быть, и вообще никакого письма мне нет! Он сидит, глядит во тьму степи и, потирая подбородком ладонь, улыбается. А вот и не буду выспрашивать!

Но разве удержишься? И я спрашиваю:

— Прочитал? Нехорошо читать чужие письма!

— Чужие? Ты мне сын.

— Все равно нельзя!

— Задолбил! Нельзя, так нельзя. Я, кстати, и запамятовал его.

— Нет, раз уж прочел, вспомни!

Отец говорит со вздохом:

— Всяк по-своему до истины доходит: ученый — машиной, писатель — книгой, а мы — горбом. Поэтому хочется рассказать один случай...

— Нет, ты сперва вспомни письмо!

— Вспомнить? — и, опять вздохнув, говорит: — Мы, как черти, думаем, раздумываем, из раздумья не выходим, а выдумать счастья не можем.

— Письмо! — требую я.

— Попробую.

Он встает, выпрямляется и при последних отблесках костра, который гаснет под усиливающимся дождем, громко читает только что им сочиненное письмо. Оно огромное, страниц на пятьдесят. Неведомый отправитель одобряет мой уход и одновременно рассказывает, чем сейчас живет Семипалатинск. В письме говорится и о постройке собора, и о первых рейсах пароходов, и о катанье на лодках, и об охоте, и о всех Калмыковых, и о Скурлатове, и об архимандрите Михаиле... Семипалатинские обыватели бойко спорят, смеются, обманывают,— все это весело, забавно и безобидно.

Забыв недавнее огорченье, я смеюсь, а отец читает все громче и громче.

А затем мы засыпаем, но спим не долго, часа три.

Дымка дождя на востоке розовеет. Опять со стороны тракта слышен скрип телег, далекие голоса.

Легкий ветерок качает мелкие, посвежевшие от дождя листья кустарников. Ребятишки проснулись, отец быстро говорит с ними по-казахски. Они отвечают почтительно. Я раздуваю костер, кипячу чайник. Отец бережно

укладывает в котомку мундир студента Лазаревского института.

— Отдохни, полежи,— ласково говорит он мне.— Ноги у тебя натруженные.

— Ты в Семипалатинск обратно?

— Нет, иду вперед. Скоро увидимся! В Сергиополе. В цирке, наверное.

Он продолжает со скучающим видом:

— Цирк? Не люблю я цирка. Вот ты говоришь — ловкость! А какая это ловкость — плясать, скажем, на туго натянутой проволоке? Привычка, упражнения! Цирк придумали римляне. Это был народ чиновников, а чиновники — самые тоскующие люди и ради уничтожения тоски готовы согласиться на любые зверства. Вот они и дошли до того, что у них на сцене гладиаторы мечами резались или голыми руками дрались с хищными зверями. Пакость! Греки куда лучше! У них не гладиаторы состязались, а мудрецы, софисты.

— И у греков был цирк. Олимпиады забыл?

— Олимпиады я считаю провинциальным занятием и не придаю им никакого значения. Забавная штука, скажу тебе, провинциал! Прихожу как-то в Иерусалим. В русском подворье знакомлюсь с монахом — отцом Павлом. Был он сакелларием, заведовал ризницей. Хороший человек! Он и свел меня с чиновником консульства по фамилии Плоцкин. Иду однажды через Гефсиманский сад. Доносятся какие-то звуки, Иерусалиму вроде бы не свойственные. Боюсь, чудится. Тут вокруг Гефсиманский сад, где куда более почтенному лицу, чем я, причудилась чаша. А если мне тоже начала чудиться чаша сия? Дрожу. И вдруг: «Вячеслав Алексеевич, вы?» Оборачиваюсь — под кипарисом лежит Плоцкин и, сукин сын, на гитаре играет. Польку! Вот они, родные звуки-то.

— Сатана тебя смущал, ха-ха!

— Не смейся, слушай. Вспомнил я тут ташкентскую учительскую семинарию, преподавателя богословия с чудной фамилией — Обежать,— здорово на гитаре игравшего, и — ударился в тоску! Остановился против Плоцкина, задумался, возрыдал, думаю: «Что же делать? Человек я религиозный, следовало б за поругание Гефсиманского сада дать Плоцкину в рожу. А мне не только не хочется в рожу, а — сам не знаю почему — жалко его!» Плюнул незаметно в платок, чтоб святые

места не гадить, и ушел. И доныне нахожусь в недоумении: безразличен ли мой поступок провидению, или получу еще за него чашу страданий?

— Чашу радости, отец!

— Мне — чашу радости? Я ее и не подниму: старик. А если, бог даст, получу, передам ее тебе немедля.

ПОЯВЛЯЕТСЯ ЩЕПЕТНИКОВ, ВЕРТЕЛЬЩИК

Отец ходил не только быстрее меня, но и быстрее Нубии. Мне ли с ним состязаться? Поэтому, сказав, что чувствую себя не выспавшимся, я накормил ребятишек, велел им набрать хворосту для варки обеда и, не дожидаясь, когда отец уйдет, заснул.

День был теплый, тихий, и сны были тоже хорошие. Разбудило чье-то тяжелое бормотание.

По-казахски скрестив ноги, сидел возле потухшего костра огромный вертельщик Щепетников. Вспыхнула радость. Новости из Семипалатинска! Но радость быстро потухла: Щепетников был весь поглощен своими волнениями.

— Отца своего видел? — спросил он.

— Видал.

— И каков? Уходить тебе отсюда велел?

— Не торопил.

Щепетников, облегченно вздохнув, добавил:

— Пожертвовал!

— Чем пожертвовал?

— А родным сыном!

— Для чего?

— А для моего счастья.

Щепетникову я кажусь, конечно, глуповатым парнем с причудами, но раз в его жизни произошло что-то крайне серьезное, можно и с этим парнем поговорить. Глядя на ребятишек и Нубию, он бормочет:

— Младшему-то штанину надо заштопать. Коняка, кажись, бабки задние сбила. Да и помыл бы ты Нубию. Хороша ж твоя четверня! А еще — за границу! Там чистоту чтут. Ты знаешь, я ведь в Германии бывал.

— Ну?

— Ходил на сельскохозяйственные заработки. Платят ничего, но пища слабая, и хлеба дают мало, хоть и Евангелье в каждом доме.

От края оврага начиналось вспаханное поле. Щепетников встал и, трогая землю босой ногой, сказал.

— А ведь дерба! Помнишь, я тебе про дербу говорил? Был у меня случай, когда я пробовал на столяра учиться, в деревообделочной.

— Признаться, не помню.

Щепетников продолжал:

— Явился к моему хозяину поп из Ревухи, из той церкви, в которой мы иконостас делали. Пришел и говорит: «Государственная дума со дня на день закон утвердит новый: каждая, даже строящаяся, церковь в Семиречье получает триста десятин земли». Вот как! Триста десятин! Ну, ему, попу, иконостас, само собой, получается мал. «Делай вдвое больше и богаче»,— говорит поп. У хозяина не хватает дуба. И послал меня на земледельческий склад к немцу, чтобы, значит, занять. Стою я середь склада, гляжу на машины и чую, становлюсь я вроде как эта дерба! Непаханый, некошеный, неученый — дикий! Самого меня надо как дербу косулей поднимать!

— Загрустил?

— Торчу на складе. Подходит немец к дубовым плахам: «Выбирай, увози, расписки не надо, твой хозяин добропорядочный, значит, и работник такой же». Везу я эти плахи и так думаю о своем хозяине: ну, какой он добропорядочный, когда попу строит иконостас?

— Велико преступление! — ухмыльнулся я.

— Не скажи. Переселенец с семьей сам-шёст получает семь десятин наделу, и дай бог, чтоб половина надела была годной. Чаще всего солончаки; годной разве половина. И получается: надел-то на душу — полдесятины! А церкви — непостроенной! — триста десятин самой лучшей земли! Загрустишь! Вижу: хорошие плуги на складе, а кому пахать? Попу, богатею, вроде Калмыкова? Тошней это мне, чем собаке редька... Ой, тоскую я, Сивалот!

Щепетников спустился к костру, посмотрел на играющих ребятишек невидящим взглядом, сел и, быстро перебирая пальцами подол рубахи, тихо сказал:

— Горе горькое!

Щепетников, вслушиваясь во что-то, ему лишь понятное, привстал. Затем минуту погодя снова опустился и проговорил: «Почудилось!» Вдруг он, видимо мучимый тяжелым беспокойством, опять поднялся, прислу-

шался и, уже не садясь, а стоя, положа руку на бьющееся сердце, поспешно заговорил:

— Калмыков-то, слышал, скупил округ все зерно? Раискиному отцу сумму через Кредитное товарищество выдал! И зерна вдобавок! И скота! К ней женихи и нахлынули.

— Вот зачем ты в Ревухе! — воскликнул я.

— Не скрываю. Мне баба нужна, земля при ней, скот. Я и отцу твоему жаловался. Он видит — хожу с продранной душой, и говорит: «Выручу!» Выручит! А как выручит, ничего не объясняет, и сам — в степь. Я за ним. Где догнать! Тело у меня большое, а жил скудно, сил нету. Иду к Ревухе, кулаками усердно машу, что делать дальше — не знаю. Тут перед самой Ревухой вылазит из кустов твой отец — сонный, в прошлогодней траве, как леший. Он мне: «Верстах в шести, говорит, в Дружинском, церквушка, а при ней поп. Ему дадено и сказано: убегом явятся невеста с женихом. Немедля венчать! Кто невеста, кто жених — еще не сказано. Это тебе, Щепетников, на руку! Те, трое женихи, что для Раисы «урок» делают, сами не знают, который выиграет! Но каждый торопится, каждый норовит убегом. Воспользуйся, Щепетников! Я троих, которые за невесту сватаются, уведу, а ты в полночь подбирайся к дому Грызиных и, как постукивал прежде, теперь постучи. Конь приготовлен. В Дружинское скачи, к попу». Сказал и опять ушел. В степи тишина, птички поют, и так дробно. И у меня по сердцу тоже вроде дробь холодная катится. «Что за человек, думаю, колдун, не иначе!» До полночи далеко. Залез в кусты, жду. И слышу: по тракту легонький такой топот, вроде жеребячий, и хорошо подмазанные телеги, даже, может быть, чересчур хорошо. «Это, думаю, не к добру». Вылез, а меня — за горло! Спичку подносят: «Наш!» Я голос узнал. Это Деменька из переселенцев, отчаянный. Он говорит: «Пойдем, Щепетников! Нонче ревухинские казаки на представленье какого-то глухонемого уйдут, а мы у них все зерно выкрадем. Кому дарма, как разбойник Чуркин, отдадим, а кому — за малые деньги! Сеять пора!» Досада! Думаю: и жениться хочется, и мужикам хорошо бы подсобить. И все-таки выбрал — жениться! Переселенцы мне поверили, отпустили. Пошел к Раисушке, стучу в окно. Она готова. Охорашиваясь, говорит, что был у ней вчерась человек в золотых погонах и так сказал:

«Ты и раньше была красавица, а скоро будешь богатая красавица, что вдвое дороже. Загадывай трем своим женихам хитрейшую загадку, тогда четвертый — суженый — придет нежданно-негаданно». Ловко?

Каков отец! Любому встречному-поперечному всякие благодеяния совершает, а со мной даже замыслами не поделится, загадывает мне, как Раиса женихам, загадки, а я сломя голову мчись в степь... Что же мне предстоит сейчас свершить? Большое? Малое? И как все происходящее связано с тем, что свершается или должно свершиться в Семипалатинске?

Жадно смотрел я на Щепетникова и слушал его.

— А она, Раиса?

— Хитра девка? Всем женихам вместе и каждому отдельно «урок» задала: «В степи, под станицей, пасутся три табуна. Пастухи спят. Кто дальше от станицы угонит любой табун, который он облюбует,— тому и мое колечко». Они, дураки, и погнали! Верст за тридцать! А она — ко мне в трашпанку, и к попу! Вот я, брат, теперь и женатый. А?

— Где жена-то?

— Жена? В ногах у своего отца лежит, прощенья просит. И мне пора туда же, но только вдруг женихи скажут про меня, будто я с переселенцами воровал у казаков зерно? Казаки изобьют тогда до смерти! Сивалот! Скажи, что ты видел — киргизы увозили казачье зерно. Сивалот, надо воровство на киргизов свалить.

— Зачем?

— Пойми! Скажешь, что переселенцы,— меня казаки убьют.

— Щепетников, как же я могу на безвинных киргизов вашу вину свалить?

— А что тебе киргизы?

Длинное лицо его исступленно пылает, веки воспалены.

— Щепетников, а Евангелье чему учит?

— Оно голодным велит помогать!

— Да, но не сваливать вину с одних голодных на других.

— Тьфу! На каких на других? Скажешь: просто киргизы, а из какого аула, не знаю. Встретил на тракте.

— Много у казаков увезено зерна?

— Все!

— В амбарах, поди, тысяча пудов? Сотню возов привели переселенцы в станицу?

— А может, и две! — сказал Щепетников с восхищением.

Он вдруг, побледнев, широко перекрестился, упал передо мною на колени и, с силою стуча головой о землю, сказал:

— Сивалот, в бога ты не веруешь, быть тебе в аду, так ты спаси мою христианскую душу — в рай угодишь. Поди скажи, сознайся!

— Да в чем мне сознаваться?

— Зерно вместе с киргизами украл!

Странное дело! Вот стоит передо мной па коленях рослый здоровый мужик, не лишенный практической сметки, молит и верит, что его нелепая мольба может быть мне понятна. Ему кажется, что ради его любви к хозяйству и Раисе я пожертвую своей жизнью. Щепетников жалок, отвратителен, и одновременно есть в нем что-то хорошее, и хочется сделать добро ему. Жарко и светло горят надеждой его глаза, но чем я ему помогу?

— Допустим даже, Щепетников, свалю я кражу на неизвестных киргизов, а дальше? Допустим, казаки не изобьют меня, а просто посадят в каталажку?.. Куда, например, девать мне ребятишек? В степи не скроешь! А казаки, поймав, изувечат...

— Киргизских ребятишек тебе жальчей, чем меня?

— Не лучше ли, Щепетников, подождать, когда Раиса к тебе вернется, вымолив у отца прощенье?

— Ждать? А земля? Землю мою надо засевать! Человек ждет, а земля ждать не может. Да и тесть мой на пахоту слаб.

Щепетников тянул меня за руку. Мысль о моем отказе вселяла в него страх, он вздрагивал. Задыхаясь, волнуясь, я выдернул руку и молча стал вьючить Нубию.

— Не сознáешься?

— В чем? В подлости, которую я не делал?

Щепетников, тяжело дыша, стоял неподвижно. Он пытался понять меня и, решив, что я струсил, наклонил голову и медленно проговорил:

— Одному, стало быть, мне идти?

— Одному.

И он, не глядя на меня, растопырив пальцы и опустив плечи, тяжело направился к станице Ревуха. Он не мог не идти: там было его счастье, его земля, его любовь! Неужели путь к счастью всегда так тяжел? И странно, что он не грозил, не стращал, а только молил. Значит, считал себя в глубине души неправым или думал, что угрозами от меня ничего не добиться?

Проводив глазами Щепетникова, мы вышли в степь и скоро очутились на Сибирском тракте. Бадам, старший из ребятишек, спросил:

— Чего хотел этот дядя?

Что ответить ему? И я сказал:

— Об этом вам расскажет мой отец.

— Он чудесно рассказывает! — проговорил с восхищением Бадам.

— Неплохо. Но получалось бы убедительней, если б он поменьше выдумывал. Прибавляй шагу!

Ребятишки, кажется, догадывались, что нам грозила беда. Они вздрагивали и оглядывались назад.

Подталкиваемые боязнью казачьего самосуда и суровыми северными ветрами, мы быстро шли вперед, обгоняя обозы и караваны.

МЫ ПЕРЕВАЛИЛИ ЧЕРЕЗ ХРЕБТЫ

Спускались в песчаные долины, чтобы идти мимо степных озер, переходили речки, большей частью вброд, чтобы почувствовать прелесть быстрой холодной воды, а главным образом потому, что мосты через речки казались нам страшно величественными и мы боялись на них вступить.

И всюду дул ветер.

Не ветер, клещи! С удивлением и восторгом глядел я на скалы. Ветер проводил по ним штрихи, борозды, желоба, углубления, выдувал ниши, навесы и почти на моих глазах превращал эти твердые скалы в изъязвлено-ноздреватые массы, а массы — в щебень и песок. Щебень и песок катились с гор нам навстречу, и, когда мы поднимались на вершину, мы видели внизу изъеденные, вырванные из гор этим ветром глубокие котловины, разделенные крутыми утесами.

Ах, как хорошо! Как невероятно прекрасно! Горы с крутыми стенами стояли, как сундуки, над безбреж-

ными песками. Идем, идем. Пески краснеют вправо, а влево — над ними — колоннады, просверленные скалы, террасы, пещеры! И все это словно украшения на гигантском сундуке!

Ложились на ночлег обычно в пещерах на ровный песок. К ночи ветер стихал. Последние лучи солнца освещали песчаные долины, лежавшие над нами. Я смотрел на красные волны песка и вспоминал отца и его легенду о стране Ветряного Камня.

Рано утром, напившись чаю, мы шли по долине к речке. Всю дорогу нас сопровождало чириканье птичек, а у реки из береговых кустарников тучами поднимались дикие голуби.

И я вспоминал один из рассказов отца. Когда-то давно он работал в тайге старателем, искал золото. Это был один из вернейших случаев разбогатеть, которых он знал тысячи. К сожалению, где много способов — мало результатов. Но тут непременно разбогатеешь! Некий умирающий старатель поведал ему большой секрет. Во время весеннего или осеннего перелета птиц надо найти в тайге высокую гору и подняться на ее вершину. Птицы летят на юг древним путем, на котором некогда встречались им большие реки. Давно в тайге нету рек, давно они заросли соснами, а птицы все равно летят над бывшими руслами. Надо примечать эти заросшие русла и там мыть золото! Отец стоял на вершине горы до тех пор, пока снега не пали ему до пояса. «А приметил древние пути птиц?» — спросил я. «Птицы летели разными путями,— ответил отец.— И если верить им, тайги в древности не было, а было сплошное море». Тогда я сказал отцу, что ему не нужны эти золотые реки. Он сам и птица, и золото, и тайга, и река, потому что он — фантазия.

Где-то он теперь и что-то готовит для меня его фантазия?

ВСТУПИЛИ В СЕРГИОПОЛЬ

Худосочный карликовый городок! Летом, говорят, его не видно за пылью. Часто кони, разгорячившись, проносят сквозь него тарантасы, и ямщики долго затем ищут этот городок.

Посредине городка возвышалась громадная новая церковь. Подрядчик в чесучовой паре и меховой шапке,

головастый, щекастый, ногастый, ходил вокруг и любовался куполом, где несколько мастеровых, черных, как кочегары, грохотали листами железа.

Я обратился к подрядчику:

— Где здесь цирк?

— Дался им цирк! Второй уже спрашивает.

Двое спрашивающих о цирке — для Сергиополя крупное событие. «Хорош, должно быть, и цирк!» — подумал я. И все же твердыми шагами направился на «Цирковую площадь».

То, что сергиопольские жители называли цирком, представляло груды кирпича, гнилых бревен, ржавых кусков металла. Три-четыре балки простирались в небо, а под ними, заполняя бывшую арену, ложи, места первого и второго яруса и всю галерку, тянулись заросли ярко-зеленой мощной крапивы. И неужели этот «цирк» Среднеазиатский банк взял в заклад, выдав кому-то какие-то деньги? Может быть, Геммадинов предполагает разрабатывать заросли крапивы? Говорят, из нее выделывают волокно и даже ткани? Х-ха!

Возле развалин торчала мазанка с единственным окном, а на завалинке ее, рядом со спящим горбатым сторожем, Скурлатов читал книгу!

— Капитон?

— Он,— ответил Скурлатов, смеясь.

— Сторож Нилов не ты ли? Я ведь сторожу Нилову посылку привез от Василисы Глебовны.

— Помню, помню, Нура передал. Сторож вот он, только ошиблась Василиса Глебовна фамилией. Намеренно, пожалуй.

— А как же посылка?

— Посылка, милый, предназначалась тебе, да ты сам, поди, догадывался.

Я пробормотал с неудовольствием:

— Ничего не догадывался и посылки в таком случае не взял бы.

— А вот проверим!

— И проверим!

Скурлатов растолкал горбуна. Горбун с трудом протер шалфейно-желтые глаза и стал бурно браниться. Он бранил цирк, Сергиополь, Геммадинова, Среднеазиатский банк и особенно какую-то «булхалтерию», которая не дает ему ни гроша. «Ну что ж, по-

сылка Василисы Глебовны пришла вовремя,— подумал я,— подкормимся».

— Дед, ты Нилов Анисим? — спросил я.

— Чего?

— Нилов Анисим?

— Никогда я Ниловым не был, а всегда писался Лука Ильич Буширкин, сергиопольский мещанин.

— Василису Глебовну знаешь?

— Впервой слышу.

— А может, тут другой сторож Нилов есть?

— Во всем городе Ниловых не водится.

Лука Ильич повернул к нам свой горб и опять захрапел на все цирковые развалины.

— Ты, Капитон, со мной?

— Да, до Верного. А ты, надеюсь, не останешься ремонтировать этот цирк для Геммадинова? Ха-ха!

Я раскрыл посылочку Василисы Глебовны. Там лежала чесучовая рубаха, брюки на мой рост, пять плиток шоколада, кошелек и в нем несколько красненьких. Я положил все это возле спящего горбуна, разорвал записку о службе, полученную от Геммадинова, и мы покинули Сергиополь.

— Щепетникова встречал? — спросил Скурлатов.— Что с ним?

Не шевелясь, побледнев, выслушал он меня.

— У него, значит, свое было на уме? Я ведь хотел с ним вместе идти. А он ушел один! Жалко, что впутал в неприятность твоего отца. Святой человек у тебя отец, Всеволод!

— Святой, но да простит меня его святость, он больше, чем прочие святые, любит творить чудеса. А излишек чудес всегда обременителен.

Он улыбнулся своей широкой и доброй улыбкой.

— Я рад идти с тобой, Всеволод.

— А я — вдвойне.

— Сказать по правде, колебался я.

— А что?

— Забастовки мне нравятся, Всеволод, протесты, демонстрации. Тем более что поводов много.

— Сплошные поводы!

— Так что ты не удивишься, если забурлит?

— А в ближайшее время где?

— В станице Метелочной.

— Где ярмарка?

— Вот-вот. Продавцов и покупателей ждут много. А еще больше соберется там безземельных. Их Калмыковы на «Семиречку» хотят нанять. Хочется мне поговорить с теми безземельными. Но для этого придется сворачивать с прямого пути на Индию, ты согласен?

— Очень хорошо! Только постой, постой! А как же газета?

— Какая?

— Твое «Степное слово»?

— Типографии найти в городе не смогли. Калмыков на них давит. Да и денег не так уж много собрали. Подождем до осени. Ну, и материалов небось по Семиречью соберем побольше, а?

— Надо думать, соберем немало.

— Шумит Семиречье?

— Шумит.

— Прибавим же и мы шуму.

Так, перекидываясь фразами, играя с ребятишками, уча их русскому языку, кипятя на ночлегах чайники, варя в обед кашу, мы миновали несколько пикетов и поселков, направляясь к станице Метелочной на ярмарку.

Метелочная — недалеко от китайской границы. Мы свернули к ней у Сергиополя влево, оставив Сибирский тракт, прямую дорогу на Индию, вправо от себя. Ничего. Индия ждала меня долго. Подождет и еще.

НО ПЕРЕД МЕТЕЛОЧНОЙ МЫ ПОПАЛИ В СУШКИНСКУЮ

Однажды Скурлатов увидел с горы озеро в долине, похожее на синий треугольный парус. У нас были с собой удочки.

Нужно ли хвастаться, что мы были тогда сыты? Небо безоблачно, дорога пыльна и утомительна, к ночлегу мы подходили побледневшими от голода. А мы могли съесть лишь два-три сухаря. Правда, мы пили много кипяченой воды, где иногда плавало несколько чаинок, более редких, чем облака в этом гладком небе. Мы пользовались жаждой, чтоб обмануть голод, но голод тоже не дурак.

Поэтому, когда Скурлатов сказал, что треугольное озеро кишит рыбой, мы охотно повернули.

Идти пришлось много, верст, думаю, не меньше семи. Наконец мы добрались до камышей, где нашли прогалинку. Вырезали удилища, закинули лески. Удили долго, несколько часов, а поймали четырех карасей.

Разозленные, огорченные, решили вернуться более короткими тропинками к дороге на Метелочную и, заблудившись, попали в станицу Сушкинскую и деревню Отменитено.

Впрочем, заблудились ли?

— Станичник, подале-то — Сушкинская?

Встречный казак ответил Скурлатову:

— Она.

— А рядом Отменитено?

— Оно. К родне, что ли?

— Да нет, заблудились.

— А раз заблудились, так проваливайте.

— Ишь какой сердитый!

— Нонче мы все такие. Но-о!

И казак, стегнув коня, поскакал прочь.

Откуда Скурлатов знает о Сушкинской и тем более об Отменитене! Не нарочно ли привел он меня сюда, сказав, что заблудились? Для его планов Отменитено очень подходило.

Любит пошутить русский народ даже в самые грустные часы своей жизни! Межевая партия посадила переселенцев возле станицы Сушкинской временно, уверив, что на другой год это ее решение будет «отменено» и переселенцев посадят па другие, лучшие места. Переселенцам ничего не оставалось, как только ждать. Они язвительно назвали свою деревню «Отменитено», засеяли, чем могли, поле, устроили огороды и стали молить приезда чиновников, которые про них давно забыли.

Землей, где поселились отменитенцы, владели когда-то казахи. Но уже много лет тому назад станичники из Сушкинской арендовали эту землю у казахов для покосов. Теперь станичники надеялись, что при новой дорезке земли они получат эти поля навсегда. А вместо этого появились отменитенцы! Совсем возле казачьих полей их землянки! И еще вздумали строить церквушку, предполагая, что церквушка тоже может рассчитывать на свою долю — триста десятин, обещанных самой Государственной думой!

Поэтому-то сушкинцы старожилы ненавидели отменитенцев новоселов.

— Пшено, кажись, у нас кончилось? — спросил Скурлатов. — Давай здесь купим. Отменитенцы, где тут мелочная лавка? Пшена купить.

Рваные тощие мужики молчали, а еще более рваные бабы, охая, говорили:

— Какая тут лавочка? Ни продавать, ни покупать, кроме душ, нечего.

Скурлатов отзывался:

— Продали бы и мы души, тетенька, да кто купит?

— Твою, знамо!

Сушкинская и Отменитено совсем рядом.

Мы подошли к Сушкинской, когда у самых тополей станицы отменитенцы доканчивали рытье канавы для фундамента церкви. Ждали попа, чтоб освятить закладку. Ждали мрачно, возле корыта с известкой, груд кирпича и глубокой канавы, на дне которой тускло поблескивала сырость.

У тополей стояли сушкинцы в своих выцветших, наглухо застегнутых казачьих мундирах, в фуражках, надвинутых глубоко на уши, с плоскими, сытыми, твердыми лицами и узкими злыми глазами. Особенно поразили меня сапоги сушкинцев: плотные, толстые, казалось вылитые из железа, тогда как отменитенцы были босы, без шапок, в пестрядинных синеполосых заплатанных портках и рубахах, тканных где-нибудь в Рязанской или Тульской.

Увидав Нубию, отменитенец, молодой мужик с понурой головой и непомерно широкими ступнями, спросил вполголоса:

— Ты куда, шантрапа? Коня не дашь денька на два попахать? Конь у меня пал. Дай! Я вас поить-кормить буду, работу найду...

Ясно, кормить ему нас нечем, работу он, конечно, не найдет, но мне его жалко, я согласился.

Но не довелось мужику пахать на Нубии!

Один из казаков, полный, белый, с толстыми, ярко-красными губами, кричал какому-то тощему переселенцу:

— Наша земля сухая, отчего и название станице — Сушкинская. Понял? И выходит, что ваши, отменитенские поля — наши отбросы. Понял? Их поливать, они

и то не родят. А чем поливать будете? Воды вам от нас нету! Значит, убирайтесь.

Другой казак добавил:

— Церковь еще строят, туда же!

Отменитенцы закричали:

— И построим!

Казаки спросили:

— Для постройки, скажем, глину мешать, нужна вода. А откуда воду возьмете? Мы, казаки, арык закроем!

— Лишать нас воды?

И поднялся гвалт. Кричали и сушкинцы и отменитенцы:

— Арыки закроют?!

— Земли лучшие по всему краю — у сушкинцев!

— И зерна вдоволь!

— А мы нищие!

— Изнурены, голодны, безодежны!..

— Нужда!

С возрастающей тревогой наблюдал я, как полный белый казак, сдвинув на ухо фуражку, громко, холодно и равнодушно говорил:

— Не имеете права упрекать нашим богачеством. Мы его перед царем-батюшкой заслужили. Оно, наше счастье-то, кровью заработано.

Скурлатов твердо, словно бы предупреждая, сказал:

— Ну и слава богу, станичник, что есть у тебя хорошая земля, зерно. Только об этом лучше б молчать.

— Помолчи ты лучше, парень!

Скурлатов еще более сдержанно проговорил:

— Давайте разберемся. Станичнику, знамо, не гоже хвастаться: кабы не сглазить. Да и пугать тоже.

Казак с огромным туловищем на коротких ногах, длиннобородый, злой, толстобровый, завопил:

— А ты что ж, клейменый, грозишь нам красным петухом?

— Я никому не грожу. Мне только кажется, что вы, казаки, тоже крестьяне. И должны понимать, что издеваться над другими крестьянами, голодными и обездоленными, стыдно и нехорошо.

— Ишь поп выискался!

— Не в эту ли церковную канаву, босиком-то, пришел служить?

Захохотали.

Скурлатов спокойно продолжал:

— Кабы поп говорил вам всю правду, вы, станичники, может, над несчастными людьми и не смеялись бы...

Казак на коротких ногах закричал встревоженно всем своим огромным чревом:

— Нашего попа не трогай!

Сушкинцы подхватили:

— Они над казачьей лиригией смеются!

— Не позволим фундамент копать!

— И освящать!

— Убирайтесь и с церковью своей!

— И с землянками!

Отменитенцы отвечали с возрастающим волнением:

— Нам чиновники разрешили.

— Не уйдем!

— Нас сам царь послал!

Казаки, чувствуя справедливость доводов, все же яростно протестовали:

— Мы сами чиновники!

— Мы сами здесь цари!

— Проваливай, безземельщина!

Тогда Скурлатов сказал:

— Позвать станичного.

Какой-то мальчишка в тряпичном колпаке провизжал восторженно:

— А станичный атаман сам драчун!

Пришел атаман. Это был взъерошенный, черный, приземистый мужик, у которого, видимо, болели колени, — он часто поглаживал их своими маленькими коричневыми ладонями.

Атаман, выслушав со вниманием, как полагалось ему, ту и другую сторону и как бы проникшись убедительностью Скурлатова, отрывисто спросил:

— Телесное оскорбление было?

— Было!

— Не было!

— Было!

Тогда, повернувшись спиной к толпе, атаман равнодушно сказал:

— Нынче все судом разрешается. Идите в суд.

Скурлатов, совсем осмелев, положил руку на плечо атамана и снова повторил:

— Если даже вы, сушкинцы, считаете себя богатеями, а значит, справедливыми, все равно выгоднее, чтобы бедняки на вас не сердились. Гнев более долголетен, чем эти тополя, и корни его идут через все деревни и села. Да небось и в самой станице вашей имеются бедняки, которые неодинаково думают с богатыми. Наконец, если рассуждать по-божески, нет вам никакой выгоды ссориться. Отменитенцы строят церковь ведь богу, а не дьяволу!

Атаман, почесывая колено, сказал шепотом, словно сам боясь услышать свои слова:

— Вот говоришь, богатеи взяли лучшие земли? А чем они лучше? Просто мы, богатеи, умеем лучше обрабатывать землю. А умеем, оттого что умнее. Земля везде одинакова.

Выскочила седая простоволосая переселенка. Изможденным, но странно молодым голосом, который звенел, как колокольчик, она воскликнула, сжимая перед лицом атамана свои пальцы:

— Одинаковая? А это чья земля?

— Эта?

Атаман наклонился и, словно влекомый запахом своей земли, почти дотронулся носом до руки молодой женщины. Затем, широко раскрывая глаза и как бы удивляясь на то, что у него решились взять горсть земли, он сказал:

— Моего поля!

Седая женщина порывисто разжала левый кулак.

— А эта? Чья?

— Эту не знаю.

— Это наша, отменитенская! Сравните, православные, где же одинаковая?

Отменитенцы возбужденно заревели:

— Какая одинаковая?

— Солонец!

— Кислая земля. Ничего не растет!

И какой-то паренек с пухлыми губами, мясистым носом, наибеднейший из отменитенцев, сказал вполголоса чрезвычайно язвительно:

— Как же не растет, когда, гляди, какой дурак атаман вырос? Правда, головы у него нету...

Атаман даже пошатнулся от негодования.

— А что есть? — задыхаясь, спросил он.

— Кулак, да и тот ни к чему не годный.

— Ан и годный!

И атаман со всего размаху так съездил паренька по шее, что тот немедленно упал в канаву.

«И БИЛИСЯ ИЗ УТРА ДО НОЧИ»

Здесь с огорчением я должен покаяться в полной своей неразумности. Уже давно мне казалось, что все говорят прерывающимися голосами, и я весь вздрагивал, слушая эти голоса. Сердце мое металось в груди то от боли, то от восторга, то от огорчения. И вот когда атаман смазал паренька с пухлыми губами, оказалось, что я стою ближе всех к атаману. И я счел нужным заступиться за паренька.

Атаман свалился в канаву. За ним последовал и я от удара, который нанес мне какой-то дюжий сушкинец. Вскоре на меня упал и этот сушкинец, а за ним еще двое казаков, которых, как я понял, с величайшей энергией и удовольствием свалил Скурлатов.

Я слышал:

— Братцы, наших бьют! — кричали отменитенцы.

В этом глубоко российском крике есть что-то волшебное!

Не чувствуя боли, вымахнул я из канавы.

Вызывающие крики, взгляды и жесты сделали свое. Станичники и переселенцы бились!

В наше гуманное время не принято писать о драках, и это даже считается предосудительным, если не позорным. И все же я пишу о драке у станицы Сушкинской с большим удовольствием. Это была справедливая драка за справедливый раздел земли, и она имела свои последствия, о которых вы узнаете позже.

Отменитенцы сначала потеснили сушкинцев: отменитенцы были сильны негодованием, но слабы телом. Сушкинцы — сильны телом, но в начале драки слабы негодованием. Негодование взяло вверх. Но так как драка длилась довольно долго, то сушкинцы, придя в раж, побеждали нас три раза, даже выгоняя за Отменитено.

Три раза отменитенцы были выбиты из своей деревни. И три раза мы мужественно возвращались. И в четвертое наше возвращение впереди нас пошел Скурлатов, не принимавший до того командования, чтобы не унижать доблести и самостоятельности отменитенцев. Эта перемена воодушевила не только нас, но и самого Скурлатова.

— Лупи, мужики, пока не убегут казаки плакать в свои горницы!

Ах, как мы лупили сушкинцев! Мы прогнали их через всю длинную станицу.

Возвращались с песнями, правда не очень звонкими.

Возле канавы, подготовленной для церковного фундамента, на которую падали теперь тени тополей, драка возобновилась с особенной яростью: сушкинцы, опомнившись, догнали нас!

Эта стычка продолжалась недолго. Она кончилась настолько полной победой отменитенцев, что избитый в кровь атаман, лежа на земле, крикнул не без торжественности:

— Будя! Душу овчиной наружу выворотили, черти!

Скурлатов приказал прекратить и помог атаману подняться.

Сушкинцы ушли.

Отменитенцы вернулись в свои землянки.

Скурлатов склонился над канавой, на дне которой, вместо сырости, уже выступила вода. Он черпал ее пригоршнями и пил.

Я, чувствуя безмерную усталость, потеряв основательное количество крови и поддерживаемый в мужестве только восхищенными взорами своих ребятишек, которые подбежали к канаве вместе с Нубией, попробовал достать воды, но свалился туда.

Когда напились, вымыли лица и смогли ощутить освежающую тень тополя, мы услышали откуда-то сверху знакомый голос:

— Кисет есть, а спички, кажись, выронил.

Над нами, на суку тополя, свесив ноги, сидел мой отец и показывал кисет!

— Вы дрались, а я спички потерял.

Скурлатов хохотал. От изумления я еле набрал сил, чтобы пробормотать:

— И давно ты на тополе, отец?

— Со вчерашнего дня. Приглядывался я, Всеволод, к сушкинцам и отменитенцам и чувствую: без драки не обойтись. А тут еще, слышу, мой сын подходит. Значит, будет так, что «кружили и билися из утра до ночи». Ну, захотелось видеть бой во всем его, того, многообразии. Я и влез на тополь. Драка приближается к тополю — я на вершину. Осторожность! Драка удаляется — я спускаюсь ниже.

И отец совершенно неожиданно добавил:

— У белки потому и красива шкура, что она видит жизнь как сверху, так и снизу.

Я сказал:

— А почему нам не помогал, хотя бы криками?

— Кричать мне без кулаков невозможно. А драться студенту Лазаревского института не позволяется. Я молился за вас.

Скурлатов, шаря в мешках, навьюченных на Нубию, нашел две-три чашки пшена.

— Вам лучше не заходить в станицу, — сказал отец, — по разным соображениям и прежде всего потому, что для воцарения мира предводителю, как и вообще всем предводителям, лучше всего покинуть сражающиеся армии.

И мы отправились к горам, чтобы подальше от поля сражения, на берегу потока, возле какой-нибудь выщербленной скалы, сварить кашу, пообедать и поужинать одновременно.

РАССУЖДЕНИЯ МОЕГО ОТЦА

Скурлатов ушел далеко вперед. Глядя на него, мой отец сказал:

— Я любовался Скурлатовым! Какая сила, умение, ловкость! Говорю, как бывший инструктор по джигитовке: из него выйдет первоклассный офицер!

— Кажется, и другие дрались не хуже, — проговорил я с обидой.

На это отец возразил:

— Ты дрался действительно не плохо. Но ты дрался, управляемый инстинктом, тогда как Скурлатов сам им управлял! Например, зачем тебе было кусать атамана за ногу, когда кожу его сапога не проку-

сит и собака? Поэтому, если бы ты дрался даже в десять раз лучше, твоей драке грош цена. Скурлатов, кроме ловкости, доказывал великую истину: очень важно, умея управлять, будить в себе инстинкты! На время, разумеется. Мы совершенно напрасно презираем наши инстинкты. Они великолепное оружие. Вот в тебе, например, загорелся инстинкт драки, и ты начал первым, хотя вообще, насколько я знаю, ты не драчлив и драка для тебя была величайшей неожиданностью?

— Совершенно справедливо,— ответил я, потирая больные места.

— А почему? Почему ты начал первым? Инстинкт инстинктом, но, кроме того, Скурлатов открыл тебя, как сосуд справедливости. А не превратившись в этот сосуд, ты не стал бы драться, даже и имея лишние силы.

— Сушкинцы — разъевшиеся мерзавцы!

— Что ж, по-твоему, Скурлатов заблуждался, когда уговаривал сушкинцев? Не думаю. Он возбуждал гнев в своих! Гнев — величайшая сила человека. Это, фигурально говоря, ходули победы! Даже я, страстно любящий семиреченских казаков, дрожал от гнева так, что весь тополь сотрясался и половина листьев его опала!

— Слова красивые,— проговорил я,— а не кажется ли тебе, отец, что сушкинские казаки кое-что знали о Калмыкове?

— О Калмыкове все здесь знают.

— Нет, в особенном смысле. В том смысле, что они хотели стереть с лица земли Скурлатова? Под видом драки с отменитенцами, а?

Отец мой поднял глаза к небу.

— Мне ничего неизвестно такого.

— А узнать можно?

Отец подумал:

— Наверное, можно. Только зачем так уж усложнять жизнь?

Мы поднимались на предгорье. Нивы отменитенцев, лиловые, пустые, как бы взывали о зерне.

Отец, указывая на эти нивы, продолжал:

— Вот почему Скурлатов, желая показать своим людям стремления их врагов, пробовал примирить.

— А не лучше ли было ему уйти?

— Он не мог уйти. Поднимая гнев в других, ты одновременно поднимаешь его и в себе. Таков закон гнева. Ах, ах, этот гнев! Здесь дрались мальчишки, которые в свое время станут взрослыми, пойдут на войну, что приближается. Они запомнят предводителя, столь великолепно ведшего их в драку, и, так как воспоминанию свойственно преувеличение, они преувеличат и будут рассказывать о драке, как о великом бунте. Ты это делаешь и теперь, Всеволод, потому что тебе свойственно воображение, а воображение и есть воспоминание. Позже, вспоминая юность, ее великолепные дни, мальчики поднимут настоящий бунт, и если Скурлатов окажется на месте,— а он, я знаю, окажется,— ему суждено предводительствовать великим бунтом именно в этих местах! Конечно, я тебе сейчас скажу банальную истину: капли создают ручей, ручьи — реки. Но дело в том, что сказанное есть истина, и, как таковая, она всемогуща.

— Вот не ждал, отец, что ты полон революционных мыслей!

Он вздохнул, сорвал веточку боярышника, уже готовую распуститься, понюхал ее, отстранил, чтоб подумать над ее запахом, снова понюхал и снова вздохнул.

— Мыслить — это еще не значит действовать. Мышление очень часто далеко от действия. Для действия нужна смелость. Боюсь, что ее у меня нет.

— Боюсь,— как сын, опасающийся за жизнь отца,— что смелости у тебя достаточно.

— Хм. Хочешь закурить?

— Не курю.

— Напрасно. Табак усмиряет страсти. Поэтому-то многие и курят. А когда закурят женщины, наступит полное счастье.

— Разве счастье в отсутствии страстей?

— Не в отсутствии, а в усмирении.

Мы вышли на дорогу, ведущую к станице Метелочной, у китайской границы. Мы поднимались холмами. Сияли цветы, журчали ручьи, пели птицы. Слева от нас — высокая рыжая скала; справа, внизу,— нивы, озера, волнистые пески, которые стремились быть зелеными. Мир и тишина господствовали всюду. И я под влиянием рассуждений моего отца тоже испытывал мир и тишину.

— Ух, великолепно!

Мы сделали не больше сотни шагов, и сразу же перед нами вытянулось несколько цепей гор с их снежными пиками, в этот час дня чуть желтоватыми. А внизу — степь, настолько широкая, что зеленая широта ее умиляла до слез.

Две острые скалы, увенчанные одинокими соснами, тянутся друг к другу через круглую поляну. У той скалы, что ближе к пропасти, источник, брошенный шалаш из ветвей, листья которых сжухлись и пожелтели. Вокруг скал — розовые и белые обломки мраморовидного известняка, похожие на поверженных богов.

— Так и назвал бы ее — «поляна поверженных богов», и над нею — «скалы, размахивающие соснами»,— сказал я в восхищении.

Скурлатов добавил:

— Пожить бы здесь денька два! И почему не пожить? Покормим Нубию, ребятишки отдохнут, да и сами пропустим мимо ярмарку, чтоб прийти в Метелочную, зная все ее нутро.

Скурлатов устроил палатку, старший мальчик Бадам развьючил Нубию. Я отвел в сторону отца и тихо сказал:

— Взрослые стараются есть поменьше. Но ребятишки есть ребятишки: они едят вовсю. Я их люблю и кормлю безотказно. У нас около пятнадцати рублей. Я не уверен, что этого хватит до аула и горы Ак-Таш.

Отец мой, подумав, сказал:

— Спущусь-ка я в долину: недалеко поселок Неволя. Название грустное, а казаки там добрые, авось кое-что займем?

Замечательный у меня отец! Ради того, чтобы я и мои друзья немного отдохнули, он готов собирать милостыню. А ведь он студент Лазаревского института, о чем вспоминает чуть ли не каждую минуту. Я решительно отказался. Тогда он спросил, сколько можно истратить, не портя расчетов, чтобы прожить здесь, на поляне, три дня? Вышло не больше полтинника.

Отец сказал, что полтинник — за глаза и что он дает честное слово милостыни не просить, в подкрепление чего он берет с собой в котомку мундир Лаза-

ревского института, который должен, так сказать, выпрямлять его гордость.

Скурлатов сказал, что время от времени он станет выходить на дорогу и спрашивать обозников — нет ли каких поломок? Починим дешево! Правда, плохо с инструментом, но зато руки золотые. И он засмеялся.

Мой отец ушел.

Ребятишки играли за палаткою у родника. Я, сидя на каменном обломке, напоминающем баранью голову, писал стихи в тетрадку. Скурлатов, приседая, расправлял руки и ноги.

— Приятно помахать кулаками после драки!

Внезапно Скурлатов вскочил, захлопал в ладоши и побежал к своему мешку. Он достал из мешка лоснящийся кожаный мячик. «Обучить ребят игре в лапту!» Когда мы подыскивали палки для игры, он сказал:

— Всеволод, а ведь тебе пора готовиться? Скажем, языки? Китайский?

Я показал на снежные вершины, степь и озера.

— Это ли места, подходящие для ученья?

— Ну! Учиться можно всюду!

К вечеру вернулся отец. Он принес большую сухую тыкву, наполненную кумысом, много хлебных лепешек, горшок масла и четвертную бутыль айрана. После этого он передал мне сдачу с полтинника — сорок копеек!

— Истратил всего гривенник? Отец, ты не сдержал слова: просил милостыню?

— Я не просил милостыни,— важно сказал он,— и даже не заходил в поселок Неволя. Я вспомнил, что тут недалеко киргизский аул и у них давно не бывал мулла. Сегодня к тому же пятница. Я и предложил прочитать Коран. Кстати сказать, я слушал в Иерусалиме, как там в мечети Омара муллы читали Коран. Огромное искусство, и я всегда рад повторить его!

Скурлатов захохотал.

Отец вынул из кармана большой кусок полусырой говядины, завернутой в листья лопуха.

— Читаю Коран и ловлю посредством обоняния: где-то варится мясо! Втянул я в себя это благоухание и, словно бы уж отведавши супа, почувствовал бодрость. Голос мой окреп. Я читал Коран с такой же силой, с какой, наверно, читал его некогда великий халиф, вроде того же Омара. И киргизы поняли меня! Они от-

резали мне мяса и сказали: «У тебя, наверно, есть дети. Отнеси им». Я не побрезговал, взял этот дар, хотя он значительно превышал цену моего труда. Да и какой труд — читать Коран? Это великая поэзия, а все великое я читаю с удовольствием.

Скурлатов готовил обед. Мальчик Бадам срывал какие-то травы, которые, по его словам, кладут в суп как приправу. Скурлатов пробовал их на зуб и с важной серьезностью то соглашался, то откидывал траву.

— К травам нужно относиться осторожней,— сказал отец,— они как слово: и исцеляют и умерщвляют. В здешних горах есть такой сорт полыни, что, если сорвешь лепесток ее и дотронешься до крошечной ранки коня, из которой идет кровь, конь немедленно падает в страшных судорогах. И есть сорта полыни, которые необыкновенно укрепляют желудок и умственные способности.

Смеркалось. Ребятишки, плотно наевшись, укладывались спать. Скурлатов лег рядом с ними.

Мы с отцом отошли и уселись на камень, где я днем писал свои стихи. Я сказал:

— Мне все больше и больше нравится Скурлатов. Жаль только, что я молод, неопытен, болтлив, и он поэтому открывает мне не все, что ему известно.

— Просто он привык к тому, что на их языке называется конспиративностью. И это хорошо, сынок. Скурлатов — огромен, и его стремления огромны. Нам, быть может, и не понять их сейчас. Полностью, хочу я сказать. Мои стремления более скромны: я зову лишь к гордости, воспитывающей в людях любовь к науке, к добру, к тому, что называется гуманностью. С этой точки зрения мне нравится и Скурлатов. Учись у него! Итак, шагая сегодня в направлении аула...

— Кстати, отец, почему ты истратил именно гривенник?

Отец ответил со свойственной ему величественной простотой:

— Я дал гривенник на чай мальчишке, который помог мне донести дары аула до дороги, возле которой мы остановились. Итак, шагая в направлении аула, я думал о Скурлатове. Ничего не имею против, чтобы он тебя учил. Хотя мне известно несколько иностранных языков, а ему один немецкий, Скурлатов все же знает больше меня! Он передаст тебе именно те знания,

которые нужны. В истории и математике наши знания, быть может, равны. Но только он один способен наполнить тебя уважением к силам того народа, среди которого ты сейчас живешь, будь то русский народ или казахский. Я вот люблю киргизов, то бишь казахов, но я не способен уважать их так, как уважаю русских. Уже одно это показывает тебе разницу между мной и Скурлатовым. Ничего не поделаешь! Молодое поколение есть молодое поколение, старое — есть старое, хотя ведь и заржавленный, зазубренный топор когда-то вырубал целые леса, чтобы приготовить поле для посева. Я люблю русских. Ты стремишься, а может быть, уже и достиг такой же любви еще и к киргизам, то бишь к казахам. Дай тебе бог!

— Отец, ты просто в последние дни видел много бедствующих русских, и душа твоя изболелась о них.

— Да, душа моя болит горько. Я, милый мой, насмотрелся на своем веку. Был и в Европе и в Малой Азии, не говоря уже о том, что избороздил всю Среднюю Азию. Людишки везде живут погано, но все же я видел, что в Европе, да и у нас, в Центральной России, строят больницы, университеты, библиотеки. А в Семиречье? Что здесь строят? Церкви!

— Негодуешь? А ведь — ты религиозный.

— Да, религиозный. Но не могу я ради религиозности закрывать глаза на то, что вокруг люди подыхают с голоду, а попы строят в каждой деревне церковь! Церковь я понимаю как радость, а здесь церкви строятся для утверждения, что жизнь бессмысленна, безнадежна, безрадостна. В этих церквах колокола весело гремят один раз в году, когда Христос, так сказать, плюнув на землю, воскрес и улетел на небо!

Я засмеялся. Он сказал с огорчением:

— Прости. Я, кажется, опорочил свое собственное религиозное чувство? Но что поделаешь! Попы убеждают нас в чудовищной мрачности жизни, а мы все-таки верим в радость и счастье. Особенно приглядись к переселенцам. Мороз, ветра, голод, а они твердят: выживем, выбьемся, вырвемся! Всеволод, вы — люди поэзии и добра, должны петь баллады об этой беспримерной вере в счастье!

— Ты преувеличиваешь, отец, мои поэтические силы.

— Лучше преувеличивать, чем преуменьшать.

Уменьшая сладость жизни, мы помогаем делу мрака, слепим себя. Постыдно создавать слепых. Сладостно их исцелять.

— Отец, ты говоришь догматически.

Мой отец, как часто случалось, ответил неожиданно:

— Взошла луна. У нее наиболее догматический свет из всех, которые я знаю, потому что он обманчив и скользок. Но мне нравится спать при этом свете: многие тысячелетия человечество спало при нем. Луна — коран жизни.

Он ушел к палатке, и скоро я услышал его ровное, приятное, сонное посапывание.

Мне не спалось.

Ночь. Обозы спешат к Метелочной.

Снизу, порывисто дыша, кони тащат на перевал запоздалые воза. Собаки, сопровождавшие обозы, тихо повизгивают, прося ночлега. Люди говорят между собой усталыми голосами.

Внезапно показалось, что я слышу знакомые звуки, узнаю поскрипывание кожаного верха калмыковского тарантаса! Не помня себя, перебежал я полянку «Упавших богов» и выскочил на дорогу.

Мимо меня, сонно качаясь, опустив поводья, ехал в тележке куда-то за перевал с требами старенький священник. Лица священника под шляпой не было видно, можно только разглядеть его редкие белые косички волос.

Сердце мое сильно билось. Я напряженно глядел вниз, на дорогу.

Пропустил тележку священника. Пропустил караван верблюдов с большими тюками шерсти, двух верховых полицейских и за ними поскрипывавшую телегу. На ней маячил прикрытый рогожей не то спящий арестант, не то труп.

Я ждал с исступленным нетерпением.

В скалах станвал легкий туман.

Немного погодя послышался странный звук.

Едут! Калмыковы? Верхом? Только у них может поскрипывать кожа новых английских седел, и только они могут ехать молча, не разговаривая. Да и о чем говорить? Все переговорено.

Нет. Вкрадчивое воображение опять обмануло меня. Кто-то за скалами остановился на ночлег и косит мо-

лодую траву. Донеслось шарканье оселка о косу. Точит! Скоро снова начнет косить. Нет, косец раздумал и лег спать.

Дорога очень бела, воздух наполнен густыми запахами цветов. Я вдыхал их всей грудью.

Внезапно, из-за поворота, показалась тройка коней, впряженных в широкий тарантас. Кони шагали степенно, не торопясь, почти беззвучно. Их шаг мог казаться сном. Если б не позвякиванье полуоторвавшейся подковы у коренника. Кучер дремал, согнувшись, а за его спиной, посредине тарантаса, на подушках сидела неимоверно красивая женщина!

Торжественный и широкий плащ, похожий на темную порфиру, свисал с ее плеч, обнажая высокую грудь и дивную шею. Я глядел в ее огромные глаза, и мне казалось, что все вокруг нее отмечено потрясающей женской изысканностью!

За первым тарантасом двигались еще экипажи. И в них было немало сказочных красавиц, но я не глядел на них, а шел по краю дороги, рядом с огромным тарантасом. Красавица сидела в нем неподвижно, не шевелясь. Экипаж двигался медленно и плавно, покачиваясь, как огромная люстра под куполом какого-то гигантского дворца, которую тронула рука великана.

Кто она, эта дивная красавица? Я жалел, что не могу запомнить все подробности этой красоты, чтобы рассказать о ней своим спутникам!

За экипажами шел караван верблюдов, на которых лежало что-то очень пухлое, в несколько раз больше только что виденных мною тюков шерсти.

Караван прошел. И шагах в двадцати за ним я увидел высокого круглолицего мужчину в белой шелковой рубахе и в длинных сапогах, вычищенных так тщательно, что луна отражалась в них полностью.

Когда он поравнялся, я узнал его по упитанной шее без складок жира, усам, похожим на обкатанные мокрые гальки, по сыто и нагло сверкающему рту.

— Ефрем Зажига? — приглушенно спросил я.

Сияние внутри померкло. Не веря себе самому, переспросил:

— Зажига?

— Он. А ты чей будешь?

— Кто ехал в первом тарантасе?

— А, сладка, мягка коврижка? Полное обзаведение

любви! — сказал он густым, пьяным голосом. — И — их, и деваха! Мед! Сонька Золотая Ручка!

— А на верблюдах?

— Опять же перины, к полному обзаведению,— ответил он, проходя мимо меня,— перины нашего публичного.

Мне показывали его на одной из семипалатинских папертей.

Зажига — вышибала публичного дома. Он страдает запоем, а когда запою конец, он молится, ставит свечки и, прежде чем поставить свечку, бьет земной поклон. Руки его дрожат, капли воска падают на одежду. И вот сейчас его шаровары, окапанные воском, кажутся при свете луны покрытыми росой. Сонька Золотая Ручка? В семипалатинском публичном доме, как и в каждом публичном доме тех времен, самая красивая девушка носит имя знаменитой воровки: Соньки Золотой Ручки.

Луна! Еще одного дурака ты обвела вокруг своего серебряного и острого пальчика, луна!

Зажига скрылся. Я возвращался к своей палатке. Я был бос и внезапно ощутил колючий укол в ногу. Всегдашний страх перед змеями помутил мою голову. Шатаясь, я наклонился, чтобы хотя увидеть след змеи.

На матовом и плоском серебре дороги лежала подкова.

Я взял ее.

Принесет ли она мне счастье?

Посмотрим.

ТУЛПАР СКВОЗНОЙ

И подкова действительно не подвела.

Мне сразу же повезло.

Счастье ведь не только в том, что исполняются те или иные ваши желания, но главным образом в том, что вы узнаéте правду, пусть даже самую горькую.

Едва лишь обоз с семипалатинскими красавицами скрылся за перевалом, едва успел проснуться невидимый косарь и зашипела опять его коса, показалась одинокая тележка, в которой, бывало, езживал по Семипалатинску Салазкин. Впрочем, он меня узнал раньше, чем я его.

— Обождь, эй, обождь, казак!

— И без того стою.

Он опустил вожжи, остановился, достал кисет, заложил за щеку «нас», сплюнул и спросил, кивая на полянку:

— Все вы здесь?

— Ага.

— Скурлатов тоже?

Я промолчал.

— А там, за камнем, кто, Тасан косит?

— Не знаю.

— Он. Тут, возле камней, травы для скота считаются целебными. И вообче, вся полянка у язычников священная.

— У вас?

— Ха-ха! А ты, парень, угадал. Сегодня мы, верно, все язычники. Просто перед Николай-угодником совестно, какие мы язычники! Оттого, может быть, и будет послан на людей повертон.

— Поскорей бы.

— Тебе-то чего? Ты, по твоей глупости, при любом повертоне проиграешь. Зачем, спросим, ты из Сергиополя удрал? При тебе ж письмо было, а на нем обозначено жалованье. Показал бы письмо горбуну, и начали бы цирк ремонтировать. А то тебя Геммадинов два дня по городу искал и через это потерял тулпара.

Тулпар — по-казахски, скаковая лошадь, бегунец, и притом самого лучшего экстерьера. Иные тулпары бесценны, и рассказы о бегах, в которых они участвовали, передаются из уст в уста чуть ли не столетия. Я с детства привык к рассказам о тулпарах, и слова Салазкина живо заинтересовали меня.

— Чей тулпар?

— Тасанки Акмулаева.

— Сквозной? Неужели Тасан продал-таки?

— Обстоятельства.

— Да ведь, кажись, Геммадинов торговал?

— Не сошлись, значит.

— Борис Глебыч и перехватил Сквозного?

— Обязательно! — с наслаждением выкрикнул Салазкин. — Эх, казак, нам бы с тобой такого тулпара!

— Да, любое бы счастье добыли.

И мы оба, задумавшись, молчим. Счастье у нас такое непохожее, но мы уверены, что добрый тулпар ве-

ликолепно подвез бы нас к нашему счастью, и, уважая эту сказочную силу, не сердимся друг на друга. Коса между тем продолжает взвизгивать за камнем. Зачем Тасану целебное сено, если тулпар уже не у него? Или он надеется, что Борис Глебыч остановится на полянке «Упавших богов»? Не зря же Салазкин бормочет об язычестве!

— На ярмарку в Метелочную?

— Туда.

— Обозом?

— И обоз и тарантасы.

— Всем семейством?

— Семейство попозже, а пока Борис Глебыч и при нем конно-драматический цирк.

— Это еще что за штука?

— Ну, цирк, кони, Коромыслов, акробаты, Антуанетта Сирбо, почти что нагишом, и, кроме того, артисты драму изображают.

— Ансамбль Синицыной, поди?

— Вроде.

— И непременно на этой полянке расположитесь?

— Место подходящее.

— Поди, для казахов священное?

— Языческое, известно.

Салазкин, наклонившись ко мне, подмигнул.

— Надо за зло злом. Это уж в купечестве издавна. Слушай сказку. Ехал из Синьцзяня купец не купец, промышленник не промышленник, а так вроде офицера, ха-ха. Звали его Глеб Иваныч. И при нем сынишка, махонький, такой лет десяти. Зачем он его с собой в Китай брал, бог весть. Ехали они возле киргизского аула, скажем в этих вот местах, и захотелось Глебу Иванычу кумыса. Он и сверни в аул! Отдыхают. И водит Бориска коня, мягкого такого и, как бы сказать тебе, мужественного. «Чей конь?» — «Мой»,— отвечает торговец Каризов, у которого они остановились. Торговец мелкий, как говорится козловатый. Да и сам Глеб Иваныч был тогда еще не из крупных людей. «Дай прокатиться!» Ну, велика ли мальчишеская просьба? А Каризов и откажи. Мало того, когда мальчонка сам было полез в седло, Каризов его и стукни по затылку. Бориска у нас злопамятный. И вот нынче, на этой полянке, он отыгрываться будет.

— Двадцать-то лет спустя?

— А для сладости, знаешь, лет не существует. Тулпар Сквозной принадлежал Тасану Акмулаеву, который высватал у Каризова дочь его Джагалтай...

— Ну-у?

— Нукай на отца, а я с другого конца.

— Сквозного для этого и купил?

Салазкин не ответил, а, подняв кнут, стал прислушиваться к скрипу телег, доносившемуся из-под горы.

А я думал о Сквозном.

Сквозному всего четыре года от рождения, но о нем уже создается легенда. Этот скакун, серой в яблоках масти, родился, говорят, в необыкновенно добрый час и бегом своим и красотой экстерьера превосходит скакунов всего мира. Любители готовы дать за него столько серебряных рублей, сколько уместится в кожаном мешке, сшитом из цельной лошадиной шкуры. Путники, едущие по неотложным делам, при виде Сквозного забывают все свои дела и тащатся за ним вслед!

Передают, что Геммадинов увидал впервые тулпара Сквозного где-то под Сергиополем. Сначала за розовой закатной пылью он не разглядел, кто скачет позади, а когда Тасан поравнялся и вице-директор увидел тулпара, он, остановив коляску, выскочил на дорогу, бросил в пыль свою тюбетейку, толстый бумажник, наполненный сотенными, свои перстни с драгоценными камнями, золотые часы в замшевом футлярчике, рухнул на колени и закричал не своим голосом: «Все бери, Среднеазиатский банк в придачу — отдай мне тулпара!»

Тасан, никак не предвидя требований будущего тестя, Каризова, ответил пренебрежительным отказом.

— Покаешься!

— Я никогда не раскаиваюсь, — гордо сказал владелец Сквозного.

В те дни жизнь баловала его.

Он полюбил Джагалтай, дочь мелкого аульного торговца Каризова. Тасан пришел к торговцу и спросил величину калыма. Тот назвал не очень большую сумму. Если лет пять хорошо работать, то можно выплатить. Тасан продал свою юрту, двух коней, верблюда, прадедовское седло, три пустых сундука, баранов, внес одну десятую выкупа и пошел в город Верный доставать остальные деньги. В городе много русских, а русские, идет слух, щедры.

Слезы, любовь, расставание утомили его. Он заснул на полдороге к городу, в густых кустах возле речки. Проснувшись, искусанный в кровь комарами, еле раскрыв опухшие глаза, он увидел еще одну заботу, посланную ему судьбой. У водопоя переминал ногами тощий, больной жеребенок, такой грязный, что казалось, месяц мой его с мылом, и то не узнаешь масти.

Тасан отмыл брошенного жеребенка, который оказался редкой масти — серой в яблоках. Тасан поделился с ним своей пищей, и жеребенок пошел за ним, как собака.

Тасан служил в городе дворником, водовозом, истопником в цирюльне, носил стопы шелковых тканей со склада в магазин, резал кожи у скорняка, развешивал зерновой хлеб,— и Семиречье, почитавшее любовь к коню выше, чем, скажем, любовь к женщине, позволяло Тасану держать жеребенка при себе. Двухлеткой жеребенок обогнал на ипподроме всех двухлеток Верного, трехлеткой — он стал первым скакуном, бегунцом, тулпаром и получил гордое имя Сквозной.

Тасан прославился. Его взяли приказчиком в лавку шелковых тканей, положив неслыханное жалованье — сорок рублей в месяц! Он научился писать по-русски, изучил бухгалтерию, но когда пришло время вносить последнюю часть калыма, судьба еще раз высунула свое жало.

— Ты никому, даже самому Борису Калмыкову, не хочешь продать Сквозного,— сказал ему старик Каризов, когда Тасан приехал в аул повидать невесту.— Я тоже раздумал продавать свою Джагалтай. Красота бесценна.

— Позволь сказать тебе, почтеннейший ата,— проговорил, весь дрожа от негодования, Тасан,— но ведь не было еще случая в степи, чтоб назначенный выкуп меняли. Шариат запрещает это.

— Мне нужны деньги на расширение дела. Смотри, как разбогател Калмыков, а я по-прежнему нищий.

— Какую же ты, ата, требуешь надбавку?

— Семь тысяч.

— Ха-ха. Да округли, что тебе стоит, до десяти.

— Семь тысяч.

— Но если б я даже продал тулпара самому царю Николаю, он не дал бы мне семи тысяч!

— Тогда давай мне тулпара, а я отдам тебе Джагалтай.

Жадность заразительна.

К тулпару давно приторговывался Борис Глебыч Калмыков, и вот, при новом разговоре с ним, Тасан осмелился спросить за Сквозного десять тысяч. «Была не была, а вдруг даст? Семь тысяч пойдет Каризову, а на три заведу отличное хозяйство и буду самым богатым в ауле».

Борис Глебыч вдруг и скажи:

— Лопни мои шары,— восемь с четвертью!

— Девять!

— Восемь с половиной.

— Идет.

И тогда Тасан зарыдал и завыл и, говорят, бился о землю головой так, что выбил дыру в аршин: деньги большие, а жалко ему было расставаться со своим тулпаром!

Борис Глебыч свободных денег не имел, предложил векселя московской фирмы «Никита Горелин с сыновьями». Тасан знал об этой фирме; на многих кусках русского ситца он видел красивые лаковые наклейки этой фирмы; видел приказчиков, которые приезжали в Верный и которым фирма платила от семидесяти пяти до ста двадцати рублей в месяц! Он вообще уважал московские векселя. Он приехал в аул играть свадьбу. Деньги, полученные по векселям, переведет отцу его невесты Верненская контора Среднеазиатского банка. И она же переведет Тасану деньги на свадьбу. Прискачет всадник из почтово-телеграфного отделения в Метелочной и, дрожа от волнения, скажет: «Вам, господа, денежные переводы на гигантские суммы!» И тогда Тасан проговорит небрежно: «Да, мы слышали. Нам кое-что следует получить из Верного».

Ожидая перевода, он часто выходил за аул вместе со своей невестой. Новое, сладкое ощущение свободы потрясало его. Он не мог выбрать места, куда б поставить свадебную юрту. И он спрашивал, кладя пылающую руку на горячее и трепетное маленькое плечо Джагалтай:

— Может быть, вон на ту полянку, где, говорят, еще поныне лежат поверженные языческие боги?

— Боюсь языческих богов!

— Тогда вон на ту гору.

— Там постоянные сквозняки!
— А если под гору?
— Там рядом тракт в Китай, оводов много.
— Тогда я поставлю свою юрту у тебя на губах.
И он целовал свою невесту.

Ах, и в молодости часто простирается над нами мрачное вечереющее небо горестей! Джагалтай, позже, пыталась объяснить причину обрушившихся напастей, говорила, что это гнев языческих богов. Тасан хотел поставить свадебную юрту в древнем капище. Как же это пировать и радоваться среди поверженных богов? Бог, пусть и поверженный, все равно бог.

Потому что вместо перевода денег Верненская контора Среднеазиатского банка сообщила: «К сожалению, московская фирма «Никита Горелин с сыновьями» потерпела крах и по векселям не платит. С почтением, вице-директор банка *Геммадинов*».

Борис Глебович узнал о крахе фирмы Горелиных в Сергиополе, где Василису Глебовну лечил местный фельдшер, знаменитый травник. Тасан прискакал к Борису Глебовичу. О предшествующей покупке и о разговоре затем с Тасаном Борис Глебович, по словам Салазкина, будто бы рассказывал так:

— Ну, и околпачил я киргизского женишка, Тасанку этого, ха-ха! К Сквозному я давно страсть имел, но в цене не сходились. А тут, на днях, приезжает он в Сергиополь. Ему, видишь ли, надо крупный и последний взнос калыма вносить. Денег нет. Отец невесты требует: «Плати, иначе отдам другому!» А невеста, верно, загляденье. Он ко мне: «Помоги!» А я: «Продай тулпара!» Не отдает! Врешь, вырву! «Ну, вот что, говорю, плачу тебе за тулпара двойную сумму. Ты отцу невесты внесешь калым, а он — немедля свадьбу! Торопись: невеста час от часу хорошеет и того и гляди уйдет от тебя». Поверил. Я ему и заплатил. Векселями московской фабрики «Никита Горелин с сыновьями». Фирма, что и говорить, солидная. Но только не этому же азиату знать, что на московских и иваново-вознесенских ситцевых фабриках — застой, что цены ситца сразу упали на две копейки с аршина! Ну, и понятно, что через неделю векселям «Никита Горелин с сыновьями» — грош цена. А мне какое дело? Ты принял, значит, векселя? Принял. Они на тебя переписаны?

Переписаны. Тулпар мой? Мой. А если ты теперь с тоски повесишься, мне даже любопытно. Вешайся!

— Вот подлец! — воскликнул я.

Салазкин засмеялся.

— Конечно, подлец. На коне решил разбогатеть! Конями надо торговать честно.

— Хозяин твой подлец!

— Борис Глебыч? Это чем же? Он — купец, и какое ему дело, что ты дурак. Сегодня над дураками ждем большой издевки. Тасан непременно придет обратно Сквозного просить.

— Тасан?

— Обязательно!

— Просить тулпара обратно?

— Обязательно!

— А вы?

— А мы ему: «Попляши на туго натянутой проволоке, там видно будет». Сначала у нас акробатка, Антуанетта Сирбо — ого, француженка, союзница! — станцует, а потом и ты. Мой тулпар, и пир мой! Как хочу, так и пирую. Над кем хочу, над тем и издеваюсь.

— Для этого и остановитесь здесь?

— Обязательно!

ОТ СКАЛЫ К СКАЛЕ НА ТУГО НАТЯНУТОЙ ПРОВОЛОКЕ

Рассвет. С дороги на полянку шумно вторгается калмыковский обоз. Пригнали баранов, выложили несколько «саба» кумыса, возчики выкосили траву со всей полянки, и теперь кажется, что упавшие боги словно приподнялись на локтях, а две скалы, с растрепанной сосной на каждой, глядят на нас с каким-то напряжением. Режут баранов — двух, трех, пятерых, моют казаны возле источника, рубят сухие тянь-шаньские ели... пир, надо полагать, будет на славу!

— Э, Кузя!

— Он.

— Нура тоже здесь?

— Не-е, в Сергиополе, с Василисой Глебовной.

Я гляжу на него с участием, и мы вспоминаем «слепуху» возле Иртыша, наш поселок Лебяжий, Семипалатинск.

— Жарища тут, ахтер?

— Да, не холодно.

— В жаре-то мне легче. Поправляюсь.

И он подмигивает.

— А мне, ахтер ты мой неумытый, кое-что от Нуры сказать надо. Попозже, а то, видишь, проволоку мне тянуть велено.

И возчик Кузя с трудом волочит к скале круг толстой витой проволоки, по которой ходит Антуанетта Сирбо. Проволоку натянут между двух сосен, венчающих скалы. Когда стемнеет, зажгут огромные костры, заиграет цирковой оркестр, и Антуанетта Сирбо в своем розовом трико и розовом платьице выпорхнет на проволоку! Что же, по-разному можно зарабатывать деньги, а ей, кажется, Борис Глебыч обещал большой куш.

Проволоку натянули. Помощник канатной танцовщицы повис на проволоке, покачался и с удовлетворенным лицом подошел к ведру, из которого Кузя ковшичком стал лить ему воду сначала на руки, потом на шею. Помощник крякал, фыркал. Топтались как-то особо нетерпеливо цирковые кони. Позвякивали трубы оркестра. Музыканты вынимали их из чехлов.

Наша палатка в кустарнике, за скалами, недалеко от пропасти. Люди Бориса Глебыча и «Конно-драматический» по ту сторону полянки, и получается так, что ни мы им, ни они нам не мешают.

Я вскипятил чайник и унес его в палатку. Когда я вернулся за чашками, Кузя уже сидел возле моего костра. Ворочая головешки палочкой, он моргнул в сторону дерюги.

— Твои-то там решили отсидеться?

— Вроде.

— Ребятишкам будет трудно вытерпеть.

— Щелей в дерюге много, Кузя. Ты что-то от Нуры хотел передать.

Кузя закашлял. Кашлял он долго, болезненно сморщив лицо и пригибаясь к земле. Затем откинулся и засмеялся:

— Колокол, Сивалот?

— Колокол, — ответил я, тоже смеясь.

— Теперь насчет Нуры.

— Подожди, подожди! Нуру скоро сюда ждешь?

— Кто знает!

— Фельдшер хороший в Сергиополе, что ли?

— Хвалят.

— Но она не очень больна, раз повезли из Семипалатинска? Или, наоборот, оттого и повезли, что очень больна?

— Кто знает! Да, ты слова Нуры хочешь слышать?

— Еще бы!

— «Хабар» знаешь что такое?

— Слух, рассказ.

— Вот-вот. И пошел про вас хабар...

— Про всех нас?

— Нет, Скурлатова в этом хабаре нету. А хабар, ахтер ты мой неумытый, вот какой. Есть-де учитель столичный, и есть-де у него сын. Оба ученые. Отец-де даже погонами золотыми за ученье награжден. Жили они, жили на Иртыше и вдруг разглядели, что живут неправильно, что вера у них неистинная. Православная то есть. И, поняв эту неистинность, пошли они в Бухару пешком, по обету, значит. Чтобы, значит, обучиться истинной вере в Бухаре, постричься там в Магометову веру...

— Да у мусульман нет пострижения!

— Ну, я не знаю, как оно называется — перекрещиванье, что ли. Короче сказать, из Бухары, мусульманами уже, идете вы в Мекку, чтобы, значит, молить об урожае и чтоб казахские земли царь не отнимал. И чтобы знать, правильно ли молитесь, взяли вы с собой казахских детей: у них душа чистая и дальновидная.

— Вот так хабар!

— Хабар серьезный, коли приглядеться.

— И все?

— Да нет, не все. Дерево без ветвей не растет. А тут ветвь такая, у хабара, значит. Есть, дескать, в Семипалатинске киргизская девушка, дочь богатых родителей, Саумал по имени.

— Саумал?

— Она, Саумал. Так вот эта Саумал влюбилась в сына учителя. Он от нее отказался. «Мне, говорит, подвиг веры дороже». И ушел. Она мучается, страдает и того гляди побежит за ним вслед. Степь ее ждет.

— Вздор какой!

— Вздор, конечно, а многие верят.

Кузя поднялся.

— Подожди, подожди, Кузя! Твое-то какое отношение к этому хабару?

— Мое?
— Да, твое.
— Все было б ничего, кабы не Саумал.
— А что Саумал?
— Да то, брат, что в нее Борис Глебыч влюблен.
— Врешь?!
— Я сам тоже не верил, а Нура клянется. Борис Глебыч скрытный по этой части, и раз прорвалось наружу, значит, дело плохо.
— В каком смысле плохо?
— В твоем, ахтер. Для Бориса Глебыча киргизы — «собачки», он не может себе позволить, чтобы, значит, любовь к киргизке была. А тут еще какой-то наборщик, бродяга, под ногами. Нехорошо. Ты жди сегодня разговора с Борисом Глебычем. И воопче — поостерегайся. Мы тебя тоже постережем.
— Кто мы?
— Да возчики.
— Ну, вот еще!
— Отнекиваться нечего: у возчиков сила большая.
— Кузя-я! — послышался строгий голос Митяича.
— Бегу!
И Кузя, покашливая и похлопывая себя ладонью по груди, убежал. Я оглянулся на палатку. Она была неподвижна. Чай пить не звали, значит, слушали нас. Хорошо, что ребятишки по-русски плохо понимают. Хабар хабаром, мало ли болтают в степи, но боюсь, что под видом хабара Нура передал кое-что выходящее за пределы слухов. Повторяю, любовь Саумал ко мне — вздор. Беда не в этом, беда в том, что у Бориса Глебыча характер вздорный, он способен поверить самому ничтожному вздору.
Это и подтвердилось вскорости.
— Благородное и бурное празднество начинается! — послышался голос Бориса Глебыча, мутный и какой-то трухлявый.
Борис Глебыч, с четвертью водки под мышкой и серебряным дорожным стаканом в руке, подошел к цирковым актерам. За ним не спеша шагал Салазкин, держа поднос, на котором лежала колбаса, нарезанная толстыми кусками.
— Произведи впечатление.
Угощаемый, после короткого молчания, пил, делал обиженное лицо, смущенно брал всей пятерней

несколько кусков колбасы и отправлял в рот. Борис Глебыч спрашивал:

— Производит? Повторить? Цирковому представлению не помешает?

От цирковых актеров он направился к драматическим. Подавая стакан водки режиссеру Бреславскому, он сказал:

— А вы нынче будете хор древнегреческий изображать. Да так громко, чтоб эти истуканы поднялись.

И он указал на упавших богов.

Бреславский ответил небрежно:

— Пожалуйста! Поевши, мы не только древними греками — волками можем завыть.

Борис Глебыч медленно, вразвалку шел к нашей палатке. Салазкин отстал. Бреславский, цирковые и драматические артисты расселись по кошмам, приказчики начали перекладывать из казанов баранину на деревянные блюда и разливать суп в пиалы. Одна лишь Мария Николаевна Синицына, заложив руки за спину и наклонив голову, наблюдала за ними.

Борис Глебыч остановился у костра, высоко подняв четверть, слегка ударяя по ней стаканом, сказал мне:

— Произведи впечатление.

— Не пью.

— Пей.

Борис Глебыч поставил четверть на тропинку, прикрыл ее горлышко стаканом и спросил, закатывая глаза и скрипя зубами:

— Будешь пить?

— Не буду!

— Пей! Убью! Ненавижу! Шпана, бродяга!

Что я ему? Отчего он на меня так неистово злится? Я чувствовал, что не только мне, но и сидящим за дерюгой трудно сдерживаться. А сдерживаться нужно. Конечно, не мешает прислушаться к словам Кузи и Нуры, но Калмыковы дальновиднее, хитрее, злее. Почему, например, Борис Глебыч так настойчиво дразнит меня? Не понадобилось ли ему втянуть, скажем, Скурлатова в побоище и арестовать вместе с моим отцом? Хабар о моем отце, может быть, дошел и до Калмыковых? И драка в Сушкинской им, наверное, известна. Но в Сушкинской не было ни стражников, ни уездного начальника, ни чинов семиреченского охранного отделе-

ния, а здесь, возле ярмарки в Метелочной, полицейские бродят стадами.

И, как бы подтверждая мои мысли, глядела на меня с грустью Мария Николаевна Синицына. «Безопаснее ссориться с богом, чем с Калмыковыми», — говорил ее взгляд.

— Чего ж умолк, говорун? И почему вообще все говоруны замолкли? — кричал Борис Глебыч, размахивая серебряным стаканом.

Я взглянул в его мутные глаза. Чего он от меня хочет? И на мгновение мне показалось, что Борис Глебыч сам сознает, что порет глупость, и оттого испытывает страдание. Сказать ему это прямо в лоб?

Вдруг я услышал глухой крик Кузи:

— Тасан идет!

Борис Глебыч быстро повернулся и, выронив стакан, забыв о четверти водки, сделал несколько шагов к Тасану.

Тасан шел не один.

За ним шла Джагалтай, а несколько поодаль отец ее, старик Каризов. Одеты они были не по-праздничному, обычно. У Тасана из-за пояса торчал оселок, а над головой у него ярко поблескивала коса.

Борис Глебыч сжал кулаки и затопал ногами.

— Нечего тебе здесь! — завопил он на Тасана. — Не отдам я тебе тулпара, сказано.

— Отдашь.

— Верни тулпара, Борис Глебыч, — проговорил тихо старик Каризов. — Беда будет. Смерть идет.

— Грозишь? Господа, будьте свидетелями! Тасанка, последний раз говорю — убирайся, засужу!

— Я сам осудил себя.

— Судьба осудила нас, — поправляет его невеста.

— Да, к смерти! Вон там, над пропастью, скала с одинокой сосной, на ней укреплен стальной канат. Если к восходу луны ты, Бориска, не вернешь мне тулпара, я с невестой брошусь в пропасть, — спокойно и решительно говорит Тасан.

— Аллах запрещает самоубийство! — кричит старик Каризов, схватив свою дочь за руку.

Дочь резко вырывает руку, подходит к Тасану, и они идут к скале, прижавшись друг к другу. Тасан, оборачиваясь к Борису Глебычу, говорит, сам пугаясь своей смелости:

— Мы плюем и на аллаха и, заодно, на вашего русского бога, Борька! Какие это боги, если они не понимают нашей любви?

— И если они не встают на нашу защиту, — договаривает невеста. — Мы не боимся ни смерти, ни богов! Ничего.

— Отдай тулпара, — говорит Тасан.

Борис Глебыч верит, что Тасан и Джагалтай бросятся в пропасть. Ему страшно. Да и неприятностей много: следователь, газеты, хабар. Отдать тулпара, добытого с такой хитростью? Нет. Никак невозможно!

Странно, что мысль признаться в мошенничестве, покаяться, заплатить настоящими деньгами Тасану даже не приходит в голову Борису Глебычу! Печально и забавно это.

Борис Глебыч бормочет, глядя на Тасана и Джагалтай:

— Фу-ты, боже мой, угоднички, что эти немаканые говорят! Любовь? Ха-ха!

Да, Борис Глебыч, но перед нами действительно любовь, та самая любовь, от которой умирают! Влюбленные шагают частыми, но мелкими шагами, не очень-то торопясь к пропасти. Умирать от любви и превращаться в прекрасную балладу не так-то приятно. Скала не кажется им уютной. И, однако, они идут к ней. Руки обедающих замирают над бишбармаком, глаза их застилают слезы. Калмыковы сильны, их все боятся, но любовь есть любовь, и влюбленным перед смертью многое прощается!

Проходя мимо, Тасан бросает Борису Глебычу бумагу. Векселя? Борис Глебыч хватает бумагу, читает и, видимо совершенно растерявшись, сует ее мне: должно быть, посчитал меня за Салазкина? Это письмо Саумал. Дикое, ни с чем не сообразное письмо! Всего несколько фраз. Саумал пишет, что такой любви, как любовь Тасана и Джагалтай, не было и не будет на свете. Они на самом деле умрут, если их разлучат. «Вы меня любите, Борис Глебыч? — спрашивает Саумал. — Но жениться на мне вы не в состоянии: отец и все прочее не позволяет вам жениться на казашке. Быть по-вашему. Не женитесь. Я готова быть вашей содержанкой, в случае если вы вернете тулпара Тасану».

— Вот тебе и на! — бормочет Борис Глебыч, вырывая у меня письмо и перечитывая. — Так и написала:

«содержанка!» Геммадинова-то она, стало быть, не любит?

И он вдруг кричит Тасану:

— А ты и сена накосил, уверен, что коня верну? Не получишь! Поддельное письмо, поддельное! Когда успел в Семипалатинск смахать?

Тасан не отвечает.

И он и невеста стоят на скале, над пропастью.

— Ну, и черт с вами, стойте! — вопит Борис Глебыч.

И кланяется гостям и артистам.

— Прошу кушать. Не обращайте внимания на болтунов.

Каризов бормочет не своим голосом, испуганно оглядывая пирующих:

— Позор моей голове! Оплевана моя седая борода! Зачем мы здесь, зачем?

— Да, карике, зачем?

Этот тихий вопрос Тасана, явственно донесшийся до скалы, потрясает старика Каризова. Тасан прибавил к имени своего губителя частицу «ке», которая означает высокое почтение! Тем самым Тасан простился с жизнью! Пройдет мгновение, и Джагалтай, сухощавая, стройная девушка с длинными каштановыми косами, и Тасан, с его красивым лицом, с выпуклым лбом цвета бронзы, с широкими темными губами, с узким носом, юношески-свежий, высокий, сильный, оба будут лежать мертвыми на дне пропасти! Зачем отец все это допустил? Почему сразу не отдал дочь Тасану? Почему он еще и сейчас уверен, что Бориска-лошадник вернет тулпара и все уладится? Почему он еще способен бормотать, глядя на Тасана?

— Посади Тасана на его тулпара, у всех вас морды от зависти станут измятыми.

Почему?

Да потому, что жил старик Каризов всегда мелко и привык о людях, в том числе и о своей дочери, думать мелко. Где там броситься ей в пропасть!

«Нет, бросятся, бросятся!» — шептал я с невыносимой тяжестью на сердце.

И не мог оторвать глаз от скалы, где влюбленные, перед тем как сделать последний шаг, опустились на колени: прощаются с долиной, аулом, горами, жизнью.

— Ты бы, Всеволод, не на скалу смотрел, а на дорогу,— услышал я голос Скурлатова.

А затем раздался властный окрик:

— Сто-ой!

Привстали. Смотрели в ту сторону, куда указывала рука Скурлатова и откуда слышался шум, неясный топот множества босых ног, горловые и густые голоса.

— Не нуждаемся в зрителях! — закричал Борис Глебович. — Для себя играем. Кто идет?

— Голод,— ответил угрюмо Скурлатов.

Скурлатов вбежал на скалу, благо что она была в нескольких шагах от нашей палатки, ласково и крепко поднял влюбленных, повернул Джагалтай лицом к дороге, а вслед за Джагалтай повернул и Тасана.

Вдумчиво и светло улыбаясь, Скурлатов спросил у Тасана, указывая на приближающуюся толпу:

— А эти, идущие, что же, не умеют любить? Или они, что же, сильнее тебя, Тасан, или тебя, Джагалтай? Нет, они равны силой с вами, значит, равны и надеждой. А равны потому, что идут вместе, тучей. И не для того они сюда идут, чтоб вслед за вами броситься в пропасть. А для того, чтобы взять вас с собой и идти вместе с вами дальше. Отец не отдает тебе свою дочь, Тасан? Эти люди будут тебе отцами. Они вернут тебе тулпара, вернут тебе счастье, Тасан. И тебе, Джагалтай, тоже! Есть на земле радость, свет, надежда! Есть, друзья.

Внизу, на каменистой дороге, показалась огромная толпа босых, запыленных оборванцев. Это шли безземельные, или как их зовут здесь, — почему не знаю, — «коты», — шли искать работу в Метелочной. Когда они приблизились к перевалу и услышали Скурлатова, шаги их замедлились, а лица повеселели. Может быть, кто-то из них слышал его раньше, а может быть, было условлено, что они здесь встретятся.

Они расступились. И в их толпу вошли Скурлатов, Тасан и Джагалтай. Толпа сомкнулась, глубоко вздохнула. Душная, стекловидно-серая пыль стояла над ней, и мы услышали мерный, уходящий топот.

— Да-а, повертончик-то, значит, совсем близко, Вячеслав Алексеич? — спросил моего отца Салазкин. И, не дожидаясь ответа, добавил: — А ты что ж отстал?

— Погляжу представленье и пойду, — ответил мой отец. — Пока палатку соберем, заседлаем. Опять же и бояться теперь нечего: безземельные-то кой-кого припугнули, а?

Салазкин промолчал. А Борис Глебыч, делая вид, что слова моего отца не имеют к нему никакого отношения, сделал беззаботное лицо и приказал:

— Цирк, действуй!

Над полянкой проносится глыбистое погрохатыванье духового оркестра.

Слушая музыку, я радостно дрожу, а в то же время испытываю стыд и досаду на себя. Надо бы мне действовать по-другому — смело, неожиданно и высоко, так же, как, например, поступил Скурлатов. Какая сила, быстрота и вместе с тем как вдумчиво и поучительно!

И недвижно над нами, от скалы к скале, перерезая пополам безоблачное, ослепительно-жаркое небо, висела туго натянутая стальная проволока. И страстно хотелось мне взять огромнейшие ножницы, перерезать ее, чтоб, извиваясь и свистя, скользнула она по этой буро-оливковой земле и скрылась в пропасти вместе с этой несправедливой и жестокой жизнью, которую сейчас вижу я.

—Господа-а! — слышится бесстыдно спокойный голос Коромыслова. — Выступает всемирно известная танцовщица на проволоке, блистательная Антуанетта Сирбо!

Безземельные шли быстро. Луна поднялась высоко, когда мы увидали Скурлатова, Тасана и Джагалтай. Мой отец остановился, заложил руки за спину и сказал:

— Боги встают. Любовь Джагалтай и Тасана — пример любви, перед которой в почтении поднимаются боги. Я — христианин, и мне бы не подобало глядеть, как встают языческие боги. Я, по своему религиозному убеждению, должен бы их снова опрокинуть. Но как мне их опрокидывать, если я обожаю чистое чувство любви?

Рассуждения моего отца были прерваны довольно странно. Мы услышали чудовищный гул. Отец умолк, разводя недоуменно руками. Я почувствовал головокружение и тошноту. Скурлатов зашатался. Ребятишки упали на землю. Нубия тихо и стыдливо присела на задние ноги и раскрыла рот с очень плохими зубами. Показалось, что скалы, стоящие у дороги, растерянно прикоснулись друг к другу.

Но спустя минуту отец уже весело кричал мне на ухо:

— Упавшие боги поднимаются, видишь? Жаль, что ушли мы с той полянки.

— Скажи проще: землетрясение.

Едва я успел договорить это длинное слово, как гул умолк, скалы выпрямились, деревья замерли. Только где-то далеко внизу, в долине, грохотали камни. Нубия поднялась. Мы пошли дальше.

Однако, почувствовав вскоре неодолимую слабость, мы свернули к ручью и, хотя было еще рано, расположились на ночлег. Уснули мы мгновенно.

Я проснулся поздно ночью. Надо мной вздыбилась Большая Медведица, а поперек ее покачивался тонкий канат. Я повел взор вдоль каната и при безмолвном и бестрепетном свете звезд увидал, что моя девочка Гулькамыс, балансируя шестом, идет по канату. В другом конце поляны старший мальчик Бадам поднимал Нубию на задние ноги, а под канатом, который ребята, к счастью, не могли высоко натянуть, танцевал младший, Нарикбай, что-то напевая и хлопая себе в такт ладошками!

— Откуда, чертенята, канат достали?

— А это порванный, выбросили цирковые! — ответил Бадам.

— Выходит, дядя? — закричала Гулькамыс.

— Выходит, и одобряю, что тренируетесь. Но сейчас вы мне мешаете спать. Укладываться!..

НЕДРЕМЛЮЩИЕ ДЕТИ ХАНЫКЕ-СЛУ

Всю ночь моросил холодный, пронизывающий дождь. По перевалу, извиваясь, ползла скользкая липкая дорога. Вокруг ни кустика, ни деревца, только голые коричневые скалы и между ними тающий рыхлый снег. Остановиться и переждать дождь негде, и мы, преодолевая дремоту и усталость, плелись и плелись.

Нас перегоняли проворные купеческие обозы; быстрые таратайки, где качались круглые казачьи головы с пышными усами; черные скрипучие фуры переселенцев; верховые казахи, которые, несмотря на дождь и позднюю ночь, шутили и смеялись.

Наконец ближе к рассвету послышались знакомые колокольцы, провели Сквозного, а за ним, покачиваясь, проехали калмыковские коляски с плотно застегнутыми кожаными лакированными полостями. С козел, вытирая рукавом мокрый лоб, склонился Нура и угостил моего отца «насом». Мне показалось, что в щель полости блеснул браслет и сурово сверкнули знакомые глаза.

Едва коляска исчезла, как недремлющие дети Ханыке-слу начали расспрашивать:

— Кто это посмотрел? Василиса Глебовна?

— А почему Нура осветил нас фонарем и так чудно улыбнулся?

— Василиса Глебовна болела, и говорили, в Семипалатинске? У нее ведь там жених?

— Или она здесь с женихом?

Мой отец строго сказал:

— Дети! Ночь поздна, спите.

Дети помолчали немного, а затем снова начали:

— А кто такой китаец Бэй Шэн? О чем он говорил с тобой, дядя Вячеслав?

— Просил вас отдать ему: в Синьцзяне детей не хватает.

— А почему он называл имя Скурлатова?

— Тсс... О Скурлатове велено: молчок! И без шуток.

— Дядя Вячеслав, последнее. Почему китаец сам в рваном, а коню, поди, тысяча рублей цена? И это, я слышал, не самый худой в его табуне?

— Молчок, дети, молчок, — сказал отец так внушительно, что дети замолчали надолго.

Не думал я тогда, что это краткое молчание сулит мне много волнений и в какой-то мере оттолкнет от меня детей. Лучше б сказать детям все. А что — все? Кое о чем мы догадывались, но очень смутно. Китаец Бэй Шэн, встретивший нас у конца перевала, сказал, что он табунщик, пригнавший с несколькими друзьями коней из Синьцзяня. Теперь он ищет русского посредника. Он слышал, что Скурлатов большой знаток коней.

Мой отец ответил:

— Знаток-то он знаток, только будет ли от того знания толк. Цыгана вам надо какого-нибудь подыскать.

— Скурлатова нам надо,— повторил китаец, протяжно и громко вздыхая.— Он с вами?

Отец помолчал, свернул папироску, закурил раза два, жадно затянувшись, решительно проговорил:

— Среди «котов» ищи.

Китаец скрылся. Мой отец удивленно воскликнул:

— Ну и конь!

— Конь-то хорош,— сказал я,— а вот каков седок?

— Из полиции, думаешь? Нет. По коню вижу: шишка другая, не полицейская. Да и что за секрет я выдал? Все видели, что Скурлатов ушел с «котами».

К утру тучи стали реже, а когда перевал кончился, дождь и совсем перестал. Взошло солнце. Вершины скал из коричневых мгновенно превратились в резко-желтые. Природа вокруг дышала радушием и лаской. Дорога душисто пахла. Я водил изумленными глазами, и мне плохо верилось, что я в тех же горах, где еще час назад мы отчаянно дрожали от холода.

Беззаботно калякая между собой, быстро спускались мы с перевала к Метелочной. Из степи то и дело налетал теплый мягкий ветер. Пели птицы. В оврагах цвели дикие яблони. Как и облака, яблони кажутся продолжением снегов, что упрямо видны под нами в падях.

Широкие зеленые предгорья чуть ли не до самой станицы Метелочной забиты табунами коней. Топот их, давящий своей величавостью, казалось, заглушал наши голоса. Мы шли смущенные. К тому же пастухи, к которым мы обратились, плохо понимали наш казахский язык, даже язык детей — Бадама и Гулькамыс.

— Да откуда вы?

— Из Синьцзяня,— ответили пастухи. — Из Китая.

— Наречье плохое,— сказал Бадам,— а кони хорошие, беспокойные.

Ах, какие кони, какие кони! Бадам почесывал возбужденно переносицу, подскакивал. Глаза его были полны слез, он дрожащим голосом пытался выразить свое восхищение — и не мог. Злые, игривые, осторожные, змеиные, пламенные — бесчисленные кони пасутся по предгорьям, а вскочи на одного из таких, какой он сразу даст ласковый, летучий ход.

— Э-э-эй, типографские!

— Наш, наш! — закричали дети.

Возле одного табуна я вдруг увидел Щепетникова. Он стоял, наклонившись, проворно махая руками, словно опять крутил печатную машину.

— Ты чего машешь, Щепетников?

— Хозяину табуна. Авось работы даст. В Метелочной работы не жди, там этих «котов» собралось тысячи. Вся надежда — перехватить хозяина здесь. Я и выбрал лучший табун.

— А кто хозяин?

Ответил мой отец:

— Да вон китаец идет, Бэй Шэн. Что же, нашел Скурлатова?

— Вечером встретимся,— ответил китаец, разглядывая Щепетникова. — Ваш?

— Помощник.

— Скурлатову помощник? — спросил китаец протяжным, веселым и одновременно холодным голосом. — Вы идите, он пускай остается: служить будет, жалованье положим. Не болтун?

— Где там болтать! — поспешил сказать Щепетников, удивленно разглядывая моего отца: «Всех-то он знает, везде у него рука!»

Перед уходом отец спросил у него:

— А как же молодая жена?

Щепетников скорбно поник головой.

— Ушел. Я бы не ушел, да тесть угнал. «Пашню запахали, засеяли, иди на ярмарку, денег к уборке заработай». А чем — не спросят? Я и ушел. Тестя — где ослушаться? Нынче выгнал на недели, ослушайся — выгонит на года. Беда!

— Беда,— подтвердил мой отец, и в продолжение всего пути по Метелочной он часто и задумчиво повторял это слово.

Ребятишки смотрели на меня вопросительно и встревоженно.

А что я им мог ответить? Как я их мог успокоить?

Взойдя на холм с матово-черной вершиной, мы увидали с него нестерпимо зеленые заросли камыша, блестевшую сквозь камыш ярко-голубую речку, деревянный мост, каменистый выгон, ярмарочные балаганы, дома станичников и, конечно, еще одну строящуюся церковь. Метелочная!

Метелочная!

Железной метлой выметено из этой станицы все, что хоть сколько-нибудь способно развеселить человека: цветы, деревья, украшения на домах, украшения на людях. Заглушая ярмарочный шум, доносятся из станицы постыдные, пьяные песни, перемежающиеся с рыдающими бабьими криками. Пойдешь станицею и непременно увидишь, как седоватый, пожилой казак бежит за другим казаком, размахивая колом, выдернутым из плетня. В тухлой пыли бабы таскают друг друга за волосы. Детей нет, они все словно попрятались.

А возле ярмарочных балаганов, на лотках и коврах, лежат золотисто-желтые, смородинно-черные, яркоголубые красивые игрушки, конфеты, пряники; балаганы полны бордовыми, ковылисто-белыми, яшмово-зелеными ситцами, бархатами, сукнами. За ярмаркой, ближе к реке, крутится карусель, возле нее несколько «панорам», сипят шарманки, из зверинца несет острым запахом и изредка раздается львиный рык. Еще несколько шагов, и перед вами заколышется полотняная, белая, с сизым отливом, крыша цирка!

Смотришь на все это и думаешь: какой счастливой и прекрасной жизнью могли бы жить люди и как несчастливо и отвратительно они живут! Ловкие, стройные артисты выбегают на «раус», возвышение перед цирком, приглашая зрителей посмотреть «упражнения силы и ума». Не менее ловкие и стройные молодые приказчики, стоя возле балаганов, рассказывают о великолепном качестве товаров, которые они могут продать. А что говорить о детских игрушках!

Цирк пустует, обороты в балаганах скверные, оптовые сделки слабы, о розничных лучше молчать. Один из купцов, толстый, черноглазый, прислонившись к полкам, с которых в течение пяти дней не было снято ни одного куска сатина, казалось, задыхался от волнения. Смахивая с висков капли пота, он говорит соседу:

— Разоримся непременно. Везли обозами чуть ли не за тысячу верст...

— Ничего, Глеб Иваныч выручит!

— Калмыков?!

— Я вам говорю, и мне верьте.

— Каким повертоном?

— Верьте!

И сосед, высокий, с маленьким, сухим лицом, делая вид, что ему безразлично это пренебрежение покупателей, нехотя взывает:

— Входите, господа, хоть полюбоваться!

— У них любуйтесь, у нас — покупайте! — кричит толстый.

— А лучше наших товаров и не водится! — отзывается сухой.

Покупатели идут, прицениваются, рассматривают товары и в один голос говорят, что денег у них совсем нет!

Хорошо и красиво в китайском ряду! Два китайца — один маленький, тонкогубый, веселый, с расслабленными движениями, и другой — угрюмый, мерно и резко размахивающий руками — ходят перед своим рядом и о чем-то оживленно говорят. Это — компаньоны, крупнейшие торговцы конями, из Синьцзяня. Говорят, это они пригнали тысячи голов и — всех продали Калмыкову! А то, что не покупают шелк, им плевать!

Мы расположились сразу же за ярмаркой, на берегу реки, недалеко от широкого и гулкого деревянного моста. По эту сторону моста, по ту и на самом мосту толпятся безработные казахи и русские «коты». Их не меньше двух-трех тысяч. Они собрались сюда со всего Семиречья. Они шумят, кричат, бранятся, шутят, изображая, что мертвецки пьяны, но они — трезвы, голодны, невероятно злы, ждут с нетерпением работы.

Еще дальше, за мостом,— луг, предгорья, табуны и гурты.

Вопят что-то неразборчивое «коты», шумит река, и в такт этому шуму слегка покачивается мост. «Коты», ожидая подрядчиков, не отходят от моста. Они выстроились здесь с самого раннего утра. Изредка приходят управляющие или старшие приказчики и выбирают: кого на земляные работы, кого на постройку балагана, погреба, разгрузку обозов.

Идешь мимо, «коты» ласково подшучивают:

— Из скурлатовцев!

— Командир аль солдат?

— У него каждый солдат — командир.

— Обворуженья не вижу.

— Наше обворуженье — зубы,— отзываюсь я.

«Коты» хохочут:

— Это верно: остры с голоду!

— Слышь, типографский! Скоро бунт начнем? Распоряженье скоро?

Какой-то босяк из задних рядов кричит:

— Обсудят и присудят! Жди.

Шутки шутками, но в восклицаниях «котов» немало правды. По-видимому, Скурлатов действительно с кем-то «обсуждает» степные дела, да только ли степные? Я имею кое-какие основания думать, что на ярмарку, под видом покупателей, съехались на совещание большевики Семиречья и Прииртышья. Привезли, по-видимому, и литературу. Однажды Скурлатов принес пачку книг: Владимир Ильин: «Развитие капитализма в России», Меринг: «История германской социал-демократии», Гуго: «Справочная книга социалиста», отчеты и речи на интернациональных конгрессах.

Щуря глаза на балаганы, выгон, возы с поднятыми оглоблями, яркие платья баб, яростно торгующихся с приказчиками, Скурлатов сказал:

— Трудно читать — спрашивай объяснений. Мне в твоем возрасте тоже было нелегко. Я раз трое суток плакал от злости: не понимаю, что такое финансовый капитал и чем он отличается от не финансового, ха-ха!

— Боюсь, мне придется плакать неделю, если не месяц.

— Плачь! Хорошо, что человек стыдится незнания. Вот когда ему не стыдно своей глупости, это, брат, плохо.

— А что тебе китаец сказал?

— Бэй Шэн?

Скурлатов еще сильнее сощурил глаза.

— Разбили их.

— Кого?

— Китайских революционеров. Ты знаешь, что в Китае была революция и что Сун Ят-сен образовал революционное правительство?

— Слышал.

— Ну и правительство это оказалось несогласным между собой, через то ослабело, пришел бывший императорский воротила Юань Ши-кай и разогнал революционеров, переарестовал...

— А этот убежал, что ли?

— Кто?

— Бэй Шэн?

Скурлатов улыбнулся.

— Мне, брат, хочется, чтоб ты подольше был молодым: а коли все будешь знать, скоро состаришься.

Не скоро буду я все знать!

Привыкнув читать беллетристику, я скоро уставал от чтения «ученых» книг. Спрашивать? Я мог бы спросить о непонятном выражении, странице, но что мне делать, когда я не понимаю целые книги? Я переламывал себя, возмущался собой, но усталость брала свое,— и я шел к горам.

Переходишь мост, вступаешь на предгорные луга и видишь невыносимо прекрасную стать полудиких коней. Хорошую себе жизнь придумали кони, особенно если сравнить эту жизнь с той жизнью, какую ведут люди у моста! Вот пастухи гонят табунок рыжих трехлеток. От быстрого бега над ними стелется светло-розовая дымка. Молодой, стройный жеребчик выбегает вперед, замирает дрожа, глядя на вас. Его опьянение жизнью передается вам, ваше сердце начинает стучать, вы ласково протягиваете к нему руку. Безжалостное непонимание стоит между вами! Конь, высоко подпрыгнув, возвращается в свой табун, вы возвращаетесь к своему стойбищу.

Мы спим плохо: нужно стеречь Нубию. Ее украдут? Наверное, смешно это думать, когда в полуверсте пасутся табуны великолепных коней? Но при табунах пастухи и собаки, которые с легкостью выследят, догонят любого вора. А укради нашу Нубию — на чем догнать вора?

«МАМА ВЕЛЕЛА»

Я скоро убедился, что и в Метелочной нет надежды на работу. «Конно-драматический цирк», несмотря на свое красноречивое название, пустовал. Приказчиком? Многие приказчики, из-за отсутствия покупателей, ждут расчета. Чернорабочим пойти? Куда, к кому? Пойди попробуй, выбейся вперед из толп безработных у моста!

Здоровый, толковый, молодой парень, а ему негде работать и нечего делать! Я молча возмущался, охваченный тоской и недоумением. И как я ни пытался скрыть свои мысли, ребята понимали меня.

Бадам спросил однажды:

— Совсем мало денег, дядя?

— До Ак-Таша авось доберемся,— ответил я, печально створачиваясь.

Ответ был неосмотрительный.

Прежде ребята относились к Щепетникову холодно. Теперь они подружились. На целые дни они уходили в «китайский табун», обсуждали стать коней, встречали покупателей, которые, впрочем, не столько покупали, сколько прицениваплись: кони дороги. Китайцы запрашивали много.

Ребята тосковали по матери и отцу, им хотелось скорее попасть в Ак-Таш: ведь туда скоро придут и родители. Им казалось, что нас могут надолго задержать в Метелочной, а держит нас Скурлатов, которому стал подчиняться не только дядя Всеволод, но и сам учитель — дядя Вячеслав. Щепетников же обещал им город Верный, куда китайцы собирались угнать свой драгоценный табун: там, в Верном, больше ценителей и больше денег. А от Верного, казалось ребятам, рукой подать до Ак-Таша.

Особенно я взволновался, когда узнал, что в китайском табуне им обещали даже жалованье платить. Бадама, не забывшего Сквозного, особенно прельщало то, что он заметил в табуне трех-четырех коней, которые могли стать тулпарами, да еще и такими, что, пожалуй, забьют и самого Сквозного!

Я спросил Бадама прямо:

— Собираетесь с китайскими конями уйти?

Гулькамыс улыбалась беззаботно. Бадам, глядя мрачно, ответил дрожащим голосом:

— Мама велела.

— И тебе? — обратился я к Гулькамыс.

— Мама велела,— ответил Бадам за сестру.

Я решил поговорить с Щепетниковым. «Чем,— думал я,— китаец Бэй Шэн мог обворожить Щепетникова? А ведь обворожил! Какого-нибудь баптистского «благовестника» Щепетников слушает с меньшим вниманием, чем Бэй Шэна. И через Щепетникова обаяние это перешло на ребятишек».

— Что же, решил с табуном уйти?

— Да, раз бунта не будет, уйду.

— Какого бунта?

— В Метелочной, крестьянского, вместе с казахами.

— Откуда бунт?

— Через рецюнеров, которые к Скурлатову съехались.

— Кто тебе это сказал, Щепетников?

— Люди болтают.

— Да ты бы самого Скурлатова спросил!

— Спрашивал.

— Ну?

— Мигает. Ух, ненавистны мне все эти богатеи! Так вырезал бы их всех, положил рядком, плюнул на них и ушел,— прошептал он с омерзением.— Нету у меня сил жить в Метелочной, Сивалот, нету!

— Это твое личное дело, Щепетников. Но справишься ли ты с детьми Ханыке? Трое их ведь.

— Привыкать надо: женатый.

— Привыкать легко к своим, а чужие?

— Китайцы помогут.

— Бэй Шен?

— Что ж, китаец и кроткий и веселый.

— Веселый-то он, быть может, и веселый, а вот насчет кротости сомневаюсь.

И я добавил шутя:

— Язычник. Он, поди, и Евангелия не читывал.

— А человек евангельский.

— Но-о?

— Тебе говорю. Его жизнь — в точности моя.

— Рассказывал?

— От начала до конца. Землепашествовал, переселенцем был, ограбили, рецюнером стал, люди его в Государственную думу выбрали...

— Да ты-то ведь не был в Государственной!

— Буду.

— Когда?

— А когда всех бар и купцов вырежем.

— Да ведь бежать ему пришлось, бросив думу!

— Кто бежит, а кто и на месте останется.

— Ты останешься?

— Вооружение будет, останусь. Нет, его жизнь — в точности моя.

— И Раиса есть?

— И Раиса, и тесть, и земли нету.

— Земли, положим, у многих нету.

— У многих, да не многие в таком гневе, как я.

— Вот из-за твоего гнева и боюсь пускать с тобой ребятишек.

— А ты не бойся: в случае бунта ребятишки не подведут, они шустрые. Патроны будут подавать или кого там надо дорежут...

— Щепетников!

— Чего?

— Жестоко все это!

— А с нами они не жестоко поступают? — завопил он, вздрогнув. — Земли у казахов отнимают, грабят и барам отдают, вроде Калмыкова. А нам какие земли? Солонцы да песок! И еще говорят: «Покупайте, братцы, портреты Миколая Второго по случаю трехсотлетнего царствования Романовых, радуйтесь!» Вот мы возрадуемся, подожди. Осветим их хрестьянской радостью!

— Тигр ты, а не человек, Щепетников.

— Тигр не тигр, а кости вырастил.

Во время этого разговора Бэй Шэн, шагах в ста от нас, показывал пегого жеребчика Бадаму. Седлал Бэй Шэн и вскакивал на седло с изумительной быстротой и легкостью. Бадам только ахал.

Когда я направился от табуна домой, Бэй Шэн догнал меня, взял за руку и спросил, любезно улыбаясь:

— Вам жалко детей?

— Я обещал их матери...

— Знаю. Передайте мне, хотя бы только до Верного, ваше обещание? Я сделаю Бадама жокеем, наездником, а Гулькамыс и Нарикбай будут при нем, на ипподроме: у меня там есть знакомые. Возможно, что и коней наших мы продадим на ипподром. Я, впрочем, советовался о детях со Скурлатовым...

— И он?

— Он сказал: посоветуйтесь со Всеволодом.

ОБЛАСТЬ БЕЛОГО ТИГРА

На нем короткая, заплатанная рубаха с перехваченными у кисти рукавами, с палочками вместо пуговиц. Бэй Шэн сухопар, лицо тусклое, словно покрытое плотным слоем пыли, и тем сильнее выделяются на лице темные и веселые его глаза. Загадочный человек! Загадочен он и по всем повадкам и тем, что говорит удивительно правильным, книжным русским языком:

— Я всегда мечтал встретить идеального русского. Я читал о них в книгах Тургенева, Толстого, Горького. И я очень рад, что наконец встретил его.

Невольно подумалось: как врет! И тут же стало стыдно. Бэй Шэн скосил умные глаза и без насмешки надо мной проговорил:

— Скурлатова. У него есть все: любовь к народу, интернационализм, смелость, жертвенность, наконец. Его жена в Верненской тюрьме?

— Да

— За организацию нелегальной типографии?

— И за это, кажется.

— Ей грозит смерть, если он теперь будет продолжать грозящие восстанием переговоры?

— Переговоры? С кем?

Бэй Шэн любезно улыбнулся, но ничего не ответил.

— Он учился в Петербурге?

— Да.

— В университете?

— В тюрьме преимущественно.

— Тоже высшее учебное заведение. Я испытал... Поиграв пальцами в воздухе, словно ломая решетку, Бэй Шэн продолжал:

— Мне бы хотелось побывать в Петербурге.

— Что же мешает?

— Попаду, если не позовут обратно в Синьцзянь.

Он оглянулся и сказал глухо:

— В тюрьме, за типографию? А я как раз хотел поговорить о типографии.

— Какой?

— У нас, в Синьцзяне. Передвижной.

— Прессом печатать медленно. Для передвижной лучше всего приобрести «американку».

— Вот именно, «американку»! Скурлатов — печатник?

— Да.

— Он мог бы посоветовать?

Я не совсем понимал его и спросил:

— А вам что же печатать? Визитные карточки?

Он тихо засмеялся, опять играя в воздухе пальцами.

— Именно, визитные карточки! Хе-хе... О приближающейся снова революции! Хе-хе... Итак, нам нужна «американка».

— В Верном едва ли купишь.

— А попытаться?
— Попытаться не трудно.
— Ваш отец — студент и офицер?
— Приблизительно.
— Ему легко попытаться?
— Вы имеете в виду, чтоб начальство разрешило ему купить «американку» и шрифт?
— Э, начальство! У нас начальство очень любит взятки.
— У нас тоже.
— А раз взятки, то какое же оно начальство?
Он молча, заложив руки за спину, прошел несколько шагов, затем поднял голову, сверкнул веселыми глазами и спросил, мечтательно оглядывая небо, облака, горы:
— Приятно, когда вас ведет белый тигр?
— Вы про Скурлатова?
— Да! Наши астрономы, видите ли, делят небо на четыре четверти. Та четверть, которая простирается над страной, попираемой ныне нашими ногами, называется Областью Белого Тигра, должно быть, потому, что тигры вашей страны имеют беловатую окраску шкуры, балхашские, например, а?
— Беловатые. Я видел шкуры балхашских тигров у Калмыкова.
— И приятно, не правда ли, когда вас ведет тигр, а не шакал.
— Что и говорить!
— Тогда, значит, до свиданья! Я возвращаюсь к табуну.
И, поправив засаленный треух на голове, Бэй Шэн покинул меня.
Я был в полном недоумении.
Мой отец варил возле нашей палатки кашу. Я рассказал ему о Бэй Шене, Щепетникове, ребятишках и о том, что они, кажется, уйдут с китайским табуном.
— Ничего не поделаешь,— сказал мой отец. — Кочевники. Для них хорошие кони притягательней, чем хороший русский.
— При чем тут русский?
— Ну, казах, может быть, их еще и уговорил бы, а у тебя слов не хватает. Впрочем, не унывай: я этому Бэй Шэну верю.

— Ему все верят! А что в нем такого? Китаец как китаец.

— Впоследствии, может быть, будет китаец как китаец, а сейчас — редкий. Итак, значит, «мама велела»? А что «папа велит» тебе известно?

— Какой папа?

— Твой, Всеволод.

Почесывая поясницу, он спросил:

— Тебе Василиса Глебовна нравится?

Я покраснел.

— Влюблен? Ну что ж, и она, по-видимому, не для того, чтоб плюнуть на тебя, приехала в Метелочную. Объяснись. Это имеет, может быть, не только семейное, но еще и политическое значение.

— Какое там политическое?

Отец, мешая кашу, морщась, пробуя, обжигаясь, прошипел:

— Кажись, наши вояки хотят к трехсотлетию дома Романовых поднести царю подарок: Синьцзянь. Что ж, пирог немалый: Германия и Франция уместятся в таком пироге.

— Это в каком же смысле?

— А в том, что желают захватить Синьцзянь.

— Да кто?

— Тьфу!

И уже не от того, что обжигался, а от негодования на мою тупость отец прошипел:

— Василиса Глебовна тебе все скажет, когда объяснишься. Влюбившись, женщины подобного рода от возлюбленного тайн не имеют.

Вид у меня, должно быть, был очень глупый. Отец посмотрел на меня с жалостью и, подождав, когда я успокоюсь, добавил:

— Жалко мне тебя. Да и ее. Такая способная, и себя погубит и тебя.

Он утер глаза.

— Но и Скурлатова жалко. Сведения, что действительно предполагается захват Синьцзяня, имеют для него первостепенное значение. Я это чувствую.

— Значит, тебе не Скурлатов...

— Слава богу, и сам мозги имею.

На лице у меня, по-видимому, выразилось разочарование. Отец воскликнул:

— Да почему тебе так важно, чтобы этот белый тигр постоянно вел тебя? Давай-ка сами соображать.

— Соображаю,— вяло сказал я.

— Ну и что же?

— У нее жених. Малицын. Как же я буду объясняться, если она жениху не отказала?

— Ну, не отказала, так откажет.

— Кроме того, есть еще причина колебаться.

— Какая?

— Если она действительно скажет все, то скажет и про мужа...

— Тьфу, пропасть! Какого еще мужа?

— Покойного Назаренко, что в Пишпеке...

— А-а!

— И вдруг окажется, убила-то его она?

— Что же?

— Я должен буду передать ее признание правосудию... или Мейстеру! Тот только и ждет повода, чтоб начать процесс, но уже в ином освещении.

— И прекрасно!

— Чем же прекрасно-то?

— Ах, боже мой, как ты бестолков! Отравление Назаренко, к которому, возможно, сам Глеб Иванович имеет отношение, великолепно! Подозреваю, Глеб Иванович и есть главная душа похода на Синьцзянь. Преступник! Уголовный! Большей услуги Скурлатову мы оказать и не сможем.

— Хорош же я буду на этом фоне!

— А что?

Я махнул рукой.

Отец снял фуражку и, по-военному держа ее на отлете в левой руке, перекрестился правой.

— Клянусь тебе богом, Всеволод, что ты поступишь правильно. Тут нет никакой натяжки! Она тебя любит. Она же на весь Семипалатинск кричала, что обожает тебя!

— Из общественных побуждений.

— Из каких таких общественных?

Я рассказал, как мы с ней решили «посмеяться над Семипалатинском». Отец представил себе картину, нарисованную мной, и задумался. Немного спустя он пробормотал:

— И ты ей поверил?

— Почему же не поверить?

— Милый мой, у тебя тыква, а не голова! Она — плотоугодница и через то сладкопевица. Вот — взяла и напела всякой всячины. А напевшись, сама обалдела от этой песни.

— То есть в каком смысле?

— А в том, что она теперь тень твоя.

— Но тогда дело получается еще запутанней.

— Почему?

— Она — моя тень? Значит, я — тень ее тени. И достаточно ей намекнуть, чтоб я молчал,— о чем бы то ни было,— язык мой онемеет.

Отец, вздрогнув, сказал смиренно:

— И ты будешь прав. Что же, однако, нам делать? То есть относительно Синьцзяня. Знаешь, Всеволод, плюнь, не ходи! Спросит, скажи — отец не велит.

— И отец и мама не велят? А как же быть со Скурлатовым, с разоблачением заговора против Синьцзяня? В какой-то степени по нашей вине прольется кровь, начнутся разорения, грабежи...

Мой отец впал в смятенное состояние духа, что с ним случалось довольно редко. Каша была готова, он поставил горшок на кусок тряпки, заменявшей нам скатерть, молча нарезал хлеб, разложил ложки и даже поднес было ложку к каше — но есть он не мог. Отбросив ложку, он вскочил, затопал ногами и закричал:

— Говорил: не ходи ты в эту чертову Индию!

— Говорил? Когда?!

— Каждый день.

НАКАНУНЕ БУНТА В МЕТЕЛОЧНОЙ

У моста сильно шумели и волновались. Появился слух, что «подпольные» зовут к забастовке, протестам и на всякий случай раздают оружие. Кричали всю ночь, жгли костры, нестройно пели унылые песни. Я перенес палатку подальше от моста, а Нубию и детишек отправил в китайский табун. Ночь была ясная, лунная, и мне все казалось, что к палатке крадутся, шепчутся, сдерживая злой смех, звенят ножами.

Под утро отец привел казака Бучева, по-видимому одного из тех, кто приехал совещаться со Скурлатовым.

— Опасаюсь, паря,— сказал он хмуро,— как бы начальство на нас не рассердилось. А рассердится, топтать

конем начнет. Ты от моста близко: под коня не попади. Да и чего тебе теперь в поле лежать? Ребятишек, коня нету... ступай-ка ты к нам. Мы у станичника Волкова квартируем.

— Я отведу,— сказал мой отец.

— А вы куда же, Бучев? — спросил я.

— К мосту. Салазкина ждем.

— Ну, Салазкина и мне любопытно посмотреть.

Так я очутился у моста.

Толпа умылась, пригладила волосы, кое-кто надел чистые рубахи. Среди «котов» прохаживается Бэй Шэн, он на голову ниже всех и кажется издали подростком. Слышен приглушенный бас старшего Бучева:

— Политический протест, главное бы, ввернуть. Насчет отнимания земель у казахов. Казахов надо защищать!

— А нас, переселенцев, не надо?

— Бок о бок страдаем!

— Да и самим же нам еще триста лет страдания нашего велено отмечать и праздновать.

Старший Бучев увидал меня, поманил пальцем, подмигнул и сказал тихо:

— А ты бы, паря, ушел.

— Чего?

— Учителя нам нужны. Еще убьют.

— Учитель с вещами ушел к станичнику Волкову, а я только ученик.

— Ну, тогда учись у нас.

Наконец появился Салазкин. Он не спеша слез с кобылы, забросил поводья на луку седла и встал, прислонившись к перилам моста.

— Ну, братцы,— сказал он,— хотите стройтесь, хотите маршируйте...

— А хотите плюйте! — послышался из толпы звонкий голос очень пристойного, высокого и ладного «кота».

— Будет ваша сила: и плюйте. Повертон так повертон.

Салазкину безразличны и гнев и радость «котов». Он лениво оглядывал тысячеголовую толпу. Куда торопиться? Ему нужно два десятка грузчиков, платить будет хорошо: полтинник в день на своих харчах. Другие платят четвертак.

Сразу же приказчик облюбовал четырех братьев Бучевых, бородатых казаков с «Георгиями» на груди,

пришедших сюда на заработки из старожильского села у Зайсана. Пригнал их сюда, как и прочих, джут и неурожай. «Георгии» они получили давно: за бой на реке Ялу в русско-японскую войну. Ходит слух, что «коты» злы. Салазкин уверен: Бучевы с «Георгиями» — мужики степенные, сами ворчать на купца не будут и другим не дадут. Он ошибается. Бучевы — верные приятели Скурлатову. Их-то приказчику уж не обсчитать, не обмануть!

— Беру. Идете?

— Идем,— отвечают Бучевы.

Пристойный парень, кричавший, что ему хочется плюнуть на Салазкина, расталкивая «котов», выбежал вперед, подбоченился и с обожженным лицом, стуча зубами от бешенства, закричал:

— Кого нанял, рожа калмыковская, кого? Не в очередь.

— Кого хочу, того и кричу.

— Поговори еще.

Салазкин побледнел, но ему нельзя было показывать перед «котами» своей робости, и он сделал вид, что смеется над пристойным парнем.

— Рот ты мне заткнешь, ха-ха?

— И заткну.

— А ну, пробуй!

— И попробую.

Пристойный парень, подбоченясь еще круче, завопил:

— Политические требования имею! Не смей отнимать казахскую землю!

— Будя, наотнимали! — глухо пронеслось по толпе. — Хватит.

Салазкин укоризненно покачал головой.

— Ой, дурак, дурак! Да разве я отнимаю землю?

— Калмыковы!

— И не Калмыковы, а военно-полицейская власть и высшие ранги, к ним и адресуйся, балда.

И он отодвинул пальцем пристойного парня.

— Тебя не беру. Отходи.

И, тыча в сторону толпы, в кого попало, продолжал:

— Тебя беру. Идешь?

Так он отобрал тридцать пять вместо двадцати: пятнадцать взял для прельщения. Остальные-де тоже будут надеяться.

— Пошли, «коты», — сказал он, кладя руку на седло. — Товар у нас скоропортящийся, надо разгрузить поторопиться.

— Рубль,— вдруг басом сказал старший казак Бучев.

Толпа затаила дыхание.

Салазкин опустил глаза, всунул ногу в стремя и легко бросил в седло свое тело.

— Аль ослышался?

— Да нет,— сказал Бучев,— слышал ты правильно: рубль в день.

— Полтина,— говорю.

— Рубль, и за хозяйский счет протест.

— Это какой еще протест?

— Высшим рангам в Петербург, — одергивая рубаху, сказал Бучев, — чтобы, значит, казахской земли не отнимали и переселенцам нарезали участки быстрей.

— За хозяйский счет?

— За хозяйский.

— Надо такую телеграмму?

— Обязательно.

Салазкин захохотал.

— Вы же все четверо братьев с «Георгиями»?

— Все четверо.

— Снимут! Перепорют, хоть и бывшие георгиевские кавалеры! — сердито завопил Салазкин, пытаясь скрыть страх свой и гнев. — Отменяю ваш наем! Других беру. Отходи в сторону тридцать пять человек без выбора! Но-о!

— А ты не нокай,— послышался задорный голос пристойного,— сначала взнуздай.

— И взнуздаю. Выходи! Полтина в день.

— Рубль,— сказал старший Бучев. — Рубль, иначе никто не выйдет.

Дрожа всем телом, Салазкин оперся обеими руками о седельную луку. Видно было, как он глотал поспешно слюну. Наконец он оправился и прошептал:

— Это что же, братцы, повертон?

— Забастовка,— сказал Бучев, — и политический протест. Терпели, терпели, да как ни крепко мужицкое терпенье, а и оно лопается.

— Братцы! В полицию придется сообщать!

— А сообщай.

Салазкин ударил коня плетью и поскакал в станицу.

«Коты» разбрелись кучками, в три — пять человек, вдоль реки. Ни Бучева, ни Бэй Шэна, ни Скурлатова я не видел. Впрочем, был ли в толпе Скурлатов? Да если и был, разве ему до меня, разве я ему нужен?

Оказалось, что нужен.

Поздно ночью меня разбудил отец.

— Чаю крепкого хочешь? — тихо, на ухо, спросил он.

— Да я же спал!

— А чтоб не спать.

Я сказал, зевая:

— Ночь дана для сна.

— Смотря кому. Все приличные звери охотятся ночью.

— Ну раз охотиться... за полицейскими, что ли?

— За литерами.

— Ка-ак?

— Подпольная типография прибыла,— сказал он важно.

— С кем?

— С Нурой, Кузей и товарищами.

— Давай чаю.

Мы спали в сенях станичника Волкова. Пахло тут огурцами, капустой, хлебом, сеном. На дворе выла и лязгала цепью собака. Множество телег вздымало к небу тощие свои оглобли. Несло дегтем. Светало, и было прохладно.

ПОДПОЛЬНАЯ ТИПОГРАФИЯ

Пересекли мост, долго шли по лугу среди табунов, сопровождаемые яростно лающими тощими казахскими борзыми. Наконец опять повернули к реке, спустились в какую-то балку, заросшую шиповником и тальником. Здесь, на песке у ручья, под кустом спал Скурлатов.

Вскакивая на ноги, Скурлатов сказал, смеясь:

— Хватит твоему сыну, Вячеслав Алексеич, фокусы показывать, покажи-ка свои!

— И покажу,— отозвался мой отец.

Он остановился перед Скурлатовым, покачал головой и задумчиво спросил:

— А прежде хотелось бы спросить: отчего вы мне верите? Мы ведь с вами разные.

— Разные, потому что наговариваете вы на себя разное. А мы, если отбросить наговор, не разные, а близкие.

— Я — дворянин.

— Лишь лет шесть назад вы были мещанином. Семипалатинским, вроде меня. По душе вы и сейчас такой же, Вячеслав Алексеич!

— Ого! — мой отец рассмеялся.

Отец вынес из кустов что-то завернутое в одеяло. Я увидел множество холстинных мешочков, расположенных, казалось, в знакомом порядке.

Поднял один мешочек.

Типографские литеры!

— Давай верстатку и оригинал, — сказал я Скурлатову.

В типографиях «оригиналом» называется текст, который набирают. Скурлатов ответил:

— Ты знаешь, о чем пойдет речь в листовке? Мы — безработные, голодные, да! И, однако, не позволим издеваться над собой. Платите, купцы! Это и набирай.

— Надо, наверное, более складно, — сказал я, подразумевая под словом «складно»: ясно, связно, доходчиво. — А я не умею. Политически я мало развит...

— Политически Всеволод совершенно не развит, — охотно добавил мой отец.— Меньше, чем даже я.

— Ну, уж совершенно! — с обидою прервал я. — Просто мы располагаем малым временем. И я, по неопытности, могу оказаться многословным. Отец, между прочим, в силу этой фамильной многословности, тоже не в состоянии продиктовать мне текст листовки! Ведь листовка призывает «котов» к забастовке?

— Забастовка уже началась. Нужно, чтоб люди держались стойко.

— И предъявили четкие политические требования?

— Вот, вот!

Скурлатов опустился на песок и, охватив руками колени, задумался, глядя на реку, где, за перекатом, поигрывали рыбы.

— Русские еще туда-сюда, — сказал он немного погодя, — есть и толковые из приехавших на совещание. Но казахов грамотных мало. Поэтому очень важно было бы напечатать листовку на казахском языке арабскими литерами. Листовка сейчас, пожалуй, важ-

нее устного слова: будут перечитывать, увезут в степь... очень важно!

— А есть и арабские литеры?

— Есть.

— Но я не умею их различать!

— А хорошо бы, Всеволод, — продолжал Скурлатов, мечтательно разглядывая реку, — напечатать листовку с одной стороны по-русски, с другой — по-казахски!

— А как это сделать?

— Предположим, так... Трудновато будет, но чем труднее сейчас, тем веселей в будущем, когда все трудности останутся позади.

Действительно, набор листовки оказался очень тяжелым, длительным и путаным делом.

Я набирал фразу, которую мне диктовал Скурлатов, по-русски. Отец тотчас же переводил и записывал фразу на казахский язык. Затем я останавливал свой русский набор, и отец, быстро запомнив, в каком мешочке лежат нужные арабские буквы, подавал мне одну за другой. Я пробовал было научить его, как ставить арабские буквы в верстатку, но ему стало обидно, — как это я смею учить его, студента Лазаревского института!

Однако мало-помалу мы привыкли.

А странно все-таки набирать русские и казахские слова под этим палящим солнцем, возле ручья! Время от времени я вставал и, чтобы дать отдых глазам, прикрыв их от солнца ладонью, глядел на мелкую листву шиповника и на бутоны его, готовые раскрыться. От волнения в голове шумело. Я работаю в подпольной типографии! Думая прежде о подпольной типографии, я представлял себе подвал, ночь, тишину. А тут — чириканье птичек, журчанье ручья, степь... Тени кустарников коротки и редки. Буквы раскалены солнцем. Взяв из ручья воду, я лил ее на буквы, и на буквах отражались тонкие ветки.

К обеду я кончил набор.

Скурлатов достал из кустов пресс, который в типографии называется «тискальным», баночку с краской, бумагу, натер валик, и мы отпечатали первую листовку.

Отец и Скурлатов углубились в чтение корректур.

Я, не без умиленья, проговорил:

— Приятно видеть таких корректоров!

Отец вздохнул.

— Русь! Люблю я Русь, но с негодованием!

Скурлатов, улыбаясь, хлопнул рукой по корректуре.

— Ты набрал, Всеволод, без единой ошибки. Хорошо!

Это было приятно слушать, и я с нетерпением ждал, что-то скажет мой отец относительно арабского набора.

Он сурово посмотрел на меня темными, большими глазами и четко, по-учительски проговорил:

— Зато в арабском тексте ошибки бесчисленны!

— Но ведь сам же ты, отец, подавал арабские буквы!

— Умный тем и умен, что умеет выбирать, а глупец оттого глуп, что хватает первое попавшееся.

Мой отец всегда побеждал обобщениями.

Победив, он добавил:

— А теперь иди по своим делам. Мы напечатаем без тебя. Ты к Калмыковым?

Я молчал.

— Листовку по ошибке не захвати, — продолжал мой отец, — а то прямо в каталажку угодишь.

Скурлатов, не поднимая головы, продолжал шипеть валиком по набору. Краска отдавала скипидаром, блестела, бумага приятно шуршала... Знает ли Скурлатов, зачем посылает меня отец к Калмыковым? Ах, как мне хотелось, чтоб он знал! Допустим даже, что он согласится с отцом. Но в таком случае Скурлатов даст совет, — и тогда я приманю всех Калмыковых, а не они меня!

Однако Скурлатов молчал.

Я совсем было скрылся в кустах, когда он крикнул, помахивая в воздухе листовкой, только что снятой с набора:

— А ты в цирк, Всеволод, собираешься?

— Нет.

— Если путь будет рядом, зайди. Ну, зачем им тратиться на какую-то дурацкую пантомиму о трехсотлетии дома Романовых? Совсем зрители перестанут ходить. — И, помолчав, добавил: — А китайцу к Калмыковым сейчас неудобно.

— Какому китайцу?

— Бэй Шэну. Он коней им своих хотел предложить по сходной цене...

— Чтоб сдружиться, — добавил отец.

Скурлатов посмотрел на отца. Взор этот говорил: «Разве уж так подробно все нужно разъяснять?»

В ЦИРКЕ И У ВАСИЛИСЫ ГЛЕБОВНЫ

— Да, да! — воскликнула Мария Николаевна Синицына, выслушав меня. — Мы и сами нечто подобное думаем. Волнения в станице, забастовка «котов», а тут: апофеоз самодержавия! Мы думаем сыграть «Любимый принц», в духе «Декамерона».

— А Павлодар помните? — перебивает ее Антуанетта Сирбо. — Я его всегда вспоминаю с огромным удовольствием. Омск, например, ужасен. Прошлой зимой я перенесла там тиф. Очень я подурнела? Но мне, простите, пора переодеваться: репетиция.

— Да и мне тоже.

Крошечные, торопливые и стремительные, что-то напевая сквозь зубы, шурша своими одинаковыми медно-красными платьями, подруги скрылись за дверями конторы.

Затем дверь чуть-чуть отходит, высовывается личико Антуанетты Сирбо, и я слышу милый шепот:

— Она смертельно влюблена.

— Кто?

— Синицына.

— В кого?

— Да в вас, глупый! Не мне же влюбляться: я женщина старая. Впрочем, сейчас сами услышите.

Комната подруг находится возле стойл, откуда несет острым конским запахом. Запах этот, смешанный с запахом псины, опилок и краски, крайне приятен мне.

Опять появляется Синицына. Она делает вид, что изумлена, даже всплескивает руками.

— Но в общем-то, хорошо, что вы здесь, — шепчет она, и я с трепетом жду любовного объяснения, хотя зачем оно мне? Но кто в девятнадцать лет откажется от любовного объяснения!

Но и странно же она объясняется!

— В своих скитаниях где только мы, драматические

артисты, не бываем. Так вот, несколько лет назад попали мы в Пишпек...

— В Пишпек?! — шепчу я еще тише ее и замираю сердцем.

— Чего ж тут удивительного? Не удивительно, что Назаренко был человек довольно начитанный и стремился к искусству...

— Муж?..

— Муж Василисы Глебовны,— делая большие глаза, шепчет Мария Николаевна,— играл небольшие комедийные роли, был любителем. Кажется, он слегка влюбился в меня. Помню отлично, он говорил, что охладел к жене, что она изменяет ему с каким-то землемером и хочет его убрать с помощью союзника.

— Почему же вы не выступили па процессе?

— Мы были тогда далеко от Пишпека, в Красноярске, и о процессе не слышали.

— Зачем же говорить о нем сейчас?

— А вдруг он возобновится?

— Процесс?!

— Так болтают на ярмарке.

— Ах, Мария Николаевна! Да мало ли что болтают на ярмарке.

— Из Метелочной мы направляемся в Пишпек...

— Забудем, прошу вас, Мария Николаевна, этот разговор!

Улыбнувшись, она скрывается за дверью. Я стою неподвижно. Дверь снова чуть-чуть приоткрывается, и Мария Николаевна шепчет:

— Я забуду, но признайтесь: вам страшно?

— Признаюсь.

Страшно — и все-таки я иду к поповскому дому, где остановились Калмыковы. И чего я прилепился к этим Калмыковым? Почему я кружу вокруг дома, чего жду? Наглухо закрытые ворота распахнулись, выехала коляска с тремя неизвестными мне важными военными. За ней — другая. Там — Малицын, Геммадинов, отец и сын Калмыковы. Правит Салазкин. Нуры нет. «Да, значит, все свои? А с Геммадиновым, что же, Калмыковы ввиду важности событий помирились? А и ссорились ли они, эти два цепных пса, охраняющих два банка?» Не хватает только Аралбаева, отца Саумал.

А вот и он!

Я подхожу к распахнутым воротам, и одновременно со мной, со стороны двора, подходит и Аралбаев.

— Ждет, — спокойно говорит он.

— Кто ждет?

— Вас, Василиса Глебовна.

— Ну и дела!

— Именно,— мягко улыбаясь, сказал Аралбаев,— огромные дела свершаются в наших благословенных местах. В телеграммке, господин Иванов, полученной мною из Ташкента, я извещаюсь, что приказом Глеба Ивановича Калмыкова куплено акций Среднеазиатского банка на четыреста тысяч рублей. Этак получается, что Калмыков купил две трети голосов общего собрания акционеров. Сумма!

— Сумма, — отвечаю я.

Мне хочется спросить: «А вы за какую часть суммы куплены, дорогой Аралбаев?» — но может начаться ссора, и мне тогда не попасть к Василисе Глебовне. Да и в конце концов дело вовсе не в Аралбаеве!

Иду через поповский двор к флигелю.

Двор другой, а жизнь, сразу видно, та же, что и в Семипалатинске.

Анастасия Николаевна, полная, рыхлая, с широким багровым лицом, с густыми черными бровями и заплывшими глазками, впрочем сверкавшими довольно яростно, ранним утром спешила на кухню, откуда целый день слышался ее взволнованный, порой умоляющий голос. Кузьминых, повар, низенький сердитый старик, часто грубил хозяевам, и ему одному в доме это позволялось. Графушка обижалась на эти грубости, но Анастасия Николаевна утверждала, что Кузьминых — лучший повар по Иртышу и его давно уже переманивают омские хлеботорговцы.

Василиса, думая о своем, переносила грубости повара спокойно, словно и не слыша их. Когда Графушка всплескивала обиженно руками, Василиса говорила:

— И не надоест обращать внимание на идиота?

И в Метелочной, как и в Семипалатинске, из кухни несет жареным, со двора видны отблески печи, пахнет дровами и еще чем-то приятным. Молодые женщины — Василиса, Графушка и Саумал — спят в одной комнате, самой большой.

Встают они поздно, около девяти, усталые и невыспавшиеся. Они обычно засыпали во втором часу

ночи — перед сном долго читали уголовную хронику столичных газет, романы о дворцовых интригах или слушали, как Салазкин докладывал об ярмарочных делах Борису Глебычу, который ходил из угла в угол и, в те минуты когда Салазкин умолкал, громко жаловался на небрежность табунщиков. Утром молодым женщинам есть не хотелось, за столом они капризничали. Затем Графушка и Саумал бежали на ярмарку или в цирк, на дневное представление, а Василиса Глебовна ложилась на диван с книгою. К обеду Графушка и Саумал возвращались, и Саумал задавала Анастасии Николаевне обычный вопрос:

— А свинина к обеду будет? Терпеть не могу!

Анастасия Николаевна терла виски, хваталась за толстую свою шею, словно ей было чрезвычайно душно, и говорила сдавленным голосом:

— В нашем доме едят поросят, а не свинину!

Дочери смеялись. Саумал добавляла:

— Едят у вас больше, чем у самого большого султана, и не замечают этого.

Ели действительно много и действительно не замечая этого. Впрочем, по всему Иртышу и Семиречью считалось, что чем богаче и почетнее дом, тем должны есть в нем больше и чаще. Борис Глебыч ездил на охоту, но полевой дичи в этом доме не любили; Анастасия Николаевна говорила, что полевая дичь пахнет рыбой, поэтому Борис Глебыч раздаривал свою добычу. Ели охотно только дроф, потому что эта птица похожа на домашнюю курицу. Ели всегда со строгими лицами, не разговаривая за столом, точно находились в храме. Хвалить или осуждать пищу считалось неприличным. Так же считалось неприличным спрашивать, что подадут к обеду или ужину. Люди, слава богу, не нищие, еда найдется!

Ночью в Метелочной, как и в Семипалатинске, спускали с цепи собак, сторожа брали берданки, ходили по двору и переговаривались шепотом. Часу во втором ночи Борис Глебыч выходил на крыльцо дома, долго смотрел на небо и молчал. Можно было подумать, что он наблюдает за звездами, но из звезд он мог назвать разве что одну Полярную. Некоторое время спустя во дворе появлялся Салазкин. Он подходил к молодому хозяину, они вместе смотрели на небо, и так стояли долго. Из флигеля на кухню через двор проходил, вы-

пятив живот, сердитый повар. Он молча снимал белый колпак, и Борис Глебыч говорил:

— Сергей Иваныч, как у тебя с продуктами?

— Тухлятина, — отвечал повар басом,— какие здесь продукты!

Солнце приближалось к закату. За окнами шумела ярмарка, продавцы закрывали балаганы, сторожа уводили или уносили пьяных. Василиса Глебовна читала том «Северных записок». При виде меня она не выразила ни радости, ни огорчения. Еле уловимая улыбка мелькнула у нее на губах, глаза ее ласково-пьяны, она вся еще погружена в книгу.

ЧЕРНЫЙ ПРЕСТОЛ

— Здравствуй, дорогой. Пришел-таки?

— Почему вы догадались, что я приду?

— А кто возле окон топтался? Я рада. Пыль, степь, ярмарочная скука, а тут все-таки человек со свежими намерениями. Ты ведь к Черному престолу?

— Это — престол дьявола, что ли?

— Кара-Карум, перевал прямого пути из Синьцзяня в Индию.

— Я, право, не знал.

— Хорош! А я-то думала: он свернул на Метелочную, чтоб идти в Синьцзянь, а оттуда на Черный престол, Кара-Карум. Зачем шел ты тогда здесь?

— А ты?

Василиса Глебовна захохотала.

— Куда жених, туда и я! Впрочем, что я мелю... видишь ли, дорогой, я не очень довольна коммерческими действиями моего отца... и мешаю ему, как могу.

— Насчет Среднеазиатского банка? Аралбаев мне выпалил сразу относительно четырехсот тысяч.

— Каких? Ах да! Кабы только банк... впрочем, это пустяки, то есть для тебя, милый. Так ты хочешь, чтоб отец достал тебе заграничный паспорт? По-моему, это легко: он, кстати, отправляет приказчиков в Синьцзянь — закупать коней...

— Коней и без того пригнали оттуда достаточно.

— Мало, мало! — пробормотала она задумчиво. — Коней нужно много, чтоб было из чего тулпара выбрать. Тебе уже известно? Сквозного увели.

— Сквозного?

— Ну да, тулпара. Этой ночью, вон из той конюшни. И не один пес не тявкнул!

— Тулпара?

Я тупо уставился в окно. Василиса Глебовна, положив ногу на ногу и откинувшись в кресле, искоса, одним глазом наблюдала за мной.

— Впрочем, это вполне естественно. Ярмарка, конокрады тоже, поди, понаехали... удивительно, что в доме, до утра, сидели и спорили военные, — они-то как ничего не слышали?

— Заспорились.

Она повернула ко мне лицо и долго рассматривала меня. По-видимому, тон моего голоса, каким я сказал «заспорились», показался ей странным.

— Что, Василиса Глебовна?

— Возмужал.

— Годы.

— Да нет, спутники не глупые. Пожалуй, даже чересчур.

— Выбиваем раба.

— Ну, рабского, положим, в тебе мало.

Она встала и, помахивая книгой, сказала:

— Раб? А что ниже раба? Ниже раба — учитель. Он раб тех знаний, которыми его напичкали. А кто ниже учителя? Повелитель. Он повелевает любовью, которая куда хуже знаний учителя: любовь ровнешенько не знает ничего.

Затем она шутя церемонно присела.

— Повелитель, рабыня кланяется тебе! Но почему повелитель терзает рабу, редко появляясь у нее? Неужели эти лавочки, харчевни, публичные дома, шулера, торгаши, готовые за рубль удушить друг друга, это сборище голодранцев у моста прельстительней ему, чем ласки и беседы его тоскующей подруги?

Высокая, бледная, с покатыми плечами, она прошлась по комнате, освобождая уши от закрывавших их рыжеватых волос, словно для того, чтобы лучше слышать себя, и продолжала:

— Тракт сюда убийственно пылен. Я приказала Нуре ехать проселками. А ты знаешь, Нура когда-то

охотился в балхашских камышах на тигров? Да, да! Плели большую клетку, влезали в нее и, медленно толкая, приближались к логовищу тигра, — в дни, когда тигрица рожала. Тигр прыгал на клетку, а его: бах-бабах!

— Индия!

— Только разве менее знойная, а дикости, пожалуй, больше. Едем мы мимо озера Ала-Куль. Казаки сооружают шалаши. Зачем? Для сторожей, видите ли, которых поставят стеречь пашни от налета диких гусей! Дикие гуси способны пожрать все созревшие нивы, подумайте! Озеро довольно большое, но ловить рыбу некому. Мы соорудили плот и подплыли к острову, видневшемуся в версте от берега. Высадиться на остров? Куда там! Он кишит змеями. А один киргиз, который подошел к нам, когда мы вернулись с острова, сказал, что на прошлой неделе он видел по ту сторону озера, в песчаных дюнах, табун совершенно диких коней. Надрывается сердце, когда слушаешь эти рассказы! Мне смертельно надоели дикие места!

— А голос восхищенный.

— Дорогой, потому лишь, что ты идешь по ним! Я восхищаюсь и ужасно жалею тебя. Мне тяжело думать о твоем голоде, а между тем ты не берешь от меня ни гроша! Я же вижу и понимаю, ты голоден, голоден!

Я с легкостью привык переносить насмешки над собой. Но насмешки над моим голодом возмущали меня ужасно, и в таких случаях я переставал понимать что-либо. Я пошел к дверям, пошатываясь от голода, от презрения к этой женщине и — от горя, что покидаю эту комнату.

Она догнала меня и, широко раскрывая глаза, тихо сказала:

— Шутки в сторону, Всеволод!

— Да, не мешало бы.

— Чего же ты хочешь?

Преодолев себя, запинаясь, я сказал:

— Котлет.

— Приготовлена целая сковорода.

Я схватился за дверную ручку.

— А, приготовлены! Значит, знала, что буду просить котлет.

— Боже мой, я сама голодная. Жду тебя — и есть не могу. Проверь, я буду есть первой.

Она действительно ела с жадностью. Мне было совестно отставать от нее. Мы мгновенно очистили большую сковороду, и она принесла чай и блюдо горячих творожных шанег.

— Ешь, милый, ешь. И я ем, видишь?

— Да, да.

— Тебе чаю с молоком?

— Да, да.

Выпив три чашки и принимаясь за четвертую, я, вспомнив о деле, с которым сюда пришел, спросил:

— Значит, Глеб Иваныч поступает неправильно?

— Сейчас? Очень неправильно!

— Сейчас, то есть сегодня?

— Ну да. Сегодня.

— А вчера он, значит, поступал правильно?

— Ты говоришь насмешливо.

— Еще бы! Вчера закабалил посредством продажи семенного хлеба почти все Семиречье, а я признавай его поступок правильным?

— Но он же помогал несчастным! Без него киргизы и переселенцы умерли бы с голоду.

С любопытством и наслаждением смотрел я на нее. Что она хочет сказать мне и чего ей вовсе не хочется говорить? Одно несомненно — она чрезвычайно озабочена, хотя голос и движения ее небрежны.

Я, насколько мог, презрительно ухмыльнулся.

— А теперь умрут, вернув вашему папаше вспомоществование — в четвертном или шестикратном размере! Благодетель!

— Я ему не позволю брать ни в четвертном, ни тем более в шестикратном!

— Кто сказал: вчера отец поступил правильно? А вчера-то Глеб Иванович как раз и брал у казахов и переселенцев расписки: в четвертном и шестикратном!

— Повторяю, не позволю! За тем сюда и приехала.

— Стало быть, вчерашний день стал сегодняшним?

— Ого! Да ты у своего отца все его софизмы перенял.

— Что?

— Софизмы, невежда!

— Я наелся, и брань мне теперь переносить легко.

Грустная усмешка показалась на ее горящих губах.

— Прости, милый. Я основательно потрясена. Не нравится мне этот Геммадинов и вообще вся комбинация со Среднеазиатским банком. Отец, кажется, берет ношу не под силу. И вообще, что произошло? Почему именно в Метелочной они решили — на улицах миллионы?

— Войной пахнет, — сказал я, наблюдая за ней с глубочайшим волнением.

Она отрицательно покачала головой.

— Что же?

— Так, вздор какой-то! И почему именно теперь нужно раздавать киргизским султанам и баям денежные ссуды? И добро бы под зерно или скот, а то — без толку, ни за что ни про что, в трясину...

— В трясину войны?

— Далась ему война! Какая? Откуда?

К моему вопросу она отнеслась, как видите, почти презрительно. Однако я чувствовал, что вопрос мой задел ее.

Разговор происходил в гостиной. Я сидел за круглым столом, покрытым толстой вязаной скатертью. Посредине стола была высокая лампа, недавно заправленная: от нее сильно пахло керосином. Отодвинув лампу, положив на скатерть руки, Василиса Глебовна села против меня и, быстро дыша, почти задыхаясь, повелительно сказала:

— Вон там, в конторке, бумага, карандаш. Возьми, записывай. Я тебе обрисую, как обстоят наши, калмыковские то есть, дела и что они в противовес хотят делать.

— Кто — они?

— Папа, Глеб Иванович, и брат, Борис Глебыч. Ну и прочие.

— Тут, по-видимому, важно знать прочих.

— Я-то знаю!

«Ты-то, голубушка, знаешь, но и мне бы знать не мешало», — подумал я, осердившись на ее пренебрежение, но смолчал.

— Что ты думаешь о нашем сибирском и семиреченском хлебе?

— Вкусный.

— Не гаерствуй, факир!

— Ну, если говорить всерьез, не нравится мне, как вы, Калмыковы, добываете этот сибирский и семиреченский хлеб.

— Плохо добываем, с беспокойством, но скоро будет лучше. Вот ты утверждаешь — сибирский хлеб безбожно дешев и никому не выгоден. Молчи, молчи! И пиши.

СЕМИРЕЧЕНСКИЙ ХЛЕБ

Я стал записывать. Выписываю теперь из своей тетрадочки эту беседу почти буквально. Помню, писал я тогда взволнованно, это даже сказалось на почерке. Да и как не взволноваться!

Молодая, изящная дама заговорила ученым языком, который был впору, пожалуй, только Мейстеру на некоторых страницах его «Размышлений». Она говорила громко и раздельно, была бледна, и стол дрожал под ее руками.

— Хлеб в Сибири дешев. Ну а дальше? Ведь бедствующие от недородов на Урале и в центральных областях России не могут есть этот дешевый сибирский хлеб: перевозка его по железной дороге стоит дорого, и русские помещики прилагают все усилия, чтобы не снижать высокие тарифы на сибирский хлеб. Помещикам выгодно продавать свой русский хлеб на месте, в центральных областях, за дорогую цену! Неужели ты полагаешь, что помещики скоро позволят нам вывозить хлеб из Семиречья и продавать его по дешевой цене?

Куда она ведет? Ничего не зная о хлебных тарифах, я глядел на нее во все глаза.

— Позволят или не позволят?

— Не позволят.

— А если продавать семиреченский хлеб не в центральной России, а в Туркестане?

— Кому?

— Вот именно, кому? Папа и Борис говорят: войскам...

— Ого!

— Подожди. А я говорю: коренным туркестанцам и семиреченцам, которых скоро станет много.

— Ну, скоро ли! А войска пригнать можно быстро.

— То же самое говорит папа, — вспыхнув и рассер-

дившись, проговорила Василиса Глебовна. — Но ты молчи и пиши.

— Пишу, — сказал я, с удовольствием отметив свою догадливость: «Ага, папаша русским войскам хочет хлебец продавать; значит — войск скоро будет здесь много».

— Минуточку, минуточку! Сейчас все в голове сложится...

Голос ее взволнован, она поглаживает легонько шею пальцами с огнистыми ноготками; закат играет на них. Я смотрю в окно. Через ярмарочную площадь китаец в синей куртке и шароварах, с повязанной по-бабьи головой — на глаза, ведет двухколесную повозку с неимоверно широким ходом. Экое чудно́е сооружение! Упряжь одиночная, с оглоблями, но повозку везут цугом четыре быка: коренник не везет, а только поддерживает равновесие повозки, а тащат ее уносные. Спицы пропущены через широкий обод, отчего за повозкой образуется ступенчатый след. В повозке много бамбуковых корзин с кирпичным чаем. На выпуклых бамбуковых плетениях лежат лучи заходящего солнца, и от того кажется, что корзины обиты медными полосами. Арба проходит мимо окон, и я вижу, что рот у китайца перекошен неизвестным мне горем, а глаза заплаканы.

— Готов?

— Я-то давно готов.

— Пиши. Скоро с нашей, калмыковской, помощью в Семиречье появятся крупные сельские хозяйства, на принципе полных прав владения землей.

— Казахской?

— Плевать — какой! Важно — земля, и важно, чтоб была она в состоятельных руках, а не в руках, которые быстро превращаются в руки «котов». Теперь средняя переселенческая семья привозит с собой на первоначальное обзаведение двести — триста рублей, вырученных от ликвидации имущества на родине. Кроме того, переселенцам выдаются ссуды: будем считать, что у каждого есть пятьсот рублей! Но, чтобы поставить хозяйство на сносный уровень, новосел должен затратить не менее четырех или даже пяти тысяч рублей. Вот и надо установить минимальный имущественный ценз на душу в тысячу рублей, — допускать в Семиречье элементы лишь вполне устойчивые в хозяйственном отношении.

— Откуда их взять, Василиса Глебовна?

— Создадим! Организуем кредит для колонистов. Посредством сурового контроля заставим переселенцев делать то, что для нас выгодно. Крупные, богатые поселения будут и работать крупно. О, семиреченская колонизация очень поэтична! Так весьма поэтичны и поучительны мероприятия в колониях Новой Зеландии, слышал? Там, с целью доставить переселенцам необходимые средства, английское правительство ассигновало тридцать миллионов — особый государственный заем. В зависимости от размеров хозяйства ссуды выдавались до двадцати пяти тысяч, и ссуды — не даром: переселенец уплачивал пять процентов на взятый им капитал. Выгодное помещение средств, не правда ли? Почему бы и нам не поступить так же?

— Действительно, почему? — сказал я насмешливо.

Василиса Глебовна кивнула мне и продолжала с явным наслаждением:

— После предоставления переселенцу участка банк открывает ему кредит. Все работы и расходы по организации хозяйства — постройка дома, сарая, устройство ограды, колодца, вспахивание, посев, — все производится под надзором банка.

— Вам просто, Василиса Глебовна, с вашими замашками, пора взять себе в управление штук пять банков.

— И возьму, в свое время! Кстати, о банках. Для правильной организации ссуд хорошо бы расширить в Семиречье учреждения мелкого кредита. Банк, таким образом, может охватить всю экономическую жизнь Семиречья! Банк — это небольшое государство...

— А вы — государыня?

Ненавистна она была мне в те минуты! «Боится потерять капиталы, — думал я. — Повторяет доводы, которые, наверно, много раз и безуспешно говорила Глебу Ивановичу, пользуется мной для примерки, как портной манекеном. Актриса Синицына права, предостерегая меня от Василисы, — такой и впрямь своего мужа убить ничего не стоит. Пора уйти. Только что-то еще я хотел спросить? Ах да, «коты»!»

— Простите, прерву ваши рассуждения, Василиса Глебовна. Вопрос существенный. Как вы думаете, что будет предпринимать начальство относительно «котов»?

— Каких «котов»?
— Да тех, у моста.
Она молча пожала плечами.
— Глеб Иваныч или Борис Глебыч вызвали войска на усмирение?
— А разве — бунт? Не слышала. Но ни отец, ни брат люди не официальные! Вызывать войска?! Наконец и в станице найдутся. У военных, которые приехали к отцу для переговоров, есть команда и оружие. Впрочем, Лены не будет.
— Какой Лены?
— Ленского расстрела. Я не допущу, хотя они и спорят со мной.
«Противоречива же ты, матушка!» — подумал я и решил немножко отложить уход: раз она начала болтать, то, может быть, проболтается о самом важном. Я взялся снова за карандаш и тетрадку, а она, как ни в чем не бывало, стала продолжать свои экономические размышления, которые слушать мне было довольно противно.
— Записали?
— А собственно, для чего мы это записываем?
— Как для чего? Покажете своему дружку Скурлатову! Авось он вам будет поменьше приводить своих доводов о неизбежной и скорой гибели русского капитализма. На чем мы остановились?
— «Банк, — это небольшое государство», — прочел я.
Она сухо улыбнулась и продолжала:
— Но, конечно, не обойдешься и без большого государства и его больших средств. В частности, в долине реки Чу на орошение огромного земельного фонда, пригодного для культур, на сооружение запруд и колодцев в районах песчаных и щебневых степей с целью полного использования их потребуется на протяжении ряда лет ежегодно ассигновывать многие миллионы рублей! Возникает вопрос о специальном государственном займе на мелиорацию!
— Ваша «Семиречка» тоже ведь частью сооружается на государственные средства? — спросил я.
Она, ничего не ответив относительно «Семиречки», продолжала:
— А начни наш банк мелиорацию, какие откроются широкие возможности для скотоводства, не говоря уже о пшенице или хлопке! Высочайше утвержденным

постановлением совета министров разрешена частным лицам сдача в аренду участков на двадцать четыре года, для скотоводческого хозяйства, площадью по пять тысяч десятин каждый! Рассматривается законопроект о передаче этих участков, по истечении срока аренды, в собственность арендаторов на условиях выкупа. Дело идет! Уже в Пишпекском уезде разводят тонкорунных овец, а какой выводят скот «калмыцкой» породы, каких лошадей! Хорошо?

— Для вас, по-видимому, хорошо: вы с таким редким упоением диктуете.

— Для всех хорошо, глупый вы, глупый! Теперь вы поняли, куда пойдет дешевый сибирский и семиреченский хлеб?

— Нет.

— Мы создадим семиреченский капитал, а капитал — людей, а люди — это и есть покупатели хлеба. Милый мой! Капитал здесь — всё! Фирмы Дерова, Касаткина, Титова, Воскресенское горнопромышленное общество — прогорели... Пора все это прекратить! Боже мой, какое у вас скучающее лицо!

— Любовь прекратилась, мы перешли на «вы», стали рассуждать о семиреченском капитале, ну я и заскучал. В Семипа̀латинске мы говорили по-другому.

Я встал и, показывая сделанные мною записи, сказал:

— Буду сидеть и обдумывать это на Черном престоле.

— Значит, решил-таки? — крикнула она, вспыхнув.

«Или я шутить не умею, или она перестала понимать шутки», — подумал я обиженно и переспросил:

— Что решил?

— Ну, идти через Синьцзянь в Индию! Превосходно. А то еще, того гляди, обвинят в краже тулпара Сквозного! Свидетелей подобрать легко...

— Калмыковым в особенности! — перебил я, презрительно усмехнувшись. — Надеюсь, вы дадите мне возможность унести в Синьцзянь обвинение, а не переложите его на плечи моих друзей?

— Разумеется, разумеется.

Я продолжал шутить:

— Итак, я приду к вашему отцу за заграничным паспортом?

— Разумеется! Уходите? Жаль, жаль. Однако темновато, я, пожалуй, зажгу лампу.

Она дотрагивается слабо горящей спичкой до фитиля, надевает стекло, выравнивает огонь и резко взмахивает руками, точно обожгла пальцы. Длинные, круглые руки ее открыты, она взбивает ими волосы, отдергивает занавеску, раскрывает окно.

Вечер. Ярмарка засыпает. Изредка взвоет оркестр цирка, взвихрятся аплодисменты, донесется щелканье бича да в промежутках от моста послышится глухой говор реки.

— Водой попахивает, и гальки погрохатывают, — говорю я.

Она садится, отгоняет книгой мошек и, улыбаясь, рассматривает огонь лампы.

— Но неужели же, Всеволод, вы все-таки попадете в Индию?

— Теперь уж проще простого. От Черного престола до Индии несколько шагов.

— А не кажется вам, что я сижу на Черном престоле?

— В каком это смысле?

— Во всяком.

— Нет, не кажется.

Я прощаюсь.

Она догоняет меня. Ей хочется проводить: недалеко, за ворота. Возле окна своей комнаты она вдруг останавливается. Взгляд ее обращен не в окно, на реку.

— Надо было потушить лампу.

— Потушена.

— А! Вы ее потушили?

— Я? Когда я уходил, она горела.

— А вам не хотелось ее потушить?

— Зачем же? Ведь вы ее только что зажгли

— Без особой охоты зажгла, верно?

Сердце мое истомно бьется.

— Мне показалось, с большой охотой.

— Сознаюсь, вы очень наблюдательны. Впрочем, и я тоже.

Сделав со мной несколько шагов, она вдруг говорит протяжным и грустным голосом:

— Вы, должно быть, приходили узнавать — собираются ли правительственные круги захватывать

Синьцзянь? Да! Юань Ши-кай давно просит об этом. В Синьцзянь бежало много революционеров, и Юань Ши-кай предпочитает революционному восстанию захват Синьцзяня русскими. Когда, спросите вы? Скажу. Попозже. А на Черном престоле вам делать нечего...

И, рассердившись невесть на что, она горько заканчивает:

— Как и мне!

Грустная усмешка пробежала по ее губам.

— Если они действительно вздумают захватить Синьцзянь и Кашгар — идиоты! Я... я, впрочем, уже сказала отцу: откажу Малицыну!

— Так далеко зашло? — пролепетал я.

— Да, так! — резко выкрикнула она и быстро, не прощаясь, вбежала в ворота.

Я стоял ошеломленный.

Ласковый голос послышался подле меня:

— К нам, господин Иванов?

Малицын?!

— Вы меня знаете, князь?

— Наслышан,— внимательно разглядывая меня и ласково улыбаясь, ответил князь. — Отцу я вашему представлен. Интереснейшая личность! Вроде, знаете, Василия Блаженного, то есть в смысле святости и красоты.

— Вы, по-видимому, цените красоту, князь.

Малицын, по-прежнему улыбаясь, молчал. Мне хотелось, из некоторых соображений, закрепить наше знакомство, и я бухнул первое, что пришло в голову:

— Наверное, князь, вы в Петербурге видите много замечательных людей?

— Вижу. О ком бы вам рассказать?

— Видели Горького?

— Кто он такой? — подумав, спросил князь.

— Писатель.

— Русский? К сожалению, русских не читаю. Впрочем, иностранных тоже. Хоть бы одно красивое описание коня!

— А вы любите коней?

— Кто их не любит!

— А науку?

— Какую?

— Физику, астрономию, философию, математику... Я уважал эти науки, но знал их слабо, главным

образом по популярным брошюрам. Так что, спроси он меня подробнее о состоянии современной науки, я бы, пожалуй, ответил ему плохо. Выходит, что я спрашивал с некоторой тревогой. Он мне ответил все с той же кроткой, обезоруживающей безмятежностью:

— Никаких наук, кроме коневодства, я не знаю.

— А искусство? Живопись?

— Живопись? Да! Но в конце концов фотография гораздо лучше живописи передает экстерьер: ведь коня можно снять и с головы и с холки. Я и сам, — сказал он, оживляясь, — занимаюсь фотографией. И даже эту, как ее, ну пикантную киргизку... Саумал! учил. Но киргизы к точным наукам не способны, хотя она, кажется, упорно занимается...

— Фотографией? Саумал?

— А чего ж удивительного? Именно фотографией.

Из некоторых дальновидных соображений я решил порасспросить князька. Но подошел один из важных военных, бородатый и басистый. Он спросил озабоченно:

— Вы видели моего рысака, князь? Очень хороший рысак, но постоянно чешется холкой.

Князь ответил ему вдумчиво:

— Чешется? У него глисты, наверное. Покажите-ка!

И они скрылись.

Я бегу к реке, быстро раздеваюсь и прыгаю. Ух, какая жгучая, какая волшебно-холодная вода! Скорей бы на берег! Нет! Окунемся не раз и не два, а столько, сколько букв в слове «Василиса». Мало того, сколько в слове «Глебовна»!

НИ ЛОЖКИ НИ ПЛОШКИ

Отец мой кружил у нашей палатки. Плохо скрытое беспокойство и нетерпение терзали его. Он был занят своими мыслями и не хотел слушать меня. Он воскликнул:

— Пора уходить! Пора.

— Бросив Скурлатова?

— Да и ему пора.

— Еще недавно у тебя было такое добродушное настроение.

Мой отец молча указал на ветряные мельницы, где серели военные палатки, и где можно было рассмотреть наскоро сооруженную насыпь и мишени, и откуда слышалась стрельба залпами.

— Без стеснения намекают!

— Топографы. Маневры, говорят, готовят.

— Маневры, да не то. Маневры против «котов».

— А чем «коты» мешают?

— Хоть бы тем, что нет у них ни ложки ни плошки. Голодный сытому — волк. Кроме того, архимандрит Михаил приехал.

— Подумаешь, невидаль! Говорил ты с ним, что ли?

— И говорил.

— Поди, насчет несториан?

— Бери поближе.

— Неужели о современности?

— И даже — самой наисовременной.

— А он?

— Крестить собирается.

— Кого?

— Да синьцзяньцев, кашгарцев и всяких язычников.

— А если они не согласны?

— Архимандрит так выразился: «Если на тысячу предназначенных мною к усекновению одна глава прозреет и обратится к истинному богу и русскому царю, грех за девятьсот девяносто девять усеченных будет прощен. Тому пример — Сибирь. Секли главы там многим язычникам, и бог простил: появился истинно православный князь». Подразумевается — Малицын. Значит, благословляет захват Синьцзяня и Кашгара при благосклонной помощи князя, который, сказывают, близок чуть ли не самому Распутину.

— Кто их разберет?

— Следует разобрать.

— Да ведь ты говоришь — пора? Нет, по-моему, не пора. В калмыковской семье разлад. К тому же пропал Сквозной!

— Ну-у? Это — важно.

— Еще бы. И к тому же Василиса Глебовна — с нами.

— Это в каком же смысле? — осведомился несколько насмешливо мой отец.

Я поспешил с рассказом. Выслушав меня в пол-уха, отец строго проговорил:

— Не думай, пожалуйста, что у Василисы Глебовны заговорила совесть или что ей стали отвратительны поступки военщины. Она просто боится — хотя Мейстер еще и не приехал.

— А зачем Мейстеру сюда приезжать?

— Чтоб отказаться от славы.

— От какой славы?

— Знаменитого адвоката, выигравшего процесс Василисы Глебовны. — И он поспешно добавил: — Именно до приезда адвоката ей хочется узнать обо всех всплывших уликах,— и замести опять следы. А происходящее в Метелочной не только мешает, но способно превратить сомнительных ее недоброжелателей в ярых врагов.

— Кто они, недоброжелатели-то эти?

— Не знаешь? Я. Ты.

— Какой же я недоброжелатель Василисе Глебовне.

— Она-то так не думает, дорогой мой. Она уверена, что ты знаешь больше, чем говоришь. Ну, я иду к знакомым приказчикам: хоть перед дальней дорогой хорошего чаю попить.

Я задержал его. Сказав, что Скурлатову или Бэй Шэну не захочется советоваться со мной или по каким-либо причинам будет некогда, я решил высказать отцу мысль, которая возникла у меня во время разговора с князем Малицыным. Саумал, по-моему, ненавидит и Василису Глебовну и весь род Калмыковых. Что, если кто-нибудь, предположим Нура, предложит ей сфотографировать для газеты Мейстера документы, обсуждаемые приехавшими важными военными, Калмыковым и Малицыным?

— А разве документы поддаются фотографированию? — спросил мой отец с простодушным недоумением.

— Но ты же видел в журналах множество автографов!

— Да, да. А я-то полагал, что фотографируют только людей и природу. Затем, какие и откуда документы?

— Планы захвата Синьцзяня, письма Юань Ши-кая, может быть, Николая Второго. Мало ли что!

Отец сказал, что мой замысел великолепен, но есть опасность, как и у многих других великих и великолепных замыслов.

— Снаружи-то бочка большая и красивая, а дно гнилое. Во-первых, маловероятно, чтоб согласилась Саумал. Во-вторых, достаточно ли она опытна для фотографирования документов? В-третьих, разве документы валяются на виду? Они, поди, в сейфе, а Саумал, сколько известно, сейфы вскрывать не умеет. И, наконец, последнее: кто тебе сказал, что документы есть вообще?

Я молчал. Чтоб окончательно не уничтожить меня, отец проворчал, что Скурлатов и Бэй Шэн непременно и немедленно придут ко мне.

Они не пришли.

Не приходил и отец.

Я сидел возле палатки. Похрапывала, звеня путами, пасущаяся вблизи Нубия. Дни были тихие, жаркие и какие-то простодушные. Я смотрел на мост, горы и громко, внушительно читал «Евгения Онегина». Когда я возвышал голос, красно-кирпичные горы со слабым пурпурным оттенком цветущих предгорий отодвигались в дымке; когда же голос мой слабел, белый орнамент снегов на вершинах, казалось, придвигался ко мне вплотную.

Мост шумел.

Время от времени прибегал ко мне какой-нибудь оборванец «за угольком», и не столько за угольком, сколько поделиться новостями. Больше всех рвет и мечет Борис Глебыч. Вот стяжатель проклятый! Попала к Калмыковым,— через приказчиков, а может быть, вырвал у кого-то Салазкин,— прокламация. Глеб Иваныч, не дочитав, вышел из кабинета по своим делам, а прокламация и исчезни. Куда? Как? Ветром в окно, что ли? Это исчезновение и особенно то, что прокламация была напечатана на двух языках, ужаснуло и взволновало всех.

Когда я услышал о прокламации, я сразу решил, что подумают на Скурлатова. Нет. Работа оказалась не грубой, куда как тоньше! Калмыковы, а с ними и все купцы, завопили, что прокламации явились из-за границы и едва ли не от китайских революционеров.

Кое-кто из встревожившихся покупателей и продавцов покидал ярмарку. Ночью на дороге скрипели возы и слышались вскрикивания пастухов, гнавших скот.

Кивая на дорогу, присевший у моего костра босяк грубо говорил:

— Полупят вас! А все одно смерть, когда ни ложки ни плошки!

Были и другие слухи. Не так много, но были. По-видимому, со слов Василисы Глебовны. В Метелочной-де Калмыковым не выгодно сейчас устраивать Ленский расстрел, тем более почти в годовщину. Каким-то-де приказчиком послана телеграмма в «Русское слово», и «День»— готовим-де! И оттуда-де воспоследовал немедленный ответ: «Корреспонденты едут!» Впрочем, нашу семиреченскую полицию корреспондентом не запугаешь: для нее нет большего наслаждения, как бить ближнего по харе, и если в число этих ближних попадет корреспондент — еще лучше! А затем — китайцы. Что это такое? Как можно позволить, чтоб какие-то китайцы надеялись на помощь русских революционеров и корреспондентов?! «Это вам не Швейцария!» Неизвестно, кем были брошены эти слова о Швейцарии, но они ярмарке показались очень убедительными. Осклабясь, бледные, тупо глядя на мост, где шумела голытьба, повторяли: «Это вам не Швейцария!»

Рано утром я пришел к мосту. Отца тут не было. Скурлатов стоял, насупившись, упершись ладонями с широко и напряженно растопыренными пальцами в перила моста. Босяк Фиалков, рябой, кривоногий, огромного роста, дымя вонючей трубкой, покачивался возле него и кричал:

— Ни ложки ни плошки, ни жизни! Первым мне стоять, Капитон Ильич, слышишь?

— Слышу,— глухо отвечал Скурлатов.

— Политические требования без тебя предъявим, а тебе тут, Капитон Ильич, делать нечего, слышишь?

— Слышу,— опять ответил Скурлатов.

— Да ведь сейчас же войска двинут!

— Не на меня ж одного.

— Капитон Ильич! Так ведь ты ж для нас больше прочих!

Голос у Фиалкова был больной и вместе с тем простодушный какой-то и умный. Все знали, что у него последний градус чахотки, а после кончины — семья из четырех душ, мал мала меньше, и хотя все глядели на мельницы, откуда ждали полицию, глубокий голос Фиалкова как-то страшно волновал и, казалось, отвечал на все мысли.

Из толпы послышалось:

— Ушел бы и впрямь, Капитон Ильич!
— Мы сами управимся.
— Сказали: рубль. Убей на месте, не сдвинемся.
— И политические требования принимай!

Скурлатов дрожал, словно в лихорадке. Стиснув зубы, он качал головой.

— Бо-ольной Фиалков — впереди? А я... Да что вы, братцы!

— Ру-упь! — слышалось в толпе.
— Меньше никак нельзя.
— Постреляй всех до одного, но — ру-упь!
— Ру-упь!..

Ждали. Солнце поднялось уже высоконько. Метелочная лежала в тишине и жаре. Ничто не шелохнулось. Вот эта-то тишина и обещала бурю.

«Коты» ночью не спали, грамотные перечитывали нашу листовку по многу раз. Казахи и «коты» необычайно удивляются, что листовка, призывающая их к единству и к защите своих интересов, напечатана и по-русски и по-казахски. Они, пожалуй, относятся к этой листовке почтительнее, чем к странице Корана или Библии.

— Едут!
— На двух тройках.
— Калмыковские коняги!
— Хорошо-о метут!

Первая тройка осадила у самого моста. В ней сидел один лишь Салазкин. Второй экипаж замер в шагах двадцати, там находились Борис Глебыч, станичный атаман и молоденький с коротенькими усиками офицер, нервно и беспрестанно сплевывавший.

Лицо Салазкина угрюмое, усталое, и кажется, все ему на свете опостылело и надоело. Поерзав в тарантасе, он закричал:

— «Коты», выпить по чарке хотите? Задаток мы привезли.

У меня было такое чувство, что «котам» очень хочется, отталкивая друг друга, подбежать к Салазкину, получить задаток, дернуть шкалик и — работать!

Слышался в толпе неразборчивый, глухой говор.

Что говорят, понять невозможно. Салазкин смотрел с недоумением, стараясь изобразить равнодушие.

— Чего же вы, «коты-котики»?
— Не задаток нам, а сколько в день?
— В день? Семь гривен.

— Се-емь?!

Сутулый и плечистый мужик сказал мягко:

— Уплатишь всем и за все время по рублю. И впредь платить тоже рубль в день! Иначе — будем бастовать до конца ярманки, вот!

— Рупь,— подтвердил тощий казах.

— Рубль в день и все политические требования,— сказал срывающимся, но глухим своим голосом босяк Фиалков.

— Какие еще политические?

— О которых прошлый раз сказали,— крупно, без смущения выговаривая слова, проговорил Фиалков и положил руку на плечо Скурлатова.

— Пользуетесь, воры? — сказал Салазкин, щуря глаза и уже не скрывая своего волнения.

Толпа колыхнулась и медленно, грозно двинулась к нему.

— А чем мы пользуемся?

— И почему воры?

— У тебя украдено? Что? Говори!

— И почему смеешь попрекать?

— Тебя мы попрекаем?!

На лице Салазкина появилось выражение гнетущей боли. Он смотрел на толпу и понимал, почему она к нему приближается, что ее сейчас всю наполняет, почему блестят давящей яростью эти багровые и бессонные глаза.

Толпа вслух вспоминала голод, холодные ночи, унижения.

— Псов не отгоняют от дома, как нас отгоняют!

— Скотину и ту стараются как-нибудь сберечь от голода!

Салазкин крикнул:

— Ты постой! Ты мне стариков вперед выведи. Со стариками хочу толковать! Сказывают, аксакалы приехали? Где они? Почему не выходят вперед?

— Здеся аксакалы. Вышли, — сказал Фиалков, не снимая руки с плеча Скурлатова.

— Где же здеся?

— А вот,— проговорил Фиалков, кивая на Скурлатова. — Он главный наш аксакал.

— Да он же нездешний, семипалатинский! — пробормотал Салазкин.

— А правда-то везде одинакова: что в Семипалатном, что в Семиречье! — закричал плечистый казах

с ястребиным носом. Эти слова плечистого казаха почему-то ужасно потрясли Салазкина. Он снял белую фуражку, перекрестился и, не отрывая взора от толпы, сказал всхлипывающе:

— Это я, «коты», самовольно понизил поденную! Простите, ребята, богом прошу, идите выгружать.

Салазкин опять перекрестился и, держа белую фуражку в левой, опираясь правой рукой о седло, приподнявшись, наклонился к гриве коня. Он опять выбирал в толпе тех, кто казались ему здоровыми, крепкими, менее крикливыми:

— Восемь гривен окончательно!

Толпа молчала.

Взгляд Салазкина упал на курчавого оборванца. Босой и опухший оборванец глухим голосом нагло спросил:

— Ну, чего буркалы-то уставил на меня, холуй?

В другое время Салазкин страшно обругал бы оборванца, быть может, даже съездил бы его по опухшей роже, но тот рукой, в которой дрожала фуражка, указывая на курчавого, неожиданно сказал ему:

— Девять тебе гривен в день! Братцы, продукты портятся! Полчаса с вами говорю, а убытку тысяча рублей! Девять гривен в день! Согласны? Какая тут забастовка!

Голос Салазкина умоляющий. Он уверен, что курчавый оборванец дурнее прочих влияет на толпу и его следует подкупить. Курчавый, поняв, почему Салазкин предлагает неслыханно высокую плату, выпятил грудь и, не стесняясь своей гордости, уже изменившимся, юношески-звонким голосом прокричал:

— А на чьих харчах?

— На хозяйских,— ответил Салазкин.

Тогда курчавый оборванец оглядел толпу, которая стояла неподвижно, порывисто дыша, и вдохновенно воскликнул:

— А я уже нанят! Других спрашивай. Бастую. Рупь!

Толпа охнула.

Салазкин ткнул в жалкую, тощую фигуру, стоящую рядом с курчавым оборванцем и жадно глядевшую в рот старшего приказчика:

— Тебя беру, тощий! Девять гривен на хозяйских харчах.

Жалкая фигура отозвалась сердитым и глубоким басом:

— Нанят! Других спрашивай. Или — рупь давай!

Салазкин тыкал фуражкой направо, налево:

— Ты как? А ты?

В ответ на его жесты каждый раз слышался голос, полный глубокого уважения к самому себе, голос, полный достоинства:

— Я? Нанят. Другого спрашивай.

— Нанят!

— Не нуждаюсь! Соседа спроси. Рупь.

Рука Салазкина перешла на сторону казахов.

Но и казахи один за другим в один голос отвечали:

— Нанят! Рупь!

— Нанят!!

— Нанят!!! Рупь. Забастовка.

Эти люди не ели с утра. Им нечего было есть и в обед. Голодными, в то время когда вся станица будет есть жирный, обильный ужин, они лягут спать на голую землю, прикрываясь тряпьем, положив голову на какой-нибудь камень. И, однако, они не соглашались продать своих товарищей.

— Рубль, и чтоб политические требования принять! — закричал казах с ястребиным носом.

— Да что же это, Борис Глебыч! — плачущим голосом завопил Салазкин. — Повертон, выходит, начался?

— Повертон, да не на тот звон! — с хохотом ответил Борис Глебыч, трогая кучера за плечо.

Тройка калмыковских коней, позванивая ширкунцами и бубенчиками, блестя серебряными бляхами, приближалась к мосту.

Толпа расступилась было, предполагая, что Борис Глебыч поедет через мост, но он остановил коней и, положив руку на борт тарантаса, спросил:

— Старики есть?

— Тута, тута! — послышалось в толпе.

Борис Глебыч сказал:

— Старики, аксакалы! Вам говорили, что Семиреченской железной дороге нужны рабочие? Мы даем каждому коня, телегу, харчи. Коня даем на время, но ты, — обратился он к курчавому оборванцу, — имеешь право выработать полную его стоимость и вернуться домой не только с деньгами, но и с конем, с телегой!

— А жалованье?

— Будет и жалованье.

— Какое?

Толпа замерла.

— Рубль! — отчеканил Борис Глебыч.

«Победила, стало быть, Василиса Глебовна? — подумал я. — А чем? Чем взяла?» И я перевел взгляд на Скурлатова. На него смотрел и Борис Глебыч, слегка улыбаясь, видимо ожидая смущения. Но Скурлатов попрежнему стоял прямо, не смущаясь, закинув курчавую голову, сдвинув брови и обнажив в улыбке крупные, пронзительно белые зубы. Борис Глебыч не выдержал и крикнул ему злобно:

— А ты чему радуешься, завитой?

— Да ведь — рупь, хозяин!

— Рупь! — пронеслось по толпе, и в этом возгласе чувствовалась нарастающая радость победы.

— Крупно говорит парень! — послышался одобрительный голос одного из братьев Бучевых.

И толпа ответила:

— Так ему, Скурлатов!

— Хорошо говорит!

— И-их, братцы-и!..

Толпа оцепенела от небывалой радости. «Коты», задыхаясь, прикрыли глаза рукой и, казалось, не находили смелости выговорить больше хоть одно слово. Конь, телега, харчи, рубль! И не беда, что до места работы надо идти больше семисот верст, голодать, томиться жаждой... дойдем, дотащим, вытерпим — лишь бы работа, рубль, харчи, телега, конь!

— Подожди, подожди! — крикнул вдруг старший Бучев. — Ты нам забастовку не срывай! А политические наши требования?

— Какие? — спросил нехотя Борис Глебыч.

— А которые мы прошлый раз объявили!

И толпа опять замерла. Сильно не хотелось ей расставаться с мечтой о коне, но что поделаешь? Народ есть народ: куда река течет, туда она и влечет.

Взоры повернулись к мельницам. Полусквозистая мгла, висевшая над ярмаркой, распространилась и над всей станицей. Но мельницы просвечивали, крылья их крутились, и окружающее было довольно обыденным, даже винтовочные выстрелы замолкли. А может быть, потому, что стражники и солдаты крадутся, сквозь пыль, к мосту?

Вдруг, точно отвечая на скрытые мысли толпы, Скурлатов громко сказал:

— Река все осиливает. А человек осилит и реку! Требуем, братцы!

— Требуем, требуем! — отозвалась толпа.

— Политическое требованье, — повертываясь багровым лицом к Борису Глебычу, разъяснил старший Бучев, — вот оно что!

— Ничего не боимся! — подтвердила толпа.

И ястребоносый казах крикнул:

— Хоть стреляй!

— Ишь, ишь отважный какой! — захохотал Борис Глебыч, пытаясь спрятать страх и гнев.

И, подождав, пока толпа не стихла, Борис Глебыч, упорно глядя на Скурлатова, отчеканил:

— И этого, поди, за смельчака считаете? Страшило тоже! Грудь под царские пули готов подставить? Требованья? Политические? А ради бога, сколько хотите! Хоть письменно, хоть лично: в сферы ваших выборных можем отправить! Царь милостив. Никого стрелять он не собирался и не собирается. А этот курчавый, заводила-то ваш, играет на стрельбе. Да нету ее, голубчик, нету! Нету сейчас, и не будет впредь.

И, одернув чесучовую рубаху, подбоченясь, он добавил, обращаясь к старшему Бучеву:

— Теперь вам, братцы, только на ступни свои надежда: как донесут до «Семиречки». А пока вот вам на дорогу задаток: полтораста рублей. Мало? Могу и двести. Сколько вас всех? Считай, Салазкин.

Вечером того же дня на двор дома, где остановились Калмыковы, привели Сквозного. Тулпара случайно обнаружили пастухи в горной пади. Конь пасся стреноженный.

— Хорошую «суюнга», подарок за приятную весть, получат пастухи, — сказал Скурлатов, помогавший мне укладывать вещи. — Мир и благоденствие, поди, теперь у Калмыковых?

«Ой ли?» — подумал я, а вслух спросил:

— По-твоему, победили Калмыковы?

— А ты разве сомневаешься?

— Мне кажется: победили мы.

— И ты в этом сомневаешься! «Семиречка» рассеет твои сомнения, Всеволод.

Они были рассеяны гораздо раньше.

Когда на рассвете мы шли через реку, и на самом мосту, и вокруг него — ни души. Старики аксакалы вернулись в свои селения, «коты» ушли в большую песчаную низменность, простиравшуюся от джунгарских предгорий до озера Балхаш. Тракт здесь прямой, иди вдоль телеграфных столбов по следам табунов — и дойдешь до рельсов «Семиречки».

Но мы, словно не видя ни тракта, ни следов калмыковских коней, вместо степи вдруг стали углубляться в горы.

— «Котам» пока идти одной дорогой, — сказал Скурлатов, — нам — другой.

Мой отец сказал:

— Умно. Сила по силе — осилишь. А сила не под силу — осядешь. Только блудить я не люблю.

— Где блудить! — воскликнул Скурлатов. — Мне дорогу к станице Алексеевской рассказали подробно.

Вскоре мы встретили верхового казака с рыжей бородой и бесцветно-мертвыми глазами. За спиной его болталось охотничье ружье и сумка.

— Была охота? — спросил его мой отец.

— Архара подбил, — ответил он, пришепетывая, — да упрыгнул.

Не зная, что архаром называют огромного горного барана, редко спускающегося со скал, я сказал:

— Чего же за ним не гнался? Конь хороший.

— По горам? За архаром? Спятил я?!

Казак посмотрел на меня с изумлением и тронул повод.

— Как идти к Алексеевской станице? — крикнул я ему вслед.

Он ответил:

— Али не знаешь, что дуракам все пути видны?

Либо не все пути видно, либо мы не дураки. Мы быстро заблудились.

От реки дорога шла вдоль пашен, затем, мельчая, направилась куда-то на юг, затем вдруг вернулась снова к реке, ткнула нас в камыши и скрылась.

Левый обрывистый берег отходил от уреза воды террасами. Мы шли по нему тяжелой, еле заметной тропой, натыкаясь на заброшенные арыки с множеством ответв-

лений, поросших саксаулом и карагачником. Тропа повернула к горам.

Мы шли заброшенными пашнями. Из густых трав поднимались дрофы, турпаны, а иногда выскакивали дикие козы.

— И под пшеницу, и под огороды ладные земли, — сказал смущенно Скурлатов. — В Метелочной мне говорили, что огороды здесь приносят сам-восемьдесят. Где это видано?

День был солнечный, сухой, сверкающий. Скурлатов тщетно искал верную дорогу к Алексеевской.

Травы мешали шагам. Испарина застилала глаза. И все же дышалось хорошо, и странная, веселая легкость наполняла наши сердца. Мы прыгали по тропе, обгоняя друг друга. Я иногда срывался с шагу, обгонял, и отец со Скурлатовым бежали за мной с криком, оставляя Нубию далеко позади. Во время бега в голове поднимался какой-то восторженный шум, и все вокруг казалось необыкновенно приятным.

— Жаль, ребятишек с нами нет!

— Ничего, скоро встретимся, — сказал Скурлатов. — Им возле китайского табуна не плохо, да Джагалтай за ними лучше ухаживает, чем ты.

— А если мы пройдем мимо китайского табуна?

— Как мимо? Мы же идем правильно!

Оказывается, и Скурлатов способен не признавать свои ошибки? Впрочем, отец был согласен с ним, что мы идем правильно, прямой дорогой. Я спросил:

— Где нас будет ждать табун?

— Возле урочища Улан-Булак, — ответил Скурлатов. — Где-то тут недалеко.

Мы наткнулись на большой арык. Дно его было занесено галькою. Кое-где, под кустарниками, виднелись лужицы голубой воды. Скурлатов наклонился, отпил воды и сказал, что в арык приходят вешние воды с гор, иначе галька была бы покрыта глиной и песком.

— Выходит — копни палкой, и вода потечет на пашни? — спросил, зевая, мой отец.

— Потечет.

— И будет тут урожай сам-восемьдесят! Да, без воды здесь урожаям не быть. Только вы мне ответьте: кто вверху воду задерживает?

— А я не знаю, — сказал, ухмыляясь, Скурлатов.

— Жаль. Если там пруд, значит, к пруду есть дорога, а от пруда и к урочищу Улан-Булак, пожалуй.

И он воскликнул в восхищении и негодовании:

— Экие чистосердечные пашни пропадают! Совестно мне и жутко. Вы глядите: арыки заросли травой, а те, которые пробирались откосом берега, землей засыпало. Да что же это такое, господи? Кто эту землю так запустил?

Камыши становились гуще; колючие, серовато-зеленые кустарники закрыли тропу; комары и оводы лезли в глаза. Справа сверкнуло обширное серебряное поле.

— Солончаки, — сказал Скурлатов. — Солончаками идти легче. Да и видней с них.

— И для души не утомительно, — вставил мой отец. — На солончаке разве чертей сеять.

Солончаки в сухую погоду образуют твердую, упругую кору, неутомительную для ног, а в камышах и Нубия притомилась. Местами, среди солончаков, попадались пространства, покрытые щебнем с острыми гранями. Переливчатая, кипучая мгла застилала горизонт, а щебень указывал, что горы недалеко, а там авось и урочище Улан-Булак.

Мы пошли быстро, плавно и мягко поднимая ноги. Шли мы так до самого вечера, ночевали среди солончаков, поднялись рано, наскоро перекусили, взнуздали Нубию и опять пошли.

К обеду, миновав солончаки, мы увидали среди долины высокий земляной вал, покрытый мощными кустарниками. То и дело из-за вала поднимались стаи гусей и уток.

— Пруд? — спросил отец.

Скурлатов, вглядываясь, сказал:

— Верней, прудище. Собирали здесь воды прежде много. А потом отводили, куда нужно и сколько кому нужно, на пашни.

— И верно, что много собирали! Гляди-ка, промыта плотина, да не в одном месте, а во многих.

— И все-таки, — сказал с почтением мой отец, — собирает пруд, по привычке, воду. Пруду стыдно, а людям — нет! Издеваются над нами, что ли, — сколько земли зря лежит?

На долину через промоины вала вытекала вода. Разливаясь по низменности, она образовывала небольшие болота. Мы прошли среди болот и поднялись на вер-

шину вала, где под высоким карагачем увидали землянку. На завалинке сидел темный, лысый старик, в рваном халате «джанда», сшитом из разноцветных лоскутьев, такие халаты носят «дуваны», юродивые. Большая потухшая трубка дрожала в его черных коротких пальцах.

Скурлатов спросил:

— К урочищу Улан-Булак верно идем?

— Прошли, — ответил старик, — лишку дали.

— Много?

— Да верст, поди, двадцать, а то и тридцать.

Переглянувшись, мы замолчали. Скурлатов был недоволен самим собой, отец улыбался: ему тридцать верст лишку — забава. Он спросил старика:

— Один ты?

— Один.

— Волков не боишься?

— Волков? Нет. Волков чего бояться? Отбарабанюсь.

И, постукивая пальцами по берестовой тавлинке, пояснил:

— Шел это барабанщик ночью, лесом, тоже один. А на него — волки! Он и ударь в палочки. Они — прыг! Чуть это они — к нему, он — палочками по барабану. Так и отбарабанился.

И добавил:

— Угостил бы вас, но ничего нету. Раньше я любил угощать: когда ни приди, всегда стол да скатерть. А нынче ослабел.

— Служишь все-таки?

— Чего?

Старик зевнул, выбил трубку, поправил на плечах тулуп и ответил:

— Лихоманка меня трясет. Ране трясла три раза в день, а теперь — без остановки. Надо полагать, в воскресенье и помру.

— Табун тут китайский не проходил?

— Чей табун?

— Китайский. Мы туда табунщиками наняты.

— Не слыхал, не видал табуна такого, — ответил, снова широко·открывая рот, старик. — Да и видеть мне трудно. Лихоманка не позволяет. В воскресенье, выходит. и помру.

— Ты кто тут такой?

— А я караульщик.
— Чего караулишь-то?
— Пашни. Чтобы, значит, воду из хранилища на них зря не спущали. Смыть, значит, пашни могут.
— Да они давно смыты, дед! — крикнул Скурлатов.
— А?
— Смыты пашни, говорю!
— Смыты, верно. В позапрошлом лете ливни были страшенные, ну и промыло вал. Теперь жду, когда поправят вал-то. Да, видно, не дождаться: в воскресенье помру.
— А кто поправит?
— Работники.
— Какие?
— А каких хозяин пошлет.
Скурлатов почти умоляюще, во весь голос закричал:
— А кто этих земель хозяин?
— Чего ты горячишься?
— Кто, спрашиваю, хозяин?
Старик ответил, показывая рукой:
— Сюды на восток — семь, сюды на север — двенадцать верст — хозяин один. Прикажет — пшеница вырастет, прикажет — полынь. Он — всему хозяин.
— Кто?
— Банкирский старец, Глеб Иваныч Калмыков. Прежние поселенцы ему плохо аренду платили, он их и выгнал. А новых, значит, переселенцев, других, значит, еще не поселил: выбирает, которые, ему, банкирскому этому, значит, старцу, будут покорнее. Выгоднее, значит. Он, значит, выгодных выбирает, это уж будь покоен! Вот я и жду этих, значит, выгодных-то! Третий год, выходит, жду, да, чать, не дождусь. Помру, чать, в воскресенье...

ВОЛШЕБНЫЙ БАКАН

Старик караульщик не хотел отпускать нас без угощенья. Хоть чайку. Нам жалко стало старика: живет недели и месяцы один, разве что приедет какой-нибудь дальний родственник из станицы, привезет муки, крупы, натаскает дров, а там опять — никого и ничего!
— Глеб Иваныч-то часто тут бывает?
— Никогда не был и купил-то за глаза, — ответил мне старик. — Приказчики наезжают, жалованье платят.

— А велико жалованье?

— За шесть целковых на своих харчах.

— Не разжиреешь.

— Где разжиреть! — согласился старик, раздувая ветхий самовар.

— Как зовут-то тебя, дед?

— Спиридоныч, милый, вылитый Спиридоныч.

Вечером, у костра, раскуривая трубку, старик вспомнил о малом калмыковском жалованье и заговорил, глубоко вдыхая сухой запах едкого табака:

— Жалованье — только что с голоду не сдохнуть. Да я бы не сдох, дотерпел, дождался, кабы не лихоманка...

— Чего, Спиридоныч, дождался-то? — спросил я.

— Да, бают, едет вдоль гор, по долинам, человек с баканом: солнце открывать...

«Бакан» — деревянный длинный шест, которым закрывают и открывают кошемный верх юрты. «Солнце открывают» — это когда утром отбрасывает кошму, чтоб пустить в юрту солнечные лучи.

— И бакан у него, ребятки, на конце свинцовый, волшебный. Кто не хочет, скажем — Калмыков, чтоб солнце открывалось, тому тем волшебным баканом по башке! А кто хочет, тому из волшебного бакана — четвертной, золотом. Живи!

Старик вздохнул и покачал головой.

— Ни боле ни мене как четвертной. Что ж, деньги хорошие, жить можно. Да вот не дождусь, должно: лихоманка. А Калмыкова стукнуть надо, надо... каторжный он... Я не говорю — людей, пашни какие губит, засоляет...

— Пашни дивные, — отозвался Скурлатов, лежавший на спине и глядевший в небо. — Ты это, старик, правильно.

— Как же не правильно! — подхватил старик. — У меня все правильно. Приедет этот Скурла с волшебным баканом, я ему и выложу.

— Кто, кто? — живо спросил отец, любивший легенды.

— Да мужик этот, с волшебным баканом, прозывается Скурла.

— Когда слышал про Скурлу-то, дед?

— Да третьеводнись, что ли... шли люди с ярмарки, завезли от детей булки, ну и про этого Скурлу сказали.

Скурлатов приподнялся на локте, посмотрел на старика, на костер, на всех нас, грустно улыбнулся и опять лег. Глядя в небо, он глухо сказал:

— Последний раз когда я Веру видел, была на ней розовая батистовая кофточка. Полжизни бы отдал, чтоб пальцем дотронуться сейчас до этой кофточки, ей-богу! А вторую полжизни — чтоб подошла она сейчас и, издали увидав эту нашу медную инкрустацию из искр, закричала бы: «Капитон!» Ничего! Встанем, будет солнечно, сухо — и опять ничего. А ты говоришь: волшебный бакан... Эх, кабы да его в руки!

— А он уже в руках! — вдруг воскликнул отец. — Горе и любовь вызвали в вашей душе поэзию, Капитон Ильич. Эк вы метко насчет инкрустации из искр... это — поэзия! А поэзия и есть тот волшебный бакан, который разбивает оковы зла и ненависти.

Скурлатов ничего не ответил и не шевелился. Нубия паслась возле. Мы тоже сидели неподвижно.

Неподвижно сидел и караульщик Спиридоныч. Ему и в голову не приходило, что этот коренастый курчавый мужик, лежавший у костра на спине и глядевший в небо, тот самый богатырь с волшебным баканом, о котором шла сказка среди народа.

Утром Спиридоныч вывел нас на тропу и сказал, указывая на падь:

— Держись тропы, не бери ни вправо, ни влево, а все напрямик, напрямик. Перевалишь три горки, две долинки, а в третьей увидишь муллушку — и прямо к ней. Это и будет урочище Улан-Булак: дорогой к нему — тридцать верст, тропой — десять. Тропа короткая. Ликом к солнцу — и валяйте.

Самая короткая тропа, как это часто бывает, оказалась в сотню раз длиннее самой длинной.

Мы заблудились.

Мы шли лицом к солнцу, поворачивались спиной, боками — ничего не помогало. Мы спускались в горные «щели», шли вдоль пропастей, через редкие леса тяньшаньских елей, через густые можжевельники, по альпийским лугам, поднимались на перевалы, спускались, а горы по-прежнему злорадно высились над нами, поражая нас сероватым блеском своих скал, черно-синими тенями, мутно-молочными снеговыми вершинами, которые, казалось, недоумевали, что им приходится подпирать это легкое, розовато-голубое небо.

Мы переходили горные речки, спускались или шли против течения, — и все равно не могли выбраться из этих проклятых гор.

Ну и места! Глядя на пылкое и безумно строптивое безобразие скал, я чувствовал душевную пустоту, которую, казалось, эти стремительные камни хотят немедленно заполнить. И не только камни! Навстречу, из-за острых, мрачных, бесчеловечно вытянутых скал, мчались холодные, прозрачные и тяжелые потоки. Иногда они не доставали до щиколотки, иногда приходилось идти им навстречу, раздетыми до пояса, размахивая брюками и ботинками.

Пенистые, ликующие воды не только швыряли под ноги камни, но и вдобавок стремились швырнуть нас — от одного камня к другому, к третьему! Мы сопротивлялись, хоть и не всегда удачно. Кружились головы, каждый чувствовал себя чрезвычайно жалким и беспомощным, и все же мы находили силы, чтобы, идя по обеим сторонам Нубии, поддерживать ее. Мы боялись, что бесстрашный наш конь оступится и колючие воды увлекут и его и последнюю нашу провизию.

Туча поднималась с севера. Этого еще не хватало!

Небо до краев покрылось какими-то скуластыми и худощавыми тучами. Полил крупный, как горох, дождь. Все вокруг стало разом совершенно мокрым. Я падал в воду, вставал и, когда поднимался, чувствовал, что холодный ветер грубо дует мне в спину. От этого колючего ветра я весь дрожал.

А скалы, споря о чем-то своем, хлестались между собой не струями воды, а целыми потоками. Ветер дул разноголосо и неистово.

Нубия жадно глядела вперед, подняв уши, которые обычно у ней висели, как у легавой собаки. Эти поднятые уши наполняли нас сладкозвучной волей к жизни. Ну, если Нубия верит, что впереди существует жизнь, то нам ли не верить!

Воля-то воля, но что сделалось с тропой? Почему она так пуглива?

Мы потеряли тропу и стали то и дело сворачивать в боковые ущелья, которые тщательно осматривали, думая найти или обожженные костром камни, или тряпки от одежд табунщиков, или конский волос. Дойдя до какого-нибудь водопада или неприступной стены, мы возвращались обратно.

— Хорошо, что места доступные, — утешал нас мой отец, — а то тут можно в совершенно неприступные попасть.

— Ружьишко бы, — вздыхал Скурлатов, — ружье бы, оно подкормило, во-первых, а во-вторых, на тропу бы охотничью вывело. Простите, братцы, я виноват. О жене затосковал, никогда на меня такой тоски не нападало.

Мой отец, улыбаясь, сказал:

— Выберемся, если только в неприступные не попадем.

А разве могут быть еще более неприступные места, чем эта язвительная и заунывная неприступность, по которой мы сейчас пробираемся, чихая, сплевывая, с подтянутыми животами, шатаясь от утомления и гнева на свирепую природу?

Ночь мы провели в густых зарослях можжевельника. Нашли огромную, чуть ли не самую пышную лиственницу и поставили под ней Нубию. Развьючиваем, а она дрожмя дрожит, хрипит, оглядывается.

— Не бывало такого!

— Устала, сейчас успокоится.

Мой отец бросился под лиственницу, лег на землю, понюхал ее и сказал, вставая:

— Медведь с ребятенком спал. Понюхай землю, Всеволод, пощупай.

Скурлатов, тихо смеясь, шепотком, не желая осмеивать громко наш страх, собрал сучья, разжег огромный костер. Стало менее страшно, менее жалко самих себя, уменьшилась зависть к тем, кто сейчас спокойно спит в сухих домах.

Мы невероятно устали, сбили ноги в кровь. После дождя в можжевельниках душно, влажно и в трех шагах ничего нельзя было разобрать. В кустах кто-то словно бьется, вздыхает, кто-то в недоумении бежит, замирает; промелькнет и скроется легкое облачко тумана, все замрет, даже звезд не видно, а затем опять — еле слышная суетня, вздохи, стоны.

— Огня, огня! Не спать! Добавляй сухой валежник! — кричал Скурлатов. — Надо, чтоб дальше увидали и навстречу пошли!

— Кто увидит? — сонно бормотал мой отец. — Ночью?

— Ребятишки. Они тоскуют.

— Бадам? Гулькамыс? Нарикбай? Спят, поди.
— Не могут они спать! Тоскуют, уверен, по Всеволоду.
И, усталый, разбитый и сонный, Всеволод, польщенный, что ребятишки тоскуют по нему, медленно поднялся и, преодолевая страх перед медведем, побрел в кусты собирать валежник.
Больше огня, больше!
К полудню следующего дня мы увидели с горы обширную долину. Сухая дымка играла над ней. Скурлатов, нахмурив брови, оглядел нас. Жалость и сострадание были в его глазах. Щеки наши ввалились, головы опущены, ноги мы поднимали с тягостным усилием.
— Вроде и урочище Улан-Булак, а вроде и не оно, — сказал Скурлатов. — Придется идти.
— Придется, — подтвердил мой отец.
— Придется, — прошептал я.
«Верное слово», — вздохнула Нубия.
И мы медленно спустились в долину.
Нет свистящего потока, нет этой упругой пены, этих полновесных камней, этих плаксивых скал!
Прямая дорога. Пологие холмы. А за холмами — степь, покрытая обычной травой, которую колебал обычный ветер.
Никаких гор впереди!
Степь бесконечна.
И как тепло!
Нубия с глубоким уважением оглядела нас, людей, которые смогли провести ее по этому мглистому и бешеному ущелью.
— Теперь бы отдохнуть, чайку попить. Вроде из преисподней вышли! — сказал мой отец.
Скурлатов, разглядывавший дорогу, отозвался:
— Ого! Никак муллушка? Табун? И кони, кажись, дикие-дикие. Ну что ж! Раз мы укротили ущелье, мы и коней сможем укротить. Верно, Всеволод?
— А собственно, почему я должен постоянно разыгрывать цирк на открытом воздухе? — пробормотал я. — И почему непременно думать, что перед нами китайский табун?
Вскоре мы вышли на берег небольшой речки, поросшей мелкими тополями, джидой, ивами и цветущими тамарисками. Красная, твердая глина звенела под ногами. Дорогу пересекали неглубокие, сухие овражки,

по которым стекала вода, когда таял снег. Дно овражков было покрыто тусклой галькой.

— Ого, ржут! Побаиваются.

— Да никто не ржет, чудится.

Степь выровнялась. Овражки попадались реже. Высокие травы исчезли. Унылые и низкие полыни шуршали под ногой. Полынь вновь расшевелила во мне гнетущее чувство заброшенности, которое, казалось, навсегда исчезло после того, как мы одолели горы. К черту заброшенность! Живем! Метелочная, ее улицы, ярмарка, мост виделись мне пестроцветными, смеющимися. Я вспомнил полусонный рот Василисы Глебовны, ее руку, распахивающую лучистую раму, и пахучий вечер за окном.

Пошел сплошной щебень на твердом, глинистом грунте. Блеснула и зашипела длинная змея. Я замер, дрожа. Скурлатов наступил на нее сапогом и секунду спустя поднял ее трепещущее тело. Он угрюмо посмотрел ей в глаза, плюнул и отбросил.

Из овражка верхом выскочил Бадам.

— Дядя Скурлат! Дядя Скурлат! — кричал он, задыхаясь от радости. — Не заблудились?

— Да ничего, — ответил без усмешки Скурлатов, — не заблудились.

Я смотрел на него с возмущением, отец — недоуменно. Вдруг отец мой ухмыльнулся понимающе, и я подумал: «Боже мой, какой я, однако, дурак! Скурлатов-то ведь скрывался, нарочно крутил-вертел, а я, обалдуй, думал, что он и впрямь заблудился».

Купы деревьев и кустарников указывали на близость родника. За родником виднелись пашни, глинобитные зимовки — кстау, полосы щебня, а на холме, на меже пашен и щебня — муллушка, могила какого-то богатого казаха: большой купол, поставленный на куб. За муллушкой пасся табун.

Табун? Кстау, зимовки и окружающие их зимние пастбища весной и летом тщательно охраняются от потрав. Вернувшись с гор, стада кочевников пасутся здесь в самое тяжелое время года — зимой. Бывало, поблизости от зимовки и козе не позволят пастись, а тут — целый табун коней!

Пять сторожей, пять дряхлых стариков в рваных бешметах на голом теле, спокойненько поглядывая на табун, сеяли просо. Неспроста. И я сказал:

— Старики, кони!

— Спасибо, хоть указал.

— Или стада все пали от джута? — спросил я.

— Не все. Стада в горах, на джайлау. А вы чему удивляетесь? Табуну? Зимовки уже не наши. Волостные старшины отписали их купцу Калмыкову. В последний раз понемногу, — сил нет сразу, — сеем просо. Уберем — и прощай, кстау!

— А сами куда?

— Аллах знает!

Мы разбили палатку у родника, недалеко от муллушки.

Немного погодя появился Бэй Шэн.

— Трудно шли? — спросил он.

Скурлатов ответил:

— Трудновато. Боюсь, спутников своих заморил: крутить пришлось. Сколько дней сможем здесь отдохнуть?

— Мало,— ответил китаец. — Калмыковы вдруг вздумали к нашим коням прицениваться. Неспроста.

— Неспроста, — пробормотал с неудовольствием Скурлатов. — Как нам, однако, лучше разделиться?

Китаец молча указал на себя, моего отца и Скурлатова.

— Остальные будут объезжать коней, готовиться к службе на ипподроме. Вполне правдоподобно, а?

— Не вполне, но правдоподобно,— сказал Скурлатов. — Я-то на денек задержусь. Кое-что хочу Всеволоду показать.

— Степи, горы,— ответил китаец. — Что им один день?

КАК Я ОБЪЕЗЖАЛ ПОЛУДИКИХ

Бадама лихорадило. Он простудился, ожидая нас всю ночь в сыром овраге. Отец достал из своей котомки какой-то порошок, развел его на водке, добавил горячей воды и прописал Бадаму чайную ложку через час.

Старый табунщик Ахмет Усынов, длинный и гибкий казах из Синьцзяня, подсел к нашему костру и спросил — есть ли у нас мясо? Только хлеб да пшено? Ну-ну! Табунщик понюхал ложку, из которой пил лекарство Бадам, лизнул ее и, оглядев Бадама, сказал:

— Лекарство — хорошее, знаю, только завтра мальчик выздоровеет не от этого лекарства, а от другого.

— Какое же другое лекарство? — спросил я.

— Кони,— значительно ответил Усынов. — Коней объезжать будете? Хорошо обучите — выздоровеет мальчик, плохо — совсем захворает. Он хоть и мальчик, а — казах.

— Я — казах,— сказал Бадам, с трудом поднимая голову. — Я коней очень люблю.

Табунщик Усынов перечислил коней, которых, по мнению Бэй Шэна, мы должны обучить. Говорил он взволнованным шепотом, торопливо, и было заметно, что он мало доверяет наездническим способностям Скурлатова. Но, с другой стороны, телега... Коней приказано обучить не только под седло, а некоторых и под телегу. Телеги же у китайцев и русских разные.

Родник переходил в топкий ручей, и саженях в пятидесяти от нас, в голубой глине его, мокла телега, крытая рогожей. На ней тускло блестела некрашеная бочка. Старший табунщик продолжал свое,— под седло и сами табунщики с легкостью обучат любого коня, а вот обучать ходить в телеге они вряд ли сумеют. Хорошо, что телега крепка.

— А седла у вас какие? — спросил Скурлатов.

— Седла у нас хорошие.

Старший табунщик подошел к вьюкам Нубии. Лицо его выразило одобрение. Он спросил, кто вьючил лошадь, и когда назвали меня, он с уважением посмотрел мне на руки.

— Да, груз распределен умело, равномерно, иначе ведь даже легкий, но длинный вьюк, раскачиваясь на ходу, способен набить лошади бока. И седло удобное.

Ах, если бы табунщик знал, чего мне стоило научиться делать одинаковый вес и объем вьюка, взвешивая его на глаз и на руке!

— Обычно для табуна,— сказал Скурлатов,— на сто, скажем, голов берут не больше трех табунщиков, а почему вас — шестеро? Кони либо уросливы, либо с другими пороками?

— Хозяева,— ответил, пожимая плечами, Усынов.

— Неопытный хозяин часто путает коня с верблюдом. Верблюд, из-за своего упрямства, требует большого внимания табунщика, а конь иногда сам учит людей.

Старший табунщик воскликнул одобрительно:

— Ты хорошо говоришь о конях!

— Почему же все-таки, друг, у тебя так много табунщиков?

Усынов, помолчав, выговорил с усилием:

— Хозяин.

— Нет, ты объясни, друг!

— Друг? Дружба начинается с подарков.

Скурлатов положил в руку табунщика Усынова большой перочинный нож со множеством лезвий — единственную, пожалуй, свою драгоценность.

Табунщик долго рассматривал нож, пробовал его, точил, а затем, завязав в платок, спрятал за пазуху.

— Кони — либо урóсливы, либо очень дорогие.

Скурлатов, вскочив, крикнул мне:

— Гони Нубию в табун!

Табунщик с уважением поглядел на Скурлатова.

— Кони полудикие,— сказал я,— еще изувечат Нубию.

— Характер узнается в увечье,— отозвался табунщик, передавая повод своего коня Скурлатову. — Ты, вижу, все сразу понимаешь. Садись.

Скурлатов поскакал. Табунщик остался со мной.

Рыжий жеребец, высокий, с длинной шеей, длинными ногами, широкой грудной клеткой, подбежал к Нубии, как только она приблизилась к табуну, с силою лягнул ее, отскочил, сделал круг, вернулся и лягнул с еще большей силой.

Скурлатов остановил своего коня недалеко от рыжего и, сказав что-то вполголоса, наклонился и посмотрел рыжему в глаза.

Рыжий резко попятился, фыркнул, потряс головой и убежал далеко в степь.

Скурлатов вернулся к нам. Не слезая с коня, он сказал с расстановкой:

— Горяч.

— Очень под седло хочет,— отозвался старший табунщик.

— Как зовут?

— Молод, имени еще нет. Зовем пока Рыжик.

— Пусть и впредь будет Рыжик. Тулпар Рыжик.

— Ого!

— Сколько за него даст Калмыков?

— Сорок рублей, поди,— ответил табунщик.

— Цена ему — четыре тысячи.

— Це-ена!

Старший табунщик Усынов замолчал, недоверчиво глядя в сторону. Скурлатов, достав кисет, свернул себе папироску, свернул старшему табунщику, а когда появились еще табунщики, свернул и им. Закинув головы, все дымили с наслаждением.

Скурлатов, делая вид, что ничего не знает, спросил:

— Все из Синьцзяня?

— Трое. Остальные здешние,— ответил старший табунщик. — Без здешних дороги к Верному не найти. Хороший хозяин потеряет на приказчике, выиграет на коне.

— Верно.

И Скурлатов спросил одного из «здешних»:

— Как живется в этих местах?

— Живется тяжело,— ответил неуклюжий казах с багровым, шишковатым лбом. — Люди голодны, сеять нечего, уцелевший от джута скот продали за бесценок.

— Значит, табунщики рады заработать?

— Смотря на чем.

— На Рыжике.

— Как?

— Сделаем из него тулпара.

Табунщики замолчали, поглядывая на старшего, который повторил:

— Конь молодой, испортить легко. Да и зачем нам начинать с лучшего коня?

Лицо Скурлатова покрылось румянцем, он прижал руку к сердцу.

— Слов нет, какой конь! — и, обращаясь к старшему табунщику, воскликнул: — Будь по-твоему, друг!

Табунщики ушли. Скурлатов лег в пахучую тень кустарника. Вздохнув, он тихо заговорил:

— Работал я у ветеринарного врача Барыкова в городе Верном. Врач не могуч, силенкой никогда не хвастался, а по знаниям — быть бы ему великим наездником! Взглянет, бывало, на коня — и сразу все объяснит! Так вот, он говаривал: «Выездка лошади зависит от многих важных причин, а самая главная причина — выбор мундштука. Незнакомому с конским делом слово «мундштук» покажется пустяком: подумаешь, какая-то железка во рту коня! Между тем если мундштук соответствует строю челюсти лошади, ее деснам и языку, если пригнать его хорошо к уздечке, вымерив рот коня, конь,

можно сказать, сам объездится!» Я потом много раз проверял его слова.

Скурлатов, приподнявшись, посмотрел на Бадама. Мальчик лежал с закрытыми глазами, багровый, тяжело дыша. Остальные дети спали, прислонившись к нему. Скурлатов сказал шепотом:

— Пойду, пока совсем не стемнело, телегу посмотрю.

— Не терпится?

— Вот, вот.

Как только Скурлатов ушел, Бадам неожиданно подкатился ко мне, ткнул меня в бок пальцем и прошептал на ухо своими горячими губами:

— А вдруг не выздоровею? Вдруг дядя Скурлат испортит Рыжика? Вдруг табунщик врет, что выздоровею?

Слезы показались у него на глазах, он весь дрожал. Хороший мальчик! Скурлатов — умный, бесспорно: однако никто никогда не говорил, что он умеет объезжать коней, да еще диких китайских!

— Выздоровеешь, выздоровеешь, только до завтра ты должен не шевелиться.

— Не шевелиться? А если придет отец Чапе? А если он убьет мою мать?

— Спи, хороший мой Бадам, спи, — сказал я.

«Чапе? — думал я взволнованно. — Неужели Чапе здесь? Может быть, среди табунщиков? Я ведь его в лицо не знаю!.. И не поэтому ли Скурлатов так интересовался табунщиками?»

Мальчик между тем бормотал:

— Мать говорила: «Отец никогда не вернется. Этот, кто поведет тебя на речку Ак-Таш, выше отца». Я боюсь! Вернется не отец, а его тень. И эта тень убьет мою мать! Живой отец не убил бы, а тень — непременно убьет.

— Успокойся, хороший мой Бадам. Тебе мерещится.

— Мне ничего не мерещится — отец здесь. Мне Василиса сказала: «Возле муллушки Улап-Булак пасет табун твой отец Чапе!»

— Но ты же, Бадам, видел табунщиков, и среди них нет твоего отца!

— Я не всех табунщиков видел!

— Всех, всех, Бадам.

Однако, черт возьми, что здесь бред, что правда? И где, когда он разговаривал с Василисой Глебовной?

Скурлатов тем временем проверил крепость колес, оглобель, осей, упряжки. Он сказал:

— Славная телега! Нет лошади, которая б ее разбила.

— Когда начнем?

— Утром.

Я предложил сейчас же выкатить телегу из ручья, чтобы утром не тратить силы и время.

Выкатили телегу, принесли хомуты; Скурлатов еще раз оглядел тяжи, проверил вожжи, уздечки и еще раз похвалил телегу. Затем мы наполнили бочку водой и крепко привязали к телеге: бочка даст тяжесть, поможет равновесию. Соображения эти, впрочем, мне показались вздорными.

— Будто бы всегда диких коней объезжают в телеге с бочкой? — едко спросил я.

— У нас, на Иртыше, объезжают,— сказал Скурлатов.

— Пугать лошадь?

— Объезжают, объезжают! — вдруг послышался голос Бадама. — Это для меня, чтоб я слышал, как объезжают. Для меня, дядя Скурлат?

— Для тебя, для тебя,— ласково ответил Скурлатов.

Подошел Щепетников. Я спросил:

— А в России с бочкой объезжают или с пустой телегой?

— В Расее?

— В Расее.

— Не-е. Расейский конь родится в хомуте.

— Нам не коней объезжать,— продолжал я,— а мальчика лечить. Смотрите!

Бадам дышал чаще и чаще. Но когда к нему подошел Скурлатов, мальчик поднял голову и посмотрел на него.

— Дяденька Скурлат,— прошептал он,— ты не беспокойся, я выздоровею, раз ты объездишь Рыжика.

Ночью, волнуясь, Скурлатов вскакивал, подкладывал ветви в костер, раздувал пламя, и при свете его долго глядел в лицо Бадама, и щупал лоб мальчика. Над нами с жуткой ясностью светились звезды.

Проснулись на рассвете. Табун двигался к водопою, гремя щебнем. Скурлатов, влезши на камень, грыз ногти и смотрел, как пьет табун. Усынов, старший табунщик, сиплым ото сна и волнения голосом спорил с табунщиками — какого коня обучать первым, если не Рыжика? Наконец решили заарканить Буланого. Конь из средних: ни горяч, ни холоден. Подразумевалось, что

именно на таком и узнается искусство укротителей. Табунщики перекликались, звали друг друга. Имени Чапе среди них я не слышал. Может, он под другим именем? Чтобы проверить, я спросил:

— Мне послышалось, крикнули Чапе?

Скурлатов пристально посмотрел на меня.

— Чапе при табуне? Его тут нет.

Скурлатов раздул погасший костер, и мы торопливо стали пить чай, хотя, собственно, торопиться было некуда. Но хотелось вскочить и, крича, побежать. Бадам лежал, разглядывая тонкие ветки над своей головой и облизывая языком сухие губы. Нарикбай и Гулькамыс молча, вздрагивая, прижимались к больному. Мне показалось, они шептали Скурлатову:

— Объездишь Рыжика, выздоровеет.

— Это прямо какие-то нелюди,— сказал с возмущением Щепетников.— Коня объезди: выздоровею! Нашли лекарство! Тьфу! Это им непременно знахарь наговорил. И знахари-то у них, ка́к у нелюдей.

Я спросил:

— А что, мужицкие знахари лучше?

— Наши? Знамо, лучше. Наши знахари...

Он посмотрел на землю и сказал с внезапной злостью:

— И земля наша лучше! Вот кабы помещика согнать с нее — на это знахаря бы найти!

Щепетников принес лагу́н — деревянное ведро с дегтем — и помазки́. Мы приподняли жердью телегу, подперли жердь дугой, сняли колесо и жирно намазали ось дегтем. Затем Щепетников всунул в дуло колеса помазок, с которого длинные капли дегтя медленно падали на щебень. Помазок чмокал, Щепетников торопился, от него хорошо пахло дегтем, по̀том. Он надел колесо на ось, повертел его, полюбовался его ходом, и мы стали смазывать другое колесо.

— Ну, мне хоть черта укрощать.

— Где ж Буланый?

— Ловят.

— Долго.

— Да и по-моему, долго.

Спросили Скурлатова. Он, глядя на Бадама, попрежнему метавшегося в жару, сказал:

— Табунщики — народ суеверный. Они думают: а может быть, укрощать не Буланого?

— Почему?

Вместо Скурлатова ответил старший табунщик. Осадив коня возле нас, он без смущения сказал:

— А мы Буланого отпустили.

— Очень хорошо! — воскликнул Скурлатов.

— Что ж хорошего?

— Укроти мы Буланого, мальчику не такое уж большое удовольствие. Другое дело, если укротим Рыжика! — сказал Скурлатов.

— Ты хорошо соображаешь, Скурлат.

— Просто я люблю мальчика. И вам он понравился.

Когда табунщик отъехал, я возмущенно сказал:

— Но это же тьма, суеверие.

— Синьцзянь не Россия, да и в России тьмы еще хватит надолго,— проговорил Скурлатов. — А потом бывают суеверия безобидные. Кроме того, они чувствуют, что мне очень хочется поиграть с Рыжиком. Мускулы кричат по волюшке, соскучился!

Слышались взволнованные голоса табунщиков:

— Отделяй!

— Гей-эй!

— У-хо-хо-о!..

Старший табунщик, приподняв «крук» — укрючину, длинный шест с веревочной петлей на конце, стал понемногу отделять Рыжика от табуна.

— Хомут приготовить? — взволнованно спросил Щепетников.

— Седло!

— Это с чего же — седло?

— А с того, осиновая голова, что давай седло!

Щепетников сказал обиженно:

— Уговаривались — телегу? Не дам я седла! Под телегу коня учи.

Скурлатов посмотрел на Щепетникова с такой яростью, что тот — огромный, жилистый — весь вспотел и волосы на его голове стали мокрыми, словно он их только что вымыл. Он попятился и всей тяжестью тела наступил мне на ногу. Я был так взволнован, что и не заметил боли.

Старый табунщик, заарканив наконец Рыжика, подогнал к Скурлатову.

— Рот!

Табунщик не понимал.

— Рот! Ко мне! — кричал Скурлатов.

Старший табунщик с усилием подогнул длинную, горбоносую голову Рыжика к Скурлатову. Я подбежал с уздечкой и седлом.

Скурлатов, быстро смерив щепкою рот Рыжика, приказал:

— Отпусти коня в табун.

Табунщик недоумевал, но послушался.

Мы вернулись к телеге. Здесь Скурлатов уже приготовил целый набор мундштуков. Я смотрел на них с неприязнью. Глупости! Дело не в мундштуке! Между тем Скурлатов выбрал подходящий мундштук, вставил его и, махнув уздой, сказал:

— И узда вроде бы по переносью, и мундштук строгий, и цепка с крючком хороша, а беспокоюсь.

Потом Скурлатов, взяв седло, уздечку, на цыпочках, плавно, так, чтоб седло не бряцало ни удилами, ни стременами, пошел навстречу Рыжику, которого вновь заарканил Усынов.

Конь, поднявшись на задние ноги, бил передними, стараясь задеть наездника.

Скурлатов, не колеблясь, приближался, время от времени умиленно шепча:

— Слов нету, какой красоты конь!

Я задыхался. Подступали к горлу слезы, не то от волнения, не то от страха, не то от того и другого вместе.

Старший табунщик, стиснув зубы и нервно тряся головой, раскачивался в своем седле.

— Седлай!

Внезапно Скурлатов прыгнул. Одновременно он взмахнул уздечкой и седлом. Сердце мое замерло. Я зажмурился, и мне показалось, что Рыжик от душившей его злобы тоже зажмурился.

Когда я нашел в себе силы вглядеться, конь оказался заседланным, взнузданным, а Усынов от волнения так туго натянул волосяную веревку укрючины на шее коня, что у Рыжика перехватило дыхание и он, казалось, был готов рухнуть на землю.

— Работай! — крикнул Скурлатов.

Рыжик, весь покрывшись потом, вскочил, перемахнул через поросль кустарников, через ручей, через камень, опять через ручей, повернулся к муллушке, перелетел через ее низенькую стену и скрылся в пыли, и я услышал придушенный радостный крик Скурлатова:

— Работай, Рыжик!

Не знаю зачем, путаясь ногами в траве, я побежал вслед за Скурлатовым. Усынов скакал рядом со мной, рука его тряслась, и он кричал:

— Работай! А? Тебе какую лошадь? Под телегу? Буланого?

— Которого?

— Да того, у которого на спине черная продольная полоса.

ГРАЧ

Табунщики привели Буланого. Светло-желтое туловище его вздрагивало, черная грива, казалось, стояла дыбом. Усыпов расхваливал коня: ребра у него круглые и длинные, нога короткая, сухая, круп хорошо сформированный. Конь страшил меня — и нравился. Прыжками и слегка косящим умным взглядом он напоминал мне грача. Говорят, грач — толковая птица, быстро поддающаяся дрессировке.

Подошедший Бэй Шэн спросил:

— Вы идете отсюда в Индию?

Вопрос показался мне малоуместным, и я огрызнулся:

— А вы знаете туда самый короткий путь?

— Знаю. Хороший конь сберегает полпути. Если вы хорошо подготовите коней и наездников для вернеиского ипподрома, мы подарим вам двух или трех хороших коней. На них вы легче доберетесь до Индии.

Что-то он слишком надеется на мою укротительскую смекалку. Не нахвастал ли ему мой отец?

Разглядывая Буланого, я непринужденно сказал табунщику:

— Назовем-ка его Грач. Переименование помогает во многих случаях. Надеюсь, переименованный будет меня слушаться?

Грач никак не слушался. Правда, он не прыгал, как Рыжик, он больше норовил кататься. Глядя на него, я остро предчувствовал, что этот конь принесет мне много неприятностей. Я сказал табунщикам:

— В коне прежде всего надо понимать характер. Я чувствую, что бочка ему неприятна. Это вроде того, если бы повесить ему на шею вместо бубенчика десятипудовый колокол. Кроме того, вода плещется, могут ослабнуть веревки... бочку — прочь!

Табунщики молча скатили бочку и стали впрягать Грача. Конь дрожал, пытался падать, но Усынов кнутом поднимал его. Сначала я жалел коня, потом мною овладела злость. Злость помогла мне ввести его в оглобли.

Усынов подал вожжи и отскочил.

— Работай!

Все тяжкое, нудное, заполнявшее мой разум и тело, все мои терзания исчезли мгновенно!

Приятное, легкое, почти любовное чувство к Грачу и к дороге, по которой я должен был его направить, заполнило меня. Мне казалось, что лицо мое, озаренное светом счастья, отражается в дороге и в этой мерцающей щебенчатой степи!

Как мне хотелось, чтобы колеи дороги были заметны! Как приятно было слушать, когда травы, росшие между колеями дороги, шурша задевали колеса экипажа!

Телега неудержимо и прямо мчалась по дикой степи, и ободы ее, обитые железом, скрежетали среди щебня.

— Работай!

Если нет дороги, будем скакать и по степи, и по руслу высохшего ручья.

Телега, отлично смазанная, плавно катилась по дну ручья. Ого! И мое сердце через край переполнялось невыразимо наивным покоем.

Ручей между тем сузился, и золотисто-желтые стены его находились уже так близко, что я, вытянувшись, мог достать до них рукой. Очень хорошо! Авось не застрянем, а застрянем — выпрягу, поверну телегу в другую сторону и снова впрягу: конь очень послушный. Чертовски приятно!

Ехал я долго.

Горные тропы, как известно, чрезвычайно извилисты и запутанны. То же самое мог сказать я и о руслах потоков, по которым бегут весной горные воды; во всяком случае, о том, по которому я мчался как бы навстречу холодным несуществующим водам.

Но вот высокие стены оврага кончились. Телега вылетела на какую-то площадку. Я увидал впереди между громадных и крутых гряд гор глубокие долы. Все гребни гор имели одинаковое направление, и поэтому линии перегибов сливались в одну плоскость.

Немного подальше, на холме, возле высокого бесстебельного пепельно-серого растения с широкими листьями, маленький всадник махал мне тюбетейкой. Бадам?!

Выздоровел-таки мальчишка?! Ай-да кони, кони, кони! Ай-да Рыжик! Ай-да Грач буланый!

Бадам подъехал и, благодушно глядя в мои глаза, торопливо сказал:

— Василиса приехала! И моя мать, Ханыке, тоже здесь! И отец мой, Чапе, тоже, говорят, здесь! Сворачивай на дорогу, вон туда, вправо: она прямо к зимовкам. Да отпусти вожжи! Конь твой сам найдет дорогу. Укрощен...

— Подожди, парень! Говоришь, приехала Ханыке.

— Приехала!

— Ну и ну! Вместе с Василисой Глебовной?

— Вместе.

— Так вот, садись сюда, бери мои вожжи, своего коня привяжи к телеге, а я приду пешком. Надо размяться.

БРОЖУ ВБЛИЗИ КОСТРА

— Ты чего это, Всеволодушка?

— Надо постирать, Капитон, пока не стемнело.

— А завтра? Уморились мы, коней укрощая.

— Гости приехали, неудобно в грязном.

— Ради иного гостя не одежду надо менять, а оружие.

— Разве Борис Глебыч тоже приехал?

— Слава богу, нет.

Во время наших странствий выяснилось, что я лучше стираю, чем Скурлатов и Щепетников, который вообще презирает стирку и, быть может, отчасти из-за этого и меня. Занятие бабье! А между тем стирка — очень сложное дело. Мыло дорогое, и стирать нужно бережливо.

Свернув белье, направляюсь к источнику.

— Ты надолго? — спрашивает Скурлатов. — Василиса Глебовна переодевается и придет обедать.

Уже переоделась! Красивая, в белом полотняном платье и платочке. Калмыковский тарантас уперся оглоблями в стену зимовки; палатка натянута сразу же за тарантасом. Василиса Глебовна кладет что-то в тарантас, отходит, поправляет на голове платок. Стена дома, обращенная к солнцу, залита фарфорово-розовым светом, а другие — такой щедрой тенью, что там ничего не видно. Тем прекраснее отражение этой женщины на фарфорово-розовой глине!

Хотел стирать долго, чтоб пообедали без меня, а вернулся — обед еще не готов. Отец, мешая ложкой в котле, сказал, ухмыляясь:

— Обедаем за счет Калмыковых: баранину прислала.

— Славнущая еда, — вставляет Щепетников.

Скурлатов сказал:

— А я, брат, лежу тут возле котла, нюхая запах супа, и никак не могу решить: говорить ей о Рыжике или смолчать? Тулпаром оказался! Пожалуй, Сквозного обгонит. Каково? Табунщики все равно проболтаются.

Вопит Бадам:

— Я маму приведу сюда, ей скажи!

Ханыке к нам?! И Василиса Глебовна? Быть большой суматохе. За палаткой вдобавок слышен голос адвоката Мейстера и видна его сутулая фигура. Он-то сюда зачем? Решился он наконец на процесс или пришел к убеждению, что все предположения о пересмотре процесса — вздор? Наверное, так оно и есть. Слишком уж дружелюбен его голос. Я смотрю на отца. Он сучит нитку, пришивает пуговицу к рубахе и подает ее мне. Рубаха чистая, но, пожалуй, я ее еще простирну.

Мой отец, делая вид, что торопиться некуда, сбрасывает деревянной ложкой пену с кипящего казана и пробует «сурпу» — суп, затем не спеша сыплет соль. На лице его удовольствие: приятно узнать иртышские новости; рядом с его фуражкой лежит письмо из Лебяжьего. Как там живут домашние? Денег бы послать... получим скоро «комиссионные», когда китайцы продадут вновь открытого тулпара! Так мечтает мой отец.

А я, вместо того чтобы читать письмо из дома, бегу к ручью.

Купаться? Может быть, купаться, а может быть, ожидать ее.

Кладу рубаху в ямку, нахожу повыше другую ямку, намыливаю голову, спину, руки, ноги. Нет, я ее не жду, я просто купаюсь. Солнце близко к закату, и нужно вымыться, пока оно совсем не ушло. Конечно, примета пустячная, будто лихорадка пристает именно на закате, но все-таки лучше, если она не пристанет. То есть я имею в виду любовную лихорадку, ха-ха, от которой я, слава богу, избавлен! Чем избавлен, какими лекарствами, какой хиной?

Между мной и телегой — рощица грязновато-зеленых кустарников. Рощица не поглощает голосов, а придает им нежность и мягкость. Напряженно вслушиваюсь. Ну да! Так я и знал! Она! Подошла к нашему костру. Разговаривает:

— Только что пришла, а вы уже бежите, господин Скурлатов?

— Табунщиков, Василиса Глебовна, на ужин пригласить?

— Э, за ними я послала Нуру. Садитесь-ка и скажите, пожалуйста, почему у русских конепромышленников укрепилось мнение, что вся мышечная сила коня — в его росте?

Скурлатов молчит: должно быть, думает. За него отвечает мой отец:

— От былин. Богатыри были люди рослые, ну и кони — тоже.

— Между тем киргизские кони ниже русских и короче,— продолжает Василиса Глебовна,— но по выносливости не только не уступают им, а порой и превосходят.

— Вы, собственно, сейчас думаете не о киргизских конях, Василиса Глебовна, — вдруг говорит Скурлатов, — а о китайских?

Василиса Глебовна звонко смеется.

— То есть о вновь открытом вами тулпаре Рыжике? Да, о нем. И, если хотите знать, я приехала в урочище Улан-Булак покупать его.

— Да неужели? — сухо говорит Скурлатов.

Василиса Глебовна бросает еще более деловито:

— Но лишнего не заплачу, не запрашивайте.

— Хозяева — китайцы.

Молчание, легкие шаги — и вопрос к Скурлатову.

— Где Всеволод?

— Не он объезжал тулпара. Сейчас пошел к ручью. Сходить за ним?

— Нет. Мне ведь он тоже не ахти как нужен, — раз не он объезжал. Мне хочется погулять. Комаров нет, родственников — тоже. Вы что-то хотели спросить у господина Скурлатова, Роберт Васильевич?

Адвокат бросает один вопрос за другим, но мне уже не интересно прислушиваться. Я вымылся, чувствую себя превосходно, мне тоже хочется гулять — и тоже одному. Ночь, по-видимому, будет великолепна. Уйти в горы,

что ли? А если уходить, то — сейчас, пока видна тропа. Чего же я сижу и продолжаю прислушиваться к голосам, которые мне совершенно не интересны?

— Эй, Бадам!

— Здесь я, дядя Скурлат.

— Беги к костру.

— Бегу.

Скурлатов забавляется. Он громко говорит:

— Надо им прицениться.

— Кому? — спрашивает отец.

— Китайцам нашим.

— К верненским ценам на коней, что ли?

— Ну да! Продешевить легко. Уже прасолы съезжаются.

— Охотники, а не прасолы, — поправляет Мейстер.

— Прасолы любят охотниками притворяться, чтобы бедных китайцев обманывать.

Отец, боясь, должно быть, что Скурлатов проболтается, — хотя вот уж за Скурлатова-то нечего бояться! — поспешно говорит:

— Китайцы сами торговцы. Им, поди, верненские цены хорошо известны, не упустят своего.

— Да, да! — громко говорит Скурлатов и затем обращается к Бадаму, который стоит рядом с ним и громко дышит: — Скакать тебе, Бадам, на небывалом тулпаре. Завтра же сравним бег Рыжика с бегом других коней!

— Ой, дядя Скурлат! И в Верном пустишь?

— В Верном это уж как наши хозяева.

Куда она девалась? Почему она не выходит к ручью? Или ушла в горы? К себе в палатку? Где она?

В двух шагах от того места, где я купался, в пыли дороги, несмотря на сумерки, я узнаю глубокий след ее маленькой ножки. Она стояла здесь? Она приходила к ручью? Но ведь когда я вышел на берег, здесь никаких следов не было! Куда же она скрылась? Ах да, к костру. Но ведь и оттуда она опять ушла.

— Всеволод, здравствуйте! — тихо слышится в кустах.

Не отвечаю.

Что она мне? Новый тулпар ей нужен, а не я. Охотница, ха-ха! А может быть, и прасол?.. Кроме того, мне — почудилось.

— Где вы, Всеволод? Вы просто свинья! — И еще тише: — Дурак!

Иду берегом, вверх против течения. Вода побулькивает, задевая носок моего ботинка. Голоса от костра еще доносятся, слов разобрать невозможно. Топчусь на низком и мокром песке. Присаживаюсь. Вскакиваю — и тут же с раздражением начинаю понимать, что означает, когда говорят, что человек не находит себе места.

— Все-е-во-о-лод...

Это — уже совсем тихо, словно во сне.

И это невыносимо.

Уйду!

Костер у телеги ярко пылает. Чертовски хочется есть! И чувствуется острый запах сырого можжевельника, который набросан в костер, чтобы отогнать комаров.

Ага! Все томление мое, разумеется, из-за приятного запаха баранины. Прочь! Я перепрыгиваю ручей, прохожу отмель. Передо мною наконец степь. Но куда пойдешь по росе? И, кроме того, этот голос! Он все громче и громче. Возвращаюсь на отмель. Она здесь!

— Наконец-то! Кричу-кричу, а он хоть бы хмыкнул.

— От купанья или тряской езды, что ли, заложило уши.

Василиса Глебовна по ту сторону ручья. Лицо ее в сумерках бронзово-бурое, с зеленым отливом. Она спрашивает вполголоса:

— Где здесь купаются? Где глубоко?

— Против течения, шагов двадцать, за холмиком. Видите, кустарники? Они похожи на росчерк дьявола.

— Да, удивительно точное сравнение,— говорит она смеющимся голосом. — Там не омут? Боюсь омутов.

Собственно, вода там выше колен, но как выше — я стесняюсь сказать. А мог бы, например, сказать, что вода ей до шеи.

— Вода вам по грудь! — говорю я уныло: насилие над собой не доставляет мне никакого удовольствия.

Белое полотняное платье и белый платочек, кажется, хотят прыгнуть через ручей? Нет, раздумала, отошла, села.

— Бранила вас, Всеволод, я громко и отчетливо. Сердитесь?

— Просто вы устали с дороги.

— Подвижник! Согласен переносить мои оскорбления! А может быть, они вас и не оскорбляют? Вдруг да вы и впрямь влюблены? Ведь влюбленные готовы переносить все! Какая пошлость!

Она перебивает свои слова легким смехом, а затем говорит другим, более сердечным тоном:

— Сижу я, Всеволод, на камне, боюсь разных мелких гадов, которые кусают преимущественно ночью; разные там кара-карты...

— Не кара-карты, кара-курты.

— Все равно! И еще — глотай эту противную баранину... — Она протягивает бумажный пакет с тремя огромными верненскими яблоками. — Не угодно ли?

Нет, не угодно. Тогда она предлагает мне вымыть яблоки.

— Я, собственно, затем сюда и пришла. Я с раннего детства отличалась опрятностью и мнительностью. Дотронешься иногда до грязного человека или собаки — и ночь потом не спишь. Вода, надеюсь, здесь чистая? Да, ключ! Что это там, пониже, белеется?

— Наше белье. Стираю.

— А-а!.. Итак, глотаю баранину и думаю: чего ради я потащилась сюда? Неужели ради Мейстера? Мейстер хотел встретиться с этим надутым Скурлатовым. Я рада вас опять видеть, Всеволод, а вы? Впрочем, молчите! Вы наиболее красноречивы в молчании. Ха-ха! Мейстер передает, что семипалатинцы по вас скучают, даже тоскуют. К сожалению, Мейстер хорош в суде, но в быту его речи унылы. Где ему передать, что без вас для меня жизнь в городе стала мучением и я с радостью слушала каждую весточку о вас? Голубчик, вы живете теперь великолепной жизнью! Впереди — легенда; позади — сказка! Знаете ли вы, что Чапе, муж Ханыкеслу, ревнуя ее к вам, хочет вас убить?

— Право, это кажется мне выдумкой.

— Идем рвать цветы, пока совсем не стемнело.

Мы выходим на дорогу, но она направляется не вдоль ручья, а к муллушке. Какие там цветы? Полынь.

Муллушка стоит у щебнистого поля, которое выходит к ней мысом. Подальше, за муллушкой, находилось прежде место казачьего пикета — «пост». Еще подальше набросаны камни — целый холмик, тоже старинного происхождения, для дневального казака — «редант».

Южную ночь, благоухание, тишину, прерываемую соловьиным пением, мягкий свет луны, передразниваемый звездами,— все это я встречал, но, к сожалению, не здесь, не сейчас, а значительно позже. Иначе разве мог бы я так разговаривать?

Василиса Глебовна нежно спросила:

— Хорошо здесь стихи лирические писать, Всеволод?

Я ответил едко, желая сбить ее нежность:

— Нет, плохо. Поганое место. Да я и не люблю стихов.

— Давно с вами такое?

«Недавно,— хочется мне крикнуть с негодованием,— недавно, плохая вы женщина! С той поры, когда я догадался, что вам хочется выпытать у меня кое-что. Ничего я вам не скажу, хоть ищите со мной цветы всю ночь!»

МУЛЛУШКА

Муллушка упирается в скользкий от росы щебень. Когда ступаешь на этот щебень, всего тебя охватывает сырость, вызывая озноб. Саманные кирпичи, из которых сложена муллушка, издают отвратительный запах: днем в тени муллушки пасется табун, и запахи, им оставленные, сейчас еще более сильны, чем днем. От зимовки слышен надрывный лай собак, тощих и озлобленных, которые дрожат от страха и бессонницы, потому что вокруг по степи кружат отъевшиеся на джуте огромные волки. Недурна и луна, словно изгрызенная этими волками!

В руках Василисы Глебовны по-прежнему бумажный пакет с яблоками. Постукивая о бумагу пальчиками, она, через мое плечо, заглядывает в черную пасть муллушки.

— Страшно! Вносят сюда только трупы; и вбегают волки, роют землю, надеясь достать труп? Брр!.. Вы заглядывали туда?

— Нет!

— И я ни за что не загляну!

Отворачивается. Ах, кривляка белобокая!

Выхожу на дорогу, но Василиса Глебовна все еще стоит неподвижно у муллушки, и я возвращаюсь.

— А знаете, Всеволод, о чем я думаю?

— О мертвецах.

— Нет, о самом живом из живых! Думаю я о вашем отце.

— Например?

— Ну, чтоб отомстить за все мои пакости, втолкнул бы меня в муллушку! И я поняла б его.

— И меня?

— Вас? Нет.

Разговор о моем отце наводит ее на грустные мысли.

Она молчит.

Вокруг купола неслышно кружат птицы.

— Мы им мешаем, Всеволод. Они хотят туда.

Я соглашаюсь.

— И еще больше будем мешать в муллушке? Впрочем, может быть, сова примет нас за своих детей. Вы слышите, пахнет смолой? Будет гроза, ливень. Пора мне в палатку. Мейстер привез из Семипалатинска коробку превосходных пирожных, сухих.

— Смотрите, никто от костра не возвращается в палатку!

— Дожидаются нас.

— Небо полно звезд! Откуда грозе?

— А это ничего не значит. Я предчувствую грозу: ливни здесь бывают чудовищной силы. Знаете что? А не проще ли спастись нам в муллушке? Ну, конечно! Капля! Первая, вторая...

— Василиса Глебовна, совершенно не каплет!

— У вас, Всеволод, чересчур горячие руки, дайте-ка их сюда. Они так горячи, что, ха-ха-ха, капли мгновенно испаряются! А между тем капли чаще и чаще. Боже мой! Нам некуда деваться! И всё вы! Я говорила вам, что не нужно отходить от ручья. До палатки целая верста! И — под проливным дождем? А платье-то ведь испортится! Другого не захватила: я ведь сюда ненадолго. По-вашему, мне ехать в измятом грязном платье? Или, быть может, вы мне его выстираете? Боже, какой он глупец!

В голосе ее — страдание, к горлу явно подступают слезы. Мне жаль ее. Я спешу в муллушку, зажигаю спичку. Сухой, ровный пол, посыпанный красным песком, напоминает пещеры в горах под Сергиополем. Не хватает только сибирского ветра!

* * *

Василиса Глебовна решительно идет за мной. Я бросаю на землю куртку. Она, ежась и дрожа, оглядывает стены, достает из кармашка платья флакончик одеколона и, прыская вокруг куртки, бормочет:

— Пчела не любит духов. Чепуха! На Алтае, надушенная конечно, я ходила на пасеку. И всегда пчелы меня страшно искусывали! Но раз я пошла туда сразу из бани, и они, представьте, не тронули. Оказывается, забыла надушиться!

— Здесь нет пчел.

— Все равно, ведь эти кара-карты насекомые? Можно сесть на вашу куртку? Она — шерстяная, и кара-карты не поползут.

Она садится, охватывает колени руками и, глядя в мрачный, темно-зеленый квадрат двери, бросает вполголоса:

— А в парикмахерской и в темноте люди говорят больше всего. Но вы, конечно, оригинальны. Молчите. Терпеть не могу оригинальных людей! Сейчас, чтоб отплатить добром за зло, он начнет объясняться в любви.

— Я не в Семипалатинске.

— Дался ему этот Семипалатинск! Да и за Семипалатинск должны мне быть благодарны! Я прославила вас. И, между прочим, я знаю, вы замечательно умеете убеждать. Убедите меня!

— В чем?

— Вы притворяетесь или действительно вы дурак?

Это наконец невыносимо! Вспыхнув, я поднимаюсь на ноги. Я, разумеется, вежлив, рад ее видеть, но нельзя же так смеяться над моей вежливостью и радостью! Я знаю, она презирает меня, и мой вид, и мой облупившийся от солнца нос, и то, что ботинки мои в пыли, а одежда совсем обносилась. Но мне совсем не стыдно за себя, а — за нее! У меня долго не хватало мужества сказать ей все это, но теперь терпение лопнуло, получайте!

Задохнувшись от пылкой речи и делая вид, что мне легко дышится, я устало опускаюсь на землю. Она долго молчит, покачиваясь: хотя я сел от нее далеко, все же, время от времени, ее плечо касается моего. Где-то рядом с нами еле слышно кто-то скребется, быть

может, какой-нибудь жук или мышь. Я зажигаю спичку. Звук не прекращается.

— Что вы?

— Не то скребется, не то грызет...

— А это у меня от сухости воздуха, должно быть, скрипит корсет,— говорит она спокойно, поднимая на меня большие грустные глаза,— простите...

Она встает, заламывает руки, глубоко вздыхает, и я обращаю внимание на ее тонкую талию; широкие, пологие плечи; крошечную, еле заметную грудь; сильные, но не выпирающие бедра. Цирк приучил меня любоваться красотой человеческого тела. Это привычка, а никак не любовь к ней, да! Я и любуюсь. К сожалению, спичка гаснет, но я не буду зажигать другие.

— Простите, вы обижены, Всеволод? Но, боже мой, почему люди должны притворяться; почему нельзя прямо сказать, что вы, шутя с огнем, обожглись, а я — горю? Почему я должна бороться с возрастающей моей слабостью, а вы — с возрастающей вашей силой? И, наконец, почему не сказать просто: мы оба влюблены?

Под ноготь мизинца попал сухой стебелек. Я нажимаю, чтоб он вонзился глубже. Быть может, боль под ногтем развеет это жгучее и сладостно-суровое молчание?

Она тихо говорит:

— Три года назад... да, да! Осенью был суд, а потом мы поехали к деду в Москву... возвращались мы через Павлодар. Гостили у Деровых, а вечером — пошли в цирк. Неподалеку сидел молодой человек, вот в этой же куртке, на которой я красуюсь сейчас, разве что она тогда не была так поношена. На меня он и не взглянул, а необычайно влюбленными глазами глядел на Антуанетту Сирбо. «Любовь и должна быть необычайной, если это любовь!»— подумала я. И никого больше не смогла полюбить!

— Ну, неправда же!

— В антракте я зашла к Антуанетте Сирбо. Она не могла меня познакомить с молодым человеком — сама была с ним незнакома и знала: он влюблен так робко, что она боялась его вспугнуть! Я пошла к вашему дяде. Он сказал: «Сырой, ему еще зреть да зреть!» А теперь — целый город, все семипалатинцы говорят: «Пока он был здесь, Калмыков чуть не разорился. Его рука!» То есть — ваша. Ваша рука подожгла затон,

надрезала супонь, притушила дело с этой же супонью, влюбила в себя Василису, увела ее за собою в степь, убьет ее там! Каково? Ваша пьеса о моем отце ходит из дома в дом, а какой-то досужий стихоплет уже закончил ее.

— Ну, зачем вы все это говорите? Ведь это же все глупости, болтовня!

— Мир наполовину построен из вздора, наполовину — из болтовни, все остальное заполнено глупостью. И как редко встречается любовь и как ее надо беречь! Даже родительскую, с которой мы, дети, обращаемся вообще неосторожно. Отец у меня, как я вам сказала, однобокий, знает только свою коммерцию. Он не любил моей матери, женился из расчета и в короткое время ухитрился сделать из нежной, тонко чувствующей женщины простую стряпуху! Мать! После того как дети ее превратились во взрослых, она нашла силы признать, что они сами должны выбирать свое счастье. Ее лучшим утешением стала религия. Появился этот архимандрит Михаил, человек, несомненно, неглупый. Мать обещала ему выстроить собор. И я дала ей слово — помочь, и сдержу его!

— Решив заработать больше денег, чем даже отец?

Я не верил ей,— и все-таки слушал едва ли не с наслаждением.

— Это вы зарабатываете деньги, а мы их добываем, дорогой. Впрочем, собор возник позже; сначала — свадьба, Пишпек, мой муж, больной, несчастный алкоголик. Отравление. Адвокат Мейстер говорил — купеческая среда, островщина, отсутствие просвещения. Говорил красиво и присяжных даже убедил, а беда была совсем в другом: слишком много просвещения, и притом домашнего. Просвещение в школе уравновешивается скептицизмом ваших соучеников, просвещение дома оглушает вас. Авторитеты возбуждают дома безотчетный, малодушный страх. Вот сейчас все боятся дурной наследственности. Просвещение! И моя мать, уважая науку о наследственности, боялась за меня, за моих будущих детей, за все наше торговое дело... Она стерегла моего мужа, как самый лучший сторожевой пес не стережет амбара хозяина! Особенно ночью. Мне кажется, она к ночи-то и напаивала его, и напаивала так, что он терял сознание. Я умоляла ее: «Да забудь ты его, мама!»— она отвечала мне резко, сердито. Ну, а потом,

когда он заболел тифом и выздоровел, она уже совсем рехнулась и, мне кажется, подмешала к тем кушаньям, которые он так жадно ел после выздоровления, небольшое, вполне достаточное, впрочем, количество стрихнина.

Я вспомнил слова моего отца:

— Вам, богатым казакам, чтобы отмолить свои грехи, действительно надо строить собор до небес.

— И небесной вышины не хватит! — подтвердила она, вздохнув.

Зашуршала бумага. Я спросил:

— Ну, чего вы держите эти яблоки?

— Вам отдать?

Она сунула мне в руки бумажный пакет, и я нащупал яблоко.

— Прошлогодний урожай?

— Прошлогодний. В Метелочной казак-искусник умеет долго хранить яблоки. Предлагала купить секрет. А он: «Раз проходит железная дорога и яблоки будут вывозить в столицу — секрет десять тысяч рублей!» Ох, жадны мы, казаки, жадны. Жадны ведь?

— Жадны.

— И вы, Всеволод, жадный.

— Жадный.

— Это хорошо.

Она засмеялась.

— А счастливица Саумал скоро обвенчается с Гемадиновым. Завидую.

И, помолчав, добавила:

— Ужасно хочется обвенчаться.

Рука ее, все еще лежавшая на моем плече, задрожала. Я почувствовал страстное желание схватить эту руку, прижаться к ней щекой, губами; казалось, что тогда я закричал бы от радости, — и мне стало бы легче.

Не знаю для чего, зажег я трясущимися пальцами спичку. Она глядела на меня, сурово сморщив брови.

— Конечно, лучше обвенчанной?

— Лучше.

Охватив мою шею руками, прижалась к губам.

— Вот и все! Однако обвенчаться следовало бы.

Я ухмыльнулся:

— Вокруг куста?

— Весной каждый куст — алтарь. Но здесь и куста нет, да и весна поздняя.

Выскочил, нашел какой-то сырой куст срубленного табунщиками кустарника, вернулся, с трудом воткнул его в песок. Сухо, рот словно забит пылью. Спички гаснут одна за другой.

Она, поеживаясь, говорит тихо:

— А в голове — слабость. — И шепотом продолжает: — Венчается раб божий Всеволод с рабой божьей Василисой... Нет кольца!

Отламывает веточку кустарника, быстро скручивает два колечка.

— Ты, Сева, ведь не раб божий?

— Нет.

— А я раба! И совершаю кощунство. Бог накажет. Но пусть нас венчает кощунство! Теперь я — жена.

И она бросается мне на шею.

— Даже целую по-другому, правда?

Но все же это мне чем-то неприятно, и мне трудно удержаться, чтобы не сказать:

— И это — все?

Она не понимает, а может быть, я говорю слишком тихо?

— Теперь могу сделать все. И кара-картов не боюсь. Ничего не боюсь!

Она выбегает из муллушки, рвет охапку мягкой полыни и стелет постель.

— Как хорошо, тепло, уютно.

Шорох и шум. Ветер играет полынью? Никакой полыни поблизости нет: полынь либо истоптана нами, когда мы стояли перед муллушкой, либо сорвана для постели. Быть может, кто-то ходит вокруг нас? Быть может, это Чапе?.. И кому придет в голову, что люди будут прятаться в муллушке?

— Ты, Сева, чертовски мужественный. И ты смог доказать свою любовь. Да и я свою любовь доказала, не правда ли? И если ты меня бросишь, моя любовь будет разбита.

Она ощупывает во тьме мое лицо, целует глаза, брови, щеки.

— А ты знаешь, какой святой здесь лежит?

— Ну, откуда мне знать?

— Долина была здесь безводная. Пришел святой человек и так долго молил о воде, что надоел он богу,

и тот сказал: «Рой!» Святой рыл, дорылся до воды, а затем, в знак торжества молитвы, выстроил купол над колодцем. Появилась вода, а значит, и переселенцы и женщины. А значит, святой влюбился и согрешил. Именно здесь, возле колодца. Бог не любит, когда люди чересчур много наслаждаются. Бог сказал: «Бесстыдник!» И колодец засох, и переселенцы ушли, и, конечно, ушла женщина. Но и тут святой не раскаялся и сказал: «Все-таки мне было хорошо, хотя и недолго». И он умер, и погребен под нами. Спи, дорогой, ты устал. Я тоже устала и тоже засну.

В смуглой мгле мерещится утро.

Только раскрыл глаза — она просыпается.

— Тебе хорошо?

— Да.

— Мне тоже. Жаль лишь святого: он завидует — ему не было так хорошо. Но зависть его — наказание ему от бога. Бог мстителен. Мне он тоже отомстит. Плюю!

Она потягивается.

— Раньше посмеивалась, слыша, что ты идешь в Индию. Можно ли идти в сказку? И возможно ли в нее прийти? Но всего удивительнее то, что я пришла в нее вместе с тобой! Согласись, идти-то ведь было приятно?.. Рано. И кто там бренчит у зимовок?

— Нура запрягает коней.

— Да, три часа.

Она, улыбаясь, находит свои часы с порванной цепочкой в измятой, сорванной ею полыни.

— Да, три часа.

Она восклицает:

— Все вижу, но не вижу трех наших яблок!

Она нашла их сплющенными среди полыни и стала жевать с увлечением.

— Ничего слаще не едала!

Отряхивая с рук остатки яблок, говорит:

— Теперь я понимаю, каким яблоком прельстил Еву змий.

Она идет к своей палатке. Останавливается, думает, бежит к ручью, берет забытое мною белье, стирает. «Ах, белобокая!.. А ведь ничего не спросила? Значит?.. Понятия не имею, что это значит!»

Нура тем временем запряг коней и, чтобы сказать это, идет к палатке. Никого нет в калмыковской палатке! С нежностью и любовью гляжу, как женщина из палатки полощет в ручье наше белье. Да, да! Палатка пуста.

И, наполненный счастьем, закрываю глаза. Дремлю.

До моего плеча дотрагиваются. Нура бормочет, показывая бумажку: «Висела на палатке. Что пишет хозяйка?» Читаю: «Не будите молоду очень рано поутру. *В. К.*». Смеюсь.

Нура, серьезно поджав губы, смотрит в землю.

— Распрягать, видно?

— Видно, распрягать, Нура.

— Спутать коней поблизости или пустить в табун?

— Пожалуй, лучше поблизости.

Выстирав и развесив белье, Василиса Глебовна, зевая, вошла в палатку и, громко воскликнув: «Боже, да тут с раннего утра мухи! И полчаса, поди, не дадут заснуть!»— легла спать.

Спит она полчаса, час, три, спит до обеда.

В обед Нура пробует будить ее:

— Хозяйка, кушать надо!

Тщетно. Она спит.

Солнце к закату опускается с той же сладкой усталостью, какой наполнен и я. И мне кажется, что оно так же, как и я, целый день читало книгу, а сейчас, как и я, не помнит из нее ни строчки, хотя книга классическая, поэтическая.

Она спит. Превосходно, дорогая. Она спит. Замечательно, милая моя!

Спит. Палатка разбита только для нее; Мейстер и Нура спят на кошмах под тарантасом. Калмыковские кони и Нубия пасутся с китайским табуном.

После обеда отправились в Верный верхом Скурлатов, Бэй Шэн и мой отец. Рыжика вели они на поводу. Мейстер проводил их с грустью.

Мой отец, усаживаясь поудобнее в седло, подмигивает, кивая на нового тулпара: «Ловко? Раз Рыжик торопится на ипподром в Верный, Сквозной тоже будет торопиться. Значит, Борису Глебычу здесь не бывать». Я пожимаю плечами: а собственно, что мне Борис Глебыч? Отец снова подмигивает: «Ну, как же! Тебе легче ее расспрашивать, а мы, торопясь проверить бег Ры-

жика, действуем вполне правдоподобно, по-барышнически. Никто ничего не заподозрит». Вслух он говорит:

— Ждем тебя с табуном. Впрочем, если хочешь, можешь идти и отдельно. Кстати, и Бадам пойдет с табуном, если его мать отпустит. Ты ее не видел?

— Нет еще.

— Повидай. Ханыке тебе очень признательна.

И я остаюсь один возле нашей дорожной палатки. Бадам, Нарикбай и Гулькамыс — у матери. Строгая палочку, лениво идет мимо Мейстер.

— В горах, сказывала Василиса Глебовна, всю ночь бродили? Завидую. Луна, свежесть, бодрость, — говорит он, и палочка дрожит в его пальцах. — А мне, дорогой мой, скучно. Геммадинов пригласил меня в Верный побеседовать с членами правления Среднеазиатского банка относительно ссуды на мою газету. Скурлатов денег достать не смог; дай, думаю, я попытаюсь, ну и стукнулся к Геммадинову. Разумеется, банковского влияния никакого, и ссуду беру, чтоб не увязнуть, краткосрочную. Хорошо, еду в Верный. Еду с неудобствами, дороги отвратительные, попутчик — надоедливый болтун. И тут, на повороте в Метелочную, узнаю калмыковский тарантас. Василиса Глебовна! «Пересаживайтесь, я тоже в Верный, только в урочище Улан-Булак заедем на часок; вы увидите близких ваших знакомых, а я попрошу китайский табун, чтоб он подождал брата. Брат за этим табуном гоняется: кони, говорят, там великолепные».

Мейстер сердито отбросил палочку.

— Еду...

— Откуда, не знаете ли, стало известно Василисе Глебовне, что мы в Улан-Булаке?

— Не поинтересовался. Меня, знаете, занимало другое. Геммадинов-то, оказывается, подружился с Калмыковым, и Среднеазиатский банк — теперь родной брат Русско-азиатского!

— Ну и что же?

— Как ну и что же? Ведь он мне намекал, что намерен «зацепить» Калмыкова и что даже Саумал ему в этом чем-то поможет. Впрочем, чем ему молодая девушка может помочь? Ослепление жениха, любовь, не больше.

— Стало быть, вам и в Верный нет нужды ехать?

Мейстер грустно развел руками.

Непонятно, как я мог думать, что этот человек спо-

собен возбудить дело о пересмотре процесса Василисы Глебовны? Да это просто самонадеянная рохля! А у меня еще мелькала в голове мысль поделиться с ним ночными признаниями Василисы Глебовны! Оставался бы ты, батенька, со своими «Размышлениями Поэта» в Семипалатинске, а не плелся в Верный, где требуются сейчас люди отчаянные!

СБОРЫ НА ОХОТУ

Сначала Нура вынес солдатские винтовки, принадлежащие, должно быть, Борису Глебычу, вычистил их, смазал, а затем, вкатив под навес тарантас, стал его мыть. Через большие дыры в крыше навеса блестит солнце, трепеща на свисающих потемневших камышинках.

Ему помогают старики сторожа. Нура обращается с ними пренебрежительно. Одного он заставил вытесать какой-то колышек, другого — обтянуть кожей черенок бича, третьего — чистить колокольцы. Подле навеса, широко расставив ноги, стоит тощая коза, и козленок тычется в ее вымя.

А вдали неподвижно нависли над белыми ущельями сине-коричневые громады гор. Жарко. И неужели в ущельях еще не растаял снег? И как это, бродя вчера вдоль этих ущелий, мы не замечали снега? Или его закрывали туманы? Сейчас они скрылись, и белые полосы снегов выделяются очень ярко. Да, недаром эти горы казаки называют Пестрыми!

Василиса Глебовна проходит мимо меня, мельком бросив:

— А горы-то ведь тоже тигровые?

— Доброе утро.

— Доброе утро, милый!

Она, смеясь, смотрит на меня заспанными глазами.

— А сейчас, милый, я скажу тебе, что не хотела говорить ночью.

— Почему не хотела?

— Они увезли бы тебя.

— Почему?

— Почему, почему! Твоим страстно хочется знать — что же наконец решили военные и Калмыков, вернее — каковы их совместные предположения,— решит-то Петербург, сферы.

— Я понял так, что победила ты.

— Победишь их! — с горестным возбуждением воскликнула она. — Я всем угрожала ему, то есть отцу. Даже тем, что выйду за босяка, а не за Малицына. Он только играл бровями. Немножко подействовало, когда я сказала, что русские революционеры перебрасывают китайским в Синьцзянь оружие и движение-де наших войск вызовет там сопротивление народа, во главе которого встанут китайские революционеры. Ну, затем проверили, подсчитали — и решили торопиться с достройкой «Семиречки», просить правительственные ассигнования, войска — якобы для охраны строящейся железной дороги, а чтобы обмануть общественное мнение — устраивать побольше празднеств и торжеств. Торжественное открытие моста, торжественные свадьбы — моя и Саумал, торжественные археологические открытия в Святой долине. Того гляди треножник Пифии найдут! Отчизнолюбцы, ха-ха!

Она трет глаза, зевает явно притворно.

— Доволен? Узнал? Я стою перед тобой, Всеволод, и говорю тебе все как есть, по конец истины, клянусь. Иду умоюсь, а ты пока седлай коня, тебе целый табун оставлен, догоняй их!

Дрожа от негодования всем телом, я шепчу:

— Вы что ж, Василиса Глебовна, меня за сыщика считаете?

Она легонько дергает меня за нос.

— Не за сыщика, а за глупца. Впрочем, новости не спешные, успеешь сообщить их и в Верном, а сейчас собирайся на охоту.

— Какой я охотник?

— На тигров-то? Замечательный! А потом, неужели рыцарь пустит меня одну охотиться на тигров?

Она идет не в сторону родника, а через зимовку к большому каменному корыту, возле колодца. Садится на край корыта и смотрит в степь, а я думаю: «Зачем колодец, если есть родник? Или родник пересыхает? Или у казахов было так много скота, что не хватало родниковой воды? И почему она, на прощанье, не хочет посидеть возле меня? Я ведь никогда не собирался обвинять ее всенародно в отравлении мужа. А теперь и подавно! Где ей отравлять! Да и Анастасия Николаевна действительно ли отравила? Просто Василисушка сболтнула, чтобы придать себе в моих глазах побольше

значения. И вот теперь и на каменном корыте-то сидит она тоже для значительности. Ну, и пусть сидит!» Я отворачиваюсь. Взор мой падает на солдатские винтовки, и я, вспомнив ее фразу о Пестрых горах и тиграх, кричу:

— Вы со скуки на тигров-то?

— Ка-ак?

— Со скуки, говорю, едете охотиться?

— Не со скуки, а от счастья! Чувствую себя такой счастливой, что, кажется, меня не посмеет тронуть никакой тигр.

— Смотрите только, чтоб от счастья не дрожала рука, когда будете целиться.

— Не задрожит. Боже мой, как я счастлива!

Подходит Мейстер.

— Зашел, видите ли,— бормочет он смущенно,— к Хапыке потолковать, расспросить: зачем сюда и каковы ее денежные ресурсы, а ее и след простыл.

— Ушла? — спрашиваю я в изумлении. — Не может быть! Отец просил меня зайти к ней, значит, она ждала. И я обещал зайти. Не может она уйти. И куда? С кем? С детьми, с мужем?

— Относительно мужа ничего не знаю, но дети с ней.

И, помолчав, Мейстер говорит Василисе Глебовне, которая идет мимо нас к палатке, весело размахивая полотенцем:

— Тигры — исчезающие животные, и мне приятно написать о них новую главу для «Размышлений Поэта».

— Только не описывайте охоту как бабью прихоть,— сказала, смеясь, Василиса Глебовна.

— Сегодня — прихоть, а описание ее завтра станет ценным документом эпохи.

Лицо Мейстера, освещенное солнцем, помолодело, съежившийся люстриновый пиджачок расправился, и даже пожелтевшие от табака пальцы рук казались молодыми.

— Неужели возьмете винтовку?

— И возьму! — ответил с задором Мейстер.

Тигры, тройка, красивая молодая дама, умный словоохотливый адвокат, Нура — знаменитый степной охотник,— чего еще желать для счастья? По совести говоря, я и был счастлив.

Мы мчались к берегам Балхаша, к южной оконечности озера, песчаной, заросшей гигантскими камышами.

На тракте мы несколько раз обгоняли толпы оборванцев-«котов», идущих на «Семиречку». Во мне клокотало необычайно нежное чувство, которое во вкусе тех времен я называл мысленно, — да и вслух Василисе Глебовне, — «мировой скорбью». Скорбь скорбью, а чувствовал я себя великолепно, и мне верилось, что «коты» тоже чувствуют себя прекрасно.

Мы свернули с тракта на проселок и выехали к речке, вылетавшей из скал, с многозначительным именем Тентек-Су — Бешеная Вода. Воды Тентек-Су, что и говорить, были из бешеных бешеными! К тому же небеса пылали, снега и льды в Пестрых горах быстро таяли, и Тентек-Су имела все основания ревмя реветь о своем летнем половодье.

Нура поворачивается к нам с козел.

— Камыши зальет водой, тигр вылезет на пески, легко будет его встретить.

— Гони, гони! — со смехом торопила Василиса Глебовна.

— А и без того скачем прилично.

Мы проскакали вброд Тентек-Су, после чего, покинув берега этой речки, миновали могилу какого-то богатыря на кургане Ак-Джульпас, сухие солончаки, кумирню Бахты на границе этих солончаков, напились из колодца Бурман, проехали разрушенное укрепление Чим, станицу Подгорную, обрушившийся старинный пороховой погреб за ней, холм под названием «Переносный сигнал» и, наконец, поднялись на Длинный бугор.

— Балхаш!

Тростники, заросли, духота джунглей, охотники за тиграми... Индия!

Опять натолкнулся я на Индию, на индийских факиров, которые обладали неслыханной духовной свободой и волей. И мерещились мне жемчужно-иглистые, искрометные глазастые Синд, Раджпутана, центральная Индия, Декан, желтогрудые рельефные фигуры богов охоты на тигров и слонов в зыбко-тенистых и плакучих джунглях...

За камышами блестела вода, колеблемая широким ветром.

А мне мерещился Индийский океан. Тихо колышется парусник. Море недвижно, будущее бесконечное, сияющее. Когда-то подует ветер! Когда-то придем ко двору Великого Могола? И капитан корабля вынимает часы

из-за шелкового пояса, смотрит на небо. Как тяжело на сердце в этот жаркий струистый штиль с повисшими, точно космы, парусами. Как душно...

— Балхаш, Всеволод?

— Балхаш, Василиса Глебовна!

КАМЫШИ ВЕЛИКОГО ОЗЕРА

Справа и слева от нас лежали бугры поменьше, а прямо простиралась солнцевато-глинистая равнина Оканас, заросшая мрачным саксаулом и лишенная пресной воды. Эта равнина упиралась в камыши, которые входили в Балхаш и тянулись чуть ли не до самого острова Ултаракты. Сюда и прибегут тигры, вспугнутые гонщиками и борзыми.

— Много будет тигров? — спрашивает Василиса Глебовна.

— Сколько захочется,— отвечает Нура.

Глядя на эту когтистую равнину, я имел неосторожность спросить:

— А ты их, Нура, взаправду стрелял?

Нура, всегда относившийся ко мне хорошо, вдруг рассердился и буркнул:

— Стрелял?! Убивал я их.

— Скольких же убил?

— Кто их считает? Тигр среди зверей вроде бога. А кто считает богов? Их зовут по имени. Я не знаю имен убитых тигров.

Из-за бугра, верхом, сопровождаемые стаей вислоухих борзых, показались загонщики. Нура приказал им распрягать коней, разбивать палатки, наломать саксаулу, а приведенных коней держать под седлами. Он чувствовал сильнейшее возбуждение, но говорил с загонщиками таким тоном, будто приехал на прогулку.

— Тигр что... — вдруг оборачиваясь ко мне, сказал Нура. — Тигр — добрый бог. У него шкура деньги стоит, и чем она белее, тем китайцы платят дороже. А вот шайтан-мсык — ни шкуры, ни воды, одна злоба.

Слова «шайтан-мсык» означают «чертова кошка». Так здесь называют камышового кота. Я не утверждаю, что это тот самый камышовый кот, который водится в тугаях Закаспия или долинах Амударьи. Может быть, даже это просто одичавшая домашняя кошка. Те

шкурки балхашского камышового кота, которые я видел, грязно-бурого дымчатого цвета, некрасивые и действительно, как говорил Нура, не представляют никакой продажной ценности.

Охотники Прибалхашья утверждали, что камышовый кот отличается поразительной свирепостью и смелостью. По закону дебрей, звери уступают дорогу человеку. Камышовый кот не уступает никому. Более того, он стережет вас, прыгает и вцепляется когтями в глаза! Когти у него длинные, острые, и даже маленькая царапина очень опасна. Существует поверье, что тигр запуган этими котами и что они заставляют его искать им пищу. Охотники боятся и ненавидят камышовых котов, и понятно, что Нура больше гордился убитыми камышовыми котами, чем тиграми.

— Кабы не камышовый кот,— пояснил Нура, неслышно постукивая пальцами по ложу винтовки,— тигр, может, и не превратился бы в конокрада! Жрал бы себе кабанов! Весь характер тигра испорчен камышовыми котами. Из-за них-то мы и перебьем всех тигров! А мне жалко убивать тигра: такой сильный зверь, сильней коня! Когда он умирает, я ему говорю на ухо: «Ты прости, пожалуйста, но зачем ты слушаешь этого поганца, камышового кота, и портишь наши стада?»

— Ты родом с этих бугров, Нура?

— За что иначе мне их любить?

За что действительно? От Лепсы до реки Или и дальше, до песчаных кос и отмелей южного берега озера, перед вами — бесконечные темно-серые, однообразные бугры из твердого песка, поросшие травой и кустарником. Кое-где в ложбинке встретите глубокие ямы с узким отверстием — «кудук» — колодцы. Весной и летом вода в них соленая, зато зимой, говорят, сладкая. Зимой здесь жить приятнее! Бугры защищают от ветра, камыши и саксаул дают тепло, а в ложбинках остается трава для пастьбы скота.

Летом эти песчаные бугры из-за жары, частых ураганов и оводов — пустынны. Отыскивая для нас загонщиков, калмыковские служащие изъездили сотни верст среди этих бугров.

Нура отобрал несколько борзых, которые, по его мнению, умеют «ветрить», то есть чувствовать зверя верхним чутьем. Собак пустим вперед, а когда они залают, зажжем сухой прошлогодний камыш! Ветер в на-

шу сторону, дым — в нашу, и тигр, спасаясь от дыма и собак, тоже побежит к нам!

К вечеру палатки наши действительно начал надувать ветер с озера. Жара схлынула. Мошки и овода, поднимающиеся со дна ложбинок, исчезли. Зато сильно несло песком. Нура сказал, что уровень воды в озере поднялся и затопил камыши. Хорошо! Меньше останется сухого камыша, и тигр выйдет на песчаные косы. Нура посмеивался и от возбуждения дрожал всем телом.

Мейстер посмотрел через равнину на камыши, чуть маячившие издали, и сказал:

— В этом камышовом саду лягу да помру. Вы заметили, загонщики смотрят на нас иронически? Почему? Да шкура тигра сейчас никуда не годится: зверь линяет.

— Мы охотимся не для шкур,— перебила Василиса Глебовна,— для удовольствия. Загонщики думают иронически по другой причине: «Измельчал, видно, зверь, раз баба осмелилась охотиться на него!»

— Да и мужик измельчал: мне не хочется идти в камыши в этакую жару с винтовкой. Но я все равно доволен. С каким наслаждением, если б вы знали, наблюдаю я за вашей юной радостью!

Василиса Глебовна действительно чувствовала себя юной, радостной и счастливой. Пески теплые, и приятно чувствовать под собой это тепло!

И ночь была жаркая, веселая. Заря горела долго. Затем показались огоньки в небе, и, словно пытаясь ответить им, далеко на равнине тоже загорелись огоньки. Нура обеспокоенно взял винтовку.

— Охотники? Погляжу. А может, злые люди?

— Барантачи? Конокрады?

— Аулы откочевали в горы еще не все.

Василиса Глебовна ушла в свою палатку. Мейстер скорбно вздохнул и сказал тихо:

— Вы вот счастливы, а я, признаться, места себе не нахожу. Беды ждут нас в Верном. Скурлатов собирается, помимо своих партийных дел, организовать в Верном, Пишпеке, и особенно на «Семиречке», профсоюзы. Он умен, знает нужды народа. У него немало друзей, но верненский губернатор, к сожалению, немец.

— Ну и что же, что немец?

— Немцы самые лучшие полицейские.

Мейстер помолчал и добавил:

— Да, дорогой мой! Жизнь моя была похожа на грязный сон. Камыши эти пробудили меня и, потрясенный, сижу и пытаюсь я истолковать это грозное сновидение.

Слова его были туманны. Я ждал разъяснения. Но он, ничего больше не сказав, ушел, лег под тарантас на кошму и, покрывшись с головой одеялом, заснул.

Песчаные бугры похожи на кровли домов. Странный, нежно-тающий свет звезд задумчиво падал на них. Из дальней ложбинки испуганно, пронзительно кричал какой-то зверек.

Подошла ко мне Василиса Глебовна.

— Хоть бы звезда упала!

— Звезда? А какое желание?

— Тигра убить.

— Славно!

Я обнял ее за плечи. Она сидела неподвижно, нахохлившись.

Горизонт светлел. Теперь уже бугры не были похожи на кровли домов. Видно, как возвращается Нура, похлопывая по голенищу тяжелой, в два пальца толщиной, нагайкой — «камчой».

— Что же там за огоньки?

— Загонщики угнали на хорошую траву наших коней.

Нура лег на кошму рядом с Мейстером.

— Нравится тебе Мейстер? — шепотом спросила Василиса Глебовна.

— Нравится.

— И мне. Несмотря на видимую мягкость и добродушие, он человек твердый, последовательный и злой. Только напрасно он меня за тигрицу считает...

— Тебя?

— Я для него не тигрица, а шайтан-мсык.

ТИГР!

Когда рассвет еще брезжил, мы сели в седла и направились к озеру, чтобы перебраться на остров Ултаракты.

Сначала мы ехали плоским берегом давно пересохшего русла реки, заросшего низкими тополями, тальником, джидой. Затем перебрались в другое, тоже зарос-

шее русло, но с крутыми берегами и солеными озерцами поблизости. Между озерцами рос мелкий камыш и осока.

Нура ехал впереди меня; его рваный вонючий чекмень, надетый на голое тело и перехваченный кожаным поясом — «балта» — с прикрепленными к нему сумочками для пороха и пуль, ножом и огнивом, был покрыт на спине толстым слоем оводов. Время от времени Нура бил себя нагайкой по спине. Он мог убить нагайкой камышового кота, но овода, казалось, и не шевелились. Он крякал и пригибался к высокой луке седла.

Против острова Ултаракты обширные камыши, входя в озеро, приближаются к северной стороне острова. Бугры его как бы отражались в камышах: мы то и дело наталкивались на небольшие отмели в камышах, создаваемые здесь песчаными бурями. Пока мы ехали камышами, непрерывно взмывали утки, гуси, всюду слышались крики лебедей и журавлей.

Нура велел нам молчать, но сам не удерживался и громко повторял:

— Шесть лет здесь не был, а как все изменилось!

Это его восклицание, пока мы ехали по заросшему руслу реки или среди бугров и саксаулов, было еще несколько понятно, но что могло измениться среди камышей?

Зной в буграх, несмотря на то что солнце не поднялось, был уже сильный, но когда мы въехали в камыши, он стал совсем удушлив и невыносим. Пот слепил глаза, мучила жажда, сердце яростно стучало. Хоть бы немножко ветерка! Но камыши стояли неподвижно. И даже Василиса Глебовна, которой гордыня никак не позволяла жаловаться, сказала:

— От волнения, что ли, но жар очень уж густ.

— Терпи, хозяйка, дальше будет хуже!

Остров Ултаракты — песчаный, с высокими берегами. Нура нашел ложбинку среди бугров, расседлал, спутал коней, и мы отправились на поиски тигров.

Очень далеко, где-то за островом, с северной стороны его, среди камышей, слышался лай собак и поднимались столбы разноцветного дыма. Усталость, жара, жажда — все исчезло!

— Тигра гонят, — тихо сказал Нура.

Мы вышли на северные берега острова и двинулись узкой песчаной косой. Какая-то мелкая синеватая травка, ползущая по пескам, придавала им тревожное благоухание. Всюду мелькали желтые скорлупки. По-видимому, здесь весной гнездились птицы. Мелкие вначале, камыши густели, и сиявшая и светившаяся среди них вода, темнея, делалась густо-зеленой.

— Здесь!

В топкие пески косы уперлись необычайно высокие, выше двухэтажного дома, камыши.

Воды между камышами не видно.

Слегка дул ветерок, колыхая, однако, только метелки камыша. Но и этот ветерок приятно освежал.

Нура начал ставить «на номера». Первый, конечно, Василиса Глебовна.

Кочка, плотный камыш — а все видно. Хорошо?

Мы стояли лицом к песчаной косе друг от друга шагах в двадцати — тридцати, чтобы, в случае какой-либо опасности, мгновенно прибежать на помощь.

Лай собак доносился довольно явственно.

Нура ходил среди камышей, полный сознания, что сейчас произойдет что-то очень важное. Я чувствовал в одно и то же время утомление и возбуждение. Меня веселила уверенность, которая сквозила в каждом движении Нуры, а когда я взглядывал на лицо Василисы Глебовны, я упивался избытком счастья, чем-то необыкновенным и смелым.

Нура, отходя от меня, тихо сказал:

— Ты на меня гляди. Видишь, во рту камышинка? Белая! Я тебе ничего говорить не могу, а только, как выроню камышинку, ты в него стреляй.

И он показал на песок.

— Видишь? А по бокам?

Я видел на песке косы следы большой лапы и, значит, должен был вывести заключение, что по бокам этих следов находятся следы камышового кота? Но, должно быть, у меня недостаточно острые глаза? Нет следов камышового кота! Да и след самого тигра вдруг прервался.

— Зверь сделал прыжок?

Нура шепотом объяснил:

— Он шел. Только прыгнул. Услышал собачий лай. Он боится собак! Тигр не ходит одной и той же дорогой, но теперь, напуганный дымом и лаем,

он непременно побежит здесь. Разве шайтан-мсык его отговорит. Я бью шайтан-мсыка не пулей, а камчой!

Эти шайтан-мсыки, добрые ангелы тигра, начинали меня злить. Пожалуй, Нура прав, что не бьет их пулей, а только нагайкой.

Зеленый мрак сгущается вокруг, хотя солнце высоко и верхи камышей в солнечном сверканье.

Мы стоим неподвижно, время от времени посматривая на Нуру.

Нура глядит прямо перед собой на песок. На лице его томительное и суровое ожидание.

Крики людей, лай собак и даже чмоканье копыт коней, на которых сидят загонщики, приближается. Запахло дымом. Верхушки камышей стали синеватыми.

Глаза Нуры расширились, смотрят не прямо, а вправо.

Справа, по косе, медленно идет тигр, явно стараясь попасть лапой в свои прежние следы. Голова его опущена, и мне кажется, что он сильно не в духе.

Тигр остановился, задумался, почесался, оглядел косу, а потом взглянул в камыши.

Я перевел глаза на Василису Глебовну. Лицо ее сияло от удовольствия! Я взглянул на Нуру. Камышинка дрожала у него в губах, ложе винтовки, по которому он нервно и неслышно постукивал пальцами, было прижато к плечу. Он холодно и спокойно смотрел на тигра.

Тигр стоял, быть может, минуту, быть может, две неподвижно, и казалось, он ехидно посмеивался: «Ну, что вы способны мне сделать?» Вместе с тем сосредоточенное выражение его морды говорило, что все же крики и запах мокрого, гнилого камыша ему неприятны. Он мотнул головой и, растягивая шаг, двинулся дальше.

И я вспомнил очень разумное восточное правило: «Если мимо тебя идет тигр, не шевелись». Помимо этого правила, я знал и цирковое — умей не шевелиться, когда держишь тяжесть. В тот момент этой тяжестью было мое собственное тело. Я боялся. Но я стоял и даже готов был всячески защищать, если будет нужно, Василису Глебовну!

Белая камышинка по-прежнему дрожит во рту Нуры, но не падает. Он смотрит не на тигра, а рядом, ища ненавистных камышовых котов. Их нет!

Тигр прошел.

Нура бежит мимо меня.

— Почему ты не дал нам стрелять?

— Я ждал шайтан-мсыков! А они так спрятались, что не разглядишь. Хитрые!

И Нура убежал.

Мне не обидно, что он забыл обо мне; в конце концов какой я тигровый охотник? Мне крайне обидно, что он забыл Василису Глебовну, ради которой устроена эта охота и ради которой приехал сюда и я.

Василиса Глебовна не понимает, что произошло. Она стоит на своем месте, думая, что Нура побежал для того, чтобы вернуть тигра, словно тигр этот у него на веревочке.

Я кричу:

— Какого же черта торчать! Догоним!

Мы вязнем в песке. Падаем в какую-то яму. Выскакиваем. Камыши нас зажали в тиски. Рвемся... Опять падаем... Вскакиваем... Торопимся... Ах, как душно!.. Крики загонщиков слышны в отдалении. Синеватый дым и жара делаются все гуще. Камыши приобретают какой-то металлический блеск.

У меня расшнуровался ботинок, и я шепчу:

— Минуточку, не отходи.

Когда я поднял голову, Василисы Глебовны не было возле меня. Мне страшно за нее, я дрожу, но кричать нельзя — охота продолжается. И я стараюсь бежать по смятому камышу. Кем он смят? Василисой Глебовной? Тигром? Нурой? А может быть, я бегу по своему же следу, обратно?

Выстрел! Второй, третий! Крики, лай. Затем все замирает, но я уже знаю, куда бежать: тишина властно ведет меня.

На отмели умирает почти совсем белый тигр. Рана перекрестная: пуля прошла на пядь позади лопатки, сквозь легкое, задела конец сердца и вышла к левой передней ноге. Тигр дергается, касаясь мордой куста высокоствольной жесткой травы.

Нура сидит на песке и перевязывает руку головным платком, зажав в коленях камчу и испуганно глядя в камыши.

— Сейчас непременно из камышей выскочит, готовься!

— Еще тигр? — спрашиваю я.

— Какое! Шайтан-мсык. Он мне уже попробовал разорвать руку.

— Тигр?

— Шайтан-мсык!

— Кто стрелял в тигра?

— Ну я же, — счастливо улыбаясь, шепчет Василиса Глебовна, — я.

— Она, — подтверждает Нура, — метко бьет. Только не в тигра надо было стрелять, а в шайтан-мсыка. Тигр бы тогда со страху умер.

— Не понимаю! — кричу я полным голосом. — Человек научился грамоте, читает умные книги, а предается суевериям: поганой кошки какой-то боится.

Рана большая, рваная. Хлещет кровь. Нура качает головой и шепчет мне:

— Не ругай его, а то он вернется. Тогда непременно подохну.

Прибежали погонщики.

Один из них тащит убитого Нурой шайтан-мсыка, которого он нашел неподалеку. Нура оживился, плюнул в глаза кошке и сам дошел до тарантаса.

— Теперь не сдохну. Убил! Я сильнее.

Загонщики настроены радостно. Дочь Калмыкова не пожалела баранов, и убит очень большой тигр, тот самый, который зарезал много скота. Тигра обдирают. Шкура мягкая, пушистая и не очень вылинявшая.

Нура лежит поодаль, в беспамятстве. Рука его горит.

— Да зачем он полез? — раздраженно спрашивает Василиса Глебовна. — Шайтан-мсыка не надо трогать.

— И вы туда же!

Мейстер, ждавший нас томительно долго, словно охмелел от радости. Он смеется, дрожа всем телом. Мне тоже весело. Жалко Нуру, но он мужчина крепкий, выздоровеет.

— Как хорошо!

— Отлично, — бросает Василиса Глебовна.

Безветренная полночь. Небо безоблачно. Я покидаю жаркий огонь саксаула и выхожу на край бугра. Вдали маячит равнина, ложбинка внизу похожа на большое поле ржи, и кажется, кто-то, шурша колесами, едет этими полями.

Загонщики спят. Но вот один из них встает, спускается в ложбину, пересекает ее, поднимается на со-

седний бугор и, опершись на толстый столетний саксаул, поет. Сначала он поет тихо, а затем громче и громче, с поразительной страстью. Это песнь о любви Тасана и Джагалтай! Я жадно слушаю.

— Тасан и Джагалтай? — слышится позади меня голос Василисы Глебовны. — Те, что возле Павших богов? Брат мне рассказывал. Я нарочно ходила к «котам», смотрела Тасана и Джагалтай: дикари как дикари. А песня красивая. Впрочем, все дикарские песни хороши. Ты слышал когда-нибудь оперу, Всеволод?

— Нет.

— А хочется?

— Очень.

Она мягко засмеялась, села впереди меня и, повернув ко мне бледное лицо, сказала:

— Папаша любил «прививать культуру» и водил меня по операм. Слушала я их и в Мариинском, и в Италии — в «Ля Скала», например, и в Париже. Лев Толстой ошибается, опера гадка не тем, что неправдоподобна. Искусство вообще неправдоподобно, и в этом его прелесть. Гадка опера потому, что все в ней подстроено, подведено и нет никакой неожиданности.

Она подняла руку и прислушалась к песне.

— А здесь — вой, полный самой захватывающей неожиданности. Истинная страсть, движущаяся неожиданно.

Криво и с явной ненавистью усмехнувшись, Василиса Глебовна вдруг сказала:

— Думаю, Мейстер сообразил, что если у меня не дрогнула рука на тигра, то того менее не дрогнет на него.

Я прошептал в удивлении:

— Ты клевещешь на себя, Василиса.

— Нет, я только откровенна.

— Или ты просто хочешь запугать.

— Кого?

— Ну, меня, скажем.

Она сказала развязно и небрежно:

— А почему бы и нет? Если человека не запугивать, он ничего не сделает — ни хорошего, ни дурного. Человек по натуре своей ленив. Все цивилизации, милый мой, построены на страхе.

— Сколько понимаю, это главная песнь тиранов и подлецов.

— А по-твоему, цивилизация строится на любви? Ты любишь меня, Всеволод?

— Да.

— Посмотрим, многого ли ты добьешься из-за этой любви. Любовь, дружище, хороша для романов — и для влюбленных.

Пораженный ее циничными словами, я сжал голову обеими руками и воскликнул:

— Василиса Глебовна! Зачем вы на себя наговариваете? Зачем выставляете себя более жестокой, чем вы есть на самом деле?

— А я добра, по-вашему? Где ж мои добрые дела, перечисли!

— Наши истинно добрые дела никто и не знает.

— Только — бог? Его еще недоставало!

— И все равно я не верю в ваши злодейства!

— Однако на всякий случай перешел на «вы»?

Она рассмеялась.

— Думаю, что действительно не веришь. Иначе б на меня донес. А как же? Я же назвала тебе убийцу моего мужа! Немного погодя назову и свидетелей, и кое-какие письменные доказательства. Я хочу, чтоб ты держал меня в страхе и не позволил выйти за Малицына. Противен он мне, вроде оперы. Ха-ха! Да, о добре и зле. Зло — непобедимо, как ты думаешь?

— Победимо.

— Буддисты утверждают — нет. То есть победимо в тебе одном, если поверишь в химеру, в нирвану. А в обществе — непобедимо. Христиане говорят, что если превратить весь мир в монастырь, то победимо. Социалисты — победимо! И так как людям безумно хочется быть добрыми, то социалисты победят.

— Вам, что же, не нравится добро социалистов?

— Таких, как Скурлатов? — спросила она гадливо. — Это добро не в моем духе.

У меня вырвалось:

— Я вижу, вам вообще добро не по душе!

Со страстной настойчивостью она воскликнула:

— Ах, Всеволод, Всеволод! Представь, что некто ищет лучший способ плавки руды и один за другим изобретает эти способы. И вот к тому моменту, когда он нашел такой самый выгодный способ плавки, руда исчезла, кончилась. Так и добро. Религии, множество религий, сотни, тысячи, искали добро, жертвы прино-

сили — кровные, бескровные, денежные, безденежные. Ничего! Попробовали искать его через общественные движения; я тебе советую почитать Платона или Каутского, не говоря уже о тех брошюрках, которые тебе сует Скурлатов.

Я рассердился:

— Прошу вас не трогать Скурлатова!

— Хорошо, не буду: я же теперь у тебя в руках. О чем это я?.. Ах да! С общественным движением не вышло...

— Бабушка еще надвое сказала!

— Бабушки, как известно, в большинстве своем выживают из ума, так что они и натрое способны сказать. Итак, остается наука и искусство. Ну, ты видишь, что тебе и твоему отцу преподнесла наука. Вместо того чтобы учиться дальше, вы превратились в босяков, «котов», попрошаек...

Я вскочил.

— Ну, знаете, Василиса Глебовна! Вы меня доведете до того, что я начну драться.

Она, пристально взглянув на меня, вдруг проскрежетала зубами и шепнула:

— А я тигра убила.

— Мне плевать!

— Не страшно?

— Нет.

— Тогда бей! — сказала она громко и со смехом. — Я представитель класса тиранов, подлецов, угнетателей, я отняла у тебя науку, искусство, добро, наконец. Бей! Бей, Всеволод, другого случая не представится. Бей, а то я буду бить.

— Разве это обязательно: бить-то? — спросил я, усаживаясь снова на песок.

— Конечно, обязательно, раз добра нет. Все испробовано для добычи добра, а руды, то есть человеческие надежды, — иссякли. Нет никакого добра, нет и не было! Человек только притворялся, что он в состоянии быть всегда добрым. И вот, — он еще не пришел, но он придет обязательно, — появится необычайно талантливый, с ясным и всем доступным словом философ, который неотклонимым словом докажет, что добра нет.

— И что же тогда?

Она встала, потянулась, посмотрела на восток, который уже начал алеть. Усмешка на ее губах казалась неустранимой.

— Тогда выйдет простодушный юноша, вроде тебя, покажет самый обыкновенный прут, ну, скажем, от ветлы, и вымолвит: «Видите прут? Я его втыкаю в землю, и, пока он стоит прямо, вы должны свершить такую сумму добра, после которой человечество уверует, что добро не отклонимо».

Она замолчала.

Я спросил озабоченно:

— Ну, и что же произойдет?

Она пошла к тарантасу и, не оборачиваясь, исступленно крикнула:

— Догадайся!

К ВЕРНОМУ

Сидя рядом с Нурой, я правил конями. Кони послушно тащили тарантас. Приближались предгорья, казавшиеся очень нарядными. Мне чужды были предчувствия, что новые горести неминучи. Я насвистывал, напевал и чувствовал себя так весело, что Мейстер, вздохнув, взял меня за локоть, пожал его и проговорил:

— Завидую я вам, голубчик.

Перед самым въездом с проселка на тракт, среди солончаков нас застал сильный, теплый дождь. Дождь был короткий, и все же солончаки мгновенно вздулись, кони начали скользить и падать, с усилием таща по вязкой грязи тяжелый тарантас. Подталкивать тарантас под палящим, влажным солнцем, отмахиваясь от беснующихся оводов, куда как сладко! И все же я продолжал насвистывать!

Насвистывал я и у Троицкого пикета на тракте, где ждала нас калмыковская подстава. Возле плоского домика почтовой станции, в который уткнулся кривой телеграфный столб, ямщики держали взнузданных коней, на которых оставалось только накинуть хомуты. Возле коней ходил сам Салазкин.

— Если позволительно так выразиться, Василиса Глебовна, то поздравляю с полем!

— Спасибо, Салазкин,— ответила она просто.— Отец здесь?

— Ждут.

— А князь?

— Князь с Борисом Глебычем ускакали в Верный: тулпар, сказывают, неслыханный появился с собачьей кличкой — Рыжик, китайских кровей.

— Я просила князя подождать.

— Извиняется, но никак не смог. Конь для истинного всадника превыше всего.

— Письмо оставил?

— Торопились, не оставили. Взволнованы до исступления: «Сто тысяч, говорят, не пожалею, а быть этому Рыжику моим!»

— Надо прежде всего иметь эти сто тысяч.

— Князю да не иметь!

— Есть князья, что и по ночлежкам шляются.

— Не все, Василиса Глебовна, не все.

— Ну, пойдем к отцу.

Я с полчаса сидел на завалинке. Ужасно не хотелось мне ехать вместе с Калмыковым и Салазкиным, но куда деваться! Вокруг голая степь, в кармане пусто, как в степи, даже куска хлеба нет. Я спросил шедшего мимо пожилого казака:

— Сколько, служивый, отсюда до Верного?

— До Верного? — спросил он лениво. — Не знаю. Не то триста, не то двести — мы туда не езживали.

— А куда же вы езживали?

— Да никуда.

Вышли старик Калмыков, Василиса, расстроенный Мейстер и невесть чем довольный Салазкин. Старик Калмыков в степи поправился, походка у него была бодрая, лицо уверенное, загорелое.

Мейстер сказал что-то тихо Калмыкову, должно быть про меня. Калмыков с пренебрежением взглянул в мою сторону.

— Шел пешком тыщу верст, дойдет и две сотни.

Я не ожидал ничего другого от Калмыкова. Но Василиса Глебовна должна бы, казалось, возразить ему! Впрочем, бог знает что у них за отношения!

Однако, перед тем как сесть в экипаж, она подошла ко мне и, без смущения глядя в мое лицо, сказала:

— Кажется, на следующем пикете мы обгоним наш караван с чаем. Он идет в Верный. Я велю им взять вас с собой.

— Да не беспокойтесь, Василиса Глебовна, мне добраться легко.

Хоть бы спросила — на что, с кем я буду добираться! Села и даже не обернулась.

Колокольчики, замирая, ушли в тишину предгорий.

Когда я поднялся на один из холмов и с вершины его взглянул на тракт, ведущий к Верному, жаркая и жестокая пыль калмыковского экипажа уже улеглась, и ничто не говорило и не напоминало о том, что здесь еще недавно была Василиса Глебовна. Где ей соскочить с коляски и бежать, задыхаясь, ко мне; но ведь могла же она, черт возьми, подумать о том, что у меня нет провизии, нет ни копейки денег. Она сама несколько раз, с мягкой насмешливостью, говорила, что я глуп и что нельзя оставлять все свои деньги ребятишкам! «А вдруг поссоримся, и вы уйдете без гроша?» Вот и ушел без гроша! Впрочем, взял ли я бы у нее хоть один грош?

Пока я шел холмами равнины и влага речного устья не кончилась, пока река не замкнулась в каменные берега и пока меня терзала злость на Калмыковых, я пытался даже смеяться и петь. Но когда я попал в тусклые и высокие скалы, чувство одиночества наполнило меня.

Конечно, на следующем пикете чайного каравана не оказалось.

— Проходил тут верблюжий караван? — спросил я у смотрителя, державшего в руке теплый большой ломоть хлеба и огромный молочный горшок, влажный и холодный, только что принесенный с погреба.

— Караванов проходит много.

— Чайный?

— И чайных много.

— Калмыковский?

— И калмыковских много. Вот что, голубь. Лети-ка ты отсюда быстрее, пока я тебя на воротах не повесил.

Я пожал плечами. В пикете совсем не было ворот, только у одного домика торчал верейный столб.

Я шел трое суток мимо зимовок и редких переселенческих поселков, безжалостно замученных джутом и недородом. У них ли просить хлеба? Стараясь прикрыть сладостным трепетом гордости сверлящую меня боль голода, я шел мимо хибарок, задрав голову. Я даже воды не хотел просить, хотя жара была такая, что в глазах прыгали какие-то пушистые пятна, нестерпимо трудно было передвигать ноги и в ушах стоял непрерывный, тупой шум.

Особенно трудно было идти ночью.

Холмы, овраги, скалы, каменистое плоскогорье — все сливается под титанически выравнивающим светом месяца во что-то бесконечно ровное, синеватое. Все это кажется то одной широченной, накатанной дорогой, то — нивой, быть может уже созревающей. Бережно лелея в себе это видение, я бормотал:

— Наберу колосьев, натру зерен, испеку булку, большую...

И через несколько шагов:

— Наберу колосьев, натру зерен, испеку булку, тяжелую, сытную...

Никаких нив, никаких колосьев!

Вправо, на тысячи верст, горы. Влево, тоже на тысячи верст, пустынная, песчаная степь, украшенная посредине гигантским озером — Балхаш. Впереди — каменистая, неотклонимая дорога.

И жара. И лето.

Но и то сказать, чудно́е лето! У нас скоро сенокос, а здесь травы пожелтели и так высохли, что, когда рванет сильный ветер, они ломаются, и ветер поднимает их и уносит прочь. Зато солончаки наполнились какими-то напряженно-пухлыми растениями, изумрудно-зелеными, переходящими то в кобальт, то в золотистую охру. Из арыков неслышно выходит мутная вода, струится на дорогу, капает, просачивается, опоясывает корни растений, течет под ногами, и странно смотреть на лужи под яростно палящим солнцем.

Безземельные и безработные, толпами шляющиеся по станицам, сердят казаков. Поэтому безземельные в станицах не останавливаются и костры для чая или обеда разводят подальше от дороги, где-нибудь в степи. Я тоже уходил в сторону. Подойдешь к кусту, начнешь ломать сухие ветки, а оттуда, с звенящим шумом, взмоет фазан, и хвост у него словно маленькая радуга.

На третьи сутки станицы и зимовья казахов стали встречаться чаще, но сколько, однако, непаханых мест! А фуры переселенцев по-прежнему идут мимо и мимо, туда, на север, откуда я пришел.

— Здорово, православные! На зеленый клин?

Молчат. И не смотрят. Станичники обозлены на безземельных и безработных, а эти переселенцы обозлены, кажется, на весь мир. Боже мой, с каким остервенением глядят переселенцы на верблюжий караван, который

несет кочевье и ведет стада в горы! Горбы верблюдов украшены сине-красными коврами, жарко блестит жесть сундуков, медь самоваров и кунганов, подвешенных наверху. Казахи и казашки одеты празднично, гарцуют, охотники поднимают руку, на которой сидит прирученный беркут. Переселенцам и невдомек, что богатство это показное, что люди надеются найти в горах счастье, что на самом деле аул голоден, нищ, убог, по горло в долгу у баев, волостных старшин, Калмыкова. Жизнь в ауле не в жизнь, с голода и джута за копейку отдают землю в многолетнюю аренду купцам, и опять-таки тому же Калмыкову. Ему принадлежат эти чудесные непаханые места, мимо которых нужда гонит переселенцев.

Подошел как-то к обозу.

Обоз, обнажив головы, стоит подле дороги. Три мужика копают могилу. На дороге лежит старая женщина с иконой на груди. Глаза ее плотно закрыты, губы сжаты и на лице выражение мучительной недодуманной думы. Старик торопливо вытесывает крест. Когда я остановился, он поднял заплаканное лицо и сказал:

— Проходите, бог подаст, проходите!

И затем он спросил у своих:

— Да чего ж Аграфена отстает? Где она?

— У могилы. Доплакивает: брат ведь помер.

— А здесь небось — мать.

И старик глядит на дорогу вслед мне, видя меня и не видя.

Я направляюсь к другой могиле, к той, где похоронен брат Аграфены. Надо бы им попросить, чтоб я передал Аграфене о смерти и похоронах ее матери, но я переселенцам чужой, а самим им идти к Аграфене нет сил.

Верст через десять или больше я встречаю Аграфену у могилы брата. Когда я подошел, она перестала выть, приподнялась, сложила руки на животе и уставилась на меня широко открытыми, испуганными глазами. Ей казалось, что обоз переселенцев все еще стоит возле нее, и появление чужого ее встревожило. Чтобы ее успокоить, я спросил:

— Кого похоронила-то, молодка?

— Братика. Мамынька-то дюже плоха, плакать нет силы, вперед ушла. Я за обеих реву.

Она с усилием поднялась и направилась по тракту, испуганно обходя меня. Но, желая показать, что она меня не боится, молодка спросила:

— От Лепсы? Участки там переселенцам уже нарезали? Мамыньку вы утешили?

Что я ей мог ответить? Не мог же я сказать ей, что участков на Лепсе нет, что мать ее уже лежит похороненной в десяти верстах от могилы своего сына? И я спросил: откуда она и давно ли вышли?

— Да с-под Гомеля. Полгода, почесть, идем. На помещика работали, и опротивело. Земли своей захотелось. Земля хорошая, да мало ее нам дают.

— Куда уж меньше!

— Дербы тут страсть много.

— Чего?

— Дербой, милай, у нас непаханые земли называют. А дерут ее, эту дербу, косулями — соха такая. У нее сошник глубже, чем даже у плуга, и землю она не режет, как плуг, а только отворачивает. Во-о! Такая соха на дербяных землях очень добра, урожайна... Ой, господи! Заболталась я с тобой: двое суток на могиле сидела, братец-то у меня только о дербе да косуле и думал... Пойду-ка я к мамыньке!

И пошла, высоко поднимая большие костлявые ноги, обутые в лапти.

Утром я пересек медно-желтую реку по деревянному мосту. И вот — Илийск. От голода и усталости его серые домишки кажутся мне неумолимыми. Шагал я быстрее, чем предгорьями, совсем не ожидая ни привета, ни хлеба!

Путь от Илийска до Верного помню совсем слабо.

Смутно вспоминаю какую-то длинную станицу, низенькую церковь, нескончаемый глинобитный забор за ней, алого петуха, бегущего по этому забору. Я уперся руками в забор. Жарко. Голова кружится. Дышать тяжело.

За колодцем, под навесом, среди деревянных чанов, наполненных кожами, мужики впрягали волов в большую телегу, на которой жарко поблескивал колокол, укутанный рогожами. Колокол — не редкость, их часто везут из Ташкента к строящимся церквам.

Не редкость и кожевня, и чаны с кожами в кислом отваре ивовой коры и бересты. Верблюды со вздохом опускаются на колени, прикрывают усталыми веками

прекрасные глаза, тюки летят с их горбов, казахи топорами рубят гибкие тальниковые ветки, переплетающие тюки, и кожи, треща, летят в конец двора, где казашки на корточках ножами дерут с кож засохшую кровь и вонючие клочья сала.

Помню, толстая казачка подала мне ломоть хлеба, намазанный медом, и со слезами на глазах спросила:

— Куда идешь, станичник?

Холодно ухмыльнувшись, я почему-то ответил:

— В Соловки, матушка.

— Не дойти, куда тебе!

Помню, совсем недалеко от Верного, изнемогая, я вышел на берег мутного разлившегося ручья. Вода бурлила, клокотала, это был «силь», грязевой поток после сильных дождей в горах. Мост снесло, караваны и телега перебирались бродом. Я увидел близко от брода среднего Бучева, с которым несколько раз беседовал в Метелочной. Он ушел с «котами» на «Семиречку», но то, что он не среди «котов», а здесь, нисколько не удивило меня. Не удивился, впрочем, и Бучев.

— Отец мой где, не знаешь? — спросил я, опускаясь на влажный холмик.

— А со Скурлатовым, в Дунганской слободе,— ответил Бучев.

— Как они?

— Да жена утопла.

— У кого?

— Вон, видишь, лежит. Шестеро их попало в силь, ночью, ну и утопли. Вот я и пришел сюда — спознать.

Тут только я заметил, что неподалеку на бугре, под тополями, прикрытые мокрыми рогожами, виднелись вытянутые тела, горели тоненькие свечки, и старушка в черном платке с бахромой тихо и не спеша читала псалтырь. Вокруг стояли конвойные солдаты.

— Воды нет ли?

— Да вон ведро.

Я выпил ковш теплой воды, хотел было подойти к утопленницам, но не мог: дрожали ноги. Я опять опустился на холмик.

Бучев стоял неподвижно и, вытянув длинную шею, странно глядел на меня.

— Ты ничего не знаешь, что ли?

— Ничего,— ответил я.

— Силь-то до тюрьмы докатился. Стены старые под-

мыл, пошел к корпусам. Ну, начальство перепугалось: арестанты арестантами, а защищать от потопа их надо. Повели. Ну, буря, силь, дождь, слякоть, тьма, кое-кто из арестантов и убежал. По улице, когда их повели, значит. Охрана, значит, ослабела, ну и убежали, кто куда. Одни в город, другие за город. А тут, за городом-то, тоже силь...

— Постой, постой, Бучев! Ты же говоришь, утонула.

— Утопла.

— Да кто?

— Жена Скурлатова, говорят тебе.

Я весь затрясся и побледнел, видимо, страшно, потому что Бучев схватил меня под мышки. Я вцепился ему в шею, исступленно крича:

— Скурлатова?! Вера?! Утонула...

— Она. Эвон, третья с краю, в арестантском халатишке... Постой, постой, парень, куда ты?

— Я все-таки — в Индию,— прошептал я, вырываясь из рук Бучева,— надо идти.

Когда я дотащился до Верного и, совсем изнемогая, нашел слободу, где жил огородник, приятель Скурлатова и моего отца, я немедленно слег.

ВЕРНЫЙ СЕБЕ

Я лежал во дворе под карагачем, в теплой тени, на глиняной утоптанной площадке, где по вечерам наш хозяин-дунганин расстилал старый ковер и вся его большая семья чинно усаживалась пить чай. С раннего утра хозяева уходили на огород, Щепетников — искать работу, отец читал старинную арабскую рукопись. Он хотел познакомиться с этой рукописью, прежде чем встретиться с сирийскими священниками-несторианами, которых ждали в Верном. Поговаривали, что археологические раскопки в Святой долине оказались успешными, но чем они успешны, я не знаю, да, признаться, не до раскопок мне было.

Скурлатов не появлялся. По-видимому, он без особенно сильных страданий перенес смерть жены: он постоянно был на ипподроме, учил китайских коней и Бадама, толковал подолгу о чем-то с Чапе, посещал его семью, которая жила недалеко от ипподрома. Политической работе он, по-видимому, уделял мало времени,

а может быть, и совсем, под влиянием смерти жены, отошел от нее. В городе возникло несколько мелких профсоюзов: крупных предприятий там ведь не было, но все утверждали, что Скурлатов не имеет никакого отношения к этим профсоюзам, равно как и к попытке бегства Веры из тюрьмы. Мещане явно благоволили к нему: он привел таких резвых коней, какие редко бывали в Верном! Ближайшие скачки обещали быть крайне интересными.

— Ну, а Саумал? — спрашивал я у отца.

— Что Саумал?

— Подтвердила она фотографиями соглашение?..

И я в сотый раз говорил отцу о соглашении относительно Синьцзяня и Кашгара, которое, по словам Василисы Глебовны, состоялось между Калмыковым и военными кругами.

— Нет, не подтвердила.

— Почему же?

— Не удается, говорит.

— Но обещает в дальнейшем?

— Обещает.

— Когда?

Отец пожимал плечами.

Я кричал возмущенно:

— Да, я вижу, вы совсем охладели!

— К чему?

— К этой подлой калмыковской авантюре. Ну, а Василису Глебовну ты, по крайней мере, видел?

— Где там!

— А что же?

— Непрерывно болтает с модницами и ждет подвенечное платье едва ли не из Вены: там, говорят, лихо эти платья шьют.

— Глупости!

— Зачем глупости? Не навестила же она тебя.

— А я ей кто?

— Как кто? Кому она, как не тебе, государственную тайну относительно Синьцзяня выдала?

— Думаешь, налгала? — поспешно спросил я.

— А почему же тогда она не пришла? Болел ведь. Правда, всего лишь переутомление, голод, разбитые ноги...

— Долго я был в беспамятстве?

— Два с половиной дня.

Приятно чувствовать себя выздоравливающим. Особенно утром.

Будит меня Нубия. Отец ведет ее поить к корыту, и она так громко, так вкусно пьет воду, что сон покидает меня. Я вспоминаю степь, Сергиополь, Джунгарские горы... Хорошо все-таки, что ребятишки не со мной! Скурлатов их сделает людьми, а чему я мог обучить их? Та-ак... Значит, Ханыке помирилась с мужем? Интересно, что он от нее теперь требует? Не имеет ли связи это примирение с суетней Василисы Глебовны? Ведь Чапе, кажется, служил у князя Малицына и, может быть, служит и сейчас? Не выпытает ли Чапе у жены кое-что о Пишпеке и загадочной смерти коммерсанта Назаренко? Впрочем, что знает Ханыке? Ну, носила Малицыну записки Василисы Глебовны, и что же? Василиса Глебовна могла просить книги для чтения, приглашать в гости, мало ли что... Перестанем об этом думать!

Я раскрываю глаза, но вставать не хочется. Отец, потягиваясь, берет полотенце и ведро теплой воды, поставленной еще вчера в тлеющие угли печки, что среди двора под открытым небом. Мой отец — человек опрятный и моется с ног до головы каждое утро и вечер. Он кряхтит за карагачем, посвистывает, клочья мыльной пены вылетают оттуда и повисают на мохнатых листьях мальв. Но вот он появляется, расчесывая свои черные волосы, среди которых нет ни одного седого, достает кисет, крутит папироску и говорит, прислушиваясь к шипению самовара:

— Наша жизнь: табак да баня, кабак да баба. Ну, а в промежутки — разговор. Надо быть верным себе.

Я лежу, слушаю отца, наблюдаю за его проворными руками. Какое, подумаешь, зрелище — заварка чая! И, однако, зрелище чрезвычайно любопытное. Перочинным ножом, долго и осторожно, мой отец скоблит плитку кирпичного чая, нюхает наскобленное, взвешивает на ладони, чего-то ждет, наливает в чайник кипятку, выливает его, опять наливает и вдруг сразу, точно боясь ошпариться, опрокидывает согнутую ладонь над бурлящей водой. Пена в чайнике мгновенно делается коричневой, опадает, отец ставит чайник на самовар и торжественно говорит:

— Садись, пока запах не исчез.

Как хорошо пить чай в свежее утро, прислушиваться к чириканью птиц, смотреть на беркута, который петлит

свои мелкие петли над широкими и горячими петлями горной дороги! Мы живем на окраине города, в предгорьях. Поднимешь голову, и кажется — можно дотронуться рукой до горных снегов, что крышами повисли над городом. А как прозрачен воздух, как серебристо переливается вода в арыке!

Все хорошо, кабы не эта боль! И боль не в ногах, а в сердце. Все хорошо, кабы не этот озноб ожидания! Неотвязно, с каким-то страхом и обидою думаю о Василисе Глебовне.

Мой отец понимает причину озноба, мучающего меня. Он дует поджатыми губами в горячее блюдечко и бормочет:

— Главное,— не плетись за богом, а уж если нужно, пускай бог плетется за тобой. Даже если это бог любви.

И он возвращается к арабской рукописи, которую вдруг решил перевести на русский. Лицо его озабоченно, глаза воспалены. Кажется, его мучает не только арабская рукопись. Видно, ему хочется сказать мне что-то очень важное, но его просили или он сам решил не говорить, и он молчит, молчит с трудом, с болью, ищет повода проговориться — не находит.

Я лежал неподвижно, думая об одном и том же. Где она, что с ней? Любит ли она меня? Люблю ли я ее? Мысли, как видите, крайне не новые, и, пожалуй, нет смысла особенно развивать их. Я был влюблен, как были влюблены до меня миллионы и миллионы людей, и мысли мои не были более яркими, чем их любовные мысли, и я не обладал бо́льшими способностями к их выражению, чем те, кто жил раньше меня. Мой отец, повернувшись ко мне спиной, скрипел пером и ветхим венским стулом. Перевод давался ему с трудом, и он проклинал свое упорство. Поэтому он скоро вернулся ко мне, присел, перевязал мои язвы и спросил:

— Ты рад, что в Верном появились-таки профсоюзы?

Я посмотрел на него с удивлением. Мой отец — и профсоюзы?

— Я-то рад, а вот Калмыков рад ли?

Отец ухмыльнулся:

— Потому и спрашиваю. Кабы да еще Калмыков узнал, что это дело рук Скурлатова!

— А разве Скурлатова?..— спросил я в крайнем удивлении. — А ипподром?..

Отец подмигнул.

— Тсс! Ипподром — алиби... и вообще тут так много требуется алиби... Однако забудем об этом, а поговорим о профсоюзах!

И отец, крутя папироску, стал рассказывать.

Больших фабрик и заводов в городе нет, но мелких предприятий — маслобоен, клееваренных, свечных, кишкоочистительных, винокуренных — довольно много, и почти добрая половина их куплена Калмыковым. Впрочем, Калмыков владеет предприятиями не прямо, а через подставных лиц, так же, как владеет он, через подставных лиц, и землей. Об этом все знают. Салазкина зовут здесь «воротила», а самого старика Калмыкова стали звать «воротилище».

Чернорабочими на калмыковских заводах работают главным образом неграмотные, забитые казахи-бедняки, байгуши. У них одно стремление — скопив сотню рублей, приобрести несколько голов скота и вернуться в свой аул. Но жалованье стало такое, что сто рублей накопишь разве в сто лет! Русские рабочие, в большинстве женщины и подростки, чуть грамотнее казахов, но средняя заработная плата их в три раза ниже, чем в центральной России. Темно, безнадежно, глухо. И все же эти люди, один за другим, вступают в профсоюзы, как это было в 1905—1906 годах. Полиция уже насторожилась, и Калмыков — тоже... Рассказав мне все это, отец заключает:

— Но будем верны себе, то есть свободны. Думая о Калмыкове, я стал сильно сомневаться в целесообразности одновременного существования двух понятий: самодержавия и правосудия.

— Эти сомнения, отец, созрели в тебе уже давно.

— Зрели, но плохо. Что поделаешь? Вся история философии — развитие одного первообраза. Первообраз этот я бы изложил четырьмя словами: «Слуга я или хозяин?» Впрочем, это относится не только к истории философской мысли, но и к истории всего человечества! Слуга я или хозяин! И целый ряд неожиданных проявлений творческой силы народа, среди которого мы живем, заставил меня еще сильнее верить в него, заставил меня сказать — он хозяин! А значит, и я хозяин! Жаль только, что к овладению своим хозяйством — землей, мы идем, как в джунглях Индии, девять дней — десять верст. Ну, ничего! Главное, прийти. Не я, так ты придешь. Конечно, не исключена возможность,

что на пути мы встретим тигров, — это ведь Область Белого Тигра, — но надо думать, мы их или уничтожим, или отгоним, что даст нам повод создать тигрологию.

— Тигрология?

— Наука о тиграх.

— Разве такая есть?

— Нет, но будет. Люди так умны, что готовы из любого пустяка создать науку. И тигрология нисколько не хуже, скажем, метеорологии. Люди, в общем, невнимательны. Наука приучает их к внимательности, давая им или сильные впечатления, или заставляя делать усилия, благодаря которым эти впечатления, главным образом через повторение, превращаются в сильные. Повторяю, тигрология, как наука, будет нисколько не хуже других, во всяком случае она будет полезна для тигроловов или укротителей. Их, правда, немного, но разве мы мало знаем наук, которые полезны еще меньшему числу людей? Возможно, ты и сам будешь укротителем, ты ведь так любишь цирк!

Он верен себе, мой отец! От серьезных вещей он мгновенно переходит к шутке, а от шутки — к серьезному.

— Ты любишь ее?

— Кого?

— Василису Глебовну, — ответил отец.

— Да.

— И хочешь на ней жениться?

— Да.

— Она невеста другого...

— ...и выходит за этого другого по принуждению!

— Ну-у! Тогда — женись. Хотя что есть великолепнее жизни холостяка или брошенного женой, невестой, возлюбленной? Что есть прекраснее одиночества?

Он набил самовар углями, раздул их, вымыл лицо, опять сел подле меня и продолжал:

— Недавно я прочел «Современную историю» какого-то французского писателя. Странное все-таки понятие об истории у этих французов! Ни одного исторического лица, кроме разве беглых упоминаний о лицах, сомнительно принадлежащих истории. Я скучал. Но у меня не было другой книги, и я дочитал ее до конца. Там излагается жизнь некоего профессора филологии, мне совершенно неизвестного. Ученый он, по-видимому, хороший, но я был огорчен, когда наткнулся на подроб-

ное описание, как он, увидев, что его жена изменяет ему с солдатом, плачет и даже ломает ее ивовый манекен, на котором она примеряла свои платья!

— Измена всегда противна!

— Не думаю. Жена его — отвратительное, сварливое существо. Ему б радоваться такой измене. Я — семьянин и не считаю семью грехом, однако меня всегда пленяли монахи или отшельники, даже отшельники искусства, вроде Флобера. Одиночество — прекрасно! А ты вот, забыв прелесть одиночества, жаждешь семьи и огорчен, что от тебя отвернулась какая-то там вдова. Пойми, дому Калмыковых ты нужен еще меньше, чем их прежний зять Назаренко.

— Она отравила его!

— Василиса Глебовна? Хм. Впрочем, нет ничего удивительного. Отравления встречаются чаще, чем мы думаем.

Он наклонился, сорвал волосистый и звездолистый стебель какого-то растения и проговорил:

— Смотри: шесть листочков этого растения убивают человека через полчаса. И оно растет на каждом шагу. Если б все обыкновенные люди знали, какое множество ядовитых растений вокруг них, человечество значительно б поредело. Люди так часто впадают в отчаяние! Относительно же отравления, совершенного Василисой Глебовной...

— Отравила Анастасия Николаевна, ее мать!

— Не ошибаешься ли ты?

— Василиса Глебовна созналась мне сама.

— А сама? Дорогой мой, часто женщины, с которыми я даже не состоял в сколько-нибудь близких отношениях, сознавались в таких преступлениях, что, поверь я им, Сахалин был бы сейчас заселен больше, чем Петербург. К тому же уголовщина сейчас в моде! Женщины же любят преувеличивать. Впрочем, и мужчины не отстают. Кипит!

Он заварил свежего чаю. Причем на этот раз он насыпал его значительно больше обычного. Налив мне густого настоя и глядя, как я глотаю его, мой отец наставительно сказал:

— Подкрепляйся. Тебе сейчас предстоит сложный труд воображения. Ты должен вообразить, что прошло, скажем, десять лет твоего счастья у Калмыковых. Мечты их исполнились: то казачество, которое им подчини-

лось, разбогатело, а которое не подчинилось — разорено вместе с казахами и превратилось в калмыковских рабов. В каждом поселке стоит магазин под золоченой вывеской «Калмыков и наследники». Ты — богат, славен, почетен. И вдруг ты узнаешь на ярмарке, скажем в той же Метелочной, что жена, изменив тебе, убежала с цирковым атлетом.

— Василиса не любит цирка.

— Сейчас не любит, а через десять лет, глядишь, и полюбит. Но разговор идет не о цирке, а о ревности. Сейчас тебе кажется, что ты и через десять лет умер бы от ревности. Но, прожив десять лет у Калмыковых, боже мой, как ты обрадовался бы, что она тебе изменила, убежала, а значит, и ты можешь убежать! Ты созываешь гостей, тебе неприлично высказывать им причину твоей радости, но все они в голос говорят, что никогда еще не видали тебя таким счастливым! Как же это так, что сейчас вот ты в отчаянии: тебя не пускают в крепкий калмыковский хомут!

— Она — великая женщина!

— Да, плечи у нее велики и окатисты, а хомут все-таки будешь нести ты, а не она. Великая? Возможно. Тем более плохая выйдет из нее жена. Великий человек в качестве мужа и великая женщина в качестве его жены так же несовместимы, как самодержавие и правосудие. Если ты не велик, чему имеются доказательства, соединение получится еще хуже. Шагай-ка в свою Индию, Всеволод! Лучше быть нищим в Индии, чем зятем Калмыкова в России.

— Ну, знаешь, отец, ты действительно изменился!

Отцу нравилось, когда им восхищались. И вместе с тем он презирал суетность. Придав себе строгий вид, он совсем было собрался произнести длинную речь о том, что никаких изменений в нем нет,— как мы услышали в высшей степени знакомый нам голос:

— Позвольте, господа, задержать ненадолго ваше внимание.

Дожди последних дней кое-где разрушили глиняную ограду нашего жилища. Особенно много было обвалов шагах в десяти от ворот. Хозяин кое-как закидал эти обвалы камнями, однако проходящих по улице или остановившихся было видно отлично. Час с лишним уже меня интересовал один из этих обвалов. Я смотрел туда

озадаченно. И сейчас моим наблюдениям помешали остановившиеся у обвала Глеб Иванович и архимандрит Михаил. Впрочем, и они были достойны наблюдения.

СВЯТАЯ ДОЛИНА

— Позвольте, Вячеслав Алексеевич?

— Прошу, прошу, — сказал мой отец, потупя голову: ему казалось, что Калмыков слышал его нелестное замечание о нем.

Калмыкову было не до замечаний. Хотя мой отец пригласил его к себе самым ласковым тоном, Калмыков не двигался. Вся фигура его изображала досаду.

Через улицу, в тени тополя, протянув высоко обнаженные босые ноги в арык, сидела Сонька Золотая Ручка. Именно за нею-то — уже час или полтора — я и наблюдал. Она была, несомненно, с похмелья, и не так чтоб слишком, а, по словам поговорки, «сапог натянуть может». На ней был длинный подоткнутый бухарский халат и, кажется, ничего более. Длинная ярко-золотистая, с красным оттенком, коса была обвита вокруг головы, и круглое румяное лицо ее с чуть припухлыми веками выглядело оттого младенчески-юным.

Архимандрит Михаил, в противоположность Калмыкову, делал вид, что совершенно не замечает Соньку.

Чтоб попасть в калитку, нашим посетителям надо было пройти мимо Соньки. Они этого явно не хотели и остановились у обвала.

— Боитесь? — воскликнула вдруг Сонька Золотая Ручка, ударив обнаженными ногами по воде. — Мимо греха пройти боитесь? А нет чтоб благословить дщерь-то, дщерь духовную, отец архимандрит?

— Благословляю, если на исправление,— проговорил архимандрит, подавив взволнованность.

— А я, отец, исправлена не хуже тебя, — исступленно закричала Сонька. — Я младенцев не гублю. А ты зачем сюда пришел? Младенца за убийцу сватать? Хватит, наприкрывал калмыковские грехи, впредь не позволю, отец, слышишь?

— Слышу, — дрожащим, полным слез голосом проговорил архимандрит.

И он шагнул с тротуара.

Перейдя улицу, архимандрит остановился возле Соньки Золотой Ручки, которая, закинув назад голову, смеясь и плача, продолжала бить ногами по воде. Архимандрит, приподняв полы своей свежей чесучовой рясы, благословил ее широким жестом.

— Иди,— зазвеневшим голосом сказал он.— Греши, раз тебе положено. Я тоже грешник, милая.

Сонька Золотая Ручка поднялась, отвернулась, запахнула плотнее халат и, неумело ступая по раскаленной пыли улицы босыми ногами, пошла прочь, не оборачиваясь. «Что за диковина!» — с изумлением подумал я.

Тем временем Калмыков, словно собираясь сидеть долго, сменил расшатанный стул моего отца на широкую и крепкую табуретку, которую принес из-под навеса, снял чесучовый пиджак, пожаловался, что в крахмальном белье очень жарко. «Семиречка», «Семиречка»! Кому как, а ему «Семиречка» надоела. Каждый счет втридорога, инженеры картежничают, техники крадут все, что плохо лежит, землекопы пьянствуют беспросыпно, и всюду грязь, вонь, зараза. Того и жди, что какая-нибудь эпидемия грянет. То ли дело пароходство! Чисто, выгодно, красиво. А Иртыш? Нет, пора вернуться в Семипалатинск, в уютный кабинет, к своим книгам, креслу, строить собор, браниться с Аралбаевым.

И ни слова о Мейстере, Геммадинове, Скурлатове, Чапе, Ханыке, китайских конях, ипподроме! Будто всего этого и нет на свете, будто он и не думает об этом. А думает он непременно: время от времени глаза его с волнением и каким-то ожиданием останавливаются на мне.

Архимандрит Михаил строго проговорил:

— Смута!

— Вы про девку? — ухмыльнулся Калмыков.— Да их тут сотни пьяных шляются.

— Сотни не беда, а от этой смута. Племянница она мне, дочь брата, а брат — помощник коменданта гарнизона, офицер. И среди духовных смута, и среди военных.

— В каталажку,— отрезал Калмыков.

— Многим она нравится.

— Ха-ха! — засмеялся Калмыков.— Сонька Золотая Ручка? Воспрепятствуют?

— Нет оснований, — пробормотал архимандрит, — да и жалко мне ее.

— Вот уж не знал, отец архимандрит, что вы сподобились жалости. Великий дар, великий! Для меня, скажем, несбыточный.

Калмыков достал большой носовой платок, вытер им шею и развернул его на коленях. Голубоватый шелк чуть колыхало ветром, подувшим с гор. Калмыков оглянулся, шумно вздохнул и сказал моему отцу:

— Славно у вас здесь. Небось и уходить не хочется?

— Тружусь, — ответил отец неопределенно.

— Уж не знаю, как и приглашать вас, Вячеслав Алексеевич, — продолжал свои размышления Калмыков. — Свадьба у меня.

— Графушку? — воскликнул отец. — Не молода ли?

— Нет, не Графушку, — поспешно и, пожалуй, с трудом проговорил Глеб Иванович, — а Василису. За Малицына. Свадьбу играть будем возле Ак-Таша на «Семиречке», у нового моста. В тот же день будет женитьба Геммадинова на Саумал, — неизвестно для чего добавил он. — Но что свадьба! Свадьба, может быть, вам и не интересна. Службу я хотел вам предложить.

— Какую же это службу? — спросил мой отец с интересом.

— Археологические раскопки в Святой долине, — вдруг провозгласил Калмыков, сверкая глазами, — будут производиться на мои средства, учеными, разумеется. Но от меня нужен наблюдатель, и я хотел бы это место предложить вам, Вячеслав Алексеевич, раз вы писали о долине и даже высказали предположение, что именно там находится гробница апостола Фомы...

— Позвольте! — зазвеневшим голосом прервал его архимандрит, — духовное археологическое общество ни в коем случае...

— Не позволит? — стремительно воскликнул Калмыков. — А почему не позволит, на каких основаниях? Земля моя, что хочу, то на ней и делаю. Хочу — отрежу участок Вячеславу Алексеевичу; на станции, у моста, школу выстрою, на руднике вверху — тоже... Пусть себе ждет он с удобством возвращения сына из Индии!

— Именно, именно! — подхватил мой отец с восхищением. — Пока еще он доберется до Иртыша-то, а тут сразу в мои объятия!

Восклицания эти казались мне скучными, а главное — неправдоподобными. И Глеб Иванович уж очень чем-то встревожен. Я пошел на улицу. Если коляской правит Нура, он двумя словами разъяснит мне непонятное состояние Калмыкова.

Верх коляски был поднят. Я заглянул внутрь. Там, свернувшись калачиком, дремал Салазкин. «Ах да! — вспомнилось мне. — Нура-то ведь болен». Я хотел было вернуться, но Салазкин, приподняв голову, сонно взглянул на меня и вялым голосом спросил:

— Тревожится?

— Кто?

— Воротилище наш.

Я решил говорить с Салазкиным прямо. Может быть, и тот, в свою очередь, разоткровенничается, да и вообще похоже, что он ко мне благоволит. А вернее всего, он будет болтать, чтоб не чувствовать этой жары, пыли, томления верненских длинных, прямых улиц, тополя вдоль которых похожи на вздыбленные могилы.

— Беспокоит он меня. Что с ним?

— Видно, неприятности. Даже у доктора был. Знаменитый, хоть и киргиз. Данжибаев, слышал? Учился в Швейцарии, Париже — и влюбился там. Вот дурак! Что ему, киргизок мало? Сватается. Отказ, конечно. Богатые, а он — студент. Он ей: «Бежим, по нашему киргизскому обычаю». А она: «Я, грит, не дикарка». Соображает, ха-ха! Ну, он и вернулся в Верный и от злости, что ль, стал такие деньги зашибать: через год — сто тысяч, через три — триста! Она узнала и из Парижа — к нему. А он ей: «Очень, грит, мне тебя нужно: у меня, по киргизскому обычаю, теперь три жены». Не поверишь, до сих пор шляется она по верненским улицам, ждет, когда он ее четвертой женой возьмет.

— Поди, болтовня.

— Хороша болтовня, когда к нему больные со всей Средней Азии едут, бухарского эмира лечит, хивинского хана и даже, вроде тебя, в Индию приглашен.

— Что же доктор сказал Глебу Ивановичу?

— Здоров, — говорит. А тот доктору: «Как же здоров, когда места не нахожу? Скорее всего, значит, я психически болен». — «Да нет, — говорит ему доктор, — и психически здоров. А если уж лечиться вам, так у самого здорового человека. Поведению, значит, раз близок повертон».

И Салазкин, пристально взглянув на меня, подмигнул.

— Чем же лечишь? — спрашивает Глеб Иваныч. А Данжибаев отвечает: «Да этим, обнимизмом».

— Оптимизмом?

— Вот, вот! Подумал, подумал мой Глеб Иваныч и говорит: «Едем искать обнимизм». Были у военных в лагерях и лазаретах, у монахов, трех русских колдунов посетили, киргизского дувану. «Не то!» И под конец: «К учителю Иванову не заехать ли?» Вот и заехали.

— Невероятно как-то!

— Вероятно, брат, у кобеля, когда он ногу к столбу поднимает, да и то не всегда.

Я задумался. Невероятно, конечно, но что-то тут есть! А что именно?

МОЙ ОТЕЦ СПОРИТ С АРХИМАНДРИТОМ

Гостей у нас тем временем прибавилось. Когда я вернулся, поодаль от стола сидели Мейстер, Василиса Глебовна и Саумал. Не хватало лишь Малицына и Геммадинова, — и можно хоть сейчас играть свадьбы! У меня почти неслышно вырвалось: «Вы-то откуда?» Вопрос нескромный, но Василиса Глебовна поняла его верно: я спрашивал — как, мол, вы попали, раз я стоял недалеко от ворот? Она деловито объяснила — вместо того чтоб кружить по переулкам, они пришли со стороны, противоположной воротам, там ограду размыло еще больше, чем здесь. Спешили на голоса.

Голоса действительно были громкие. Особенно со свирепой настойчивостью кричал архимандрит. Да и отец мой говорил не тихо. Калмыков? Калмыков, наоборот, старался говорить сдержанно, но, повторяю, он был взволнован, и горькая усмешка все время была на его устах. Вновь пришедшие слушали, вдумываясь в спор. Ведь беседуют четверо образованнейших людей если не всей Средней Азии, то Семиречья, во всяком случае: Глеб Иваныч, архимандрит Михаил, мой отец и адвокат Мейстер. Особенно эффектен архимандрит Михаил.

Когда я смотрю на курчавые, червонные волосы архимандрита, щедро рассыпанные по плечам, на все его

давно и упорно разученные плавные движения, он мне кажется подкрашенным, неправдоподобным. Однако для поклонников он чудовищно прекрасен и убедителен. Особенно хорош он, когда стоит вполоборота, щеголяя золотым наперсным крестом, полученным из кабинета его императорского величества при определении к заграничной православной церкви в Японии!

— Мы должны во что бы то ни стало предстать с чудом перед несторианами! — кричал архимандрит почти со стоном. — Во что бы то ни стало, слышите? Несториане узрят!

— Их называют теперь асиро-халдейцами, — поправил мой отец.

— Э, все равно! Несториане и фомисты из Индии...

— Фомисты? — с живым интересом спросил мой отец. — Сирийцев я видел немало, и даже слегка знаю их язык. Фомистов мне не доводилось встречать, а между тем о проповеди апостола Фомы в Индии уверенно говорят такие столпы церкви, как Григорий Назианзин и Григорий Великий. В древнезападных мартирологах есть память перенесения мощей апостола Фомы из Индии в Эдессу, где, как известно, была построена во имя его великолепная церковь. Память перенесения отмечалась третьего июля. Хотелось бы спросить, нет ли среди фомистов преданий: почему они отдали мощи столь почитаемого апостола? Но, конечно, прежде всего потому, что несторианская церковь в те времена была цветуща и сильна. Вы, наверно, помните, что в тысяча четыреста девяностом году несторианский патриарх Симеон восстанавливал разрушенную смутами индийскую иерархию на Малабарском берегу. Смуты и безобразия увеличились, когда побережье захватили португальцы. Сто лет спустя португальские иезуиты полностью стали владычествовать в Гоа, и они варварски сожгли сирийско-несторианские апокрифы, жития святых, богослужебные книги и, наверное, летописи. И вот теперь мы питаемся лишь жалкими остатками некогда величественных памятников древней письменности и радуемся, когда в руки наши попадает такой, например, замечательный исторический документ, перевод которого я закончил лишь сегодня.

— Что в нем? — поспешно спросил архимандрит.

— Не перебивайте. Я рад был услышать, что после

принятия в лоно нашей православной церкви несториан Урмии среди немногочисленной паствы фомистов возникло точно такое же движение. Православие не столь уж первоклассная религия, но меня больше интересует вот что: может быть, среди фомистов, помимо устных преданий, сохранились какие-нибудь письменные документы об апостоле Фоме и его странствиях?

— Отвратительно вы ведете себя, Вячеслав Алексеич! — завопил архимандрит. — Ведь, по вашим исследованиям, мощи апостола Фомы находятся в Святой долине.

— Где?

— В Святой долине. То есть в Семиречье.

— Я никогда не утверждал этого.

— Допустим, — сквозь зубы пробормотал архимандрит, — допустим, что так. Но неужели вы откажетесь от вашего утверждения, что мощи апостола лежат в Средней Азии?

— Было такое предположение, было.

— Ах, было!

— Да, было! — воскликнул отец. — Но я должен, отец архимандрит, вас огорчить. Мною только что закончен перевод старинной сирийской рукописи, уцелевшей благодаря тому, что китайцы снисходительно относились к сирийцам, арабы же, когда разбили китайские войска при реке Талас, не успели сжечь ее. Этой рукописи я верю. Поверите и вы.

Отец поспешно побежал в дом. Калмыков и Мейстер с нетерпением ожидали его. Даже я, мало тогда интересовавшийся историей, был взволнован. Отец вернулся, бережно держа древний свиток. Ученическая тетрадка, в которую он переписывал своим красивым и тонким почерком перевод «Сказания о счастии и бедствиях несториан в Индии и прилегающих к ней странах», торчала из его кармана. Отец передал древний свиток архимандриту, словно тот мог сверить его перевод, и сказал очень серьезно:

— К сожалению, эта рукопись перевернула во мне все вверх дном. Я не спал несколько ночей. Мощи апостола Фомы сгорели в Эдессе при штурме ее сельджуками.

— Не может быть! — воскликнул архимандрит, роняя список.

Вопль его был столь тревожным и горестным, что Калмыков, встав, подошел к нему. Архимандрит продолжал вопить:

— А я повторяю — мощи апостола Фомы почиют где-то возле аула Ак-Таш! Повторяю — пастухам были видения! Повторяю — степь точит миро!

И три раза он прокричал:

— Чудо, чудо, чудо!

— Мощи апостола Фомы, — с глубоким убеждением сказал мой отец, — сгорели в Эдессе вместе с кафедральным собором. Согласно рукописи это случилось...

— Не случилось! — очень убедительно и громко прервал архимандрит Михаил, закидывая назад голову и глядя на белые вершины гор и как бы обращаясь к богу. — Мощи перенесены из Эдессы в Среднюю Азию, в долину Ак-Таш. Теперь я могу сказать, что мне, грешному, как и бедным, неизвестным пастухам, было видение. Я не сподобился лицезреть самого апостола, но я в сонном видении совершенно явственно разглядел огромный треножник Пифии, на котором возлежали мощи его. Вячеслав Алексеевич! Дьявол внушает вам еретические мысли.

Лицо моего отца было спокойно, но глаза его лукаво светились.

— Чем больше людей в церкви, тем выше ханжа заносит свои персты! Но люди в церковь не идут! Персты ханжи не видны. Мало того, люди ропщут, что правители обирают голодный народ, чтобы строить не нужные никому церкви по Семиречью, воздвигать огромнейший собор в Семипалатинске. А, ропщут? Тогда остается одно: чудо.

Архимандрит продолжал, благочестиво и пылко возвысив голос:

— Но зачем же ты, нечестивец, оглашал в доме Калмыкова свою рукопись, которая доказывает, что апостол Фома был в Средней Азии? И не только был, но и похоронен там, где ныне степь точит благоуханное миро? В долине Ак-Таш!

— Ошибаетесь. Я говорил, что предполагаемое местонахождение останков апостола Фомы находится в развалинах Ахтыр-Таш, в «каменных яслях», которые лежат в сорока верстах от Аулие-Ата, возле почтовой станции Ак-Чулак. По-видимому, вы спутали Ахтыр-Таш с Ак-Таш. Но и вообще-то это было лишь предпо-

ложение, а предположения высказываются разные. Я сам огорчен.

— Огорчен! Ни черта ты не огорчен! Смотри, как сияет!

Отец мой спорил с архимандритом звенящим и горячим голосом, однако нельзя сказать, чтобы он сердился. С самым добродушным видом он разливал чай, прислушивался к чириканью птиц, оглядывал блестящую зелень, которая от последних дождей сильно пошла. Лицо отца смуглое, глаза восторженно сверкают, и кажется, он думает только о том, что наконец-то Калмыков пригласил его на большой пир, может быть, затем и школу построит, из которой, кто знает, выйдут будущие учителя, которых так не хватает Средней Азии: теперь-то детей учат либо мусульманские, либо православные попы, а от них какой толк? Поп есть поп, даже очень ученый, вроде архимандрита Михаила.

Калмыков укоризненно вскричал:

— А для чего, отче, понадобились вам эти черномазые? Только лишь потому, что в Семиречье нашли два-три несторианских кладбища с крестами и надписями? Других-то ведь следов цивилизации не обнаружено.

— Летописи... — начал поспешно и с досадой архимандрит, но Калмыков, пренебрежительно махнув рукой, прервал его:

— Э-э! Вы что, и на самом деле поверили легенде Вячеслава Алексеевича? Легенду эту надо понимать аллегорически, отче архимандрит.

— Мне, батюшка Глеб Иваныч, сейчас не до аллегорий. Синод приказал привлечь к семиреченским святыням внимание русского общества. Несториане и фомисты уже в Верном.

— О-о! — побледнев, тихо сказал мой отец.

— В Верном? — переспросил недовольным голосом Калмыков. — Зачем, отче, зачем?

— Миро точит,— упрямо и резко сказал архимандрит.

Мой отец возразил ему:

— Если чудеса имеют свою логику, отче,— а они ее, несомненно, имеют,— то по этой логике никак нельзя ожидать чуда в Святой долине. Вашим археологам следовало бы знать, что долина названа Святой потому, что там два или три столетия назад подвизался мусульманский святой Кара-Ахмет.

— Но раскопки-то начаты! — воскликнул архимандрит. — И отпущены деньги...

— Простите, отче... — прервал его Калмыков, пристально и как-то по-новому глядя в глаза архимандрита. — Меня давно будоражит одна мысль. По поводу легенды Вячеслава Алексеевича об апостоле Фоме.

Он продолжал, оживляясь все более и более:

— Не заметили ли вы, отче, что в этой легенде нет ни одного вора?

— А при чем тут воры? — с тревогой спросил архимандрит, смотря в пылавшее лицо Глеба Ивановича.

Калмыков поспешно сказал:

— При том, что всюду вокруг — казнокрады и частнокрады, то есть ворующие частную собственность. И вообще — крады, крады, крады! Довериться некому. Все крадут, взяточничают, тянут. Вот об этом-то в легенде — ни слова! Тем она и трогает чистые души. Оттого-то и кланяюсь тебе, Вячеслав Алексеевич!

И Калмыков действительно низко поклонился моему отцу. Все смотрели на него с тревогой, а Василиса Глебовна встала и, подойдя, положила ему руку на плечо. Не обращая на нее внимания, он, побледнев, тихо сказал, указывая на архимандрита:

— Думаете, ему в самом деле нужно чудо Святой долины? Нет! Жирное место возле «Семиречки». Сейчас десятина — пять рублей, а через три года — пять тысяч. Ради этих пяти тысяч-то он на каждом разъезде воздвигнет церковь.

Василиса Глебовна вдруг исступленно воскликнула:

— Папочка! Язык покажи этому фарисею, язык!

Лицо ее горело радостью, мне совершенно непонятной. Глеб Иванович, нахмурившись, дернул плечом. Рука Василисы Глебовны упала, и она отошла. Тут как-то очень вовремя появился Салазкин, с которым архимандрит, сухо попрощавшись с нами, ушел к экипажу. Калмыков сидел, упрямо думая о своем и, видимо, собираясь не скоро уходить. Глядя вслед архимандриту, он горько сказал:

— Поповское честолюбие отвратительней прочих.

— Даже купеческих? — осмелился я вставить.

— Купеческое тоже не шоколадное,— сухо отрезал он и, как бы на мгновение приходя в себя, сказал, повернувшись ко мне: — Я не осуждаю молодость, как это делают все старики. Но вам, замечу, давно пора быть

осторожным в своих речах и поступках, если не хотите опозорить честь вашего отца, из уважения к заслугам которого я и вас приглашаю на свадьбу моей дочери.

Тут я предположил, что Василиса Глебовна перебьет его и скажет с расстановкою, что свадьбе не бывать, что она презирает Малицына и... да мало ли что она должна сказать! Я смотрел на нее, волнуясь и ожидая.

Лицо ее не выражало никакого сожаления ко мне, когда она твердо проговорила:

— Да. Я тоже имею честь пригласить вас, Всеволод, на мою свадьбу. Но ты нездоров, папа? — спросила она с тревогой Глеба Ивановича.

— Наоборот, чересчур здоров.

— Все мы чересчур здоровы и чересчур здравомыслящи,— сказал мой отец, словно опомнившись и придя в себя. — Из миро, камнями источаемого, и исцелений делаем выгоду...

— А разве в Святой долине были исцеления? — спросил стремительно Глеб Иванович.

— Были,— ответил нехотя мой отец. — Архимандрит даже отправлял туда Соньку Золотую Ручку исцелиться от блуда, а она, видите, съездила без толку и притом наскандалила. Архимандрит огорчен: он очень любит брата. И вообще человек он не хуже других, но изувер, а изуверство толкает его на самые подлейшие поступки.

Пока мы чинно выпили по чашке чая, вернулся экипаж, и Калмыковы пошли к воротам. Василиса Глебовна вопросительно взглянула на Саумал. Та ответила, что подождет Геммадинова.

— На бега опоздаешь!

— А что там?— спросил я, подавив волнение.

— Сквозной против Рыжика.

САУМАЛ

— Вы к Ханыке? — спросила Саумал, едва мы остались одни на улице.

— Нет. И зачем? — спросил я с удивлением.

— Я провожу, если стесняетесь из-за Чапе.

— А Геммадинов?

— Найдет,— сказала она с пренебрежением. — Ханыке — ваша любовница?

— Нисколько!
— Жаль.
— Вот тебе и на!
— Я б полюбовалась, как Чапе стал бы вас ломать,— сказала она, странно ухмыляясь. — Впрочем, вряд ли он вас и сломает, ведь вы разгибаете подковы?

Она вынула из кармана фартучка завернутую в платок новую подкову.

— Покажите-ка, как разгибаете.
— Болтовня, Саумал. Не так уж я силен.
— А вы были борцом в цирке?
— Был.
— Туда принимают, я слышала, если разогнешь подкову.
— Далась вам эта подкова!
— Что ж, поговорим о более серьезном. Знаете что, Всеволод! Чего этот Мейстер ходит возле Калмыковых с дурацкой ожидающей миной? Уговорите его, чтоб он перестал и думать о возобновлении процесса Василисы Глебовны. Хлопочу не о Василисе,— о себе.
— Вы-то с какой стороны? — спросил я в крайнем удивлении.
— А письма — в Пишпеке — от Василисы Глебовны к Малицыну написаны моей рукой.

Я ничего не мог выговорить, только простонал, пораженный. Не мог я и подумать, что она балуется: слишком серьезное было у нее лицо и искренне резок голос.

Помолчав, я спросил:

— Но вам тогда, кажется, и пятнадцати не исполнилось?
— Из молодых, да ранняя,— ответила она, криво улыбаясь. — А знаете, почему я Ханыке обвинила в воровстве? Она сравнивала почерк какого-то письма Василисы с моим. Может быть, утаила одно из пишпекских писем ее к Малицыну? Я не успела ее обыскать, вырвалась.
— А теперь идете в ее дом!
— С вами,— грубым и злобным голосом отрезала Саумал.
— Ну, знаете!
— Думаете, боюсь ее? Суда боюсь? Геммадинов разорит Калмыкова, упечет Ханыке в тюрьму, но меня под суд не позволит отдать.

— А почему, собственно, вас под суд? Писала молоденькая девушка, под диктовку, любовные письма...

— ...с намеками на отравление мужа?

И она быстро добавила:

— Я ненавижу ее! И вас, Всеволод! За то, что ее любите.

— Намеки на отравление действительно были?

Какой-то пьяный казак, шедший нам навстречу, остановился, сдвинул на затылок засаленную фуражку и открыл рот, чтоб сказать, по-видимому, многозначительное определение, но Саумал внезапно надвинула ему фуражку на глаза, хлопнула ладонью по макушке и строго проговорила:

— Отрезвись сначала, православный!

Казак оцепенел. Дерзость со стороны киргизки невиданная! Но тотчас же решив, что — из начальства, казак, мурлыча песню, отправился дальше.

— Василиса способна отравить,— тихо сказала Саумал. — Но, с другой стороны, зачем ей было отравлять? Денег много, а имея деньги и хорошего адвоката, не трудно и развестись, тем более что брак был не столько по любви, сколько по недомыслию, со стороны Назаренко, во всяком случае. Потом, зачем мышьяк или сулема, когда есть иссык-кульский корешок. От него — никаких следов! Я б и достала.

— Корешок? Четырнадцати или пятнадцати лет?

— А при чем тут возраст? Желание помочь подруге. Лестно даже: подруга взрослая!

Были, очевидно, какие-то причины, по которым Саумал решила откровенничать со мной, но мне некогда было отыскивать истоки этих причин. Раз откровенничает, надо расспросить ее до конца! И я поспешно проговорил:

— Забудем на минутку про Пишпек. Скажите, кто зажег верфь?

— Семипалатинскую?

— Разве Калмыков имеет еще верфи?

— Малицын зажег.

— Кто ему помогал?

— Салазкин.

— Салазкин? Да разве он не верен Калмыкову?!

— Глеб Иванович сильно полюбил Малицына, видя в нем преемника и «руку» в Петербурге. Рабочих Глеб

Иванович побаивался. Зерно было запродано в Омск, а его, оказалось, выгоднее оставить в Семипалатинске: архимандрит настаивал, ну и другие. Надо было привлечь казахов на свою сторону. В общем, со всех сторон Калмыкову поджог был выгоден. А на князя подозрение никак не могло упасть.

— Маловероятно.

— Вот и я то же самое думаю,— сказала Саумал, опять странно ухмыляясь.

— А что видела у верфи Ханыке?

— Чапе, который на ее глазах подбежал к Малицыну. Чапе ездил на прииск с каким-то поручением Малицына, вернулся, не нашел его в городе, поехал на мельницу, и там он и подумай: «А не в затоне ли кутит князь с капитанами?»

— Чапе видел поджог?

— Должно быть. Он рассчитался в тот же день и уехал в степь, так и не повидав жену, к которой побаивался идти, хотя и прожил уже в Семипалатинске с неделю.

— Чапе будет свидетельствовать против Малицына?

— А вы у него и спрашивайте.

Меня вдруг словно молнией озарило.

— Геммадинов.

— Да, Геммадинов. Обо всем этом он догадывается и догадки свои высказал мне.

— Слава богу, что только догадки.

— Приятно?

— Что ж тут приятного?

— Можно продолжать бездействовать. Никто к тому же меня, кроме вас, не слышал, свидетелей нет.

И она указала на пустынную, широкую и жалкую улицу, по которой мы шли, и на виднеющиеся казахские мазанки, разбросанные возле ипподрома.

— Добавлю, что Калмыков подозревает о догадках Геммадинова. Я не говорю, что знает, нет! Но — догадывается. Оттого и приобрел акции Среднеазиатского, и Мейстера при себе держит, на всякий случай.

— Значит, вся загвоздка в Чапе?

Она опять ухмыльнулась.

— Вернее, в Ханыке загвоздка, как вы говорите. Но теперь, кажется, уже поздно.

— Что поздно?

Она шла, опустив голову. Но тут она подняла лицо, и я увидел, что щеки ее были мокры от слез. Всхлипывая, она сказала:

— В конце концов, мне стыдно. Но я уж договорю до конца, раз начала говорить. Надо было вам еще в Семипалатинске сделаться любовником Ханыке. А вы больше ревновали ее к Чапе, чем тот ее к вам.

— Не ревновал! — возопил я. — И не любил и не ревновал, а жалел и сочувствовал.

— А вы вспомните и поймите же наконец, что мне стыдно! — закончила она дрожащим, полным слез голосом.

Я испуганно посмотрел на Саумал. Поразительно перемешалось в ней наивность с проницательностью! «И как хорошо, что этот неприятный разговор кончился»,— подумал я.

Но разговор не кончился, а, наоборот, продолжился, совершенно спутав мои мысли.

Возле ипподрома, в садочке, у косой мазанки суетились и кричали ребятишки. Мне показалось, что среди них я вижу детей Ханыке. Почему ж, однако, они не спешат ко мне?

— Бега окончились, и, наверное, произошло что-то неожиданное. Однако я не договорила...

— Пройдемся еще?

— Да.

Мы уходили от ипподрома. На крышу сарая, мимо которого мы шли, оседала легкая пыль, сливавшаяся с тусклым и жарким небом. Зрители покидали ипподром. Духовой оркестр играл марш. Подальше, за беговой дорожкой, наездники прогуливали скакунов. Духовой оркестр умолк. Пыль заклубилась гуще.

Странная девушка! После горьких и обильных слез она с глубоким вниманием и едва ли не с восторгом слушала марш.

А у меня ныла нога: ходили много, я натрудил ее. Хотелось пить.

Саумал схватила меня за руку и испуганно зашептала:

— Помните — семипалатинскую гостиницу, Геммадинова, спасение моего отца? Вы удивились, что я дала согласие быть женой Геммадинова? Еще бы! Я сама долго сомневалась. И сейчас оттягиваю свадьбу.

— Василиса Глебовна тоже оттягивает.

— И вам не стыдно? У Василисы в конце концов самое главное — страх перед Малицыным. Он подлее, чем вы думаете! А я — мщу. И за свое унижение, и за унижение отца. Жду, пока Геммадинов сдружится окончательно с Глебом Ивановичем, вот тогда я и разорю их обоих!

— Это, по-вашему, любовь?

Она решительно кивнула головой.

— Любовь прощает,— сказал я.

— Не каждая.

— Значит, можно мстить, любя?

— Обязательно! — воскликнула она с силой.

— Не оттого ли вы так откровенны со мной? Думаете, я тоже жажду отомстить Василисе, как вы — Геммадинову?

— Вовсе нет. По другой причине.

— По какой же?

Она молчала.

Я смотрел на нее во все глаза.

— Саумал! Что же это такое?

— Фотография,— отчеканила она спокойно.

— Какая фотография, где?

Она помолчала, собираясь с мыслями, а затем стала говорить, переводя дух на каждом слове:

— Не ломайте дурака! Та самая фотография, которой я занимаюсь, хоть и плохо. И те снимки с военных документов, которые велел мне сделать ваш отец. Должно быть, он рассчитывал на мою благодарность за то, что спас моего отца.

Я сказал с упреком:

— Неужели вы способны думать такое про моего отца?

— Про него все подумаешь.

— А именно?

Саумал ответила с полной убежденностью:

— Но ведь ваш отец — английский шпион.

Я пришел в негодование. Губы мои дрожали, я ничего не мог спросить, а она продолжала так же убежденно и спокойно:

— Я поняла это впервые на поляне Упавших богов.

— Да вас там с нами и не было!

— И не нужно. Мы ехали следом. Василиса остановилась у полянки: брат ее ждал там. Выслушав Бориса Глебыча, я сказала: «А известно ли вам, что

эти боги, по достоверному казахскому преданию, упали накануне прихода англичан в Индию?» Они ничего не поняли.

— И я тоже.

— Им я не разъяснила, а вам... впрочем, вы и без меня знаете, что англичане хотят захватить Среднюю Азию и Семиречье. Поэтому-то ваш отец — английский шпион — и выбрал полянку Упавших богов для своего дурацкого циркового представления.

Я стоял как вкопанный, руками и то не мог развести. Действительно, «у глупости сто ног, неизвестно куда заведет». Саумал тем временем продолжала:

— Ваш отец и привел Калмыковых на полянку, желая им показать то, что богам известно и сбудется, а люди о чем и не догадываются.

— И, основываясь на этом, вы считаете моего отца английским шпионом?

— Вешают за гораздо меньшее.

— Саумал! Вы не лишены логики политика.

Она, стоя против меня, выпятила грудь, закинула руки за спину и сказала:

— Разубеждайте меня!

— Зачем же? Шпионы в моде. О них много печатают. Мой отец обрадуется, узнав, что он — английский шпион. Ему по душе острые и нелепые положения.

— Не для этого ли он освободил Веру, жену Скурлатова?

— Она утонула.

Саумал рассмеялась.

— Сейчас вы увидите лицо Скурлатова. Страдалец! Вы поразительно наивны, Всеволод. Понимаю, почему люди к вам стремятся. Наивность и есть счастье. Каждому хочется побыть возле счастливого человека. Ну, а относительно Веры Скурлатовой... Женщина вырвалась на свободу — и, вместо свободы, тонет. Да, Алматинка во время силя строптива и страшна. Но почему б не сообразить, что на переправу, вместе с арестантками, прибежали и бабы-переселенки? Кто их считает? Почему бы не надеть на какую-нибудь утонувшую бабу тюремный халат?.. А на жену Скурлатова сарафан переселенки?

— Наивная восточная сказка.

— Она всегда ближе к истине, чем западный роман. Знаете что, Всеволод? Сейчас мне нечего делать

у Ханыке. Рыжик ведь проиграл. Да и вам туда незачем идти. Войдите, раз пришли! Помоги вам аллах, а я пойду искать моего Геммадинова.

Она раскрыла зонтик и пошла,— совсем другой походкой, чем та, которой она шла рядом со мной.

ХАНЫКЕ И ЧАПЕ

Солнце склонялось к западу. Рама окна была вынута, иначе б окно, затянутое брюшиной, давало бы мало света. Круглый низенький стол был накрыт скатертью, две-три вилки лежали на ней, для европейцев, хозяева и китайцы брали пищу руками. Китайцы сделали пельмени на пару́, казахи — бишбармак. На подоконнике, в синих фунтиках, сахар и леденцы ждали чая. Короче говоря, все были уверены, что Рыжик прибежит первым.

А он проиграл.

Бадам кричал, что тут, несомненно, подделка и обман. Как же так? Рыжик все время шел на полкорпуса впереди, а перед самым финишем Сквозной вдруг на голову обогнал его! Наездник наездником, мокрая дорожка мокрой дорожкой, но почему и откуда эти внезапные, будто бы подбадривающие крики толпы? Конь — молодой, непривычный к зрителю, опешил, а наездник Сквозного и воспользовался. Надо повторить!

— Так, так, сынок,— ободрительно шептал Чапе, с любовью глядя на сына.

Ханыке молча и радостно оглядывала всех,— в том числе и меня,— посмотрите, мол, и вы: какой у меня прекрасный сын, как он вырос! Он проиграл, правда, но разве так уж редко мы все, здесь присутствующие, проигрывали? И все же ведь победа-то в конце концов приходит!

Бадам ходит по комнате вперевалку, не спеша, совсем как взрослый, и все, из уважения к его беде, обращаются с ним, как со взрослым. Он взглянул на меня и покраснел. Значит, он уже знал, что я в Верном лежал больной? Он из-за занятости не побывал у меня и теперь чувствовал со стыдом, что эта занятость мало стоила и, пожалуй, лучше б скакать наездником не ему, а кому-нибудь другому. Но он — мужчина, почти взрослый, и сознаться в своем промахе ему трудно.

Гулькамыс проще. Она мило обрадовалась мне, бросилась меня целовать. Она вспомнила даже, как я угощал ее конфетами,— наверное, потому, что мать, купив конфет, тут же угостила ее. Гулькамыс вздумала и меня сейчас же угощать, но мать сказала, что после, когда чай будут пить. Младший смотрел надуто: он уже забыл меня и теперь, вспомнив, растерялся: я ушел из его памяти так далеко, что ему казалось невозможным мое появление.

— Спасибо,— сказал мне Чапе,— ты их хорошо воспитывал.

И он широко улыбнулся, чтоб доказать, что он не притворяется, а действительно так думает.

Кроме детей, Чапе, Ханыке, китайцев, Тасана и Джагалтай, Скурлатова, Щепетникова, в комнате было два почтенных старика лошадника, три наездника и лысый конторщик с бегов, опрятно одетый и державший котелок у себя на коленях, твердо знавший, где, по достоинству, должен находиться его новенький головной убор! В углу, охватив колени руками и тоскливо глядя в окно, сидел Щепетников. Он, должно быть, получил из дома плохие вести. «Куда я забрался? — говорил его унылый взгляд. — И что толку? Вот вели-холили коня, а от него, вместо выгоды, ломота на сердце, срам».

Китайцы, особенно Бэй Шэн, были хмуры, и не думаю, чтоб притворно. Они теряли большие деньги. Ведь их табун упадет в цене. Добро если Борис Глебыч согласится на повторение бегов, но на это надежды мало, да и зачем ему рисковать?

В другое время меня тоже бы огорчило поражение Рыжика, но сейчас, забыв не только Рыжика, но Чапе и Ханыке, я весь, целиком, так и впился в Скурлатова.

Несомненно, он был счастлив! Он похудел, одет был в какое-то тряпье, на ногах опорки, голос хриплый, глаза опухшие, красные, но какой он вместе с тем ловкий и сияющий! Еще недавно, когда Саумал высказала предположение о бегстве Веры, я не поверил, но теперь, наблюдая за Скурлатовым, я все более и более убеждался в правоте слов геммадиновской невесты. Самым главным доказательством было то, что Скурлатов, видимо, старался сдержать свою радость. Я попробовал пробраться к нему, но он намеренно ускользал. Впрочем, скоро ко мне прилип конторщик в котелке, и я перестал наблюдать за Скурлатовым. Хотя мне было

и лестно, что конторщик обратил на меня внимание, тем более что, оказывается, как он тут же сообщил мне, у него жена носила лорнет и любила, как он сказал по складам, «лор-ни-ро-вать», лопотанье этого лысого конторщика мне опротивело. Я устремился к Чапе.

Я представлял себе Чапе большеголовым, с загнутым и тупым носом, как клюв у беркута, с длинными руками, порывистыми движениями и сверлящими глазами. Почему прежде я не спросил Ханыке об его наружности? Не права ли Саумал, утверждавшая, что я его ревную больше, чем он меня? И не преувеличивала ли Ханыке, из любви к нему, его ревность?

Чапе — стройный, с приятными, пожалуй суховатыми, чертами лица. Мир хитер и сложен, забот много, поневоле иссохнешь. Мечтаешь всю жизнь иметь хоть двух своих лошадок, а вместо того только на чужих смотришь. Другой лоснится с жиру, пьет каждый день кумыс, ест бишбармак, а тебе и по праздникам мясо не перепадает. Все время кто-то другой на полголовы впереди!

Благо если — жена. Хвала аллаху, что хоть она не в топи, а на лужке. Жена выучилась читать! А ему и подступить к азбуке страшно. И он сказал ей, что временами думал о ней дурно, но теперь видит — дурно делал, что уходил,— мужчина, хотел быть сильнее! Зато теперь будет стараться делать только хорошее и никуда не уйдет, а если и пойдет, то лишь с нею.

Чапе не высказал мне всего этого ни прямо, ни намеком. И у меня не было таких клещей, которыми я мог бы вытащить у него это признание. Но иногда душа крепче клещей: мне кажется, я правильно почувствовал его состояние. И не скрою, я позавидовал ему. А впрочем, бог с ними, пусть будут счастливы!

«Скурлатов счастлив, Чапе счастлив,— что же будет, если Рыжик первым прибежит к финишу? — подумал я.— Этак, пожалуй, всеобщее счастье и меня коснется!»

А! Я и забыл про Тасана и Джагалтай. Впрочем, оно и понятно. Когда Упавшие боги, живописнейшая полянка, пропасть, склонившиеся над ней влюбленные, убитый горем отец, тулпар Сквозной, тогда легко все запомнить,— легко даже составить балладу и распевать по всей степи. Но когда Тасан служит в булочной подмастерьем, а Джагалтай устроилась в ученицы к модистке, и они очень довольны, и их не тянет ни в степь, ни

к «Семиречке», какие уж тут баллады сочинять, что тут запоминать?

Нет, с меня счастья хватит, и я ухожу. Не плохо бы переброситься парой слов со Скурлатовым, но как это сделать? Лысый конторщик коннозаводства наконец отстал от меня, зато впился в Скурлатова.

— Как вам нравится, Капитон Ильич, наш ипподром? Наконец-то мы с вами познакомились! Я давно мечтал.

«Ишь стерва! — замечаю я во взгляде Скурлатова. — С чего это ты так размечтался? Или велено?»

И Скурлатов начинает плести какую-то чушь о разнице между семипалатинскими и верненскими скакунами.

— Относительно коней я вам все подробно начерчу и исчислю, Виктор Николаевич.

— А затем мне хочется поговорить и относительно профсоюзов.

Скурлатов хохочет.

— О профсоюзе босяков, что ли, ха-ха! Вы, Виктор Николаевич, из-за страсти к бегам сюда зашли и нашего босячества не видите. Мы же — голы, босы! Оглядитесь!

«Это ты, миленький, брось, — светится в глазах конторщика, — меня словами не исшершавишь. Я тебя и так и этак вижу».

И он бормочет:

— Так, понимаю, что китайцы после поражения тулпара Рыжика угонят табун обратно?

— Спросите уж у хозяев, Виктор Николаевич.

Конторщик поворачивается к китайцам.

Табунщики смотрят на Бэй Шэна.

— Обратно, в Синьцзянь, — бросает тот.

У порога меня догнала Ханыке.

— Сначала от Рыжика неприятность, потом от тебя! Уходишь?

Я показал забинтованную ногу.

— Зайду дня через два, Ханыке. Больно.

— Извозчика позвать?

— Нет, тут недалеко.

В комнату вносили длинное деревянное блюдо с бишбармаком. На нас никто не смотрел, даже взор ищейки в котелке застыл на бараньей голове. Я сказал:

— Ужасно рад за тебя, Ханыке.

— Я тоже рада, — ответила она просто. — Мы теперь засеем пашню на северных склонах.

— Нет, я в смысле сердца.

— Да, Чапе теперь навсегда со мной.

Я посмотрел на Чапе и вздохнул: надеюсь, последний раз.

— Я рад и за Чапе, он — славный.

УЖИН У СУХОГО АРЫКА

Квартира наша далеко от ипподрома. Я налгал Ханыке. Нет денег и на извозчика. И вообще, чем мы будем дальше жить — неизвестно. Надежды на работу мало. Даже разрушительный силь не прибавил работы: обыватели сами исправляют повреждения.

Икры горели. Я сел на обочине, опустив ноги в арык. Пусть охладятся! Но канава высохла, и глина потрескивала у меня под ногами. Хотелось и пить и есть. Я очень жалел, что ушел от бишбармака. Должно быть, очень вкусно!

Возле арыка и дальше, вплоть до стен мазанок, следы силя. Трава и кустарники опрокинуты в одну сторону. Стены мазанок из-за промоин кажутся дуплистыми.

Сараи, ипподром, дорога к городу, деревянная вышка, флаги — все залито желтым закатным солнцем. Тени тянутся далеко, чуть ли не до садов предгорий и лесов, путь им преграждают лишь снежные вершины гор, еще полные дневного света.

И над всем этим, неизвестно где находясь и неизвестно чем гордясь, блаженно и победоносно вопит осел. «Экое дурачье!» — думаю я. Определение относится и к ослу и ко мне.

Слышны знакомые шаги. Откуда-то, из трубы, несет дымком, а из огорода — запахом мяты. Шаги останавливаются, и душевный голос спрашивает:

— Всеволод, ты?

— Ну я, — отвечаю Скурлатову.

Он сел рядом и торопливо спросил:

— Сильно болит?

— Легче.

— Смотрю, парень не ест и даже ничего не спрашивает...

— Ну, как ты? — тихо проговорил я.

— Я-то благополучно, а вот ты? Мне, понимаешь, у Ханыке разговаривать было трудно: торчала рядом эта гадина дырчатая, сквозь которую весь царизм видно.

— Провокатор?

— Подозреваю. А, черт с ним!

Скурлатов замолчал. Опять донеслось дуновение мяты, а мне все сильнее хотелось рассмотреть выражение лица Скурлатова. Он лежал на берегу арыка, раскинув руки и ноги. Хотя сумрак быстро окутывал землю и предметы сливались, я отчетливо видел лицо Скурлатова. Оно было наполнено счастьем. Ему даже было душновато. Он дышал порывисто.

Чувствуя мои мысли, он весело спросил:

— Хорош?

— Я рад за тебя, если это правда.

— Относительно Веры?

— Да.

— Правда.

— Как же это произошло?

— После, Всеволод, после, — сказал он, счастливо вздохнув. — Индивидуалист я, прости, вот от радости просто не знаю куда деваться.

И, словно силясь кого-то перекричать, он заорал во всю глотку:

— Но бывает же, хоть раз в жизни, чудо! Бывает! Не напрасно же я сюда, в Верный, рвался. Бывает чудо!

— Бывает, — моргая и кашляя, повторил я невольно.

Он сказал вполголоса:

— Ну, а теперь к делу. Мейстер тебе сказывал о матросах Балтийского флота? Знакомые у меня там: военную службу я проходил во флоте. Так вот, судить их собираются. Обвинят в заговоре.

— Я с Мейстером не успел поговорить.

— Так вот, брат, захотелось нам на дыбы...

— Кому это — нам?

— Семиреченским большевикам. — И он легонько засмеялся, поняв, что сказал в рифму. — И рабочему классу. Он, конечно, не велик: в Верном небось и пятиста рабочих не насчитаешь, но бог смелость любит. Дух в нас, парень, сейчас велик. Ах, как велик! Профсоюзы разбросаны по всем городкам, на «Семиречке»,

по рудникам... начнется процесс балтийцев, мы — протест, да такой, чтоб небо в дыму!

Вскочив, он стал ходить передо мной, бормоча, словно в лихорадке:

— Нельзя, чтоб не протестовать... братьев, матросов... ты понимаешь, море холодное, офицерье злое, закон — дудка, богатый дует, а бедному — ни-ни!..

Вдруг он остановился и резко спросил:

— Послушай, а ты сегодня ел?

— Утром.

— Ай-я-яй! — горестно воскликнул Скурлатов.

Он порылся в карманах, достал кусок хлеба, колбасу и луковицу, завернутую в бумагу.

— Приготовил на ипподром, взволновался и забыл. Ешь, ужинай. Я-то, брат, бишбармаку перехватил. Да, парень! Проиграл наш Рыжик.

— Китайцы и на самом деле вернутся в Синьцзянь?

— Сказано для отвода глаз дырчатому. Бэй Шэн ведь хитрый: он хочет все силы семиреченских революционеров рассмотреть. Будет гонять себе свой табун по ярмаркам да бегам, и попробуй придерись к нему полиция!

Я жадно жевал. Есть так хотелось, что даже пропала жажда. Скурлатов лежа, закинув ногу на ногу, рассматривал загорающиеся звезды.

— Всеволод, а ты любишь кого-нибудь? — послышался его какой-то испуганный шепот.

— Любил, — ответил я, продолжая жевать. — И сейчас люблю.

— Кого? Саумал? Ханыке? Актрису Синицыну? Василису Глебовну?

— Василиса Глебовна тут ни при чем, — возразил я. — Она меня только что на свадьбу свою пригласила, и я согласился. Разве так любят?

— Ну, любят по-всякому. Но вот чтоб бояться за нее все время, делать свое дело и, однако, непрестанно думать о ней, — так ты любил?

— Любил.

— Врешь! Любовь, брат, есть страх, а ты — бесстрашный.

— Какой же я бесстрашный?

— Бесстрашный. Ты ведь прикидываешься трусливым, а на самом деле ты отважнее тигра. Кто из нас идет в Индию? Ты!

Я рассмеялся:
— Фантазия и неумение видеть опасности.
— Брось! Но вернемся опять к делу. Тебе — письмо. Оно не у меня, получил твой отец, в типографии, где он заказывал афишу. От извозчика Марцинкевича из Кургана.
— Наверное, писал перед отъездом на «Семиречку», он собирается там деньги зарабатывать. А какую афишу заказывал отец?
— Про лекцию «О несторианстве в Средней Азии».
— Его?
— Его.
Я подробно описал Скурлатову сегодняшний приезд Калмыковых к моему отцу, спор о несторианах, рассказал и свою беседу с Саумал. То, что Саумал подозревает бегство Веры, не очень удивило Скурлатова.
— Саумал вряд ли выдаст, — сказал он. — Она и Нура из одного рода, а у казахов родовые связи еще сильны. И фотографии будут. А вот насчет Василисы Глебовны и убийства Назаренко бросил бы ты!
— Для газеты разве не нужны улики?
— Еще что! Уголовщину печатать в нашей газете?
«Значит, он не бросил мысли о газете?» — подумал я.
— Может быть, это и случайно, а может быть, и сознательно кто-то хочет приплести и тебя к уголовщине. Брось, Всеволод. Сохраняй алиби.
— Что?
— Счастливец! Ему неизвестно — алиби! Представь, Всеволод, тебя обвиняют, что ты семнадцатого сего месяца помогал Вере бежать. Однако Мейстер неопровержимо доказывает, что именно семнадцатого многие видели тебя шагающим по тракту в Верный. Вот это и будет твоим алиби!
Я спросил с недоумением:
— Ты — предположительно? Или вправду...
— Вправду, — спокойно ответил Скурлатов. — Донос на тебя и твоего отца. У нас есть рука в губернском жандармском, некто Бережков, слышал? Да как же! Аптекарский ученик...
— И вы с ним?..
— Не я с ним, а он одному знакомому сообщил, а знакомый — наш, типографщик. Типографщик-то

и тебе бы место устроил, но, пожалуй, тебе и отцу лучше скрыться из Верного. Ищи ветра в поле, а Всеволода — в Индии! — весело воскликнул он.

— Кто же донес?

— По-видимому, Салазкин. Упоминается в доносе еще Чапе и Щепетников. Из Чапе топором не вырубишь, если и было что, а Щепетников... Щепетников на словах — Пугачев, а на деле, боюсь, проболтается.

— Да нечего ему и пробалтывать!

— Умелый следователь что вязальщик: дай только нитку, а чулок будет. Ты подумай, что произошло после твоего прихода в Семипалатинск. Поджог верфи, листовки, разговоры, открытие библиотеки, где невесть какие книги еще найдутся! А в Семиречье? Голод, волнения безземельных, драка в станице и кража зерна, забастовка в Метелочной, — и там опять листовки... Ну конечно же, все это наделали учитель Иванов и его сын! А, да я и забыл совсем, что учитель-то — английский шпион.

— Насчет шпионства — явная глупость.

Он продолжал с раздражением:

— Не для следователя. Э-эх, парень! Как вспомню я, какое бывало...

И он замер, тяжело дыша. Я знал, что сейчас воображение рисовало ему то, о чем он нам, в Семипалатинске, часто рассказывал: декабрьские дни тысяча девятьсот пятого года, Москву, Пресню, Люберцы, баррикады рабочих, серые ряды семеновцев, пулеметы. За каждого убитого офицера сжигали дом, за каждого солдата расстреливали десять мирных жителей, помогающие раненым объявлялись врагами, а пулеметы, которые эти мерзавцы «тщетно» пытались доставить в Маньчжурию, на московских улицах били умело. Азиатский деспотизм и европейская техника сочетались тут великолепно. В результате только и слышишь — бить, сечь, жечь, расстреливать, усмирять, вешать! Тюрьмы переполнены, пресса задушена, заводы окружены виселицами, деревня сожжена и иссечена. И что же, Россия подавлена? Нет! На пепелище пожарищ Россия создает новую Россию. Предстоит новое великое испытание наших сил. И тут уже нельзя говорить — верю или не верю. Делаю! Свобода или гибель. Гибель не только нас с тобой, но гибель всей страны. России? Никогда!

Справа, слева, а особенно впереди, за ипподромом у подножия гор, загорались вечерние огоньки. И круто поднимались в гору, и казались крылатыми. Я смотрел на них в восторге. Не у каждого огонька сидит друг, — но — у многих. Нет, что ни говори, — жизнь прекрасна и люди прекрасны.

Наше молчание окончилось. Скурлатов сказал:

— Все наши думают о тебе, Всеволод, хорошо. А твой отец... Хрупка, брат, как крушина, девичья любовь, а отцовская — особенно твоего отца — крепче дуба. Он словно бы провожает тебя до порога дома, а, глядишь, проводил до Индии! Так вот. Лучше вам уйти поскорее. А мы тут сами разберемся и догоним.

Затем, опять помолчав, он спросил:

— Ну что, поужинал?

— Сыт.

Он сказал деловито:

— Посиди еще минутку, пока я не скрылся. Темь-то она темь, а во тьме враг.

А затем издали прокричал:

— Ого-го-го!..

Я понял, что Скурлатов желает мне счастливой дороги.

НЕСТОРИАНЕ

Легко догадаться, что Скурлатов многое не досказал. Но даже самое незначительное сведение, полученное от него, всегда что-нибудь да переворачивало или сотрясало во мне.

Ночь выпала беспокойная.

Наш хозяин-дунганин небрежно сказал, что отец мой ушел к попам. «К несторианам, по-видимому...» — подумал я и заглянул в котомку отца. Мундира Лазаревского института не было. Несториане, наверное, остановились в подворье канцелярии верненского отдела Киргизской духовной миссии. Это было старинное одноэтажное здание, сложенное из дикого камня и почему-то не разрушенное свирепствовавшими здесь в последние годы землетрясениями.

Пройдя предместье, миновав крепость, я долго блуждал по мирно спящим темным улицам. Фонари горели только в центре города, да и тут многие столбы смыло силем. Прохожих встречалось мало, а те, что встреча-

лись, будучи навеселе, норовили шутить. Пока я добрался до подворья, наступил двенадцатый час.

На улице перед подворьем было обыденно. Городовой в будке, у ворот привязанные казахские лошаденки с лоснящимися седлами, несколько обывателей, сонно, без особенного любопытства, глядевших во двор. Жара прежняя. Еле слышно среди мягкого шелеста тополей журчание арыка.

Тем более я был изумлен фантастичностью зрелища, открывшегося мне в трапезной, куда служка проводил меня через переднюю, мимо аналоя, икон и неугасимой лампады.

За длинным столом, покрытым ало-фиолетовым сукном, сидели темнокудрые, смуглые несториане, ворочая миндалевидными глазами. Рядом с ними — верненский архиерей, седенький невзрачный старичок с красным носиком, непрерывно оправлявший помятую мантию, затем два протоиерея в жалованных камилавках, несколько почтенных откормленных монахов и над ними — мощная фигура архимандрита Михаила, этого апологета семиреченского христианства. Рядом с ним сидел мосье Блэнт, экономист, переводчик и ближайший друг несторианских священнослужителей, человек с выражением необыкновенной таинственности на лице и подлости во всей фигуре.

Был, конечно, Глеб Иванович и все его семейство, не исключая Анастасии Николаевны. «Зачем нужны Калмыкову здесь домочадцы?» — думал я, глядя во все глаза на Василису Глебовну. Она держалась спокойнее прочих, даже, пожалуй, весело; во всяком случае, желания окрыситься, как у прочих, я не замечал у нее. Был и Мейстер, взволнованный не менее других. Было несколько археологов.

Мой отец, разумеется, шумел, вскрикивал, взмахивал руками, переспрашивал; горло его от напряжения хрипело. Но, боюсь, он не больше моего разбирался в сущности спора.

Я же ничего не понимал.

Орали бестолково, как мужики на сходке. Архимандрит Михаил, сдвинув на затылок кукуль, колотил по столу тяжелыми, словно у кузнеца, кулачищами. Глеб Иванович, спутав сукно стола с салфеткой, тянул его к мокрому рту. Непрестанно повторялось:

— Святая долина — наша!

— Еще бы!

— Нет, моя! — кричал Калмыков. — И никакие суды не отнимут ее у меня.

Архимандрит, качая ветвистой головой, вопил:

— Какой суд: когда есть двор и синод!

— А на синод есть правительствующий сенат,— перебил его Калмыков.

Над фиолстовым столом, с изумлением глядя на эти воспаленные лица, покачивались висячие керосиновые лампы. На потолке и в углах сильно загнутой длинной трапезной можно было разглядеть какие-то странные рисунки, как я узнал позже — буддийские «круги жизни». Говорят, в древности в этом здании был ламаистский монастырь. Восточная стена трапезной почти сплошь увешана иконами, перед которыми горели свечи. По столу разбросаны какие-то документы в синих папках, сшитые суровыми нитками и с множеством сургучных печатей.

Боже мой, но куда же девалось неизглаголанное смирение монахов? Где их благость и кротость? И где незлобивость гостей-несториан, им-то на что ожесточаться? Не все ли им равно — Святая долина, или Грешная, или Безразличная? Им ведь нужно чудо и побольше доказательств того, что здесь когда-то цвело несторианское царство.

— Нет, именно — Святая,— громко, с гордостью произнес архимандрит, глядя на Калмыковых острыми глазами,— именно Святая долина нужна сейчас церкви, и мы ее не отдадим, сколько бы вы, Глеб Иванович, ни строгали тут руками.

Он намекнул на жестикуляцию Калмыкова, который так двигал руками, словно водил фуганок. Глеб же Иванович уловил в этих словах намек на свое плебейское происхождение и пришел в ярость.

— Строгаю, отче? Я-то строгаю деньги, а вы что? — И он начал припоминать.

Ведь именно ему многим обязана церковь! Он придумал церковные наделы на триста десятин земли на каждую церковь! Его перу также принадлежит законопроект, внесенный правыми депутатами в Государственную думу, о новом наделе землей семиреченских казаков. Давая казакам крупные земельные наделы, царь превращал их в богобоязненных, богатых собственников, в оплот церкви и монархии. «Хозяйственные» киргизы

тоже землей не будут обойдены, а те киргизы, которых новая земельная реформа разорит, пойдут в работники, и таким образом будет решен вопрос о дешевой рабочей силе, крайне нужной в новых имениях и на постройке «Семиречки», шахт, рудников и церквей!

И вдруг, оборвав себя, оглядев всех торжествующе, Глеб Иванович произнес:

— Воры вы все! Ворами и глядите. Ворами и взяточниками. И ты, архимандрит, и ты, мосье Блэнт, и вы... — И он ткнул пальцем в несториан, которые, видимо, отлично зная смысл слова «вор», вскочили, ухватились за фиолетовую скатерть и начали трясти ее.

— Нельзя! Нельзя! — кричали они.

Мне стало совсем тошно. Я пробрался к отцу и шепнул ему, что сейчас самое время убираться. Он, словно не слыша меня, подмигнул и прошептал:

— Острупели людишки,— и добавил, разъясняя,— покрылись гадостными струпьями.

— Ну и пусть. Уходить нам, папа, пора.

— Зачем уходить? Калмыков обещал на лошадях развезти.

И, схватив меня за руку, сказал с умоляющим видом:

— Нет, ты слушай. Архимандрит едва ли не тайну исповеди выдает.

Архимандрит исступленно поносил Глеба Ивановича. Калмыков плодит острожников и преступников. Он, архимандрит, ничего не скажет о тяжких грехах Василисы или этой остроголовой («почему остроголовой, что он под этим понимает?» — подумал я) Анастасии Николаевны, а сказать не мешало бы... но вот позавчера прибежал Салазкин, хвостоносец Калмыкова (архимандрит, в заносчивости по-видимому, хватал первые попавшиеся слова), почувствовавший ни с того ни с сего приближение смерти, повертон, как он говорит,— исповедался и причастился.

— Что же он мне сказал? — возопил неистово архимандрит.

— Отче! Опомнись!

Калмыков вскочил и, силясь перекричать,— но где ему перекричать обезумевшего? — ударил тяжелым стулом по столу. Стул задел лампу. Стекло разбилось. Лампа густо зачадила. Вбежал служка с ведром воды. Спорящие пришли несколько в себя.

Отец, весь дрожа от восторга, сказал мне:
— Ну, теперь можно уходить.
Мы вышли во двор.
Вертя папиросу прыгающими пальцами и рассыпая табак, отец продолжал:
— А ты говоришь: бога нет! Кто же, кроме бога, способен так глубоко раскрывать души?
— Ярость раскрыла, но почему ярость, не понимаю,— сказал я.
Отец, стараясь разобраться в услышанном, помолчал, а затем сказал, качая головою:
— Признаться, мне тоже причины почти не понятны. Но будем верить грядущему, которое, говорят, все исцеляет. Насколько я мог заметить, оно исцеляет редко, но от этого наша вера в него не становится меньше.
Он вздохнул.
— Кричат?
— Кричат,— ответил я, прислушиваясь.— Кажется, Калмыков попрекает архимандрита разговором с Сонькой Золотой Ручкой. Скажи, папа, а почему явились все Калмыковы? На несториан посмотреть?
— Кабы!— посмеиваясь, ответил отец.— Пришли, надеясь на архимандрита повлиять.
— А что им далась эта Святая долина?
— Не знаю, сам изумлен. Ох, Всеволод, Всеволод! Погрязнуть легко, но очиститься от грязи и невежества...
Я хотел было рассказать ему слышанное от Скурлатова, но он перебил меня:
— Невежество! Ты думаешь, меня угнетает это подбоченившееся невежество, когда, вместо ученого разговора о несторианских древностях, они горланят невесть какие пакости? Нет. Меня огорчили несториане.
И он продолжал, в недоумении разводя руками:
— Невежество их огромно! Самый старший принимает апостола Фому за какого-то римского папу. Естественно, что мне захотелось рассказать им о несторианском царстве в Семиречье. Они почти ничего не знают о нем. Не знают, что около триста тридцать четвертого года христианской эры в Средней Азии распространилась секта Нестория и учреждено было несторианское епископство в городе Мерве, что в четыреста двадцатом году была основана несторианская метрополия в том же городе, а сто лет спустя — несторианская метрополия в Самарканде. Но в шестьсот шестьдесят шестом году

арабский полководец Рэби-ибн-Уль-Гарит совершил поход на Балх, Бухару, Самарканд, и, меньше чем за пятьдесят лет, вся Средняя Азия была завоевана и в Мерве учреждено было наместничество багдадского халифа! Несторианство было приглушено, однако не погибло. Между семьсот шестьдесят седьмым — семьсот восьмидесятым годами в Бухаре и Самарканде появился пророк Моканна. Учение его носит явные следы несторианства. Арабы жестоко подавили этот религиозный раскол, руководимый пророком Моканной, и тогда начали преследование несториан вообще. Наконец появление тюрков и государства сельджуков вытеснило из Средней Азии иранский элемент и обессилило несторианское верование. Закончило этот процесс нашествие монголов. Чингисхан, Чагатай, Батый, Тимур способствовали падению персидско-арабской цивилизации. К тысяча триста шестьдесят девятому году историки относят уничтожение последних следов несторианского исповедания в Средней Азии...

— Все?

— Да, приблизительно все, что им следовало бы узнать. Я был убежден, что эти бедняги будут слушать меня с большим вниманием. Но где там! Ты — видел! И, главное, мы не понимаем с тобой, чему они подвластны.

— Махнем на них рукой, папа, и убежим.

— Убежим? Почему?

Я наконец смог передать ему слова Скурлатова и Саумал. Услышав, что Саумал называет его английским шпионом, он, как я и предполагал, заметно приосанился.

— Да-а... — протянул он, подбочениваясь. — Насколько мне известно, шпионы любят скрываться. Придется и нам. Отойдем в сторону.

Мы отошли. На этом и кончилась его податливость.

— Только...

— Опять только? — воскликнул я.

Мы остановились возле афишного столба. Он подвинулся. Я прочел:

«В. А. Иванов (Московский Лазаревский институт и т. д.) прочтет лекцию на тему «К вопросу о несторианстве в Семиречье» и «В чем счастье и смысл жизни?».

— Несторианство обывателя мало интересует,— объ-

яснил мой отец,— но за счастье и смысл жизни он деньги заплатит.

— А что это такое — «и т. д.»?

— Учитель Лебяжинской школы, казак, ну и так далее,— ответил уклончиво мой отец.

— И тебе доподлинно известно, в чем счастье и смысл жизни верненских обывателей?

— Скажу на лекции.

— А я скажу тебе тотчас же, в чем счастье для нас.

— Так в чем, сынок?

— В том, чтобы удрать из Верного немедленно!

— Сомневаюсь.

Я и сам сомневался. Рядом со скромной афишей моего отца я видел пышную афишу Конно-драматического цирка с пантомимой, конями г-на Коромыслова, акробатикой Антуанетты Сирбо, декламацией Синицыной. Был даже факир — мой однофамилец — Бен-Али-Бей! Сборы, по-видимому, хорошие, и если пойти в цирк, то и мне найдется там местечко. Я тосковал по музыке циркового оркестра, запаху конюшен и опилок арены, визгу клоунов и топоту зрителей, заполняющих зал.

Но, к сожалению, все это сейчас мне недоступно,— сомнениям нет места.

И отец, кажется, начал понимать это. Теребя мой рукав, он повел меня в тень, подальше от фонаря.

Там, окруженная своими детьми, стояла Ханыке. Лицо ее было бледно, она с умоляющим видом смотрела на моего отца.

— Адвоката Мейстера надо,— прошептала она.— Щепетникова арестовали, Чане... вас ищут. Я была у дунганина, он — вот... принесла...

В пыли лежали наши пожитки.

Мы быстро решили, что мне с отцом в подворье лучше сейчас не заглядывать. Пойдет Ханыке и вызовет Мейстера. А мы разыщем китайцев и Скурлатова, возьмем Нубию и отправимся тропами, вдоль гор, на Пишпек.

Где Скурлатов? Китайцам вряд ли известно место его ночевки. В профсоюзе ночью пусто, да и вряд ли рабочие скажут адрес Скурлатова незнакомым людям. Нура? .

— Обозники! — воскликнул я. — Кузя!

— Как ты думаешь,— спросил мой отец, когда мы остались одни,— при аресте лучше быть в мундире или без него?

— Мундир изомнут.

— Зато при мундире приличнее обличать.

— А ты намерен обличать?

— Зачем же мне иначе арестовываться? Неужели мы скрыться не способны?

— У нас, кажется, есть удобный случай проверить это, отец.

Калмыковские конюшни, обширные и крепкие, находились в переулке как раз позади известного деревянного верненского собора. Лаяли собаки, сторожа били в колотушки, мы долго блуждали среди возов с поднятыми оглоблями, пока не наткнулись на Кузю. Зевая и почесывая спину, он долго глядел на восток.

— Скурлатов, Скурлатов... — бормотал он,— где же быть сейчас Скурлатову? Который час?

— Два, третий.

— Два, третий? Слушай, неумытый ахтер! — вдруг весело закричал он. — А тебе этот извозчик Марцинкевич из Кургана тоже пишет? Я ему недавно написал. Он ответил. Он, брат, через Урал по Оренбургской дороге на Арысь едет... Только как же кони? Коней-то он, что, в Кургане продал? Ты письма от него или от племянниц не получал?

Мне было не до писем Марцинкевича. Я сердито воскликнул:

— Где сейчас Скурлатов?

Помолчав, почесавшись, позевав еще и стараясь всячески догадаться, где Скурлатов, Кузя наконец сказал:

— У львов!

— Боже мой, львов еще нам не хватало!

На львов отец не мог не откликнуться.

— Африканские львы? — спросил он простодушно. — Их, что же, вместе с несторианами привезли?

— Обыкновенные львы,— ответил Кузя, глядя на небо, начавшее розоветь,— медные, которых рядом с подворотнями ставят. Киргизы нашли их в степи, что ли; купцы сторговали, повезли свое Собрание украсить. Ну, подводы попали в силь. Львов, вместе с прочими глыбами, подхватило течением и забросило в лощинку

возле двора Измайловых. Нам хозяева велят доставить этих львов. Пришел я посмотреть: какой силой их вытаскивать? Измайловы-то — люди народные, общие, все знают. Я к ним и зашел. Ахтер мой где-то по степям-горам бродит, дай, думаю, про дружка его узнаю, а от дружка — и про него. Спрашиваю: «Скурлатов бывает?»—«Да, почесть каждую ночь»,— отвечают. Ну, думаю, поеду за львами, выеду пораньше, поговорю. А тут и ты сам! Дай я тебя поцелую,— неожиданно сказал он и припал к моему плечу. — Жениться я задумал, ахтер! Только согласится ли она-то, Зося-то! Как, по-твоему?

— Зося? — ответил я решительно.— Непременно согласится. Она верная, крепкая.

— Это правильно! Баба мне нужна разрушительная,— сказал Кузя серьезно.— Ты мне адрес свой сообщи, на свадьбу позову.

Я обещал прислать адрес, и мы расстались.

Заметив, что отец пошел не в ту сторону, которая была нам нужна, я сказал:

— К Измайловым влево.

Отец по-прежнему шел вправо.

— Влево,— повторил я.

— А как ты думаешь,— спросил отец, не поворачивая влево,— Вера Скурлатова еще в Верном?

— Возможно.

— И прячется у Измайловых или где-то рядом?

— Тоже возможно.

— А раз арестовали Чапе и Щепетникова, гонятся за нами, то ей, пожалуй, следует скрываться быстрее, чем даже нам?

— Так.

— А мы, придя к Измайловым, можем навести туда полицию?

— Верно.

— Поэтому-то я и свернул вправо! Мы направляемся в Купеческое собрание, по дороге рассуждая о львах и князе Малицыне.

— Почему о львах?

— Потому что они медные или, вернее сказать, бронзовые.

— Ну и что же, что медные?

— Потому-то и куплены для Купеческого собрания.

Ответ был краткий, но не ясный. Оставалось ждать, когда отец найдет нужным пояснить его. Я спросил.

— А почему о князе Малицыне?

— Потому что он играет ныне в Купеческом собрании.

— А как ты думаешь про Малицына?

— Боюсь быть пристрастным. Не люблю картежников! Правда, он играет сейчас не в карты, а на бильярде. Но как ушел днем в Купеческое, начал с трех рублей партию, а догнал до трехсот, а того гляди, догонит и до тысячи! Играют с ним люди серьезные: землемер Майков и купец Аралбаев, отец Саумал. Все деньги, припасенные на свадьбу, Аралбаев, боюсь, продует. — Мой отец глубоко вдохнул воздух. — Ты понюхай! Какие запахи! Урожай цветов и ягод. И варенья же наварят в этом году!

— Разве ты любишь варенье?

— Люблю все, что дает повод для размышления.

— Кстати, раз — о Малицыне, то что скажешь о сегодняшней Василисе Глебовне?

Мы проходили мимо каланчи. Воздух был тих. Отчетливо, точно отрубая каждый шаг, шел по вышке пожарный. На кромке колокола золотилась медь восхода.

— Еще бы немного,— ответил мой отец спокойно, глядя на пожарного,— и она была б высока так, что стоило б разреветься от восторга, глядя на нее. Высока, как каланча! Каланча культуры.

Эти слова дали ему повод высказать несколько обобщений.

— Каланча — это все, что осталось от сторожевых башен и крепостных возвышений, с которых когда-то несториане высматривали приближение врага! Каска пожарного и колокол — единственные следы прошлого, некогда очень величественного. Поэтому-то каланча так и волнует нас. Но, в сущности, пожар, конечно, тоже враг не малый, хотя бы потому, что это вернейший признак бескультурья. Брошенный ребенок, который балуется с огнем, дымящийся окурок, выпавший изо рта пьяницы... Что такое культура? Стремление к знанию, к чистоте, к порядку. И к душевному порядку, разумеется. Как будто и немного, а, смотри, как трудно этого достичь!

— Достичь справедливости?

— Достичь справедливости вообще трудно. Тем более что стремление к справедливости часто борется со

стремлением к наслаждению. Вот и все, что я могу сказать тебе о сегодняшней Василисе Глебовне.

— Много, но не ясно.

— Разве? Я разъясню попозже, только не забудь спросить.

Миновав каланчу, мы вышли на Торговую площадь. Город просыпался. Вышел сторож и начал поливать тротуар перед магазином. Три проститутки — в середине Сонька Золотая Ручка,— обнявшись, возвращались домой. Сонька подмигнула мне, как знакомому.

Появился конвойный солдат, которому, наверно, нелегко было покинуть прохладную казарму. Однако он шагал мерно, за ним лениво перебирал ногами длинноусый арестант с низким лбом, в коротком халате. Позади шел судебный служитель с папкой.

Мы присели под фонарь на ступеньках забитого досками магазина, с пломбами на дверях. Вывеску не успели еще увезти, и я мог прочитать: «Эмалированная, медная и оловянная посуда Реброва». Мой отец сказал:

— Может быть, ты заметил, что арестант с грустью посмотрел на магазин? Вчера мимоходом я заглянул в суд, когда судили этого арестанта. Его фамилия Ребров. Он торговал тут вот, успешно, медными тазами. Урожай ягод. Начались разговоры о вкусном варенье. Он и навези множество тазов! Спрос растет. Он открывает мастерскую. Количество тазов увеличивается. Но, к сожалению, несмотря на то что в этих местах очень много меди, Ребров искал медь для своей мастерской не тем способом, каким принято.

— Каким же?

— Ребров заключил с вернепским гарнизоном контракт, по которому он был обязан собирать все снаряды, выпускаемые при практической стрельбе на полигоне. Из общего веса металла выпущенных снарядов Ребров должен был представлять в казну: шестьдесят два процента выстреленных по южным щитам, пятьдесят процентов — по щиту у разрушенного мазара и сорок процентов — по северному щиту на холме с тремя тополями. За недостающее количество металла с него удерживалось по два рубля за пуд! Однако он нашел более выгодным делать из медных частей снарядов тазы для варенья, чем сдавать военному ведомству. Его и осудили на три года заключения.

— Почему военным нанимать подрядчика? Не вы-

годнее ли самим солдатам искать снаряды? — спросил я.

— Солдаты так обучены, что ничего не способны сделать без офицеров. Офицеры же не способны переносить жару.

Лицо его загорелось.

— А не взять ли нам освободившийся подряд по отысканию снарядов?

— Денежный залог! И, кроме того, мы ведь тоже почти арестанты.

Отец поднялся. Некоторое время мы шли молча. Я уже понял, что мы долго еще будем ходить по городу. Ну, что поделаешь? Отец всегда прав.

— Странно, что Реброва осудили на больший срок, чем отставного унтер-офицера Скоробу,— начал отец. — А между тем Скороба повинен не только в краже меди, но еще и в богохульстве.

— Медные тазы — и богохульство!

— Выслушай. Скороба и еще двое других не обнаруженных при следствии лиц, выломав железную шайбу в окне фамильной усыпальницы Прохоровых под каменной часовней кладбища, проникли и похитили медную обивку с гробов покойников, разбив три медных ящика, в которые были вставлены гробы. Затем они сбыли краденую медь в мастерскую Реброва.

— Нехорошо,— сказал я, смеясь.

— Чего хорошего? Впрочем, их преступление слабее, чем преступление главного врача Трошина.

— А это еще что за преступление?

Мне стало веселее. Усталость от бессонной ночи отходила, а временами и совсем исчезала.

— В больнице святого Николая при канцелярии Киргизской миссии главный врач, действительный статский советник Трошин, не доверяя жене, взялся сам варить варенье в служебные часы. Возмущенные его действиями ординатор дворянин Романовский, смотритель потомственный почетный гражданин Шульц, младший надзиратель крестьянин Яковенко, служитель крестьянин Кромок, конторщик мещанин Марка, вахтер крестьянин Биняков кинулись на Трошина, схватили под руки, повалили в заранее приготовленную тачку и с криками: «Сам варишь в приемные часы, а нам не даешь!» — вывезли во внутренний двор больницы и там бросили.

Я захохотал:

— Сказки!

— Сказки? Не забывай, Всеволод, что ты в Азии. В Азии сказка имеет бóльшую силу, чем самая что ни на есть подлинная истина. Знаменитый полководец Скобелев, когда завоевывал эти места и узнал, что ему в подмогу петербургские сферы намерены послать крупное войско, телеграфировал: «Не надо мне войск! Действуя на воображение азиатов, побеждаю малым числом». И победил, получив-таки подкрепленье.

— А львы? А медь?

— Ах да, понимаю,— посмеиваясь, сказал мой отец.— Дверные ручки в больнице медные, в виде львов. Ты, сынок, не думай, что я забываю о львах. Они нас постоянно преследуют. Хорошо бы нам встретить в Купеческом адвоката Мейстера.

— Спит, поди, давно твой Мейстер.

— Не думаю. Ханыке его дождалась, и я уверен, Мейстер не прочь поделиться со мной соображениями по ее делу. Он догадлив и не глуп, хотя и высокопарен. Но какой адвокат не высокопарен? Это им простительно. А насчет ума вспомни процесс Скурлатова.

Отец закурил и, попыхивая папиросой, стал вспоминать:

— Шесть лет тому назад суд вынес приговор Скурлатову. Было доказано, что он, принадлежа к боевой дружине социал-демократов, фракции большевиков, готовил оружие к восстанию. Прокурор, гнуснейший из сатрапов, яростно твердил, что Скурлатов задержан на Невском судостроительном заводе с металлическими оболочками взрывчатых снарядов, а на чердаке общежития студентов Политехнического института, где он учился, был найден динамит в плитках и гуттаперчевых обложках. Каторга? Да, каторга. И что же? Прошло только четыре года с небольшим, и адвокат Мейстер доказал сенату, что Скурлатов приобретал, изготовлял и хранил взрывчатые вещества для геологических исследований. Да, да! В геологии применение взрывчатых веществ весьма распространено. Сенат принял толкование Мейстера, хотя и с оговорками. Скурлатова, как ты знаешь, освободили, ограничившись ссылкой, да и то непродолжительной. Сейчас-то он гуляет ведь на свободе.

— Надолго ли?

— Это от нас зависит,— заметил мой отец,— от нашей осторожности. От львиной осторожности, добавлю. Лев силен, могуч, и при всем том он очень чуток и осторожен. Будь львом, Всеволод!

— Медным? Бесстрашный и великодушный лев именно за свое бесстрашие, великодушие, а значит, и красоту, был превращен в медного...

— Чтобы сторожить Купеческое собрание!

— До поры до времени.

Мы брели вдоль беленой каменной ограды. Алые крошечные розы сползали с нее. Солнце поднялось. Ограда слепила глаза. Влажные розы возбуждали нежность, ласку, сострадание. За оградой в кустах пели соловьи, а высоко над ними легонько подсвистывал им верховой ветер. Сколько раз потом, читая и перечитывая «Соловьиный сад», вспоминал я эту верненскую ограду, розы, соловьев, речи своего отца,— и сколько раз сжималось растроганно мое сердце!

По ограде высокой и длинной
Лишних роз к нам свисают цветы.
Не смолкает напев соловьиный,
Что-то шепчут ручьи и листы.

Мой отец послюнявил палец, поднял и сказал:

— А ветру верховому усилиться.

— И что же?

— Примета здешняя: «Три дня верховой — зерно на возу с верхом». К дождю и урожаю, значит.

КОГДА ЖЕ НАКОНЕЦ ВЫБЕРЕМСЯ ИЗ ГОРОДА?

Да, когда же?

Крутим и крутим.

Опять покосившаяся каланча упирается в вершины тополей. Ворота пожарного сарая распахнуты. Солнце освещает бочки кирпичного цвета и таких же круглых спящих коней. У ворот, на связках хвороста, спят нищие, положив под голову сумы. Жарко, смрадно, засохшая грязь потрескивает под ногами, а над головами попрежнему гудит верховой ветер, сухой, сильный.

— Дразним полицию, что ли? — спросил я. — Арестуйте, мол, нам не страшно.

— Не смущайся. Полиция спит. День, хоть и торговый, для чиновников и полиции, по случаю трехсотлетия — неприсутственный.

— Тогда лучше лечь в каком-нибудь саду и соснуть. Смотри — какой сад!

Верховой ветер нес где-то высоко густую пыль. Солнце мерцало. Сад в этом мерцании казался смуглым. Розы пахли слабо, точно смытые. Рука моя уперлась в железную решетку. Я окликнул отца.

— Сейчас, сейчас,— ответил он мне из сада. — Князя ищу.

Я понял, что мы у Купеческого собрания.

Приглядевшись, я увидел в саду темные очертания длинного и низкого дома. Несмотря на жару, окна и двери не только были плотно закрыты, но и завешаны портьерами, и поэтому звуки пианино, шарканье ног танцующих, голоса, треск бильярдных шаров доносились ко мне не более отчетливо, чем запах роз. Я прислонился к решетке ограды. Во рту сухо, вокруг все как-то липко, и туман усталости застилает голову. Ощупывая решетку, я удивился ей, единственной в своем роде. Среди чугунных виноградных лоз были укреплены большие овалы, на которых изображен жирный баран и полураскрывшиеся коробочки хлопка. Поговаривали, что баран этот символизирует Калмыкова, который вздумал заниматься, помимо «Семиречки», и тонкорунным овцеводством, а хлопковые коробочки — Геммадинова и Среднеазиатский банк. По мнению моего отца, толкование это было слишком сложным для верненских обывателей. Случайное совпадение, не больше!

Танцы и музыка утихли. И тогда, сразу же, в саду запели соловьи. Сколько их было и как рассыпчато, как чешуйчато, как метельчато, как близко и как далеко пели они! Я дрожал от восхищения и, чтоб лучше их слышать, решил подойти ближе.

С другой стороны Собрание и освещено лучше и более многолюдно. От ледника к кухне бегали с мисками и бутылками поварята, кухонный мужик носил ведра с водой и помоями, дрова, на цепи дремали толстые собаки, время от времени поднимая головы, подальше, в глубине двора, стояла огромная ассенизационная бочка, и два золотаря с черпаками, раскрыв рты, прислушивались к шуму в доме. У ворот, плечо

в плечо, спали городовой и дворник, а у ног их валялись пустые пивные бутылки.

Пьяный молодой купчик в чесучовой поддевке со сборками, начинающимися низко, по крестцу, вышел на крылечко, истово перекрестился, икнул и склонился головой к земле. Когда он поднялся, его рыжая, атласистая бородка сверкала, а лицо его, очень злое, было бледно. Выбежал второй, тоже молодой купчик, не менее пьяный. Он прошептал купчику в поддевке:

— Сашка! Иди князя бить, мухлюет...

— Ну-у? Да он же всегда честно играл!

И они скрылись в доме.

Золотари слышали купчиков. Старший золотарь присел на край телеги возле бочки и, глядя в окна дома, начал слегка ударять себя поленом по каблукам громадных, словно каменных сапог.

— Поленом бы этого князя да в бочку!

Молоденький золотарь отозвался:

— Случается. Открою-ка я покрышку!

Чего золотарям бояться и ненавидеть какого-то князя? Но было ясно, что они боялись и ненавидели всей душой. И почему в мире так много непонятного?

Голоса в доме возвышались. Кто-то презрительно, громко захохотал. Зазвенело, загрохотало.

— Меня-а?! — кричал во все горло князь. — В Петербурге не бывало, а чтоб в Верном?..

— Львы захохочут? — услышал я ликующий голос моего отца.

— Именно львы! — подтвердил все так же громко князь. — Львиным хохотом, ха-ха!

Соловьи уже не пели. Окна и двери были распахнуты настежь. Я видел всюду бледные, испуганные лица. И едва ли не мелькнуло среди этих растерянных лиц холодное и надменное лицо Василисы Глебовны. А князь хохотал все громче и презрительней.

Дверь веранды, рассыпая по каменному полу осколки красных, желтых и синих стекол, слетела с петель. Огни в доме стали гаснуть. Я знал, почему: боясь стать свидетелями убийства, все бежали. Закрылись ворота.

И опять тишина.

Мой отец перелез через ограду Собрания с ловкостью, которая указывала, что его молодость прошла более бурно, чем моя.

— Что произошло в клубе? — спросил я.

Отец ответил спокойно:

— Князь таки поднял партию на бильярде до тысячи. Никогда Купеческое собрание не имело и не будет иметь столь высокой игры. Танцы прекратились. Бильярдная — битком! И все смотрят со страшной тоской. Городу надоело везение...

— Чье?

— Малицынское. Играет с князем Аралбаев. Аралбаев не столь хорошо играет, сколь ловко обнаруживает мошенников. Сам такой же. Опять же бильярдного мошенника поймать легче, чем шулера. Поймали. Хотели избить до полусмерти, а затем воткнуть в бочку ассенизаторов! Я отговорил их с большим трудом. И все же набросились скопом, по-провинциальному, чтоб некого было вызывать на дуэль. Скоты, в общем-то! Пришлось мне его перевязывать.

— Значит, жив?

— Едва ли оживет.

— Убили?

— По-видимому,— свертывая папироску, спокойно отозвался мой отец.

— И ты совершенно равнодушен? Где же твой бог, христианство, гуманность?

— Я забыл о них,— ответил просто мой отец.— Иначе бы и сам подрался.

Ворота завизжали, распахнутые очень поспешно.

К нам шел князь. Та часть лица, которая не была скрыта перевязкой, улыбалась как ни в чем не бывало.

— Не могу смолчать,— сказал он, похохатывая,— а вы, учитель, мололи их первоклассно.

— Разве? — холодно спросил мой отец. — А мне казалось, я держал кулаки в карманах.

И он спросил деловито:

— А что нового, князь, произошло после нашего ухода с подворья?

Князь, смышленно переводя глаза с меня на моего отца, ответил:

— Ссора усилилась. Архимандрит приехал сюда, к Собранию! Он вызвал меня и стоял как раз на том месте, где вы. Отговаривал меня. Да поздно! Женюсь! И вообще — архимандрит перебрал, если можно применить карточный термин к человеку, облеченному таким высоким саном. Салазкин влияет.

— Салазкин?
— Да.
— Смелехонько.
— Что и говорить!
— А Салазкин-то не свою же линию ведет?
— Где — свою!
— Чью же? — спросил взволнованно мой отец.
— Военных.
— А-а!
— А военные, — отчеканил князь, — всегда преувеличивают свою силу.
— Так, так, — подтвердил мой отец.

Князь, очевидно, сильно был пьян, — иначе чем объяснить его откровенность? Я не любил разговаривать с пьяными, но бессонная ночь, волнения, жаркое утро и верховой ветер... словом, я спросил:

— А Василиса Глебовна, князь?

То есть я хотел спросить, здесь ли она и как она отнеслась к побоищу? Князь ответил совершенно неожиданно — и именно то сокровенное, что мне страстно хотелось знать!

— Василиса? Ей хочется пострадать, да боится. Вдруг больно? Так больно, что и терпеть невозможно. — Он снисходительно дотронулся до меня рукой. — Она застрелила льва?

— Тигра.

— Все равно. Оба из породы кошачьих, ха-ха! Я сегодня на той тигровой шкуре сидел. Она ему человеческие глаза вставила, честное слово! Протезы. Тигр на меня смотрит, и я читаю: «И тебе, князек, конец, как и мне». Нет, дудки!

— А вы-то на чьей стороне, князь? — спросил мой отец.

— На своей.
— Тогда прощайте!
— Подожди, подожди, учитель.

Отец махнул рукой довольно пренебрежительно.

Князь свистнул проезжавшему мимо извозчику, вскочил в пролетку и с веселой гримасой на неперевязанной стороне лица жестом пригласил нас с собой.

— Заметь, — сказал мой отец, когда мы проезжали мимо ворот Собрания, — львов еще не привезли.

А мне и не хотелось этого замечать! Я устал от его мудрости, догадок, недомолвок. Я молчал.

Мы еще покружили по городу, но уже на извозчике. На одной из окраин отец вытолкнул меня и сам спрыгнул. Задремавший князь проснулся, замахал, заорал, но нас и след простыл.

СЕДОЙ БУГОР

На склоне бугра, заваленного валунами, заросшего дикой ежевикой, шиповником и мальвой, я прежде всего увидел Ханыкс и ее детей. Она вела в поводу Нубию. Лицо Ханыке, несмотря на бессонную ночь, было свежее, уверенное, почти успокоившееся, словно она после долгих скитаний обрела отчий дом.

Да так оно и было. Редкий человек, придя в дом Измайловых на Седом бугре, не ощущал всем сердцем радушия, чистоты, душевной мягкости.

Братья Измайловы — Петр, Захар и Данила — до приезда в Верный работали в Питере: Петр и Захар — на чугунке, а старший, Данила, — служителем в больнице. Братья были люди трудолюбивые, упрямые, строгие, особенно Данила Григорьич, который к тому же и в древнем писании был начитан. Хозяйство у них шло, жили не богато, но сносно. И здоровьем Измайловы не были обижены, семья разрасталась широко, и дети тоже все — на подбор — здоровые. Редко кому столько дается! Приходский священник говаривал: «Дано за благочестие, умеренность и усердие».

Ой, так ли? Стоит ведь только приглядеться. Плохо живут люди, куда как плохо, хоть и в столице. У иного усердия этого, благочестия и умеренности вдесятеро больше, чем у любого Измайлова. Он и городовому после каждого слова поклон, он и попу — ниже пояса, он, обсчитай его приказчик, — молчок и, гляди, все равно нищ, тощ, голоден. Иному счастье, иному горе. И это бы куда ни шло, но беда в том, что для горя любое место — горшок, ткнул — оно и распустилось. А счастье-то и некуда прислонить, все углы горем забиты. Вот, размышляючи, добрались до каких мыслей Измайловы! Данила Григорьич дошел до этих мыслей, идя по писанию, Захар и Петр — по разговорам с рабочими на чугунке. Ну а дальше? А дальше, если совесть есть, надо поступать по совести.

В те дни, — из подмосковного села, откуда они были родом и где в юности когда-то работали на ткацкой фабричонке,— приехал в Питер знакомый мальчуган Капитоша Скурлатов. Впрочем, мальчуганом они посчитали его по старой памяти и вскоре переменили о нем мнение. Это был умный, знающий парень, и они не очень удивились, когда узнали, что Капитон поступает в высшее учебное заведение и состоит в политической партии большевиков. Данила Григорьич тут же сказал про него: «На этом окова крепкая — и сваркою и заклепками. Его не скоро расшатаешь». Где расшатать! Вместе с этим знающим парнем всему семейству Измайловых стало как-то легче, приятнее смотреть на жизнь. Свое-то личное счастье — счастьем, а выходит, что для всех-то это счастье выкует только сам рабочий люд! Да и кует уже. Как-то вечером Данила Григорьич после долгого разговора со Скурлатовым сказал:

— Понятно. Плохо держит наш царь державу. И сам дела не делает, и другим мешает. Да кабы один! С царем рядом — помещик, а там другие обиралы — заводчик, купец, кулак. Приглядись, тошно.

И, помолчав, добавил:

— Выходит, народу локоть надо держать.

Это выражение принесено было Измайловыми еще из подмосковного села. Быстрая река, что текла возле этого села, упершись в каменистую преграду, «дала локоть» и после этого потекла себе свободно, по широкой долине.

Пословица недаром говорит: «Трое крепилось — пять болезней прилепилось». Долго «крепились» Измайловы, зато как рванули, как понесли, то даже у соседей и у тех, глядя на их судьбу, головы кружились. Петра, за лишние разговоры и какие-то тайные сходки в лесу, отправили в тюрьму, где он вскорости и получил чахотку. Захар верховодил стачкой, его уловили. Данила Григорьич указал начальству, что живет оно не по-человечески. Ему дали расчет.

Говорили дальше, что Захар был в боевой дружине, бился на баррикадах, судился, сидел в тюрьме. Как бы то ни было, он вдруг очутился в Верном, куда вскоре переехали и его братья: Петр, чтобы лечить чахотку, Данило Григорьевич — чтобы жить вместе. Братья за гроши арендовали Седой бугор на берегу Алматинки, заваленный огромными камнями от недавного силя. Бу-

гор, собственно, и отдали за гроши потому, что жить на нем невозможно: как только вода в реке поднимается, так и прет на бугор! Братья скатили крупные камни к реке, устроив что-то вроде дамбы; из камней помельче сложили дом; ходили по городу, лудили, паяли, чинили замки. «Мастеровой есть мастеровой, ему и в Верном найдется верное дело». Нашлось не только верное дело, но и немало верных людей. Измайловых уважали и любили, хотя жили они скудно, куда скудней, чем в Питере.

Жизнь в Верном дешевая. Люди вокруг славные. От чахотки Петр вылечился. Но, боже мой, как скучали иногда братья по Питеру! Книжку купить негде, о Народном доме и думать не смей, до железной дороги — тысяча верст! Загуди паровозный гудок, с ума, кажется, сойдешь от радости. И как они обрадовались, когда узнали, что какое-то акционерное общество собирается вести железную дорогу от Арыси, через Пишпек, на Верный!

В те дни из Семипалатинска, по партийным делам, приехал Скурлатов. Братья поделились с ним своей радостью.

— Чугунка — вещь славная, — сказал Скурлатов, — а только сомневаюсь, чтоб Калмыков дорогу провел: больно дики места.

Данила Григорьич сказал:

— Конечно, сомнительно. Все железные дороги Средней Азии строила казна. Чиновники — грабители, но казенный сундук без дна. А частному капиталу как провести железную дорогу через пустыни, когда на стройке только дурак не ворует... Как не сомневаться? Только, говорят, Калмыков-то мужик с идеями.

— Что с идеями, то — верно. Одна беда: идеи-то эти все больше для его кармана.

Скурлатов зачастил к Измайловым, особенно когда поближе познакомился с Верой, их племянницей. Она работала тогда в типографии накладчицей. Они быстро сдружились, влюбились, а недели три спустя после первого знакомства сыграли свадьбу. Через месяц Скурлатову надо было покидать город. Вера уехала вместе с ним. Дела у нее в Верном остались незаконченными, поехала к дядьям в гости, а ее и арестовали.

Братья Измайловы знали, что она партийная, но они и подозревать не подозревали, на какие отважные поступки способна Вера. Ну, ездит «в Россию», агитирует там, но чтоб доставлять оружие из-за границы, везти нелегальную литературу, переправлять за границу бежавших с каторги и ссылки... Кому б этакое пришло в голову!

На суде прокурор спросил ее:

— Будучи за границей, встречались ли вы с государственным преступником, известным под фамилией Ленин?

— Я была бы счастлива встретиться с ним, — ответила Вера.

— А встречались?

— Уж не с вами, господин прокурор, стала бы я делиться счастьем встречи, — отрезала она.

Высокая, смуглая, с черными, поразительно проницательными глазами, приветливой, но чуть-чуть холодноватой улыбкой на пухлых губах, она говорила мало и резко. Бесстрашие и решимость ее были поразительны. И под суд пошла она из-за чрезмерной своей храбрости. Она везла по Верному шрифт, переодевшись монахом. Спутник ее, тоже в одежде монаха, держал на коленях ящик со шрифтом. Лопнула ось экипажа, ящик упал, разбился; шрифт из плохо завязанных мешочков посыпался. Увидев рассыпавшийся шрифт, ее спутник побежал, а она наклонилась собирать шрифт и собрала до последней литеры. Но тут — жандармы. Городовой удивился — почему это через парк бежит монах? Подумал, что монаха грабят, и задержал на всякий случай, а у монаха — и отвались борода! Все тюремное начальство, — а в Верненской тюрьме начальство не такое уж пугливое, — трепетало перед Верой, хотя, казалось, что она могла им сделать?

После суда не было дня, чтоб Измайловы не вспоминали Веру. Сидят вечером за столом. горит лампа, ветер шумит по бурьяну, погрохатывает Алматинка, и разговор нет-нет да и вернется к Вере и Скурлатову.

— Целебница, — скажет Данила Григорьич и вздохнет, — как-то теперь она?

— И как-то он? — подхватит кто-нибудь из семьи. — Хорошо б их обоих сюда, на Седой бугор, да за стол.

То, как мы бродили по городу, как подошли к Седому бугру, как увидели Ханыке, ее детей, Нубию, дорожку к домику на вершине бугра, огромный бурый валун возле домика, я помню сносно. Но дальнейшее путается в моей голове. Я цежу, цежу воспоминанья из запасов памяти,— они цедятся крайне скупо.

Привязав Нубию к дереву возле валуна, я заснул. Спал я долго и крепко. Помню, проснувшись, увидел я домик Измайловых, открытую дверь в кухню, пламя над плитой, валун, согнутые силем кустарники по склону, ущелья и горы вдали, погружавшиеся во тьму.

Мы находились как бы на самом дне этой тьмы. Тьма странная, светло-вишневая, и вместе с тем несомненная тьма, в которой все, однако, двигались с легкостью, отчетливо различая и себя, и дом Измайловых, и склон бугра, и внизу берег, ополаскиваемый рекою.

Вот мне слышится вопрос отца:

— А ты, сынок, разве не согласен с подарком?

— С каким это? — сонно бормочу я.

— Да вот целебница предложила.

Рядом с моим отцом я увидел Веру. На ней простое крестьянское платье, платок повязан низко, на самые брови, в руках — длинный и тяжелый лом.

— А может, он поспит еще? — спросила она, не глядя на меня и думая о чем-то своем.

— Никак невозможно! Он будет ворчать на меня всю дорогу до Индии. Но ты слушай-ка! — обратился он ко мне.

И отец объяснил. Измайловы решили отдать весь Седой бугор, — предварительно очистив его от сорняка и камней, — семейству Чапе для сада. Вера совершенно резонно рассудила, что на склонах Ак-Таша, куда стремятся Чапе и Ханыке, им счастья не найти. Счастье здесь, на Седом бугре, где Чапе и Ханыке с помощью друзей разобьют большой сад...

— Вот мы и решили вечерок поработать для их счастья!

— А ведь нам надо уходить, отец?

— Ночью и уйдем. Вера тоже уходит.

Ах да, Вера. Какая, однако, отвага у этой женщины! Бежала из тюрьмы, и, вместо того чтобы скрыться в горах, она пошла повидаться с родными, куда полиция

уж непременно за ней явится. Мало того, она тут же решает расчистить сад, чтобы посадить на землю какого-то бедняка, которого она никогда не видывала.

— Чапе, стало быть, освободят?

— Ну конечно же, — ответила мне Вера, — в чем его можно обвинить?

— И Щепетникова?

— Если он при допросе не набогохулит.

— И Щепетникова тоже посадим сюда?

— Посадим, если вы проснетесь, — ответила, смеясь, Вера.

Я вскочил. Не всякому перед бегством из города удается возделать в последний момент сад!

Посредине бугра блестел мокрый огромнейший, чуть не с дом, валун. Трудно было поверить, — если б не исковерканные им яблони, — что камень этот когда-то приволокло сюда рекой. Отец немедленно вскарабкался на валун, уселся и, похлопывая рукой по камню, спросил Скурлатова:

— Хорош речной подарочек? Распили его, полгорода можно бы вымостить.

— А покатись он по городу, новые б улицы проложил.

— Наш Тарас на все горазд: и водку пить, и просо молотить. — И отец добавил: — А ну-ка, Всеволод, покажем, как иртышские казаки идут к цели!

И он закричал во все горло:

— Валун валить в реку, ребятушки?

Лязгали пешни, скрежетали ломы, трещали жерди. Ноги скользили по илу. Мы падали, поднимались, снова упирались в камень, и камень двигался медленно-медленно. Ах, как далеко было до реки и с каким удовольствием я бы спихнул его в реку с обрыва!

— Сто-ой! — крикнул отец.

— Встречали на тракте, сколько колоколов везут? И льют, главное, где? В Ташкенте! Да разве этакое литье нужно людям? — рассуждал Скурлатов.

— Колокола не пушки, другие игрушки, — шутит мой отец.

К отцу подходит Мейстер. Он промок и предлагает развести костер. Отцу не хочется, и он говорит, что нет сухих дров, что щипать лучину некогда и что наконец спички его отсырели. Какой-то гость Измайловых, каменщик, толстоватый, кудрявый, весь пропитанный оран-

жевой кирпичной пылью, выскакивает из-за дома с топором и поленьями, колет, щиплет, дует — и вот костер запылал!

— Сухих поболе кинь! — кричит мой отец. — Как твои ноги, Всеволод? Иди погрей!

— Некогда! Поднялись.

Опять несется над бугром голос моего отца. Скурлатов вторит ему:

— Поддали!

— Поджали!

— Толкнули!

А валун еле двигается: велик, дьявол!

Мы устали и продрогли. Вишневая тьма ушла, все вокруг стало густо-синим, и только река переливалась опалово. Мы размесили землю, и ноги наши по колена и выше вязнут в грязи. От усталости руки часто срываются, мы падаем, грязь забивает нам глаза. Промокшие, продрогшие, охваченные отчаянием, мы опять вцепляемся в камень и толкаем его вперед и вперед. Внизу, в лужах и канавах, вода нагрелась за день, но вверху, когда нога попадает в заплески воды, с ног до головы охватывает жгучий холод.

И вот в тот момент, когда кажется, что этот холод совершенно нельзя перенести, раздается срывающийся, но веселый голос Скурлатова:

— А холодище, ей-богу, идемте, парни, греться.

Прислонив к камню ломы и жерди, мы бежим к костру.

Моего отца не видно, он сидит в каком-то углублении, и костер освещает только его ноги, главным образом узкие подошвы его сапог.

Решили малость передохнуть.

Данила Григорьич сказал, глядя, как мой отец, тяжело дыша, свертывал папироску:

— Для студента, поди, работа непривычная?

— Работа попадалась всякая, — ответил мой отец, — а эта — почет.

— Почет, Вячеслав Алексеич, почет. Вот и целебница говорит, что это мы не просто валун в реку катим, а кладем начало дамбе.

— Говорю, — подтвердила Вера, улыбаясь.

Я спросил:

— Пожалуй, опять река разметет нашу дамбу?

— Сегодня разметет, завтра разметет, а послезавтра, глядишь, и упрется река, даст локоть.

Данила Григорьич — сутул, горбонос, коротко острижен, руки, ноги его малы, но какая, однако, в них чувствуется сила! Несмотря на то что ему за пятьдесят и работает он ломом крепче всех, он дышит ровно и спокойно. Брат его Петр — рослый, важный, с ясным и умным взором, двигается твердым, свободным шагом, и кажется, что не только мерная речь его всегда обдуманна, но обдуман глубоко каждый шаг его походки.

Верховой ветер доносит смутный звук колокола с какой-то далекой каланчи. Звуки сливаются, сосчитать их невозможно, и Захар, маленький, головастый, босой, говорит Скурлатову:

— Который бы час? Нашу каланчу, Капитон Ильич, подмыло, и теперь мы без часов. Да что часы, когда солнце и месяц есть. Колокол разбило! Печалюсь. Я к колокольному звону, Капитон Ильич, смышлен. И не от религии, а от музыки. Воспитывался я в Питере, не в каком-нибудь провинциальном городе, на Николаевской железной дороге, а вот колокольный звон от меня не отошел. Как пасха, так я на колокольню. Скажи — столкнут тебя с колокольни! — все равно полезу.

Скурлатов рассмеялся.

— А чего ж тут плохого? Я и сам люблю звонить.

— Кабы не закабаление это самое церковное, — проговорил басом Петр. — Вы небось неверующий сами-то?

— Роберт Васильевич! — обращается мой отец к Мейстеру. — С переселенцами вы в Верном беседовали?

— И очень часто.

— Землемеры отвечают им, что нет ни одного готового участка?

— Всеобязательно!

— Князь Малицын тоже ведь землемер?

— Говорят, даже очень ценный.

— Потому и ценный, что — пес цепной, — сказал со злостью Скурлатов. — Переселенцам нет ни одного участка, а в течение последних семнадцати лет через Крестьянский поземельный банк помещикам, банкирам, купцам и кулакам роздано восемьсот тысяч десятин! Кроме того, для «Семиречки» и для надобностей так называемого культурного скотоводства Калмыков, Малицын, Геммадинов и прочие получили в аренду семьсот две тысячи десятин. Мало этого. Калмыков протолкнул

в Государственную думу законопроект — так как частные-де крупные землевладения в центральной России и в царстве Польском раздробляются, то лишь в Семиречье казна может полностью развернуть свою аграрную программу, используя крупный земельный фонд для создания латифундий. Поэтому-то все арендованные земли они и стремятся передать в собственность их арендаторам! Зачем? А затем, что подними рабочий и мужик поголовное восстание в центральной России, — собственник семиреченских латифундий станет опорой для душителей революции.

— Понимаю вас, Капитон Ильич, понимаю, — сказал мой отец.

Мой отец спрыгнул с камня, приволок большую охапку соломы, бросил ее на костер, навалил сверху сучьев. Костер запылал ярко.

Тогда Скурлатов, схватив толстую жердь, стукнул ею о камень и сказал:

— Представьте, товарищи, что это не валун...

— Да валуны и не такие, — отозвался Петр, — они у нас под Питером гладкие. Это скала.

— Представим, однако, что это и не скала, а — планета!

Он показал всем жердь.

— А это — рычаг.

Легонько стукнул себя кулаком в грудь.

— А это — Архимед.

Затем оглядел окружающих и сказал:

— Все же другие, представьте, люди планеты. И по выражению их лиц я вижу, что вместе с ними многое можно сделать. И, может быть, даже стронуть с их помощью планету с места.

Скала в легкой дымке костра казалась огромной. Кто-то задумчиво сказал:

— Планету, может, и скатим, а скалу...

— Где сдвинуть! Осел валун.

— А если еще раз попробовать? — спросил решительно Скурлатов и как-то приосанился.

Тогда мой отец, решительно всунув под скалу свою жердь, тихо проговорил:

— Приподнимай.

Жердь положили на увесистый камень, навалились, — и вдруг огромный валун качнулся!

Это было так неожиданно, что все мы радостно засмеялись.

— Идет! Идет!

Мой отец строго сказал:

— Еще не идет, но пойдет. Толкай!

— Пошел!

— Ах, батюшки, пошел! — закричала Вера.

— Поддали! Поджали! Толкнули!

— Пошел, пошел, двинулся!

— По руслу арыка старайтесь катить — земля скользкая!

— Правей, правей берите! Я же вам говорю — катите правым арыком, скользким!

— Вот теперь уж идет, так идет!

Мы стремительно гнали огромный камень через сад, и, когда он скатился к обрыву и рухнул в реку, он едва не увлек нас всех за собой. Долго, молча, глубоко дыша, счастливые, смотрели мы, как волны омывают огромный камень, а затем мой отец весело сказал Скурлатову:

— А ты говоришь, бога нет!

— Бог-то бог, — так же весело отозвался Скурлатов, — а и целительница много значит.

Мой отец умильно посмотрел на Веру.

— Правильно! Позвольте на прощанье обнять вас, Вера Викентьевна?

— Обнять можно, но мы скоро встретимся. Я ведь тоже ухожу на «Семиречку», — ответила Вера.

Мой отец истово и с удовольствием поцеловал ее в щеку, а затем спросил:

— Трактом идете?

— Нет, горами. Китайцы свой табун тоже ведь горными тропами погонят.

— Одобряю, — сказал мой отец, — а мы трактом. Я — верхом на Нубии, сын — пешком в стороне. Авось охранка и не обратит внимания: мало ли нищих идет по тракту.

Через час мы покинули домик Измайловых.

На тракте, несколько придя в себя, я спросил:

— Львов увезли без нас?

— Да, Кузя увез, — ответил мой отец.

— А Нубию кто пригнал?

— Кузя.

— А почему полиции невдомек?

— Рохли. А ведь тебе невдомек, что камень-то мы

для отвода глаз катили — для вящего шума, — сказал мой отец.— Возвращаясь к львам, добавлю, что они — медные.

— Бронзовые.

— Бронза тоже медь, только хуже. Из бронзы льют статуи, из меди — пятаки. Я предпочел бы сейчас бронзовой статуе горсть пятаков. Сайка стоит пятак. И я съел бы сейчас не меньше трех саек.

— А я — пять!

— С колбасой я тоже съел бы пять. Но на колбасу у нас нет денег.

— Боюсь, что и на сайки тоже.

Отец вздохнул.

У нас осталось совсем мало денег, рубля полтора, кажется.

ПО ДОРОГЕ К АК-ТАШУ

Верховой ветер шумел недаром. Всю дорогу от Верного до Пишпека мы шли под дождем. Конечно, были и перерывы, но мы так радовались тучам, шумящим потокам, неимоверно быстро растущим травам, плотным полям джугары, пшеницы, кукурузы, что сердились на высохшую дорогу и досадовали, что под скалами без труда находим сухое местечко для ночлега.

А как приятно выйти на перевал, где-нибудь в Чу-Илийских горах! Внизу, в долинах, клубятся влажные туманы, безмолвно поднимаясь к нам. Здесь же наверху воздух чист, светел, сладок.

Ноги мои зажили. Иду рядом с отцом. Позади, шумно дыша и жадно посматривая на дивные горные пастбища, тащится Нубия. Я обеспокоен. Отец часто беседует со мною о педагогике.

— Превосходно, учи себе других, — говорю я.

Он улыбается.

— Кого же учить, как не тебя?

— А хотя бы Нубию.

— Она и без того послушна.

— Послушание либо признак физической слабости, либо вежливости, либо хитрости, а вовсе не воспитания.

— Либо — признания ума за другим? Вот это-то и есть основа воспитания. Ты чванлив, дорогой. Надо же верить и в ум других.

Спускаемся по скату горы. Запоздалый казахский караван идет мимо нас на джайлау. Начинаются обычные расспросы:

— Какие новости в Верном?

Отказывать в новостях невежливо, и, кроме того, мой отец наслаждается, передавая новости. Выслушав, нас иногда приглашают к ужину. Собираются гости, и отец повторяет свои новости — слово в слово. Прибавлять и убавлять ничего нельзя, допускается только, так сказать, усиленная подкраска новостей: жестами, взглядами, интонациями. Однажды, когда мой отец рассказывал о приключениях князя Малицына в Купеческом собрании, какой-то старик проговорил:

— С удивительным наслаждением, учитель, ты сообщаешь дурные вести.

— А чем же они дурные?

— Если таковы князья, то каковы же правители, что выше князей?

— Хуже.

— А ты говоришь, учитель, что вести твои не дурны? Или тебе не жалко, что мы пропадем? Куда идете?

— К Ак-Ташу.

— А, к Святой долине! Слышали. Там, говорят, начались исцеления, и ученые люди с маленькими лопатами роются, чтоб найти полное чудо. От чего ждете исцеления?

— От самодержавия и от трехсотлетия его, — ответил я.

— От бешенства моего сына, — сказал отец, озираясь.

Вдоль тракта немало русских сел. Тополя, сады, бурливые речки веселят дома. В иных селах такие длиннейшие улицы, что мы завтракали в одном конце, ужинали — в другом, если, разумеется, нам было чем завтракать и ужинать. Большей частью мы проделывали это в своем воображении.

А какой утоляющий, мягкий сон охватывал нас возле бурлящих речек! Как нежились мы и с какой осторожностью просыпались, точно боясь потревожить голод!

Под Пишпеком на тракте мы стали обгонять калек, убогих. Они пели духовные песни, и отец мой подпевал им с большой охотой.

— Куда, странннчки?

— К Святой долине.

В Пишпеке мы прожили два дня. Отца тревожило, — да и меня не меньше, — ищет ли нас полиция? Отец нашел каких-то трех знакомых весьма подозрительной наружности, с которыми он некогда встречался в Бухаре. Знакомые эти сейчас промышляли гончарным делом, а в Бухаре они, по словам отца, изучали историю ислама. Мне они казались просто пьяницами. Отец долго сидел с ними в портерной, в результате чего капитала у нас остался полтинник, зато была полная уверенность, что ни полиция, ни охранка нами пока не интересуются.

Несколько успокоившись, отец направился искать место к инспектору сельских училищ. Отец сказал, что он понимает — лето, учителя вряд ли нужны, но хорошо бы получить переписку. И он показал инспектору образцы своего превосходного почерка.

— Я только что из Верного, господин Иванов. Ваша лекция состоялась?

— Я не нашел еще смысла жизни. То есть доступного верненскому обывателю, — неопределенно ответил мой отец. — Не в скачках же тулпаров смысл ее? Итак, господин инспектор?

Инспектор, пасмурный, с лицом песочного цвета и гладким лбом, как у покойника, ответил:

— Документы у вас воющие, господин Иванов. Иначе говоря, волчьи.

— Волчий билет?

— В Пишпеке вам работы не найти. Могу дать рекомендательную записку к инженеру Двуконю на рудник Ак-Таш. Однако ему нужны чернорабочие, но не учителя.

Инспектор пожевал сухими губами и подчеркнуто выговорил:

— Чернорабочие!

Отец молчал, а я отозвался:

— Могу быть и чернорабочим!

Тогда инспектор снова обратился к моему отцу:

— Господин Иванов! Сыпь часто превращается в струпья. Поберегите себя, господин Иванов. Вам необходимо вернуться к парте, а не шляться бесцельно по степи и горам. — И он добавил наставительно. — Парта — это трон народа!

— Если бы вы знали, как вы правы! — сказал мой отец.

Мы уже отошли от дома инспектора довольно далеко, когда он, запыхавшись, догнал нас и спросил:

— Простите, господа, но мне только что сказали, что вы имеете отношение к Рыжику?

— К какому Рыжику? — спросил с недоумением мой отец.

— К тулпару Рыжику.

— А!

— В Пишпеке ли он и где состоятся бега?

— Ничего не могу ответить.

— Но у кого узнать?

— Ничего не могу ответить.

Мы остались одни, и тогда отец мой сказал:

— Инспектор боится меня. Несомненно, мы на подозрении. Это хорошо.

— Что ж тут хорошего?

— Страх гонит ноги, а я люблю быстро ходить.

Разговоры о Святой долине слышались все чаще и чаще.

Входим в село. Пройдя вброд речку, попадаем на «церковнище» — место, отведенное для строительства церкви. Недалеко от кирпичного рыжего фундамента стоит на просмоленных, черных столбах свежий сруб, должно быть сторожка, нежилая, но внутри вся увешанная иконами.

Две старушки, согласно кланяясь и вставая, точно сросшиеся, спрашивают:

— А о Святой что, родимые, слышно?

— Да нам — ничего, — отвечает мой отец. — Туда шагаете?

— Туда, родимый, за чудом.

Вышли из сторожки. Отец, оглядывая село и сады, сказал:

— Высшее чудо — жизнь вообще. И какое еще большее можно найти? Впрочем, и старушки так же понимают жизнь, только они не способны высказать это.

Подле сруба — точильня. Спит на земле пьяный точильщик, положив голову к подножке, которая вращает круг из песчаника. В левой руке его зажат топор. Точильщик, верно, сбивал на точиле топор, сбил его наполовину, да и заснул. Рот у него раскрыт, словно он еще кричит: «Точу топоры, ножи, ножницы!»

— Проснись, дите, — говорит ласково отец, — чудо жизни уходит.

По-видимому, пьяный точильщик услышал.

Он поднял голову, тупо посмотрел на нас и сказал, икая:

— Началось — мощи пошли во щи! А я на закуску.

Он встал, потянулся и, широко раскидывая руки, прокричал:

— Красота-то какая! Рай!

— Воистину, — ответил отец, и мы пошли дальше.

ЕЩЕ РАЗ ВСТРЕЧАЕМ ДРУЗЕЙ

Мой отец говорил:

— Учение — мать добродетелей. Учиться можно и на доблестях современных, и на древних доблестях, а лучше всего — на тех и других. Но те и другие нужно искать. Поиски — учение.

Показывая мне современные добродетели, отец мой непрестанно искал остатки древних. Он пробуждал мое воображение.

Поэтому отец иногда сворачивал с тракта в ущелье или спускался к предгорьям.

— Перед тем как спуститься в рудник, насыться наружными благами земли. Смотри, как все вокруг изумительно!

В предгорьях он находил для меня широкие надгробные плиты с полувыветрившимися изображениями креста и неясными надписями, которые он называл сирийско-тюркскими и читал с большим трудом. На скалах он видел тоже надписи и смутные очертания приветливых Будд. Я их не находил.

Иногда, покинув предгорья, мы спускались в степь и шли среди развалин городов, цитаделей, караван-сараев. За развалинами на курганах он показывал мне каменных баб. Странные, большие статуи с чашами в руках, глядящие своими плоскими лицами на восток.

От усталости воображение мое было бледно, и далекое прошлое слабо и холодно рисовалось мне. Отец рассказывал о воинах в серебряно-бронзовых латах, в острых шишаках, с луком и колчанами за плечами, на светозарных конях. Я слушал его внимательно, но воображению моему рисовались лишь бесстрастные, невыразительные фигуры!

Да, чем ближе к Индии, тем путь мой становится все более и более тяжелым. С какой удивительной легкостью шел я от Семипалатинска к Сергиополю, хотя в спину мне дул пронизывающий ветер и ночью я дрожал от холода!

Я сказал о своих мыслях отцу.

— Думы твои неспроста, — промолвил он. — Таков весь путь бытия. Юность вселяет в нас надежды, и мы тащим их, кряхтя и стеная, до гроба. Смотри на меня. Я уже старик, а мне все еще хочется спрыгнуть с той скалы, с которой, не замечая крышки, я в юности слетал. А ведь теперь нетрудно и ноги переломить, а?

Однажды отец долго умствовал перед узким, заросшим лесом ущельем: «Кажется, здесь, где-то подальше, — размышлял он, — я видел когда-то развалины древнего языческого храма?»

Развалин мы не нашли. Но так как приближалась ночь, то мы решили провести ее на лужайке у горной речки в тени могучих ив, недалеко от рощи молодого ореха с его тугими, обтянутыми, как рейтузы, стволами. Развели костер, сварили кашу и с наслаждением погрузили в нее ложки.

— Хлеб да соль! — услышали мы.

— Хлеба кушать, — ответил отец.

На скале, слабо освещенные огнем костра, стояли Скурлатов, Вера и Бэй Шэн.

— Ложки имеете? — спросил спокойно отец.

— А как же.

— Подсаживайтесь, каши хватит.

Друзья наши опустились на мураву. Скурлатов спросил с удивлением:

— Вы, что же, Вячеслав Алексеевич, ждали нас?

— Ждал.

И отец указал на речку.

— Перед самым закатом вижу — вода замутилась. Навоз плывет. Табун, думаю, пьет и отдыхает. Только кому опять-таки гнать табун среди этих глухих скал? Есть тропы много лучше. Значит, кому-то хочется, чтоб его не все видели? Кому бы это? Не китайцам ли, думаю? И Вера Скурлатова, думаю, часом не с ними ли? А может, и сам? Ну, буду ждать. Дым заметят, костер захотят проверить. Так оно и вышло. Давно из Верного?

Он взял у Скурлатова кисет и с деланным безразличием стал крутить папироску.

— Недавно.
— Как там Чапе, Щепетников?
— Допрашивают их.
— И выпустят?
— Кто знает. Все идет по реестру.

Вера вымыла и вытерла ложки. Отец внимательно наблюдал за ее движениями.

— После тюрьмы небось, — спросил он, — трудно по горам?

— Да, трудновато, — ответила Вера, — терплю.

— Не кривляка она у тебя, — сказал мой отец, обращаясь к Скурлатову, — счастливец. А Ханыке?

— Прислала вам письма Василисы Глебовны к Малицыну. Одно написано рукой Василисы, другое — Саумал.

Я так и подпрыгнул от изумления.

А Вера, не спеша и не волнуясь, подала отцу две узкие, как ремень, бумажки. Отец прочитал записки, подумал и передал их мне.

— Записки, как все любовные записки, — сказал я в разочаровании и вместе с тем весело.

— Вот именно, — подтвердил мой отец.

— Зачем же Ханыке их тогда утаила?

— Ненавидела, подозревала, поймать хотела, но плохо понимала по-русски, — сказала Вера, держа полную ложку каши у рта. — Ах, как вкусно! Ну, затем стало стыдно возвращать, когда выучила русский. Сейчас хочет прекратить лишнюю болтовню. Нам надо преследовать Калмыковых за их социальные преступления, а не за уголовные.

— Понимаю. Голова у Ханыке после ареста мужа, видно, просветлела, — проговорил я не без сарказма. — Кому передать бумажки?

— Мейстеру.
— А разве Мейстер не в Верном?
— В Ак-Таше.
— На руднике?
— Где-то около, услышите.
— А может быть, у нее еще записки остались?

— У Ханыке? Ну что вы! — воскликнула с возмущением Вера. — И вообще поставьте на этом деле крест и угомонитесь, Всеволод.

— Неожиданно все это. И позвольте кое в чем

поусомниться,— сказал я раздельно. — Я думаю, что Ханыке искренне...

— Это главное! — оборвала Вера.

Некоторое время мы молчали. Отец смотрел в котелок. Затем он спросил Бэй Шэна:

— Без проводников табун вели?

— По звездам.

— И не плутали?

— Немножко,— без улыбки ответил китаец.— Торопимся.

— Еще бы! На свадьбу Василисы Глебовны и Саумал? Тулпара Рыжика еще раз думаете испытать?

Отец повернулся к Скурлатову.

— А Вера Викентьевна дальше — с нами?

— Да, я возвращаюсь в Верный, — ответил Скурлатов, и удивление опять мелькнуло на его лице.

Отец объяснил:

— Шел я, Капитон Ильич, оглядывался по сторонам, ждал стражников, ну и, само собой понятно, думал о тебе, Вере Викентьевне, Чапе, Щепетникове, китайцах. Ведь тулпару Рыжику надо победить Сквозного не потому только, что — деньги, приз?

— Не потому, — сказал Скурлатов.

— А победит Рыжик обязательно, и скакать на нем будет Бадам. Он — ребенок, разумеется, но ребенку даже больше спокойствия для работы требуется, чем взрослому. А как успокоить Бадама? Освободить из-под ареста Чапе. А кто лучше всех похлопочет? Скурлатов. Ведь вдобавок Мейстер уехал из Верного. Значит, Скурлатову надо возвращаться, и возвращаться незаметно, чтоб самого не арестовали, а Вере Викентьевне идти какое-то время с нами, пока ее не встретят знакомые и не увезут с собой на «Семиречку», чтоб она затерялась в толпе.

Скурлатов ухмыльнулся.

— Зоркий у тебя глаз, Вячеслав Алексеич.

— Казак.

— И раз уж стали мы с тобой у этого костра прозорливцами, позволь и мне сказать. О «Семиречке» и о Калмыкове.

— Неужто свадьба откладывается? — всплеснув руками, воскликнул с деланным испугом мой отец.

— Нет, нет. Свадьба будет. Ух, и голова! — со столь же деланным восторгом вторил ему Скурлатов.

— Калмыков-то голова?

— Он! — с каким-то усиленным восхищением сказал Скурлатов. — В два, самое большее в три, месяца обещал выстроить мост через Ак-Таш. И быки моста уже готовы! Ставят фермы. Теперь все пойдет как по маслу. Разрешено строить «Семиречку» только до Пишпека, но акционерное общество закончило проект дороги до самого Верного. И, конечно, после открытия моста через Ак-Таш проект этот утвердят в соответствующих сферах. Калмыков достал большую субсидию и выпускает новые акции.

— Воротилище! — И тут мой отец поджал губы: не нравилась ему ирония Скурлатова. — Что, Капитон Ильич, или с мостом неблагополучно?

— Русские инженеры хороши, — вставил Бэй Шэн.

— В Верном очень дельные люди мне говорили: «Хороши инженеры, да не все». Особенно когда наберешь их по предложению крупных акционеров. Грунт Ак-Таша слабый, подземные воды сильны, они даже на горе, в руднике, чувствуются. Занос прочности, на случай разлива реки, посредственный; понатужится река — как бы беды не вышло. А вдруг — катастрофа? Тут не только похаживай, да похваливай, да покрикивай, тут размышлять надо. Народ на «Семиречке» разный, но, в общем-то, гнев подхватит быстро... в случае чего... если, скажем, появится там Щепетников, разозленный, раздраженный... да он ли один!

Мой отец взглянул на Скурлатова встревоженно.

— Мы, пожалуй, повернем обратно, Капитон Ильич.

— Что так?

— Непривычны мы к бунту.

— А людей не жалко?

— Каких?

— А тех, на которых гнев народа по ошибке может обрушиться? Гневаться следует, но убивать невинных... Я-то ведь действительно в Верный возвращаюсь, Вячеслав Алексеич.

— Ну там, поди, на «Семиречке», есть твои помощники?

— Есть. Да им не до того.

Гости и хозяева от волнения прервали еду.

Мой отец начал усиленно всех потчевать.

— И вот еще что, — сказал Скурлатов. — Школу на руднике хорошо бы открыть, Вячеслав Алексеич.

— Калмыков обещал.

— Ну, ему не до школ! Дай бог раскопки в Святой долине успешно окончить.

Отец хлопнул себя руками по ляжкам и захохотал.

— В этом вы, Капитон Ильич, правы.

— Насчет школы-то? Школа нужна нам для взрослых. Значит, сразу же можно сказать и насчет профсоюзного движения.

— Сразу же, во вступительном слове?

— А почему бы и нет?

— Приблизительно, скажем, так... — И отец мой умолк, пытливо глядя на Скурлатова.

Скурлатов встал и произнес перед нами ту речь, которую, по его мнению, мог сказать мой отец при открытии вечерней школы на руднике.

ОПЯТЬ НА ТРАКТЕ

Скурлатов ушел в Верный, а жена его поехала с нами: отец уступил ей Нубию.

На первый взгляд Вера казалась замкнутой и скупой на слова, особенно когда она, насупясь и сдвинув прямые брови, разглядывала впереди дорогу. Но скоро я увидел, что она склонна к проказам и шуткам. Утром она будила меня, обрызгивая водой, а ночью, однажды, сунула под одеяло мокрую веревку: я боялся змей.

Про тюрьму она рассказывала мало; больше всего ей запомнилось, как одна из «привилегированных узниц», имевших отношение к хищениям на «Семиречке», учила ее французскому, а другая — гаданию на картах. О Верном она говорила с восхищением. «Очень красивым стал. Да и то подумать: рабочих на предприятиях стало почти вдвое! Сколько? К пятистам подбирается». И она перечисляла предприятия и говорила, что люди стали более сознательными, и что политическая сознательность не новость среди казахов, и что, в случае «поголовщины» (так называлось для конспирации вооруженное восстание), поднимутся очень и очень многие. Главное, разумеется, «Семиречка». На нее теперь — все взоры.

— Революцию не ждут, — говорила она с глубоким убеждением, — ее делают. Вооруженной рукой.

Я трепетал от восхищения перед нею. Ум, красота, сила, молодость! Отец поглядывал на нее ласково, но без особого восторга.

— Вооруженное, вооруженное,— бормотал он,— вооруженное поверье!

— Как, вы не верите в возможность поголовного вооруженного восстания? — вскрикивала в ужасе Вера.

— Преувеличивают его возможность, — отвечал спокойно мой отец. — Как-никак, двадцатый век; охранка, провокаторство...

— А что же, в восемнадцатом охранка была хуже? И, однако, даже французская буржуазия осуществила вооруженное восстание. Так неужели пролетариат двадцатого века...

— А где оружие у пролетариата?

— В руках солдат.

— И — солдаты?

— Они будут на нашей стороне. Вот я убежала... думаете, не желай солдаты моего бегства, я могла бы скрыться так легко?

Полагая, что откровенность ее едва ли повторится, я поспешно спросил:

— Вы относительно переправы?

— Ну да! Ночь была, ветер, силь. Наши товарищи распространили слух, что силь подходит к тюрьме и ограды глинобитные мигом смоет. Силь и на самом деле был сильный, — улыбнулась она невольному каламбуру. — Вывели нас на берег, а там уже что-то вроде полуострова образовалось. Надо переправляться. А как? Ни лодок, ни парома. Полуостров смывает. Конвойные ищут офицера, который куда-то запропастился. А тут переселенцы подъехали. И с ними — наши женщины. Наши женщины, впрочем, струсили не меньше переселенок, так что вышло почти естественно. Для меня было все приготовлено: явка, одежда в кустах. Только одежду никак найти не могу: буря, ливень, и к тому же полуостров превращается в остров. Волны, камни стучат, будто горы зубами. А ко мне вдобавок одна переселенка пристала: «Боюсь, говорит, ни за что в реку не пойду, дай мне твой арестантский халат: вас, арестантов, начальство спасет». — «Дура, — говорю ей, — смотри: начальство-то все разбежалось, вплоть до солдат». А солдат в ту минуту действительно не видно было. А она свое: «Разве может начальство разбежаться?» Смешно,

если б не буря. Я и переменилась с ней одеждой. Тут кто-то скомандовал, что нас затопляет и что, хочешь не хочешь, надо идти вперед. Мы и пошли. Кто утонул, а кто и спасся. Вы видали утонувших?

— Видал.

Она со страхом заглянула мне в лицо.

— Брр... ни за что не пошла бы смотреть!

В ней было много молодой свежести и, как бы сказать яснее, много пышного цветения, сочности. Мне доставляло удовольствие думать, что она жена Скурлатова. И я очень огорчился, когда однажды, — совсем по предсказанию отца,— с боковой проселочной дороги выкатил на тракт шарабан. Две пожилые женщины в длинных черных шалях глядели на нас.

Шарабан остановился. Вера заулыбалась, спрыгнула с седла, похлопала по гриве Нубию, пожала нам руки, пожелала лучше устроиться на руднике, и шарабан увез ее.

— Достойная женщина, — сказал мой отец, — но больно уж любит греметь. И что ей грезится вооруженное восстание, когда совершенно открыто видно, что люди придут к счастью мирным путем, через посредство всеобщего избирательного права и кооперации!

— Ты непоследователен, папа, — сказал я. — Еще недавно, помнишь, в одной станице Скурлатов вел драться переселенцев против казаков? Ты предсказывал ему тогда блестящее военное будущее при вооруженном восстании.

Мой отец ответил со свойственным ему милым простодушием:

— Мужчине, а не женщине! Этот пол больше склонен к педагогике, чем к военному делу. Может быть, она явится к нам на рудник? Я ей устрою место в школе. Ну и школу же мы с тобой закатим, сынок!

Он помолчал минуту, а затем выпалил:

— А-ка-де-мию! Что, теперь тебя, наверное, так и потянет на рудник?

Я не верил в отцовскую школу, но мне очень хотелось на рудник. Я устал ходить, мне хотелось работать. Рудник представлялся мне широким голубым колодцем под темным сводом, уходящим глубоко в землю, откуда быстро поднимаются рокочущие машины с весело мигающими огоньками лампочек. Из этих подъемных машин выходят высокие, бешено-веселые шахтеры, смот-

рят на меня умильными глазами и радуются, что я пришел к ним.

А вот и Ак-Таш. Я-то полагал, что это гора, которую обойдешь за час, а мы тащимся вдоль нее сутки, вторые, третьи.

Мы идем северными склонами, пологими и плодородными. Налево и направо недвижно замерли плодовые деревья, а под ними шумят ласкающие многоводные арыки.

За деревьями видны дома. Казахи-скотоводы северных склонов, владеющие тысячами баранов, проводят здесь зиму. Сейчас они откочевали отдыхать на альпийские луга, а работники их готовятся убирать ячмень, просо, кукурузу.

Возле нив раскрыты юрты. Жеребята дрыгают на приковльях; казашки доят кобыл, с шумом наполняя саба кумысом. Кумыс готовится для русских офицеров, которые лежат на коврах во фруктовом саду. Я спросил денщика:

— Куда офицеры едут?

— А на Кашгар.

— Война, что ли?

— Какая война! Поучить китайца надо.

Мой отец омраченно бормочет:

— Сами-то глупые, а туда же — учить!

Кроме обозов, которые идут на ярмарку, и богомольцев Святой долины, нам часто стали встречаться роты пехотинцев, полевая артиллерия, казачьи сотни.

Однажды мы долго стояли у дороги, пропуская казачий полк. Полк, покрытый серо-желтой пылью, шел медленно. Мы утомились, глядя на него. Мы свернули с дороги, прилегли и задремали.

Нас разбудил хорунжий, пожилой, загорелый, стройный, с курчавыми седыми висками. Покрикивая на своего темного карабаира и положив пальцы на луку седла из орехового наплыва, выложенную серебром, он, улыбаясь, спросил моего отца:

— Кажись, сорок второго полка, Семиярской станицы учитель Иванов?

Мой отец с ослепительной улыбкой томно ответил:

— Так точно. А вы, кажись, Беляев?

— Так точно, — отозвался хорунжий. — Одно лето удостоился учиться у вас джигитовке.

— А теперь, что же, китайцам собираетесь ее показывать?

Хорунжий пожал плечами.

— Приказ. Как там, в станице, Трубычовы?

— Старик хворает, а молодые, — ничего, здоровы. Джут был, много скота полегло, а у вас?

— Тоже. Намерены добывать скот в Кашгаре.

— Дай бог, — сухо сказал мой отец. — Сашка Трубычов женился.

— Слышал. Счастливо оставаться.

— Счастливо. А что же, вместе со скотом в Кашгаре и землю вам обещали дать?

— Обещано.

— Мало в Семиречье?

Хорунжий рассмеялся.

— Начальству виднее, господин Иванов.

Мы приближались к южным склонам Ак-Таша.

За поворотом наконец открылись они.

Разница с северными склонами разительная. Поля жалкие, и растет на них одно тощее, низенькое просо. Ни садов, ни домов; изредка увидишь аул из мазанок. Леса нет. Иногда на скале торчит древовидный можжевельник, да и тот весь какой-то исковерканный, заунывный.

Через поляны, огибая скалы, к северным склонам проведены широкие канавы с узкими ответвлениями — арыки. Тяжело смотреть на них. Они жаждут, молят воды, но воды нет.

— И сюда стремится Ханыке? — спросил с изумлением отец. — Я всегда понимал любовь к родине, а теперь не понимаю.

В предгорьях тоже скалы, а над ними узкое плато, и по нему вьется насыпь железной дороги, ныне брошенная. Встречные говорят, указывая на степь, что рельсы и шпалы перенесены вниз, на другую насыпь, что идет к мосту через Ак-Таш.

— Где?

Сколько мы ни приглядываемся, не видно ни моста, ни насыпи, ни реки.

Перед нами стелется выгоревшая желтовато-бурая низменность, где-то на горизонте сверкающая золотом.

Там песчаная пустыня Муюн-Кум.

Проходим еще скалы, слышим какие-то хлюпающие звуки наверху.

Поднимаем глаза: перед нами низенькие, запыленные строения рудника.

С одного взгляда можно понять, что жерла штолен уходят прямо в гору, а не вниз. И это огорчает меня. Ни в строениях рудника, ни в вагонетках возле штолен нет того лучисто-алмазного сверкания, воодушевления, веселья, которые я предполагал встретить.

Тракт разделяется на три дороги. Одна — к руднику, другая — через поселок строителей рельсового пути — к Аулие-Ата и Арысь, а третья — через степь — к Святой долине.

У развилки дорог стоит нищий, старый-престарый казах с заплаканными глазами, вокруг которых жужжат мухи.

Жара и тишь такая, что кажется, погасли все звуки. Травинку муравей задень, и то слышно. Раскаленные камни обходишь, чтоб не обжечься. Небо тонкое, бледно-голубое, а под этим голубым и бледным, словно еще одно небо, льется и дрожит что-то желтое, злое. Тоскливо повсюду и погибельно.

Отец, почувствовав мои грустные мысли, вдруг воскликнул:

— А я и забыл! Получай, веселись.

Письмо от извозчика Марцинкевича? Ах да! Чего же хочет от меня пан извозчик? Он, видите, не сомневается, что я ей верен, но которой? А они обе уже просватаны. К одной сватается обозник Кузя из Семипалатинска, «личность вам известная, пан Всеволод?». К другой сватается купец Соснин, который, увы, теперь уже не купец, — разорился и мечтает стать извозчиком. Все мечтают сделаться извозчиками, думают, что легкая профессия! А подстилка, овес, сбруя, экипаж? Шутки! Кроме того, в родном городе Соснин не может стать извозчиком, как, скажем, поп не может переодеваться в платье трубочиста: засмеют. Вот и бывший купец Соснин уезжает тоже на «Семиречку». «И мы решили все вместе ехать. Ответьте только на один вопрос, пан Всеволод, относительно пана Кузи: как он теперь, серьезен, благонадежен?»

Что я могу ответить пану Марцинкевичу?

Кузя? Да, он — хороший. Но ведь мало быть хорошим, надо, чтоб он сумел составить счастье Зоси. Боюсь, письмо останется без ответа.

Дорога на Арысь спускается покато, пересекает насыпь, равнину реки Ак-Таш и скрывается в далеких, еле видных горах на юге. По дороге движется военный визгливый обоз, сопровождаемый солдатами: везут снаряды.

— Братцы, в Кашгар?

— Туда.

— Счастливого пути, братцы!

— И вам того же, прохожие.

Отец поясняет:

— Через Нарын и Пржевальск до Кашгара что-то около трехсот верст. Кашгар — главный город китайского Туркестана и узловой пункт всей их торговли, вроде нашего Ташкента!

— Ну и что же?

— А то, что Калмыков, пожалуй, поведет рельсовый путь не на Верный, а на китайскую границу, к Кашгару. Эх, отлично будет, если Саумал сфотографирует их планы!

— Чем же отлично?

— Тогда я точно буду знать, что он подлец, наемник военщины, и я откажусь от приглашения на свадьбу Василисы Глебовны.

— А ему ни жарко ни холодно.

— Дудки! Уверен, что он тогда свадьбу отменит.

МИРО

— Тебя это прельщает, сынок?

— Я давно, папа, не видал железной дороги.

— А мне, когда сяду в вагон, чудится, что кто-то жует меня и пережевывает. Мне больше по душе проселки с их запахом миро...

— Опять это миро! — воскликнул я с досадой, вспомнив Верный, подворье, несториан, Калмыкова, архимандрита.

— И тебе известно, что это такое?

— Обряд. Когда причащают, лоб мажут.

— Еще?

— Не помню.

Отец, поглаживая загорелыми пальцами подбородок, глядел в степь.

— Поражаюсь твоему невежеству, Всеволод!

— Ну, а зачем мне знать, что это за вещество — миро.

— Незачем?

— Незачем.

— Вот и неправда! Крайне нужно. Миро — это вещество, употребляемое церковью в таинстве миропомазания, через которое тебе сообщается благодать, дающая силы для преуспевания в духовной жизни. Обряд древнейший, идет, наверное, от магов. Я присутствовал однажды при варке миро в трапезной церкви Киево-Печерской лавры. Диаконы в серебряных сосудах принесли составные части миро, как-то — оливковое масло...

Я рассмеялся и указал на степь.

— Очень нужно этой степи твое оливковое масло!

Отец пожал плечами.

— Досадно. Вдумайся-ка!

— Вдумался.

— И что?

— Ничего.

Отец посмотрел на меня надменно и сказал, чеканя слова:

— Миро употребляется при коронации русских императоров.

— Ну и что же?

— А то, что, если камень Святой долины точит миро, каждый, приложившийся к камню, тем самым миропомазуется и делается близок царю, что не шутка в дни трехсотлетия царствующего дома Романовых.

Я вздохнул.

— И ты это серьезно, отец?

— Не я. Архимандрит. И отчасти паломники.

Я начал кое-что понимать.

Однако Святая долина — за рекой, в степи, а железнодорожный поселок, базар, лавки, а в них съедобное — ближе.

— Сколько у нас осталось денег, папа?

— Ровным счетом три копейки.

— Ого! Но Святая долина ничего не даст, вся надежда — рудник или «Семиречка».

До поселка версты две, но воздух прозрачен, чист, свеж по-вечернему, и поселок словно на ладони. Скоро кончат работу, насыпь покрыта спешащими людьми, вагонами с кирпичом и цементом, подводами.

Фермы моста повисли над узенькой полоской реки, и камыши по обеим сторонам ее истоптаны, скованы, и глинисто-солончаковая почва пламенеет под солнцем, близким к закату.

— Идем, отец, на рудник?

Отец достал было рекомендацию инспектора, но затем, глядя задумчиво в степь, сказал:

— Небольшой клочок земли среди мелких сопок почему-то назвали Святой долиной, а вся низменность, лежащая вдоль реки Ак-Таш, совсем без названия? Не стоит ли нам, прежде чем подниматься на рудник, спуститься в степь и понюхать, как она точит миро? Хлеба и пшена нам хватит еще на день.

Мы спустились к железнодорожному поселку, перешли вброд Ак-Таш, набрали мутноватой воды в бутылки и чайник и углубились в равнину, прорезанную вдали мелкими сопками.

Кое-где по берегу реки нам встречался мелкорослый разнолистный тополь, кусты таволги да заросли камыша. Другой растительности почти не было. Река огибала южные склоны Ак-Таша, делая локоть, и затем вдоль восточного края пустыни Муюн-Кум пробиралась к Чу.

У дороги встречались следы ночевок паломников. Дорога, ими протоптанная, углубилась в каменистую равнину, безлюдную и пустынную, поросшую полынью. Изредка попадались крошечные стога сена в тех местах, которые заливала река. Но сено жесткое — из осоки, молодого камыша и солодки.

Иногда мы обходили небольшие луговины с жалкими остатками зеленоватой и тухлой воды, поросшие осокой и мелким камышом. Тучи комаров и мошек кидались на нас. Мы молили ветра.

Песчаная пустыня Муюн-Кум, в которой глохнут все речки, стекающие с гор, еще далеко, но жар ее уже нестерпим.

Рябило в глазах, истомляла, мучила непонятная тоска.

— Лучше ночевать тут!

Мы прилегли в тени полузасохшего тополя. Я развел костер, поставил кипятить чайник, а отец мой, вороша ногою мелкий щебень, рассматривал канаву, полузасыпанную лёссовой пылью.

— Несомненно, остатки старинных оросительных си-

стем! После того как китайцы уничтожили Джунгарское царство калмыков, — это было, помнишь, в первой половине восемнадцатого столетия, — казахи забрали «калмыцкие арыки», но до сих пор не могут их освоить. И в этом нет ничего удивительного! Ведь и калмыки не освоили эти «свои» древние каналы — ибо они гораздо древнее царства калмыков! Арычное земледелие существовало здесь в незапамятные времена. Оно гибло, расцветало и опять превращалось в руины, пока какой-нибудь князь Малицын не воскрешал его, — впрочем, в силах теперешнего князя Малицына я лично очень сомневаюсь. Расцветать, отцветать и вновь воскресать суждено всему на земле. Вот сейчас ты принюхиваешься и ощущаешь здесь только запах полыни.

— Идем дальше?

— Да.

Уже совсем на закате дорога кончилась, и мы поднялись на сопку.

Перед нами — немая, истомленная зноем, нежно-серая от полыни и чуть-чуть розоватая от солнца — расстилалась Святая долина. Она невелика: три-четыре версты в окружности. В конце долины, возле колодца и полуразрушенной муллушки, причудливые, белогрудые песчаные дюны. За дюнами, в ложбине, палатки археологов: штатских и духовных; духовные — больше, белее, выше. Неподалеку археологические раскопы, а за ними — зеленовато-серый камень, что «точит миро». Разумеется, миро никакого нет, просто кое-где на камне, внизу, видны капли воды; наверное, под камнем источник. В конце долины геологи бьют шурфы. Там большая толкотня, много телег, всадников. Оттуда скачут два геолога — один с кремнистым лицом, другой — похожий на крендель. Они проносятся, не замечая нас, занятые своим, по-видимому, важным спором. Доносится: «возможный запас руды», «уровень грунтовых вод», «верхний вруб».

— К сожалению, и здесь я чувствую лишь запах полыни, отец. Где миро? Где камень, точащий его?

— Плохо принюхиваешься. И вообще, учись обонять. Учение — мать добродетелей, в том числе и добродетели обоняния. Трудно поверить, но — вижу — ты вместе с неграмотными богомолками уверен: запах миро исходит от нетленных мощей. Только ли от мощей? А вдруг запах миро — это запах исчезнувших цивилизаций, той культуры,

того труда человеческого, который никогда не пропадает даром? Каменистую эту равнину совсем не трудно превратить в поливные земли, и запах волшебного миро, запах цветов и плодов разнесется по ней. Вспомни громадные тополя, виденные нами в селах вдоль тракта. Тополя, у воды, через десять лет вымахивают до размеров строевого леса! А в центральной России тот же тополь достигает зрелости через сорок лет.

— Но ты сам не веришь в силы князя Малицына? А кто иной пустит сюда воду?

— Народная академия, — приосанившись, сказал мой отец, искоса поглядывая на меня.

— Что?

— Ну, школа, которую мы с тобой откроем на руднике, помнишь — уговаривались? Вот ты трепещуще-испуганно глядишь на песчаные дюны. Ты видишь за ними убийственные пески пустыни. Напрасно. Пески закрепляются люцерной. Ее посеет Народная академия. С тем же трепещущим испугом смотрел ты на горы, когда мы шли чудесным ущельем Учханы между тонких и словно бы звенящих скал. Утомленный тяжелой дорогой, ты сказал: «Безобразие! Куда ногой ни двинь — либо в гору, либо под гору!» Горы были пленительно-прекрасны, и я сказал тебе: «Безобразие, пока эти горы не обучены». — «Не обучены?» — спросил ты. Дело в том, что, подсчитав, я пришел к убеждению: орошенное и обученное Семиречье — в горах, долинах, степях — вместит полмиллиона крестьянских хозяйств...

— Или тысячу помещиков, вроде Калмыкова.

— Но мы ведь откроем Народную академию!

Последние малиновые лучи солнца ударили в вершину горы Ак-Таш. Гора засияла. Черно-красные строения рудника, багровые фермы моста, голубовато-алые полоски реки как бы рванулись к этой сверкающей вершине. Мой отец, щурясь, поглядел вверх и сказал с восхищением:

— Как красиво!

Когда на другой день мы вернулись к развилке дорог, заплаканный нищий стоял по-прежнему на своем месте, вытянув руку.

Отец, положив ему на ладонь последние наши три копейки, величественно сказал:

— Остальные получишь попозже.

Семнадцатые сутки я работаю откатчиком на руднике. Работа гнетущая, и люди лютые.

Инженер Двуконь, сухой, длинный, в ватном засаленном балахоне с широким воротником, читая записку инспектора, спросил низким, приятным голосом:

— Вы что, из ссыльных?

— Никогда ссыльными не были.

— Как же, господа? Интеллигентные люди, и не могут найти себе работу в городе. Идут на какой-то завалящий, поганый рудник. Ну, я страдаю из-за своей отзывчивой души, а вы за что? За что? — спросил он умильно.

Я еще не знал, что шахтеры прозвали его «За что», но мне его восклицание показалось притворным. Отец в раздумье поглядел через плечо инженера в его пустынное жилище и ничего не ответил.

— Коней хотя знаете?

Мой отец сказал:

— Служил инструктором джигитовки в сорок втором Сибирском казачьем полку.

— Тогда пойдете старшим на конюшню.

Отец молчал.

— Не нравится?

— Я бы предпочел — с сыном.

— Сын — откатчиком на штольню.

— И я туда же.

Инженер, внезапно побагровев, всплеснул худыми руками и завопил с отчаянием:

— Вы что, смеяться надо мной пришли? Убирайтесь к черту, дармоеды! Господи, за что, за что?

Он восклицал «за что», словно обжигаясь. Я засмеялся. Но позже, узнав, что инженера три месяца назад бросила жена, влюбившись в какого-то путейца, я устыдился своего смеха.

— Иди, юноша, к штольне, спроси десятника Каргина.

Мой отец сказал настойчиво:

— И я, господин инженер, предпочел бы штольню.

— Интеллигенцию позорите. Ну и черт с вами! — нетерпеливо воскликнул инженер, уходя к себе.

Мы явились к штольне на рассвете. Откатчики, подростки тринадцати — восемнадцати лет, окружили нас,

и приземистый, курчавый Васька Варетников, драчун и хулиган, белолицый щеголь с напущенным сизым локоном, подошел к нам, подбоченился и высоким тенором сказал:

— Прискакали, казачки? Шахтерства добиваетесь? Нет, это вам не аренду получать.

— Это тяжко!

— Это только голь-боль ненастье переносит!

Отец посмотрел на откатчиков строго. Они загоготали. Но появился десятник Каргин, и мы встали.

Я с радостью покатил в голубое устье штольни свою низкую, раскаленную на солнце вагонетку. В тени было прохладно и приятно. Мне казалось, что где-то сбоку, вблизи, уже сияет груда свинцовой руды.

Отец катил свою вагонетку вслед за мной. Мы шли и шли. Голубой сумрак сгущался. Вскоре стало совсем темно. Десятник приказал зажигать лампы.

Сначала мой отец разыгрывал интерес, затем — удивление перед тьмой, в которую он погружался по своей собственной воле, а напоследок — испуг. Он окликнул меня. Я остановился. Отец мой повернулся к устью штольни, чтобы еле заметные лучи солнца осветили его лицо, и сказал десятнику:

— Я не древнегреческий бог, который носил на себе горы. Здесь душно.

— А где тебе не будет душно? — глухо спросил десятник.

— Прошу не тыкать. Я студент Лазаревского института.

И отец решил:

— Пойду на конюшню. Там, по крайней мере, надо мной будет небо. И, кроме того, позабочусь о Нубии.

Десятник Каргин был сам из казаков и потому признал и нас за таковых по нашему говору; он сказал мне, кивнув на откатчиков, казалось не обращавших на меня никакого внимания:

— Готовься, казак. Волки они, разбойники, буяны и падаль!

Откатчики закричали ему вслед:

— Сам живодер!

— И Калмыков твой живодер и разбойник!

— Обсчитываете!

— В каких лачугах поселили!

— Каторжников и тех так не селят!

Тележка отца уплывала к свету, слегка поскрипывая на лаковых поворотах рельс.

Десятник Каргин вяло отозвался:

— Каторжан в деревянных домах селят, а вы — втрое хуже!

— А рудник твой — вдесятеро хуже каторги!

Указав мне еще раз на откатчиков — поостерегись, мол, — десятник ушел из штольни.

Едва лишь скрылся из виду десятник, Васька Варетников, с выражением веселого отчаяния на лице, сутулясь и раскачиваясь, подобрался ко мне и прошипел:

— Лампасник!

Я молчал, накладывая странно тяжелую руду в тележку.

— Болтушка!

«Болтушка» — кисель из муки, взболтанной с молоком. Казаки ее варят обычно летом к ужину на костре, при закате солнца. «Болтушка» — прозвище, которым нас дразнят переселенцы и горожане. Откатчики, в большинстве, сироты из переселенцев. Мне ли обижаться на их брань! И хотя было мучительно тяжело слышать, как тебя поносят, но я терпел.

— Чего рот сжал?

— Жеребятины обожрался!

— Боится — отрыгнет!

— Ха-ха! Трусит он.

Я и на этот срам ничего не ответил.

Скитаясь по Уралу и Курганщине, работая на заводах, в типографиях, я часто встречал вот таких же задир и пересмешников. Иногда отношения наши переиначивались, а иногда, подравшись несколько раз, приходилось бросать работу. Не так-то легко держаться с достоинством, но без «задаванья» и униженья.

Сашка Григорьев, вялый, неповоротливый откатчик, затянул гнусаво:

— Эка, глазищами посверкивает, батюшки!

— Он тебя подколет, Сашка!

— Боюсь, мамонька, сердце сводит...

Сашка подражал вскрикиваньям каких-то знакомых девиц. Откатчики смеялись.

Тогда Володька Жвунков, маленький, узенький, с каким-то старчески мерзким лицом, делая вид, что разнимает нас, завопил, притворно рыдая:

— Да он, казак-то, братцы, в остроге десять лет

сидел, арестантские роты прошел, конец вам, братцы, отойдите!

В ответ я заорал:

— Дразнить не умеете! Цыц!

Откатчики, замолчав, улыбаясь, внимательно следили за Васькой Варетниковым. Он, зловеще сверкая глазами, дрожащим от восторга голосом крикнул мне:

— Палач!

Я спросил:

— Над кем я палачествовал?

— А наших в девятьсот пятом вешали!

Совсем не такой встречи я ждал, совсем не таких слов! Стройная, даже, пожалуй, грациозная, фигура Варетникова мне нравилась, а взгляд его карих, чуть раскосых глаз был ясен, сосредоточен, не глуп.

И на этом мои размышления окончились, сдержанность — тоже. Я хватил со всей силы Варетникова по шее.

Он отшатнулся, но не упал.

— Ишь ты!

— Да, казак дерется!

— Казак, ошкур подтяни!

— А что?

— А вот сейчас увидишь, что!

Шестеро набросились и опрокинули меня. Я упал между рельсами. Они били меня кулаками, топтали. Я отталкивал их, брыкался, но много ли сделаешь, лежа на животе, уткнув голову в мокрую землю?

— Получил? Теперь зови стражников, ябедничай!

— Сами вы ябеды!

— Мы — ябеды?!

Они стояли ошеломленные.

Меня сбили с ног, я валялся между рельсами, но я не пришел в подавленное состояние духа.

Я лежал и осматривался — куда мне мотнуться, чтобы двинуть свои силы на самый важнейший участок фронта, как это делал, по словам моего отца, Наполеон или как делает Калмыков. Пока же я корчил из себя пораженного, чувствуя приближение той огненной мысли, которая растопит зловещие глыбы льда, повисшие надо мной. Лед, лед! Омут, омут! Я опустился в омут вовсе не для того, чтобы тонуть, а чтоб испытать восхитительное чувство прохлады. Воображение помо-

гало мне обычно тогда, когда мне ничто уже не могло помочь.

Я был в западне. И у головы моей и в ногах — низенькие тележки с рудой, под которые не проскользнешь. Вправо и влево — откатчики с кулаками в карманах и за спиной. Вот один из них рассматривает меня, слегка склонив голову вбок; юношески свежее лицо его с рыжеватыми усиками выпачкано смазочным маслом. Рядом с ним — Сашка Григорьев, жилистый, мускулистый, но сонный и крайне тупой. Он, хохоча большим ртом, без конца повторяет фразу, которая ему кажется очень остроумной:

— Пустите, я ему укреплю невры!

Мерцание мелкой руды под тележками, маслянисто-тусклый блеск рельсов, сумрак штольни, озноб, шипение какого-то насоса в соседнем штреке — все напоминало мне метель за Павлодаром, холод, страх смерти, постыдное воззвание к богу, Кузю, колокол. Неужели же я позволю себе стать таким же удрученным, как тогда? Нет, теперь я буду петь, петь, петь!

И ни одна песня не вспомнилась мне!

А ведь индейцы Купера пели и не при таких мучениях! Ну, хорошо же! Я спою им самую длинную песню, какой не пел ни один могикан! Я буду петь «Евгения Онегина». Я его знаю почти целиком: с начала, с середины, с конца. Скажем:

И вот по родственным обедам
Развозят Таню каждый день
Представить бабушкам и дедам...

— Мы — ябеды?!

— Поверни его рожей ко мне — влеплю!

— Бей!

— Спускай флаг, казак!

— Не спущу, ябедники, — ответил я. — Сами на себя ябедничаете, зверями притворяетесь. А вы — люди, и притом — большие люди, скоро увидите.

— Где, в каталажке?

— Нет, у отца моего, в школе!

— Как бы не так!

— Лу-у-пи его!..

Лупили меня исправно. Все же я успел схватить с тележки и зажать в кулаках изрядные куски руды. Эти куски помогли мне разбить в кровь носы двум или

трем откатчикам, так что когда десятник Каргин вернулся, он, глядя на меня, поверженного в тележку, пригрозил мне за буянство расчетом!

— Ка-ати, «коты»! За что жалованье получаете?

Откатчики, вспоминая инженера Двуконя, хохотали:

— За что, за что!

Задняя тележка толкала меня в ноги, я падал, поднимался, тело несносно ныло.

Когда, покинув штольню, мы опрокинули наши тележки на скат, парни вопросительно уставились на меня, ожидая, кому я буду жаловаться? Инженеру Двуконю, конторщикам или стражникам, охраняющим руду, или десятнику Каргину?

Я, толкнув свою тележку к штольне, сказал:

— Отдохнули, пора за рудой!

А Варетников сказал, гортанно и вкусно перекатывая слова:

— Бить мы тебя будем, пока правды не добьемся.

— Или пока я не отобьюсь.

Откатчики ненавидели меня; ненавидели за то, что я казак, за то, что мой отец учитель, что у меня есть лошадь, пусть даже завалящая, что я грамотен и читаю книги, что пришел из Семипалатинска, издалека, и иду еще дальше, в какую-то Индию, что я вынослив, что я их не боюсь, что не пью, не хожу к девкам в железнодорожный поселок.

Откатчики меня ненавидели. Но и я их не любил. Мне противно было их ломание; то, что они неумело изображали из себя взрослых, пили, курили, в субботу и воскресенье всю ночь ходили по улице поселка с гармошкой, толкая девиц. Среди девиц я особенно жалел двух — Варьку и Ольку, круглолицых, светлоглазых, терпеливых, должно быть, очень добрых, но с отвратительными прозвищами — Голенище и Калоша. Я их спрашивал:

— И вам не совестно откликаться?

Они наивно, не понимая, отвечали:

— А чего совестно? Лишь бы платили.

— Да вам сколько лет-то?

— Шестнадцать.

Ужасно!

Всю первую неделю работы в штольне я отчаянно бился с откатчиками. Затем я «придрался», привык,

стало немножко легче, однако жизнь по-прежнему казалась безысходной, мучительной, неодолимой.

Отцу я не жаловался, но он понимал, что творилось со мной. Однажды вечером у штольни, указывая мне на степь, которую я видел только на восходе и закате, он многозначительно проговорил:

— Чистота, ясность, а вглядишься — омут.

— Надо выплывать, пока не поздно.

— Успеем.

— Ой, не опоздать бы, отец!

— Мы нигде не опаздываем: ни к обеду, ни к обедне, ни к похоронам. Нам везде удача!

И он, весело моргнув глазом, рассмеялся. Мне его надежды на счастье казались преувеличенными. День ото дня я был печальнее, чувствуя себя все более и более одиноким. Отцу что?! Ему надоест, он помашет нам рукой и скроется: ему везде — кровля и дом. А я? Кому я нужен?

ЗАБОЙЩИКИ

Как-то в штольне меня остановил забойщик Мельченко.

— Из бродячих? — спросил он без особого интереса.

— Ага.

— На Дон пробираешься или в Питер?

— В Индию, — ответил я.

— Не слыхал. Где это?

Я махнул в ту сторону, где, по-моему, должны были находиться самые высокие и недоступные горы.

— Ишь ты! И что ж, заводы там большие, мастера умелые, технические училища? — продолжал он выспрашивать.

— Факиры, — ответил я.

— Не слыхал. Кто это?

Я объяснил. Мельченко поднял лампочку, осветил мое лицо, сощурился, вздохнул и сказал:

— Колдуны, значит. Дурак ты, как я посмотрю. А еще сын учителя.

Забойщиков на руднике уважали. Чтобы держать бур или бить многофунтовым молотом, нужна сила, сноровка, выносливость. Кроме того, забойщики зарабатывали втрое-вчетверо больше нас: рублей по тридцати в месяц, а когда попадался «карман», скопление

свинцовых руд высокой концентрации, они получали и свыше сорока.

Самым большим влиянием пользовались на руднике четверо забойщиков — Миша Быков, Коля Язев, Гриша Хом и Фома Владимирович Мельченко. Водки они пили мало, только по воскресеньям и в «неприсутственные» дни, которые почему-то у нас считались самыми важными праздниками. По вечерам они часто собирались в землянке Мельченко, что-то читали.

Жена Мельченко быстро кипятила самовар, они садились в кружок за маленький стол, покрытый растрескавшейся синей клеенкой, и, держа в руках чашки крепкого и горячего чаю, с умиленными лицами, долго, искусно пели украинские песни. Говорят, все четверо когда-то работали на Дону в шахтах. Я сам слышал, как один из них, уходя, сказал протяжно и мечтательно:

— Да-а, на Дону по-другому: организованные рабочие!

Второй подхватил:

— Организованный рабочий — человек. А эти — болванье какое-то: куда его хозяин пхнет, туда он и катится.

Нас, откатчиков, разумеется, они не замечали. Тем приятнее, что меня заметил Мельченко, пусть даже обругавши.

Фома Владимирович Мельченко — грузный, басистый, черноусый, в коротком рваном полушубке, вытертом донельзя. Полушубок свой никогда не спускает с плеч и только совсем уж в удушливую жару носит внакидку.

— Дед мой на турка в нем ходил, — шутит он густым басом, — под Константинополем в нем стоял, в Черном море купался, а здесь что, жарче?

Перед входом в штольню он три раза крестится, кланяется на восток, держа лампочку и инструмент левой рукой, поводит чернейшими усами и бормочет:

— Ну, с богом, рудокопы, за свинцом!

Рудокопы! Ему нравится это старинное слово, и он произносит его очень отчетливо. Нравится оно и мне. И я повторяю:

— За свинцом, рудокопы!

Но мои слова вызывают только смех среди откатчиков, смех глупый, назойливый, ненавистный. Я начинаю весь дрожать.

Однажды Мельченко на работу опоздал. Забойщики давно скрылись в боковых штреках, со второго горизонта сыпалась руда, мы нагрузили тележки, десятник курил где-то в стороне с землекопами, которые отводили рудничные воды, сильно нас мучившие.

Откатчики воспользовались отдыхом, чтоб подразнить меня. Я на них бросился с кулаками, как раз когда Мельченко шел мимо. Мельченко взглянул, задержался было и — зашагал дальше.

Спал я плохо. В землянке храпели, стонали во сне рабочие, терзали блохи, тараканы лезли в уши, глаза, волосы.

Я приходил на работу раньше всех, смотрел, как мутно-серый верх горы становится розовым, малиновым, а затем ярко-белым; слушал, как там наверху, словно подпевая быстрой и спорой работе солнца, перекликаются кеглики; смотрел, слушал, поворачивался к тракту, на котором уже выводили свою обычную дневную ноту обозы; я мечтал, что по этому тракту выйду к станции Арысь, сяду в поезд, уеду в Бухару или Оренбург, найду себе работу в типографии, буду читать умные книги, буду учиться... Ах, уйти бы скорее, уйти!

Пришел я рано и в тот день, с которого началась дружба моя и Мельченко.

Он стоял, заложив за спину руки и глядя на тракт.

— Тоскуешь? — спросил он.

— А как не тосковать.

— Верно. Откатчики твои сплошь подлецы. И воры вдобавок.

— Они не крадут, — возразил я.

— Не крадут, потому что им пальца в рот не кладут,— засмеялся он. — Слушай-ка!

Мельченко достал из-за пазухи завернутый в тряпку старенький четырехзарядный «бульдог».

— Воры понимают разговор только из ружья.

— Из ружья? — повторил я, не соображая, что револьвер предназначается мне!..

— Ну, из пистолета, все равно! Четырех — не стоит, много, а одного ухлопаешь — туда ему и дорога! На шахте не бей, полицейские задержат, а вонзи ему где-нибудь в поле. Заманить туда не трудно.

Он подумал и, серьезно глядя мне в глаза, сказал:

— Прихлопнешь, скажи. Труп помогу закопать.

Я задрожал от восторга, ужаса, восхищения перед самим собой и Мельченко.

— Вы — революционер? — спросил я шепотом.

— Я? Так, по соображению, революционер, но в партии не состоял, не довелось.

— А я слышал — вы организованным рабочим были.

— Был.

— А разве организованные рабочие не революционеры?

Он засмеялся.

— Ишь ты какой дотошный!

Показались откатчики. Я спрятал бульдог и стал воображать, как всажу все четыре пули в Ваську Варетникова, как у него из виска брызнет кровь, как он повалится, как я буду топтать его и как, с каждым моим прыжком, кровь гуще будет хлестать из него. Эту свирепую подробность я вспомнил из какой-то книги, — наверное, никогда с большим удовольствием я не вспоминал никаких других строк книг, даже своих!

И походка моя изменилась, и лицо мое стало совсем другим: в тот день откатчики не приставали ко мне. О, как я был рад, что ненавижу их! Какое великое наслаждение ненависть, особенно если вы имеете возможность ее насытить!

«Воры, мерзавцы, подлецы! А, вам шестерым на одного? Ну, вот и будете наказаны. Вот я и ухлопаю вашего вожака».

И я представлял себе с необычайной яркостью мертвое красивое лицо Васьки Варетникова, его стройное тело, беспомощно лежащее в гробу. Представлял я и отпевание. Лохматый, давно немытый поп, в сопровождении мелкозубого дьякона, приедет из соседнего села. Поп безголос, зато дьякон очень хорошо владеет своим мягким, жалобным голосом. Ух, и зальются же они! Им ведь тоже известен и противен Васька Варетников: говорят, он украл у попа и пропил его енотовую шубу, а у дьякона — новые варежки. Вора не поймали, но все утверждают, что унес именно Васька.

Представлял я и кладбище на сопке, недалеко от строящегося железнодорожного моста, могилу и старуху, тощую, голенастую, с реденьким пучком волос на часто вздрагивающей голове. Это — Анка, Васькина мать. Никто ее в поселке по имени-отчеству не зовет: еще бы, мать хулигана! Над ней издеваются, смеются,—

и как, однако, она будет истошно причитать над могилой убитого сына, какими отчаянными глазами будет глядеть с этой сопки в страшную, выжженную, бурую степь, в эту дышащую зноем, песчаную пустыню Муюн-Кум, спрятавшуюся где-то там, за камышами, каменистой равниной, грядами далеких сопок!

Отпоют, разойдутся, и будет по-прежнему стоять кладбище во всем своем унылом величии. Величие кладбищу придает только смерть, а между тем как страшна она, как томительно-тосклива среди этих глиняных могилок, желтой железнодорожной насыпи, черных строений рудника, жерл штолен и белых камней Ак-Таша! Вот здесь, на этом кладбище, покоятся не одни лишь землекопы, каменщики, слесари или техники, строящие «Семиречку»; не одни казахи, которые привозят сюда продавать баранину, хлеб, масло; не одни обозные солдаты, замученные дезинтерией и навечно закрывшие глаза как раз против белых камней Ак-Таша; много здесь, ах, как много и переселенцев из Тульской, Рязанской, Ярославской, Полтавской, Могилевской, Орловской и прочих губерний; много улеглось под сухими комьями слежавшегося лёсса, который они мечтали пахать, засеивать; много их прикрыто теми самыми степями, вспахав которые они собирались жать и которые они нежно прозвали «зеленым клином», клином свободы, воли, счастья!

«А ведь, пожалуй, и Васька Варетников, по-своему, ищет зеленый клин? Как это раньше не пришло мне в голову. Вот я решил его убить, — да еще и решил-то с каким наслаждением! — подумалось мне. — Глупый я какой-то. И вдобавок кровожаден, еще хуже того хулигана, которого собирался убить. И как такая мысль могла прийти мне в голову? Мельченко? Но ведь он, наверное, только испытать меня хотел: хулиган я или организованный рабочий!»

И я, не забыв обругать себя трусом, отложил убийство.

Неделю спустя я молча вернул забойщику бульдог. Мельченко небрежно сунул его за пазуху, сказав:

— Рассчитываешь другим пронять?

— И проймем.

— Чем?

Я ответил словами моего отца:

— Народной академией.

— То-то же, — заключил Мельченко, — а из этого бульдога, между прочим, и курицу не убьешь, да и патронов к нему нет.

ПРОНИМАЕМ

Пронимать-то пронимаем, но кто — кого?

Словно узнав, что я возвратил револьвер и теперь со мной шути сколько хочешь, недруги мои забавляются зло и дерзко.

Нубия паслась всегда в овражке, вблизи рудника, где доцветали бледно-розовые мальвы и какая-то низенькая коричневая травка. По утрам и вечерам я водил своего коня на водопой. Я был спокоен. О волках не слышно, медведи — высоко на гребнях гор, а каким другим зверям она нужна?

И вот вместо коня я увидел следы босых ног и куски изрезанной треноги. Я искал Нубию полдня и обнаружил на северных склонах, где с меня за потраву взяли два рубля! Я надел на нее железные путы, и все равно ее опять угнали! Опять она на северных склонах, опять с меня — за потраву. Тогда мой отец выпросил у инженера Двуконя позволения пасти Нубию с рудничным табуном.

День спустя пропали мои книги, тетради, факирские принадлежности, грим, парики. На рассвете другого дня отец разбудил нас хриплым криком. Лицо его было бледно, губы тряслись. Он бегал по землянке, держа в протянутых руках пустой мешок, где постоянно хранился его мундир.

— Ну, такой подлости простить нельзя! — яростно воскликнул я. — Идем в полицию.

Отец взглянул на меня глазами, полными слез.

— В какую, сынок, полицию? Мой мундир во сто раз красивее полицейского! Кто же, боясь их мундира, возвратит мой? И, кроме того, сама полиция не причастна ли к краже?

— Зачем?

— В мундире студента Лазаревского института мне легче открыть Народную академию. А им она не нужна, даже опасна.

Он сказал это с глубоким волнением.

— Надо что-то делать! — воскликнул я.

— Для успокоения уясним порядок занятий нашей академии...

— Пока мы уясняем этот порядок, отец, мундир продадут на базаре и какая-нибудь котиха распорет его для заплат.

Мой отец сказал величественно и просто:

— Ради Народной академии я согласен даже, чтобы мой мундир пошел на заплаты, но не в полицию.

Рудничные, узнав о краже, толпились в землянке. Сквозь сборище продрался Мельченко и, положив руку на плечо моего отца, весь трясясь от глухого гнева, спросил:

— Чем помочь, Вячеслав Алексеич?

— Помогите мне открыть Народную академию.

Отец уже немало говорил о ней. Легкое сомнение и колебание мелькнуло на лице забойщика; он ведь человек житейски опытный. Но тут же, поборов себя, Мельченко горячо ответил:

— Ну и поможем.

Легко сказать, поможем!

Землянки наши низкие, тесные, без стекол и дверей, скучены возле скотного двора и конюшен, откуда, несмотря на сушь, постоянно несет чем-то мокрым, едким, кислым. Все это бы ничего, но после дождей в землянках развелась всевозможная нечисть, которую мы всю ночь не можем передавить.

Во всех углах, под нарами, в растрескавшейся печи ловим длинных и проворных скорпионов. Казахи, улыбаясь, утверждают, что летом укус «чаяна» не смертелен. Возможно, но терпеть ужасные муки трудно. Я видел, как величественный, мускулистый забойщик Неполев после укуса прянул до потолка, побледнел, покрылся весь потом и рухнул на пол.

Мой отец, держа в руке раздавленное насекомое, сказал:

— Скорпион! Сколько понятий! Люди словно бесконечно долго искали — к чему бы приложить это странное слово. Один из знаков Зодиака — и монгольский цикличный знак. Старинное орудие пытки — и, несколько веков спустя, издательство символистов в России. Осадное орудие древних — и вот это паукообразное, что вывело из работы здоровеннейшего забойщика!

Отец поднес скорпиона ближе к глазам.

— Какое, в сущности, крошечное существо и сколько

яда! И сколько славы! А не кусайся — быть бы тебе одним из насекомых, имена которых известны лишь ученым, изучающим фауну Средней Азии. Увы! Люди лучше всего знают тех, кто источает яд и сеет смерть.

Той же ночью я проснулся, почувствовав на груди что-то тяжелое и холодное. В ужасе, почти потеряв сознание, я замер.

Через меня медленно, как бы смущенно и взволнованно, как бы думая: «Не обнять ли его?» — ползла огромная, двухаршинная змея!

Сверкнув зеленовато под светом луны, она скрылась в углу.

Я соскочил с нар, схватил свое одеялишко и вылетел из землянки.

Бросив одеяло на дорогу, я лег, весь дрожа.

И вспомнил: казахи кладут волосяную веревку вокруг себя, когда спят в местах, где много змей. Змея, будто бы боясь уколоться о конский волос, не переползает через веревку. Снял веревку с ворота колодца. Наслаждаясь ее колючестью, расстелил вокруг своего одеяла — и в два ряда.

Наткнувшись на меня утром, отец мой сказал:

— Нет нужды напоминать мне так странно о твоем желании идти к инженеру Двуконю. Убежден, ты уговоришь его дать помещение Народной академии.

— Помещение! У нас нет ни учебных пособий, ни книг, ни даже клочка бумаги, не говоря уже о чернилах, ручках и карандашах.

— Зато есть память! Древние недаром называли Мнемозину матерью муз. Просвещение — тоже ведь муза, хотя она и отсутствует в мифологии и не воспета Овидием.

НАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ

Сбоку от конюшен, возле рудного двора, куда к бункерам мы гоняли свои вагонетки, когда-то работала опытная обогатительная фабричка, конечно заводского размера, и стояла опробовательная, снабженная хорошими немецкими аппаратами. После того как выяснилось, что руда Ак-Таша низкого качества, что в горизонтах крайне редко попадаются «гнезда» или «карманы» богатой руды, дальнейшее разведочное бурение было прекращено, обогатительную фабричку забросили, не-

мецкие аппараты из опробовательной продали, руду велели сортировать ручным способом, а пробы брать обычным инструментом. Опробование делал старичок пробщик Егоров, преимущественно «на язык» и «на глаз». Крыша фабрички обрушилась, железо и стекло унесли, полы выломали, остались одни голые стены.

Сюда-то и вел нас мой отец.

Он говорил инженеру Двуконю, забойщику Мельченко и его приятелям:

— Подобно Платону или тем рассказчикам героических саг, которых мне привелось слушать на истертых, выцветших коврах, постеленных вдоль глиняного берега хауза под тенью широкого карагача в Бухаре, мы могли бы начать занятия нашей академии прямо под открытым небом, без крыши. В Бухаре я видел веера листьев, чуть колеблемых ветром на зеленой водной поверхности хауза, а за ним, под сенью базара, игру шелков, изделий из меди и серебра, кожи, глины, а еще дальше — широкие ворота с узким выходом, через который пробирались, крича и стеная, разноцветные караваны. Это прекрасно! Но и то, что мы увидим через двери нашей академии, будет еще более прекрасным.

— Что тут прекрасного? — вяло пробормотал инженер Двуконь. — Степь, река, гора да пыль.

Взгляды и жесты моего отца стали почти вызывающими.

— Нет, есть прекрасное! Русские банкиры, помещики и купцы колонизируют Семиречье, и, как видите,— указал он вниз на тракт, откуда донеслась стародавняя, живучая солдатская песня, — они хотели бы колонизировать и Синьцзянь. Но русские инженеры, техники и рабочие, которые вынуждены работать на этих разбойников, несут с собой элементы культуры. Вот это и прекрасно! Я знаю, у вас, господин Двуконь, семейное несчастье, но, несмотря на это, несмотря на воскресенье, вы идете, чтобы предоставить мне в аренду помещение бывшей обогатительной фабрики, где мы создадим Народную академию.

Инженер отозвался грустно и почтительно:

— Образованнейший вы человек, господин Иванов, но какая в этой пустыне академия? Откуда?

— Отовсюду! От нас, от вас, даже от этого моста. Да, через Ак-Таш перекидывается мост, на каменные устои поставлены фермы, и, того гляди, гудок паровоза,

пересекающего реку, отразится эхом в берегах, где сейчас вы найдете лишь гнезда стрижей. Эхо несет нам культуру! Да, Калмыков, архимандрит Михаил, князь Малицын переедут на тот берег на паровозе. Ничего пока не поделаешь! Но благодаря железной дороге на тот берег переедет Пушкин, Некрасов, Гоголь, не говоря уже о других менее знаменитых людях, но не менее хороших, добрых, честных, благородных. Жизнь очень сложна. Плохое часто пересиливает хорошее. Но в конце концов хорошее побеждает. И здесь победит! И здесь построит академию, создаст великую культуру, которой, быть может, предстоит восхищаться всему миру!

— Уж и всему!

— А вот увидите!

Мы остановились перед развалинами. Горы мусора и обломков заполняли здание. Вонью несло оттуда страшной. Отец пошатнулся и, схватившись за дверной косяк, сказал:

— Наш народ неприхотлив. Однако надо принять во внимание, что у каждого народа есть свои привычки. Русские и казахи, вследствие климатических условий, не привыкли воспринимать науку под открытым небом. Кстати, я предлагаю более точное название: *«Русско-казахская народная академия»*. Каково? Именно казахская, а не киргизская. Мы называем киргизами казахов по невежеству. Нужно подчеркнуть, что мы уважаем этот народ и называем его так, как он сам себя называет.

Помолчав, он спросил:

— Но нам нужна крыша! Сколько, Мельченко, потребуется двухтавровых балок с широкими полками?

— Поначалу не менее пяти, Вячеслав Алексеич.

— Вы, господин инженер, одолжите их заимообразно?

— Оплатите?

— Да. Академия создается на коммерческой основе! Обучение — платное, посещение спектаклей — платное. Будут еще лекции с волшебным фонарем; туда предполагаю пускать бесплатно.

Инженер нерадостно усмехнулся.

— А какая плата за обучение в месяц?

— Десять рублей.

— Конюхи и возчики, на своих харчах, получают пятнадцать. Откатчики — не больше...

— Они будут платить десять в месяц!

— Тогда возьму за аренду не меньше пятидесяти.

— Сносно.

Инженер проговорил в раздумье:

— Вы — чудодей, господин Иванов.

Мой отец ответил скромно и просто:

— Я — студент Лазаревского института. Там имеются бо́льшие чудодеи, чем я. Прошу вас, господин инженер-управитель, велите конторе заготовить арендный договор на пять лет.

— Кого же вы намерены выпускать из академии через пять лет? — спросил инженер с худо скрываемой ревностью. — Уж не инженеров ли?

— Просто настоящих людей, — ответил мой отец.

Когда инженер ушел, я спросил в недоумении:

— Действительно, отец, откуда нищему взять десять рублей?

— Из своего будущего.

— То есть?

— Мы будем учить их под расписки! Уверен, что через пятьдесят лет рабочие будут в состоянии оплатить их.

— А инженеру ты оплатишь аренду теми же расписками?

— Само собой!

— Он не примет.

— Посмотрел бы я на него, как он не примет! — воскликнул мой отец, сверкая сузившимися глазами. — Эти расписки вернее ассигнаций Государственного банка Российской империи.

Удивительнее всего, что инженер «принял» расписки. Веселая смелость, присущая моему отцу, покорила его.

— Я верю на слово, договора никакого не нужно, расписки беру на всякий случай, — сказал он.

Развалины мы расчищали по ночам. Перед рассветом я засыпал от усталости тут же, на какой-нибудь куче мусора, возле своей тачки, с лопатой или ломом в руке.

А как трудно было идти затем к своей тележке, гнать ее к штольне и через штольню — к откаточным штрекам! В голове гудело, губы и глаза слипались, ноги подкашивались, и все вокруг дрожало в немой палевой дымке!

Когда вагонетка наполнялась рудой и десятник по откачке кричал: «Гони!» — тело мое пропитывалось такой чудовищной сонливой истомой, что казалось, освободи меня сейчас от работы на год, я его просплю бес-

просыпно! Я тряс головой, напрягался, — и вагонетка трогалась!

Откатчики теперь совсем не дразнили меня. Прежде, гоняя свою тележку, я думал, что, пожалуй, мне надо быть им признательным. Побои, оказывается, — особенно если избитое место не ноет, а мозжит, — лучшее средство от несчастной любви. Тогда редко вспоминал я Василису Глебовну.

Сейчас, хотя я и очень сильно уставал на расчистке, не говоря уже об откатке, мне чаще рисовался ее образ, слышалась всюду ее слегка протяжная речь.

Но дело, пожалуй, и не в избиении, а в том, что Народная академия, в которую я поверил, делала меня ро́вней Василисе Глебовне, хотя бы по образованию.

К воскресенью мы расчистили фабричку, подняли балки, соорудили что-то вроде каркаса крыши и застлали ее камышом. Пол мы утрамбовали и для красоты засыпали искрящейся мелкой рудой, «свинцовым блеском». Соорудили скамейки, нечто похожее на помост, который я назвал «сценой»; принесли и поставили сюда наш стол из землянки, предварительно выскоблив его и вымыв щелоком.

Сколотили огромную раму, обили ее кусками ржавого железа, проолифили их, покрыли легким слоем белой краски, а затем по белому фону мой отец вывел суриком крупную славянскую вязь: *«Русско-казахская народная академия»!*

Был рассвет, и было воскресенье.

Горы еще строги по-ночному. Еще по-ночному южные склоны темны, и скалы их похожи на мачты. Отвернешься от скал, взглянешь на север, туда, где уже пылает вся опять залитая солнцем пустыня Муюн-Кум. Пьянеешь, глядя на желтоватую синеву реки, скрывающуюся в камышах, которые колеблет ветер! Утки, гуси снимаются с озер и летят к горам, на северные склоны, к посевам. Песчаные бугры за Святой долиной похожи на темные колпаки, снятые со скал Ак-Таша и брошенные в степь.

Светлеет. За рекой паломники пробираются к Святой долине. По тракту скрипят военные обозы, но на мосту и железнодорожной насыпи — тихо. Начинает шуметь базар в поселке.

Мы долго любуемся нашей вывеской, и отец мой говорит:

— Завтра, в воскресенье, откроем моей лекцией о народных академиях, которые создает сам народ. Народ подыскивает себе учителей, не ожидая никакой помощи от власти.

Мельченко сказал:

— Воскресенье уже началось!

— Я не верю, что началось, — сказал мой отец, полузакрывая свои прекрасные глаза. — Я не верю, что работа наша окончена, что я могу войти в дом академии, что сюда могут войти мои ученики! Только теперь я понял выражение: «Не веря своему счастью». Я не верю моему счастью — и в то же время верю. Это — великолепно!

Я замешкался перед нашей землянкой, куда мы пришли завтракать. Мой отец уже вошел туда.

И вдруг я услышал его необыкновенно взволнованный и радостный голос.

— Всеволод, сын Всеволод!

Я вбежал в землянку.

Посреди стоял мой отец, простирая дрожащие руки к нарам. Лицо его было очень бледно, из глаз текли слезы, он ничего не мог выговорить.

В углу на левых нарах, где мы обычно спали, я увидел мои книги, тетради, грим, парики, факирские принадлежности, а поодаль выглаженный и вычищенный мундир моего отца!

— Проняли! — воскликнул отец.

«МЕЖ ВАМИ И НАМИ — ПРОПАСТЬ С КАМНЯМИ»

Кашляя и задыхаясь, я проснулся. Землянка была наполнена неодолимым табачным дымом. Мой отец яростно курил. Кисет, полный перед тем, как я лег вздремнуть на нары, теперь был пуст. Пытаясь развеять дым руками, я спросил:

— Что ты делал?

— Размышлял.

— О своей лекции?

— До нее далеко, часов пять.

— Сколько же я спал?

— Час, наверное.

— Здоров ты курить!

— Здоровы думы. Мы с тобой, сынок, сильно прошумели. Не говоря о том, сколько рудокопов пришло

нам помогать на расчистку, даже откатчики образумились. Но нельзя людей, поистине жаждущих просвещения, насытить только моими лекциями. Поэтому я недавно написал в Верный, прося прислать какую-нибудь пьесу.

— Пьесу? Кто же ее тут будет играть?

— Те, кого ты научишь, сынок. Мои речи, разумеется, полезны, но рудокопам пора учиться говорить самим. Для начала — хотя бы чужие слова. Когда благодаря спектаклю они переместятся и во времени и в пространстве, им нетрудно будет подняться и в собственном мнении, и в мнении других. Кроме того, театр умеет внушать высокие мысли, которые в жизни встречаются редко. Обладателю высоких слов легче учиться. Нам к учению нужно привлекать их всеми способами, помня — если трудно привлечь детей, то взрослых — еще труднее. Я, например, намерен взывать к их мужеству. Скажем, им никогда не получить «зеленый клин» из чужих рук! Сами должны добиться. Но для этого нужно мужество, мужество, мужество! Или, скажем, Народная академия. Она, по-видимому, просуществует недолго: полиция ее прикроет. Значит, им надо успеть взять от нее как можно больше, чтобы легче разглядеть будущее. Когда жизнь не сладка, человек мечтает, что завтра она будет лучше. Возьмем наш рудник. Какое, казалось, у него будущее? А старики рудокопы утверждают, что в горах Ак-Таша много свинца. Калмыков либо сам скрывает это, либо от него скрывают другие. А я больше верю интуиции стариков рудокопов, чем словам инженера Двуконя. Да, он хороший, но из-за своей хорошести спился. Я его как-то упрекнул, а он мне ответил: «Я поступил по собственной воле, отдавшись любви, а кто поступает так, не должен раскаиваться». Любовь и воля — понятия несовместимые.

Отец посмотрел в кисет.

— Схожу-ка я в поселок за табачком. А ты?

Он вышел на порог.

— Ты, — спрашиваю, — пойдешь со мной в поселок? Нет. Хочешь еще соснуть? А я-то думал, тебя интересует цирк. Какой цирк? Почтальон вез почту и сказал мне, что он обогнал на тракте цирк Коромыслова, направляющийся в Арысь.

Я вскочил.

— А вдруг цирк уже проехал?

— Не думаю.

Мы спускались по пыльной, ярко-желтой дороге к тракту. Мой отец, вздыхая, говорил:

— Вспомнил — однажды как-то Салазкин, говоря о своем повертоне, сказал: «Придет он, повертон, и молвит ропщуще: «Между нами и вами — пропасть с камнями». И тогда — крышка!»

— Кому?

— Я тоже спросил — кому? Он мне не ответил. Ну, я-то понял. Салазкину, Калмыкову, Малицыну. Вот об этом-то и скажу в своей вступительной лекции. Разумеется, лексикон мой не похож на лексикон Скурлатова, зато мысли похожи, а это будет, пожалуй, по душе рудокопам, как ты думаешь?

И он рассмеялся.

— Скурлатов будет тебе признателен, папа.

— А я ему — еще больше. Учиться никогда не поздно. Особенно — учителю.

Мы остановились на тракте, возле запыленных кустов ежевики. Вдали сверкало, пело, пылило. Приглядевшись, мы увидели крестный ход. В старожильческом селе Крутиха, верстах в десяти от нас, был престольный праздник, и крестный ход, по-видимому, шел оттуда в Святую долину.

— А представь,— сказал мой отец,— какая будет давка, если в Святой долине откроются мощи! Какая драка!

Крестный ход приближался. Старухи с мертвыми лицами несли неподвижные позолоченные хоругви. Мужики повелительно поднимали металлические кресты. Чистые женские голоса пели что-то о милости. Четыре старика, неустойчиво ступая, поддерживали носилки, на которых покачивалась икона Предвечного в серебряной ризе с широко открытыми глазами, налитыми холодной яростью. Икона, вероятно, считалась чудотворной: встречные при виде ее ложились в пыль, богомольцы клали перед нею больных, а возчики просили священника окропить возы.

Когда крестный ход миновал нас, мой отец проговорил:

— Вот точно такие же крестные ходы были и у несториан, и точно так же они просили бога о снисхождении, жалости, о богатстве и славе. Увы! Славу несторианам принесли не их крестные ходы, а ссора с Византией.

Крестный ход скрылся, пыль улеглась, мы присели на камень, и отец мог безмятежно, сколько ему хотелось, говорить о несторианах и Византии. Я не слушал его. Я растерянно поглядывал на тракт: оборванный, нестриженый, смею ли показываться нарядным и чистым артистам цирка?

— Ссора началась на соборе в прискорбный четыреста тридцать первый год, когда Ива, епископ Эдесский, вместе с другими священнослужителями признал, что осуждение Нестория является порицанием всему восточному богословию. Но так ли это? Одно из больших монгольских племен Средней Азии образовало несторианское государство, центр которого находился где-то вот здесь, неподалеку... Цирк?

— Нет, казачий обоз.

Отец продолжал:

— К тринадцатому веку несторианский патриарх имел под своей властью двадцать пять митрополий и около ста пятидесяти епископий! Подумай-ка! Вот бы Калмыковым да те времена! Теперь-то виден, несомненно, цирк! Нет, какая-то таратайка. А сколько пыли! Спешит. — И отец, помолчав, закончил свою мысль. — История тоже спешит: царства падают, религии погибают. Таков закон жизни. Государства смертны, религии и народы сменяют друг друга, — один лишь разум наш развивается и крепнет. Поэтому мне хоть и печально, что в Семиречье исчезло богатое несторианское государство, сокрушенное ударом бесчисленных полчищ Тамерлана, и что несториане вынуждены были отсюда уйти в недоступные горы Курдистана, в Сирию, Месопотамию, что часть из них присоединилась к католической церкви, а другая часть, именующая себя асиро-халдеями, в тысяча восемьсот девяносто восьмом году вступила в унию с российским православием, — я примиряюсь с этим и радуюсь, что на протяжении многих лет, в которые погибала несторианская церковь, все равно разум и совесть человека достигли великого могущества!

НА ТРАКТЕ

Таратайка приблизилась. Какой-то запыленный человек в суконной накидке и соломенном канотье, сидя на пухлом кожаном чемодане, с вялым недоумением

поглядывал на сверкающие белые камни и на кусты ежевики, среди которой мы стояли. Мой отец, пропустив таратайку, спросил:

— Тебя не поразил его нос?

— Нет.

— И, однако, человек этот крайне верит в свой нос, хотя в нем нет ничего поразительного.

— Кто он?

— Собственный корреспондент столичной газеты.

— А зачем сюда?

— Когда невежественные богомолки идут в Святую долину, чтобы нюхать миро, источаемое мощами апостола, они не столько доверяют своему носу, сколько своей вере. И если бы даже в степи пахло, извини, кизяком, они все равно утверждали бы, что пахнет миро! В этом преимущество веры перед опытом. Но вот едет корреспондент, человек без веры, без опыта, зато с великой способностью ко лжи. Ему велено описать благовоние, источаемое степью. Но степь пахнет только полынью. И, однако, он ссылаясь на свой нос, опишет этот запах полыни, как запах миро, лучше, чем тысячи богомолок! Ужасно. Э, а это что клубится? Узнаю, Всеволод! Постой, ты куда?

Я оглядел свои потрескавшиеся руки и ноги, пощупал лицо, запыленное дорожной пылью, смешанной с грязью шахты, — и когда цирк приблизился и отец подошел к дороге, меня не было возле него. Я залез в кусты.

Караван остановился. Многие из циркачей знали моего отца, а кроме того, им хотелось расспросить о поселке: у кого квартировать, какие цены на продукты, много ли здесь зарабатывают и многие ли пойдут в цирк? Отец утверждал, что тут люди сплошь хорошо зарабатывающие, продукты и квартиры дешевые, и вообще благоденствие — раз открывают Народную академию! Он забыл, что еще совсем недавно утверждал, что: «Между нами и вами — пропасть с камнями»!

Как ни в чем не бывало продолжал он свои исторические размышления, только теперь он обращался к актрисе Синицыной: из кустов я видел покачивающиеся поля сиреневой шляпки.

— Возле почтовой станции Ак-Чулак, — да, запишите, пожалуйста, — настойчиво советую посетить развалины Ахтыр-Таша. Их нужно смотреть скорее, камни

исчезают и исчезнут совсем, когда попадут в руки строителям железной дороги или какого-нибудь рудника. А между тем это самый величественный памятник древности в Средней Азии. Огромные темно-красные камни, украшенные дивной резьбой, заполняют пространство в семьсот квадратных саженей. Здание не закончено. Может быть, помешали полчища врагов, а может быть, что-нибудь другое. Рядом, па холмах, вы найдете много таких камней, приготовленных для здания. С лицевой стороны в них выдолблено четырехугольное углубление, из-за которого народ и назвал эти развалины «Каменными яслями». Еще недавно я связывал их с местопребыванием пресвитера Иоанна и апостола Фомы, но теперь раскаиваюсь. Я заблуждался. Дело в том...

— А где ваш сын?

— Он готовится к открытию Народной академии.

— Вот как! Значит, он уехал в Петербург?

— Нет, академия находится здесь, неподалеку.

— Следовательно, ваш сын отказался и от театра и от цирка?

— По-видимому. — И мой отец сказал столь любезно, что Синицына ему, несомненно, не поверила: — Я особенно жалею, что он ушел из цирка. Я так люблю цирковую арену! До свидания!

Последняя повозка цирка исчезла за поворотом. Я вылез из ежевичника. Отец, словно ничего не заметив, продолжал свои рассуждения об Ахтыр-Таше.

Мое волнение улеглось, и я разглядел то, чего не заметил мой отец. Я сказал, насколько мог весело и естественно:

— По-моему, экипажи с несторианами и фомистами.

Если мой отец считал возможным показаться цирку в нижнем белье, которое, правда, от рудничной грязи превратилось уже в верхнее, перед несторианами и фомистами он никак не мог предстать в таком виде.

Он порывисто вышел на середину дороги и, возбужденно помахивая руками, внимательно посмотрел вдаль. Затем он прошел мимо меня печальным и решительным шагом.

— Прими их без меня, — сказал он, уходя, — я ведь принял твой цирк без тебя.

Самым красивым, синим, лакированным, вкусно поскрипывающим экипажем был, несомненно, тарантас архимандрита Михаила. И как красиво возвышался

архимандрит в этом тарантасе, окруженный несторианами и фомистами! И какой великолепный кожаный верх у его тарантаса! Я очень жалел, что отец мой не мог видеть всего этого. Он сидел в кустах, прикрываясь теми ветвями, с которых я совсем недавно стряхнул пыль своим телом.

Экипажи спускались к реке. Они направлялись в Святую долину. Мой отец вышел из кустов. Добродушно улыбаясь, он сказал:

— Нам, кажись, придется лезть в кусты обоим. Едут Калмыковы.

— Но мы ведь пришли говорить не с Калмыковыми, а с цирком. Значит, мы можем уйти в поселок, — сказал я. — Да, впрочем, они нас и не узнают.

Мы остались. Отец ждал повторного приглашения на свадьбу. Я... трудно было сказать, чего и кого я ждал!

Пока калмыковская коляска вежливо, не пыля и не поскрипывая, плыла мимо нас, мой отец успел громко спросить:

— Мейстера не вижу, где он, господа?

Старик Калмыков и не выглянул, Анастасия Николаевна дремала, Графушка лежала, прикрывшись пледом, князь Малицын и Борис Глебыч возлежали молча не то от презрения, не то от опьянения, а может быть, и от того и от другого вместе. Василиса Глебовна, прямая, стройная, глядела строго вперед. Едкое ощущение холода и пустоты заполнило меня.

В горах заржал конь. Нубия?..

Василиса Глебовна обернулась и словно бы подалась из коляски. Она страстно прижала к груди свои руки, и я тогда, как бы избегая ее прикосновения, отклонился всем телом. Она опять опустилась на кожаную подушку коляски. Или мне все это пригрезилось?..

Наконец появился Нура. Он ехал верхом, ведя в поводу тулпара Сквозного. Пустая повязка болталась у него на груди. Больная рука все же держала плеть.

— Здравствуй, друг! — крикнул он радостно.— И ты здравствуй, учитель! Где ваш тулпар?

— Рыжик? Ждем.

— Гонять будем. Бега. Свадьба. Мост откроют к свадьбе.

— А он — ничего?

— Кто? Мост? По-моему, ничего, а по-твоему, друг?

— И по-моему — ничего. Выстоит.

— Выстоит. Калмыков — разбойник, но строит крепко. А тебе что, тут нехорошее про мост говорили?

— Нет, там, возле Пишпека.

— Ага. Ошибаются, поди. Издали все чужое хуже.

— Рука, значит, заживает, Нура? — спросил я.

— Сохнет, — ответил он весело.

— Чему же радуешься?

— Рука — что, пустяк. Тигр голову мог оторвать. И добавил, ухмыльнувшись:

— А ты зря торопился из Балхаша. Надо было ждать, охотиться. Женщина, говорят старики, тигр — сердцем и овца — телом.

— Позволь, но я о тебе заботился, о твоей раненой руке, потому ведь и торопился.

— Верно. Спасибо.

— А что слышно в Верном? Чапе? Щепетников? Скурлатов? Мейстер?

— Мейстер тут.

— Как тут? В поселке?

— Не знаю, в поселке или на склонах, но он взялся за суд против Калмыкова.

Мы были поражены. Мой отец, глядя на Нуру широко открытыми глазами, спросил:

— В чем же Мейстер обвиняет Глеба Ивановича?

— Северные склоны, ты знаешь, имеют много воды. Южные склоны — мало. Когда-то, несколько лет назад, южным склонам понадобилась вода. Они попросили у северных. Те говорят: «Мы воду дадим, только одному нашему знакомому Калмыкову надо немного земли. Вы — землю, мы — воду». Хорошо. Написали бумагу. А теперь срок этой бумаги выходит. Ну, Калмыков и говорит: «Земля получена мною от северных и южных одновременно, срок аренды не указан, а указано «впредь до окончания потребностей». Потребность, мол, не окончилась. Северные склоны не протестуют, зачем южным протестовать? Я землю не отдам». Ни один адвокат не брался: Калмыкова боялись. Мейстер и говорит: «Буду вести суд».

— Вот оно что! — воскликнул отец.

— А разве вы не слышали? — спросил Нура.

В штольнях у нас казахи не работали. Было несколько пастухов, дровосеков, косцов, человек пять что-то делали в конюшнях. Но все это был народ при-

шлый, из степи, поэтому о процессе южных склонов они говорили мало, и мы слышали о нем лишь смутно.

— А Чапе, Щепетников, Скурлатов? — повторил я.

Нура ответил:

— О Скурлатове я от вас хотел услышать. Его вроде в Верном нет. Чапе освободили. Щепетникова, передают, тоже скоро отпустят. Обвинений много, улик нет. Салазкин совсем высох. Про него говорят: он донес. Ха-ха! Умрет со страху, когда Щепетников выйдет, тот умеет пьянеть от злости, а что с пьяного возьмешь? Ха-ха!

— А Чапе где?

— Чапе здесь, на склонах. Ханыке, дети тоже здесь. Ха-ха! Вы совсем мало знаете! Ха-ха!

Мой отец проговорил:

— Добываем свинец. А из свинца льют пули. А пули, как тебе известно, усмиряют прыть.

— Вас усмиришь, как же! — заорал Нура. — Вы, я слышал, школу русско-казахскую открываете? Из нее богатыри русские и казахские выйдут! Аллах да будет с вами, богатыри!

И он, весело смеясь, отъехал.

Отец, качая головой, долго молчал. Наконец, оглядев меня и себя, сказал:

— От пыли наша одежда стала совсем смирного цвета.

Его слова выразительны. Не только наша одежда, но и наши лица, овал которых приобрел острые углы, свойственные скелетам, тоже стали чрезвычайно смирного цвета.

— Что же, вернемся, сын? Нагляделись?

Мы свернули к руднику. Резкий, охрипший голос окликнул нас с тракта. Еще не повернувшись на этот голос, я узнал его.

— Кузя? Жив?

— Жив, жив, ахтер мой неумытый!

Впереди обоза, как всегда, шел Митяич, строгий возчик. Я побежал к обозу. Возчики загорели, обветрили, и, глядя с радостью на их лица, я вдруг понял, что жара стоит нестерпимая.

Я предложил возчикам свернуть с тракта, пустить коней пастись, а самим идти к нам пить чай. Раздались беспорядочные голоса. Свернуть можно, хоть и торопятся: везут припасы для свадьбы. Строгий возчик внимательно слушал своих подчиненных, а затем укориз-

ненно скосил глаза, покачал головой и протяжно выругался:

— Про геммадиновских приказчиков забыли? Геммадинов — зверь, зол.

В хвосте обоза шли четыре подводы, принадлежащие Геммадинову.

— А что везут?

— Чертей, — сказал Кузя с громким смехом. — Пониже моста Геммадинов отхватил себе местечко: строит мельницу. Мельничные припасы, сказывают, везут. А раз мельница, значит, запруда, а раз запруда — в омуте водяные черти. Вот и выходит, что чертей везут. Кабы не геммадиновские, мы к тебе непременно бы, неумытый ахтер, свернули. Ты нам по вкусу. Придем вечером. Верно?

— Верно, — отозвался строгий возчик и шагнул вперед с тем решительным видом, с каким он вел обоз из Омска в Семипалатинск.

ПЕРЕД ЛЕКЦИЕЙ МОЕГО ОТЦА

Мой отец не спеша раскрыл пакет, присланный ему по почте из Верного, как я понял, от Измайловых. Там — пачка газет и тетради, заполненные аккуратным канцелярским почерком: пьеса «Шахтерская слободка». Отец, развертывая газеты, крякнул от восхищения. Но скоро досада отразилась на его лице, и он отложил газеты в сторону.

— Они правильно поняли мой замысел академии и дают хорошие советы, но я не умею читать вслух газеты рабочим!

— Замысел? Кто же, по-твоему, первым придумал Народную академию?

— Не важно.

— Нет, важно. Скурлатов.

— Мысли о ней мне, собственно, были навеяны чтением Песталоцци.

— Кто это?

Отец воскликнул в изумлении не своим голосом:

— Постой! Ты серьезно не знаешь, кто такой Песталоцци?

— Мне не известен Песталоцци.

— А я-то думал, что делаю из тебя преподавателя!

И, тотчас же успокоившись, продолжал:

— Хотя это и подчеркивает твое вопиющее невежество, но все же в тебе есть задатки воспитателя. Откатчики, скажем, относятся к тебе теперь значительно лучше, чем вначале. Кто вернул мой мундир и твои факирские принадлежности?

— Просто, видя, что забойщики уважают тебя, и боясь, что ты им нажалуешься, откатчики притихли.

— Не скажи, не скажи! Когда в своей вступительной речи я коснусь того, как, стремясь к науке, развивают силу воли, я сошлюсь на тебя. Если человек не злоупотребляет своими мускулами, не пьет, не курит, не посещает публичных — это лучший образец человека в данных условиях. Жаль, что ни у одного из моих слушателей не было случая присутствовать при драке у станицы Сушкинской. Но они поверят моему рассказу, что ты храбр.

Он опять углубился в газету. Лицо его помрачнело.

— Думал я: почитаю газету, развлекусь сыскным романом, уголовной хроникой или каким-нибудь банковским крахом. А что я в ней нашел? Забастовки, расчеты, локауты, сборы в фонд бастующих и на свой печатный орган — орган рабочих. Это, конечно, разумно — почему, если есть органы купцов, банкиров, аристократов, не быть печатному органу рабочих? Это разумно, но скучно.

Он показал мне газету.

— Большевистская?

Политические термины в устах моего отца всегда звучали несколько странно. Улыбнувшись, я ответил:

— Да.

— И, может быть, даже подпольная?

— Для подпольной велика.

— Тогда — заграничная?

— Есть петербургский адрес.

— Ты сам печатник, знаешь, что не трудно напечатать любой адрес.

Мы подмели нашу Народную академию и, любуясь ею, уселись на помост. Пустая, она красива, но как же будет она прекрасна, когда наполнится людьми! Отец достал кисет, свернул папироску, оставил кисет на столе.

— А еще скучней без газеты.

И он опять развернул газетные листы. На этот раз читал он недолго и, что-то решив, поднялся.

— Измайловы просят читать эту газету вслух русским рудокопам. А также перевести киргизам... казахам, — поправился он.

— Они доверяют нам. Номера газеты — редки: на них наложен арест.

— Все равно, какой я чтец!

— Твое дело.

— Не желаю читать! Я не агитатор. Я сюда пришел не баррикады строить.

— Разумеется.

— Что разумеется?

— Какой из тебя строитель баррикад!

— А из тебя?

— Из меня — тоже.

— А почему ты не стремишься? Ну, допустим, я — пожилой, у меня старинное воспитание, я наконец устал от жизни, а ты — молод, полон сил. Ведь дело-то все равно кончится баррикадами? Уж лучше сразу.

— Что сразу?

Он посмотрел на мое смеющееся лицо и нахмурился.

— Ты это брось!

— Что брось?

— Наводящие свои вопросы. И что мне эта газета? Главное, в голове уже созрела речь, вполне самостоятельная, а тут — газета! Я смотрю на нее с ужасом, задыхаясь. Стачки, локауты, синдикаты...

— Какие синдикаты?

— А ты прочти вот, прочти, что синдикат «Медь» на своих уральских заводах устраивает. Едва завод войдет в синдикат, ему приказывают понизить расценки и принять во внимание «черные списки». Тебе известно, что мы с тобой тоже в черном списке?

— Толкуй!

— Вот тебе и толкуй. Двуконь сознался, а ему — пристав: «Если придут такие-то — прочь! Неблагонадежные, в черном списке». Студента Лазаревского института — в черный список!

— Студент Лазаревского института — принц крови, что ли?

— Выше! — в ярости закричал мой отец.

Его терзало тяжелое, злое чувство, редко владевшее им. Он стоял против меня с очень серьезным лицом.

Разумеется, отец отчасти боялся выступать перед этой хмурой и строгой толпой, которая соберется на открытие Народной академии, и выступать не по вопросам, скажем, церковной истории, в которой он был силен и высказывал свои знания всегда с наслаждением, а выступать по политическому и крайне злободневному вопросу о стачках! Отец не боялся полиции, он боялся самого себя — вдруг провалится? Поэтому глаза его засветились надеждой, когда я стал ухмыляться. Он полагал, что я предложу выступить вместо него. Отец признанный рассказчик и оратор, а я кто? Я холодел при мысли, что мне нужно говорить! Вот попроси меня прочесть стихи, я, может быть, и прочел бы наизусть всего «Евгения Онегина».

Он заговорил горячо, прижимая для убедительности руки к вискам:

— Никогда не быв рабочим, как мне воспламеняться буйными, озорными стачками, привольными мечтами, пробужденными их победой?

— Ты никогда не был несторианцем, и даже прапрадеды твои думать забыли о Нестории или Эдессе, а между тем ты вспоминаешь это крайне убедительно.

Отец растерялся. Он грустно взглянул на газету, потер виски и сказал:

— Ты прав в том, что мои рассуждения о Народной академии, если я ограничусь только ими, покажутся рабочим схоластическими. Для того, чтобы строить жизнь, нужно быть ближе к жизни! — Его возбуждение росло. — Раз я верю, что рудник расширяется, раз сюда явятся новые тысячи рабочих, мои действия должны вдохновлять их. Мы отремонтировали сарай. Они выстроят дворец! На месте нашего сарая! Пусть моя новая речь будет менее оригинальна, чем задуманная, пусть мое вдохновение притухнет, растворится в жизненных фактах...

— Факты не растворяют, а сгущают вдохновение!

— Не мешай!.. Пусть растворится мое вдохновение, как растворяется соль в воде, но я... нет, невозможно! Когда в Верном я хотел прочесть лекцию «В чем счастье и смысл жизни?», я совершенно твердо знал, что́ буду говорить. А вот теперь я не все еще знаю...

— В чем же счастье и смысл жизни?

— Здесь или в Верном?

— Здесь.

Отец подумал. На лбу его выступил пот. Он откинул назад мокрые волосы и ответил:

— Здесь — в борьбе с самодержавием и капитализмом.

— А в Верном?

Он рассмеялся:

— Тоже.

И добавил:

— Словом, я попытаюсь сказать речь.

ОТЕЦ ПРОИЗНОСИТ РЕЧЬ

И вот наша академия наполнилась людьми до предела. Я с умилением глядел на толпу. Зал неказист, а все же приятен. У нас не было ни средств, ни времени побелить стены, и они так и остались серыми. Зато потолок! С потолка свисали зеленые ленты камыша. Пахло апром, которым мы связывали камыш. Керосиновые лампы заметно чадили, и дрожащий свет их отражался на железных балках. Эти двухтавровые балки лежали ровно, матово, словно куски ночного неба среди бешено мчащихся туч.

Помост пуст. Отца моего нет. Слушатели, одетые во все праздничное, сидели неподвижно и спокойно. С противоположного конца зала были слышны шутки откатчиков. Время от времени какой-нибудь солидный забойщик поворачивался, косил брови, и откатчики замолкали. Стараясь скрыть свое волнение, я поднимался иногда на помост, убирал щепку, заметную только мне одному, и с помоста глядел на вход. Где отец? Почему он не идет? Неужели он испуган больше, чем я?

В переднем ряду сидели возчики, Нура и Чапе, широкоплечий, стройный казах с черными бровями. Возчики осматривались с любопытством, и, когда я проходил мимо них, я чувствовал на себе их нежные взгляды: «Мы всегда говорили: каков отец, таков и сын».

Наконец кто-то сказал громко и протяжно:

— Идет!

Через зал, в своем мундире, в тщательно заплатанных и разглаженных брюках, в начищенных ботинках, с фуражкой в левой руке, с газетами и бумагой — в правой, размеренно и не спеша шагая, шел мой отец. Он пересек зал, ни на кого не глядя, и в зале наступила удивительная тишина. Кто-то кашлянул, но стро-

гие голоса прикрикнули, и кашлявший, поперхнувшись, замолк. Все были бледны. Бледен был и мой отец.

Тяжело дыша, словно от быстрой ходьбы, он остановился у помоста. Действительно ли он волновался или, как опытный оратор, хотел передать волнение залу, не знаю. Ясно одно — он отдавал всю свою душу и сейчас уже ни капельки не сомневался, что зал примет ее.

Мой отец поднялся на помост, разложил по столу бумаги, взглянул на большую раму из дерева, обтянутую бумагой, за которой дежурил я и которая должна была служить мне впоследствии кулисами. Он знаком приказал подать стакан и графин с водой, затем достал большой праздничный кисет алого плиса, вышитый матерью, и не спеша положил его на стол.

Ни графина, ни стакана! Я принес выщербленную эмалированную кружку. Отец отпил глоток. Я хотел убрать его пустой кисет. Он остановил меня. В таких случаях, как сегодня, отец — опытный оратор — рассчитывает каждое свое движение. Он положил кисет,— из пустого кисета не накуришься, значит, кисет понадобится для чего-то другого.

Отец прищурился, словно стараясь разглядеть, все ли собрались, и начал вдруг на очень высокой, несвойственной ему ноте:

— Граждане России и Семиречья! Русские и казахи! Товарищи!

Дальше речь потекла мерно и торжественно. Он полностью овладел собой. Именно это его спокойствие действовало на слушателей гораздо сильнее, чем если б он кричал, волновался, бил себя кулаком в грудь и вообще был бы нетерпелив. Кроме того, во всем тоне его речи была грубая смелость обращения с понятиями, и она была близка его слушателям и нравилась им.

Он начал говорить не о Народной академии. И сразу же в голосе его зазвучала нарастающая злоба. Смуглое лицо его бледнело. Один из откатчиков, видимо продолжая шутку, начатую до прихода отца, прошептал что-то на ухо своему соседу. На этот шепот сразу обернулось несколько рядов, посмотревших на парня с такой укоризною, что тот мгновенно замолк и даже ссутулился.

— В стране нашей темные и мрачные люди всячески внедряют произвол и насилие. И зачинщиком произвола является правительство помещиков и капита-

листов. Если присмотреться к действиям правительства, то вы необыкновенно удивитесь, поразитесь, будете потрясены! Временами кажется, что правительство сошло с ума. Оно только тем и занимается, что подавляет «крамолу»!

Мой отец усмехнулся едкой, режущей глаза усмешкой.

— Крамола! Любое слово, любая свободная мысль рассматривается правительством как преступное посягательство на существующий государственный строй.

Отец, делавший до этого по сцене маленькие шажки, вдруг остановился, опустил голову, помолчал, словно собираясь с мыслями, затем поднял свое лицо, загоревшееся румянцем, и сказал с еще большим раздражением, чем прежде:

— Крамола — если вы сказали свое мнение о самых крошечных недостатках современного государственного строя. Солдатам шьют чересчур широкие панталоны, говорите вы — крамола! Вас обсчитывают, выдавая вам жалованье, вы негодуете — крамола! Чиновник грубит, кричит, кидается на вас с кулаками, вы даете ему сдачи — крамола! Вы сказали, что желательно уничтожить казнокрадство, обман, взятки, жестокое обращение с народом, вы пробуете указать способы, чтобы все это устранить,— крамола! Даже, наконец, если появляется общественный деятель, выдающийся по своей энергии, это тоже — крамола!

Отец опять пошел по помосту мелкими шажками, время от времени останавливаясь и чуть возвышая голос.

— У правительства имеются войска. Иногда, перепугавшись своих собственных восклицаний о крамоле, правительство считает нужным «поприжать». В край, который «поприжимают», стягиваются эти войска, и на основе каких-то временных правил, так сказать временного закона, объявляется положение «усиленной охраны». Эта усиленная охрана похожа на ту охрану, которую вводят в завоеванной и враждебной стране. Я слышал, что поговаривают об усиленной охране и у нас в Семиречье. О да, крамола у нас велика! Голод — тоже ведь крамола. Безземелица — крамола. Безработица — крамола! Этак само существование народа не трудно превратить в крамолу! Вы — крамола!

Мой отец вышел к рампе, поднял руку, простер ее в зал и громко спросил:

— Что же получилось в результате такой борьбы с крамолой?

Помолчав, он продолжал:

— Получилось, что власть и народ стали понятиями противоположными. Скажем, пристав сдирает с шахтера рубаху, шахтер — человек противоположный. Шахтер никак не должен ни рассуждать, ни протестовать против действий пристава. Предположим, что вот вы, сидящий сейчас в третьем или четвертом ряду, увидели, что государство катится в пропасть. Вы — человек противоположный! Вы не должны удерживать государство, об этом заботится начальство. Более того, если вы хотя бы словом обмолвитесь, что вы отчетливо видите, как государство катится в пропасть, вам заявят, что вы самовольно вмешиваетесь в государственные дела. Вы преступник, крамольник! Получилось, что собрались мы возле быстрой горной реки. По одну сторону — народ, по другую — власть. Власть занимается только тем, что стреляет в народ и строжайше приказывает ему: «На колени!» А народ...

Отец простер обе руки к залу и порывисто, громко, резко проговорил:

— А народ ут-верж-да-ет: пора наконец признать за мной законное право влиять на мои же судьбы!

Зал замер, вздохнул, а затем застучал ногами, захлопал, закричал. Гул был неудержимый, неукротимый! Глаза моего отца сияли, он дрожащими руками раскрыл газеты, присланные Скурлатовым.

Прочитав две-три строчки о забастовке где-нибудь в Донецком бассейне, в Харькове, на Урале, возле Екатеринбурга, в Иваново-Вознесенске, Туле, Омске или Иркутске, отец обрисовывал город несколькими, очень убедительными фразами. Мой отец знал города не только потому, что посещал там монастыри, живал на постоялых дворах и в ночлежных домах. Там-то он и встречал тех обездоленных и угнетенных рабочих, о которых говорил сейчас, рассказывая, как забастовкой или сбором денег на рабочую газету и в фонд бастующих борются они против низкого и жестокого обмана, против зверской грубости и невежества, владеющего огромной, сказочно богатой по своим возможностям Россией.

Отец рассказывал плавно, но тут вспылил:

— И нельзя допускать, чтобы эти сказочные возможности пропадали или помогли банкирам, заграничс-

ным и русским, превратить нас в колонию. Да, нужно создавать народные академии! Но нужно создавать, расширять и денежные фонды, которые помогают бастующим.

Мой отец слегка сконфузился и улыбнулся. Его волновала мысль — в какой мере удачно он доносит до сердец рабочих необходимость сбора денег в фонд бастующих? Это сложное и не простое дело. И он прибавил вполголоса:

— Когда говорится о сборе денег, необязательно думать, что непременно надо жертвовать десятки рублей или даже рубли. Иногда копейка, пожертвованная от всего сердца, дороже тысячи рублей, отданных с холодной душой.

Как он ненавидел холодные души! И как ему нравились эти взволнованные лица рабочих, слушавших его восхищенно и радостно. Ему жутко было от сознания, что понемногу он добивается своего и скоро прочтет все рабочие газеты, присланные ему Измайловыми, — конечно, в главных выдержках, — прочтет с тем выражением надежды и гордости за русских рабочих, которой ждали от него.

Тут мой отец вспомнил, что в зале сидят и рабочие казахи, — их было немало и среди возчиков, — и он немедленно и быстро перевел свою речь на казахский язык. Речь моего отца как бы пылала среди слушателей, отражаясь на их щеках румянцем счастья, восхищением. Отец между тем продолжал называть предприятия, которые бастовали. Назвав одно бастующее предприятие, он тут же из другой колонки газеты называл заводы и фабрики, которые посылали свои деньги в фонд бастующих. И чем больше называл он таких предприятий, тем взволнованнее чувствовала себя аудитория. Наконец он воскликнул:

— Пока мы еще не в газетной колонке бастующих, но мы должны быть там, в колонне тех, кто всеми силами помогает борцам за великое дело рабочего класса!

И он указал на стол.

В наступившем молчании послышалось, как кто-то в задних рядах восхищенно воскликнул:

— Молодец! Умеет сказать!

Это восклицание огромной теплотой всколыхнуло мое сердце.

Отец указал на стол, конечно забыв о своем кисете,

а может быть, как раз и не забыв. Этот плисовый кисет притягивал теперь к себе взоры.

Первым поднялся Нура. Он взошел на помост, приблизился к столу, раскрыл кисет, достал из кармана платок, в который были завернуты деньги. Я подошел ближе к столу. Нура тихо и почти неразборчиво пробормотал, что получил сегодня жалованье. Смех у него был неловкий. Нура смущался, но он понимал, что надо жертвовать на виду у всех, чтобы подать пример. И Нура положил в кисет моего отца свои деньги.

Вслед за Нурой на трибуну вышли возчики. Они раскрыли кожаные кошельки, не спеша достали стертые полтинники и рубли и положили их в кисет.

Зал зашумел. На помост стали подниматься рудокопы. Первым вышел Мельченко. Он положил деньги в кисет моего отца. Отец закрылся от него газетой. Он плакал. Мельченко потоптался, затем, несколько сконфуженно, подошел к моему отцу, отклонил газету,— тогда отец подставил ему губы, но Мельченко не осмелился поцеловать отца в губы, а поцеловал ему руку.

Даже Двуконь и тот что-то пожертвовал.

— Люди,— слышалось в толпе,— это — люди!

Вечер окончился. Народ расходился. Двуконь подошел к столу, на котором отец считал собранные деньги, и своим унылым голосом воскликнул:

— А вы, батенька, революционер!

— Я? — с совершенно искренним изумлением спросил мой отец. — Да вы не были, значит, на Горькой линии?

— Не был. А что?

— Все иртышское казачество считает меня монархистом.

— Вчера, наверно? Они бы послушали вас сегодня.

Инженер уныло захохотал.

Отец передал собранные деньги Мельченко, с тем чтобы тот переслал их по почте бастующим.

Шахтеры ушли, а мы все еще сидели за столом, глядя на зал академии, пустой и вместе с тем как бы все еще наполненный людьми. У стола топтался Чапе. Взволнованный, он сказал, что Ханыке тоже хотела прийти, но их, людей с южных склонов, позвал Мейстер: по делу против Калмыкова. Вот он, Чапе, слушал учителя Иванова и думал: хорошо бы учителю выступить на процессе. Ух, и туго бы пришлось Калмыкову!

Мой отец подошел к Чапе, крепко, искренне пожал ему руку и сказал:

— Когда вы увидите Мейстера в суде, вы поймете, что как оратор я в сравнении с ним ребенок.

Двуконь, глядя на нас тусклыми, ничего не говорящими глазами, промямлил:

— Ну, неделю-другую вас продержу, а там, чтоб не быть арестованными, вам лучше уйти.

— Донесут?

— Обязательно!

— Кто донесет? — спросил я с негодованием. — Откатчики? Никогда!

— Откатчики не донесут.

— Забойщики?

— И забойщики не донесут.

— Сортировщицы?

— Зачем — сортировщицы? К тому же они — женщины, а нет никого скрытнее женщин.

— Конторские?

— Да и конторские, пожалуй, не донесут.

— Сторожа, конюхи, возчики?

Двуконь покачал отрицательно головой.

— Но тогда некому!

— Про меня забыли. Мне велено доносить.

— Вы не пойдете на предательство!

— Я и прошу вас, господа, не толкать меня на него. Я — человек робкий. Отправляйтесь себе дальше. Вы куда, собственно, путь держите?

— В Индию, — ответил я.

— Час добрый. Там женщины не скрытны и поражают своей верностью.

Ночью отец разбудил меня. Босой, в длинной рубахе с расстегнутым воротом, он, стоя возле чадящей пятилинейной лампы, бормотал перепуганно:

— Как же это я, как же?

— А что? — спросил я полусонно.

— Да ведь я же речь произнес совсем будто Скурлатов! Такие речи кто имеет право держать? Организатор. А кого и как я могу организовать? Значит, зря болтал?

И, подумав минутку, тотчас же сам себя поспешно и весело успокоил:

— Зря болтают дураки, а речь умного всегда полезна.

Администрация вывесила у конторы объявление: ввиду трехсотлетия, а также желая облегчить труд шахтеров, обеденный перерыв увеличивается на сорок минут и рабочий день уменьшается на один час. Отец немедленно заявил, что это победа его академии, а Мельченко сказал, что пора устраивать на руднике профсоюз.

Теперь днем я мог сбегать в поселок за продуктами или искупаться в реке.

Поселок заметно оживился. Шли паломники в Святую долину, приходили толпы безработных — кто наняться, кто узнать новости. Бродило много переселенцев: урожай нынче сносный, но, говорят, подати с недоимками взыщут сразу за несколько лет, да тут еще у многих долг Калмыкову за посевное зерно. Вытянув к слушателю высохшие лица и оржавелые шеи, переселенцы спрашивали:

— Так как же, родимой? Подати-то отказываться платить? Поголовщина-то, которая в прошлом году не вышла, нонче будто отсюда, с «Семиречки», начнется?

Речь шла, должно быть, о неудачном восстании саперов год назад, в лагере под Ташкентом. Тогда под суд попало много солдат. Сто двенадцать из них приговорили к каторге, пятнадцать — к смертной казни. Или — о Ленских событиях? Им недавно исполнилась годовщина. Забастовками ее отметить не удалось, были только маевки. Но сейчас люди, по всему видно, настроены так горячо, что одних маевок им покажется мало.

Скажем, суд над балтийскими моряками или нелепо страшное дело Бейлиса. Что какому-нибудь землекопу казаху, нищему переселенцу, разорившемуся казаку, работающему в депо, балтийский матрос, задумавший восстание? Чем им близко дело еврея Бейлиса, обвиняемого царским прокурором в ритуальном убийстве христианского мальчика? А оказывается, близко, вызывает негодование, тревожит, требует действий. Ждут забастовок протеста, и с одушевлением летит из уст в уста весть: стачечников в этом году столько же, что и в 1905-м!

А в Святой долине ведут канавы археологи; служат молебны святому, имя которого никому не известно; происходят исцеления, и камень точит миро. Того и гляди, в Пишпеке, а может быть, и в самом Ак-Таше, откроется сессия суда — не то южные склоны, не то северные

против Калмыкова. Святая долина, гора Ак-Таш и земли, по которым проложены рельсы «Семиречки», должны принадлежать... кому? Северным, южным склонам, Калмыкову, Духовной миссии? Да, да, суда требуют и духовные лица! И действительно, кому должна принадлежать долина, где камень точит миро и свершаются исцеления? Церкви. Не могут же штатские, в форменных сюртуках и путейских фуражках, заведовать чудесами? Глядите. Именно штатские, именно Калмыков привез в Святую долину геологов-изыскателей и велел им бить шурфы. А вдруг да шурфом продырявят еще не открытые мощи?

Как бы то ни было, Калмыков, говорят, бродит туча тучей и часто, к великому изумлению присутствующих, выходит из себя. Это случается с ним почти каждый день на постройке моста. Калмыков торопит. Инженеры отвечают: «Поспешишь — людей насмешишь». Калмыков кричит: «Да и так все хохочут»,— и шарит у себя по карманам. Криков, и особенно при деле, раньше за ним не водилось, а этого странного шаренья по карманам — тем более.

Про Калмыкова мне передавали возчики. Я зашел к ним, чтоб показать Кузе письмо Марцинкевича. На вечере академии, за хлопотами, мне этого сделать не удалось. Да и, кроме того, хотелось поговорить по душам.

— Кажись, большие события бродят возле «Семиречки»? — спросил я многозначительно.

Старший возчик Митяич медленнее, чем всегда, произнес:

— На пороге, парень, на пороге.

И добавил:

— Отправляет нас хозяин на Арысь, а оттуда куда-а?..

Кузя, схватив меня за руку, поспешно отвел в сторону. Мы сели на пустую телегу. Во дворе пахло дегтем, сеном, сбруей, по солнцу ходили кругами, воркуя, голуби; собаки дремали в тени, а над поселком, высоко в безоблачном и благословенном небе, один за другим мощно кружили беркуты.

— Слышал, идем на Арысь?

— Да вы туда не раз ходили.

— Верно! Только теперь, знаешь, зачем? За оружием для войска. Казенных подвод не хватает,— нам

велено. Калмыков, сказывают, Китай собирается себе брать! — И Кузя добавил шепотом: — Оружие везем в Пишпек. И я тебе, когда вернемся, скажу: сколько его, куда спрятали и сколько стражи. А ты — Скурлатову. И если начнется поголовщина, только мигни: оно целиком у вас будет!

— А стража?

— Вместе со стражей. Мы, возчики, у-ух, на царизм злы!

И другим, уже совсем обыденным тоном он сказал:

— Ну, давай цидулку Марцинкевича. Девки-то у него хороши ведь, а?

Кузя, поджав губы, прочитал письмо три раза, а затем сказал, что известия эти приятны, но запоздали. Вчера лишь получено новое письмо. Марцинкевич и его племянницы выехали. Они скоро будут здесь. Где — здесь? Кузя не знал, где именно, но где-то тут, на «Семиречке». А скорей потому, что едут не как другие, умники, кружным путем: по Иртышу и дальше пешедралом семь верст киселя хлебать, едут прямо из Кургана железной дорогой, через Екатеринбург — Оренбург — Арысь...

— А вы, женихи, брысь! Всех отобьет Кузя!

И Кузя захохотал, посматривая на меня, однако, с беспокойством. Я понимал причину этого беспокойства. Я сказал с полным безразличием, что Кузя напрасно думает, будто мне нужны племянницы Марцинкевича.

— Я, кажется, влюблен в другую, а в кого — это не имеет значения.

По Кузиному лицу было видно, что сердце его преисполнено благодарности, но он не в состоянии высказать ее. Слов нет! Кузя долго тряс мою руку, выпил три кружки воды, а затем вдруг выпалил:

— Ахтер! Неумытый! Да я так, дружок, и знал. Я вчера же и ответ отбил Марцинкевичу. Он, мол, разорит Калмыкова, но добьется, что Василиса Глебовна не за Малицына пойдет, а за него самого? Верно?

Благодарность коварна. Получив благодарность, вам хочется получать ее вновь и вновь. Вот я и ляпнул:

— Верно.

И только лишь после того как телега и Кузя скрылись за поворотом улицы, в мою затуманенную легкомыслием голову пришло: «А если Зося и Стефа едут на «Семиречку» не из-за Кузи, а из-за меня? Тогда,

прочитав письмо Кузи, из которого следует, что я изменил им, они могут и не приехать. И я, таким образом, сломал счастье доброго Кузи, моего спасителя?»

Я шел мимо почтово-телеграфного отделения. В кармане у меня звенело серебро: полтора рубля. Надо и мне спасти Кузю! И спасти шикарно: телеграфом.

Телеграмма, посланная мной в Курган извозчику Марцинкевичу, гласила следующее: «Слухи относительно женитьбы Калмыковой преувеличены. *Всеволод»*. Мне бы, дураку, хоть вспомнить телеграмму, которую прислал Марцинкевич моему дяде в Семипалатинск!

В оправдание можно сказать только то, что уставал я адски. Пока от устья штольни гонишь тележку к бункеру, раз пять обольешься потом и обратно бежишь, пошатываясь, как пьяный. Земля раскалена, рельсы горят. Лето играет жарой во всю свою силу.

Необыкновенно приятно услышать голос Варенникова:

— Обе-да-ать, шпана-а!

Если я не бежал в поселок, не купался, то, поспешно съев свой обед,— два куска хлеба и несколько твердых шершавых огурцов,— ложился на доски, недалеко от куч руды, которая грузилась здесь в наши тележки. Руда спускалась сюда из забоев верхнего горизонта по скату узкого откаточного штрека. Время от времени по скату с легким шумом катились мелкие куски руды, застрявшие где-то там, наверху, и сейчас почему-то выскочившие из щелей. В трубах вдоль стен булькала вода, а там, где трубы плохо скреплены или с трещинами, вода била прохладными струйками. Эту рудничную воду запрещено пить. Говорят, были случаи отравления. Однако мы пьем ее, и, хотя порой нас мучают жестокие боли, мы утверждаем, что это не от плохой воды, а от плохой пищи, и сейчас я прилег на прохладную руду и прильнул к струйке воды.

До конца перерыва еще довольно далеко. Я прилег на доски и стал думать о пьесе, которую академия должна разыграть.

Пьеса «Шахтерская слободка», присланная Измайловым, подходила к нашим настроениям. Если смотреть на события, описанные в ней, более широко, то она рассказывала о тех же злоупотреблениях и несчастьях, в которых мы задыхались. Ее писал человек, по-видимому хорошо знавший жизнь шахтеров. Но она страдала тем,

чем страдает большинство пьес, написанных авторами, отлично знающими жизнь, но плохо знающими законы искусства. Она была многословна, в ней была уйма действующих лиц.

Как я ни уважал чужое творчество, я все же решил несколько переделать пьесу. Это было необходимо хотя бы потому, что у нас было мало актеров и того менее актрис. Вернее сказать, актрис совсем нет. Сортировщицы, разбиравшие вручную руду, не обладали ни фигурами, ни сколько-нибудь сносными лицами, да и голоса их, сиплые или дико-резкие, были отвратительны. Инженеры и техники, внизу у моста, жили без семей. Как можно везти семью в это ужасное захолустье? Да и будь семьи, кто пойдет играть в шахтерский любительский спектакль.

Пожалуй, чуть-чуть годились Варька и Олька, те самые Голенище и Калоша, о которых я уже говорил; но репутация их, даже среди весьма сомнительных наших репутаций, была крайне плоха, и я очень опасался, что, если я их приглашу играть, у меня не окажется вообще ни актеров, ни зрителей.

Итак, я исправляю пьесу. Это была моя первая редакторская работа, хотя я и не знал тогда смысла слова «редактор» и того, что пытаюсь исправить те самые недостатки, которыми буду страдать позже, когда превращусь в драматурга. Я выкинул те роли, которые у нас было некому играть, расширил роль владельца шахты, сделав его более сухим и жестоким, а затем, подумав, вставил в пьесу акт моего сочинения, написанного в Семипалатинске. Но как я ни переделывал, без женских ролей обойтись было невозможно.

В конце концов пришлось пригласить Варьку и Ольку. Актеры мои, поломавшись, согласились играть и с ними. Тут помогло то, что отношение откатчиков ко мне совсем изменилось и сам Васька Варетников пришел на чтение пьесы и высказал желание участвовать в спектакле. Ему предложили несколько ролей. Все роли ему не понравились, и он присвоил себе самим им сочиненную роль продавца билетов на наш спектакль. Мы содрогнулись, но что поделаешь?

Подходило время подумать о декорациях. Мы сколотили несколько рам, оклеили их бумагой и раскрасили. При некоторых переменах освещения и добавлении искусственных пальм, которые я сам сделал, деко-

рации видоизменялись. Мы без труда переходили из шахтерской лачуги в особняк владельца шахты. Лачуги нам давались легко, особняка владельца никто из нас никогда не видел, поэтому и особняк мы соорудили без затруднений. Хуже всего обстояло дело с костюмами заводчика и его дочери. Я рассчитывал на инженера Двуконя. Не все же платья увезла с собой его жена! И так как дочь заводчика была довольно дурного и легкомысленного поведения и жизнь ее наказывала сурово — она вешалась в конце пьесы,— я рассчитывал доставить инженеру Двуконю облегчение, если актриса правильно исполнит эту роль. Я уже знал изречение древнего мудреца, что трагическое страдание на сцене исцеляет трагическое страдание в партере.

О ЧЕМ ИНОГДА ГОВОРИЛИ РУДОКОПЫ

В то утро мы не грузили, а добывали из брошенных выработок крепления и балки. Одно дело — носить для креплений бревна, топоры, пилы и смотреть, как крепильщики крепят кровлю или бока, другое дело — возиться в брошенных выработках. Тут того и гляди обрушится порода.

Поэтому в обеденный перерыв мы лежали, испытывая веселье и теплое удовлетворение. Взгляд наш иногда падал в конец штольни, и мы видели там голубой, чудесный глаз неба.

Хорошо!

Мы отдыхали на крепежных плахах, которые недавно привезли в штольню и еще не отправили в боковые штреки. Плахи пахли смолой; свет моей лампы падал на капли смолы, и казалось, плахи отвечали этому свету отблесками солнца, к которому они так привыкли.

— Слухай, актер,— заговорил Варетников,— ты по станции шляешься, как там слышно: забастовка скоро начнется? Прижмем Калмыкова.

И, помолчав, добавил:

— Надо бы прижать. А то он этих киргизов на южных да северных склонах совсем замучит.

— Его ране мостом прижмет,— вставил откатчик Терешка Обруч.

— Чего? — Варетников повернул к Терешке голову.

— Ревцинеры под мост динамит — и к черту!

— Чем же мост рвицинерам мешает?

Начавшийся любопытный разговор прервали.

К плахам подошли Марович, штейгер по креплению, и старший крепильщик Сысой, по прозванию Такыр. Такыром называют плотную глиняную почву пустыни, которая трескается от жары довольно правильными геометрическими узорами, а в дожди гладка и ровна. При пьянстве опухшее и заспанное лицо Сысоя гладко и ровно. В трезвые минуты оно обветренное, веснушчатое, потрескавшееся. Базарный парикмахер сказал о нем: «Такыр, но наоборот». Отсюда и пошло это прозвище.

Почему дружил штейгер Марович с крепильщиком Сысоем, сказать трудно. Штейгер пил мало, говорить и слушать не любил. Это был толстый, неповоротливый, сонливый, залитый желтым жиром человек. Когда он откидывал лоснящуюся голову назад, казалось, что шея его толще головы. «Шельма трехэтажная», — говорил о нем Двуконь. И верно, хотя воров на руднике много, но так красть, как крадет штейгер Марович, не умеет никто. Он ворует железо из рудничной кузницы, сталь — из слесарной, столярную мастерскую заставляет он делать стулья и сундуки, окованные жестью, которыми он торгует на базаре, возчики и конюхи крадут ему овес. Мой отец ловил его несколько раз, составлял протоколы, но кто-то из владельцев рудника, кажется Борис Глебыч, покровительствовал вору, и все сходило ему с рук. К тому же Марович сутяга и, кажется, доносчик.

Марович стоит возле плах, трет шею ладонью, вздыхает и, продолжая начатый где-то на лестничном ходке разговор, говорит Сысою:

— Попадись они мне! Я б всех засудил.

— А за что? — спрашивает крепильщик.

— Подлецы,— отвечает хрипло штейгер.

Выясняется, что Сысою внизу, под горой, продали пиво, разбавленное водой.

Откатчики меняют разговор.

Терешка Обруч, с лицом необъятным и таким блестящим, словно его на станке полировали, своими исступленно горящими глазами впивается в штейгера. Терешке лет восемнадцать, но в повадках его много стариковского. Он горбится, медленно перебирает ногами и, как старик, нюхает табак из берестяной засаленной

тавлинки, имеющей форму подковы. Попав в передовой забой, он часто крестится и прислушивается. И тогда всем кажется, как и ему, что гора таинственно гудит. Забойщики не любят его посещений, и в особенности когда раздается приказ: «Пали затравку!» В эту минуту Терешка непременно скажет:

— Ты палить-то пали, но бога не забудь, а то Гэрлик, злой дух наш, явится.

Терешка Обруч придвинулся к штейгеру, но Варетников, которому известно, о чем будет говорить его приятель, загородил его собою. Варетников суеверен. Однако Терешка вылез и с отчаянной тревогою на лице обратился к Маровичу:

— Лука Ильич, а я опять Гэрлика видел.

— Да бог с тобой!

— Крестное слово! И не одного, а с помощниками. А как я его узнал? Прошлый день помогал запальщику на втором горизонте, нес жестянку с порохом. Дорога там трудная, ответвлений много, лампы что-то у нас плохо горели, ну мы и попали в боковую выработку на старые брошенные работы. Заблудившись, присели покурить. Сердце, известно, болтается. Покурили, и вроде вспомнили верную дорогу, и быстро так пошли к ней. А жестянку-то с порохом и забудь! Пришли, смотрим на шнур, а запальщик мне и говорит: «Терешка, слышь, жестянка-то с порохом тама! Полтину, если найдешь!» Шутка сказать, полтина! Я и пошел. Сделал, что ли, шесть поворотов, гляжу — жестянка. Ну, думаю, плохо. Не иначе как меня Гэрлик заманил. Он перед тем как нашей кровью шутить, начинает обращаться с нами ласково.

— Да нету, Терешка, никаких гэрликов,— сказал Марович. — Киргизы темноты боятся, им со страху мерещилось, они и пустили слух.

Казах-откатчик Давлет оживленно вставил:

— Гэрлики не мерещутся, они есть. Их здесь, когда уходил, монгол забыл. Говори, Терешка.

— Ты слушай, Лука Ильич,— продолжал Терешка, не обращая внимания на слова Давлета. — Закурил и вспоминаю: один, два, три поворота через груды породы, еще три поворота — и откаточный штрек, а по нему влево лестничный ходок вниз. Я и дома! Огонек отражается на банке, тихо. Даже воды не слышно, как она капает. Но на душе у меня, Лука Ильич, уж как тре-

вожно! Все кажется, что кто-то подходит, хватает за локоть.

Марович, стараясь скрыть возрастающую тревогу, сказал:

— Хорошо рассказываешь.

— Хорошо! — подтвердили откатчики.

Терешка взял у Маровича папиросу изо рта, глубоко затянулся два раза, вернул папиросу и продолжал с наслаждением:

— Ладно. Смотрю — на стене раздув породы. С чего это, думаю, случаются раздувы? Надо учителя Иванова спросить. Ладно. Только, смотрю, раздув — шире, боле. И из него — человек лезет! Вылез и как раз против меня,— вот так, скажем, если я ногу вытяну,— остановился. Стоит, смотрит — и не дышит. Собою вроде бы из наших, хоть мордой киргизистый. Руки в буровой муке из шпура, роста небольшого, по грудь, плечи, ноги, бритая голова так из одежи и прут. Вглядываюсь, и начинаю я, Лука Ильич, весь дрожмя дрожать. Глаза у него такие, знаешь, темно-голубые, сами светятся. Потому свет от моей лампы доходит ему только до груди и глаз никак не касается, он лицо держит кверху, и оно светится само собой, а больше всего — глаза. И лицо, будто из камня, твердое. Отвел я глаза от его лица, смотрю на грудь, а грудь не колышется. Не дышит. Гэрлик! У меня портсигар, ты видел, Лука Ильич, костяной и по нему серебряный вензель. Мне его Васька подарил...

Васька Варетников сказал:

— Верно.

Марович сказал, вздохнув:

— А Терешка хорошо рассказывает.

— Хорошо,— подтвердили откатчики.

Терешка отсел от Маровича, словно опасаясь, что вблизи его рассказ совсем будет страшен, и продолжал:

— Ладно. И еще Гэрлика можно узнать по тому, что под мышкой у него вместо волос — перья. Я вспомнил и сейчас цигарку свернул, подаю. Он руку протягивает, цигарку берет, несет ко рту, вижу — и во рту вместо зубов перья! Ну, тут я подскочил и едва не закричал...

— Хорошо рассказываешь.

— Хорошо.

— Ладно. Сейчас, думаю, начнет он наслаждаться моими муками — либо между камней зажмет, либо креплением придавит и будет по щепочке в тело вгонять,

либо камни начнет на меня рушить понемногу. И, заметь, лицо у него все свежее, все моложавее. Конец мне — думаю! А он тут увидел мой портсигар, а тот костью да серебром играет, будто из драгоценного камня. Говорит: «Давай меняться!» А у них, у гэрликов, первая забава меняться. Они бы всех рудокопов давно передушили, кабы не эта мена. Они нас меж собой меняют, и оттого мы живем. «Давай. А на что?» Говорит: «А на десять твоих воев». Значит, я перед ним должен десять раз провыть, и каждый раз по-разному.

— А не сможешь столько по-разному?

— Тогда выть мне смертно.

— Хитер!

— Рассказывай, Терешка!

— Ладно. Один раз я провыл, другой. Начинаю думать — так, мол, воют бабы над покойником; так вот, мол, над солдатами, когда на войну берут; так вот, мол, невеста воет. Перебрал все человечьи вои — восемь получилось. Двух не хватает! Тогда, значит, я провыл ему по-волчьи и по-шакальи. Я ведь работал в Закаспии. Шакалья там — страсть! Он посмотрел на меня и говорит: «Ну, уходи, пали свою затравку». Я и побежал.

— А портсигар?

— Портсигара он не взял. Я, значит, с молитвой, да боковым забоем, где — во весь рост, где — на четвереньках, а где — на животе. Слушай, Лука Ильич, это он грохочет! Ой!

— Да будет тебе, Терешка, кусок породы упал.

— Ладно. И то еще страшно, что не один он был, Гэрлик-то. Позади него, во тьме, с одной стороны — восемь гэрликов и с другой — восемь. Это помощники главного Гэрлика, который, значит, злей всех и всеми пещерами и скалами нашими управляет.

— И помощники на тебя смотрели?

— На меня, Лука Ильич!

— Значит, тебе, Терешка, надо к киргизскому колдуну. Может, отвадит. У него всякие заговоры, есть и от гэрликов. Ахметкой его зовут. Черная юрточка у него, позади железнодорожных бань. Раньше, говорят, отводил, а теперь — стар, может, его уже гэрлики и не слушают. Раньше, сказывают, со всех гор, от всех пещер и скал духи его слушались. Здесь этой чертовщины много.

— Много. И главное, что все мучители.

— Азиаты!

— Ну-ну, дальше, Терешка, про гэрликов-то...

Марович вдруг вскочил и, вспомнив, что обеденный перерыв давно кончился, что когда штейгер сидит с рабочими, десятник не осмелится звать их на работу, закричал в исступлении:

— Мерзавцы! Своими гэрликами глаза отводите? Марш к тележкам!

Мне легенда показалась недосказанной. Я обиделся на крик Маровича и вызывающе сказал:

— Сам ты гэрлик!

— Ты очумел, кому говоришь?! По роже страдаешь?

— А ответа кайлом не надо ли?

Марович хотел ко мне подойти, но откатчики удержали его. Тогда, все с теми же вызывающими взглядами и жестами, я направился к штейгеру! Откатчикам, видимо, очень хотелось, чтоб мы подрались, они колебались, переглядывались, а затем, все-таки поборов свое любопытство, успокаивающе отвели меня в сторону.

— Ну, попомнишь! — крикнул мне со злобой Марович.

Когда Марович скрылся в боковом штреке, Васька подошел ко мне и остановился, потупившись. Откуда-то издалека доносился глухой стук. Это обстукивали забой, кровлю и бока штреков. Васька поднял глаза и вдруг заключил меня в объятья.

— Сдружились, ахтер неумытый? — спросил он не без снисходительности. — А Маровичу мы тебя в обиду — ни за что!

СЧАСТЬЕ ИНЖЕНЕРА ДВУКОНЯ

— Вячеслав Алексеич, а сегодня? — спрашивал каждый день моего отца инженер Двуконь.

Мой отец, заложив за спину руки и наклонив слегка вбок голову, краснея и стыдясь людской неблагодарности, отвечал:

— И сегодня приглашения на свадьбу не поступало.

— А ведь свадьбы готовят яростно. И Святую долину роют, чтоб к свадьбам мощи отыскать.

— Это — богохульство, чтоб мощи в качестве свадебного подарка. И, кроме того, вторая свадьба — мусульманская, что уже совсем неприлично.

— Так болтают, Вячеслав Алексеич.

Мой отец близко сошелся с инженером Двуконем.

Поздно вечером, после репетиций, мы заходили к инженеру, садились на крылечке. Сам инженер, попивая коньяк, возвышался в дверях на высоком кожаном стуле. Инженер любил говорить о человеческом счастье: достижимо ли оно, и не мечта ли все эти разговоры о нем? Свое счастье он потерял давно. И он, протяжно зевая, вспоминал Харьков, шантаны, рестораны, зятя-полковника, который страшно кутил. Тогда именно Двуконь смалодушествовал,— инженер краснел, точно действительно он совершил тогда что-то очень нехорошее. А все малодушие его заключалось в том, что он женился на Маргарите Андреевне. Ему рисовались харьковские улицы, музыкальное училище, его будущая жена, тогда еще ученица этого училища, быстро вбегающая в подъезд... Он говорил, вздыхая:

— Извините, пожалуйста, я сейчас почему-то подумал о быстрой походке. Мне всегда казалось, что счастливые люди быстро ходят. И когда я жил в Харькове, все жители его ходили очень быстро.

— Решительно ничего хорошего я в вашем Харькове не нашел,— возражал инженеру мой отец, но затем, спохватившись, восклицал: — Ах нет! Там живет изумительный арабист. Такого я и в Египте не видал.

— Вы были в Египте? — спрашивал Двуконь.

— Хаживал.

Двуконь разводил руками, багровел и, заикаясь от негодования, восклицал:

— Так за каким же чертом вы сюда явились?

— Почему мне нельзя сюда явиться? Разве я египетский фараон?

— Здесь — грязь, невежество, предательство.

— И в Египте — не меньше.

Двуконь — самолюбив и поэтому не ходил в поселок: смеяться будут, жена сбежала! Мы рассеивали его одиночество, и он был нам признателен. Поэтому-то однажды он предупредил отца, что сыщики рыскают в поселке и появятся на руднике: ищут Скурлатова и его сообщников. «Семиречка»-де очень уж расшумелась, а к Глебу Ивановичу опять приезжали важные военные.

Боясь за судьбу своей академии и страстно желая узнать новости, которые, несомненно, привозили важные военные, отец пошел к Калмыковым. Перед уходом он сунул в карман две узких записочки, когда-то написанные рукой Саумал.

Вернулся он, многозначительно поджав губы. Озираясь с опаской, он сказал мне дрожащим голосом, что Скурлатова ищут усиленно, что он передал Мейстеру записки Саумал, но тот отнесся к ним пренебрежительно...

— И напрасно! — воскликнул отец. — Пусть процесс против Василисы Глебовны невозможен, но записки могут подтолкнуть Саумал к занятиям известной тебе фотографией!

— А она не занималась еще? — спросил я тихо.

— Как узнать? Она скрывается от меня. Шляпа твой Мейстер! Чересчур осторожен. Хотя, признаюсь, спорил он с Глебом Ивановичем не менее яростно, чем тогда, помнишь, архимандрит.

— О чем?

— Да все о том же! О Святой долине. Южные склоны начали-таки процесс.

— Кто ведет?

— Мейстер.

— Согласился?

— С большим трудом. Либерал он! Втайне боится, что процесс южных склонов обострит ненависть населения против Калмыкова и возможны эксцессы.

— Не Ханыке ли уговорила Мейстера?

— Ее не видел и с Мейстером о ней не говорил,— ответил мой отец. — Шальная! То училась, брала у меня книжки, сочинения писала на заданные темы, то совсем не показывается. Беда! Мужа нашла.

Однажды от Двуконя прибежал, быстро дыша, мой отец.

— Прочь вывеску академии! Сыщики!

К инженеру, вместе с волостным управителем Саксыбаевым, приехал пристав Башкин. Гости сидят в комнате инженера, служащей ему и столовой.

— Пойдем-ка к ним, посмотрим.

Мы подошли к домику, инженер высунулся из окна и велел нам подождать. Мы сели на скамейку. Нам видна вся комната; гости и хозяин пьют, едят и разговаривают, не обращая на нас внимания.

Пристав состоятелен, глуп и вздорен. Он давно бы уволился со службы, но дорожит мундиром: в положении пристава ему легче мошенничать. Волостной управитель Саксыбаев — старинного султанского рода, арабы-завоеватели некогда положили начало этому

роду. У него темное, горбоносое лицо, огненно-черные глаза с тонкими, кажущимися прозрачными, веками, он высок, худ, силен и, как говорит мой отец, «от обилия жизненных соков» невероятно весел. То и дело его толстые, ярко-красные губы раскрываются и слышен пылкий, добродушный смех.

Они пьют вино, и после каждой рюмки управитель с хохотом насвистывает какую-нибудь русскую солдатскую песню. Пристав сконфужен, он смертельно боится хозяина рудника Калмыкова и тихо что-то шепчет инженеру. Мы сразу же узнаем, что он шепчет: управитель громко повторяет его слова и хохочет.

— У вас, передают, не то баптисты, не то революционеры собираются? Вы что же, господин инженер, якобинский клуб открыли?

— Якобинцы, ха-ха!

Откуда волостному управителю знать о якобинцах? Наверное, пристав сказал. А приставу откуда знать? Слухи.

Пристав Башкин шепчет, расширяя испуганные глаза:

— Но ведь служба, господа, поймите! Захолустье, сплетни...

— Прошу вас, по рюмочке,— говорит инженер Двуконь, отводя щекотливый разговор. — Захолустье, верно. Моя жена сильно страдала от захолустья.

Управитель заливается ненасытным хохотом.

— Захолустье, ха-ха-ха, сплетни, ха-ха-ха!

— Вы бы, милостивый государь, хоть самой ничтожной бумажкой сообщили, что, дескать, открыл я вечернюю школу усовершенствования шахтеров, а то...

— Э, глупости! — морщится, зевая, Двуконь. — Итак, не по рюмочке, по стакану?

Тем и окончился приезд пристава и управителя. До некоторой степени приезд этот даже помог нам. Расширился слух о лекциях моего отца, и слушатели стали ходить даже из поселка.

Инженер нас ни в чем не упрекнул. Упрекать — так себя! Его расстроили разговоры приезжих о двух свадьбах внизу. И он с печальными вздохами вспоминает о своей свадьбе, которая, как ему когда-то казалось, должна была принести такое открытое и лучезарное счастье, как безоблачное небо. «Небо»,— он произносил в нос и очень протяжно.

С первых же дней жизни на руднике его жена Маргарита Андреевна стала завидовать счастью Калмыковых. Семипалатинск представлялся ей чудесным и веселым городом. Калмыковы живут там превосходно, платья из Парижа, изумительный повар, лучшие врачи, и сами ездят в Петербург каждый год! «Нам бы в Семипалатинск!»— добавляла она. И мечты усилились, когда она узнала, что к Василисе Глебовне сватается князь. Княгиня! Маргарита Андреевна с тоской оглядывала рудник. Мужу бы ее одернуть, а Двуконь, от любви, поддерживал ее глупые разговоры. Но, боже мой, как приятно думать обо всем этом, глядя на унылую природу, на эти выжженные степи, камни, на эти камыши и на эту жалкую речонку, через которую возводят громадный мост только потому, что два-три раза в год Ак-Таш вздувается от дождей и делается настоящей рекой. Двуконь говорил о счастье Калмыковых так вкусно, что Маргарита Андреевна однажды, сказав, что едет к портнихе в Пишпек, уехала совсем.

— Да, счастье — звезда, но оно же и змея с ее тусклым взглядом и зловещей злобой!

Однажды он добавил:

— Я ее лелеял, а она меня возненавидела. За что?

Отец печально вздохнул. С конюшни слышна была песня. Попеременно пели три казаха, и пели они всё ту же песню о счастье Тасана и Джагалтай. Эта песня была кем-то составлена весной вскоре после происшествия на поляне Упавших богов и только теперь дошла до «Семиречки», а Тасан и Джагалтай так и не дошли: все еще работают в Верном.

— Красивая песня,— сказал Двуконь,— про любовь, будь она трижды проклята.

— А лучше — благословенна,— возразил мой отец.

Прислушиваясь к песне, мы долго молчали. Инженер налил в рюмки коньяк и чокнулся с отцом. Маленький паровозик, злобно гудя, что-то тащил внизу по насыпи к мосту. Вдоль насыпи, только в противоположном направлении от моста, скрипя, двигались телеги, и неясно доносились по вечернему воздуху голоса возчиков.

— А я сегодня получил письмо от Маргариты Андреевны.

Пораженный ужасом, с разинутым бледным ртом, инженер безмолвно глядел на моего отца.

— Она узнала обо мне от инспектора сельских училищ,— продолжал отец.— Как видите, хорошая слава не всегда праздно лежит.

— Да, да,— пробормотал наконец Двуконь, приподнимаясь.

Было еще светло, но инженер принес лампу. Мой отец, напряженно улыбаясь, развернул письмо Маргариты Андреевны. Она обращалась к моему отцу с просьбой прочитать ее письмо инженеру. Не думая, чтобы отцу нравилось письмо, изложенное пышными словами. При всей своей наивности, отец иногда прекрасно разбирался в людских сердцах. Ему казалось, и, пожалуй, не без основания, что Маргарита Андреевна хочет вернуться на рудник, только чтобы побывать на свадьбе Василисы Глебовны.

Маргарита Андреевна раскаивалась в совершенном. Прими муж ее с этим раскаянием, она готова произнести его на коленях! Так было и написано: «Произнесу на коленях». Отец два раза перечел эти слова и поднял удивленно брови. По его мнению, мужчина, в случае нужды, еще может встать перед женщиной на колени, но — женщина?! И в этакую идиотскую позу?!

— На коленях, боже, какое счастье! — воскликнул инженер.

Он вскочил с высокого кожаного кресла, затопал ногами, мелькнул на ступеньках крыльца, пробежал несколько раз перед фасадом своего серого каменного небеленого домика, который в сумерки делался иссиня-черным и зловеще пустым.

— Да, любовь все-таки великая штука,— тихо сказал мой отец,— раз даже такой дурак выглядит оригинально.

Инженер вернулся, сел в кресло и хмуро, не веря своим ушам, спросил:

— Вы убеждены, Вячеслав Алексеич, что она вернется?

Она вернулась.

У Маргариты Андреевны были очень выразительные плечи и грудь, над которыми возвышалась бестолковая головка с хорошеньким личиком и приподнятыми бровями. Ее чемодан нес сутулый человек с седыми висками, скуластый и, должно быть, злой. Он назвался инженером Коринфским. Калмыков посылал его Двуконю в качестве помощника.

— Другими словами, сдать вам дела? — спросил Двуконь

Коринфский четко ответил:

— Пока приказания на этот счет нет.

В тот же день я шел мимо домика и увидал Двуконя за столом. Инженер сидел на своем высоком стуле. Перед ним на большой голубой тарелке лежал круг свежей колбасы, которую привезла из Пишпека его жена. Он ел молча, торопливо, жадно, блестя радостными, ясными и яркими глазами. Наблюдательность моя была обострена голодом, но, уверяю вас, никогда не видывал я такого огромного счастья! Инженер не раскрывал рот, он — разверзал его, и огромные куски колбасы, поджаренной на масле, легко исчезали. «Э-э, да ты, батенька, вдобавок еще и обжора», — подумал я.

Рано утром мы увидели Маргариту Андреевну возле устья штольни. В открытом, мягком и светлом платье, она сидела на дрожках, направляясь с визитом к Калмыковым. Дрожками правил инженер Коринфский. Двуконь, шедший рядом с дрожками, конфузясь своей радости, познакомил отца с Маргаритой Андреевной такими словами:

— Прозерпина, богиня подземного царства, моя жена.

Мой отец промолчал и только покрутил головой.

А она, кокетничая перед студентом Лазаревского института, вся зардевшись, уставилась на устье штольни, всплеснула руками и крикнула:

— Смотри, как это красиво, Двуконь! Ах, вы ничего не понимаете! Боже мой, как тут красиво!

— Ничего тут красивого нет, — процедил Двуконь.

После обеда мебель в столовой сдвинули в угол, и Двуконь, счастливо щурясь, играл на гитаре. Жена его танцевала с Коринфским. Она приветливо улыбалась всем, и видно было, что на душе у нее весело и тепло. А нам казалось страшным, что Двуконь совсем не понимает, что происходит вокруг. Впрочем, кажется, и Коринфский плохо разбирался в Маргарите Андреевне.

Коринфский понемногу начал забирать в свои руки наш рудник. Через несколько дней Двуконю было заявлено, что он после передачи рудника увольняется со своего места.

— Куда же я денусь? — спросил он.

При разговоре присутствовал мой отец. Он видел,

что Двуконь задрожал так, что даже не очень-то чувствительный Коринфский содрогнулся.

— За что? Ко мне приехала жена. Я ее должен одевать и кормить! — воскликнул Двуконь.

Коринфский уже пришел в себя и нагло ответил:

— Об этом, надо думать, позаботятся другие.

Двуконь довольно долго молча глядел на Коринфского и, мотнув головой, отошел. Будь бы вокруг нас лес, он бы, наверно, ушел в глубину, лег ничком и лежал бы много часов. Но мы были окружены только раскаленными камнями Ак-Таша, редкими серо-зелеными кустарниками и еще более редкими деревьями, которые к тому же росли лишь на скалах.

Я говорил с Васькой Варетниковым о декорациях в «Шахтерской слободке».

Мимо нас, со злым выражением лица, прошел инженер Двуконь. Мой голос, должно быть, показался ему похожим на голос отца, потому что он пробормотал, не поднимая головы:

— По указу кого, не знаю, Вячеслав Алексеич, отписали меня от жизни.

Васька, смеясь, посмотрел ему вслед.

— Повесится!

— Да бог с тобой!

— Поверь! Я средь переселенцев много таких встречал. Он вниз пошел, в скалы.

— Идем, надо спасти!

— А зачем? Пускай барин получит свою радость.

Я не очень поверил Ваське. Продолжая разговор, мы прошли мимо конюшен, устья штольни, рудного двора, спустились к тракту и застряли на перекрестке, среди скал. Васька утверждал, что нельзя в той сцене, где действие происходит в доме шахтовладельца, застилать стол бумагой. Раз уж никто не дает скатерти, надо хоть ситец! Я возражал. Мне приходилось бывать в доме Калмыковых, и я видел узоры их скатертей, которые надеялся нанести на бумагу. Бумагу раскрасим, дадим ей правдивый узор! И запретим действующим лицам трогать стол. Не сомневаясь в красоте узора, Васька доказывал, что актеры, забыв наши приказы, дотронутся до стола, и тогда бумага, шурша, скатится, а зрители захохочут!

Перекресток был окружен скалами. Долины отсюда не было видно. Спор мы вели в классическом стиле —

помногу раз повторяя одни и те же доводы, разве что с каждым повторением усиливая голос.

Вдруг Васька схватил меня за локоть. Рука его от волнения пылала. Он закрыл глаза и восхищенно прошептал:

— Висит! Ай да верный барин!

Его тупое довольство потрясло меня.

Я побежал в скалы.

Мы прибежали вовремя, успев вынуть инженера из петли.

Он висел на арче, выросшей в расщелине скалы, висел на том самом тонком ремне, которым был перетянут чемодан его жены, когда она вернулась!

«ШАХТЕРСКАЯ СЛОБОДКА» И ЕЕ ЗРИТЕЛИ

Все торопили меня: актеры, стремясь к славе; отец, чтоб не отвлекать слушателей; зрители, желая перейти от спектакля к свадьбам в поселке. Торопил и Двуконь. По его мнению, нам оставался выбор между тюрьмой и бегством.

— Вы ходите, как шпыни,— говорил он, улыбаясь,— а за вами всюду свиньи.

Да, Двуконь улыбался. Он был счастлив. Вскоре после того как Двуконя вынули из петли, Маргарита Андреевна рассекла лопатой лицо Коринфского,— не очень глубоко, но все же рассекла — и перестала с ним видеться. Вот странная манера раскаянья!

Торопила и погода. Вокруг Ак-Таша, в поселке, на линии и в пустыне, по-прежнему стояла сухая жара. Но говорили, что далеко в горах начались ливни, а раз начались, то непременно придут и сюда. По ночам на юге вспыхивали розовые зарницы, и некоторые слышали даже отдаленный гул грозы.

Утром, в день спектакля, над Ак-Ташем и поселком пронесся короткий и теплый ливень.

Я сидел в суфлерской будке. Предо мной — лампа и пьеса «Шахтерская слободка». Хотя пьеса была уже сильно переделана, я все равно, по ходу действия, продолжал вставлять или сокращать текст,— смотря по тому, как вели себя актеры. Текст я не просто читал, а разыгрывал, и когда актеры, почему-либо смущаясь, говорили тихо — со сцены слышался мой громкий голос.

Большинство зрителей видели театр впервые, и всем казалось правильным, что суфлер помогает актерам.

После второго действия я уже совсем осмелел, и когда зрители чего-либо не понимали, я отставлял лампу в сторону, поворачивал будку в зрительный зал и разъяснял положение. Меня встречали с не меньшим удовольствием, чем актеров.

Ливень сильно повредил нашу крышу. В зале над головами зрителей кое-где блестели крупные звезды. Вскоре взошел ущербленный месяц и стал медленно двигаться от одной звездной ямы к другой, словно по заводям реки. Минувший день был необыкновенно жарок, ливень освежил воздух, и легкий ветерок с гор все время твердил, что скоро наступит осень.

Зрители ошеломлены. Все, что происходит на сцене,— это и их страдания, их боль, их нищета. «Шахтерская слободка»— осуждение страшной жизни. Лица нахмурились, помрачнели. Как же это? Все несчастья — нам, вся сладость жизни — им? Они спрашивали это глазами, только глазами, со скрытым негодованием. Но когда спрашиваешь о причине горя, спрашиваешь много раз подряд, то негодование растет. Даже мой отец, который часто бывал на репетициях, и тот удивился:

— Если из-за этого мы, сынок, получим лишь самый обыкновенный расчет с рудника,— нам повезло.

— А что?

— Дерзко говорим.

— Судьба вообще дерзка.

Это верно. Судьба действительно оказалась дерзкой.

Перед последним актом появилась Василиса Глебовна, и все на нее уставились. Неспроста хозяйка рудника пришла! Нижние, «поселковые», завидовали верхним, рудничным, и поселковые девицы, не обращавшие прежде на нас внимания, кокетничали с нами напропалую.

Среди этого всеобщего волнения совсем забыли, что Васька Варетников исправно сидит за продажей билетов. Вор ведь! Когда в антракте я вылезал из своей будки и спрашивал о Варетникове, отец мой, сердясь за недоверие к Ваське, отвечал сухо и черство:

— Сидит.

И я оборачивался к пролету двери, за которым виднелся стол, касса с билетами и мрачная, сутулая фигура Васьки.

Когда спектакль окончился, через зрительный зал гордо прошел к нам Васька Варетников. Васька шел, высоко неся кассу, проволочную корзинку с отделениями, в которых лежали серебряные и медные монеты. Монеты тускло поблескивали сквозь проволоку. Васька, прежде чем подняться по ступенькам на сцену и скрыться за занавесом, сказал во всеуслышание:

— Полный сбор! Двадцать три рубля семьдесят пять копеек.

Зал опустел. На сцену поднялись поздравить возчики, Нура, Чапе. Мой отец гасил лампы и ставил их рядком на пол. Играя зонтиком, шла Василиса Глебовна.

Высокая, сияя спокойствием и поправляя свои светло-рыжие волосы, она подошла к помосту и, глядя на меня томными глазами, сказала снисходительно:

— Для рабочих сыграли недурно.

И добавила, обращаясь к моему отцу:

— Велите-ка конюхам оседлать трех лошадей. Вы, Маргарита Андреевна, с нами?

Маргарита Андреевна, растерявшись от любезности хозяйки, сказала отрывисто и хрипло:

— Еще бы!

— А мы,— спросила меня Василиса Глебовна,— пока седлают, пройдемся?

Мы сделали несколько шагов. Василиса Глебовна остановилась и негромко крикнула:

— Маргарита Андреевна! Не на бал. Бал — завтра.

— Понимаю,— отозвалась жена Двуконя, и по голосу ее было ясно, что она ничего не понимает.

Василиса Глебовна шла медленно, ведя на поводу свою лошадь.

— Не устали? — спросила она, глядя прямо перед собой.

— Вам усталость больше к лицу, Василиса Глебовна. Ведь женюсь-то не я, а вы замуж выходите.

— Да, да, — думая о чем-то своем, подтвердила она.

Мы пересекли рудник, миновали конюшни, сеновалы, склады, кузницу и остановились на обрыве. Постепенно мы поднялись. Дорога к поселку была еле видна внизу,— правда, и луна светила еще слабо. Легкий туман прикрывал реку. Вдали тускло светилась пустыня.

Василиса Глебовна присела на камень, раскрыла

сумочку, достала спички и, осветив клочок бумаги, спросила как будто нехотя:

— Кто это шутит над вами?

Я узнал свою телеграмму извозчику Марцинкевичу. Мне стало стыдно, и я ответил, краснея:

— Сам.

— Оказывается, вы отказываетесь на мне жениться? Благодарю.

Я попробовал солгать:

— Подразумевался Малицын.

— Удивительная проницательность!

Я попробовал отвести разговор в сторону:

— Откуда вам известна моя телеграмма?

— Провинция, дорогой, провинция.

Чуть наклонившись в мою сторону, она прошептала мне прямо в лицо:

— Вот там, где вы сидите, Всеволод, мой бывший муж признался мне в любви.

Я вскочил.

— Назаренко,— продолжала она спокойно.

И, помолчав, добавила:

— Это было, впрочем, днем. Отсюда видна Святая долина. Назаренко наткнулся на нее одновременно с моим отцом. Отец только раньше успел заключить договор с южными склонами. Помните, Вячеслав Алексеич читал зимой что-то такое про сивиллу или Пифию, не помню? И Глеб Иваныч пылко благодарил его. И тогда же архимандрит намотал на ус...

— Глеб Иваныч благодарил за легенду, потому что в ней возвышенные идеи и нет мошенников и воров.

— Может быть, и так. А скорее всего за предсказания богатых запасов медной руды.

— Да ведь мой отец подразумевал совсем другое место действия своей легенды!

— Будто бы?

Василиса Глебовна покачала головой.

— От той печи нет согреву,— продолжала она.— А здесь, в Святой долине, речь идет о сотнях миллионов тонн. И процентов двадцать меди в руде, если не больше.

— Догадки подтвердились?

— Да. Сегодня.

— Невероятно! Двадцать процентов меди! Такой руды не бывает.

— Можете сами проверить.

— Геммадинов знает?

— Догадывается. Вообще все должно измениться. У отца были большие неприятности: он решением правления «Семиречки», без санкции правительства, отвел рельсовый путь чуть ли не на восемьдесят верст в сторону, ближе к Святой долине. Ему даже было отказано в дальнейших ссудах, и если б не Синьцзянь. Пора, пожалуй, возвращаться?

— А куда мы едем?

Она не ответила.

Подойдя вплотную ко мне и играя поводом узды, Василиса Глебовна твердо и молча смотрела в мои глаза. От слабого света луны ее нос казался ястребиным, рот слегка раздвоенным, а светлые красивые глаза — раскосыми.

— Всеволод! Почему, когда уходил с отцом из Верного, не предложил и мне уйти?

— А пошла бы?

— Тигра убила, чтоб доказать свою смелость. На родную мать клепала, на себя, чтоб узнать: любишь ли? Раз не донес, значит, любит. А донесет... э, не все ли равно, как погибать!

Я верил и не верил ей. Была искренность в ее голосе, но чудилась и насмешка. Задумавшись на мгновение, я выпалил:

— Мейстер отказался возбуждать процесс против тебя, Василиса!

— А его, что же, побуждал кто-нибудь?

— Нет, он сам.

— Значит, и тебе надоело думать...

— О чем?

— Ну, об убийстве Назаренко.

— Да, — ответил я горячо.

Она судорожно выхватила из сумки бумагу, ученическую чернильницу, завернутую в обрывок газеты, ручку, кусочек розовой свечи с залитыми разводами, зажгла свечу, укрепила ее на камне и лихорадочно написала:

«Моего мужа, Назаренко, отравила я. Подробности — следствию. *Василиса Назаренко*».

— Калмыкова — девичья... — пояснила она, криво улыбаясь и тыча пером в фамилию Назаренко. — Ну, а теперь...

— Что?
— Плюнуть тебе на меня надо!
Я молчал.
Она сбоку посмотрела на меня, обняла, поцеловала, а затем пошла к руднику, говоря на ходу:
— Влюбился бы ты, Всеволод, в какую-нибудь верненскую казачку, разводил бы яблоки, пил молоко, читал бы «Русское богатство», — ну зачем тебе я или эта Индия?
Она сунула мне в карман только что набросанную записку.
— Зачем?
— Затем же, — ответила она, ухмыляясь, — зачем дикому коню вожжи.
И, помолчав, сказала:
— Как Вячеслав Алексеевич нашел моего отца? Очень изменился?
— Ничего не говорил.
— Глеб Иваныч сильно, сильно болен, Всеволод. Мост попы освятят, запасы руды в Святой долине и округ посчитают, свадьбу сыграем, и надо Глебу Иванычу ехать в Петербург лечиться. Может быть, за границу. Главное, беспокоит меня, что он все по своим карманам шарит, и нет-нет да спросит про воров. И когда я на него в такие минуты смотрю, у меня возникает какое-то темное чувство отчужденности. Я его люблю, люблю, да?
Я равнодушно ответил:
— Разумеется, любите.
А на душе у меня было нехорошо... «Экая ломака! — думал я с раздражением. — Ну, зачем написала признание? Зачем понадобилось брать на себя вину? После рассказанной ею истории борьбы за Святую долину ясней ясного, что если и был убит Назаренко, то не Василисой и не Анастасией Николаевной, а Глебом Иванычем и Салазкиным. Может быть, и Малицын участвовал. «Размышления Поэта» их встревожили, они и начали сумасбродствовать».
Мы быстро вскочили на коней и выехали на тракт. Маргарита Андреевна решила, что Василиса Глебовна хочет с нею посоветоваться о подвенечном убранстве. Жена Двуконя вся сияла. Мой отец сиял не меньше. Ему казалось, что Василиса Глебовна думает обвенчаться со мной «убегом». Мой отец обрядился поэтому в свой золотой мундир. Я так и читал на его лице: «Мар-

гарита Андреевна — посаженая мать? Не о такой я мечтал, но — пусть».

Проскакали поселок, промчались галопом мимо моста и выехали к броду через реку. Было уже поздно, часа два ночи. По ту сторону реки, саженях в трехстах от железнодорожной насыпи, несколько казахов сооружали из бревен что-то похожее на козлы. Я вспомнил, что Чапе говорил о своем канатоходстве, которое он покажет по случаю открытия моста и свободного пира — «тоя».

— Кажется, там Чапе возится? — спросил я отца.

Отцу было не до меня. Он с недоумением оглядывал жалкие домики противоположного берега.

— Василиса Глебовна! Да там на сто верст церкви нету.

— Церкви, верно, перевозные,— равнодушно ответила Василиса Глебовна, — у Духовной миссии.

Отец успокоился. Маргарита Андреевна смотрела на нас с недоумением, но расспрашивать боялась.

— А река-то, кажется, растет? — сказал мой отец, пуская коня вброд.

Ему никто ничего не ответил.

За насыпью и железнодорожной будкой — небольшой заросший пруд. Топот наших коней разбудил уток, и они начали утренний разговор между собой, причем селезень долго откашливался.

На другом конце пруда, у потухшего костра, сидели переселенцы, хлебали кисель из котелка и говорили о саранче. Мы поздоровались с ними. Седой переселенец, по-видимому главный в обозе, ответил нам и, широким жестом указывая на котелок, пригласил отведать.

ОПЯТЬ СВЯТАЯ ДОЛИНА

Подальше в степи мы встретили телеги, которые везли саксаул в поселок. Пожилая татарка, верхом на старой кляче, торопила возчиков. Она спросила нас — высока ли вода и есть ли еще брод? Отец любезно раскланялся с татаркой; отъехав, стал улыбаться.

— Возможно, ты обратил внимание, — начал он, — что недалеко от железнодорожного моста стоит старенький домик и рядом с ним — новый большой трактир под железной крышей. Давно, еще до постройки железной дороги, в этом старом домике жил татарин Нияз Са-

фиев. Он владел бахчами. И у него была жена Аймула. Вот эта самая татарка! К началу строительства Нияз умер, и правление «Семиречки» предложило вдове его продать бахчи и домишко. Бахчи она продала, но дом отказалась продавать. В действие вступили современные мотивы: электричество.

— Электричество?

— Разве ты не слышишь туканья нефтяного двигателя? Через территорию и воздушное пространство над домиком вдовы Нияза Сафиева, с согласия последней, строители проложили кабель. Этот кабель они обязались, когда будет выстроен мост, отдать в собственность сварливой старухе. Аймула Сафиева оказалась не дурой. Рядом со своим дряхлым домишком она выстроила новый большой дом под зеленой железной крышей. Открыла трактир с подачею горячих напитков и женской прислугой. Правление железной дороги подало на нее в суд, — не из-за женской прислуги, а из-за электричества. Аймула провела от кабеля провод для освещения не только своих домов, но и конюшен и всего двора. По словам истца, это значительно способствовало падению напряжения, и строительство «Семиречки» вместо полного освещения стало получать только тусклое. Заочным приговором суда Аймула Сафиева была присуждена к штрафу в десять рублей с обязательством отъединить провод.

— И все? — спросила Василиса Глебовна.

— Нет, не все. Аймула обжаловала приговор. Дело будет пересматриваться в высшей инстанции. Убежден, все будут слушать дело с громадным интересом. Сейчас я начну его.

И мой отец начал совсем другим тоном, сухо, несколько небрежно, по-судейски:

— Учитель Иванов, поверенный Аймулы Сафиевой, подал в сенат отзыв, в котором изложил, что по договору с правлением «Семиречки», в случае переустройства освещения, проложенный по двору Сафиевой кабель поступает в собственность Сафиевой. Что главное — кабель или машина, добывающая электричество? Несомненно, кабель! Машина может сколько ей угодно производить электричества, но эти ее действия будут бесцельны, раз нет кабеля. В строительный сезон данного года, как известно, Сафиева поставила новый дом — трактир, купила трансформатор, добавила много саженей кабеля. Это пе-

реоборудование дает ей полное право считать нормальным якобы слабое освещение моста. Более того, разрешая мосту пользоваться своим трансформатором, Сафиева делает большое одолжение «Семиречке». Основания? Извольте. Вот расписка за подписью заведующего устройством освещения «Семиречки» подполковника Шателена.

Отец показал расписку. Я прочитал: «Сим удостоверяем, что поставленный на вашем дворе столб и проложенные провода для освещения моста, в случае переустройства освещения, не будут сняты, а поступят вам в собственность».

— Требования Сафиевой бесспорны. Теперь слово принадлежит тебе, Всеволод. Ты отстаиваешь интересы «Семиречки». Попробуй.

— И попробую! — воскликнул я с азартом. — Ты, отец, защищаешь дурацкие претензии.

— Вот как!

— Да, так.

— Дурацкие даже?

— Даже!

— Продолжай.

— Скажите, пожалуйста, господин учитель, суд признает действия Сафиевой подлежащими рассмотрению в уголовном суде?

— Нет, в гражданском. Обвинение, предъявленное «Семиречкой» вдове верненского мещанина Аймуле Сафиевой, не содержит указаний на какое-либо уголовное наказуемое деяние. Спор между сторонами заключается в разнородном толковании договора. Следовательно, спор подлежит рассмотрению исключительно гражданского суда.

— Ах, гражданского!

— Да.

— Извините, господин защитник...

Мне немало приходилось бывать в судах. Особенно усердно посещал я судебные заседания в дни, когда меня хотели привлечь по делу «о перегрызании супони». Я верил Мейстеру, но готовился и сам защищаться. Сейчас, вспомнив судебные термины и манеры судебных обвинителей, я сказал:

— ...Я, как поверенный «Семиречки», требую суда уголовного. Объектом преступного деяния в данном случае является получение выгод от чужого имущества, —

имущества Семиреченской железной дороги, которая строится при помощи Российского императорского правительства. Вследствие преступных деяний Сафиевой нанесен вред не только «Семиречке», но и всей Российской империи! Следовательно, созданы все условия для применения уголовного закона!

Мой отец сказал с восхищением:

— Ты очень ловко говоришь, сынок. Однако хочу возразить тебе. Из установленных по делу обстоятельств, я, как представитель защиты, утверждаю, что Сафиева, дозволив провести через свое владение электрические провода, никаких условий пользования электричеством для собственных нужд не выставляла, равно как и «Семиречка», со своей стороны, не выставляла никаких условий. Сафиева дала это разрешение безвозмездно, на неопределенный срок, и само собой разумеется, что «Семиречка» давала разрешение — тоже безвозмездно и на неопределенный срок — пользоваться, как Сафиевой угодно, электрическими проводами. Она и воспользовалась.

— Построив трактир и постоялый двор?

— Разве у нас запрещено строить трактиры и постоялые дворы, господин представитель истца?

— Нисколько. Но строить трактир и постоялый двор, привлекая туда посетителей прелестью чужого электрического освещения, преступно.

Новая мысль осенила меня, и я с жаром продолжал:

— Я нашел бы, господин защитник, смягчающие вину обстоятельства...

— Любопытно, какие?

— ...если б вы доказали, что обвиняемой Сафиевой, темной, неграмотной татарке, мысль воспользоваться чужим электричеством кто-то внушил со стороны, кто-то более культурный. Но кто? Мне кажется, кто-то из Калмыковых. Они так бесчеловечны, им так нравится смеяться над простыми людьми. Кто же именно из Калмыковых? — Я замялся, помедлил, но, вспомнив сегодняшнюю сцену в горах, осмелел и быстро сказал: — Мне кажется, господин защитник, вы могли бы смело назвать имя Василисы Глебовны Назаренко, девичья фамилия Калмыкова.

Отец потупился и ответил в раздумье:

— Нет, я не назову ее.

— А процесс любопытный, — сказала Василиса Глебовна, — тем более что я вижу эту татарку впервые.

— К этому мы еще вернемся. Продолжайте, господин Иванов.

Мой отец сказал:

— Сафиева не была стеснена каким-либо договором по устройству в доме или вокруг своего дома электрического освещения. Она могла снизойти до оплаты электрической энергии, как ее оплачивают в Петербурге. Но именно снизойти, так как выданное ей подполковником Шателеном удостоверение о переходе в ее собственность проводов после возможного переустройства освещения, которое и было ею произведено, когда она купила собственный трансформатор, могло служить ей полпым основанием считать своей собственностью провода, проложенные «Семиречкой». Таким образом, в приписываемых Сафиевой действиях, господин представитель истца, не имеется налицо существенных признаков наказуемого самовольного пользования, так как не установлено ни заведомости пользования обвиняемой чужой собственностью с намеренным пренебрежением прав законного и действительного владельца имущества, ни каких-либо корыстных побуждений со стороны обвиняемой. Потому, при наличии спора между сторонами, суд имеет законное основание для прекращения производством настоящего дела. Вполне правильно, что суд признает, — ток электрического освещения не подходит под понятие вещи, предмета или вообще движимого имущества, а поэтому не считает, что в деяниях Аймулы Сафиевой есть признаки уголовно наказуемого проступка.

— Ничего не понимаю! — с удивлением посматривая на меня и на моего отца, воскликнула Маргарита Андреевна. — И тот прав и этот.

— Они правильно изображают суд, — сказала задумчиво Василиса Глебовна.

Я продолжал строго, почти грозно:

— Вы, господин защитник, не правы. Возможным предметом похищения ныне признаются не только твердые или жидкие тела, но и неосязаемые, — прошу не принять это на счет чувств, — газообразные, как, например, кислород, если его собрать в гуттаперчевый мешок. Прошу суд вообразить, что подсудимая утащила со стола суда мешок кислорода. Будет ли это кражей или не будет? Вы, господин защитник, хотите установить физическую природу электричества, которая до сих пор еще не установлена самыми великими учеными? Вы спраши-

ваете — что именно составляет электричество? Вещь, предмет, отдельно от других в данном пространстве существующий? Или свойства и качества вещи, ее энергию и силу? Вопросов, как видите, много, но, не желая втягивать суд в сложный спор о сущности электричества, я нахожу нужным признать, что электричество существует вполне реально. Как сущее, оно уже успело стать для людей экономическим благом, на приобретение которого затрачивается труд рабочего, топливо и машины. Это вполне реальные ценности, которые стали предметом менового оборота в обществе. Таким образом, электричество, в смысле законного имущества, обладает всеми признаками такового! Это не привидение, которое существует только в сказках, а имущество, к охране которого могут быть применяемы общие правила об охране движимого и недвижимого имущества. Посягательства против имущества могут, следовательно, направляться и против электричества! Эти посягательства могут являться и против имущественного права, и против реального объекта имущественного обладания, смотря по тому, стремится ли виновный присвоить сам право на электричество, или передать его другому лицу, или захватить определенную сумму уже существующего чужого электричества. В этом последнем случае электричество надлежит признать имуществом движимым, так как оно может быть перемещаемо с одного места на другое путем провода. Вследствие отвода владелец электричества несет имущественный ущерб, ибо от владения его уводят то определенное количество электричества, для пополнения которого ему необходимо затратить лишний рабочий труд, лишнюю работу машин, лишнее топливо...

Мой отец всплеснул руками.

— Думая о чем-то другом, ты говоришь как старый, дряхлый товарищ прокурора, которому все равно, что говорить. Милый мой, мы с тобой не на суде! Мы готовимся исполнить рассказ о смешном процессе, а ты приводишь бог знает какие сложные доводы. Говори глупость. Глупость украшает рассказчика.

Он остановил коня и сказал Василисе Глебовне:

— У этой татарки Сафиевой есть сын, солдат. Он мусульманского вероисповедания. И, однако, завтра его при освящении моста ставят на караул возле иконы. Нельзя ли его заменить русским солдатом?

— А если русский окажется атеистом? — спросила,

смеясь, Василиса Глебовна.— Хорошо, я скажу подполковнику Шателену. Только не все ли равно, где стоять солдату: у денежного ящика или иконы?

— С тех пор как мать его взяла в свои руки судьбу электричества «Семиречки», солдат Сафиев стал заметно щепетильнее в вопросах религии.

— Перед нами Святая долина?— спросила Василиса Глебовна.

Вдали виднелись палатки, что-то похожее на буровую вышку, подводы. Горели костры. Людей было заметно больше, хотя день только что начинался.

— Саранча!— прошептала Василиса Глебовна, указывая на степь.

На голой желтоватой поверхности степи поднимались серовато-зеленые стебли камыша, как бы на холмиках: это песок, насыпавшись между стеблей, образовывал горку. Сюда, в эти горочки, саранча кладет свои яички. Мы с ужасом смотрели на эти горки. Семиреченцы верят, что песчаные горки не только размножают саранчу, но и сами пески способны размножаться, как живые существа, и, как живые существа, двигаться.

Показался на великолепном иноходце Геммадинов. Лицо его было катафалково-сумрачно и в то же время счастливо взволновано.

— Огорчение великое будет,— сказал он, притворно вздыхая,— для православных то есть, Глеб Иванович!

— Он уже получил образцы руды,— ответила Василиса Глебовна,— что, разве не такая богатая?

— Руда рудой, Василиса Глебовна, и она богатая, но вы взгляните, что отрыли археологи.

Геммадинов наклонился и с седла стал целовать руки Василисы Глебовны.

— Все сбежали!— восклицал он.— И православные и несториане.— И он засуетился, насколько позволяла иноходь коня.— Почему нет корреспондентов? И где каркаралинские султаны? Они ведь в поселке? Река разлилась? Глупости. На час, на два: речки тут после дождя часто разливаются. Впрочем, пожалуйте к раскопу!

Мы продолжали наш путь.

Мой отец, спешившись, замер у раскопа. Шею и щеки его залила краска.

— Поразительно, поразительно!— качая головой, шептал он.

Отец мой сразу забыл все свои выдумки и связанные

с ними беспокойства: и то, что в Святой долине нет юрты-церкви, где бы он мог устроить свадьбу своего сына с Василисой Глебовной; и свою предстоящую роль на этой свадьбе; и воображаемый приезд старика Калмыкова; и просьбу Калмыкова о прощении; и будущий свадебный пир, на который нет денег; и приданое невесты, в котором Калмыков способен отказать; и злобу Малицына; и удивление архимандрита, а затем Семипалатинска и всего Семиречья...

— Поразительно!

И правда, открытое археологами погребение могло удивить кого угодно.

Раскоп был не велик — метров шесть в ширину и около десяти в длину. Грунта подняли тоже немного — метра два. Отрыты были три плиты из потемневшего от времени и влаги песчаника. Эти плиты образовывали нечто похожее на заглавное «П». На двух длинных плитах, расположенных не на одной плоскости, лежали два шишака с инкрустациями из золота, кольчуга и что-то похожее на остатки металлических сапог — железные голенища, кованые пластины, прикрывавшие ступню и пальцы. Все это было, разумеется, заржавлено и изгрызено временем.

Но поражало не это.

Великаны — огромные скелеты в полтора человеческих роста — зарыты были в землю со скрещенными мечами. Кто они? Почему они продолжают сражение даже после смерти? Почему мать-земля не успокоила их?

На третьей плите, служившей великанам изголовьем, отец мой с трудом разобрал стих из первой суры Корана:

Настави нас на путь истинный,
На путь благоугодивших пред тобой,
И уклони нас
От пути носящих в себе гнев твой
И ходящих путем строптивых.

— Орнаменты казахские? — спросил мой отец археолога с плоским, словно укатанным лицом.

— Да. И на вооружении, и на предметах, похороненных с богатырями.

— Казахские, казахские! — подхватил Геммадинов. — Это и смутило священников. Я очень огорчен.

Отец мой продолжал размышление:

— И вместе с тем погребение не мусульманское. Му-

сульмане хоронят без оружия, а здесь, кроме того, вижу, найдены сосуды, блюда, украшения...

— А сура из Корана? — спросил Геммадинов.

— Сура меня смущает. Может быть, это казахские рыцари, некогда только что обращенные арабами в мусульманство? А скрещенные мечи? Из-за кого или из-за чего бились под землей эти два великана?

Раскоп смущал не только моего отца. Археологи тоже были крайне смущены. Успех, который они упорно искали, достигнут. Но успех этот не поддерживал археологов, наоборот, расслаблял. Они, растерянно держа в руках лопаты, смотрели на раскоп, словно не узнавая его. Надо добавить, что и природа не походила на обычную. Юг заволокло густыми синими тучами, восток горел пламенем, а север и запад были пронзительно голубыми.

Благодушествовал, похрапывал только возчик большой телеги с плоским верхом, стоявшей у края раскопа. Телега сопровождала архимандрита и несториан. Она была загружена продовольствием, палаткой с нашитыми на полотно черными крестами, чемоданами, ящиками со свечами. Два чемодана были раскрыты: в одном поблескивали ризы икон, из другого вывалилось фиолетовое сукно, которым, вспомнил я, был накрыт стол в подворье Верненской духовной миссии.

Значит, готовилось молебствие? Ждали чуда? И, обнаружив совсем другое, ускакали, забыв сказать, чтобы телега с припасами следовала за ними? Возчик спал, обратив беспечное лицо к грозному небу. Конь, засунув голову в торбу, похрустывал овсом. Богомолки со жбанами кваса в руках тупо смотрели на шлемы двух великанов, на их мечи, которые столько столетий были скрещены, а теперь мирно лежали рядом.

Мне вспомнился вечер, когда мой отец читал у Калмыковых легенду об апостолах и сивилле, легенду, которая до какой-то степени способствовала раскопкам в Святой долине. И что же раскопали? Двух казахов. Да, да. Ведь когда подняли плиты, увидели скелеты двух казахских богатырей. Вот вам и апостол Фома! Вот вам и треножник Пифии!

Оцепенение покинуло моего отца. Он улыбнулся, поднял кусочек глины, сделал из нее катышек и, играя той землей, которая когда-то ласково приняла в свои недра двух казахских богатырей, высказал свое восхищение находкой.

— Поздравляю ваш народ, господин Геммадинов. Если бы я был более хвастливым, я бы сказал, что обнаружению этого бесценного казахского сокровища способствовала и наша Русско-казахская народная академия. Но об этом я скромно молчу. Замечу только, что вам, господин Геммадинов, следует принять все меры и средства к тому, чтобы сохранить для потомков эти сокровища. Многие еще невежественны, и огромные ценности могут исчезнуть бесследно.

— Раскапывали археологи «Семиречки», и я, как акционер, воспользуюсь своим авторитетом...

— Непременно, господин Геммадинов, непременно!

Отец мой отвел в сторону Геммадинова и сказал, понизив голос:

— Имейте в виду, что православным, то есть архимандриту и Калмыкову, хотелось доказать, что несториане, другими словами те же православные, издавна владели этими землями. Погребение, указывающее на древнюю казахскую культуру, им не по нутру. Эта находка не помешает им, конечно, захватывать и дальше казахские земли, строить церкви...

— Но все же! — многозначительно подняв палец, закончил Геммадинов.

И мой отец добавил:

— Да, из-за злата много на земле грехов творят. Вы покидаете нас, господин Геммадинов?

— Поднимается река, господин учитель, и надо устроить переправу. Кроме того, хочу прислать сюда подводы, как бы разлив не повредил нашему раскопу. Лучше ведь увезти останки?

— Лучше, — подтвердил мой отец. — Кланяйтесь Саумал: мы дружески помним ее.

И отец, глядя вслед Геммадинову, загадочно улыбнулся. Затем он перевел взор на архимандритскую подводу.

— Архимандрит не посетует, Василиса Глебовна, если мы вкусим монашеской пищи? — спросил он. — Монахи чертовски вкусно готовят, особенно рыбу. Раскладывайте кушанье, Василиса Глебовна, а меня охватила жалость: паломники-то ведь могут быть смыты водой? У нас кони, мы ускачем, а они? Я им скажу.

Отец ушел. Василиса Глебовна разбудила возчика, который недолго и не очень упорно сопротивлялся ее

приказаниям. Мы получили ящик с продовольствием и фиолетовое сукно. Разложили на нем пироги с рыбой, семгу, осетрину, легкое белое вино, три банки варенья и много белых саек.

К нашему удивлению и смущению, отец вернулся в сопровождении Соньки Золотой Ручки.

— Отец архимандрит исцеляться прислал, — сказала она, глядя на угощенье и глотая голодную слюну, — непременно, грит, чудо будет. Ну, я и приехала. Меня в Верном чуждаться стали: боялись архимандритова гнева. Иначе б я и не поехала второй-то раз. Дайте кусок, я отойду в сторонку: мне вместе с невестой вроде и неудобно есть.

Василиса Глебовна задумалась на мгновенье, а затем, сердечно пожав руку Соньке, посадила ее около себя.

— Пока я еще не княгиня, — сказала она, смеясь, — можно.

Отец мой, в тон ей, добавил:

— Люди женятся, а у нас глаза светятся.

И, помолчав, разъяснил:

— Даже выходя за князя Малицына, вы, Василиса Глебовна, совершаете смелый шаг. Вы — сильны, смелы, настойчивы. Вы, пожалуй, скажете: но князь Малицын тоже человек сильный! Казалось бы, он не нуждается в вашей поддержке. Ан нет, нуждается. Вы поддерживаете через него наиболее слабый класс — аристократию. И это, в сущности, тоже вполне понятно. Кругом наблюдается тяга ко всему биологически сильному, смелому. Даже в орнаменте — архитектурном или живописном — уже не встретишь теперь декадентской лилии, этого символа красивой слабости. Да и символизм, укрывающий мысль в скалу символа, исчез! Появился футуризм, Джек Лондон, аэроплан, Уточкин, цирк, факиры, мой сын, — словом, волевой человек. Из этого следует, что люди накануне того, чтобы совершить прыжок в какое-то огромное, необыкновенное будущее. Позвольте поднять за него бокал с церковным вином!

Выпив свой стакан до половины, отец мой сказал, обращаясь к Соньке Золотой Ручке:

— А что касается тебя, жено, то ты возвращайся в Верный и греши смело. Песенка архимандрита спета. Ее заглушили эти два открытых казахских богатыря. Вот увидишь. Правда, как вода, везде сквозь пройдет.

Когда мы переезжали реку утром, вода доходила коням до колен. Возвращаясь, мы увидали, что верховым казахам вода хлещет по коленям, иными словами дошла уже до брюха лошади, причем река неслась стремительно, с шумом, похожим на кашель. Мы остановились у козел, которые сооружал Чапе. Он уже натянул канат, попробовал его: канат выдерживал его отлично. Чапе сказал, улыбаясь:

— Вы либо ступайте по мосту, либо давайте со мной по канату, а то, не дай бог, конь качнется... река нынче злая. Она об нас сейчас плохо думает.

Мой отец и Маргарита Андреевна решили идти на мост. К нам присоединилась Ханыке с двумя детьми: девочка Гулькамыс оставалась с отцом, а Бадаму надо было быть во что бы то ни стало на том берегу — завтра или послезавтра свадьба, а значит, и бега.

— Она небось лучше знает, когда свадьба, — сказала Ханыке, указывая на Василису Глебовну.

Василиса Глебовна с удивлением, точно впервые видя Ханыке, посмотрела на нее и воскликнула:

— Боже мой, да ведь это та киргизка, которую Аралбаевы в воровстве обвинили!

— У меня есть муж, — сверкая глазами, ответила Ханыке, — и он защитит меня, канатоходством заработает денег, и мы уйдем с вашей проклятой дороги!

— Вы? Вы, голубушка, у меня на дороге никогда не стояли и не могли стоять.

— Даже когда носила ваши записки Малицыну? — вскрикнула, не удержавшись, Ханыке.

Василиса Глебовна тронула лошадь, та вступила в воду. Василиса Глебовна сказала, рассеянно глядя на Ханыке:

— Да, да, припоминаю. Что поделаешь! Тогда я любила одного, теперь люблю другого. — И она положила руку мне на плечо.

Кони перешли реку без особого напряжения. Когда мы вышли на берег и остановились, чтоб подождать отца и Маргариту Андреевну, я сказал с укором:

— Зачем вы лгали?

— Что люблю тебя? Но это же правда. Сейчас я тебя ужасно люблю. Буду ли любить через час, покинув тебя, не знаю. Но разве это важно? Солгала? А если и сол-

гала, то из сострадания и жалости. Ей-то, при трех детях, совсем не пристало любить другого.

— Она любит мужа.

Василиса Глебовна свистнула:

— Та-та-та! Передай отцу, что Глеб Иваныч подтверждает свое приглашение на свадьбу.

И, перед тем как ускакать от меня, несколько раз повторила:

— Беспокоит меня мой отец, беспокоит.

Вернулся мой отец. Он очень обрадовался повторному приглашению Глеба Ивановича и, вздохнув, сказал, что для Калмыкова все интересы жизни сосредоточены сейчас на открытии моста.

И действительно, с восхода до жары, когда работать на солнце становится совершенно невозможно, пойма реки вокруг моста, небольшие, но крепкие дамбы, направляющие речные струи, подходные насыпи — все гремит, спешит, пылит: телеги, всадники, пешие люди. На мостовом полотне особенно тесно: туда торопливо везут рельсы, шпалы, щебенку, кажется, все звуки строительства сосредоточены здесь.

Многих рабочих с рудника перегнали «на подмогу» к мосту.

— Ну, теперь они покажут, — толковали среди работающих.

— Кто, что покажет?

— Да, протест надо готовить.

Говорили еще, что был выбран стачечный комитет, но комитет оказался слабым и сейчас выбирают другой, и что будто бы в поселок явился Скурлатов и «всех разнес». Говорить, дескать, говорите много, а дел нет!

Откатчик Варетников, о чем-то пошептавшись с моим отцом, попросился на два дня в поселок. Двуконь отпустил его. Инженер был сам не свой, должно быть, замучила его жена, готовившаяся к свадьбе Василисы Глебовны и сетовавшая на отсутствие нового платья.

Калмыков свадьбу своей дочери назначил на пятницу, как и открытие моста. Рабочих отпускали на пятницу, субботу да еще воскресенье — прямо пасха! Поэтому на мосту работали теперь всю ночь. Всю ночь горело электричество, визжал металл, свистели паровозы, а по фермам моста лазили темные фигурки маляров. И с каждым утром мост все более и более краснел: его покрывали густой темно-бордовой краской.

Но вот и пятница!

Утром мы с отцом медленно идем к поселку.

Церковный приход верстах в шести. Предполагается, что Калмыковы вместе с гостями поедут на венчание, из прихода вернутся к обеду, откроют мост, и тогда сразу начнется два пира. Ведь Геммадинов добился-таки своего — его свадьба назначена на один день со свадьбой Василисы Глебовны.

— Подлец он, твой Геммадинов! — вдруг вскрикнул отец, покраснев.

— Почему?

— Да как же! Вода уже вышла из берегов, того гляди хлынет по старым руслам в Святую долину, а он подводы за археологическими находками не послал.

— Небось археологи не готовы.

— Жди! Попов он боится. И вообще, — продолжал отец горячиться, — отношение к казахам ужасное — считают их за каких-то туземцев. Твоя Василиса Глебовна тоже хороша. Помнишь, говорил я ей про сына татарки Сафиевой, солдата? Что же, не похлопотала! Будет стоять татарин на часах у иконы.

— Ну не такая уж это великая беда.

— Не велика беда, но противно.

Мы спустились на тракт, к перекрестку.

А жара все увеличивается. В тени так же душно, как и на солнце, в горах — мгла. Там опять прошли страшные ливни. Хорошо бы и нам немножко прохлады!

Я снова завожу разговор о свадебном пире. Геммадинов расщедрился, это мы знаем; но и Калмыков не поскупится.

— Меня, собственно, не столько привлекает пир, «той», — аппетит у меня плох, — говорит со вздохом мой отец, грустно поглядывая на дорогу, — сколько различные происшествия, которые неизбежно должны случиться на этом тое. Различные состязания, вроде скачек, борьбы, упражнений канатоходцев, меня мало занимают, но вот состязание рассказчиков...

— Не предполагаешь ли ты участвовать в этом состязании?

— Да. Я уж приготовил рассказ.

— О чем?

— О двух богатырях, похороненных в Святой долине.

— Ты о них ничего не знаешь.

— Я видел их скелеты и могильные плиты. Этого более чем достаточно для рассказчика. Шекспир не видел могильной плиты Гамлета, Пушкин — Евгения Онегина, Гете — Фауста. Я счастливее их.

Чудесный мой отец! Опять на меня пахнуло счастьем творчества, опять я с любопытством и интересом стал прислушиваться к его речам.

Медленно шагая, мы двигались среди скал, и мало-помалу внизу перед нами стали вырисовываться домики поселка.

Белесая пыль, словно скучая, долго стояла за нами, а затем медленно укладывалась снова спать. Справа и слева на выжженной равнине виднелись буро-желтые холмы. На некоторых из них торчали камни, похожие на каких-то взъерошенных птиц, которые не могут взлететь. На двух холмах стояли белые юрты, суетились казахи, а ложбинка между холмами была забита деревянными ящиками с синими клеймами. Геммадинов готовился к пиру. Поодаль, ближе к реке, у прикольев дремали кони. Среди них я увидел тулпара Рыжика. Еще дальше, за конями, виден был канат через реку. Чапе, сопровождаемый Гулькамыс, с шестом в руке, кричал на казахов и пробовал — не намок ли случайно канат. Он становился на него босыми ногами и, махая шестом, подпрыгивал. Гулькамыс кричала что-то, но ее крик казался слабым писком.

Высоко поднимался мост, стальной, весь окрашенный в темно-красную с лиловым оттенком краску; он был неожиданно суров, и странно ненужными казались белые юрты на холмах, и гости, спешившие к Геммадинову.

— Завернем к Саумал?

— По некоторым причинам, не стоит, — сказал многозначительно отец. — Пройдем лучше к Глебу Ивановичу. Вообще-то я не уверен, что нам нужно и туда идти.

— Конечно, не нужно!

Отец оглянулся и прошептал:

— Но совсем по другой причине, чем думаешь ты.

И он, ничего не добавив, прибавил шагу. Минут пятнадцать спустя он прервал молчание совершенно неожиданным сообщением:

— Инженер Двуконь согласился спрятать в шахте привезенное возчиками оружие.

— Кузей? — еле смог спросить я онемевшими губами.

— И Кузей в том числе.

— Много оружия? — задал я совершенно нелепый вопрос.

Отец ответил неопределенно:

— Винтовки и патроны. Шашек нет.

— Да, шашек только нам и не хватает! — воскликнул я.

— Ну, если сражаться, то хорошо любым оружием.

— Ты же — против насилия!

Отец посмотрел в небо.

— Не во всех случаях. Так же как это небо бывает и голубым, но не во всех случаях.

Поселок вообще оживлен, но в этот день он оживлен особенно сильно. Всюду па кривых его улицах толпятся люди: казахи, «коты» — землекопы, шахтеры. Слышны возбужденные голоса, колышатся платки женщин, сверкают козырьки фуражек. Много курят, пьют, бранятся. Часто слышно «сам», «у самого» — так зовут здесь Глеба Иваныча.

— К самому-то шесть генералов из Питера!

— Пя-ять, дяденька! Шестой — полковник! — кричит какой-то длинноносый парнишка с воспаленными глазами.

— Генералы-то, мотри, бреются.

— Ведрами им мыло жидкое таскают!

— В бане?!

— А то где ж?

— С утра?!

— Это, братцы, чтоб у него рожа горела и чтоб православные издали трепетали,— шутит какой-то слесарь.

К Глебу Ивановичу мы явились в любопытное время. Запрягали коней, чтоб везти в храм жениха и невесту. Причт уже был готов. Священник, дьяконы и хор, освятив мост, возвратятся в церковь, свершат обряд, а затем вернутся на пир. Но любопытно было не это, а то, что возле крыльца дома, на разостланных кошмах, сидели представители северных и южных склонов, а чуть поодаль — каркаралинские султаны, которых Мейстер уговорил выступить третьей стороной. Побаивался-таки Мейстер всесильного Калмыкова!

Мы прошли в дом.

Мой отец подплыл к архимандриту под благословение.

— Не надо бы тебя и благословлять, учитель,— хмуро сказал архимандрит.— Дьявола ты наслал в Святую долину. Экое выкопали!

— Вы, отче архимандрит, по-видимому, крепко верите в дьявола? — спросил лукаво мой отец.

— Верю. Его разглядела церковь. Прежде злые силы ада были туманны, но церковь, чтобы легче с ними бороться, вгляделась в них, и под взглядом ее туман сгустился и был наречен дьяволом.

Мой отец сказал:

— Получается, что церковь создала дьявола?

— Церковь ничего не создает, она лишь старается увидеть все, что создано богом.

— И дьявол создан богом?

— Поскольку дьявол существует, он, по великой божьей мудрости, нами не постигаемой, создан богом...

— Но если так, то получается, что дьявол — творение божие, а значит, часть бога и тем самым тоже бог?

— Таких вот, вроде тебя, — зарычал архимандрит,— раньше на кострах жгли. И будут еще, будут!

— Если дрова подешевеют, — сказал, улыбаясь, мой отец. — И еще: не милости прошу, отче, а жертвы. Примиритесь вы в сей торжественный день с южными и северными склонами. Уступите им Святую долину обратно.

Архимандрит, пораженный этой дерзостью, побледнел. Желваки на скулах Калмыкова заходили, щеки налились кровью, глаза сузились, руки побежали по карманам. Борис Глебыч поспешил к отцу. Быть бы крупной ссоре, но догадливый Мейстер привел в горницу несколько казахов южных склонов, да и почти в то же время пришли важные военные, окончившие бритье.

Мейстер воспользовался заминкой и сказал:

— Глеб Иваныч! Не люди, природа требует защиты. На северных склонах Ак-Таша сколько угодно свежей воды, а южные склоны покрываются снегом на самое короткое время, два-три дня — и снег стаял! Из-за этого северные склоны — «терскей-тау» — плодородны и богаты, а южные склоны — «кунгей-тау» — засушливы, бесплодны, и казахи превратились там в нищих, байгешей. Разве не ясно, кого надо пожалеть в этот торжественный день?

Старик казах, с длинными, желтоватыми усами, в буро-сером халате, умный, красноречивый, сказал:

— Чем меньше получаешь счастья на земле, тем

больше ее любишь. Северные имеют скот, дома, одежду и пресытились так, что не хотят уже больше рожать детей. Мало того, им даже своя земля не мила: хотят купцам продать! Мы, южные, ничего не имеем, но Ак-Таш не продадим!

Казахи наперебой выкрикивают обвинения северным склонам:

— Взятки дают! Порчу насылают!

Услышав голос Мейстера, в дом повалили казахи северных склонов, появились и каркаралинские султаны.

А Калмыков действительно изменился! На лице его странная, вялая улыбка. Подтрунивавший прежде над витиеватой речью Мейстера, теперь Калмыков слушал адвоката с напряженным вниманием, явно ища в ней подтверждения каких-то своих затаенных мыслей.

— Киргизские земли, по статьям сто девятнадцать — сто двадцать Степного положения, — продолжал Мейстер, — признаются государственной собственностью, оставаясь на бессрочном пользовании кочевников. Казалось бы, замечательно? Но к статье сто девятнадцатой есть примечаньице! На основании его, киргизские земли, признанные Землеустроительной комиссией излишними, отчуждаются для целей колонизации и других государственных нужд. Помимо этого, земли по статье сто двадцать шестой могут сдаваться киргизскими волостными — заметьте, волостными! — съездами в аренду на срок не свыше тридцати лет лицам русского происхождения — для земледелия, устройства заводов, мельниц и тому подобного. Южные и северные склоны Ак-Таша — одной и той же волости.

— Воры! — вдруг глухим голосом прервал Калмыков.

Мейстер опешил.

— Кто воры?

— Киргизы. Сами у себя воруют. Так и знал.

— Да, в некотором смысле и воры: по своему невежеству. Благодаря этому русские ревнители собственности уже оттяпали у казахского народа — для городов, конно-почтовых станций, пристаней, лесных дач, ярмарок, рудников, имений — четыре миллиона сто девяносто три тысячи пятьсот десятин! Не так-то уж трудно прибавить к ним шесть с половиной тысяч Ак-Таша!..

— Значит, и мы — воры? — опять перебил Калмыков. — Я, Борис, архимандрит, князь Малицын.

— Вы меня не совсем верно поняли, Глеб Иваныч.

— Нет, это вы меня не понимаете, Роберт Васильевич! И особенно в последнее время. Вот вы вздумали защищать казахов — и против кого? Против меня! Меня, несущего им культуру. Почему я беру у них эти горы? Да потому, что, воспринимая культуру довольно быстро, они вот горного земледелия усвоить никак не могут! Уткнулись в свои предгорья, но в настоящих горах, сколько мы, русские, не стараемся, селиться не хотят. Между тем площадь, занимаемая горной полосой, над которой непосредственно господствуют вечные снега, равна половине всей области! Зимы в горах не холодные, лета — знойные, а выпадающие снега и дожди способствуют пышному произрастанию растительности. Однако попробуйте уговорить киргиза переселиться в горы, да еще сеять! На летние пастбища выгонять сюда скот они любят, но чтоб дом выстроить... куда! Возьмем, например, казахов южных склонов Ак-Таша. Они утверждают, что постоянно живут здесь, а на самом деле они приезжают только сеять и убирать. Поэтому казахи и настроены враждебно ко всем, кто пробует жить оседло. Казахи южных склонов ненавидят казахов северных, которые селятся в домах, выстроенных по русскому типу, имеют школы, мечети и настолько склонны к колонизации, что даже подписываются на русские газеты...

— И поддерживают Калмыкова, — вставил красноречивый казах с южных склонов.

Начался было опять шум, но Калмыков с былой властностью махнул рукой, и все замолчали. Он заговорил:

— Поэтому лучше всего казахов с южных склонов Ак-Таша переселить на земли по берегам крупных рек, скажем Чу. Тут они смогут вести пашенно-скотоводческое хозяйство под наблюдением крепких русских хозяев и помещиков. В долине реки Чу наши землеустроители, в частности князь Малицын, обнаружили двести двадцать тысяч десятин свободных пашен. Пора перевести кочевников на оседлость, дав им землю по особым земледельческо-скотоводческим нормам. Благодаря этому государство получит от кочевников обширные пространства, необходимые для организации больших имений. Сейчас переселенцы, так называемые «билетные», арендуя или покупая казахские земли, дробят их. Недопустимо, чтобы мелкие, бескультурные собственники раз-

дробляли землю, а крупные, которые несут культуру в этот край, не получали бы достаточно земли!

И, с торжеством оглядев слушателей, Калмыков добавил:

— А вы называете меня и моих близких — ворами!

— Глеб Иваныч! — возопил в ужасе Мейстер.

— Нет, именно — ворами. И настаиваете на этом!

— Я?!

— Глаза, глаза кричат: воры, воры! Воров действительно много, но...

Лицо Калмыкова изменилось. Кровь отлила. Побелевшими руками он стал ощупывать карманы.

— Борис, куда я бумажник положил? — испуганно прошептал он. — В нем ведь двадцать девять тысяч.

— Чек? — послышался откуда-то сдобненький голос Салазкина.

— Нет, наличными.

Отец толкнул меня в бок, и мы вышли.

У крыльца стояла бочка с водой, и плавал деревянный ковшик. Отец зачерпнул, выпил, крякнул и сказал:

— Воры, воры! Не к добру.

— Почему: не к добру?

— Да что он раньше мало видел воров? Кстати, о ворах. Пока вы там говорили с Мейстером, я перелистывал двенадцатый том «Военной энциклопедии», только что вышедший. Там на странице четыреста семьдесят три пишут о Кашгарии, то есть о Синьцзяне. Территория, мол, равна Италии и Германии, вместе взятым, ты это знаешь и без меня. Известно тебе и то, что Синьцзян наиболее доступен для нас, удален и отделен от внутренних областей Китая труднопроходимой пустыней, другой сильной соседней державы здесь нет, значит...

И отец прочел мне на ухо выписку из словаря:

— «Все это дает нам возможность, при необходимости, оказать давление на Китай, занять эту страну сравнительно быстро и незначительными силами, не опасаясь ни серьезного противодействия Китая, ни дипломатических осложнений с другими державами». Каково?

— Воры.

— И очень ловкие. Скажем, Геммадинов. Зачем Калмыкову понадобился вдруг Геммадинов?

— Среднеазиатский банк...

— Среднеазиатский не помеха Русско-азиатскому.

Дело тут хитрее. Известно ли тебе, что Геммадинов — потомок Ходжа-Джангира, который в тридцатых годах прошлого столетия удачно воевал с китайцами за независимость Кашгара или Синьцзяна, что одно и то же? А что, если Калмыков пообещал Геммадинову вассальное ханство России — Кашгарию?

Мы шли улицей к мосту. Нас обогнал Васька Babeтников. Зубы его были стиснуты, лицо смертельно бледно, руки тряслись. Он грубо сказал на ходу:

— Готово, учитель.

— Спасибо, — ответил мой отец.

Васька обернулся.

— Они тоже — шутники! Канат натягивают через реку, постыдились бы, вода ведь прибывает, а по канату — Чапе с дочкой хочет идти.

— Пьян ты, Васька? — сказал я.

— Кабы пьян! Мне бы за себя не отвечать, а то тяжело, ахтер. — И он убежал, покачиваясь.

Я весь похолодел.

— Ужасно! Только сейчас понял я про Гулькамыс...

— Ты же сам хотел сделать этих ребят акробатами.

— Я?

— А помнишь, что говорил возле станицы Ревухи?

— Выходит, что они тут по моему совету?

Затем я спросил:

— А что это Васька говорил тебе — готово?

Отец уклончиво ответил:

— Так, дело одно. Надо Мейстеру придать побольше бодрости и отваги.

МОСТ

(Продолжение)

— Пропустим людей, пылища, — сказал отец, остановившись против железнодорожной станции.

Он долго смотрел на юг, в горы. Небо там по-прежнему было закрыто синими тучами; беловатые ложбины как бы перерезали их. Отец вздохнул.

— А дожди льют там и льют.

— И до нас не доходят!

— Ну? Природа повернулась к тебе лицевой стороной, а ты не видишь? Подождем немного, она тебя облобызает.

Он улыбнулся.

— Когда я, сынок, вижу такие вот грозные тучи, мне вспоминается святоцвет, цветок папоротника, распускающийся в Иванову ночь...

— По преданию?

— Пусть по преданию, хотя я не раз держал его в руках — во сне, конечно. Но сон, тебе известно, часто бывает правдивее яви. Итак, ты идешь, держа нераспустившийся святоцвет, и вдруг нога твоя вступает в пределы зарытого клада. Цветок вспыхивает!

Отец закурил.

— Хорошо! В таких случаях, проснувшись ночью, я всегда закуриваю.

— А клад?

— Что клад? Разве я произвожу впечатление человека, который никогда не находил кладов? Вот и сейчас я иду с нераскрывшимся святоцветом в руке.

На площади показались калмыковские экипажи.

Мы прошли платформы с каменным углем, миновали железнодорожные склады, за которыми скрипели невидимые буфера, свистел сцепщик и слышались приглушенные голоса. За складами владельцев дороги ожидал нарядный паровоз, украшенный трехцветными флагами, и вагон с зеркальными окнами.

С паровоза соскочил длинноногий инженер. Икая через правильные промежутки, он подбежал к Калмыкову, молча указал белой фуражкой на реку и, повернувшись к Василисе Глебовне, сделал калачиком руку. Хозяева вошли в вагон, паровоз гукнул, а мы отправились дальше пешком.

Опять начались домики, журавли колодцев, глиняные ограды и опять много недостроенного: церковь в пол-окна, гостиница до подоконника и магазины — до фундамента. Зато всюду груды медно-красных кирпичей и пепельно-белой глины.

Густая толпа заполняла берег. Она восхищалась и бранилась одновременно:

— Сбухали громаду, а подвозят пока пушки!

Какой-то острослов крикнул:

— Я так сужу: башку сложу, кому служу.

— И верно, башку тут сложить не трудно.

— Река-то, река, батюшки!

— Тоже празднует.

— Не то радуется, не то злится.

— Вроде нас.

Глиняно-серая, в грязной пене, река бурлила, прибывая, словно стремясь показать мосту всю свою силу именно в этот торжественный день.

— Гляди-ка, гляди, Сафиева толчется, — сказал мне отец.

— Кто, какая Сафиева? Что?

— Ну, то, что невеста забыла мою просьбу, понятно. А ты? Сафиева, татарка, у которой сын стоит на часах возле иконы. Вон тот солдатик с рыжими усиками.

— Разглядел? — рассмеялся я.

— И тебе бы советовал, — неожиданно строго сказал мой отец.

Я был изумлен красотой моста и, как все, обратил свой взгляд на строителей. Нельзя было не восхищаться людьми, которые в такой короткий срок создали эту великолепную громаду! Инженеры, военные, их дамы, каркаралинские султаны — все так нарядны и довольны! Паровоз, легко дыша, пробежал по мосту. Сухо поблескивающие рельсы, натянутые туго, как струны, нисколько не прогибались от его тяжести. Проходивший мимо нас какой-то казак, кивая на паровоз, сказал внушительно:

— И насыпь тверда, как мост. И мост тверд, как насыпь.

Поднесли хоругви и иконы, и шествие двинулось на мост.

Неподалеку что-то доделывали в дамбе, должно быть, вбивали сваи. Время от времени падала тяжелая «баба», ноги наши вздрагивали, но мост не сотрясался от этого могучего удара.

Толпа богомолок торопилась с того берега на освящение. Не дождавшись дощаника, богомолки было пошли вброд. Вода прибывала, они стеснялись поднимать юбки. Какой-то лысый мужик крикнул из толпы:

— Да ничего у вас, странницы, не сохранилось!

Толпа захохотала.

Я тщетно пытался пройти сквозь толпу к Василисе Глебовне. Она болтала с Саумал недалеко от старика Калмыкова. Кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулся. Бэй Шэн! Искренне и крепко пожимая китайцу руку, я спросил:

— Надолго сюда?

— День, два. И дальше, на Арысь. — И он, пристально глядя мне в глаза, добавил: — Кони для вас готовы. В горах.

— Какие кони? Зачем?

Бэй Шэн, не отвечая, показал на высокие козлы канатоходца.

— При мне учился, в Синьцзяне. Чапе — имя. Он учился канату, а я у него — русскому языку.

— Но он сам-то не так уж хорошо говорит.

Бэй Шэн улыбнулся.

— Как может. Хороший человек. Бадам, сын, большим наездником получится.

— А скачки сегодня будут?

— Будут, будут.

— И тулпар Рыжик обгонит?

Он улыбнулся во все лицо.

— Обгонит, да, — и неожиданно добавил: — Щепетникова видел? Он здесь.

— Выпустили?

Китаец, уходя, развел руками.

— Да-а. Улик нет. У вас очень дружный народ. Да, да. Верный!

Обернулся и почти неслышно добавил:

— Кони в горах.

«Ну и что же? Кони в горах! Неужели китаец знает больше, чем я? — думал я, глядя, как китаец ловко скользил в толпе. — И почему он остановился возле моего отца? О чем они шепчутся? Почему китаец, взглянув на Саумал, не удержался от улыбки и почему он нашел глазами в толпе Ваську Варетникова и пошел к нему? Что это все значит? Позвольте, позвольте! Толпа подвинула меня. Я уже почти на мосту и вижу лица солдат. Ну да! Вот и тот солдатик с плоским лицом, рябой, с рыжими усами, татарин. Как его фамилия? А-а! Сафиев. Татарин. Странные, право, люди. Называют себя религиозными, а простого религиозного чувства уважать не могут. Отец просил убрать татарина от иконы, и она забыла. Пойду и выпалю прямо, без обиняков!»

— Василиса Глебовна!

Она узнала мой голос и, не оборачиваясь, громко ответила:

— Идите сюда, дорогой. Здесь все великолепно видно.

Василиса Глебовна стояла, опираясь зонтиком в тем-

но-багровую полосу железа, одну из тех полос, которыми начинался этот чудесный арочный мост. Откинутая на спину, покачивалась ее шляпка — голубая, из тонкой соломы, с мелкими искусственными цветами, вроде тех цветов, которыми был вышит шелк ее платья.

Когда я почти поравнялся с ней, она крикнула своему отцу:

— Папа, мне скучно, я ухожу. Что?

Громко ответил Калмыков:

— Попросим причт начать освящение!

Посредине моста был укреплен большой овальный щит из досок, окрашенный в белое, с краями под бронзу. Наверху щита — чугунные кронштейны, с которых неподвижно свисали на медных цепях лиловые лампады.

Пропустили вперед коротконогого лохматого генерала с пылающими аксельбантами, за ним двинулись Калмыковы, несториане и фомисты, важные каркаралинские султаны, Геммадиновы, Аралбаевы и, наконец, инженеры в чесучовых костюмах и дворянских фуражках. Некоторые держали трости с набалдашниками из ляпис-лазури в золотой оправе. Дамы были в светлых платьях и осторожно ступали по деревянному настилу своими ботинками из тонкой кожи.

— Теперь пускай простых! — послышался голос Салазкина.

Солдаты разомкнули ряды, и мы двинулись.

— Расея, — сказал я, кивая на солдат.

— Выдумка архимандрита Михаила. — И мой отец многозначительно поджал губы.

Калмыков повесил на белый овальный щит златоризную икону, которую подал ему длинноголовый инженер. Солдаты с винтовками встали по бокам иконы. Высокий поп, широко разводя руками, запел. Дьякон кадил. Поп перекрестился, низко поклонился иконе и приложился к ней. После попов приложился Глеб Иваныч, а за ним потянулись остальные. Казахские султаны отошли в сторону.

— Приложился бы и ты, — тихо сказал мой отец.

— Неверующий.

— Для памяти.

Меня оттеснили, я очутился рядом с каким-то военным писарем в пенсне и с тоненьким сафьяновым портфелем, который он нес бережно обеими руками. От писаря пахло помадой, отдавало казарменной элегант-

ностью и преклонением перед миллионами, которые «и в этих среднеазиатских дебрях воздвигают колоссы».

— Сейчас подарки пожалуют,— зашептал писарь.— Не знаете: золотые или серебряные?

Инженер с длинной головой стал выдавать железнодорожникам толстые серебряные часы с длинной цепью, тремя брелоками и свистком. «Наверное, свисток имеет свое значение», — подумал я и оглянулся. Стоявший рядом со мной писарь сказал мне:

— Приятно в этих дебрях держать в руках аппарат, исчисляющий время!

Да уж, дебри! Внизу, под мостовым настилом, глухо бурлила река. Пахло мокрой глиной. Сквозь балки моста было видно, как дощаник торопливо перевозит партию богомолок, позади которых дорогу к Святой долине покрыло водой. На телеге громко стонет какой-то больной, и перевозчик обещает скоро вернуться. Паром не вмещает всех.

Степь заливало. Святая долина уходила под воду. По мере того как песчаные бугры скрывались, я все ярче вспоминал весь свой пройденный сюда путь, особенно ту часть его, когда однажды, совсем устав в предгорьях от скал и щебня, мы опустились в степь.

— Авось будет полегче!— высказал я надежду.

— Не думаю, — отвечал мой отец.— Но попробуем, сынок.

Мы видели невысокие кустарники, узловатые, изрытые продольными бороздами. Ветви их сероваты, листья похожи на чешуйки, и все они как будто покрыты цементом: чтобы меньше испарять воды. Не только ветки, но и корни их защищены от раскаленного песка как бы футляром из слепленных песчинок и отмерших тканей. Только концы корней свободны от этой каменной оболочки, чтобы тянуть влагу из глубоких слоев песка. И как они любят воду! Между песчаными буграми встречали мы солонцеватые впадины и с трудом пробивались к ним, потому что кустарники плотной стеной стояли вокруг.

Да, труден был путь по этим дебрям! Как здесь жарко и душно! Кусты на песчаных буграх редки и не дают никакой тени. Но мы все-таки бросались под эти кусты, хотя почва под ними так же была раскалена, как и в открытой степи. Эти желтые холмы кустарников, одетые серой, поникшей листвой, не закрывают пески,

а помогают только отражаться им в небе. И небо желтое!

Даже весной мрачны эти холмы с лиловыми шарами джузгана, эти заросли колючего чингила, эти песчаные акации с серебристыми листьями и черно-фиолетовыми цветами, эти странные деревца саксаула, эти матово-зеленые кусты тамариска, увенчанные розовыми кистями.

— Не весело, — говорил я.

— Дебри,— отзывался отец.

«Не весело, — думал я и теперь, глядя в степь.— Жаль, если Геммадинов не вывезет скелеты богатырей из Святой долины».

— Что же, теперь невеста с женихом прямо в церковь? — спросил я отца.

— Милый мой! Да ты слушаешь или нет, когда тебе говорят? — воскликнул он. — Я же тебе на ухо кричал, что Глебу Ивановичу стало дурно, его увезли домой и свадьба, как говорится, заныла в суставах.

— И у Саумал?

— Ну, не думаю. Саумал будет веселиться, если даже Калмыков богу душу отдаст.

МОСТ

(Окончание)

Хоругви, кресты и иконы возвратились в вагон. На мосту осталась одна лишь златоризная икона с лампадами лилового стекла, по бокам ее стояли два солдата.

Теперь впереди шли Геммадинов и каркаралинские султаны, бледные, низкорослые с безучастными лицами. Безучастно смотрели они и на освящение моста, безучастно шли на «той», безучастно слушали разговоры о ливнях в горах. Да и что им ливни. В душе-то они мучительно завидовали Геммадинову. Прирожденный хан! Толст, самоуверен, весел, гостеприимен.

— Ах, какое угощение! — то и дело слышалось в толпе.

Шутили, что перед каждым гостем положат целиком сваренного барана, будто на баурсаки истрачено пятьсот пудов крупитчатой муки, будто ложбинка между двумя свадебными холмами завалена ящиками со сладостями, будто кумыса запасли так много, что он, прорвав турсуки, хлынул в реку, — и отсюда половодье и белесый цвет воды!

Но главный разговор был о скачках. На юге угрожающе громоздились тучи, и все боялись, как бы ливень не помешал скачкам. К освящению моста относились с почтением. У одних этого почтения было больше, у других — меньше, но скачки крайне волновали всех, от мала до велика. Низенькие бугры перед свадебными холмами пестрели народом. На реку оглядывались непрестанно. Над ней раскачивался черный толстый канат.

— Скоро бега-то? — спрашивали в толпе то тут, то там.

— Наездники, вишь, отдыхают.

— Эх, братцы! Что нам скачка, когда рядом — стачка, — трясясь от смеха, балагурил какой-то коротконогий человечек в зеленом картузе.

Другой, босой, из «котов», в рваной неподпоясанной рубахе, подхватил:

— Чем туже жить, тем веселей тужить! Благодетели, соберите на шкалик!

— И-их, скорей бы! — слышался дискант.

— Тузы пьянствуют, подождешь, — катился над толпой бас.

Если б скачек не было еще часа два, все бы просто иссуетились. Вздумай кто-нибудь пошутить: скачки отложены, ему, как говорится, «высекли бы из рожи искры».

Толпа народа, истомленная любопытством, колыхалась и переливалась, билась об заклад, обсуждала коней, наездников. О наездниках все было известно. Какой-то парень отрывисто сказал другому, что Бадамку пестовал сам Гэрлик.

Где-то рядом слышался громкий голос моего отца:

— Мне казахские кони тоже по душе. Вот вы говорите, господин, главное — овес и ячмень? Но есть кони, которые требуют не только отборной еды, но и отборного питья! Это не от воспитания, а от излишка темперамента. Мне в Рыжике нравится, что в нем нет этого излишка темперамента, нет раздражительности, бесполезной нервности. Деятельный характер, — я говорю о чересчур деятельном характере, — быстро истощает не только страну, человека, но и коня. Нигде и никогда ретивость не заменяла силы. Поэтому-то я и уверен, что Рыжик обгонит всех скакунов.

Голос возражавшего не был слышен, зато отлично было слышно, как отвечал мой отец:

— Э, масса тела! Плохо, когда масса тела преобладает над психической стороной. Это та самая лень, на которую надобен бич и которую я так не люблю. Рыжику бич не понадобится. Вы его не увидите в той полной расслабленности, которая является следствием излишней нервозности. Скаковая лошадь, как вам известно, способна выдержать непрерывное напряжение сравнительно короткое время. Обычно, под конец скачек, от лошади требуется максимальная подобранность и сила. Если лошадь сохранит до конца эту подобранность, она победит!

И мой отец снова исчез.

Между двумя холмами, как я уже, кажется, описывал, — маленькая ложбинка. В ней — сундуки с приданым Саумал, ящики с пряниками и другими сластями, которыми будут одаривать собравшихся. На эти ящики положены доски, а поверх — красивые ковры.

Из юрты по коврам, в сопровождении подруг, идет Саумал. На ней великолепное казахское платье, красивая шапочка и расписной поднос в руках, заставленный бокалами. Она идет угощать русских. Навстречу ей поднимается Василиса Глебовна в ярком, ослепительно-зеленом платье без единого украшения.

— Хороша девица! — невольно вырвалось у меня.

— Ах нет, позвольте, у нее на пальце кольцо! — говорит мне вынырнувший неизвестно откуда писарь в пенсне и с сафьяновым портфелем.

— Она вдова.

— Следовательно, не девица, а вдовица?

— Тьфу!

— Ну вы, батенька, бредите от жары!

Кажется, никто из окружающих и не чувствует, какая стоит жара. Дышать трудно, в голове туман, говоришь черт знает что!

События поразительно быстро нарастают.

Недавно говорили о приготовлениях к скачкам, а кони давно скачут. Скоро очередь Рыжика.

Возбужденные голоса на холмах, под холмами, топот, ржание, сверкают спицы коляски, и молодые женщины, подобрав длинные юбки, торопятся на своих высоких каблуках к вершине холма. В голове туманно. Я смеюсь, как во сне.

У подножья кургана кто-то спрашивает повелительным басом:

— Все кони готовы?

— Все, ваше превосходительство.

— Ну, Рахметка, не подведи.

— Как можно, ваше превосходительство!

Топот, взвизгивания, дым от костров, отблески палаток, запах баранины — все это путалось с жаром накаленных голых дорог, которые, казалось, плавились под нами.

— Сквозной! Забег ваш.

— Здеся.

— Рыжик!

— Тут, — отвечает Бадам.

Бадам сидит в седле удобно, свободно, на соседей не оглядывается, а, склонившись к гриве коня, как будто что-то шепчет Рыжику.

Слышится тот же властный бас:

— Чей, спрашиваю, конь?

— Господина Бэй Шэна.

— А этот?

— Этот, ваше превосходительство, господина Калмыкова.

— Сквозной? Хорош конь.

С вершины холма красивый инженер, слегка склонив стан, свободно обращается к генералу:

— Искусство наездника, ваше превосходительство, как и искусство повара, в том и заключается, чтобы из хороших продуктов готовить плохие кушанья.

— Метко.

— Совершенно метко, — подхватывает Салазкин, откуда-то вынырнувший на холм. — Только вы насчет какого коня?

— Рыжика. Китайцы — мошенники, хотят нас надуть.

— Тоже воры, значит? Выходит, Глеб Иваныч кругом прав?

Салазкин, отламывая пальцами влажное пирожное и вытирая их о полу длинной рубахи, тупо смотрит на бокалы с вином, между тем как красавец инженер продолжает с гордостью:

— В светлом здесь ходили только девушки; замужние — в темном. Я предложил замужним одеться в светлое. Получилось яркое, цветное пятно на мосту и не менее цветное — здесь, на скачках.

— И отлично! — воскликнул Салазкин, отрывая глаза от бокалов и переводя их на молодого инженера в голубой рубашке.

— Отлично, пусть в цветном, если поможет.
— Чему это? — спрашивает голубой.
— А вот его послушайте, — показывает Салазкин глазами на инженера Двуконя.
Двуконь бормочет:
— Годы политической спячки миновали. Телеграф сообщил: на уральских горных заводах огромная забастовка. Все заводы синдиката «Медь» бастуют.
— Имейте в виду! — опять воскликнул Салазкин, уже глядя на меня.— Повертон начинается.
— К мосту, к мосту!— послышалось в толпе.
— А зачем?— спросил Салазкин тревожно.
— Канатоходец!
— Это значит, пока скачки опять не начались? — И Салазкин остро взглянул на меня.— Вы, собственно, что на меня уставились, молодой человек?
— Хочу узнать, как здоровье Глеба Иваныча.
— Лучше!— и добавил шепотом, зажмуривая глаза и изгибая туловище.— А по правде сказать, плохо. У меня к тебе просьба, молодой человек.
— Пожалуйста! — воскликнул я.
— Попозже, попозже. А сейчас пойдем к мосту и будем веселиться... ты знаешь, что такое тупоумие?
— Нет,— ответил я с недоумением.
— Туман!
— Вы к чему это?
— Тугонек на ухо? Буде притворяться-то, все понимаешь. Ну, пойдем пока, а разговор будет дальше.
У моста забили барабаны, завыла труба, и на канат ступил Чапе. Цветные полы халата подвернуты, и оттого туловище его кажется необыкновенно мощным. Он размахивает шестом, а перед шестом по канату движется маленькая фигурка. Это — Гулькамыс.
— Чапе! — испуганно воскликнул я.— И с дочкой?..
— Боишься, упадет?— спросил Салазкин.— Не грози попу адом — он им кормится. А ты лучше другую примету разглядывай, она страшнее и предвещает полный повертон. Идет киргиз по канату через бурную реку и уверен, подлец, что все на него любуются. А до него никому нет дела! Все повернулись туда, откуда несут баранину. Да диво бы им несли, ведь барину несут. А-а!— вдруг завизжал он, глядя на мост.
Сперва, как показалось, качнулись лиловые лампады перед златоризным образом.

Но как на таком расстоянии я мог различить икону и лампаду? Однако я отчетливо помню, что сначала качнулись лампады, затем — два солдата с винтовками, а после этого полезли вверх лопнувшие шпалы, доски, поднялась пыль, послышался чудовищный грохот, визг, лязг, — и средний пролет моста рухнул в воду.

Толпа бросилась от моста.

Откуда-то появился поп, держа в одной руке недоеденный кусок пирога, а в другой — серебряный крест. Ему удалось выбежать вперед, и он стал величественно махать крестом в сторону моста. Серебряный крест блестел, поп махал им так уверенно, что всем казалось — именно он приостановит дальнейшее падение ферм.

Некоторое время мост покачивался как бы в такт взмахам поповской руки, а затем опять послышался грохот, и в воду свалилась еще одна ферма.

Толпа отхлынула, появились стражники с инженерами и стали оттеснять людей. Вспомнили сразу же двух солдат, упавших вместе с пролетом моста в воду, а татарка Сафиева, рвавшаяся к мосту, закричала:

— Губители! Сына убили! Аллах, сына!..

— Грабители! — подхватили в толпе.

— Бей инженеров!

— Гляди-ка, гляди — в горах-то, господа!

Все повернулись к горам. До заката оставалось еще часа два-три, но в лучах солнца были уже медные оттенки, и синяя туча по краям зазолотилась.

— Ой, правду, правду сказали!

— О чем? Кто?

— Медь в горах соберется, на землю прольется, и всем нам конец! В Святой долине — богомольцы.

Какой-то молодой голос отозвался:

— И будет! Дуракам в жару лжется.

Казачий есаул, проходя, крикнул толпе:

— Прекратить! Выкрикивающие будут задержаны.

Несмотря на его предупреждение, крики продолжались:

— А ты себя прежь всего задержи!

— Харя!

— Спились с инженерами вместе!

— Попробуйте-ка еще мост строить!

— Вас самих под эти рухнувшие стропила!

Слово «стропила», не имеющее, в сущности, ника-

кого отношения к мостовому пролету, понравилось толпе. Арка моста походила на перила лестницы. Сравнение, конечно, отдаленное, но толпе страстно хотелось излить свою злость, кричали:

— Стропилом бы вас по башке!

— Да в омут!

— Разрядились в чесучу, стропильники!

— Кровью кропильники!

Выкрики были злые, резкие.

В толпе сновали босоногие мальчишки, разыскивая родителей. Железнодорожный фельдшер, сняв сапоги и закатав брюки, пошел, высоко поднимая ноги, по воде прямо к рухнувшему пролету. Он держал над головой кожаную сумку с медикаментами. Требовали дощаник, но его, кажется, унесло водой. Длинноголовый инженер, сопровождаемый электромонтером, вбежал на мост. Необходимо было срочно восстановить кабель электрического освещения. Это чрезвычайно озлобило толпу. Крики усилились. Инженер вернулся, подошел к толпе и неразумно сказал:

— А ругайтесь себе с богом. Вот прибавлю по гривеннику на рыло в день, всё сразу забудете.

— Попомним! — отозвались в толпе. — Стачку!

— Болтаться тебе на стропилах!

— Не посмотрим, что язык-то длиннее морды! Стачку!

После несчастья на мосту долго волновались и бродили по поселку. О бегах забыли, и никто не мог вспомнить, чем они кончились. С геммадиновских холмов казахи ушли в дома, и юрты опустели. Затем пронесся слух, что пролет упал от землетрясения, и тогда беспокойство усилилось.

СВЯТОЦВЕТ

На углах улиц собирались митинги. Они были короткие: боялись казаков. Казаки, с пиками наперевес, два или три раза промчались улицами. Вдали гремел солдатский барабан.

— Солоненько будет купцам да барам! Мы им — по евангелью! — услышал я знакомый голос.

Щепетников?

Черный, без шапки, в рубахе с разорванным воротом, он говорил с телеги, которую выкатили на середину улицы. Солнце жгло его голову, лицо его было мокро от

пота, глаза помутнели. Казалось, он никого не видел, прислушиваясь к тому внутреннему голосу, который гремел в нем.

— Русские граждане!— хрипло кричал он.— Балтийских матросов из Питера на каторгу шлют, против Урала — пушки, против нас — винтовки. Докуда?

Когда после его речи, сомкнутая толпа раздвинулась, я пробрался к нему и дернул за рукав.

— Скурлатов здесь?

Помутневшие глаза Щепетникова несколько оживились.

— А, это ты, ахтер! Скурлатов супротив правления «Семиречки» речь держит. Не-ет! — опять громко закричал он.— Им сегодня будет сообразность. Протест — и чтоб долой царское самодержавие! Стачку!

— Стачку, стачку! — послышалось в толпе.

Я побежал к правлению.

Митинг там уже окончился. Скурлатова, забойщика Мельченко, нескольких «котов» и казахов с южных склонов выбрали в делегацию, которая должна была предъявить требования рабочих правлению. Я спросил об отце. Его на митинге не было. Я бросился по улице искать его.

Навстречу мне шли Василиса Глебовна и Салазкин.

— А, вы здесь! — протянула она. — Тогда можно возвращаться. Вячеслав Алексеич у меня.

— И он вам позволил, — вставил Салазкин.

— Что?

— Так, пустяк, — небрежно сказала Василиса Глебовна. — Итак, стачка, протест, может быть, поголовное восстание?

— Повертон.

— Э, будет вам, Салазкин.

Она, остановившись, грустно улыбнулась, покачала головой и, показывая глазами на Салазкина, сказала:

— Ведь это ему пришла дурацкая мысль освящать мост.

— Помилуйте, Василиса Глебовна, все новые сооружения освящают!

— И еще смерть этих двух несчастных солдат! — Она вздохнула.— Мне тотчас же вспомнился знаменитый солдат в Помпее.

— Где?

— Ах, вы ведь не были в Помпее, Всеволод!

— И не испытываю нужды! — воскликнул я.
— Простите. Римский солдат стоял на часах, его засыпало горячим пеплом, но он умер на посту.
Салазкин хихикнул.
— А если, Василиса Глебовна, солдатик-то попросту был выпимши и ножки не поднимались убежать?
— Противно слушать ваши шутки. Тоже, повертон!
— Сбывается, Василиса Глебовна, сбывается,— прошептал Салазкин. — Не той собаки бойся, которая лает, а той, которая исподтишка хватает.
Он хотел продолжать, но она раздраженно прервала его:
— Хватит! Не рассуждения мне ваши нужны. Всеволод! Он пойдет с вами на конюшни — и в поселке и там, на руднике. Надо отобрать две тройки, самых лучших... и для подстав лошадей.
— У вас есть Нура.
Глаза ее сверкнули.
— Нура само собой. Да и болен он! Вы поедете на одних козлах с Нурой...
— Простите, Василиса Глебовна, но вы забываете, что я работаю.
— У нас.
— Мой отец...
— Он согласился.
— Мало ли что!
Салазкин смотрел на нее, снисходительно улыбаясь. «Я, знаете, привык к вашим шалостям,— говорил его взгляд. — Но все-таки не чрезмерно ли?» Она махнула рукой. Он ушел. Когда он скрылся, Василиса Глебовна сказала, ломая руки:
— Да понимаете ли вы, что происходит? Бунт! Степной бунт. Страшнее этой нелепости — и для вас и для меня — нет ничего. За вами следят, чувствуете? Я спасаю вас.
— Или себя?
Она, рассмеявшись, нежно шепнула:
— И себя — для вас... Ну, я пойду догонять Салазкина, а то он бог знает что подумает.
Я стоял неподвижно, глядя ей вслед. Пройдя десяток шагов, она обернулась с хитрым видом и едва ли не подмигнула.
Мимо меня прошел забойщик Мельченко. Лицо его было озабоченно. Меня он не заметил.

— Мельченко! — окликнул я его. — Как вам ответило правление?

— Профессиональному союзу? — спросил он, не останавливаясь. — Расценки чуть повысило, а политические требования отвергло. Свидемся скоро! Стачка!

И он свирепо свистнул, словно сзывая всех на стачку.

На меня падала тень землянки. Это был предпоследний домик поселка. Дальше начинались холмы, предгорья, рудник. Во дворе землянки квохтали куры, мыча топтался теленок, не то вырвавшийся из причала, не то — из стада. Горло пересохло, хотелось пить, я присел на завалинку и постучал в окно. Домик был пуст. Не у кого и воды испить. Тень была сухая и жаркая, но все же ощущалась в ней легкая свежесть.

Видна была поверженная ферма моста. Отблескивала на ней вода. Ах, как она, наверное, крутится и вертится там сейчас! Мне казалось, что на ноги мои падают крупные серые капли. «Капли реки жизни, — думал я высокопарно, довольный тем, что до последней нитки пропитываюсь той влагой, от которой дрожит испуганно все мое тело. — Надо к ним привыкать. Они целебны и поучительны, порой чересчур поучительны. Скажем, отец или Василиса Глебовна. Не слишком ли много они проповедуют?»

Освящение было мрачное, почти сверхъестественное. Преобладали лиловые тона. Уцелевшая ферма моста прорисовывалась в небе с какой-то ревущей отчетливостью. Я отвел глаза и по ту сторону улицы, возле куч кизяка, увидал знакомую фигурку. Она порывалась выйти на дорогу, но что-то удерживало ее. Вот еще один свидетель моих страданий! Превосходный и приятный свидетель, с которым, однако, ни разу не удалось поговорить по душам. Какое в ней своеобразное соединение простоты и свободомыслия!

Я помахал рукой.

— Вы тут живете, Ханыке?

Она медленно повернула ко мне лицо.

— Нет у вас напиться?

Она вошла в дом. Я пересек улицу. Она появилась, держа полный ковш.

Принимая воду, я вспомнил Чапе. Он шел по канату в сопровождении дочки и был над серединой реки как раз, когда рухнул первый пролет моста. Чапе обернулся к мосту только на одно мгновенье. Затем он сосредото-

чил все свое внимание на дочери, которая бесстрашно поднялась на цыпочки, уцепилась за его руки, забралась к нему на плечи и встала там. И Чапе, балансируя шестом, направился к нашему берегу своей ленивой походкой. Дочь сидела у него на плечах. Чапе, должно быть, ей сказал что-то, Гулькамыс подняла руку и помахала платочком. Именно тогда упал второй пролет моста. И мне вспомнилось сейчас, что ручка Гулькамыс не дрогнула. Она продолжала махать платком.

— Отважный у вас муж, Ханыке. И дети отважные. Бадам не скакал?

— До скачек ли, — ответила она, уныло улыбаясь.

— Действительно. Держим в руке святоцвет, только он никак не раскрывается.

— Что?

Я рассказал ей о святоцвете, волшебном цветке папоротника, помогающем отыскивать клады и распахивающем самые скрытые подземелья. Она заметила:

— Не нужно надеяться на сказки.

— Вот вы не надеялись... — вырвалось у меня, и я тотчас же воскликнул: — Простите!

— Нет, вы — верно. Чапе всему учился, даже канатоходству. Добрались до Ак-Таша, прошли к своему аулу, а он — разрыт. Шахту вели, Калмыковы рылись. Ушли сюда. Думали канатом заработать. Смыло! Надеяться на сказку — плохо, надеяться на жизнь — еще хуже. На что надеяться?

Она нерешительно взглянула на меня.

— Вы плохо обо мне думаете?

— Очень хорошо! — ответил я громко. — Может быть, лучше всех!

Она сказала с просиявшим лицом:

— Славно. Мы сегодня в Верный уйдем. Я сама бы осталась, но за Чапе боюсь. Он зол. На Калмыковых зол, на Малицына, на Геммадинова. Слишком много злости.

— У Измайловых будете жить? На Седом бугре?

— Да, да. Сад, бугор, Измайловы... боюсь.

— Чего? Они люди замечательные.

— Да, замечательные. Только такие... как молния. Просверкнет и потухнет.

Она выплеснула из ковша остатки воды и, разведя руками, воскликнула:

— Я все скажу сразу... как молния! Пока хозяева не

вернулись. Они и Чапе с детьми на стачку смотрят, а я вас увидала, пошла.

И она добавила весело и добродушно:

— Сердце.

И, улыбнувшись, продолжала:

— Уходим в Верный, никогда не увидимся, дай, думаю, скажу, была не была. Верно?

— Верно, — пробормотал я.

— Голова закружилась, когда увидала тебя. Там, в Семипалатинске, на улице. Даже к дому прислонилась. Как прорубь во мне прорубило! Жалко мне тебя стало, больше чем сына родного жалко. И сразу все перепуталось. Я — беззащитная, а ты, гляжу, еще беззащитней. Много я тогда на себя взяла, лишь бы тебя от Василисы услать. Так и жила с головой, которая всегда кружилась, пока Чапе не вернулся... там, в Джунгарских горах, когда ты коней укрощал, милый.

Она поджала губы, помолчала и, без смущения глядя мне в глаза, сказала:

— Училась, хотела посевное зерно достать... много даже! Стирала. А головы — нет. Ты меня за дуру считал?

— Нисколько!

— Спасибо! Я полюбила тебя, как в книжке, как в песне.

Она опять замолчала. Лицо ее было бледно, губы дрожали, руки ходили ходуном. Я тоже весь дрожал и смотрел на нее напряженно, боясь пропустить хоть одно ее слово.

— И сейчас люблю. День на дворе, а я говорю такие слова, удивительно? Зачем удивительно? Любовь моя к тебе не позорная. Дружба. Я в тебе сразу добро почувствовала, оттого и от зла спасти хотела. Да разве мне суметь? Все я перепутывала, неумелая, — записки Василисы, пожар в затоне, белье и то не тем заказчикам отдавала... Прощай! Не увидимся больше. Будь счастлив.

Она помолчала и добавила серьезно:

— Только с Василисой не бывать счастью. Это я тебе верно говорю.

Вбежала в дом, сильно захлопнула за собой дверь. И через минуту, не больше, выскочила, встала у притолоки, держась за ручку двери, и сказала с удовлетворением:

— Наконец-то сказала все! А то копится, копится внутри, растет, как гора, а потом ее и не сдвинуть. Носила я записки Василисы к Малицыну. Много их было. Заглянула как-то в одну, будто написана не рукой Василисы? Оставила, чтоб дома сравнить почерк. А потом страшно было и развернуть. Воровка! Так и держала. И гора росла, пока не выросла в целый горный кряж. Оказывается, писала рука Саумал! Вот так, нечаянно вроде, я и втянулась, глупая, в это дело об убийстве Назаренко... — И она вдруг прервала самое себя: — Я тебя не забуду никогда! Ты куда идешь?

— Все еще в Индию, — ответил я рассеянно.

— Ах, все равно. — И она добавила в ярости: — Только уходи от Василисы. Прощай, уходи.

— Выслушайте меня, Ханыке, выслушайте...— твердил я в смущении.

Она отлично понимала, что я не могу сказать ей ничего нового. Она ушла, и я, поморгав глазами и помотав головой, направился к руднику.

Я только успел вбежать под навес, куда после работы мы вкатывали свои тачки, как хлынул сильный ливень, давно ожидаемый.

Река помчалась вперед с небывалой быстротой, залив степь на огромное пространство. В Святой долине, говорят, вода поднялась чуть ли не на сажень. Останки казахских витязей разметало, затянуло илом, — впрочем, не до останков витязей было «Семиречке»!

КОГДА КОСТРЫ В НОЧИ ГОРЯТ

День прошел тревожно. Половина забойщиков не вышла на работы, а откатчиков в забое и совсем не было. То один, то другой из нас бежал в поселок за новостями. Забастовали землекопы, мостовики, служба движения, телеграф. Технические поезда остановились. Передавали, что на станции Арысь железнодорожники отказались вести по «Семиречке» воинские эшелоны и потому будто бы к поселку Ак-Таш и к руднику, который являлся якобы зачинщиком забастовки, шли трактом казачьи сотни — каратели.

— Очень возможно, — шептал многозначительно мой отец.— Ты заметил, что волнения начались после того, как открылась Народная академия?

— Нашу академию разгонит один стражник,— отвечал я.

— Не скажи!

Он отправился в поселок и к вечеру вернулся с еще более многозначительным видом.

— Приближаются,— сказал он, указывая на степь.

— Кто?

— Степью идут. Казаки. Каратели.

Всем было известно, что отец мой склонен к преувеличениям, что степью после ливней ехать трудно, и, однако, всем стало как-то не по себе.

Отец добавил:

— Правление «Семиречки» предложило прекратить стачку, выдать зачинщиков — и чтоб никаких политических требований! Ясно, что каратели вот-вот вступят, и первым долгом к нам на рудник! Чертовски неприятно. Мне в особенности. Лазаревский институт — реакционнейшее учебное заведение, а я, студент его, среди забастовщиков!

Мне было тоскливо и тяжело, но я не мог удержаться от хохота. Отец посмотрел на меня хмуро и озабоченно. Но через час он развеселился. Ему пришла в голову старинная хитрость: «Зажечь на горе много костров, чтоб противник думал, будто нас несметное количество!»

Так и поступили. Собрали высоко в горах сухой валежник, натаскали крепежного леса, утащили со склада старые смоляные бочки, и часам к десяти вечера вся гора Ак-Таш пылала кострами. К полуночи мы увидели костры на вершине горы: китайцы-табунщики зажгли их.

— Им-то что? — сказал я.

Мой отец ответил:

— Перед уходом в Китай решили тоже постращать.

— А они действительно уходят?

— Да, ихнее дело сделано.

— Какое?

Отец хмуро подмигнул.

— Скоро узнаешь.

Он оглянулся. Мы стояли у штольни.

— Штейгер Марович с крепильщиком Сысоем, кажись, идут? Сыщики они.

— Ну-у?

— Достоверно.

Мы забежали в домик штейгера проверить наше по-

дозрение. На столе валялась селедка, две пустых водочных бутылки, а Марович и его друг Сысой спали в сенях. Отец обошел их кругом на цыпочках и затем позвал меня.

— Понюхай.

Я понюхал.

— Пьяны?

— По-моему, вдрызг.

Отец отчаянно взмахнул руками.

— И никаких способов проверить!

— Зачем?

— А вдруг притворяются?

И, выйдя из дома, он пробормотал:

— Придется всю ночь у костров сидеть.

Ночь сухая, теплая, тихая.

Костер пылал. Вскипятили котелок воды, отец заварил чай, но никто, кроме него, к чаю не притронулся. Пришел Скурлатов, лег у костра.

— Ходил в поселок, Капитон Ильич? — спросил мой отец.

— Перед закатом.

— Как настроение?

— Будем бастовать. Калмыковские предприятия, в поддержку нас, все забастовали.

— И в Семипалатинске?

— Всюду.

Отец замолчал. Забойщики и откатчики, посмотрев на нас, встали и отошли в сторону. Отец спросил:

— Китайцев видел?

— Видел.

— Ну и как?

— Передал.

Отец опять помолчал, а затем, вздохнув, сказал:

— Василиса Глебовна предлагает Всеволоду ехать с ними на Арысь, тройкой править.

— Дело, — сухо бросил Скурлатов.

— Тоже дело! — сказал я с возмущением. — И меня, кажется, можно было спросить...

— Нечего и спрашивать, — оборвал отец.

— Почему же?

— Сам хочешь ехать.

— Это в каком же смысле?

— В том самом.

— В каком?

Отец помолчал. Совсем рассердившись, я крикнул:

— До смерти влюблен, что ли?

Скурлатов сказал успокаивающе:

— Это опять-таки дело другое.

И добавил тихой скороговоркой:

— А настоящее дело в том, Всеволод, что Василий Варетников утащил у Саумал фотографии, которые она нам боялась передать. Эти фотографии надо отвезти в Оренбург или в Самару — в дороге узнаешь, куда именно.

— Я?

— Не иначе, — подтвердил без улыбки Скурлатов.

— А почему я?

— Смелый, во-первых, а во-вторых, на тебя мало кто подумает...

— Вроде блаженный, — подсказал отец.

Я опять рассердился.

— Ну, еще неизвестно, кто блаженный: отец или сын.

Отец тихо рассмеялся.

— Это верно.

И он похлопал ладонью по карману своего мундира.

— Слышишь? Какой звук?

— Ну, и..?

— То-то.

— Не понимаю.

— Э, врешь! Отлично понимаешь. Фотографии зашиты в кожу.

— Что же, я в твоем мундире поеду?

— Нет, просто их три экземпляра. Давай твою куртку.

Часа в два ночи над поселком зарделось зарево. Прибежал Варетников и сказал, задыхаясь, что подожжено правление.

— Уходи подальше, Капитон Ильич, — шепнул он,— а я, значит, отправился?

— Отправляйся. Кто поджег, не слышал?

— Не то Чапе, не то Ханыке, не то еще кто-то с южных склонов.

— Чапе и Ханыке ушли в Верный, — заметил я.

— Раздумали, — сказал Варетников и юркнул в темноту.

— Придется тебе, Всеволод, — проговорил Скурла-

тов, — поторопиться. Ведь Калмыковы-то теперь и сами небось торопятся.

— Зашиваю, зашиваю,— пробормотал мой отец, щурясь на огонь и быстро работая иглой. — Не только что до Самары — до Петербурга никто не заметит.

Медленно, легкими шагами вышел из тьмы Бэй Шэн. Он присел на корточки к костру, бросил туда несколько веток, подождал, пока они сгорели, и сказал:

— Прощайте, товарищи.

— Прощайте, Бэй Шэн, — с нежностью в голосе проговорил Скурлатов. — Табун в пути?

— В пути.

— И Рыжик? — вдруг, не знаю почему, спросил я.

— Рыжик явится на бега попозже,— ответил Бэй Шэн.

На спине его халата было вшито нечто похожее на тот квадрат, который мой отец вшивал мне в тужурку. Или мне показалось?

— На стенах дома правления «Семиречки»,— сказал Бэй Шэн, вставая, — вывешен приказ о запрещении стачки. Там говорится, что в Ак-Таше образовалось преступное сообщество, поставившее целью посредством забастовок, а если понадобится и вооруженной борьбы, ниспровержение существующего в России государственного строя, с заменой его республиканским...

— Социал-демократическим, — добавил Скурлатов.

Бэй Шэн вытер потный лоб: ему было трудно говорить длинные русские фразы.

— Да, социал-демократическим, — сказал он. — Желаю вам счастья, товарищи.

И, круто повернувшись, он скрылся.

Отец передал мне куртку.

— Готово. Пошел?

— Он посидит еще часик-другой, — сказал Скурлатов,— можно? Калмыковы собираются выехать часов в семь утра. Испечем картошку, поедим, а, преступное сообщество? Э-эй, забойщики!

— Тута-а! — отозвался голос Мельченко.

— Тащите картошку.

Вдруг я вспомнил:

— Господи, а китайцы-то Нубию уведут! Она ведь у них, отец?

— Последние дни была у них, а теперь у Васьки Варетникова. Не пропадет твоя Нубия.

Итак, «преступное сообщество» сидело у костра в скалах, недалеко от рудника, и ждало, когда поспеет картошка. Чайник давно вскипел, чай заварен, чашки расставлены. Я смотрел на горы и повторял про себя стихи одного курганского поэта. Особенно резко запомнилось мне четверостишие:

Глухие дали, как угрюмы вы,
Когда костры в ночи горят.
Ах, не татары ли Кучумовы
Под нашим городом стоят?

Было звездно, хотя как раз над нами по небу мчались длинные, узкие, как ремни, осенние тучи. Рядом со Скурлатовым, положив ему на колено темную, жилистую руку, сидел забойщик Мельченко, подальше — низенький Жвунков, Языкин, величественный и мускулистый Хом. Скурлатов, статный, с ласковыми глазами, с лицом, чуть расплывчатым и словно бы заплаканным, в своих кожаных подрукавках и в знакомой мне, теперь сильно потрепанной и заношенной, рубашке из полотна, наполнял наши сердца отвагой и уверенностью.

Разговор был обычный.

— В лавку, сказывают, ходил? — спросил Скурлатов у Мельченко. — Не закрыли?

— До обеда торговали, а дальше не знаю.

— Ситца, сказывают, в гостинец жене купил? — сказал спокойно Скурлатов.

— Показать? Жена, пришел, спит: мукой запасалась на забастовку, таскала, ну и усни, устала. До сих пор — спит, а я вот хожу с ситцем.

— Чего ж вы жен-то оставили?

— А кто их тронет?

— Каратели.

— Женщин?

Скурлатов не ответил.

— Показать ситец-то? — спросил Мельченко.

— А покажи.

Теперь Скурлатов рассматривал ситец. Добротный, с небольшими синими розочками по светло-розовому полю, ситец доставлял Мельченко большое удовольствие.

— Циндель? — тоном знатока спросил Скурлатов.

— Циндель, — почтительно ответил Мельченко.

— Хорошая фабрика, — сказал Скурлатов не торопясь. — Я там работал.

— Да ну?! — с восхищением спросил кто-то у костра.

— Чего не испытает голова человека и копыта коня? — ответил казахской поговоркой Скурлатов и продолжал: — И машины хорошие, только трепальные поставлены слишком тесно. В проходах между машинами двум не разойтись. Толкни невзначай — и втянет. Даже и насмерть.

Скурлатов задумался. Мельченко посмотрел на него и спросил:

— Жену позвать, что ли?

Скурлатов не ответил. Мельченко велел одному из откатчиков сбегать разбудить жену — и чтоб немедля сюда! Откатчик, подпрыгнув, бросился к руднику сломя голову.

— Неужто ж насмерть? — спросил Мельченко. — А я думал, только наша работа опасная.

Скурлатов продолжал:

— Шла мимо Пелагея Гречихина, ткачиха молодая, шла и чему-то, помню, улыбалась. Улыбалась она часто, и я думал, глядя на нее: «Живет вот такая Пелагея впроголодь, и не одна, а с двумя маленькими братьями и отцом, в смрадной, вонючей дыре, вроде ваших вот землянок, а улыбается. Стены и потолок — сплошная копоть, нары без тюфяков, подстилок, и всё вокруг такая рухлядь, что ее никто не крадет. Спят на таких нарах подряд тридцать или сорок ткачей, и тут же их жены, дети. И на всех некрашеный стол да четыре скамейки». И эту ткачиху убило в двух шагах от меня. Сразу!

Скурлатов, глядя исподлобья на костер, угрюмо достал простой сатинстовый кисет без вышивки, свернул папироску и закурил.

Курил он, молча глядя в костер, и виделся ему, наверное, Петербург, студенческое общежитие, накуренная комната, горячие споры. И думалось ему: «Неужели же я никогда не попаду опять туда?» А может быть, виделась ему Вера, веселое ее лицо, походка? Где-то она теперь?

Он повел бровями, точно разгоняя мечты, и сказал:

— И утка, час которой пробил, бросается на коршуна! — а затем добавил со злобой: — Нет, будем еще волочить их по степи на лошадином хвосте!

Мельченко, поняв, о чем говорит Скурлатов, воскликнул:

— Какое ж это царство-государство? Пустыня, разорение! Ни клина, ни коня, ни жизни! Диви бы разоряли ради настоящего царя. А это разве царь — Николка? Для такого царя мы ничем не двинем, ни черным волосом!

Он посмотрел на Скурлатова и мотнул головой — черным своим волосом! Затем Мельченко поднялся, принес охапку сучьев и бросил в костер. Босые его ноги, огрубевшие, с загнутыми вниз ногтями, страшными, кривыми пальцами, стучали по крепкой земле громче, чем сапоги.

Скурлатов, рассматривая рисунок ситца, продолжал:

— Работал я на мануфактуре сначала грузчиком: таскал хлопок. Потом — помощником ткача, а там один хороший человек, взяв с меня магарыч — семь рублей, — определил учеником гравера при печатной машине. Он, верно, был хороший, ему противно было брать семь рублей, противно пропивать их, но таков был обычай. Ну, сначала я зарабатывал мало, а годика через три получал тридцать пять рублей и вот тогда-то возмечтал об университете...

— Мало работали, если мечтать время оставалось? — спросил забойщик Хом.

— Одиннадцать часов!

— Столько же и мы.

— Ну, выписал газету. И себе сам, и другим читал «Хронику стачек». Собирались в трактирах, за машинами, в фабричных корпусах за станками, в отхожем месте. И вышло само собой, пришлось мне быть пропагандистом! Лестно! Думаю: «Приехал в Москву из глухомани, а гляди-ка — разъясняю революцию».

Мельченко сказал:

— В душе правда ясна, как вот костер, а разъяснить словами... попробуй-ка!

Скурлатов кивнул головой.

— Верно. И тяжелей всего вести пропаганду среди женщин. На фабрике работают, а в казарму вернутся — обед, возле детей! И как подумает такая, что в стачку проживет последнее, какие слова ей подберешь? А на ткацких две трети рабочих — женщины. Вот и представьте, какая радость, когда, обойдя всю фабрику, узнаю, что поручение партии выполнил: согласны на стачку! Плясать хочется.

Мельченко спросил:

— Ты когда же, товарищ Капитон, в партию вступил?

— Об этом особо. Замечательное слово — стачка! Иду домой и все время твержу: «Стачка, стачка, стачка!» И каждый раз слово это мне казалось другим: все больше, выше, грозней! А потом — гудок! Стачка. Бегу я от машины к машине и сбрасываю приводные ремни со шкивов. Втащи меня в эту минуту машина, исковеркай, изломай — я не заметил бы! Выходим на двор. Директор. Он у нас человек неплохой, не обсчитывал, руганью не обижал и баб не портил. Но жалованье получал крупное...

— Слушался хозяев, стало быть? Вроде Салазкина? — спросил Щепетников и добавил: — В тяжелое время заметней, что у человека во рту, кроме языка, есть и зубы.

— Вот, вот! Спускается по ступенькам крылечка и вежливо: «Кто уполномоченный?» Объясняю: «Просим прибавки, сократить рабочий день, скинуть штрафы, обыски отменить. Противно, что, каждый раз уходя с работы, — обыск, вором тебя считают». Он кивает головой, и по лицу заметно — требования считает скромными. И вижу — ждет, когда я предъявлю такое требование, какое ему выполнить невозможно! Рассердится — и откажет он тогда нам с полным удовольствием.

— А ты ему, псу, этой радости не давал бы! — сказал со злостью забойщик Хом.

— А я и не даю! Он эдак и так. Потом спрашивает: «Все ли сказали?» Отвечаю: все. Не вытерпел! Покачал головой. «Ой, не все, Скурлатов!» А я ему опять, что, мол, все. Тогда он говорит: «Сообщу телеграфно правлению. Мне ваши требования кажутся умеренными, если действительно это все, Скурлатов». Я ему еще раз подтверждаю — все. Разошлись довольные. А вышло, что обманул нас директор! На другой день в воротах фабрики — объявление. Полный отказ! Велит директор становиться на работу! Вот тебе и хороший человек!

Лицо Скурлатова стало очень серьезным. Он сжал пепельные свои губы и глубоко вздохнул.

— Вот тут-то и получилась настоящая стачка!

— Долго была она? — спросили рабочие в голос.

— На двенадцатый день стачки радостям нашим — конец. Осматривал я пикеты. Возвращаюсь в свой переулок, у забора — трое. За руки! Сначала в участок. Оттуда — в тюрьму. Старший тюремный надзиратель по-

смеивается. «А сказывали, Скурлатов — силач, красавец! Замухрышка какой-то». Я ему: «Все же лучше, чем — палач». Он меня — трах в зубы. И с того началось. Он слово, я ему — двадцать. Ну, он опять меня бить! Бьет иногда, бьет, а потом и скажет: «Пойми ты, дурак... Ведь глупо ты огрызаешься, глупо!» А я ему: «Еще глупее было бы не огрызаться!» Задорный я был.

— И все — в одиночке? — спросил Мельченко.

— Сначала, — в одиночке, а через недельку перевели в общую. Там, узнав, что меня избивают, устроили протест. Вся тюрьма. Даже уголовные. Подружился с политическими. Учили наперебой. Благодаря им по выходе из тюрьмы сдал экзамены в Политехнический. Так вот я и вел свое пролетарское образование.

Он помолчал и повторил с силой:

— Пролетарское! Развиваясь, всякое рабочее движение неминуемо становится социал-демократическим, большевистским. Сам строй современного общества ведет рабочих к большевизму, к борьбе за политическую власть, к борьбе за обобществление средств производства, к борьбе за свою классовую партию пролетариата! Наша задача, а стало быть и задача «Семиречки», состоит сейчас в том, чтобы расширить и углубить непартийное движение рабочих, организовать их в профессиональные союзы, ускорить расцвет этого движения. Рабочие, более других слоев населения, заинтересованы в полной демократизации всего политического строя, которую они могут осуществить, идя рука об руку с партией пролетариата!

ТРОЙКА

Светало. Мельченко решил проводить меня с отцом до поселка. С гостинцем получилось неладно: жену разбудили, она пришла, ведя за руку зевавшую пятилетнюю девочку, ситец приняла с кислым лицом и отрубила: «Подыхать-то все равно — что с ситцем, что без ситца». Мельченко был огорчен. Он шел, плевался, отряхивал зачем-то с рубахи пыль и говорил первое, пришедшее в голову:

— Бесстрашные вы оба, отец с сынком, как посмотрю. Прямо в пасть к волку лезете. Привыкшие, что ли?

— Отчасти и привыкшие,— ответил мой отец,— отчасти и надо.

— Надо-то, верно, надо.

Возле домиков поселка Мельченко остановился и сказал, указывая на тучи:

— Грозы кончились, баста, теперь лить будет без грохота, зато подряд месяцами. И-их, и грозы же здесь, братцы! Гром разгремится, и конца ему нету. Обширность! А земля какая! Постель, не земля. В ней небось и мертвому лежать приятно. Мне бы сюда батю своего привезти: вот страдания принял! Он еще крепостное помнил и так от той памяти матерился, что во всей губернии матерщинника ему вровень не находилось. Баре, которые из пьяниц, приезжали его слушать, честное слово! Ну, прощевайте, братцы, спасибо за школу. За академию,— поправился он.

— Академию возобновим,— сказал отец. — А что, кстати, Двуконь, как он?

— Двуконь с нами, да — слаб. Страдает. За что? — ухмыльнулся Мельченко. — Так возвращайтесь.

— Возвратимся,— ответил мой отец, и голос его задрожал.

«Возвратимся ли?» — думали мы одно и то же, глядя вслед медленно шагающему Мельченко.

Впрочем, отец быстро успокоился. Мне не терпелось услышать о фотографиях, снятых Саумал, и он чувствовал это. Мы шли по темной улице, которая казалась незнакомой, и отец рассказывал шепотом.

Саумал сделала снимки давно, едва ли не в Верном, а в Пишпеке уж во всяком случае. Ненависть к Василисе Глебовне ненавистью, но она побаивалась печатать проявленные негативы. Этак не трудно и шпионом прослыть! Торопили ее только письма, которые хранились у Ханыке. Письма написаны давно, с чужих слов, и она забыла, что в них могло быть, и предполагала, что вдруг есть что-либо, для нее опасное. От Василисы Глебовны добра не жди. Наконец Саумал решилась и напечатала фотографии. Но тут она узнала, что в письмах, полученных Мейстером от Ханыке, нет решительно ничего ее — Саумал — изобличающего.

— Болтун этот Мейстер!

— Отравленный. Не Назаренко они отравили, а Мейстера,— сказал мой отец. — Ты ему, между прочим, не говори, что документ у нас. Перепугается. Военная тайна!

Разве можно публиковать? Каторга! Скурлатов говорит, что и без Мейстера опубликуем.

— Но ведь он хорошо защищает южные склоны!

— Дело легальное.

Отец остановился и шепнул мне на ухо:

— Зря мы идем с тобой вместе. Схватят, обыщут — и пропали документы!

— У китайца ведь такие же...

— Хм. Китайца теперь и с собаками не найдешь. Он по таким дебрям хлещет, куда и волк не заглядывает. Но с нами бог! Вернемся к Саумал.

Саумал, узнав, что ей нечего опасаться, сказала моему отцу, что фотографий нет, документов никаких нет и о Синьцзяне между военными и Калмыковым разговора не было. «И вообще я скоро буду женой хана, и мне ли заниматься какими-то глупостями». Осталось два выхода — либо отказаться от получения документов, либо поторопиться с их получением. Но как их получить? Тогда отец вспомнил про Варетникова. Вот, говорят, вор, вор! Так пусть оправдает свое прозвище. Отец поговорил с Васькой. Оказалось, что Васька никогда не воровал, «но раз нужно...»

— Три дня спустя фотографии — отпечатки и негативы, были у меня на руках. Я их передал Скурлатову. Остальное тебе известно,— прибавил он настолько торжественно, насколько позволял ему шепот.

Мы стояли у дома Калмыкова. Огни в нем не были еще потушены.

— Кто там? — послышался за оградой охрипший голос Салазкина, и зарычала собака.

Отец отрапортовал:

— Учитель Иванов с сыном. А кто это ходит, господин Салазкин? Никак, архимандрит?

— Нету архимандрита,— ответил Салазкин, открывая калитку.

— Где ж он?

— Церковь поехал готовить для свадьбы.

Отец подтолкнул меня незаметно локтем.

— Вот как! А простите, господин Салазкин, какую церковь?

— У хозяина спрашивай!

Салазкин поднял с земли берданку, свистнул собаку и круто повернул от нас. Мы вошли в дом. По полу были раскиданы узлы и перевязанные ремнями чемоданы; на

деревянном необитом диване, одетая и в ботинках, лежала с книгой Василиса Глебовна; в соседней комнате не слышно ходила, глубоко вздыхая, Анастасия Николаевна; там же, в углу, на узлах спала Графушка. Бориса Глебыча не было; как мы узнали позже, он собирал «отряд для охраны родителей», но отряд этот, перепившись, развалился в первые же часы своего появления на свет божий.

Старик Калмыков ходил по комнате, всунув глубоко руки в карманы. Лицо его было вполне осмысленно, только волосы и сильно поседевшая в последние дни борода казались какими-то отрепанными. В углу были постелены кошмы, и на казахском низком столике горела яркая лампа-«молния».

— Привел проводника,— сказал отец.

— Подрос, подрос, отрок,— отрывисто бросил Калмыков, останавливаясь и шаря в карманах. — Этот не вор, верю. Ты порядочный человек, Вячеслав Алексеич, хотя, по доброте, и путаешься со всякой шпаной. Но эти дни отрежут. Они многое режут.

И он опять стал шарить по карманам.

Василиса Глебовна подняла голову от книги, но посмотрела не на нас, а на Глеба Иваныча,— и с большим беспокойством.

Калмыков приказал подавать самовар, сел на кошму, поджал по-казахски ноги и углубился в чтение труда профессора Андреева о Германе и Тарасии — патриархах константинопольских — и деятельности их в связи с ходом иконоборческих смут. Отец мой курил.

Калмыков поднял глаза от книги и посмотрел на отца своими выпуклыми и усталыми глазами.

— Видите, с кем вместе приходится вводить просвещение? Удрал.

— Как?

— Архимандрит, говорю, удрал.

— Ну, какое с архимандритом Михаилом просвещение!

— А с другими? Другие что, лучше? Я вот в Индию ездил изучать орошение, был и в засушливых штатах Северной Америки,— не голыми же руками браться мне за обводнение берегов Чу? Обводнение?! Но о нем поговорим позже. Сейчас дела серьезнее. Видели, какой эти мерзавцы инженеры выстроили мне мост? И ведь люди ученые, окончили институты, а приглядишься — боже ты

мой, какие воры! И не только инженеры — все! И затем эта отвратительная торопливость. Водку пить торопятся, в женщину влюбляются с первого взгляда, крадут сразу, обмануть вас торопятся... Плохо!

— Да, рубль в Азии с чистым сердцем не достанешь.

— Что?

— Когти, говорю, у вашего рубля железные.

— Верно. А как без железных когтей-то? Народ здесь — вор. Зарезать не зарежут, зачем преувеличивать, но если чуть отвернешься или шагнешь не в ту сторону — оберут до нитки. Тут ухо держи востро. Наш рубль берем из горящего костра, и чем его брать, как не железными когтями? Вы видели, как эти подлецы строят мост? Мне его теперь месяца три поправлять, тьфу!

Вошел Салазкин. Калмыков, стиснув зубы, указал на него локтем.

— Вы оглядитесь! Плохо ему у меня? Рай.

Салазкин счел уместным заволноваться.

— Лучше рая, не сочтите кощунством, Глеб Иванович.

— Так ведь он и в раю крадет и готов продать меня, чуть кто даст дороже. — Калмыков, вытирая ослепительно белым платком шею и руки, продолжал: — И если господин Скурлатов и иже с ним и в самом деле намерены брать власть, советую Салазкина с собой не захватывать.

— А я в щелку, в щелку! — сказал Салазкин, у которого глаза потускнели, словно он действительно с великим усердием лез в какую-то щелку.

— Да, я и забыл про щелку-то. Пролезет, окаянный.

Василиса Глебовна подняла голову.

— Куда? В чью власть? В скурлатовскую? Скурлатову, с его промозглым умом, мечтать о власти? Ха-ха! Вот не видали напасти! Ха-ха!

Смех был надломленный, раздраженный. Она покусывала губы. «Отцовское здоровье беспокоит, — подумал я. — Иначе б говорила о другом. Правленье-то ведь сгорело!»

Калмыков, потягиваясь, поднялся с кошмы и, точно отвечая на мои мысли, обратился к отцу:

— Слышал? Воры мост взорвали.

Отец посмотрел на него с недоумением. «Шутит, что ли?» — говорил его взгляд.

— Взрыва не было...

Салазкин, подобострастно глядя в рот Глеба Ивановича, пролепетал:

— Подпилили, мерзавцы.

— Да это ж не ножки стула,— сказал, улыбаясь, мой отец. Но, взглянув и найдя в лице Калмыкова что-то странное, умолк, косясь на Василису Глебовну.

Та, продолжая прерванный было разговор, сказала:

— Почему ты, папа, боишься дробления земельных участков и хочешь, чтоб в Семиречье были только огромные латифундии?

Калмыков ухмыльнулся:

— Латифундии! Слово-то какое. Нет, им, молодежи, Вячеслав Алексеич, надо всегда к великой истории в случае чего обращаться, к Риму. А потому, дорогая, я лично глубоко убежден — только крупные имения, с Алексея Михайловича до Александра Второго, когда началось раздробление, создавали русскую культуру. Ясно?

— Но, папа, земли в Семиречье много, и если мы дадим миллион десятин бедным киргизам и переселенцам, мы тем самым привлечем много избирателей хотя бы в ту же Государственную думу. А потом, когда наши латифундии укрепятся, этих мелких собственников ничего не стоит разорить.

Василиса Глебовна взглянула в нашу сторону и незаметно развела руками. Понимаете, дескать, в чем дело?

Она продолжала с деланным оживлением:

— Мелкий собственник богатеет быстрее, чем крупный. В латифундии необходимы большие капиталовложения. Мелкий же собственник, и притом в самом непродолжительном времени, одолжит нам свой уже накопленный капитал.

— Каким это образом?

— Через кооперативы и ссудо-сберегательные товарищества. Я говорю не о тех потребительских лавках, какие хотят создать на свои гроши рабочие нашего рудника, а о тех кооперативах, вроде Союза сибирских маслодельных артелей, во главе которого стоит крупный капиталист Баландин. Этот колоссально богатый кооператив с миллионными оборотами уже поставляет масло в Англию. Что касается Семиречья, то кроме

масла, оно сможет поставлять шерсть и хлопок. Все дело в том, чтобы подобрать людей в эти кооперативы.

Она остановилась перед Салазкиным, который слушал ее с величайшим восхищением, держа руки по швам.

— Экипажи готовы?

— Так точно, Василиса Глебовна!

— А где князь и Борис Глебыч?

— Послано-с за ними, Василиса Глебовна.

— Зови работников, поехали.

Впрягли коней в тарантасы и принесли седла. Малицын и Борис Глебыч поедут рядом с нами, четыре коня под седлом будут привязаны к последнему тарантасу. Я чувствовал, что бед с этими подседельными натерпимся много, но иначе нельзя: говорят, дожди сейчас льют неожиданно, и какая-нибудь горная речушка может мгновенно выступить из берегов или развести такую грязь, из которой тарантасы и не вылезут. Не все участки «Семиречки» покрыты рельсами, и на недоделанных участках большое движение телег, и дороги там хоть и широки, но ухабисты, пыльны и в слякоть очень тяжелы. Хорошо бы взять с собой побольше работников, но Калмыковы, должно быть, боятся брать чужих, и из казахов, например, с ними едет один Нура.

— Трудно тебе будет? — спросил он, скаля зубы и показывая на свою подвязанную руку.

— Ничего, как-нибудь.

— Это верно. На все — аллах,— сказал он и засмеялся. — Мы от пожара, а он за нами, а?

— Ничего. Русь к огню привыкла.

— Тоже верно. Русь-то привыкла, а казах не очень, тогда как? — И тихо, быстро, с придыханием спросил: — Он воров ругал?

— А как же!

— Трусит. И думаешь, тех, которых он сам научил воровать? Этих он прижмет, эти ему не забота. Он боится тех, кто под Пишпеком, из лагерей, оружье утащил. Кто-то сказал ему,— не знаю, кто, а то бы сорвал шкуру с живого! — что оружье спрятано на руднике, там!

Нура указал на Ак-Таш.

— А шахтеры народ умелый, могут и крепость,— дай им только оружие! — построить. Он в крепость бу-

дет палить! Они — в него! Ха-ха! Вот они какие, воры! Он и трах — пополам, с испуга. И все ж ему целым хочется ходить, ха-ха. Рудник свой жалко. Люди в Святой долине нужны новый рудник копать, медь там богатая.

И Нура, совсем еле слышным шепотом, добавил:

— В медной руде какой-то процент золота есть.

Он многозначительно поджал губы. Приближался Салазкин. Я успел спросить, а он — ответить:

— Скажи, Нура, а за каким чертом Калмыкову меня надо было привлекать?

— Тебя? Помнишь, Семипалатинск, пожар, супонь, перочинный ножик? Кто-то его уверил, что ты его спасать бросился.

— Кто?

— Василиса Глебовна, пожалуй.

Салазкин, посоветовавшись с Нурой, приказал впрячь коней, купленных недавно у китайцев. В передний тарантас, коренником,— буланого; правой пристяжной — Грача, вороного жеребца, с тусклыми продолговатыми глазами; левой — саврасого, которого звали Дикарем. Эти кони отлично мне известны и вполне подходят для того, чтобы, как говорят конюхи, «скакать и тянуть дружно». Слегка поспорили из-за глинисто-рыжей кобылы Золомянки. Салазкин предлагал заменить ею Дикаря. Нуре кобылка казалась подозрительной. Ее пустили во второй тарантас.

В сенях послышался голос Глеба Иваныча:

— Бориса все нет?

— Ждем-с.

— Ждать не будем. Едем. А Мейстер не приходил? Салазкин, подождешь. Скажешь адвокату, что предложение южных склонов передал правлению и предложение забастовщиков — тоже.

Сказано намеренно громко, чтоб слышал не только Салазкин, а и работники: пусть передают дальше! Калмыков-де уехал к членам правления «Семиречки» советоваться. Ему ничего и никто не страшен. Он даже кучером взял парня, который якшается с забастовщиками.

— Обе тройки запрягли, Салазкин?

— Обе, Глеб Иваныч.

— Ну, присядем, как полагается, да и в путь. Салазкин, от архимандрита вестей нету?

— Еще не получено, Глеб Иваныч.
— Догоним.
Во дворе вдоль глинобитных сараев стоят пустые ящики из какого-то красивого дерева с надписями на иностранном языке. В эти ящики залезли соседские мальчишки, видны их коротко стриженные головы, и черные пронзительные глаза, которые в цирке мы называли магнетическими, жадно наблюдают за нами. На незанятый ящик вспрыгнул петух и закричал. Из соседних дворов откликнулись другие петухи. Солнце уже припекало. Утро превосходное!
— Трогай!
— Ух, хороша тройка, Глеб Иваныч! Сразу осиротел конями поселок,— прохрипел Салазкин,— прямо снарядные осколки из-под копыт! Сторонись, сторонись, ба-аба!
Баба, которую он окликнул, была Ханыке. Она шла быстро, держа Гулькамыс за руку и опустив голову. На сердце у меня стало легко: значит, не она подожгла? А если и она подожгла, не поймали. Я лихо закричал:
— А ну-ка, родимые, сра-азу-у!..
Ух и рванули! Нет, не оскудела земля силой.
Оглянулся. Осмотрел улицу. Отец в неизменном своем мундире, подбоченясь, любовался мной. Ханыке исчезла.

ОПЯТЬ ПРЕДГОРЬЯМИ И ГОРАМИ

Сначала мчались крутым берегом.
Река отступала. Из степи несло тиной.
Ребятишки в невысохших колдобинах ловили руками рыбу. Снова вброд через реку шли в Святую долину старенькие богомолки. Анастасия Николаевна сказала, что икону, упавшую вместе с пролетом моста, нашли недавно в Святой долине. Несомненно, на месте нахождения обнаружатся мощи апостола! Вот богомолки, пока осень не разыгралась вовсю, пока нет дождей, и торопятся молиться.
— Мощи,— пробормотал Калмыков.— Кабы мощи, архимандрит, глядишь, остался б.
— Несторианам пора в столицу, он и уехал проводить.

— Забастовщиков испугался, раз! — сказала Василиса Глебовна. — Мощи и миро залило, чуда нет, оправдываться в расходах перед синодом... два! А третье...

Василиса Глебовна замолчала.

Или родным Василисы Глебовны была известна третья причина исчезновения архимандрита, или они стеснялись Нуры и меня, не знаю, но они не спросили ее. Только Анастасия Николаевна нежно погладила дочь по щеке и сказала:

— Умница.

Въехали в село, и я, не спрашивая, покатил к храму, где должно было недавно происходить венчанье Малицына и Василисы Глебовны. Зеленые гирлянды тянь-шаньских елей, которыми был убран вход в храм, еще не увяли. Двери были распахнуты, и мы увидели, что весь пол поднят. Вместо пола зияла чернота.

— Глеб Иваныч, Глеб Иваныч, вы ли-с, вы ли-с?

Поп, узколицый, лохматый до неправдоподобия, сутулясь, бежал к нам через палисадник.

Анастасия Николаевна попросила отслужить молебен на дорогу. Поп сокрушенно развел руками. Он с удовольствием отслужил бы, кабы не забастовщики. Иждивением архимандрита Михаила для церкви в изобилии доставлен материал, подрядчик взялся строить, но плотники ушли! Грустные времена! Можно сказать, развал!

— Пол кто велел разбирать? — спросил Калмыков.

— Отец архимандрит. Как, значит, прибыли, так неутомимо...

Василиса Глебовна, взяв отца под руку, увела его в сторону. Тихо разговаривая, они ходили поодаль от нас. Все, понимая, что беседа важная, сидели, потупив глаза. Один лишь Нура, делая вид, что ничего не понимает, хлопотал возле коней. Поп, стыдливо отвернувшись, закурил. Вернулся Калмыков с дочерью и сказал:

— Передашь, отче, моему сыну, что могут не торопиться, а могут и совсем не догонять.

Поп, теперь с удовлетворением, развел руками. Разговор перешел на несториан. Ими в доме, который занимает поп, забыты на божнице какие-то книжки и листки. Он принес эти листки, и Анастасия Николаевна с благоговением взяла их, чтобы отправить из Арыси по адресу, а может быть, и лично передать: «Мы ведь

едем в Петербург!» Поп смотрел на нее большими белесыми тупыми глазами, неизвестно как вмещающимися на его лице, и трудно было понять: представляет ли он себе Петербург и знает ли вообще что-нибудь о нем.

— Скот, а не люди,— сказал Калмыков со злостью, едва лишь тронулась тройка.

— Ты о ком, Глеб Иваныч? — спросила Анастасия Николаевна.

— О ком? О «котах». Коней им выдал, телеги, поденную плачу, а они бастуют, воры!

«Во-первых, всем ли ты выдал? — подумал я.— А во-вторых, только ли на «котов» ты злишься?»

Графушка выразила мою мысль более отчетливо, сказав:

— Ему б на мне жениться, а не на Василисе.

Позади меня послышался жирный треск, и Графушка захныкала.

— Василиса! — крикнул Глеб Иванович.

— Я нечаянно,— напряженно смеясь, ответила Василиса Глебовна.

Привстав, чтобы вытянуть запутавшуюся вожжу левой пристяжной, я концом глаза разглядел ярко пылавшую щеку Графушки. «Здорова ж баба драться»,— подумал я.

Перегон длинный. В следующей станице — обед и подстава. Какова-то будет та тройка? Управлять новой и свежей тройкой не легко. В коренники ставят обычно сильного и добротного рысака, который бы тянул без напряжения и «не прыгал». Пристяжные должны идти галопом, а скакать галопом наравне с хорошим рысаком дело сложное. Поэтому для пристяжных обычно брали коней из кавалерийского ремонта, пусть даже бракованных, но привыкших к галопу. Казахская лошадь к длительному галопу не приучена, быстро устает на этом аллюре, за ней надо следить зорко.

Началось жнивье, над которым стайками летали какие-то некрупные птички, кажется перепела.

Вот опять линия «Семиречки». Пустынно. Неужели все насыпи ее так безжизненны?

— «Иртышская речь» мне разрешена,— пробормотал Калмыков, не глядя ни на кого из близких.

— Телеграмму из Семипалатинска тебе, что ли, отбили? — спросила Анастасия Николаевна.

— Отбили.

— А Мейстеру,— сказала Василиса Глебовна,— разрешили издавать «Степное слово». Не было в Семипалатинске ни гроша, а вдруг — алтын. Боюсь только, что семипалатинцы этого алтына не получат.

— Похоже,— вздохнул Калмыков. — Во всяком случае, если говорить обо мне. А Мейстер что, тоже не возвращается в Семипалатинск?

— Кажется, да.

Миновали огороды с желтыми глянцевыми тыквами. Вдоль забора тянулись лиловые круги подсолнухов; они наклонились так низко, что казалось, стволы растут не из земли, а из этих кругов, к которым прилипали пожухлые от заморозка листья. Под кругами ходили куры и иногда, подпрыгнув, выклевывали зернышки.

Долины, увалы, предгорья.

В станице, на звон наших колокольцев, появлялись казаки с пиками.

Широколицый офицер долго скакал возле тарантаса, расспрашивая Глеба Ивановича о здоровье. Уже отъехав, он быстро повернулся к нам в седле и спросил, указывая нагайкой на Графушку:

— Ваша дочка, Глеб Иваныч?

И глаза его жадно засверкали.

А Графушка тихо сказала:

— Ну вот, я и права: надо было меня за Малицына выдавать.

На этот раз пощечины не последовало.

Анастасия Николаевна, поднявшись и перегибаясь с усилием через откинутый верх тарантаса, испуганно спросила:

— Забастовщики пошаливают?

— Здесь? — отвечал со смехом офицер. — Да мы нашей пикой любого шалуна проткнем.

Однако Анастасия Николаевна офицеру не поверила. Если не пошаливают, зачем в уборочную пору вооружили всю станицу? Ну, киргизы еще туда-сюда, а вот переселенцы... О переселенцах она боялась и думать. Ей казалось, что в Семиречье переселяются лишь те, кто жег помещичьи усадьбы в центральной России. Именно поэтому начальство и не дает наделов переселенцам. Она торопила нас с перепряжкой, с обедом. Похлебали наспех щей, а чаю и совсем не пили.

— Надо засветло на ночлег,— сказала Анастасия Николаевна и напыжилась, сама удивляясь своей твердости.

— Надо,— подтвердил Глеб Иванович,— тем более что охраны нет. То есть я насчет Бориса и Малицына, а не про архимандрита, он нашу семью не укрепит.

И он натянуто улыбнулся. «Неужели там, в селе, Глеб Иванович надеялся еще обвенчать Василису с Малицыным? — спрашивал я сам себя. — И неужели Малицын на самом деле скрывается от свадьбы? И почему? Трепещет, что может жениться на дочери банкрота? А разве Калмыков уже обанкротился? Впрочем, что я знаю!» Мысли эти казались мне нелепыми, однако я гнал тройку, словно опасаясь, что Малицын догонит нас и свадьба где-то тут в поле и будет сыграна.

Вдали мы увидели какую-то реку.

— Ах, искупаться бы! — вздохнула Графушка и долго держала губы надутыми.

Тракт крутил в предгорьях, то приближаясь к реке, то уходя от нее далеко по отлогим склонам. Река рокотала. Над грядами камней клубилась водяная пыль, разноцветная, сверкающая, сладостная.

Мы обгоняли стада, возвращающиеся с гор. Они двигались в дымке пыли, легко, свободно играя лоснящейся шерстью. Мирные эти стада успокоили Анастасию Николаевну, и она сказала мне:

— Гонишь ты как угорелый. Пугаюсь я, и голова кружится. Остановись, дай выпрямиться.

Тракт был тут широк, не пылил: недавно прошел легкий дождь, и пыль прибило. Анастасия Николаевна вылезла прогуляться «по просухе». Дочери шли за нею. Странное это было зрелище! Впереди пожилая тучная женщина в лиловато-желтом фаевом платье, взмахивающая руками, восторгающаяся чудесным воздухом и тем, что она себя чувствует совсем молодой. За ней — дочери, вспоминающие о петербургских знакомых и не обращающие никакого внимания на природу, а позади — тройка, которую мы с трудом сдерживали. Мы устали, кони в горах идут неровно, тарантасы визжат, подпрыгивая. И эти медленно шагающие впереди нас женщины раздражали — но, пожалуй, и веселили.

Сверкало солнце. Победно пела река. По склонам по веселой отаве спускались к реке стада. Три пастуха — певцы,— словно не в силах остановить радость,

которой они наполнились в горах,— глядя на сестер, запели о красоте. Особенно нравилась им Графушка. Семейные огорчения мало трогали ее, она раздобрела, и, так как по тогдашним понятиям солнце считалось вредным для лица, она совсем не загорела, была бело-розовая, с большими и нежными глазами. К тому же она была очень довольна, что они едут в Арысь, что никогда не вернутся к мосту, что, наверное, долго будут жить в Петербурге.

Молодые женщины прекрасно понимали песню казахских пастухов, но она не радовала их и не огорчала. Песня им была безразлична. Они надменно прошли мимо пастухов, и Василиса Глебовна сказала:

— Мама, ветер начинается, пора в тарантас.

На ночлег мы приехали поздно.

Раза три дорогой нас останавливали казачьи патрули. Глеба Ивановича узнавали сразу. Обычно казак делал под козырек и, ухмыляясь, говорил:

— Скачите напролет, Глеб Иваныч, счастливой дороги! Всех обыскиваем, а вас чего ж?

Иной спрашивал:

— Как там, на Ак-Таше, бастуют?

Один же сообщил:

— А на Колубинской шрипбехеры вышли.

— Поди, дак врешь? — оживившись, воскликнул Калмыков.

— Начальство сказывало.

С высокого холма тракт, не сворачивая, направлялся к станице.

Внизу, до станицы и дальше, до самого конца степи, все залито серебряным, каким-то пушистым лунным светом. Куда бы ни поворачивалась тройка, всегда перед нею лежал широкий лунный столб. Он лежал на земле, над землей и высоко в небе. Земля застыла, да и небо не теплое. Это — первый заморозок.

— Ого! Свежо,— сказал Калмыков. — Надо, пожалуй, тулупы.

— Тулупы-то на втором тарантасе,— проговорила Анастасия Николаевна,— да куда только он запропастился? Салазкин пьет мало, разве Борис с Малицыным задержали.

Часа через три после нашего приезда на ночлег появился Салазкин. Оказывается, он все по дороге нанимал охрану, но так и не смог нанять.

— Повертон, что ль, на самом деле начинается? — спросил он. — Кого не попрошу: отказ.

«Странно,— подумал я,— а почему важные военные, так дружившие с Калмыковым, не могут дать ему охрану?»

Салазкин привез подтверждение, что на Колубинской действительно вышли работать штрейкбрехеры, которых привезли из Ташкента в Арысь, а оттуда перебросили к Колубинской почтовыми.

— Малицын помог,— сказал Калмыков,— напрактикованный. Только где ж они?

Утром Борис Глебыч и Малицын тоже не прибыли. Мы поспешно запрягли и отправились в Колубинскую, до которой считалось километров тридцать пять — сорок.

СМЕРТЬ АГИТАТОРА

В Колубинской действительно, должно быть, не ладно. По дороге нет-нет да кто-нибудь и спросит:

— Господа хорошие, кто с кем в Колубинской бьется?

— Аль правда, горит Колубинская?

— Не в Колубинскую ли скачете? Что там?

Пообедали в каком-то селе, соснули часа два, и работники впрягли коней. Мне дремлется. От вожжей ноют руки и плечи, и во всем теле томящая, вялая истома. Выхожу за ограду и сажусь на скамейку.

По улице в сумерках, подкравшихся сквозь незаметно прошедший день, возвращается Василиса Глебовна. Среди калмыковских припасов не оказалось водки и табаку, а хозяев дома нужно угостить. Ей скучно: она и пошла сама в лавку.

Тоскливо мне смотреть на нее. Охватив колени руками, я закрываю глаза. Сквозь дрему слышится ее голос:

— Размышляете, почему судьба бросает нас неизвестно зачем и неизвестно куда?

— Не знаю, как вас, а меня бросает, как нищий заплесневевшую корку из сумы в суму,— ответил я.— Что слышно?

— Забастовка, слухи, болтовня,— вяло ответила она. — Ах, поскорей бы в поезд, в Петербург!

— Не очень-то вы мужественны.
— Отец, видите, болен.
— Выходит, спасаете их потому, что — отец, мать, брат, сестра и так далее. Высшее веление семейного долга, так сказать?
— Ну, а если отнять долг, что останется? Допустим, нет отца, матери, сестры. Отсюда недалеко и до того, чтоб сказать — нет родины.
— Мне кажется, вы так и думаете, Василиса Глебовна.
— То есть?
— Родины нет.
Она засмеялась.
— Ну, что это за родина, дорогой мой? Прихожая родины! Да и сам вы бежите отсюда в Индию.
— Учиться.
— Учиться? Тратить лучшие годы жизни на поглощение каких-то глупостей, над которыми люди через пятьдесят лет будут смеяться,— в лучшем случае. Итак, отправляемся дальше? Гоните!
Она отошла от меня, держа пальцы на плетеном поясе, охватывавшем ее зеленое платье. Пустой футляр из-под бинокля покачивался на длинном узком ремне.
— Гоните. Порадейте невесте,— добавила она с легкой усмешкой,— а то жених догонит. Скоро отдохнете. От Колубинской полотно до Арыси без разрывов: может быть, нам вагон подали.
У въезда в Колубинскую нас ждал бородатый артельщик в белой рубахе, широкой суконной фуражке и скрипящих сапогах. Подбежав к экипажу, он забормотал скороговоркой. Ташкентские штрейкбрехеры какие-то оголтелые. Сразу же, по приезде, вступили в перебранку с забастовщиками. Ввязались казаки, а эти сумасшедшие нарадоваться не могут! Ну, работай штрейкбрехеры в мастерских, забастовщики поругали бы их, да и, глядишь, ушли. Нет, ташкентские на полотно влезли, паровоз вывели из депо, начали платформы передвигать. И наскочи платформа с камнями на пустую — обе с рельс!
— Под откос? — спросил Калмыков.
— Кабы под откос, Глеб Иваныч! Обе платформы на полотне. Ну, забастовщики хохочут: «Работнички». Штрейкбрехеры, с обиды, в драку. Те — демонстрацию, флаг, агитаторша — вперед...

— Какая агитаторша?

— А бог ее знает! Шла с переселенцами, остановилась, разговорилась — это еще до забастовки было. Видим: грамотная, поставили при весах. Зовут Настей, фамилья неизвестная — вида не спрашивали, мы вид через неделю работы берем. Так и упокоилась, царство ей небесное!

Артельщик снял фуражку и перекрестился.

— Куришь? — спросил Калмыков.

Он взял у артельщика кисет, свернул большую папироску и жадно затянулся.

— Кто убил?

— Да казаки, Глеб Иваныч, дали по демонстрации залп. Троих ранили, а ее почти что наповал. Она, правда, успела на колесо платформы вскочить и крикнуть: «Долой самодержавие!» — тут, значит, и ничком, в гравий.

— Туда и дорога,— пробормотал Калмыков. — Где она? Закопали?

— Вчера это было. Фельдшер в отъезде, а без него нельзя — акт требуется. Ждали. Лежала в сарае при лесопилке. Фельдшер только что прибывши, а могила вырыта, Глеб Иваныч.

— А как эти, срывщики-то ташкентские?

— Сидят в механических мастерских. Шантрапа, трусят. Казаки к себе в станицу ускакали, а забастовщики похороны готовят, попа привели.

— Попа?

— Крест на гайтанчике, золотой, у агитаторши на шее нашли. Баба, а крест — золотой. Ну, решили — неспроста. Известно, народ темный! Раз — крест, надо-де хоронить с попом. Поп боится, глаза выпучил, но ничего, пришел.

— Когда хоронят?

— Да вот вас ждут, Глеб Иваныч!

Калмыков, громко и часто дыша, спросил:

— Меня?

— Вас, Глеб Иваныч. Председатель правления дороги, так сказать, высшая справедливость, пусть сам увидит, как обращаются с забастовщиками.

Артельщик отскочил, точно ему наступили на ногу,

— «Коты» ведь, Глеб Иваныч!

— Ну?

— Темные, напыженные...

— Я им телегу, коня дал,— закричал Калмыков,— а им все мало?

Артельщик отскочил, точно ему наступили на ногу, и снял фуражку.

— Прикажете дорогу показывать?

— Куда?

— К убитой.

Анастасия Николаевна взвизгнула

— Я не хочу к трупу!

Калмыков грубо цыкнул на нее, а затем прибавил:

— Веди. Я им речь скажу.

— Смело ты,— пробормотала Василиса Глебовна.

— Что, смело?

— Смело, говорю,— повторила она,— а только б надо помнить, что здоровье — ремешок тонкий...

Калмыков оборвал:

— Не о ремешке речь, о всей шкуре!

По напухлым от недавнего дождя опилкам мы прошли к сараю. Землекопы, лесопильщики, рабочие механических мастерских, железнодорожники, бабы, дети толпились во дворе и сарае. Никто не снял шапки перед Калмыковым, да и расступились нехотя, как-то напряженно.

Поп, лысый, с седой бородкой, пел и кадил, широко размахивая скрюченными от ревматизма руками. Увидав Калмыкова, он поперхнулся, но быстро оправился. В углу, возле фонаря, фельдшер писал акт. Понятые заглядывали ему через плечо.

Убитая лежала в гробу. Горело много свечей. Плечистый старик в длинном синем зипуне, стриженный в скобку, заслонял ее. Калмыков положил руку старику на плечо, чтоб тот пропустил к гробу. Старик, не глядя и не оборачиваясь, снял руку, перекрестился и, склонившись, охватив длинными руками гроб, громко поцеловал убитую. Затем он обернулся к Калмыкову, и я увидел рябое, скуластое и злое лицо его. Глядя прямо в глаза Калмыкову, он сказал:

— А убивцам-то грешно к такому гробу подходить.

Я не слышал ответа Калмыкова. У меня заломило в висках, ноги задрожали, сарай, потолок, люди — все спуталось. Я прислонился к стене.

— Знакомая? — шепотом спросила Василиса Глебовна.

— Не-ет,— ответил я с усилием.

В гробу лежала Вера Скурлатова.

Священник кончил отпеванье. Свертывая епитрахиль, он подошел, благословляя, к Калмыкову. Подошел и фельдшер, протягивая акт. Калмыков спросил тихо:

— Сейчас хоронить?

— Начальство требует,— пробормотал священник, разводя руками.

Калмыков поднял голову, громко и спокойно сказал:

— Ну, вот что, господа. Я тороплюсь, но мне все же хочется сказать забастовщикам несколько слов. И вот почему. Я только что узнал, что путь между Колубинской и Арысью испорчен. Более того, пассажирский вагон, который я велел сюда пригнать, задержан где-то в пути, а паровоз потушен. Господа забастовщики! Если вы думаете, что ваши проделки могут пройти безнаказанно и, не говоря о людях, мирозиждитель...

И Калмыков повел глазом в сторону священника. По-видимому, он решил сказать речь не только грозную, но и не лишенную внешнего лоска.

Но ему не только не дали договорить — он и продолжить не смог.

Плечистый старик подошел к нему вплотную и с какой-то младенческой простотой сказал:

— Ушел бы ты, Иваныч, от греха подальше, тут тебе ходу нет.

И старик показал длинной своей рукой на толпу.

— Гляди-ко на мир-то! Страдальцы. Да только — докедова? Уезжай. Мы теперь не в девятьсот пятом... Тогда б мы тебя и спалили бы и...

Старик сжал руку в кулак и, поморщившись, сказал:

— Теперь мы — обучились. Уезжай! И штрикбехерам своим скажи: пущай тоже уезжают. А то ведь мы нонче многозубы, Иваныч.

— Ты кто такой? — уныло улыбнувшись, спросил Калмыков.

— Председатель стачечного,— ответил старик.— Перед всей Расеей протестуем, что, значит, долой самодержавие!

— Долой! — послышалось во дворе, и опилки зашуршали под ногами забастовщиков.

Калмыков, круто повернувшись, вышел.

Нура догнал меня возле лесопильной рамы и шепнул:

— Скурлатов, сказали мне, скачет. Будем ждать?
— Наоборот, уедем быстрее.
— Отвечаешь за свои слова? — еще тише спросил Нура.
— Вполне.
— Тогда возьми вот этот,— сказал Нура, подавая мне новый сыромятный кнут.— Твой-то кнутишко исшлепался.

СПАСАЕМСЯ ОТ МЕРТВЕЦА

Сначала, продолжительное время, экипаж наш мчался вдоль полотна железной дороги.

Там, где на линии работали штрейкбрехеры, нас пропускали мрачно, не глядя, намеренно громко стуча молотками по рельсам или же далеко бросая лопатами комья земли.

Участки забастовщиков мы узнавали по тишине и по тому, что там много горело костров, и главным образом по тому, что вокруг выстраивались и скакали казаки.

Едва показывались наши экипажи, как раздавалось:

— Калмыков, братцы! — Это кричали казаки.

— Не поддавайся! — это были возгласы забастовщиков. — Держись, товарищи!

Иногда нас встречали жалобами, если на линии были землекопы из переселенцев. Они вылезали из шалашей, землянок и просто из ям и громко, нараспев, начинали:

— Изнуренные!
— Голодные!
— Безодежные!
— Скудость! Нужда!

И какой-нибудь мальчишка бежал к нам с камнем и криком:

— Подарили вы нам новоселье!

К нему скакал казак, и мальчишка, отбросив камень, скрывался.

Тогда нам кричали вслед уже иронически:

— Бегут с Ак-Таша, грабители!
— Живодеры!
— Кровопийцы!..
— Мост провалился; дрожит дом ихний, валится!

Когда крики замирали вдали, Анастасия Нико-

лаевна всплескивала руками и, вспоминая уроки истории в детстве, вскрикивала:

— Пугачевщики и родили пугачевщиков!

— Во-первых, не пугачевщиков, а пугачевщину,— поправляла Василиса Глебовна,— а во-вторых, мама, до пугачевщины далеко.

И Графушка добавляла:

— Если девятьсот пятый год придушили, то девятьсот тринадцатый — не трудно.

Василиса Глебовна косилась на меня и шипела сестре:

— Молчи уж ты, философ!

— Зато уж не многобрачная, вроде тебя.

Сказала это Графушка так спокойно и смело, что даже Василиса Глебовна, за словом в карман не лазившая, опешила и только громко вздохнула.

Перепрягали.

Деревенька, где нас ожидала подстава, лепилась по берегу оврага. Был рассвет. За оврагом тепло и мягко золотился начавший желтеть лес, а еще подальше высились горы. Работники зевали, лица их со сна были мертвенно-бледные. Кто-то спросил Нуру, правда ли, что казаки в Колубинской убили несколько агитаторов? Нура вздрогнул и позвал меня. Он отвел меня к колоде с водой. Водя по мокрому краю колоды пальцами здоровой руки, тихо спросил:

— Бежим?

— Куда?

— Мало ли куда,— ответил он мечтательно.— Ташкент есть, Бухара есть. Хочешь, в твою Индию? У меня хоть одна рука, стрелять могу хорошо.

— Не могу.

Он кивнул головой в сторону тарантаса, откуда слышалось мягкое дыхание спящих Калмыковых.

— Противны они мне. Особенно как мертвую Веру увидел. Скурлатов, поди, плачет. Да и твой отец, поди, тоже там. Страшно подумать.

— Страшно,— прошептал я.

— Бежим?

— Сказал тебе, Нура, нельзя.

— Есть причины?

— Есть.

— Любовь?

— Помимо любви.

— Та-ак...— пробормотал Нура и, снимая пальцы с борта корыта, добавил: — Ну, я товарища не брошу.

Подумав, сказал:

— Зато мы над ними издеваться начнем! От мертвеца мертвецы побегут.

Тарантас с грохотом перемахнул горную речку. Камни на дороге указывали близость перевала. Тарантас двигался медленно. Тут-то сгодилась наша сила. Мы с Нурой толкали тарантас, подкладывали под колеса камни, ухали,— и вот мы на перевале! С горных вершин дует холодный, пронизывающий ветер. Из-под сиденья достают покрытый сукном бараний тулуп, взятый у работников на перепряжке, и укутывают в него Анастасию Николаевну. Перевал этот последний, еще три-четыре часа — и откроется степь.

Дорога широкая и для этих мест гладкая. Поодаль — скалы. Нура закладывает большую щепотку наса и спрашивает у меня:

— Где ружья?

— Под облучком.

— Заряди. У вас, хозяин, револьвер?

Калмыков лежит с закрытыми глазами и не отзывается.

— И у меня,— говорит Василиса Глебовна.

— И я хочу! — восклицает Графушка.

Анастасия Николаевна осторожно спрашивает:

— А что такое, Нура?

— Мертвечиной пахнет. Во-он, в скалы вглядитесь. Там, вроде мерлушки, трава. Видишь, люди лежат? Зачем? Почему они стали перебегать? Кто это?

— Я ничего не вижу,— доставая бинокль, сказала Василиса Глебовна.

— А я вижу,— бледнея, говорит Анастасия Николаевна. — Кто это, Нура?

— Думаю, плохие люди,— с мерцанием в глазах говорит Нура. — Сивалот! Веди тройку шибко.

— Но он ведет осторожно,— расхваливая меня, говорит Анастасия Николаевна. — Глеб Иваныч!

— Голова кружится от высоты,— не открывая глаз, шепчет Калмыков.

— Но тут же разбойники!

— Воры,— поправляет Калмыков. — Когда подъедут ближе, я достану револьвер.

Я чуть слышно гикаю. Нура, вытирая пот со лба большой рукой, напряженно глядит на скалы. Кони летят. Тарантас подпрыгивает, но никто уже не вздыхает, не охает. Нура, громко и словно напевая, указывает мне лучшую дорогу. Я, сворачивая влево-влево или вправо-вправо, бью коней новым кнутом. Шлеи в мыле.

— Надбавь, Сивалот,— говорит Нура с таким выражением, словно хочет сказать великую тайну. — Не оборачивайся!

Мне оборачиваться некогда, и, кроме того, Нура играет испуг столь искусно, что мне самому не по себе. И, однако, на одну секунду я оборачиваюсь. Мы скачем нашей бешеной скачкой недолго, но в тарантасе большие превращения. Анастасия Николаевна бледна, как мука, рот раскрыт, руками она держит голову и спадающую шаль. Калмыков дрожит мелкой дрожью. Одна лишь Василиса Глебовна сидит по-прежнему прямо, со строгим и несколько насмешливым лицом. Из футляра бинокля торчит револьвер, и я уверен, что рука ее, при случае, не дрогнет.

— Э-э-эй, мети, подметай хвостами! — дико кричу я, размахивая кнутом и привстав на облучке.

Нура подхватывает мой крик:

— Надбавь, Сивалот, надбавь! Среди камней скачут.

— Во-оружен-ные? — спрашивает Калмыков.

— Холодным,— отвечаю я,— шашки.

— Не-е, и винтовки блеснули,— с выражением страха на лице вопит Нура,— ой, аллах!

Анастасия Николаевна рыдает:

— Спаси нас, Всеволодушка, спаси родной...

— Мама, стыдись! — бросает Василиса Глебовна. — Однако я никого не вижу, Нура.

— Увидишь!

— Э-э-эй-й! — кричу я.

Скалы окончились.

Нура снимает шапку и вытирает ею совершенно мокрое лицо.

— Слава аллаху, проскочили. Если только они в объезд нам не пошли.

— А могут и в объезд? — спрашивает Анастасия Николаевна.

— Отчего ж не могут? Места тут глухие. Почему военный конвой не взяли. Я говорил.

— Но ведь забастовка, не восстание,— сказала Василиса Глебовна.

— Народ здесь дикий,— говорит Нура сокрушенно,— ему что забастовка, что восстание,— лишь бы пограбить. Знают, Калмыков деньги везет.

— Ах, какие тут деньги, Нура! — вздыхает Анастасия Николаевна.

— Для вас сто рублей не деньги, для разбойника — капитал. Коньяка нет ли по глотку? Сильно, однако, переместился: не знаю, где ноги, где голова.

Графушке дурно. Глядя на дочь, делается дурно и Анастасии Николаевне. Обе жадно глотают коньяк. Мне их немножко жалко, а Нура весь трясется от скрытого восторга. Ему не терпится ехать дальше, он ходит вокруг тарантаса, хлопает себя по ляжкам и шепчет мне:

— Здорово придумал, а?

Затем делает озабоченное лицо и хмуро смотрит вперед:

— Боюсь, не ждут ли они.

— Кто? — с замирающим сердцем спрашивает Анастасия Николаевна.

— Разбойники.

— Ну, что ты, право, Нура! — сердится Василиса Глебовна. — Просто даже противно.

Анастасия Николаевна строго говорит ей:

— Василиса! Нура напрасно не струсит.

У дороги валяется подгнивший арбуз. Ворон проклевал в нем дыру. Перед тем как сесть на облучок, Нура останавливается перед арбузом, вытаращив глаза и положив палец в рот.

— Смотри, хозяйка! Ой, не к добру. Мертвец выклевал.

— Какой мертвец, господи!

— А который за нами гонится. Мы! Мы — сами за собой, мертвецы... примета такая...— сплевывая, бормочет Нура. — Конец!

Опять долина, телеграфные столбы, обозы, арыки, белые домики; под окнами в палисадниках осенняя зелень тамариска, опять табуны коней, поля озимой пшеницы, село, самовар в окне, плечистая женщина в украинской рубашке моет полоскательницу и хохочет, в саду между двух яблонь — целующиеся влюбленные, а яблони над ними тоже обнялись; опять каменные ограды, поникшие мальвы, поникшие подсолнухи.

Только выехали за станицу, как Нура, прижавшись ко мне, завизжал:

— Гонятся! Верхами! Шестеро!

— Над-дай,— слышится позади истошный голос Анастасии Николаевны, к которому наконец примешиваются хриплые возгласы Глеба Ивановича.

Нура добился своего: Калмыков испуган. Голова его дрожит, челюсть отвисла, рот брызжет слюной, руки трясутся. Василиса смотрит на него, стиснув зубы, и на глазах ее слезы. «Жестоко, страшно, бесчеловечно,— думаю я,— но что поделаешь? Нура прав. Он должен дать выход своей злобе,— и хорошо, что есть такой выход. Искусному этому кучеру ничего не стоит вывалить на каменистом повороте всех седоков из тарантаса — и разбить их».

— Э-э-эй! Гони-и!.. Видите, за стогами они, Сивалот, прячутся? Гони-и... Теперь — степь, бежать легче.

Да, степь.

Грустно. Семиречье остается позади. А я гоню тройку так, что мучительно болят пальцы рук, натягивающие вожжи. Оказывается, я люблю эти места, остающиеся позади и залитые опять лунным светом. Лунный столб стоит передо мною. Я скачу в него и не могу вскочить. И я вспоминаю всю дорогу сюда: города, села, горы, степи, палящие пески, от блеска которых небо над ними желтое.

Как прекрасны эти места! И как люди живут здесь плохо!

Василиса Глебовна укутывает ноги матери, сбрасывая со своей головы шаль. Ей жарко.

— Да погоняй же ты, господи боже мой!

При посторонних я для нее лишь кучер, и она говорит это «ты» чуть ли не с презрением.

Мы взлетели на высокий синий холм. Точно увидав впереди невероятно страшное, Василиса Глебовна поднялась на руках и крикнула:

— Ждут! У стога!

Лицо ее смертельно бледно. Нура встал, вгляделся и, усаживаясь, ответил:

— Его ход.

— Чей?

Нура пожал плечами.

— Плохо вижу, Василиса Глебовна. Кажись, мертвеца. Не разберешь: лунный столб.

— Сейчас разберемся. Гони! — кричит Василиса Глебовна.

— Гоню,— отвечаю я с величайшей готовностью.

Она пронзительно взвизгнула. Я ударил по коням.

Она загикала. В интонациях ее гиканья мне почудилось что-то знакомое, однако я не стал вслушиваться, а загикал сам, и кони наддали.

Заиграла, задымила казачья кровь!

— Гони! Всеволод, гони!

— Однако ты думай о конях,— тихо сказал мне Нура. — Никого нет. Она сходит с ума, как отец. Нам это к чему?

Меня трясло, руки и ноги мои ходили ходуном. Василиса Глебовна, широко раскрыв рот, тяжело дышала. И хотя голос ее был по-прежнему зычным, но все же в нем звучали слезы.

— Погоняй, пожалуйста!

— Будем гнать! Никто не догонит.

Я расставил локти и, бледнея, закричал высоким голосом:

— А-а-а!!

Крик мой подхватили на тарантасе и продолжали кричать с необычайным увлечением. В этом нашем совместном вопле слышался и волчий вой, пронзительный и заунывный, и крепкое конское ржание, как бы предсказывающее победу, и даже истошный хохот не то сумасшедшего, не то мертвецки пьяного человека. Ой, нехорошую шутку придумал Нура! Этак мы все мертвецами окажемся!

Тучи птиц поднялись из кустарников. На лугу стадо баранов ошеломленно кинулось в сторону. Дремавший табун коней насторожился, и высокий, стройный жеребец, трубою подняв хвост, побежал навстречу крику:

— А-а-а!!

Коренник прижал уши. Пристяжные тоже прижали и, как бы найдя в этом движении какую-то новую силу, припалегли! Показался мост. Быстро, горячо и отчетливо застучали копыта по доскам, и сразу же после этого стука кони так прибавили ходу, что тарантас на мгновенье как бы приподнялся на воздух, и Анастасия Николаевна завизжала в ужасе. Лицо Василисы Глебовны полно напряжения. Она сказала:

— Не кони важны — наездники! Хлещи на мою голову!

Я поднял было кнут, но затем, опуская, сказал:

— Хлестать? Выдохлись, смотрите — пошатываются.

— Скоро подстава!

— Да, кажется, за тем озером.

— Через озеро, по камышам! — слышится позади бешеный вопль Василисы Глебовны. — Лед молодой, выдержит.

— Ой, выдержит ли, хозяйка! Заморозок только начался,— бормочет Нура.

Ему, видно, не по себе. Шутка зашла слишком далеко.

— Подпруга, кажись, лопнула. Остановись.

Я остановил тарантас.

Нура возится с упряжкой, подтягивает подпругу. Кони дышат тяжело.

— Придется дальше шагом, сбруя еле держит,— говорит он. — Разбойники отстали. Да и поселок близко.

Мы медленно едем вдоль озера. В тарантасе молчание. Молчим и мы с Нурой.

Луг перед озером был покрыт отавой. Дул ветер. Выскакивал, как ошалелый, куст перекати-поля, сцеплялся с другим кустом и танцевал по отаве, а телеграфные провода как бы кричали: «Зима идет, зима идет!» И на душе моей было тоскливо.

ОТДЫХ НА СЕНОВАЛЕ

Тройки скакали прямым, но скверным трактом. До Арыси оставалось не более десяти верст. Гладкая луна стояла высоко. Была полночь. Анастасия Николаевна, наплакавшись и настрадавшись, заснула. Графушка щебетала гимназические сплетни, которые все еще не выветрились из ее памяти.

Около проселка, выходящего на тракт, нас остановил верховой в брезентовом дождевике с капюшоном.

— Повертон, хе-хе?

Анастасия Николаевна проснулась и быстро спросила:

— Салазкин?

— Он самый.

— Благополучно?

— А мои сто двадцать тысяч целы? — спросил Глеб Иваныч хрипло.

— Все, что приказано везть тайком, довезено,— ответил Салазкин, видимо очень довольный.

Опять обман! Салазкин, Малицын и Борис Глебыч, оказывается, давно опередили нас и ждут. А я-то, дурак, гадал: куда это они девались?

— Отец архимандрит? — спросил Калмыков.

— Тоже ждут, Глеб Иваныч.

— Куда же нам? — спросил я.

— А вон туда.

И вдруг в лунном столбе мы увидали купол большой белой юрты, увенчанной тоненьким крестом. По линии «Семиречки» «для удовлетворения духовных потребностей православного населения» существовали тогда особые передвижные юрты-церкви, принадлежащие главному стану Киргизской духовной миссии.

Вокруг этой юрты по снежно-белой солончаковой равнине были раскиданы наскоро сколоченные сараи, поставлены юрты поменьше. Вдали виднелась железнодорожная насыпь, и на ней верховые казаки с пиками. Возле юрты-церкви торчали какие-то тощие деревца без единого листика.

— Полночь — и в церковь?

— Пир перед престолом всевышнего,— ответил Салазкин, не оставивший пеструю выспренность выражений.

Анастасия Николаевна, забыв свои страхи, заохала по-другому:

— Господи! И утюг, наверное, не поставили? Подвенечное непременно надо выгладить. А я Клавку не взяла. Да вези, ты, вези быстрей,— закричала она мне. — А если не умеешь править, так не берись.

В юрту Глеба Ивановича перетаскивают чемоданы, баулы, кожаные мешки. Сколько мы везли, однако! Старик Калмыков уже возлежит в юрте на кошме. Перед ним круглый низенький стол с огромной лампой-«молнией». По столу расставлено угощенье. Старик не то что болен,— он размышляет. Возле юрты таинственно шепчутся и смущенно поглядывают. Голова!

— Неужто тут и свадьба? — зевая, спрашивает какая-то женщина с подойником в руках.

Другая, с граблями, отвечает:

— А где ж? В Ак-Таше-то по ихним окнам забастовщики стреляли.

— Ах ты, господи, страсти! А жених-то — басковой.

— Красивый, верно.

Я в волнении хожу среди сараев, вокруг юрт, сопровождаемый лающими собаками. Скотный двор, поправленный на зимнее время, сверкает свежей соломой, свежими жердями, которыми покрыта солома. Пахнет сеном и навозом. Я слышу знакомый голос. «Ну, конечно! Без него — какая свадьба?»

— Отец?

— Я.

— Откуда, как?

— Оттуда же, на китайских конях, одолжили,— и он добавляет шепотом: — Со Скурлатовым вместе прискакал на Колубинскую. Беда-то какая, Всеволод, ты б посмотрел, как Скурлатов изменился. Скомкало человека!

Он ждать не может. Схватив меня за руку, он идет к выходу в поле и тут, с силой размахивая руками, выпаливает все новости яростным голосом:

— Подлец Марович, ну, тот штейгер, что все еще с крепильщиком Сысоем дружил... Сысой-то просто-напросто оказался переодетым полицейским... Штейгер выдал рудник карателям. Кинулись они в штольню, нашли из-под винтовок только ящики. Ханыке, Чапе и сам Двуконь, не говоря уж о наших откатчиках, давно уже перетаскали оружие в горы, спрятали — на всякий случай. Каратели — следить! Идет Ханыке: им, внизу, патроны понадобились. «Стой!» Она — бежать. «Стой!» Еще кто-то бежит. Выстрел. Ханыке ранили, а Двуконя — почти наповал, он только и успел перед смертью вымолвить: «За что?»

— Где ж Ханыке?

— А дома, у своих.

Я опустился на бревно. Отец провел по моему лицу рукой. Вынул платок, вздохнул, вытер пальцы и еще раз вздохнул. Конечно, все это ужасно и поплакать стоит, но все-таки утешение, что Ханыке такая храбрая и стойкая. «Еле дышит от слабости, а услышала, что я уезжаю, попросила оставить какую-нибудь книжку: «Как только поправлюсь — опять за ученье».

И отец продолжал:

— А вот Мейстер — не герой. Услышал перестрелку, говорит: «Я дела южных и северных передаю помощнику, а сам возвращаюсь в Семипалатинск: мне газета «Степное слово» разрешена. Вы, Вячеслав Алексеич,

какие-то разоблачительные материалы относительно Калмыкова обещали?» А я ему: «Вы, извините, ослышались, Роберт Васильевич. Материалов у меня нет. Впрочем, в Семипалатинске увидимся».

— А разве ты в Семипалатинск?

— Мне-то, собственно, надо в Екатеринбург, на Урал, а тебе — в Самару, на Волгу. Семипалатинск на тот случай держу, что если окажется разгромленным Екатеринбург и некому будет напечатать наши документы.

Отец вдруг тихо рассмеялся. Я посмотрел на него с недоумением.

— А это на счет Нубии, сынок. Мы ее с собой привезли. Зачем? Отдашь, если не понадобится, кучеру Нуре. Он тоже, кажись, женится. На ком? А кто его знает! Мало ли на свете невест. Мне на всех свадьбах не пировать, добро если калмыковскую справим. Пойдем-ка отдохнем, пока там венчание устраивают.

Сеновал велик. Фонарь освещает прогнувшиеся толстые и сучковатые балки с черной поблескивавшей смолой, плотно уложенное сено на чердаке, пологий накат кровли, широкую лестницу вверх. Сильно пахнет конским потом.

— Это тулпар, так тулпар! — восхищенно кричит подвыпивший Борис Глебыч. — Как он скакал!

— Даже от Нубии не отставал, — бормочет мой отец.

Борис Глебыч, архимандрит Михаил и какие-то военные осматривают со всех сторон Сквозного. Нубии отец принес хлебные корочки. Он кормит ее, посматривая краем глаза на архимандрита. Архимандриту хочется подойти к моему отцу, но он стесняется: несториане покинули архимандрита, не простившись, и он рассматривает это как начало своего падения.

Борис Глебыч поглаживает Сквозного и обращается к Малицыну:

— Такой тулпар двести верст даст, и шерсть не вспенится.

— Киргизский конь, повторяю, лучший в мире, — вмешивается в разговор архимандрит, как-то уж чересчур поспешно. — Но мне пора, господа, облачаться.

Слышится голос Графушки: она зовет брата. Малицын и военные поспешно уходят. Борис Глебыч, еще раз погладивши по холке Сквозного, тоже уходит. Архимандрит все еще мнется, преодолевает свое стеснение. Его тяготят какие-то мысли, хочется поделиться ими с моим

отцом, но тут еще и я мешаю. Он приближается к нам, бормоча:

— Закаты, доложу вам, Вячеслав Алексеич, здесь страшные. Все небо горит несколько часов подряд! Восходы ничего, но закаты прямо-таки вопиют о смерти. И вообще я могу проповедовать в городе, но при этих закатах... — Он теряет течение мысли, берет моего отца за руку и говорит дрожащим голосом: — Приезжали отнюдь не фомисты или несториане, а черти. Воистину! Они не допустили открытия мощей, от них все спуталось, мощи скрылись, а я — венчай и проповедуй в степи! К тому ли вела меня стезя моя?! Конец, конец...

Качая в недоумении головой, архимандрит уходит.

Отец с сожалением глядит ему вслед.

— И ученый, и вроде умный, а гляди-ка ты, поскользнулся на руде Святой долины!

— Руда-то, говорят, с большой примесью золота.

— Слушай, Всеволод! — вдруг оживившись, спрашивает отец. — Ты такую поговорку знаешь: «Чердачная мышь — подпольной не сестра»?

— И что же?

Он берет меня за руку, тащит вверх по лестнице и, отбросив охапку сена, показывает на большую дыру, куда мы и залезаем. Сначала дышать тяжело, потом я привыкаю. Хочется спать, несмотря на то что сердце ноет и в грудь накатывается холод. Я не могу припомнить, сколько суток мы скакали сюда? Глаза слипаются. Из-за подкровелья вылезает огромная, с кота, мышь. Ах, эта та самая, чердачная, что не сестра подпольной?

— Спишь?

— Нет, что ты!

— А, спи. Я тебе расскажу попозже.

Двигаются, осторожно ступая сапогами. Ставят на пол два фонаря. По сараю ходит, раскачиваясь, тень Глеба Ивановича. Он что-то бормочет о своих пропавших ста двадцати тысячах, которые провалились в реку вместе с мостом. Воры, воры! Воры — и Николай Второй, и президент Юань Ши-кай, и тобольский епископ Варнава... На меня сильно мчится тройка. Извозчик Марцинкевич? Этот-то откуда?.. Тройка исчезает. Сквозь редкое сено видны тени беседующих: все Калмыковы, Графушка спит, охватив колени круглыми руками, и светят ярко-желтые три фонаря: один, подве-

шенный на деревянный крюк, рядом со сбруей, и два на полу. Наверное, холодно. Они ежатся. Входит Малицын, розовый, только что побритый, веселый. Борис Глебыч говорит ему о своих подозрениях. Саумал, кажется, сфотографировала военные документы. И фотографии исчезли. Малицын подтверждает. Да, военные смущены. На документах масляные отпечатки, а масло похоже на то, каким были смазаны задвижки красного фонаря, плохо действовавшие. И на сафьяновом бюваре, на замке и коже, где хранились документы о предполагаемом захвате Синьцзяня,— следы того же масла.

— Геммадинов рад меня утопить,— бормочет Глеб Иваныч.

Молчание. Кто-то скребется. Борис Глебыч раскрывает дверь, вбегает рыжий сеттер с непомерно длинными ушами. Сеттер лизнул сапог Борису Глебычу и отошел. Дальше в памяти моей пробел. Должно быть, я заснул, а проснувшись, увидел Василису Глебовну. Она причесана по-новому. Ах да! Чтоб удобнее возложить венец? А где же фата, платье, привезенное из Вены?

Она держит почему-то в руках деревянную коробочку колесной мази, осторожно постукивает по ней ноготками и говорит, что все это — вздор и чепуха! Зачем Саумал будет фотографировать документы? А если и сфотографировала, теперь уже поздно ее ловить.

— Вы, собственно, зачем меня сюда привели, князь?

— Не я, Борис Глебыч.

— Ты же сама велела нам остаться на Ак-Таше и последить за Саумал: почему она с вами отказалась ехать? Ее же ведь пригласили на свадьбу!

— Дурак ты, Борис, дурак. Нет чтоб ответить просто: я ничего не выследил и ничего не знаю. Спасибо, что приданое не ограбили. Разбойники гнались?

— Нет.

— Значит, они думали, что ценность у нас? И отлично. А наши возницы были убеждены, что мой жених сбежал, ха-ха!

Она смеется надо мной не очень громко и не очень весело. Так, во всяком случае, мне кажется. Василиса Глебовна при этом стоит, подбоченясь совсем по-казачьи. Лицо ее бледно, и в обоих глазах,— я могу побожиться,— блестит по капельке. Только по капельке, не больше!

Затем опять провал памяти. Погрузился, должно быть, в глубокий сон.

И вот я уже держу влажное грубое полотенце. У ног моих пустое ведро. Отец уносит мыло и возвращается. Мокрые кудри падают мне на лоб, прикрывая глаза.

ЮРТА-ЦЕРКОВЬ

Мы медленно бредем среди юрт, направляясь к церкви. Спешить нам некуда, есть не хочется, спать — того менее. Неподалеку снова закладывают экипаж, на облучке которого я недавно сидел.

— А ведь, вправду, торопятся?

— Через три часа — поезд из Ташкента на Петербург, курьерский.

В церкви-юрте молящихся никого нет. Дьячок зажигает свечи и раздувает кадило. Входит Малицын, шепчет что-то дьячку, и дьячок показывает на меня глазами.

— А я вас и не узнал, любезнейший,— говорит мне Малицын. — Я должен вас пригласить, по желанию невесты, шафером. Обязанность обыкновенная: поднимите над головой венец и подержите.

— Позвольте,— вмешивается мой отец. — Шафера не только держат венцы, но и управляют, того, свадебным пиром. Следовательно, мой сын приглашен в Петербург?

Князь улыбнулся.

— Само собой.

Малицын повернулся ко мне, дружески положил руки на плечи и сказал сердечно и мягко:

— А вы заметно похорошели. Давно я вас, голубчик, не видел.

— Да, с того времени, князь, как вас били в клубе.

Он и глазом не моргнул.

— Как же, как же, помню. Основательно меня пощипали тогда в Верном, верно? Ха-ха! Но я им позже отплатил. Если меня пощипали, то я потом — с живых шкуру содрал.

— И не били?

— Отнюдь! Слушайте, у меня к вам просьба. Мы с вами — близкие люди.

— Ближе, чем допустимо в порядочном обществе.

— Он мне положительно нравится! — И Малицын оглядел меня с восхищением. — И молод и дерзок. Итак, слушайте. Ваш отец прав. Вы едете с нами в Петербург.

— Меня усиленно приглашала туда ваша будущая жена.

— Кем?

— Боюсь — тем, кто недопустим в порядочном обществе.

Он раскрыл рот, подумал и засмеялся.

— Шулером? Но разве она играет в карты? Ха-ха! Шутки в сторону. Итак, мы прежде всего приглашаем вас шафером...

— Бесплатно?

— Он бесподобен! Кто же платит шаферам?

— В порядочном обществе, конечно, нет...

Он опять раскрыл свой красивый розовый рот. Мне стало жаль его, я замолчал. Он не был способен сердиться на меня, а может быть, его лишь забавляла моя мальчишеская злость. Он себя чувствовал превосходно. В голосе его слышалось приятное удивление. Ему кажется совершенно невероятным, что он венчается здесь, в этой кошемной юрте, посреди казахской степи. «А собственно, эта юрта гораздо богаче тех вонючих берестяных юрт, в которых жили и справляли свадебные пиры его предки, самоедские князьки», — думал я.

— Стало быть, согласны? — переспросил Малицын.

— Согласен, — ответил я.

Невеста, войдя в церковь-юрту, привычным движением оправила свое платье и, глядя на кошемные стены, брезгливо сказала:

— Блох здесь, наверное!

Это было так забавно, что я, несмотря на всю нелепость моего положения, улыбнулся. Невеста подняла на меня глаза и совершенно явственно подмигнула мне, а затем, глубоко вздохнув, с прекрасной улыбкой опустила голову, как бы подставляя ее под венец.

За стенами юрты кто-то, одетый, должно быть, очень легко, топтался и, стремясь согреться, бил себя ладонями по ляжкам.

Отовсюду сбегались любопытные. Спрашивали, в церкви ли невеста, пришел ли хор.

Борису Глебычу показалось, что свечи дают мало света. Принесли три лампы. Две из них потухли, а

третью дьячок доставил в порядке, защищая ее свет метрической книгой. И, глядя на этого озабоченного дьячка, я ни с того ни с сего вдруг повеселел, подумав: «Ну, наконец избавился!» А собственно, от чего избавился? От ее любви? Разве уж так она была навязчива? Ожидания, разочарования, воспоминания — все смешалось в моей голове. Захотелось услышать церковное пение.

Регент, толстогубый, бородатый, в старомодном сюртуке с бархатным воротником и в длинных лаковых сапогах, расставил хор возле крошечного клироса и стукнул камертоном по паникадилу. Из алтаря вышел облаченный в великолепную розово-бронзовую ризу архимандрит Михаил. Началось венчание. Мой отец подпевал тенорком. Перед тем как запеть, он шепнул мне:

— Разве неверующий может быть шафером?

— Это чтобы брак был неверным, — ответил я.

Холодный металл венца постепенно согревался моими руками. Венец оказался более тяжелым, чем я думал. Руки мои ведь все еще болели от вожжей!

Малицын был очень хорош собой. Но невеста без торжества и наслаждения глядела на жениха. Восхищение не залило ее лица румянцем. Перед самым обрядом Борис Глебыч вывел на несколько минут князя из юрты: князь должен был отдать какие-то срочные распоряжения относительно погрузки багажа — поезд ведь ждать не будет.

Именно тогда и пришла мне нелепая мысль: «Князь отказывается!» Я смотрел на невесту. Она его сейчас так не любила, что, задержись князь еще десять минут, скажи я, соври, что князь приказал ей выйти за меня, — она немедленно согласилась бы! И она побледнела, когда Малицын вернулся. Сожалеет, что не смогла доказать мне свою любовь? Признаться, в эти минуты я ненавидел ее.

Взгляд моего отца, бодрый и сосредоточенный, обвел всех присутствующих в церкви и остановился на невесте. Стройная, с выцветшими на солнце рыжевато-белокурыми волосами, темными бровями, впалыми щеками, загорелым лицом, Василиса Глебовна была одета, с точки зрения моего отца, безукоризненно. Он, крестясь, сказал в умилении:

— Хорошо! И народу рясно: негде пылинке упасть. Быть счастью.

Если счастье — капитал, то это еще неизвестно. Калмыковы, конечно, хитро «обвели» князя Малицына, тогда как тот думал, что «обводит» их. Тут все было пущено в ход: банковские махинации, демонические дамы, фотографии тайных документов, тулпары. Жаль только, не вовремя ввязался мост и началась забастовка. Но Калмыковы надеются, что Малицын распутает все это в петербургских сферах, куда явится с красавицей женой, тигроубийцей и мужеубийцей, может быть...

— Косо держит, косо! — прошептал кто-то испуганно позади меня.

Борис Глебыч толкнул меня в бок, и я выпрямил венец. «А почему все-таки она пригласила меня шафером? — подумал я со злостью. — А, понятно! Чтобы снять подозрение, будто она на самом деле любила меня, а не всего лишь дурила. Смеялась она, однако, не над Семипалатинском, а надо мной!»

Когда я подошел поздравить ее, она успела шепнуть, играя глазами:

— А почему не отшвырнул венец?

— Надо бы самой, — ответил я.

— Я — православная, а ты — атеист. И вообще, дорогой, с женщинами надо обращаться пояростней.

Я поклонился ей. Мне казалось, что кланяюсь я насмешливо и едко, однако явственно расслышал шепот:

— Когда сядешь в вагон, высунись: может быть — лежу на рельсах.

РАЗГОВОР КОНЯ И ВСАДНИКА

Мы вышли на дорогу, идущую вдоль насыпи «Семиречки». Отец передал мне повод уздечки. Мы остановились попрощаться, остановилась и Нубия.

— Вот так и пойдешь вдоль линии, — сказал мой отец с удовольствием, словно зарекшись из ненависти к Калмыкову никогда не показываться на железной дороге, — так и пойдешь и выйдешь прямо к Арыси.

Со стороны Арыси послышался отдаленный топот.

— Почта, — сказал мой отец с легким вздохом. — Она довезет меня до Верного, а там другой почтальон захватит до Семипалатинска. Вот я и в «Степном слове».

— А если почтальон не возьмет?

— Почему не взять? Меня здесь, поди, все знают. Кроме того, половина их — скурлатовцы.

Топот приближался. Обычная бодрость изменила моему отцу. Лицо его сморщилось, губы задрожали, на глазах показались крупные слезы.

— Что я делаю, что делаю! — воскликнул он. — Шляюсь по степям, других вожу, документы какие-то страшные вшиты в мундир...

Излияние это облегчило его тоску. К тому же с нами поравнялась почта. Почтальон, плотный, носатый, с пышной бородой, усыпанной семечками, сразу узнал и приютил отца. Он выбрал ему место потеплее, навалил в ноги сена.

— Сын, что ли? — спросил он басом, кивая на меня.

— Сын.

— По коню вижу. Если отец — безлошадный, сын непременно заведет себе коня, но, конечно, клячу. Прощайтесь, что ли, учителя.

Мы обнялись.

— Эх, и покачу я вас, господин учитель, — сказал почтальон с воодушевлением и смехом. — С радости: у меня вчерась жена родила.

Мой отец повеселевшим голосом сказал с вышины кожаных мешков:

— Прощай, сынок. Хотя ты богатырь и, возможно, дойдешь до Индии, а я — кляча, обыкновенная учительская кляча, но помни, что сила духа во мне все-таки имеется. Ты обо мне не горюй. Я буду жить хорошо.

И, увлеченный мелькнувшей мыслью о богатырях и Индии, он стал говорить:

— Богатыри, между прочим, очень плохо знали географию. Приезжает на перекресток и не может понять — куда же ему ехать? Направо, налево, прямо? Представь, выходишь ты к Арыси и обращаешься в окошечко кассы: «Дайте мне билет до города, где жить не страшно и где не существует смерти». Кассир только рассмеется. Так вот знай: направо — дорога в Петербург. Ты туда вряд ли будешь просить билет. Калмыковы несколько минут назад проехали мимо нас и скоро сядут в петербургский вагон. Гордость не позволит тебе бежать за ними. Прямо — такая же пустыня, по которой мы только что прошли и которая тебе вряд ли любопытна. Налево — Бухара, Афганистан и за ними — Индия. Что же, иди! Ты уже испытал все, что ждет тебя в Индии: голод, холод,

безработицу. Теперь тебе все это будет легче переносить. Ты кое-чему научился.

Почтальон торопил его. Мой отец, не слушая его, продолжал свою речь:

— Кстати, о богатырях. Русские богатыри плохо знали географию, но Индию, между прочим, они знали довольно хорошо. Они не только слышали о ней, но и часто ездили туда. Ты будешь не одинок. Богатырь Дюк Степанович, например, постоянно жил в Индии и, приезжая оттуда на Русь для богатырских подвигов, видимо, скучал по степи. Между прочим, слово «Степанович» не происходит ли от слова «степь»? Степанович. Этот Дюк Степанович был самым богатым из русских богатырей. Драгоценными камнями он украшал не только свою одежду, но даже свои стрелы! Сам Владимир, князь Киевский, мужчина не из бедных, и тот удивлялся Дюковым богатствам. Чтобы проверить похвальбу Дюка, Владимир посылает в Индию ученых оценщиков. Мать Дюка-богатыря ведет этих оценщиков в погреба и говорит им с гордостью:

Вы скажите-ка Солнышку-Владимиру,
Пусть продаст на бумагу весь Киев-град
На чернила продаст весь Чернигов-град,
А тожно посылат животишечки наши описывать.

— Пора, учитель!

— Отец, ты слышишь почтальона?

— Ничего, подождет. Я, дорогой мой, — обратился он к почтальону, — надолго прощаюсь со своим сыном. Он уходит в Индию. В неопубликованном списке былины о богатыре Волхе Всеславиче, который имеется у меня, поется о том, что Волх, позавидовав Дюкову богатству, пошел походом на Индию, причем предзнаменования уже при рождении Волха были большие.

Задрожала земля православная,
Затряслося царство Индийское.

Предзнаменования были не напрасны. Дюк-богатырь яростно вступился за Индийское царство. Волх, который не в состоянии был побороть его, прибег к помощи чародейской силы. Волшебник предательски убил Дюка. Армия дрогнула. Волх разорил Индию. Все доставшееся богатство он разделил между своей дружиной. Богатство это главным образом заключалось в скоте, из чего я вывожу, что русские представляли себе Индию степью, то есть путали ее с Семиречьем:

А коней, коров — табуном делил,
А на всякого брата — по сту тысячи!

И мой отец добавил:

— Будь же Дюком, а не Волхом. Прощай!

Тройка помчалась. Легкая и стройная тень моего отца долго маячила в свете лунного столба.

— Прощай-ай, сынок...

И еще, совсем издалека:

— ы... о... ы... ок...

Я шагал к Арыси. Грудь моя болела от рыданий. Я жалел себя безмерно.

Прошло немало с того момента, когда тарантасы наши свернули к церкви-юрте, но луна по-прежнему стояла высоко. А как много событий! Разговор, подслушанный на сеновале, свадьба, проводы, прощание с отцом, и вот я один иду по степи, пощупывая вшитые в тужурку бумаги, которые вскоре приобретут громкое имя «синьцзянского документа», вызовут огромную прессу, разорят Глеба Ивановича Калмыкова, заставят Василису развестись с Малицыным, прославят Мейстера как адвоката, который способствовал появлению документа, прекратят строительство «Семиречки», помогут Геммадинову разбогатеть и стать правой рукой эмира бухарского, а моему отцу, Скурлатову, Ханыке, Чапе, их детям, Нуре, Измайловым так и жить, как они жили, до поры до времени, конечно!

Из-за куста выскочил заяц, подпрыгнул, отряхнул лапки и не спеша побежал среди полыни к солончакам. Особенно резок был свет луны на этих солончаках. Кое-где среди солончаков горели ослепительные пятна света, словно земля светилась изнутри.

Я шел мимо большой лужи, откуда несло свежестью. Поднялась стая уток и с испуганным криком устремилась в лунное небо. Не очень-то весело, видно, туда лететь.

Красиво! Красиво, но и страшновато.

Плечи и руки мои по-прежнему ныли, и я жадно дышал этим воздухом пустыни, с нежностью вспоминая горы и реки, которые пришлось перейти мне. Лужа напомнила мне Балхаш и охоту на тигров.

Голова моя горела все больше и больше. Несколько бессонных ночей давали себя знать. Я мог бы ехать верхом на Нубии, но мне было противно и думать о ло-

шадях. «Отдам ее в цирк, — подумал я. — Цирк-то Коромыслова, кажется, в Арыси?»

В глазах мелькали синие огоньки, и казалось, что свет луны сгущается. Шум в ушах рос. Во рту я ощущал едкий вкус полыни, хотя и не пробовал брать ее в рот. Ноги мои еле двигались. Слышал я плохо, и мне казалось, что я не слышу шагов Нубии. Я оглянулся. Нубия насмешливо улыбалась. «Дожил! Брежу!» — подумал я с горечью.

— Нет, не бредишь, — послышался незнакомый и вместе с тем знакомый голос, — я действительно улыбаюсь.

Стараясь придать происходящему правдоподобный оттенок, я переменил насмешливый тон на простой и даже наивный:

— Чему же ты улыбаешься, Нубия? Ну, как все это, однако, странно! Нубия — это ведь страна в Африке. Как же может улыбаться целая страна?

— Не отвиливай. Слушай меня.

— Я слушаю.

Впрочем, если вдуматься, нет ничего удивительного в том, что Нубия заговорила. Помнится, мне захотелось прочесть Щепетникову «Холстомер». И я спросил его: «Веришь ты Льву Толстому?» Он ответил: «Лев Толстой — человек от евангелия». Я прочел ему «Холстомер». Щепетников выслушал повесть с большим вниманием, но сказал, что он недостаточно умен, чтобы понять это. И больше он уже не просил читать ему Толстого! Он обиделся на Льва Толстого, который снизошел до того, что понял язык лошади! Конь — раб, а с рабами не для чего разговаривать.

Во мне нет того врожденного чувства владыки земли, которое присуще многим людям, вроде Щепетникова. Я слушал Нубию внимательно. Ее голос монотонно звучал за моей спиной, то усыпляя меня, то возбуждая восторг, при котором я оборачивался к ней, гладил ее гриву, чесал за ухом или хлопал легонько по морде.

Нубия говорила:

— Весьма возможно, что тебе будет неприятно слушать мою речь. Еще бы! Ты так уверен, что заботился обо мне и что я полна благодарности. А между тем просмотри свои записки. В них описываются только тулпары, то есть те скакуны, которые покрывают расстояния дневной езды в то время, пока варится мясо. О, это необыкновенные лошади! Они готовы погибнуть, лишь

бы ты был доволен. А я? Я — кляча. Что я могу совершить благородного?

И Нубия продолжала:

— Пригляделся бы. Укладываясь спать в долине Упавших богов, ты уступил свое место на кошме ребятишкам, а сам лег поодаль возле камня. Обладай я голосом, я бы в самом начале нашего путешествия предупредила тебя, что нельзя ложиться возле камней. Впоследствии ты сам понял это. Но в тот вечер ты этого еще не знал и лег с такой же спокойной душой, как если б ложился в кровать.

Между тем под камнем спала змея. Встревоженная неприятным запахом человека, который они издавна не любят, она выползла и направилась к тебе. Я паслась вблизи, и, хотя была спутана и мне трудно было направить с точностью удары моих копыт, я встала на задние ноги — и раздавила змею.

Днем я вошла в муллушку и сожрала кара-курта, который гнездовал как раз в том самом месте, где ты ночью сидел и обнимался с этой отвратительной, поношенной бабой, о которой ты теперь так вздыхаешь.

Но ты и тогда ничего не заметил и по-прежнему плохо заботился обо мне!

Возле той же самой муллушки, о которой я сейчас говорила, на меня напали волки в то самое время, когда ты, совсем забыв обо мне, уехал охотиться на тигров. Эх ты, тигрятник! Чувствуя волков, я хотела спрятаться в табуне. Но табун мчался быстрее меня, я отстала, а собаки не защищали меня. Для собак я была чужой лошадью, и они, пожалуй, предпочли бы, чтоб волки загрызли меня. Тогда собакам, быть может, тоже кое-что перепало бы. Короче говоря, я отбилась от волков только лишь потому, что мое испуганное ржание услышал Скурлатов, который шел с Рыжиком.

Обо мне помнили и заботились главным образом ребятишки, о которых ты в своих записках написал меньше, чем, скажем, о тулпарах Рыжике и Сквозном. По правде сказать, ты преувеличиваешь резвость этих тулпаров. Почему бы тебе, например, не указать точную скорость их бега? Беллетристика не терпит цифр? Неправда. Твои записки о землепользовании в Семиречье в изобилии снабжены подробными данными и совершенно точными цифрами.

Мы идем в Индию! Ха-ха! Глупый ты, глупый!

А известно ли тебе, как уважают и любят животных в Индии? Ты должен был научиться этому уважению, прежде чем идти в Индию. Вот в чем твое горе, а вовсе не в том, что какая-то шальная баба вышла замуж за не менее шального князька и уехала в Петербург.

Ты не попал в Индию и не попадешь потому, что к животным ты относился хуже, чем к ним относятся там. А ты ведь шел туда не с тем, чтобы учиться, а с тем, чтобы учить!

Ты чересчур честолюбив. Ты притворяешься скромным, и, когда тебя называют поэтом, ты отрицаешь это. А между тем ты глубоко убежден, что ты с ног до головы наполнен поэзией, и так как человечество двинуто вперед искусством, то и ты мечтаешь, что тоже двинешь его. Искусством?! Какое заблуждение! Особенно старательно об этом писал Шлегель. Но подумали ли вы, многого ли добилась вся ваша цивилизация, кабы не мы, лошади? Вот кто двинул вперед человечество! Пирамиды, готика, Петербург, Пекин, Париж, Афины и вот эти развалины, которые были когда-то прекрасными городами, развалины, мимо которых мы проходим, бросив на них ленивый взгляд,— все это было построено когда-то при помощи лошадей. Мы везли камни с тех вон гор, которых, впрочем, мы теперь не видим и которые остались далеко позади нас, мы везли дерево, мы везли руды, помогали плавить железо, пахали вам землю.

Лошади! Одна из них кормила тебя в Семиречье! Она волокла на себе, в чудовищную жару и безводье, твое жалкое пропитание, без которого, однако, ты бы давно погиб. Она заботилась о тебе, она — кляча, потому что ты — сам кляча, а не тулпар, как ты воображаешь.

Но, увы, твои записки, кажется, будут последними записками о конях. Золотой век наш кончился. Так когда-нибудь кончится и золотой век людей. И вас самих истребят какие-нибудь термиты или муравьи, как вы истребили коней.

— Ну, знаешь! Это уже чересчур! — воскликнул я.

Нубия возразила:

— Золотой век! Для меня он отнюдь не был золотым, но я его продолжаю называть так потому, что люблю жизнь и считаю, что она золотая при всяких страданиях. Впрочем, ты мог бы кое-что изменить в моей

страдальческой жизни, сделать мой век подлинно золотым, но ты и не подумал. И точно так же когда-нибудь последний человек с грустью будет говорить термиту вот это же самое, упрекать его, что тот не удостоил его своим вниманием. Термит будет улыбаться так же, как улыбаешься ты.

Боже мой, пройти две тысячи верст среди изумительной природы, среди талантливейших людей и, вспоминая этих людей, не припомнить ни одной ласки, ни одного калача! А ты мог бы угостить меня целой дюжиной!

Я сказал в возмущении:

— Дюжиной?! Ну, это безобразие! Ты отлично знаешь, что и сам-то я не едал калачей, да еще целиком!

— А я ведь помогала тебе, спасала...

— Не было у меня калачей, не было!.. И вообще, давай прекратим этот нелепый разговор. Мне кажется, я брежу. А мне надо быть в твердом уме, так как я должен купить билеты до Самары, а денег у меня, кажется, не хватит. Кроме того, куда я тебя дену, Нубия?

— А почему — билет до Самары? Это же в противоположной стороне от Бухары, а значит, и Индии.

Я солгал:

— Мне, видишь ли, только сейчас стало известно, что заграничный паспорт стоит двадцать пять рублей, а у меня и пятерки нет. Откуда я достану четвертной билет?

— Об этом, дорогой мой хозяин, надо было думать раньше. Только, знаешь, я тебе не верю. Хитришь ты, по своему обыкновению. Позор! Пройти сотни верст, хвастаться, что идешь в Индию, и вдруг, когда Ташкент и Бухара рядом, поворачивать к Самаре! Тогда я, я одна уйду в Индию, слышишь?

— Без всадника?

— Был бы конь, а всадники найдутся.

Всем, конечно, понятно, что от крайнего переутомления, от пережитых в последние дни тревог я находился в полубреду, принимая собственные лихорадочные мысли за речи Нубии, милого моего коня.

Впрочем, диалог этот имеет свой смысл, почему я его и привожу здесь. Он до какой-то степени подводит итоги всему мною пережитому и ведет меня к тем выводам, которые я вскоре сделал.

— Что у вас тут, тетенька, на Арыси-то происходит?

— Да свадьбы, прохожий, свадьбы.

— Калмыковская, что ли?

— Эка! Калмыковы-то давно в Питер с курьерским укатили.

Я вспомнил шепот: «Когда сядешь в вагон, высунись: может быть, лежу на рельсах». Еще неизвестно, попаду ли в вагон, а на рельсы кто мне мешает глядеть? Я и поглядел.

Никого.

Изможденный, еле передвигая усталые ноги, иду станционным поселком между тополей, лиловато-синих в этот ранний утренний час. Мычат коровы. Бабы, зевая, звенят подойниками; на станции гулким паром дышит паровоз: «Ук-ук!» Сыплется мелкий мокрый снег.

А двери трактира — настежь! Оттуда слышится неистовый гам, песни, топот. Гуляет Арысь! Позвольте, а это?

У коновязи пустые калмыковские тарантасы. Как они страшно огромны в этой розоватой мгле, под этим сыплющимся снегом! Их кузова закрывают лошадей, только слабо поблескивают лакированные, золоченые дуги да звякнет иногда шаркунец.

На крыльце трактира, широком, тяжелом, точно вылитом из бронзы, раскачивается мертвецки пьяный Салазкин. Половые, безразлично вежливые, вяло держат его под руки.

— Эй ты, повертон! — кричит он мне. — Подворачивай!

К крыльцу, волоча ногу в стоптанном сапоге, подходит пастух. Он тупо жует хлеб, запивая его молоком из крынки. Бич тащится за ним. Позади, еле поспевая за отцом, идет маленькая девочка: мамка, должно быть, велела принести ей обратно крынку. Лицо у нее такое же несчастное и тупое, как и у отца, и даже прихрамывает она так же. Я спрашиваю пастуха:

— Чем тебе ногу-то повредили?

— А колом.

— Где?

— А здеся, на площади. Забастовщиков хвалил.

И он, передавая крынку девочке, сказал тонким певучим голосом:

— Отнеси мамке.

Сколько нежности в этом слове: «мамка»! Как видно, он сильно любит ее! А сколько вынес страданий! Неожиданно открывшееся сердце пастуха радует меня, гонит дремоту и усталость, мне не хочется с ним расставаться.

— Как зовут-то?

— Петро.

— Демонстрация сочувствующих «Семиречке», что ли, была?

— Ага.

Салазкин кричит:

— Агитатор! Разойдись! Полиция!

— Тьфу ты, пьяная рожа, провались!

Между трактиром и станцией — черная, густо унавоженная площадь. На станции нет огней, а шагах в десяти от меня — ярко освещенный дом. Оттуда медленно идут две фигуры. Обе они мне знакомы, но я не могу припомнить, кто это. Я указываю на освещенный дом и спрашиваю у пастуха:

— А там кто поет?

— Поляк, — отвечает пастух.

— Почему?

— Свадьбы, что ли, справляет. Ну вы, шеина! — закричал он на проходившее стадо и так сильно щелкнул бичом, что не только вздрогнул я, но и он сам.

А Салазкин захохотал нелепо, точно спросонья:

— Ха-ха! Подворачивай, агитатор, сюда.

Надо бы зайти в трактир, выпить стакан горячего чаю, но чувствую — зайду, облокочусь на стол и засну. А спать нельзя: спешу на перрон, хотя — зачем? Никто не ждет меня, и я никого не жду. Ах да, цирк!

— Здрасьте! И не отвечает! — изумляется Салазкин. — Угощаю. Где отец? Сам куда направляешься?

Крикнуть бы половым: «Водки, пива!» Но язык плохо повинуется Салазкину, и, кроме того, им овладевает пьяная прозорливость, — он чувствует, что мне хочется чаю, и он говорит половым:

— Чаю!

Половые полунасмешливо, полусонно выносят большой жестяный поднос и на нем маленький одинокий желтый стакан.

— Пей?

Я пью. Салазкин, забыв, чем угощает меня, уже уверен, что я пью водку, и он изумляется:

— Могуч лакать!

И делится со мной своими думами:

— Повертон! Кути, ребята! Все равно сдохнем!

Ветер треплет его рубаху, обнажая живот, желтый, колыхающийся, в складках. Что за противная у него, однако, рожа!

— Пан Всеволод, здравствуй! — слышу я знакомый голос.

— Он, он, ахтер неумытый!

Боже мой, извозчики: пан Марцинкевич и Кузя!

— Откуда вы, други?

— Как откуда? — кричит Кузя, обнимая меня. — Да я же тебе письмо показывал, забыл? Ты думаешь, я шучу любовью?

— А я тоже ничем не шучу,— говорит сильно выпивший пан Марцинкевич.— Я вам написал. Я приехал.

Он стоит, прислонившись к коповязи, выпятив грудь, отставив ногу, довольный мной и собой. Приняв мой поцелуй, он разглаживает усы с подусниками и, в свою очередь, крепко обнимает меня. Объятие его довольно продолжительно. Марцинкевич покрывает поцелуями мое лицо, берет мои руки, прикладывает их к своим щекам, — щеки его мокры от слез.

— Как хорошо! Знает ли пан Всеволод, что сегодня у меня две свадьбы? Вот как! Первый жених — купец Смолин. Тот самый курганский купец, который кутил, любил певчих, разорился, а узнав об отъезде Стефы, почувствовал, что не может жить без нее, приехал сюда с нами, превратился в извозчика и, похоже, разжился. Извозчикам нынче счастье. И второй жених, хоть и не такой удачливый, Кузя...

— Наш Кузя?

— Наш, наш! — обрадованно кричит Марцинкевич.

— Все наши здесь! И цирк, наверно, на свадьбе?

— Цирка нету,— скорбно поникнув головой, отвечает Марцинкевич.— Там хоть и лошади, но цирку не повезло: уехал в Омск. При моей помощи, пан Всеволод. Я ни на что не намекаю. Я благодарен вам, пан Всеволод, и готов с радостью одолжить и вам денег, если нуждаетесь. Почему благодарен? Помните, вы написали мне из Семипалатинска, что вы ушли в Индию. Ого, думаю! Зачем ему идти по степям, если есть железная дорога? Коммерция. А я — хуже? На строящейся желез-

ной дороге всегда можно заработать. Дела в Кургане были плохи, я продаю коней, беру племянниц и через Екатеринбург, Самару, Оренбург — сюда! Он идет в Индию? Замечательно! Он придет в нее. Правда, племянницы мои вас не дождались, но вы пришли в Индию с моей помощью, и с вас магарыч!

— Я пришел в Индию? Как так?

— Да вот же она, Индия!

Я шел вслед за Марцинкевичем и Кузей через всю площадь, наклонив голову и думая о Кургане. Марцинкевич уже не в силах перекрывать своим голосом песню и пляску. Да, богатая свадьба! А песня знакомая. Она — старинная и составлена донцами, когда они шли при Павле Первом в Индию. Припев у нее лихой:

Ин-де — ты! Ин-де — я!
Индия, Индия,
Голубая Индия!

Я поднимаю голову на звуки припева.

Прямо в упор па меня глядит жестяная, желтым по черному вывеска: *«Постоялый двор и номера для проезжающих «Индия» Марцинкевича».*

— В вашу честь, пан Всеволод, ха-ха, назвал. Куда вы, пан Всеволод? Молодые вас ждут попотчевать...

— Да, да... Мы сейчас вернемся.

Кузя шепчет:

— Скорее, Варетникову ты нужен.

— Я?

— А как же. Билет куплен. Варетников тебя провожает до самой Самары. Скорее, ахтер, скорее...

Снег падает чаще и гуще, тот самый мокрый снег «слепуха», который набивается в шерсть скота, застывает там, и скот, как бы покрывшись ледяной броней, не может двигаться и гибнет. Сейчас осень, и «слепуха» не так страшна, но зимой она ужасна.

— И много, Кузя, останавливается?

— Где?

— Да на постоялом, в «Индии?» Чýдное название.

— Чего чýдного? Что «Тула», что «Индия», лишь бы клопов не было, ха-ха!

— Нубию примешь?

— Приму, друг, приму.

Идут мимо, мягко и четко выделяясь на фоне белого, слегка розоватого вокзала, тускло-багровые вагоны,

биткoм набитые хлопком. Но это не тот поезд, который нам нужен. И мы кружим по станции.

— Только бы Салазкин не подпортил, — бормочет Кузя, — сыщик, подлец. Он донес бы, да подпоили мы его. Но ты не беспокойся, ахтер, сказали: доставим в Самару, значит — доставим! Ах, милый ты мой, давно я тебя не обнимал! Помнишь буран? Вот не думал, не гадал, что через тебя буду счастлив!

Кузя слегка выпил на свадьбе. Глаза его наивно и добродушно блестят и голос протяжен. Он рад, что все устроилось хорошо и что устроил это он, Кузя, и его друзья.

Его возбужденье и восторг передаются и мне. С какой-то новой и нежной любовью я гляжу на вокзал, на водокачку, на эти рельсы, что уходят бесстрашно в пески. Рельсы эти можно сравнить со струнами, с саблями, с серебряными нитями, а скорее всего — это лестница к счастью! И сейчас, утром, она такой красоты, что, наверное, нет ей равной на земле.

По краям рельс и между маслянистых шпал лежит легкий серебристый снежок. Солнце позолотило отполированную поверхность рельс, и они идут прямо, не сворачивая. Это символ человеческой воли и упрямства, символ того, что человек идет к счастью — и дойдет! Правда, их не очень-то замечают, а все больше смотрят на нарядные вагоны, особенно на те, которые направляются к Бухаре и в которых много иностранцев. Но это ничего не значит, все истинно великое достигает славы!

— Никак наш? — шепчет Кузя.

Паровоз долго кричит у семафора, телеграфист бежит по перрону, помощник начальника станции, в ночных туфлях, тоже куда-то спешит. Выходит и станционный жандарм, рослый, усатый, зубастый детина. Он смотрит в другую сторону: оказывается, ждут пассажирский из Петербурга. Ждут долго и, не дождавшись, успокаиваются, станция пустеет, и подходит «наш», груженный хлопком. Вагоны ободранные, щелястые, гремящие и на редкость захолустные. Подхожу к крайнему и стучу в большую дверь.

Высовывается потная курчавая голова Васьки Варетникова.

— Ахтер?

— Я.

— Лезь.

В вагоне жарко, хоть парься. Поезд ночью стоял недалеко от брошенной мельницы. Васька притащил грубый, старый жернов вместе с громадными железными обручами. Потом он добыл кирпичей, положил железный лист на жернов, окружил его кирпичами, соорудил незамысловатую трубу, вывел ее в окошко — и печь готова.

— А то ведь на Урале будет нам холодно.

— Вагон до Оренбурга.

— Ничего, и дальше пойдет. Я твой помощник. Мы добьемся! А в случае обыска — прятаться под жернов!

В дверь стучат. Входит Кузя. Мы прощаемся, Кузя торопится: Нубия привязана у трактира, как бы не увели! Мы хохочем. Пахнет сосновой щепой, каменным углем, давно не мытой одеждой, плохо пропеченным, кислым хлебом. Васька кладет на потухший очаг прожженный и вылезший тулуп.

— Ложись рядом, ахтер, места хватит.

— Я подожду.

— Чего ждать? Полицию? Удрали мы. Проснемся аж в Самаре. Спи.

И Васька мгновенно засыпает.

Индия, значит, тю-тю! Ну что же, жизнь длинна, дороги остаются, авось попадем в другой раз.

Мелькает станция, палисадник, будка с кипятком. Между будкой и водокачкой виден край постоялого двора и даже его вывеска: «Индия». Марцинкевич, стало быть, ждал меня? И Зося и Стефа — тоже? Ну, дай бог им счастья. Свадебных огней, конечно, нет, но песня «Ин-де — ты, ин-де — я!» все еще слышится. Мне приятно слышать ее. На потолке вагона отражаются соседние рельсы. Розовый свет падает на спящие лица: мы едем мимо платформ, груженных кирпичом. Вагон, качаясь и дрожа, двигается быстрее и быстрее. Какой сейчас месяц? Конец октября, кажется? И я с наслаждением думаю, что скоро увижу Оренбург, Самару, Волгу, снежную Россию. Слезу где-нибудь у Волги, — прямо по горло в снег! Ах, как хорошо! Я захлопываю дверь и ложусь рядом с Васькой под его мягкий, теплый и приятно пахнущий тулуп.

Индия, пока прощай!

Март 1956 г. — февраль 1959 г.
Переделкино.

КОММЕНТАРИИ

В седьмом томе собрания сочинений печатается роман «Мы идем в Индию», представляющий творчество Вс. Иванова второй половины 50-х — начала 60-х годов. Это период интенсивного труда писателя. Он завершает работу над циклом «Фантастические или «таинственные» повести и рассказы» и произведениями, с ним связанными: в 1956 году рождаются новые редакции отдельных рассказов цикла, в 60-е годы Вс. Иванов пишет очередной вариант романа «Вулкан» (см. комментарии к 5-му тому нашего собрания сочинений), в 50—60-е годы создает несколько вариантов романа — «Сокровища Александра Македонского», так и оставшегося незавершенным (см. комментарии к 6-му тому нашего собр. соч.).

Во второй половине 50-х и начале 60-х годов Вс. Иванов много ездит по стране, прежде всего по Сибири и Казахстану. Один из его друзей — спутников по поездкам Ц. Б. Бадмаев пишет: «Думаю, не ошибусь, если скажу, что в последние годы своей жизни Всеволод Иванов жил Сибирью. Сам сибиряк, он находил все новые и новые места, интересные своим прошлым, настоящим и будущим» («Всеволод Иванов — писатель и человек. Воспоминания современников», изд. 2-е, доп. М., «Советский писатель», 1975, с. 290).

Из впечатлений от поездок рождались статьи и очерки. Задумывал писатель и большое художественное произведение о Сибири. В интервью 1958 года Вс. Иванов сообщал: «Пишу роман из современной жизни Сибири. Дореволюционную Сибирь я знал очень хорошо, поскольку был участником многих событий времен гражданской войны 〈...〉 А чтобы пополнить свои впечатления о сегодняшней Сибири, побывал на Братской ГЭС, на Ангаре, в Ангаро-Илимской тайге, на Лене, на Байкале. В этом году опять думаю поездить по Восточной Сибири, где у меня уже немало друзей.

В центре романа, над которым я работаю, — он называется «Покорение Сибири» — судьба коренной рабочей семьи сибиряков» («Что читать», 1958, № 9, с. 2).

В 1961 году Вс. Иванов сообщал в печати о работе над романом «Художник» (другое название «Индия Всепетая»), действие которого

должно было развертываться в Восточной Сибири, в старой и новой Москве, в зарубежных странах, где побывал в эти годы писатель. Известно также, что Вс. Иванов работал в последние годы жизни над сценарием «Сибиряки».

Наконец современная Сибирь предстала в самой последней книге писателя — «Хмель, или Навстречу осенним птицам» (1962).

На очередном витке сложной творческой эволюции (50-е годы) Вс. Иванов вновь обратился к своему прошлому путешественника и факира, которому посвящены многие его рассказы и роман «Похождения факира» (1934—1935).

Почему двадцать лет спустя после создания романа «Похождения факира» писателя повлекло к воссозданию давних впечатлений? Этот вопрос задавал себе Вс. Иванов и сам же отвечал на него: «Я не вижу в этом ничего особенного. Один и тот же писатель может описывать все ступени жизни, как, например, мог это делать Бальзак. Но для этого нужно обладать исключительным глазом и большой наблюдательной способностью. Другой живет воспоминаниями и возвращается к ним очень часто, разглядывая их то с одной стороны, то с другой» (Архив Вс. Иванова).

На волне воспоминаний, атаковавших Вс. Иванова в 50-е годы, родился роман «Мы идем в Индию» (1956—1959), а вслед за ним (1959) новый вариант романа 30-х годов «Похождения факира», который так далеко отстоит от своего «первоисточника», что воспринимается как новая книга писателя (опубликован: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 6. М., Гослитиздат, 1960).

Принятые условные обозначения: «Всеволод Иванов — писатель и человек. Воспоминания современников, изд. 2-е, доп.». М., «Советский писатель», 1975 — «Всеволод Иванов — писатель и человек».

Мы идем в Индию — впервые журнал «Советский Казахстан» (Алма-Ата), 1956, №№ 8—12, одновременно в сокращении — журнал «Свет над Байкалом» (Улан-Удэ), 1956, №№ 4, 5, 6 (июль — декабрь), 1957, №№ 1, 2. Отрывки: «Литературная газета», 1955, 15 окт.; «Казахстанская правда», 1956, 24 июня; «Вечерняя Москва», 1956, 31 окт.; «Правда», 1957, 9 июня; «Комсомольская правда», 1957, 26 сент.

Первое отдельное издание: Вс. Иванов. Мы идем в Индию. М., «Сов. писатель», 1960.

Решение написать роман «Мы идем в Индию» вызрело на пересечении новых жизненных впечатлений Вс. Иванова и активизировавшихся именно в 50-е годы его давних творческих замыслов.

В 1948 году Вс. Иванов после более чем 20-летнего перерыва вновь поехал в родной Казахстан. После поездки родилась книга очерков «Летом 1948-го года» (1949).

Но ожившие воспоминания о юношеском путешествии по Сибири не тускнели и вскоре были мобилизованы.

В архиве Вс. Иванова (черновики «Истории моих книг») сохранилась такая запись 50-х годов: «Долгие годы, прожитые мной, ставили передо мною подведение некоторых литературных итогов. Нужно было закончить те вещи, которые печатались и не были окончены ⟨...⟩ И в первую очередь должен быть закончен цикл романов под общим названием «Похождения факира».

Роман «Мы идем в Индию», к написанию которого Вс. Иванов приступил в 1955 году, и должен был стать продолжением и вернее всего завершением книги «Похождения факира». Первая редакция романа «Мы идем в Индию» имела подзаголовок «Четвертая книга «Похождений факира», что подчеркивало его прямую связь с романом, написанным в 1934—1935 годах.

Новая книга «Похождений факира» должна была по замыслу автора осветить один этап похода в Индию, выпавший из описания его в романе 30-х годов. «Зимой 1912 года в поисках работы я попал в Семипалатинск. Работы не нашлось, я затосковал, казалось, что я слаб, безволен. И вот, начитавшись приключенческих романов, я решил отправиться не более не менее как в Индию — искать воли и счастья! Ко мне присоединились товарищи. Иногда среди нас появлялся мой отец.

⟨...⟩ Мы шли по тракту приблизительно в тех местах, где пролегает теперешний Турксиб, зиму, лето и осень, пока, наконец, добрались до станции Арысь, откуда я поехал в Ташкент, а затем в Бухару.

Впрочем, вместо Индии я угодил на Урал» («История моих книг»).

Вс. Иванов обратился к «тщательному изучению трудов по истории края», через который пролег путь героя: «1913 год! Волнение переселенцев, захват казной казахских земель и передача их кулакам — семиреченским казакам, разбойничьи действия банков, мошенническая постройка «Семиречки», забастовка на этом строительстве, забастовка на свинцовых рудниках,— сколько я видел, сколько прочел, сколько вспомнил и хорошего и дурного» («История моих книг»).

В библиотеке Вс. Иванова есть книги, которые он изучал в период написания романа «Мы идем в Индию» (на них сохранились следы работы: подчеркивания, знаки на полях). Назовем некоторые из них: В. Ф. Караваев. Голодная степь в ее прошлом и настоящем. Пг., 1914; В. А. Васильев. Семиреченская область как колония и роль в ней Чуйской долины. Пг., 1915; «Россия» — под ред.

В. П. Семенова-Тян-Шанского, т. XVIII, СПб., 1903; т. XIX, СПб., 1913; «Военная энциклопедия», Пб., 1913 и др.

По мере работы над романом «Мы идем в Индию» Вс. Иванов все отчетливее понимал, что эта четвертая книга «Похождений факира» («Мы идем в Индию») механически не может быть соединена с тремя предшествующими («Факир подходит к цирку», «Факир обходит цирк», «Факир входит в цирк»), написанными 20 лет назад.

В черновиках «Истории моих книг» есть такая запись: «Роман «Мы идем в Индию» — две последних, заключительных части «Похождений факира»,— имеет, как и каждая работа, конечно, свои погрешности и несовершенства. Конструкция его, пожалуй, громоздка вследствие того, что действующих лиц чересчур много. Но едва ли кто упрекнет меня, тем более я сам, что картина социальных потрясений, которую я пытаюсь нарисовать в романе, недостаточно широка. Более того, я думаю, что эта большая картина позволяет мне вторую и третью часть «Похождений факира» исправить так, чтобы части эти были подготовительными для последующих частей, не находясь с ними в резкой противоположности» (Архив Вс. Иванова). В процессе работы возникло решение создать новое единство — цикл из трех романов: «Балаганы», «Мы идем в Индию», «Золотая баба». Как можно понять из архивной записи, в основу романа «Балаганы» предполагалось положить 1-ю и 2-ю части «Похождений факира» 1934—1935 годов, в основу «Золотой бабы» — 3-ю часть. Заново писался роман «Мы идем в Индию». Все три романа, как задумывал писатель, должна была пронизывать одна общая мысль о сложности становления человека искусства. Черновые заметки к «Истории моих книг» донесли до нас такое размышление писателя: «Мне казалось, что занятия искусством и способ, как человек учится, не менее почтно, чем что-либо другое. В «Утраченных иллюзиях» деньги мешают человеку заняться искусством. Может быть, мешало и то, что в конце концов круг его наблюдений был очень ограничен. Молодой человек двадцатого века знает больше, видит больше, чем молодой человек девятнадцатого века. И хотя я не намерен был показывать торжество искусства моего молодого человека, обширное наблюдение, встречи с громадным количеством людей покажут читателю, что он способен одержать победу и иллюзий своих не утеряет, а воплотит.

Кроме того, его путь к искусству тоже покажет, что он вышел на правильную дорогу.

Поэтому роман имеет три части.

В первой части, когда молодой человек бродит вокруг балаганов — этот роман так и называется «Балаганы»,— стремление к искусству еще очень бесформенно. В конце романа молодому человеку кажется, что здесь, в Западной Сибири, он не воспитает своей

воли, а ему нужно идти в Индию, чтобы там, у факиров, научиться силе воли. Конечно, в Индии он не останется, а вернется оттуда преисполненный сил.

Второй роман «Мы идем в Индию» именно рассказывает об этом пути, где молодой человек набирается впечатлений. Он не думает во время этого пути об искусстве или, вернее сказать, думает об этом очень мало. Не забудьте, что уже в «Рогульках» я описывал в рассказе «Шантрапа» одну небольшую часть этого моего похода в Индию.

И наконец, третий роман «Золотая баба». Здесь описывается моя жизнь в Екатеринбурге, очень тогда богатом промышленном городе Урала. Сталкиваясь здесь с людьми промышленности как на изумрудных копях, так и в доме промышленника, мой молодой человек начинает понимать, что такое поэзия, проза и вообще понятие мастерства. Но мало понять необходимость мастерства, нужно уметь воспитывать его. Сначала кажется, что ты все знаешь и умеешь. Затем — ничего не знаешь и не умеешь. И наконец, приходит главное понимание мастерства — ты знаешь кое-что. И вот к этому «кое-что» ты начинаешь прибавлять по крупинке, и каждая эта крупинка достается тебе с большим трудом» (Архив Вс. Иванова).

Четкий и интересный замысел трилогии остался нереализованным. И, видимо, предчувствие этого посещало Вс. Иванова еще в период работы над «Мы идем в Индию»: он снял в журнальной публикации («Советский Казахстан») подзаголовок «Новая книга «Похождений факира». Вслед за «Мы идем в Индию» на основе 1-й и 2-й частей «Похождений факира» 1934—1935 годов был написан новый роман (в рукописи «Балаганы»). Но появилось это произведение в 1959 году под заглавием «Похождения факира», зафиксировав в самом заглавии уже окончательный отказ Вс. Иванова от создания трилогии. Последний роман цикла «Золотая баба» так и не был написан.

Можно предположить, что в работе над циклом Вс. Иванова остановила опасность самоповторения. Она заявила о себе уже при написании нового варианта романа «Похождения факира» (1959); многие мотивы, персонажи его перекликаются с теми, что были представлены в «Мы идем в Индию» (см. комментарии к 4-му тому нашего собр. соч.).

Работа Вс. Иванова над текстом романа «Мы идем в Индию» охватывает около четырех лет (1955 — начало 1959-го). Все ее этапы запечатлены в многочисленных черновых рукописях (ГБЛ СССР им. В. И. Ленина, Рукописный отдел, ф. 673). Изучение этого гро-

мадного массива (более 40 папок) позволяет установить основные этапы работы писателя над романом.

Первоначальная редакция текста может быть приблизительно датирована 1955 годом. Она сохранилась неполностью, в виде машинописи с правкой автора, и, вернее всего, не была до конца дописана (наиболее цельно представлены первые главы, далее следуют лишь наметки, планы...). Этот текст рождался как четвертая часть «Похождений факира», написанных в 1934—1935 годах: в нем фигурировали герои предшествующих частей: Алешка Жулистов, Гриша Заботин и др. С самого начала было запланировано дать историю о «судьбе треножника Пифии, жрицы оракула Дельфийского...», которая была объявлена в анонсе к роману «Похождения факира» (1934—1935), но так и не дана ни в одном из трех его частей. Основное внимание в первых главах уделялось семье богача Калмыкова, обстоятельным многосторонним характеристикам членов этой семьи (самого капиталиста, его дочерей, сына), отношениям Калмыкова с его деловыми партнерами (Аралбаевым, Геммадиновым и др.).

Обдумывалась также самая заключительная часть похода героя и его отца в Индию — посещение Бухары, не вошедшая в окончательный текст романа.

На основе первоначальной возникла полная и законченная вторая редакция романа (завершена в марте 1956 г.), которая может быть названа журнальной, поскольку именно в этой редакции роман был опубликован в журнале «Советский Казахстан». В этой же редакции был переведен на чешский язык и вышел отдельной книгой в Праге в 1958 году.

В 1958—1959 годах Вс. Иванов готовил роман «Мы идем в Индию» для отдельного издания в издательстве «Советский писатель». В процессе этой подготовки родилась третья редакция текста романа (завершена в феврале 1959 г.). Она может быть названа «книжной». Самый большой массив рукописей романа «Мы идем в Индию» относится к работе над этой редакцией (планы переделки журнальных глав, многочисленные вставки, новые главы — «куски»).

Процесс создания книжной редакции, видимо, был таков: побуждали к переработке чаще всего замечания на полях, сделанные редактором издательства; затем Вс. Иванов, увлекаясь начатой работой, шел значительно дальше, чем это диктовало «задание», переписывал целые страницы, дописывал главы. Черновики свидетельствуют: чем дальше шла работа, тем больше Вс. Иванов вносил нового в текст: последние главы почти сплошь рукописные.

Наиболее часто выдерживалась такая «схема» работы над книжной редакцией. Сначала намечался общий план того или иного «куска романа». Затем следуют конспективные размышления над тем

или иным сюжетным ходом, характером (обычно одни варианты психологических мотивировок, проекты действий сменяются другими, которые, вернее всего, тоже будут отвергнуты: отсюда вопросительная интонация при их формулировании). Встречается среди рукописей и краткое изложение содержания отдельных больших эпизодов — «проект» их будущего полного текста.

Весь текст романа для книжной редакции подвергся стилистической ревизии; названия глав, появившиеся в журнальной редакции, в книжной нередко менялись (пересматривалось и самое деление на главы).

Книжная редакция обнаруживает, что переработка романа шла в том же основном направлении, которое проявилось при создании журнальной редакции: материал, связанный с Калмыковыми, сжимался, роль революционера Скурлатова становилась все более активной, его характеристика — более развернутой.

Соотношение двух сюжетных линий (Калмыкова и Скурлатова) в первоначальной редакции таково: на первом плане Калмыковы — Скурлатов фактически на предпоследнем, к тому же он находится в орбите сюжетного притяжения Калмыковых (жених Графушки, по другой версии у него роман с Василисой).

В журнальной редакции соотношение линий Скурлатова и Калмыкова существенно смещается в пользу Скурлатова

В книжной редакции «сюжетное поле» Скурлатова оказывается еще более обширным: оно, во-первых, включает линию китайского революционера Бэй Шэна, от которой ответвляется новый сюжет, связанный с секретными документами. Во-вторых, «сюжетное поле» Скурлатова включает и линию его жены-революционерки (в журнальной она под именем Натальи Викентьевны была эпизодическим лицом). Теперь жена Скурлатова — Вера проходит через весь роман, ее гибели посвящена новая глава в финале романа — «Смерть агитатора».

Серьезному изменению от первоначального замысла к книжной редакции подверглись два таких центральных образа, как Глеб Калмыков и Капитон Скурлатов.

Глеб Калмыков в первоначальной редакции оборотистый делец и одновременно незаурядный просвещенный человек (таковы же и его дети: Графушка всерьез интересуется искусством, Борис — наукой).

В журнальной редакции характеристика Калмыкова была изменена лишь в частностях, но при этом все же усилилась его «капиталистическая жилка» за счет приглушения человеческой значительности.

Некоторая непоследовательность в характеристике Калмыкова в журнальной редакции могла быть снята в книжной или возвраще-

нием к первоначальному варианту (более усложненному), или дальнейшим «упрощением» личности героя. Вс. Иванов решился на второе: была, в частности, исключена глава «Казак Г. И. Калмыков», где давалась характеристика духовных интересов героя. В итоге Глеб Калмыков близок к традиционному образу купца-воротилы, не отягощенного грузом культуры.

В первоначальной редакции романа Капитон Скурлатов по прозвищу Соловейко — один из рядовых героев. Хоть он и обладает определенным революционным опытом, полон веры в идеалы революции, его агитаторская и организаторская роль лишь намечена.

От журнальной редакции к книжной заметно возвышение Скурлатова именно как агитатора и организатора революционной борьбы. Его активными помощниками становятся отец рассказчика (ему в первоначальной редакции отводилась куда менее заметная роль) и сам рассказчик.

Роман «Мы идем в Индию» получил полноценную критическую оценку еще в рукописи: внутренняя рецензия А. Макарова, ныне опубликованная. В этой рецензии подчеркивалось своеобразие книги, рожденной оригинальным ивановским талантом: «Достоинствами романа «Мы идем в Индию» как раз является буйство красок, необычность характеров — вполне допустимая в искусстве игра воображения, то особенное, что выделяет Вс. Иванова, как художника, в среде его писателей-современников». Сравнивая это произведение с «Похождениями факира» (1934—1935), А. Макаров увидел в «Мы идем в Индию» «роман иного социального звучания». И конкретизировал свою мысль так: Иванову «как никому удалось передать ощущение того, что все на окраинах в России того времени бродило, бурлило, трепетало, как бы мучилось предродовыми муками ⟨...⟩ Изобразительные средства автора, его приемы, во многом отличные от «обычного» бытового реализма, оказались как нельзя более пригодны для передачи именно этого ощущения, настроения предгрозовья». Критик точно увидел и уязвимые стороны романа: «Значительно менее удалась автору другая сторона — показ организаторской работы большевиков, имеющей целью направить стихийное брожение в русло революционной борьбы.

⟨...⟩ Образ рабочего Капитона Скурлатова и вся его линия в романе очень бледны по сравнению с другими образами» («Сибирские огни», 1971, № 9, с. 165—167).

В журнальной редакции прочитал книгу А. Крон; позднее он вспоминал: «Роман мне не только понравился, но пленил своей сочной словесной живописью, временами я почти физически ощущал цвет, вкус и запах описываемого; в этой прозе поразительно соеди-

нялась густота письма, делавшая героев зримыми и объемными, с будившей мою читательскую фантазию логической недоговоренностью...» В романе «Мы идем в Индию» А. Крон увидел особые приметы искусства Вс. Иванова последнего десятилетия его творческой жизни. «Мне казалось, что в последние годы у В. В. вдохновение подавляло самоконтроль (чаще бывает наоборот), он напоминал мне большого артиста-трагика, в силу тех или иных причин все реже появляющегося на сцене; творческая мощь и вдохновение не растрачены и временами потрясают, но тот безошибочный контакт с залом, который достигается привычным общением, иногда теряется...» Признаки потери этого контакта А. Крон увидел в том, что «художественная логика романа («Мы идем в Индию».— *Е. К.*) была, несомненно, сильнее бытовой — увлеченный полетом своей фантазии, писатель не слишком заботился о последовательности и взаимосвязи событий» («Всеволод Иванов — писатель и человек», с. 266—267).

Журнальная редакция получила несколько отзывов в периодике: Н. Еремина. В поисках Индии. — «Коммунист Казахстана», 1957, № 2; Е. Лизунова. Дорогу осилит идущий. — «Казахстанская правда», 1957, 10 января, книжная — всего один — М. Минокин. Факир не пошел в Индию. — «Сибирские огни», 1961, № 1.

Своеобразие романа, его особое место в творчестве Вс. Иванова было раскрыто в статьях, появившихся позднее: А. Галузо. Памяти Всеволода Иванова. — «Дружба народов», 1963, № 10; И. Соловьева. Заметки о стиле Вс. Иванова. — «Новый мир», 1970, № 2.

И. Соловьева, сопоставляя роман «Похождения факира» 1934—1935 годов и «Мы идем в Индию», подчеркнула различия самой жанровой природы романов (авантюрно-плутовской и героико-приключенческий), их ведущей тональности (иронико-пародийная и эпически спокойная, подчас пафосно-взволнованная) и характера главного героя (трагико-комический Дон-Кихот и Дон-Кихот — счастливый и победительный). «Может озадачить та простота, — заключает критик, — с которой Вс. Иванов меняет фактуру и тональность «рассказа о себе»: странствия «факира и дервиша Бен-Али-Бея» открываются читателю в одном случае как утомительные бесцельные кружения, чья замкнутость лишь подчеркнута огромностью радиуса этого путешествия по азиатской России («Похождения факира»), в другом же случае (роман «Мы идем в Индию») как восхождение по ясной тропе, когда многообразие дорожных приключений и встреч, многоцветная прозрачность бегущих ландшафтов своей пестротой лишь оттеняют четкость дальней цели спутника 〈...〉 Но не надо так уж буквально понимать автобиографизм «Похождений факира» и «Мы идем в Индию», сверять их как заполненные в разное время анкеты и ловить автора на расхождениях» («Новый мир», 1970, № 2, с. 230—231).

Сам писатель недаром посчитал нужным предостеречь читателей от буквалистского толкования «автобиографизма» своих книг. В романе «Похождения факира» (1959) с этой целью сделано специальное отступление — «Небольшой, но совершенно необходимый поворот»:

«Уважаемый читатель!

В первой части этого романа я точно — насколько, разумеется, позволяла память — описывал вам быт моей семьи, родственников, знакомых.

Чем дальше я вел рассказ, тем больше мне вспоминалось. Воспоминания эти касались не только людей, описываемых в романе, но и тех, кто никак не мог войти в роман, хотя бы просто потому, что для них не хватало места. А, между тем, вспоминались люди и случаи чрезвычайно интересные.

Тогда я позволил присвоить себе и своим спутникам события, которые с нами, собственно, не совершались, но которые, по моему мнению, были характерными для описываемой эпохи.

Естественно, что от изменения событий лица моих героев стали другими» (Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 6. М., Гослитиздат 1960, с. 204). Это признание «тогда я позволил себе...» — исчерпывающая поправка к тем читательским — критическим суждениям, в которых «Мы идем в Индию» объявляется автобиографическим романом.

Роман «Мы идем в Индию» переведен на чешский, польский, французский языки.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 7. М., Гослитиздат, 1960.

Стр. 17. *Джут* — падежи скота в зимнее время от бескормицы.

Стр. 21. *...сборщик Духовной киргизской миссии.* — Имеется в виду Киргизская православная миссия, учрежденная в 1882 г. с целью распространения православия.

Стр. 27. *...написать книгу о фомистах и несторианах.* — Фомисты — последователи апостола Фомы, проповедовавшего Евангелие в Парфии, Индии и Персии. Несторианство — течение в христианстве V в. Основатель его — константинопольский епископ Несторий (ум. ок. 451 г.). На Эфесском соборе 431 г. несторианство было объявлено ересью. Гонимые в Византии несториане расселились главным образом в Иране, Средней Азии, затем часть их переселилась в Китай.

Стр. 43. *Думаю, вернее называть народ так, как он сам себя называет.* — Казахи (самоназвание) в XVI—XVIII вв. были известны русским под именем «казаков», «казацкой орды». Позднее их ошибочно называли «киргиз-казаками», «киргиз-кайсаками» и просто

«киргизами», перенося на них самоназвание соседнего народа — собственно киргизов. Название «киргизы» по отношению к казахам сохранялось в литературе и документах до 1925 г.

Стр. 46. *...довольна была Пишпеком...* — Имеется в виду г. Фрунзе (переименован в 1926 г. в честь М. В. Фрунзе).

Стр. 56. *Тебе нравится «Рождественская песнь в прозе»?* — Имеется в виду повесть «Рождественская песнь» Ч. Диккенса из цикла «Рождественские повести».

Стр. 80. *...при абасидах...* — Имеется в виду династия арабских халифов Аббасидов (750—1258 гг.).

Стр. 81. *...король Иоан II послал Петра Ковиланиуса и Альфонса Пайва...* — Речь идет о португальском короле Жуане II и путешественниках Перо да Ковилья и Альфонсо де Пайва (XV в.).

Стр. 97. *...увлеклись... эсхатологическими изысканиями.* — Эсхатология — учение о конце мира.

Стр. 248. *Меринг: «История германской социал-демократии»...* — Речь идет о 4-томных сочинениях Франца Меринга (1846—1919), одного из деятелей немецкого рабочего движения, основателя Компартии Германии, публициста, автора ряда работ по истории марксизма.

Юань Ши-кай — китайский политический деятель (1859—1916), в 1912 г. после отречения от престола последнего императора Цинской династии был назначен временным президентом, стремился к установлению единоличной диктатуры.

Стр. 353. *...хозяин-дунганин...* — Дунгане — народность, живущая в Казахской и Киргизской ССР. Предки дунган переселились на территорию России в 70—80-х гг. XIX в. из Китая.

Стр. 358. *...прочел «Современную историю» какого-то французского писателя.* — Речь идет о тетралогии А. Франса (1897—1901).

Стр. 371. *...в тугаях Закаспия...* — Тугаи — низменные пространства, намытые водами Амударьи, заросшие камышами, колючими кустарниками и деревьями.

Стр. 389. *...ламаистский монастырь.* — Ламаизм — одно из течений в буддизме, распространено в Тибете.

Стр. 392. *...появился пророк Моканна.* — Моканна — вождь религиозного движения, направленного против ислама. Возглавленное им восстание было подавлено около 783 г.

Стр. 400. *...перечитывая «Соловьиный сад»...* — «Соловьиный сад» — поэма А. Блока (1915).

Стр. 478. *...знал изречение древнего мудреца.* — По-видимому, имеется в виду Аристотель и его учение о трагическом («Поэтика», гл. 6).

СОДЕРЖАНИЕ

Иванов Вс.

И 20 Собрание сочинений. В 8-ми томах. Т. 7. Мы идем в Индию. Роман. Изд. осуществляется под ред. Т. В. Ивановой, А. И. Пузикова, С. В. Сартакова. Подготовка текста С. Чулкова. Коммент. Е. Краснощековой. М., «Худож. лит.», 1976.

608 с.

Седьмой том собрания сочинений Вс. Иванова составил роман «Мы идем в Индию». Тематически связанный с романом «Похождения факира», он тем не менее, по словам самого автора, отобразил «большие социальные движения, которые дают ключ к восстанию казахов 1916 г.».

И $\frac{70302\text{-}286}{028(01)\text{-}76}$ подписное **Р2**

ВСЕВОЛОД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИВАНОВ

Собрание сочинений

Том 7

Редактор *Т. Аверьянова*

Художественный редактор *В. Горячев*

Технический редактор *В. Кулагина*

Корректоры *З. Тихонова* и *И. Тереховская*

Сдано в набор 3/II 1976 г. Подписано к печати 24/VI 1976 г. А12712
Бумага тип. № 1. Формат 84×108[1]/32. 19 печ. л. 31,92 усл. печ. л.
33,713 уч.-изд. л. Заказ № 435. Тираж 100 000 экз. Цена 35 коп.
Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26

